

ISSN 1824-7601



Studi Slavistici

XIX • 2022 • I | Rivista dell'Associazione Italiana degli Slavisti



Studi Slavistici

Rivista dell'Associazione Italiana degli Slavisti



XIX · 2022 · 1

Firenze University Press

Studi Slavistici

XIX • 2022 • I

<http://www.fupress.com/ss>

DIRETTORE RESPONSABILE

Nicoletta Marcialis

SECTION EDITORS

Alessandro Amenta, Maria Grazia Bartolini, Maurizia Calusio,
Paola Cotta Ramusino, Lucyna Gebert, Maria Rita Leto,
Barbara Lomagistro, Gabriele Mazzitelli, Bianca Sulpasso

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Noemi Albanese

EDITING

Alberto Alberti

Chiara Benetollo

PROGETTO GRAFICO

Alberto Alberti

COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

Giovanna Brogi Bercoff (*Università di Milano*), Maria Di Salvo (*Università di Milano*), Alexander Etkind (*European University Institute*), Lazar Fleishman (*Stanford University*), Marcello Garzaniti (*Università di Firenze*), Harvey Goldblatt (*Yale University*), Mark Lipoveckij (*University of Colorado-Boulder*), Jordan Ljuckanov (*Balgarska Akademija na Naukite*), Roland Marti (*Universität des Saarlandes*), Michael Moser (*Universität Wien*), Ivo Pospíšil (*Masarykova univerzita*), Sergejus Temčinas (*Lietuvių kalbos institutas*), Alois Woldan (*Universität Wien*)

Il volume è curato dalla redazione sulla base delle specifiche competenze dei suoi componenti. “Studi Slavistici” è una rivista *peer reviewed*. Tutti i contributi (eccettuati *Materiali e Discussioni e Recensioni*) vengono inviati per valutazione a due referee anonimi

CONTATTI

NOEMI ALBANESE

c/o Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società
via Columbia, 1 – 00133 Roma
(studislavistici@associazioneslavisti.com)

ASSOCIAZIONE ITALIANA

DEGLI SLAVISTI

<http://www.associazioneslavisti.it>
(segreteria@associazioneslavisti.com)

FIRENZE UNIVERSITY PRESS

via Cittadella, 7 – 50144 Firenze
<http://www.fupress.com/>
(journals@fupress.com)

Rivista di proprietà dell'Associazione Italiana degli Slavisti
(registrato al n° 5385 – 29.XII.2004 del tribunale di Firenze)

ISSN 1824-7601 (online)

© 2022 Firenze University Press – Università degli Studi di Firenze

In copertina: motivo ornamentale utilizzato per la decorazione di uova colorate (*pisanki*),
da E. Gasparini, *Il matriarcato slavo*, Firenze 2010 (1973¹), p. 698.

INDICE

Г.А. Мольков	<i>Орфография почерков Лазаревского паримейника XII века</i>	7-26
Ya. Kakridis, S. Dekker	<i>Der diatribische Stil bei Kosmas dem Presbyter und Grigorij Camblak</i>	27-48
П.Ф. Успенский, С.Я. Сендерович	<i>“С черной мыслью белый волос”. Этюд о стихотворении Баратынского Были бури, непогоды...</i>	49-61
Л.В. Спроге	<i>“О Сомов-чародей”. Визуальные контуры портрета Вячеслава Иванова в латышском романе 1926 г.</i>	63-73
D. Colombo	<i>I nomi dei militi ignoti. Letteratura di guerra sovietica e giornalismo, o verisimiglianza e verità: due casi</i>	75-99
М. Гилардуччи	<i>“Прорубоно, вытягоно”. Философия голоса в Заседании завкома Владимира Сорокина</i>	101-118
V.S. Tomelleri, M. Biasio	<i>Il convitato di pietra. La riscoperta sovietica della linguistica formale verso il primo Chomsky</i>	119-139
S. Del Gaudio	<i>The Language Situation in the District of Loeÿ (Belarus’)</i>	141-166

BLOCCO TEMATICO

Лексика славянской Библии и её значение для истории славянской рукописной традиции
Lexicon of the Slavic Bible and Its Meaning for the History of Slavic Manuscript Tradition

a cura di M. Garzaniti, T.I. Afanasyeva e A. Alberti

	<i>Введение</i>	169-171
Р.Н. Кривко, К.П. Костомарова	<i>Заемствованная лексика древнейших редакций славянского Евангелия. Опыт количественного анализа</i>	173-202
A. Alberti	<i>RNB.Pogodin.II e la tradizione testuale dei vangeli slavi. Le varianti testuali e lessicali a confronto</i>	203-239

E. Црвенковска	<i>Лексиката на Дечанското евангелие (РНБ, Гильф.4)</i>	241-254
R. Cleminson	<i>Silk in the Slavonic Scriptures</i>	255-267
В. Желязкова	<i>Сложните думи в гръцкия текст на Книга Изход и техните старобългарски съответствия</i>	269-283
А.И. Грищенко	<i>Лингвотекстологические маркеры в позднесредневековых славянских библейских переводах с еврейских оригиналов</i>	285-300
Л. Тасева, М. Йовчева	<i>Тексты для богослужебного употребления из Книги пророка Иезекииля в Острожской Библии. Между традицией и инновацией</i>	301-318

RECENSIONI

A. Fares, <i>Liber Viridis. Repubblica di Ragusa</i> , Sigraf, Pescara 2021 (R. Tolomeo)	321-323
M. Živova, <i>Unikal'naja martovskaja Mineja prvoj poloviny XVI v. Rukopis' 541 sobranija Troice-Sergievvoj lavry. Issledovanie i izdanie tekstov</i> , Indrik, Moskva 2021 (S. Toscano)	324-326
A. Cont, <i>Le marquis de Cavalcabò. Un grande avventuriero nell'Europa del Settecento</i> , con testi di E. Smilianskaia e J. Boutier, Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni culturali. Ufficio beni archivistici, librari e Archivio provinciale, Trento 2021 (M. Di Salvo)	327-328
M.G. Talalaj (red.), <i>Bargradskij sbornik</i> , II, Indrik, Moskva 2020 (S. Guagnelli)	329-331
S.G. Dapia (ed.), <i>Gombrowicz in Transnational Context. Translation, Affect, and Politics</i> , Routledge, New York 2019 (L. Mafrica)	332-334
O.B. Шуган (отв. ред.), <i>М. Горький в Италии. К 150-летию со дня рождения писателя</i> , Symposium, Санкт-Петербург 2021 (А.М. Грачева)	335-337
E. Zamjatin, <i>Racconti</i> , a cura di A. Niero, Mondadori, Milano 2021 (G. Mazzitelli)	338-339
N. Zabolockij, <i>Il trionfo dell'agricoltura</i> , trad. e cura di C. Scandura, Del Vecchio, Roma 2021 (M. Caratozzolo)	340-341
A. Ceccherelli, L. Marinelli, M. Woźniak (a cura di), <i>Quo vadis polonistica? Bilanci e prospettive degli studi polacchi in Italia (1929-2019)</i> , Dipartimento di Studi Umanistici – Università di Salerno, Salerno 2020 (D. Prola)	342-345
E. Solonovič, <i>Coincidenze</i> , a cura di C. Scandura, Elliot, Roma 2021 (G. Mazzitelli)	346-347
M. Cvetaeva, <i>Ultimi versi. 1938-1941</i> , trad. di P. Napolitano, Voland, Roma 2021 (A. Farsetti)	348-350

-
- A.M. Ripellino, *Iridescentze. Note e recensioni letterarie (1941-1976)*, I-II, a cura di U. Brunetti e A. Pane, Nino Aragno Editore, Torino 2020 (R. Giuliani) 351-354
- F. Berti, A. Dell'Asta, O. Strada (a cura di), *La Russia e l'Occidente. Visioni, riflessioni e codici ispirati a Vittorio Strada*, Marsilio, Venezia 2020 (G. Baselica) 355-356
- V. Bottone, G. Mazzitelli (a cura di, con la collaborazione di P. Avigliano), *Sono contento di averti continuato. Lettere a Ettore Lo Gatto conservate alla Biblioteca nazionale centrale di Roma*, BNCr, Roma 2020 (L. Béghin) 357-359
- K. Jaworska (a cura di), *Herling – Etica e letteratura. Testimonianze, diario, racconti*, con contributi di W. Bolecki, G. Fofi e M. Herling, Mondadori, Milano 2019 (A. Ajres) 360-362
- A. Pitassio, *La federazione perduta. Cronache e riflessioni sulla dissoluzione della Jugoslavia*, prefazione di M. Uvalić, Morlacchi editore, Perugia 2021 (M.R. Leto) 363-365

Георгий Анатольевич Мольков

Орфография почерков Лазаревского паримейника XII века

Древнерусский список Паримейника¹, рассматриваемый в данной статье и известный в научной литературе как Сковородский – по месту его хранения в конце XVI–XVII в. в новгородском монастыре Архангела Михаила на Сковородке, – в недавнем исследовании С.М. Михеева (Михеев 2019: 37) был назван Лазаревским, поскольку в древнейший период принадлежал Лазареву монастырю. Эта рукопись долгое время большинством исследователей считалась памятником XIII или XIV в., однако О.А. Князевская на основе палеографических и лингвистических данных отнесла ее (поддержав датировку И.И. Срезневского) к более раннему времени – ко второй половине – концу XII / началу XIII в. (Князевская 1993: 30-31; здесь же приведен обзор предыдущих точек зрения на датировку памятника). По-видимому, у исследовательницы были сомнения относительно точности этой хронологической привязки, т.к. позднее – в тезисах 1999 г. – О.А. Князевская предполагает, что “рукопись могла быть создана в первой половине или в начале XII в.” (Князевская 1999: 46). В следующей же своей публикации, посвященной Лазаревскому паримейнику, она вновь возвращается к датировке рубежом XII–XIII в. (Князевская, Коробенко 2003: 35, 39).

С.М. Михеев, рассмотрев этот список Паримейника в кругу других сохранившихся рукописей, связанных с Лазаревым монастырем, обратил внимание на тождество одного из почерков этой рукописи с почерком основного писца Милятина евангелия – попа Домки (Михеев 2019: 28-37). Апробация гипотезы С.М. Михеева о тождестве второго писца с Домкой, переписывавшим Милятино евангелие, на орфографическом уровне предпринята в специальном сопоставительном исследовании (Мольков 2022). Это отождествление дало возможность точнее определить возможное время создания списка Паримейника в пределах XII в. Предпринятый подробный анализ языка двух основных писцов Милятина евангелия показал, что комплекс отраженных в их почерках языковых особенностей не содержит маркированных инноваций и “объединяет рукопись с древнерусскими памятниками первой половины XII в.” (Мольков 2018: 47). В соответствии с этим С.М. Михеев предположил, что “Милятино евангелие и Лазаревский паремейник были написаны во второй четвер-

¹ Москва, РГАДА, Типографское собрание 50, лл. 1-126 (*Лазаревский паримейник* – далее: ЛазПар).

ти-середине XII в.” (Михеев 2019: 39). Дальнейшее изучение языка Лазаревского паримейника показало, что один из его почерков, соседствующих с почерком Домки, дает новую информацию, существенную для уточнения датировки обеих рукописей, – в частности содержит написания, отражающие появление нового ятя в языке писца. Эта черта начинает фиксироваться в книжной орфографии, по имеющимся данным, только с середины XII в. Таким образом, с учетом всех выявленных факторов наиболее вероятное время, к которому относится создание Лазаревского паримейника и Милятина евангелия, – середина-третья четверть XII в. (обоснование датировки см. в Мольков 2020: 291-295).

Несмотря на то что О.А. Князевская в нескольких вышеназванных работах рассмотрела языковой материал рукописи, орфографию Лазаревского паримейника можно считать описанной очень фрагментарно. Исследовательница перечисляет основные орфографические особенности, актуальные для раннего древнерусского письма, приводит отдельные примеры без разделения по писцам и без указания доли того или иного варианта в случае вариативности оформления определенной позиции. Это не позволяет увидеть разницы в орфографических системах разных писцов. Некоторую специфику на уровне графики О.А. Князевская выделяет в первом почерке – архаичность написаний **Ѣ** и **Ѩ** (Князевская 1993: 31-32) и графико-орфографически выделяет второй почерк по употреблению буквы **Ѣ** (преимущественно на конце строки) при ее отсутствии в остальных почерках паримейника (*там же*: 32). Для некоторых орфографических особенностей приведенные Князевской примеры не дают представления о их функционировании в почерках рукописи. В частности, говорится о “многочисленных окончаниях -ѢМЪ, -ѨМЪ в Т. ед.” (*там же*: 33), но не уточняется, есть ли написания этих флексий через **ѣ**, **ѡ**. Примеры с пропуском еров **кѣо**, **кнѣзь**, **ствѣри**, **все** О.А. Князевская расценивает как “свидетельство начала отражения процесса падения редуцированных в кодексе” (*там же*), хотя во всех приведенных морфемах пропуск еров был характерен для древнейшей восточнославянской орфографической нормы под влиянием южнославянской письменности. Важнейшие примеры с новым ятем – **камѣнѣиѣ** и **нѣ имѣть** – исследовательница по какой-то причине не считает “лингвистически показательными” (*там же*). В публикациях О.А. Князевской 1993, 1999 и 2003 годов повторяются одни и те же немногочисленные примеры Лазаревского паримейника при наличии в рукописи более показательных и орфографически характерных написаний.

Обзорное рассмотрение большей части орфографических черт в рукописи без разделения на почерки не позволяет О.А. Князевской убедительно установить количество почерков. По ее мнению, не подкрепленному какой-либо аргументацией, в переписывании кодекса “принимали участие не менее четырех писцов” (Князевская 1993: 31), в то время как С.М. Михеев, проанализировав палеографические особенности рукописи, установил, что писцов было трое – поп Домка и два анонимных писца (Михеев 2019: 28, сноска 30). Наши наблюдения над орфографией почерков подтверждают наличие только трех писавших: 1-й писец – лл. 1а-56г и 103а-114г, 2-й

писец (Домка): 57а-89в и 115а-126г, 3-й писец – 89г-102г. Отрезки лл. 1а-56г и 103а-114г, которые О.А. Князевская относила к разным писцам, однородны по всем рассмотренным нами орфографическим параметрам, что наряду с палеографической однородностью этих отрезков, отмеченной Михеевым, заставляет атрибутировать их одному и тому же писцу.

1. *Написание еров*

Написание морфем, содержащих этимологические редуцированные, заметно противопоставляет три почерка Лазаревского паримейника. Различия касаются большинства еровых орфограмм. Наибольшее внимание исследователей своим инновативным характером – в том числе в сфере написания этимологических **ѡ* и **ѡ* в ряде позиций – привлекал первый почерк, занимающий лл. 1-56 об. и 103-114 об. Почти все приводимые О.А. Князевской примеры с заменой *ѡ*, *ѡ* на гласные полного образования, которые в рукописи в целом “встречаются нечасто” (Князевская 1993: 33), приходится на первый почерк. Из них наиболее показательны замены в рефлексах **tort* – Князевская приводит 3 примера, к которым С.М. Михеев добавляет еще один (Михеев 2019: 39); именно в этой позиции написание *ѡ*, *ѡ* не имеет прямых аналогий в южнославянских рукописях и может рассматриваться как отражение живого фонетического процесса (Шахматов 1915: 206). По нашим наблюдениям, этот список можно еще дополнить и представить в следующем виде: *вер[г]оу* 3а, *дѣрзѡуци* 14г, *ВѢ ЧѢТВѢ(ѣ)*: 18б (ср. записанный без сокращений аналогичный заголовок – *ВѢ ЧѢТВѢРѢ/тѣкѣ* 19б), *ВѢ ЧѢТВѢ(ѣ)/кѣ* 39в, *ВѢ ЧѢТВѢ(ѣ)КѢ./* 54б, *сто/лпъникоу* 109г, *столпѣ/* 111г, *сѣмерѣ/нѣ* 113а.

Кроме этого, прояснение еров происходит в 1 почерке в следующих формах: *оуповаѡ* 20в, *вѣѣ/стѣнѣ* 21в, *мѣсть* 29б, *сотѣ* 34а (×5), 34б (×3), *шѣстьсо/тоноѣ (!)* 41а, *чѣстьни* 44б, *вѣзопиѡтъ* 51а, *оу/пованиѣмѣ* 109г, *по стѣвли/ю* 110а. Этот список орфографически неоднороден. Часть примеров – допустимое в ранней древнерусской норме ‘прояснение’, усвоенное в отдельных основах из южнославянской письменности, которое может восходить к более ранним спискам Паримейника. В первую очередь это относится к основе *оупова-*, закрепившейся в таком написании под влиянием глаголов на *-овати* (Карягина 1960: 19); прояснение гласного в словах типа *чѣсть*, *мѣсть* и производных также встречается в XI в. в системах с частыми заменами *ѡ > ѡ*, *ѡ > ѣ*. Оговорки, вероятно, требуют и концентрация прояснений *ѡ* в сильной позиции в корне *сѣт-* на л. 34 в чтении из книги Бытия: *лѣ| ѣ сѣтѣ*. и *ѣ*, *лѣ · ѣ*: *со | тѣ*. и *ѣ*, *ѣ*: *сѣтѣ лѣ*. и *лѣ*, *лѣ | ѣ · сѣтѣ*. и *лѣ*, *ѣ · сѣтѣ лѣ*. и | *лѣ, лѣ ѣ · | сѣтѣ*. и *лѣ*: *дѣсѣтѣ*, *ѣ · сѣтѣ лѣ*, *ѣ · сѣтѣ*. и | *ѣ* · и *лѣ* *лѣ* – при том что на предыдущем листе 33 об. в том же зачале пишется только *ѡ* в сильной позиции и аналогичной форме: *лѣ | ѣ сѣтѣ*, *лѣ · ѣ · сѣтѣ*. и *лѣ*, *ѣ*: *сѣтѣ*. и *ѣ* *лѣтѣ*, *ѣ сѣтѣ* |

² Ср., например, написания *чѣсть* и *лѣсть* в Толстовской псалтири XI в. (Мольков 2019: 414), *чѣстьнѣ* в Пандектах Антиоха XI в. (Копко 1915: 157).

и ѿ. Такое распределение говорит, скорее, о книжной природе написаний ѿтъ, перенесенных без изменения в данном чтении из южнославянского протографа. Остальные примеры 1 почерка, будучи единичными, также не исключены в системах типа Толстовской псалтири, но рядом с прояснениями в *tǫrt в почерке, где прояснения в целом встречаются нечасто, по-видимому, отражают произношение писца.

В двух остальных почерках Лазаревского паримейника прояснение еров представлено немногочисленными, но показательными примерами. Во 2 почерке (Домки) встретилось в 4 примерах, сосредоточенных в первом из переписанных им отрезков: на стѣ/гнуоу 73г, на стоуденець 82б, въ горнилъ 87а (×2). В последних двух примерах, относящихся к одной и той же словоформе, прояснение происходит в рефлексе *tǫrt. В почерке Домки в Милятином евангелии мена на гласный полного образования в сочетании типа *tǫrt также встречается дважды в одной и той же словоформе – ѿтвѣртѣвластьникъ, но появление ѿ в этой основе может объясняться влиянием основы собирательного числительного ѿтвѣро (Мольков 2018: 26)³; надежных примеров не книжного прояснения в Милятином евангелии у Домки нет (*там же*: 35). Таким образом, в рассмотренном отношении писец Лазаревского паримейника в случае тождества с Домкой Милятина евангелия, допускает более явные отступления в пользу своего произношения, чем в евангельском списке.

У 3 писца Лазаревского паримейника также есть примеры, записанные с прояснением гласного: недово/льньмъ 90а, довольно 90а, жьзлъ (исправлено из жезлъ) 98б, оуповающимъ 102а.

В совокупности примеры с заменой еров на ѿ, ѿ в сильной позиции в рассматриваемой рукописи выходят за рамки допустимого круга морфем и слов, в которых данная орфограмма допускалась в списках литургических текстов XI-первой половины XII в.

Пропуск еров в слабой позиции представлен в Лазаревском паримейнике в большом количестве морфем, и наибольшее их число относится к первому почерку. Сопоставим данные почерков по функционированию данной орфограммы в корнях и основах с этимологическими редуцированными в нечастотных аффиксах.

Полные данные по пропуску еров, приведенные в ТАБЛИЦЕ 1, показывают, что орфография 1 писца контрастирует с двумя другими почерками рукописи по этому параметру: пропуск возможен более чем в 30 разных корнях и нечастотных аффиксах. Если воспользоваться унифицирующим принципом не учитывать пропуски в 1-2 случаях для морфем, употребленных более 3 раз (Крысько, Мольков 2020: 16), то в 1 почерке пропуски встретились в 26 морфемах, во 2 почерке – только в 9, а в 3 почерке – всего в 2 (хотя его материал менее показателен ввиду небольшого объема в 13 листов). Количество в 26 морфем (более 20) можно, по нашим наблюдениям, признать характерным для орфографии периода после падения редуцированных (Крысько, Мольков 2020: 18), указывающим на создание рукописи во второй половине XII в. В

³ В почерке Лазаревского паримейника основа ѿтвѣртѣ- встретилась 6 раз (в словах ѿтвѣртѣзи и ѿтвѣртѣкъ) и пишется только с редуцированным.

ТАБЛИЦА 1. Пропуск еров в Лазаревском паримейнике

(в круглых скобках дано количество примеров, в которых буква редуцированного находится в позиции конца строки)

корень	первый почерк		второй почерк		третий почерк	
	пропуск	сохр.	пропуск	сохр.	пропуск	сохр.
-КЪТО-	12	2	13	9	2	—
МЪНОГ-	49	(1)	26	(1)	3	5 (1)
МЪНЪБ / -ою	19	(2)	38	16 (4)	—	12 (4)
ТЪКЪМО	1	—	2	—	—	—
КЪНАЗ-	8	—	5	—	4	2
ВЪС-	145	114 (18)	34	112 (10)	7	54 (7)
КЪНИГ-	3	(1)	1	—	—	—
ПЪТ-	19	(2)	—	2 (1)	—	—
МЪН-	1	—	—	3	—	—
-ЪТО-	20	(1)	1	25 (7)	1	12
ЗЪЛ-	52	6 (3)	25	21 (4)	—	8 (2)
ДЪВ-	13	—	—	11 (4)	—	1
ДОНЪДЕЖЕ	3	1	1	5 (2)	—	4 (1)
СЪЛ(Δ)-	15	4 (1)	—	26 (2)	—	2
ЗЪВ(Δ)-	2	4	—	17 (3)	—	5 (1)
ВЪР(Δ)-	1	12 (1)	—	12 (1)	—	5 (1)
ЗЪД(Δ)-	7	7 (2)	—	—	—	—
ЗЪР-	4	17 (1)	—	25 (1)	—	8 (2)
СЪП/Н-	8	(4)	—	4	—	2
КЪДЕ	8	—	—	6	—	4
РЪЦ-	2	3	—	11 (2)	—	2
-ЖЪДО	2	1	—	9	—	6 (1)
(З)-ЪМ-	7	4	—	4	—	4 (1)
ВЪТОР-	2	4 (1)	—	6 (1)	—	2
ЪТ-	3	23	—	7	—	5 (1)
СТРЪПЪТ-	1	1	—	7	—	—
ПЪШЕН-	2	4	—	3	—	1
ЖЪД(Δ)-	2	—	—	—	—	—
СЪТ-	1	4	—	3	—	—
ЖЪН-	2	—	—	—	—	1
ДЪН-	1	—	—	—	—	—
ЛΔКЪТ-	—	—	1	—	—	—

то же время показатель в 9 морфем во 2 почерке выглядит консервативным в пределах всего XII века⁴. Написания в этих морфемах (см. таблицу 1) могли быть скопированы писцом Паримейника из более ранних списков текста.

Пропуски в аффиксах противопоставляют почерки ЛазПар аналогичным образом. В 1 почерке такие пропуски многочисленны – по нашим подсчетам, в 174 случаях – и встречаются в большом количестве разнообразных позиций. Среди этих пропусков есть допускаявшиеся орфографической нормой уже в XI в. (к^томоу 2а, 4б, 38б (×2), 48г (×2), 49б, 50г, 106б, 108в (×2), вѣрна 4г, вѣрно 18а, створи 11б, 14б, 17б, 19в, 19г, 20а, 22г, 23в, 25в, 25г, 28г, 36в, к не/и 39в, бѣговѣрнѣхъ 49г и т.п.); но кроме того, встречаются и нарушения этой нормы, которые нельзя объяснить копированием из более ранних списков: в суффиксах – полци./ бв, враждоуи 24г, мзи/щца 35в, на жа/твѣ 42б, враждоу 43а, правдѣ/ноумоу 50в, клатва/хъ 52б; в приставках – стажимъ/12б, смѣ/ста 20а, смърти/ю 20а, смѣ/рить 48а; в окончаниях на стыке морфем – Оста/вил ма 3а, гонации/х ма 14а, аз бо не/смѣ 112г. Напротив, у 2 и 3 писцов пропуски еров в аффиксах малочисленны. У 2 писца отмечены: все/лю 84в, приатни 118г, жьрць 121а, истиннѣ:// 125г; у 3 писца: страсе 94в, к^томоу 96в (×2), 99в, 99г, к/немоу 98г.

Соотношение вариантов записи сочетаний типа **tbrt* в каждом из трех почерков ЛазПар индивидуально, что закономерно отражает общую большую вариативность в записи этой орфограммы в древнейший период (Сидоров 1966: 30-34).

Употребление 1 писца можно условно назвать стандартным – отражающим общую линию вытеснения южнославянского написания восточнославянским для обоих плавных с минимальным участием полногласного варианта записи. Маргинальность вариантов *ЪРЪ* и *РЪ* в этой системе подчеркивается их преимущественным использованием на конце строки: вариант *РЪ* – в 4 из 9 примеров (кроме того, один пример – с титлом: при смърти 18а), а вариант *ЪРЪ* еще чаще – 14 из 17 (не на конце строки встретились написания четвьрътъи/и 9б, гъръдаще/иса 109в и въ гърънилии./110а). 1 почерк отличается от 2-го и 3-го еще и тем, что в нем употребляется редкий в восточнославянской письменности, сохранившийся из южнославянского протографа вариант записи рефлекса без гласного – типа *TRT*: всеъ/мръне 9г, слыцинѣхъ 35а, чрпа 36г, въскръвъ: 40г, всердына 42г, съ/мръть 48б, въ смръть 52г, съ смрътию 53в, смърти 53г. Их относительно большое количество в почерке – 9 форм на фоне 1-2, отмечаемых исследователями в древнерусских рукописях XI-XII вв.⁵ – по-видимому, связано с тем фактом, что за исключением двух примеров (чрпа и въскръвъ) написания *TRT* отмечены в корнях, писавшихся под титлом⁶. О том, что восточнославянские книжники воспринимали эти нефонетические написания как разновидность сокращения, говорит описанная нами орфографическая система новгородского писца Матфея,

⁴ См. таблицу 2 в Крысько, Мольков 2020: 17.

⁵ См. обзор примеров в Мольков 2021а: 161.

⁶ Список основ, встречающихся в древнерусской письменности под титлом, см. в Аванесов 1988: 20-22.

ТАБЛИЦА 2. Сопоставление способов оформления рефлексов сочетаний типа **tʁt* в почерках Лазаревского паримейника

(в таблице не учтены рассмотренные выше написания рефлекса с пояснением в 1 почерке)

способ обозначения	первый почерк		второй почерк		третий почерк	
	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%
ʒʁ/ʒʁ	161	82,5%	73	41%	27	69%
ʒʁʒ/ʒʁʒ	17	8,5%	103	58%	11	28%
ʁʒ/ʁʒ	9	4,5%	1	1%	1	3%
ʁ	8	4,5%	–	–	–	–
ʒл	53	84%	12	35%	12	50%
ʒлʒ	6	9,5%	20	59%	7	29%
лʒ	3	5%	2	6%	5	21%
л	1	1,5%	–	–	–	–
ʒt	214	83%	84	40%	39	62%
ʒtʒ	23	9%	124	58,5%	18	28,5%
tʒ	12	4,5%	3	1,5%	6	9,5%
t	9	3,5%	–	–	–	–

в письме которого вариант *TRT* представлен десятками примеров (Мольков 2021а: 164-165). Данные 1 почерка ЛазПар дополнительно подтверждают существование этой корреляции в узусе новгородских писцов XI-XII вв.

Соотношение вариантов *ʒP*, *ʒPʒ* и *Pʒ* во 2 почерке обращает на себя внимание преобладанием *ʒPʒ* над *ʒP* (при единичных *Pʒ*). Это является нарушением свойственной большинству почерков периода закономерности, согласно которой “написания типа *tʒʁʒgʒ* ~ *tʒʁʒgʒ* всегда составляют лишь относительно небольшой процент от написаний другого типа” (Живов 2006: 248). Для писца ЛазПар напротив – тип *ʒPʒ* является основным. Нами были выявлены и другие примеры нарушения этой закономерности – некоторые отрезки 2 почерка Успенского сборника, а также – почерк Домки в Миялином евангелии (Крысько, Мольков 2020: 70). При этом у Домки процентное соотношение вариантов *ʒPʒ* и *ʒP* (52 и 47%) почти тождественно наблюдаемому в 2 почерке ЛазПар (58 и 41%)⁷, что дополнительно подтверждает возможность отождествления писавшего.

⁷ Ср. разнообразие процентных соотношений отрезков 2 почерка Успенского сборника с преобладанием *ʒPʒ*, где этот вариант записи может составлять и 90,6%, и 87%, и 62,5% (Крысько, Мольков 2020: 64).

ТАБЛИЦА 3. Написание флексии ТП ед. ч. в ЛазПар

флексия	первый почерк		второй почерк		третий почерк	
-омь	8		22		7	
-ъмь	40		12		21	
-емь	2		4		—	
-ьмь	16		18		7	
Итого:						
юж.-сл.	10	15%	26	46,5%	7	20%
вост.-сл.	56	85%	30	53,5%	28	80%

3 почерк ЛазПар ближе к древнерусскому 'стандарту' по соотношению вариантов написания еров с плавными. Ввиду небольшого количества материала сложно проследить принципы, по которым он распределяет варианты. Можно отметить, что жесткого разделения корней по вариантам написания у него, видимо, нет, т.к. один и тот же корень встречается в обоих написаниях: *стълпъ//ъмь* 93а-б, *стълпъмь/* 93б, но *стълпъ* 93б, *стълъ/пъ* 93б; *межю/ пълкъъмь* 94б, но *межю пълкъъ/ъмь* 94б и на *пълкъъ./* 94б (все 3 варианта записи в одном корне); и *спърва* 99б, но *първа/аго* 92г; *отъ/вързеши* 99б, но *отъвъръзъ* 101б и др. Также показательно, что представленные небольшим числом примеров основы у 3 писца тем не менее пишутся вразрез с описанным выше закреплением варианта у 2 писца: он пишет и *скъръвъ-* (3 примера) и *скъръв-* (4 примера) при исключительном *скъръв-* у 2 писца; только *дъръз-* (2 примера) и *държ-* (2 примера) при исключительных *дъръз-* и *държ-* у 2 писца.

Написание флексии ТП ед. ч. в именах муж. и средн. рода с основами **o-* и **jo-* склонения в почерках ЛазПар неоднородно (см. таблицу 3)⁸. Как южно-, так и восточнославянские флексии встречаются у всех трех писцов, но в разном соотношении.

Общим для переписчиков ЛазПар является соотношение южнославянского вида окончания (с *o/ε*) в твердом и мягком подтипах склонения: в твердом он составляет большую долю (33,5%), чем в мягком (13%). Это вполне соответствует соотношению вариантов *-омь/-емь* в ранней древнерусской письменности в целом⁹. В 3 почерке мягкий вариант с *ε* вовсе отсутствует, что совпадает с орфографией Юрьевского евангелия 1119-1128 гг. (Федорова 2016: 85), а также с набором вариантов, который используется во 2 почерке Успенского сборника второй половины XII в. (Крысько, Мольков 2020: 84). Возможно, такой набор написаний (*-ъмь*, *-омь* и *-ьмь*) отличает

⁸ Не учтены существительные с основой на *-j*.

⁹ См. обзор материала рукописей XI в. в Крысько, Мольков 2020: 82.

рукописи XII в., на завершающем этапе использования вариантов *-омь/-емь* в качестве традиционных книжных флексий ТП. У 1 и 2 писцов ЛазПар окончание *-емь* в **jo*-склонении почти не используется; в частности, у 1-го оба раза этот вариант использован в форме слова *сръдце: срѣдцемь* 15г, 33б; при этом данная словоформа чаще пишется у него с восточнославянской флексией: *срѣдцьмь* 20в, 42в, 52б.

Наиболее активны южнославянские написания у 2 писца ЛазПар, которым предположительно являлся поп Домка, участвовавший в создании Милятина евангелия. Особенности дистрибуции южно- и восточнославянского вариантов написания флексии в обеих рукописях оказываются близки по ряду параметров. Совпадает доля южнославянских написаний в почерке в Милятином евангелии и в ЛазПар (41,5%¹⁰ и 46,5% всех написаний флексии соответственно), а также набор допустимых вариантов: в 13 примерах писец ЛазПар пишет флексию ТП ед. с *-ъ* на конце, получая варианты *-емъ*, *-ьмъ*, *-омъ* и *-ъмъ*. Вне 2 почерка написание с конечным *-ъ* в ЛазПар встретилось всего раз, у 1 писца: *миромъ* зв. Кроме того, книжник в обеих рукописях ориентируется на морфологические параметры слов. В основах исконного **es*-склонения (в том числе перешедших в продуктивный тип на **o*) писец в ЛазПар – в немногочисленных, правда, примерах – использует только флексию с гласным полного образования: *словомь* 71в, 119б и *словесемь/* 74а – так же, как Домка в Милятином евангелии (Мольков 2014: 24).

Существенным в выборе флексии ТП ед. для 2 писца ЛазПар оказывается фактор рода: существительные среднего рода в твердом подтипе склонения он пишет только с окончанием *-омь/-омъ* (*виномь* 63б, 71а, 75б, *словомь* 71в, 119б, *златомь* 116г, 124б, *сръвромъ./* 124б). Эта группа слов заметно выделяется в почерке, в котором *-ъмь* в целом преобладает: в ее рамках южнославянское написание присутствует в 53,5% примеров. Если учесть, что в древнерусских рукописях XI в. южнославянское написание флексии ТП твердого подтипа склонения при его использовании в почерке, как правило, последовательнее пишется в среднем роде, чем в мужском (Крысько, Мольков 2020: 82), то указанное внимание писца середины XII в. к существительным среднего рода имеет под собой опору в его опыте переписывания текстов с более ранних списков и с большой долей вероятности *o* в окончаниях среднего рода могло быть скопировано из антиграфа.

2. Орфограммы с Ѣ

В ранней древнерусской письменности выделяется два основных типа орфографических систем по употреблению буквы Ѣ – со смешением Ѣ и е в ограниченном наборе позиций и с частым их смешением (Крысько, Мольков 2020: 106-138). Почерки ЛазПар, как и большинство древнерусских почерков раннего периода, принадлежат первому типу – смешение Ѣ и е наблюдается в них в ряде типовых позиций, которые

¹⁰ На основе количественных данных таблицы 1 в Мольков 2014: 28.

ТАБЛИЦА 4. Запись рефлексов **tert* / **telt* в ЛазПар

почерк	<i>*tert</i>			<i>*telt</i>	
	рѣ	ре	ере	лѣ	ле
1	246 (93%)	16 (6%)	3 (1%)	11 (73,5%)	4 (26,5%)
2	197 (93%)	2 (1%)	13 (6%)	16 (100%)	–
3	59 (73,5%)	12 (15%)	9 (11,5%)	8 (89%)	1 (11%)

ТАБЛИЦА 5. Написание слова посреѣдѣ в ЛазПар

почерк	рѣ	ре	ере
1	3	9	3
2	–	–	13
3	1	12	–

выделил Н.Н. Дурново (2000: 468-472). Самая частотная из них – вариативность двух букв при записи рефлексов **tert*/**telt*.

Почерки ЛазПар объединяет существенное преобладание южнославянского способа записи **tert*/**telt* – в совокупности около 90% встретившихся употреблений (см. ТАБЛИЦУ 4).

Приведенные количественные данные показывают, что в адаптации южнославянских написаний с рѣ и лѣ в ЛазПар не наблюдается существенной разницы, в то время как для ряда почерков XII в. характерна орфография с более консервативной записью лѣ по сравнению с рѣ (Живов 2006: 178-199). Среди примеров использования восточнославянского варианта записи с ре/ле и полногласного с ере привлекает внимание написание наречия посреѣдѣ (см. ТАБЛИЦУ 5) – у всех трех писцов в данном случае так или иначе отклоняется от основного варианта записи (через рѣ).

При сравнении информации двух таблиц можно заметить, что помимо отклонения от общего соотношения вариантов рѣ/ре/ере в почерках ЛазПар написание этого слова характеризуется тем, что исключительно для него писцы используют один из маргинальных в их орфографии восточнославянских вариантов записи. У 1 и 2 писца – вариант ере используется только в форме посреѣдѣ (3 и 13 раз соответственно), а у 3 писца – все 12 случаев использования варианта ре приходятся на посреѣдѣ. При этом различие 1 и 2 писцов заключается в том, что у 2 писца слово посреѣдѣ пишется только таким образом, а у 1-го – это один из допустимых вариантов записи слова, наряду с посреѣдѣ и посреѣдѣ (тем не менее написание слова на

фоне других корней с **tert* в почерке остается маркированным – только его 1 писец пишет тремя разными способами).

Эта орфографическая выделенность лексемы *посрѣдѣ* на общем фоне явным образом коррелирует с ситуацией в первом почерке Милятина евангелия – в орфографии попа Домки. И ожидаемо – при описанных различиях трех писцов ЛазПар – наиболее близкое (полное) сходство наблюдается в написании слова *посрѣдѣ* во 2 почерке Паримейника и у Домки в Милятином евангелии, где также для корня *срѣд-* в составе слова *посередѣ* (и только для этого слова) используется полногласный вариант записи (Мольков 2018: 23).

Очевидно, писцы ЛазПар, в том числе Домка, переписавший и Милятино евангелие, в данном случае закрепили восточнославянские написания за конкретной лексемой. Корень *срѣд-* испытывает тенденцию к графической замене *ѣ* > *є* уже в ряде памятников XI в. В тех почерках, где написание *ре* используется чаще, чем в рассматриваемых почерках, корень *срѣд-* оформляется с его помощью. Наиболее последовательно именно он пишется с *є* во втором почерке Изборника 1073 г. (Дурново 2000: 469); “нередко” встречается данный корень с *є* и в Типографском Уставе XI-начала XII вв. (*там же*: 470); также из 13 отмеченных Р.Н. Кривко написаний с *ре* во втором почерке Бычковско-Синайской псалтири 7 относится к корню *срѣд-* (Кривко 2004: 174). На фоне перечисленных примеров писцы ЛазПар более последовательны: одна из лексем с этим корнем орфографически выделяется с помощью восточнославянской огласовки с *є* на фоне других с корней с праславянским **tert*. Возможно, эта частная особенность сформировалась у них вследствие совместной работы в скриптории.

Использование варианта *єре* у 3 писца в отличие от двух других переписчиков ЛазПар не ограничено словом *посрѣдѣ* (и даже не связано с ним): *череца* (!) *ваша* 90б, *же/ревиа* 90г, *жеревина* 90г, *жеревини* 90г, *пожерети* 91б, *вз чє/ревѣ* 91б, *отъ чє/рева* 91б, *Ищерева* 91б, *оумерети* 92в. При всей немногочисленности примеров можно отметить, что основы *чрѣсл-*, *чрѣвл-* и инфинитив *-мрѣти* в почерке встречаются и в южнославянском виде (*оумрѣти* 92б, 93г, *вз чрѣвлѣ* 97г, *чрѣсла* 98б), а основа *жерев-* пишется только в полногласной форме. Возможно, писец пытался закрепить полногласное написание некоторых основ (как вариант *ре* у него закреплен за словом *посредѣ*).

Употребление *є* вместо этимологического *ѣ* в ЛазПар характерно и для другой типовой позиции (Дурново 2000: 470) – в местоименных формах Д-МП *теѣѣ* и *сеѣѣ*. Написание этих форм с меной *ѣ* > *є* происходит в его почерках с разной частотностью, причем 1-й и 3-й сходны между собой в этом отношении и представляют нестандартную реализацию этой орфограммы. У этих писцов написания *теѣѣ*, *сеѣѣ* полностью вытесняют этимологические *теѣѣ*, *сеѣѣ* в Д-МП (за единственным исключением – *вз сеѣѣ* 17а в 1 почерке). Формы *тоѣѣ* и *соѣѣ* у этих писцов также малоактивны: *тоѣѣ* встретилась 1 раз у 3 писца, а *соѣѣ* – 4 раза у 1 писца. При этом основные в их орфографии формы Д-МП *теѣѣ* и *сеѣѣ* встретились у 1 писца – 34 и 17 раз, а у 3-го – 12 и 4 раза. Этимологические формы *теѣѣ* и *сеѣѣ*, по-видимому, воспринимаются обоими писцами как неправильные.

У 2 писца ситуация несколько иная: преобладают в Д-МП написания *теѣ* (42 раза) и *сеѣ* (14 раз), но и этимологические формы также встречаются (8 и 9 раз соответственно). Кроме того, в 2 случаях встречается обратная замена: формы РП пишутся в виде *теѣѣ*. Восточнославянские варианты *тоѣѣ* и *соѣѣ* у него единичны (2 и 1 пример). Такая орфография местоименных форм Д-МП в целом соответствует употреблению Домки в Милятином евангелии. Написания *теѣѣ* и *сеѣѣ* в Д-МП в списке Евангелия более активны, чем в почерке Паримейника, но всё же в 2-2,5 раза менее частотны, чем неэтимологические *теѣ* и *сеѣ*; дважды встречаются формы *сеѣѣ* в РП (Мольков 2018: 24), а также единичные русизмы *тоѣѣ* и *соѣѣ*¹¹. Набор допускаемых писцом вариантов и их общие пропорции в почерках двух рукописей совпадают.

Слова с основами *тѣѣл-*/*тѣѣлес-* – еще одна типовая позиция со смешением *ѣ* и *ѣ* в ранней письменности (Дурново 2000: 471) – в Паримейнике встречаются редко, всего 17 раз. Слово склоняется преимущественно по продуктивному типу без *-ѣ-* в косвенных падежах и пишется через *ѣ*. Только во 2 почерке встречаются формы с основой *тѣѣлес-* – 1 раз через *ѣ* и 1 раз через *ѣ*.

В 1 почерке рукописи помимо перечисленных позиций замена *ѣ* на *ѣ* происходит под воздействием фонетического фактора – в нем встретилось 28 примеров написания “нового *ѣ*”. Подробному рассмотрению этой особенности посвящена специальная работа (Мольков 2021б).

3. Написание рефлексов *dj

Писцы ЛазПар в целом однородно оформляют рефлексы сочетания *dj, в абсолютном большинстве случаев используя восточнославянский способ записи *ж*. У 3 писца написание *жд* в этой позиции совсем не встречается, у 1-го оно использовано всего в 2 примерах, сохранных, по-видимому, из более ранних списков (*тоуждѣмоу* 15 об., *вѣ зи/жда* 31) при 106 написаниях с *ж*. В 1 почерке встретилось гиперкорректное написание с заменой *жд > ж* в форме без этимологического *dj: *одъждитѣ/ на въ дъжь раны/и поздънзи* 107 (Иоиль 2. 23) – по-видимому, 1 писец специально устранил встретившиеся в антиграфе “неправильные” с его точки зрения *жд*.

У 2 писца (предполагаемого Домки) южнославянские написания составляют несколько большую долю написаний *dj – 17 примеров из 116 форм, т.е. ок. 15%, что достаточно близко показателю почерка Милятина евангелия (10%). Написание *жд* встретилось в следующих примерах: *и/зноюждаетъ* 57 об., *аждъ* 63, *прѣ/даждъ* 64, *вижду* 64 об., *тоужди* 65, *нъждъ/нзиѣ*¹² 66 об., *рожданицю* 69 об., *тоуждъ* 71 (×2), *тоуждю* 71, *по/<вѣ>ждыше (!)* 77 об., *ноуждѣю* 78 (×2), *ѣждъ/* 81 об., *тоуждѣи*

¹¹ См. словоуказатель в издании (Мольков 2018).

¹² В Захариинском паримейнике 1271 г. в этом стихе – Ис. 58:6 – читается форма *ноужнзиѣ* (по электронному изданию на портале *Манускрипты*: Запросная форма “Паримейник [Захариинский][РНБ, Q.п.І.13, 1271 г.]”, <manuscripts.ru>).

82 об., раждаше/са 85 об., прѣжде 86. Последовательность в написании жд можно увидеть для основ тоужд- и ноужд-. Первая из них не встречается в почерке с восточнославянской рефлексацией чоуж-; южнославянский рефлекс первого согласного, по-видимому, обусловил сохранение всего корня в его южнославянском произношении. Вторая основа ноужд- также не встретилась в почерке в виде ноуж-. Остальные основы и словоформы приведенного списка встречаются в почерке и в написании через ж: прѣже 57 (×2), 61 об. (×2), 62, 63, 73 об., 78, 88, 118 об., 122а (×6), 125в, ажъ 62, прѣда/жь 71 об., вижю 83 об., 87, 121в, ражающа, ражаютъ, ража/хоу 78, рожию 122в и др.

4. Рефлексы цоканья

У всех трех книжников, переписывавших ЛазПар, встречаются примеры взаимозамены букв ц и ч – отражение северного диалектного неразличения аффрикат. Всего отмечено 90 примеров, из которых 83 случая – это употребление ц вместо ч и только в 7 случаях происходит обратная замена. Это составляет чуть больше 3% всех написаний двух букв в рукописи.

Примеры со смешением букв неравномерно распределены по почеркам. Больше половины из них (54 из 90) относятся к 3-му почерку (им переписано только 13 листов из 126), т.е. у этого писца доля неэтимологических написаний аффрикат существенно больше, чем в среднем по рукописи (ок. 14%).

У первых двух писцов встретилось 21 и 15 примеров с меной соответственно. Если воспользоваться разделением ошибок в написании аффрикат по классам, выделенным В.М. Живовым (Живов 2006: 109), в первом почерке получится следующее соотношение типов ошибок:

I: ѡзъцнънъцнъхъ./ 9в, ѡ притъць 14г, ѡ при(т')ць 36в, члвцска 44а, ѡ при(т')ць 46б, ѡ прит'ць 55б, книгъ/цина 105г,

I': съ/конецъцнъць 5б, крѣвѣ телца 10в, Гй помощнице 22б, съконецъца/ 32а, слнцнънъцнъхъ 35а, съконецъцнъць 37в, слнцъ/нънъцнъхъ 40а, вѣ/ роуцѣ правдыници/ 42г, ѡ/блицающаѡа 56г,

II: прочвьѣть/ть 3г, ѡблаци/ 24б, ѡко/ члвци 48а,

III: вѣ/ мѣсачъ 44г, бѣсловъѡа 114а.

Больше половины форм с меной относятся к I'-классу – написаний рефлексом i палатализации “в условиях” 3-ей (т.е. после и и ѡ), что закономерно ввиду большей сложности правила (правило С, по Живову [Живов 2006: 105-106]), регулировавшие эту группу написаний.

В примерах с меной в классе I привлекает внимание неоднократное написание ц в форме РП мн. притъць вм. притъчь. Эта форма фигурирует в заголовках чтений и в 13 других случаях пишется в почерке через ч, т.е. неэтимологические написания этой

ТАБЛИЦА 6. Написания аффрикат в третьем почерке ЛазПар

	I	I'	II	III	Всего
Правильные	171	1	57	<i>passim</i>	280
Неправильные	46	6	2	–	54
% неправильных	21%	85,5%	3,5%	0%	16%

словоформы составляют заметную долю (4 из 17, т.е. около четверти). Возможно, это связано с влиянием графического клише (Живов 2006: 123-124) – завершение существительного на -ць (ИП ед. ч. муж. рода) встречалось в тексте чаще, чем РП мн. ч. жен. рода существительных на -ѹа, и первая категория форм стала оказывать влияние на написание второй.

У 2 писца распределение ошибок следующее:

- I: отроциць 59а, на отроци/ць 59в, алъцицимиѣ 67а, рѣ/цицѣ 75б, ць/рьпахоу 82б, въ цъвданыѣ 125б,
 I': възвели/цишаса 59г, оѣе 62б, къръмыци 71б, съконецаса/ 72г, лице тельце 76г, Оуста правдыни/ца 118в, дъ/ва (гъ)рълицица 121а, конциноу 124а,
 II: прочвьтеть 121в.

Как и в 1 почерке, у 2 писца мена ѹ > ц чаще всего происходит в классе I'. Небольшое количество форм не дает возможности выделить среди них определенные категории, представлявшие наибольшую сложность для писца, но на фоне более многочисленных данных почерка Домки в Милятином евангелии можно отметить, что написания почерка ЛазПар с ними коррелируют. В частности, у Домки среди написаний I'-класса выделяется корень коньц- (Мольков 2018: 29): в обоих встретившихся в почерке ЛазПар словоформах с чередованием коньѹ- в этом корне он также записан в виде коньц- (съконецаса/ 72г и конциноу 124а). Также ошибки I класса в обоих случаях происходят под воздействием частотного написания оѣѣ¹³.

Написания 3 почерка ЛазПар ввиду их частотности представляют наибольший интерес. Общее соотношение доли ошибок в написании аффрикат в разных классах показывает индивидуальный характер дистрибуции ц/ѹ в почерке (см. ТАБЛИЦУ 6).

Наряду с ожидаемо частыми ошибками в классе I' (сложное правило С) в 3 почерке значительную долю составляют и наиболее многочисленные ошибки писца в написании ѹ по I палатализации (вне “условий III-ей”). Ошибки этой группы допущены в следующих случаях:

¹³ Материал Милятина евангелия см. в Мольков 2018: 29.

вѣ (поу)циноу 90в, отъ-цию твоюю 91б, вѣцънъ/а 91в, сѣвѣцѣ 91г, обѣцѣса/ 91г, единаце 92б, целовѣцъскънхъ/ 92б, оѣима/ 93а, опълицитеса 93б, опълициша/са 93б, опълицишася/ 93г, вѣ цѣваньци 95г, на отроцища/ 96а, отроцища/ сего 96а, отроци/ць 96а, прѣвѣцълю 96б, плацъца/аса 96г, вѣцънън 97б, отроцици/ 97в, отроциць 97г (×3), 98в, 98г, къ/ отроцицю 97г, отроцицю 98а, отроцицюу 98а, отроцища 98б (×2), 98в, на отроцища 98в, отроци/ще 98в, на отроцици 98в, оци свои 98в, на оцию/ 98в, на/дъ отроцище 98в, нѣсть числ(а)÷ 98г, по цѣто 99а, оци наши 99б, наоу/цити 99в, моуцитѣ/ля 99г, моу/цители 100а, наоцища 100б, 101а, по цюдесемь/ 102а.

Значительная часть написаний *ц* вместо *ч* в этой группе происходит после буквы *о*, т.е. в той же позиции, что и у писца Домки – в 27 примерах из 46, в т.ч. в двух случаях это *о* находится в предшествующем предлоге *по* (*по цѣто, по цюдесемь*). Ошибочное употребление титла в одном из таких примеров – *оѣима* – подтверждает связь этой категории примеров с частотным титловым написанием *оѣъ*; и только в двух примерах (*О[т] пророчѣства 90б* и *очи 98г*) книжник ‘пропускает’ в позиции после *о* этимологическое *ч*. Таким образом, в орфографии 3 писца ЛазПар написание *оч*, скорее, является ошибкой против его локального правила. При дальнейшем рассмотрении некоторые из оставшихся примеров I класса оказываются связаны с этой центральной категорией – в 2 случаях ошибочное *ц* пишется после буквы *ѣ*, являющейся графическим дублетом *о* в бытовом письме (*отъ-цию, вѣ цѣваньци*) и еще в 4 – в корнях с этимологическим **valt*: в основах *мѣцъ-* и *пѣцъ-*. При возможности их записи с гласным после *л* (ср. 29% *ЪЛЪ*-написаний в почерке 3 писца), т.е. как *мѣлѣцъ-* и *пѣлѣцъ-* они подпадают под действие того же графического клише. Суммарно 33 формы из 46 (более 70%) отражают локальное правило писца – писать *ц* после *о/ѣ*.

Значимость сокращения *оѣъ* как графического клише, влияющего на выбор буквы аффрикаты, объединяет Домку, 3 писца ЛазПар, а кроме того – и 2 писца Милятина евангелия, у которого все 13 допущенных им ошибок в III классе написаний представлены “устойчивым (хотя и этимологически неверным) лексикализованным написанием существительного *оѣъ*” (Мольков 2018: 30). В последнем случае клише воздействовало на писца противоположным образом – склоняло к выбору *ч*, а не *ц* (возможно, под влиянием соответствующего притяжательного прилагательного).

Внимание трех разных писцов, связанных с рукописями Лазарева монастыря, к одному и тому же титловому написанию при выборе буквы для записи аффрикаты говорит об определенной традиции скриптория этого монастыря. У двух писцов (кроме Домки) подавляющее большинство неэтимологических написаний аффрикат оказывается связанным с сокращением *оѣъ/оѣъ*, что может отражать локальную систему орфографических правил, регламентирующих употребление *ц* и *ч*, сложившуюся в Лазаревом скриптории.

ТАБЛИЦА 7. Стяженные и нестяженные написания адъективов в ЛазПар

Флексия	первый почерк		второй почерк		третий почерк	
	VV	V	VV	V	VV	V
-ддго	1	40	–	51	2	4
-ддго	2	4	–	3	–	2
-оуоумоу	3	17	–	7	1	2
-юоумоу	1	–	–	–	–	–
-знимь	1	4	1	1	3	–
-знихъ	61	44	10	28	8	2
-знимъ	11	11	8	13	1	1
-зними	7	2	3	2	2	1
-нимь	–	2	1	1	1	–
-нихъ	6	12	2	19	1	2
-нимъ	10	37	–	12	3	2
-ними	–	1	–	–	–	–
Всего:	103 (37%)	174 (63%)	25 (15,5%)	137 (84,5%)	24 (60%)	16 (40%)

5. *Стяженные и нестяженные написания*

Переписчики ЛазПар пользуются вариантами записи адъективных флексий в разном соотношении (см. ТАБЛИЦУ 7).

Объединяет почерки рукописи одинаково малоактивное использование архаичных нестяженных вариантов (вовсе отсутствуют во 2 почерке¹⁴) во флексиях ед. числа -дго и -оумоу. Такой узус отражает сложившееся в древнерусской орфографии XI – первой половины XII в. орфографическое противопоставление этих окончаний флексиям мн. числа, имеющим -зы/-и- в составе (Жрысько, Мольков 2020: 211).

Наиболее активны нестяженные написания в 3 почерке, где на их основе появляются разнородные примеры гиперкорректного употребления с удвоением гласного. Удваивается гласный в имени одного из Вавилонских отроков (Дан. 3: 14) – Авденаго, формально сходном с адъективными формами на -дго: двь/дъндадго 10ов, 101а, д/

¹⁴ Что отличает орфографию почерка от употребления Домки в МилЕв, где флексии РП и ДП ед. числа пишутся и в нестяженном виде (см. Таблицу 29 в Жрысько, Мольков 2020: 203). Тем не менее характерно, что с л. 107г Домка перестает ими пользоваться. Таким образом, узус писца в Паримейнике совпадает с орфографией Милятина евангелия на лл. 107г-160.

ВЪДЪНАДГО 100Г, 101А, ДВЬ/ДЪНАДГО 101А, ДВЬДЪНАДГО 101А. Имя пишется только в таком виде. В одном примере удваивается гласный и: прииме/ть (!) 90а. Гиперкоррективизмы с лишним и встретились и в двух других почерках рукописи – в первом: вЪ исХОДИЩИИХЪ 12В, 14Г, ПОИ/ИМЪТЬ 42В; и во втором: ПОУТТИИ НАШИИХЪ 120А.

Окончания имперфекта в ЛазПар пишутся преимущественно в стяженной форме (несколько десятков примеров), тогда как нестяженные встретились всего 8 раз (в 1 почерке – ПОДРАЖАА/ХОУ 15Б, ХОГААХХОУ 15Б, ѠБИ/ДААХОУ 15Б; во 2 почерке – ИМААХОУ 67Б, БААХЪ 122А; в 3 почерке – ВЪЗДВІ/ЗДАШЕ 91А, ИСХО/ЖААХОУ 93В, ИСХОУШАШЕ 96Г), т.е. по активности сопоставимы с имеющим тот же гласный окончанием родительного–винительного падежа -ДГО.

6. Выводы

По некоторым из рассмотренных орфографических особенностей почерки ЛазПар оказываются противопоставлены. Инновационные черты в орфографии, связанные с фонетическими изменениями в древнерусском языке XII в., сконцентрированы в 1 почерке (количество основ с пропуском еров, позиции с их прояснением, примеры 'нового Ъ') и определяют датировку рукописи. 3 почерк выглядит архаичным по написанию слабых еров и использованию нестяженных вариантов адъективных флексий, хотя и в нем в других позициях южнославянизмы могут быть полностью устранены (ср. отсутствие ЖД для передачи *dj при использовании ЖД в 1 и 2 почерках).

Из совпадающих черт наибольший интерес представляет не совпадение общей доли вариантов в почерках, а орфографическая специфика в записи конкретных словоформ и буквосочетаний. Эти совпадения, показательные на фоне общего разнобоя и орфографических различий трех почерков, можно отнести к специфике орфографии скриптория при Лазаревом монастыре, в котором был переписан Паримейник. К таким характерным чертам скриптория можно отнести обособленность в записи наречия-предлога ПОСРЪДЪ, форм дательного и местного падежей местоимений ТЕВЪ, СЕВЪ только в виде ТЕВЕ, СЕВЕ, влияние титулового написания ОЦЬ на выбор буквы аффрикаты. Согласно нашим наблюдениям, а также существующим описаниям орфографии восточнославянских рукописей домонгольского периода, перечисленные особенности более нигде не зафиксированы. В то же время, все они, относясь к орфографически маркированным позициям, имеют искусственный характер (гласный в корне словоформы ПОСРЪДЪ по качеству ничем не отличается от гласного в других словоформах с корнем срЪд- и от корней с рефлексом *tert в целом; позиция аффрикаты после гласного о в естественных условиях не влияет на качество ее произношения и т.д.). Это позволяет видеть в оформлении перечисленных позиций локальную орфографическую традицию отдельного скриптория. Это предположение нуждается в проверке на материале ранее не описанных древнерусских почерков XII века.

Литература

- Аванесов 1988: Р.И. Аванесов (ред.), *Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)*, I, Москва 1988.
- Дурново 2000: Н.Н. Дурново, *Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка*, в: Он же, *Избранные работы по истории русского языка*, Москва 2000, с. 391-494.
- Живов 2006: В.М. Живов, *Восточнославянское правописание XI-XIII века*, Москва 2006.
- Карягина 1960: Л.Н. Карягина, *Редуцированные гласные в языке Июльской служебной минеи конца XI-начала XII вв.*, в: Р.И. Аванесов (ред.), *Материалы и исследования по истории русского языка*, Москва 1960, с. 5-58.
- Князевская 1993: О.А. Князевская, *Древнерусская рукопись паремийника XII-XIII в.*, в: Б.А. Успенский, М.Н. Шевелева (ред.), *Исследования по славянскому историческому языкознанию: Памяти профессора Г.А. Хабургаева*, Москва, 1993, с. 30-34.
- Князевская 1999: О.А. Князевская, *Древнейший список Паремийника (первая половина XII в., РГАДА, ф. 381, оп. 1, № 50)*, в: Л.Н. Смирнов (ред.), *Роль библейских переводов в развитии литературных языков и культуры славян: тезисы докладов международной научной конференции (Москва, 23-24 ноября 1999 г.)*, Москва, 1999, с. 44-46.
- Князевская, Коробенко 2003: О.А. Князевская, Л.А. Коробенко, *Древнейшая славянская рукопись Паремийника: (РГАДА, ф. 381, № 50)*, в: Э.Н. Добрынина (ред.), *Хризограф: Сб. статей к юбилею Г.З. Быковой*. Москва 2003, с. 33-43.
- Копко 1915: П.М. Копко, *Исследование о языке Пандектов Антиоха XI в.*, "Известия отделения русского языка и словесности РАН", XX, 1915, 3, с. 139-216.
- Кривко 2004: Р.Н. Кривко, *Графико-орфографические системы Бычковско-Синайской псалтири. II*, "Русский язык в научном освещении", 2004, 2(8), с. 172-202.
- Крысько, Мольков 2020: В.Б. Крысько, Г.А. Мольков, *Восточнославянские рукописи XI-начала XIII в.: Лингвистические очерки*, Москва 2020.
- Михеев 2019: С.М. Михеев, *Минеи двух Домок: Еще раз о писцах служебных миней из новгородского Лазарева монастыря*, "Slovēne. International Journal of Slavic Studies", VIII, 2019, 2, с. 7-56, DOI: <<https://doi.org/10.31168/2305-6754.2019.8.2.1>>.

- Мольков 2014: Г.А. Мольков, *Развитие орфографической системы новгородского писца Домки (на примере оформления флексии творительного падежа единственного числа в мужском и среднем роде)*, "Древняя Русь. Вопросы медиевистики", 2014, 3(57), с. 21-30.
- Мольков 2018: Г.А. Мольков (описание языка, подгот. текста, комм., словоуказатели), *Милятино евангелие. Рукопись РНБ, Ф.п.1.7. Лингвистическое издание. Указатели. Исследование*, Москва-Санкт-Петербург 2018.
- Мольков 2019: Г.А. Мольков, *Графико-орфографические особенности Толстовской псалтыри*, "Acta Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований", XV, 2019, 2, с. 392-436, DOI: <<https://doi.org/10.30842/alp2306573715214>>.
- Мольков 2020: Г.А. Мольков, *Формирование орфографических систем в древнерусской письменности XI-начала XIII века*: Дисс. ... доктора филол. наук, Санкт-Петербург 2020.
- Мольков 2021a: Г.А. Мольков, *Южнославянские способы написания рефлексов *тъгъ, *тъгъ, *тъгъ в почерке новгородского писца рубежа XI-XII в.*, "Russian Linguistics", LXIV, 2021, 2, pp. 159-173, DOI: <<https://doi.org/10.1007/s11185-021-09242-5>>.
- Мольков 2021б: Г.А. Мольков, *Ранние древнерусские примеры нового ятя и материал Лазаревского паримейника*, в: "Тодишник на Софийския университет 'Св. Климент Охридски' научен център за славяно-византийски проучвания 'Иван Дуйчев'", 2021, 102 (21), с. 401-406.
- Мольков 2022: Г.А. Мольков, *Особенности письма новгородского писца Домки XII века: орфографические аргументы тождества почерков Милятина евангелия и Лазаревского паремейника*, в: В.С. Ефимова (ред.), *Славянское и балканское языкознание*, XXI. Палеославистика, 4, Москва (в печати).
- Сидоров 1966: В.Н. Сидоров, *Редуцированные гласные ѣ и ѣ в древнерусском языке XI в.*, в: Он же, *Из истории звуков русского языка*, Москва 1966, с. 5-37.
- Федорова 2016: М.А. Федорова, *Графико-орфографические особенности Юрьевского евангелия 1119-1128 гг.*, "Древняя Русь. Вопросы медиевистики", 2016, 1(63), с. 81-90.
- Шахматов 1915: А.А. Шахматов, *Очерк древнейшего периода истории русского языка*, Петроград 1915.

Abstract

Georgiy Anatolyevich Molkov

Orthography of the Handwritings of the 12th Century Lazarevskij Paroemiaron

The *Lazarevskij Paroemiaron* (*Parimejnik*) is the earliest copy of this liturgical book in the Old Church Slavonic translation; according to the latest research, it dates back to the middle of the 12th century. This manuscript has East Slavic origins and contains important information on the history of Old Russian orthography. Three scribes contributed to the creation of the manuscript and their spelling varies in many respects.

Innovative spelling associated with phonetic changes in the Old Russian language of the 12th century are concentrated in the first handwriting: the number of stems with jer omissions, positions with the change of strong jers into *o* or *e*, and examples of the so-called “new *jat*’ (ѣ)”. This handwriting determines the dating of the manuscript. The second scribe also took part in the writing of another Old Russian manuscript, the Miljatino Gospel. The analysis of his part of the *Lazarevskij Paroemiaron* makes it possible to assess the degree of variability of spelling preferences of the same scribe when working on copies of different texts. The third handwriting looks archaic in the writing of weak jers and the use of non-contracted variants of adjective inflections, although in other positions South Slavicisms can be completely eliminated from it (compare the absence of *žd* for the reflex of **dj* when using *žd* in the first and second handwritings).

Of the coincidences in the spelling of the scribes, the most interesting is the spelling specificity in the recording of specific word forms and letter combinations. These coincidences, indicative against the background of the general inconsistency and spelling differences of the three handwritings, can be attributed to the specifics of the spelling of the scriptorium at the Lazarev Monastery, in which the *Parimejnik* was rewritten. These characteristic features of the scriptorium include the isolation in the recording of the adverb-preposition *posrědě*, the dative and local case forms of the pronouns *tebě*, *sebě*, only in the form of *tebe*, *sebe*, the influence of the same graphic clichés on the choice of the affricate letter.

Keywords

Old Russian Orthography; Paroemiaron; Loss of Reduced Vowels; New Jat’; **dj* Reflexes; *c-č* Merger; Contracted and Non-Contracted Inflections.

Yannis Kakridis
Simeon Dekker

Der diatribische Stil bei Kosmas dem Presbyter und Grigorij Camblak

1. *Die Diatribe: Eine Spur der antiken Populärphilosophie im orthodoxen slavischen Mittelalter*

Es ist ein Gemeinplatz, daß das Schrifttum des orthodoxen slavischen Mittelalters unter dem Einfluß der byzantinischen Literatur steht. Auch wenn die Auswahl der Texte, die übersetzt wurden, durch die Bedürfnisse der Kirche diktiert war, sind auf diesem Weg auch einzelne Elemente der antiken griechischen Literatur den orthodoxen Slaven vermittelt worden. Einem solchen Element – der Diatribe – ist der vorliegende Aufsatz gewidmet. Was die Diatribe ist, versteht man am besten, wenn man sich vorher mit einigen Beispielen vertraut gemacht hat:

- (1) “Ἄλλ’ οὐκ ἔχει ἡ πατρίς” φησὶν “ἄνδρα ὅστις μετὰ φρονήσεως αὐτῆς ἡγούμενος λαμπροτέραν ἀποφύγη.” τέως μὲν οὖν οὗτος ὁ λογισμὸς δείκνυσιν ὡς εἰς ὃ ἐπηγγείλω ἀνάρμοστος εἶ· εἰ γὰρ εἰς ἄλλο εἶ χρήσιμος, εἰς τὸ παρὸν οὐ χρήσιμος (Epiktet, *Encheiridion, Paraphrasis christiana* 31,18-19; Boter 1999: 378).

“Aber das Vaterland”, meint er, “verliert einen Mann, der ihm mehr Glanz verleihen könnte, indem er es mit Vernunft anführt”. Dieser Gedanke zeigt sofort, daß du für das, was du gelobt hast, ungeeignet bist. Auch wenn du für anderes geeignet bist – für die vorliegende Aufgabe bist du nicht geeignet¹ [ΥΚ]¹.

- (2) Ἄλλ’ ἐρεῖ τις· πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί; ποῖα δὲ σώματι ἔρχονται; ἄφρων, σὺ δὲ σπείρεις, οὐ ζωοποιεῖται ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ· καὶ ὁ σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ γεννησόμενον σπείρεις, ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον εἰ τύχοι σίτου ἢ τίνος τῶν λοιπῶν· ὁ δὲ θεὸς δίδωσιν αὐτῷ σῶμα καθὼς ἠθέλησεν, καὶ ἐκάστω τῶν σπερμάτων ἴδιον σῶμα (1K 15,35-38; Aland 2012: 550).

‘Aber – so wird einer fragen: Wie werden denn die Toten auferweckt? In was für einem Leib werden sie kommen? Du Tor! Was du säst, wird nicht zum Leben erweckt, wenn es nicht stirbt. Und was säst du? Nicht den zukünftigen Leib säst du, sondern ein nacktes Korn, ein Weizenkorn etwa oder ein anderes Korn².

¹ Übersetzungen stammen, wenn nichts anderes vermerkt ist, von uns (ΥΚ oder SD); oben: ΥΚ.

² Wir übernehmen die Übersetzung der Zürcher Bibel (Kirchenrat 2008: 277).

- (3) Ἐπεὶ, εἰπέ μοι, τίς μείζων, ὁ νίπτων τοὺς πόδας, ἢ ἐκεῖνος, οὗ νίπτει τοὺς πόδας; Πάντως ὅτι ἐκεῖνος μείζων οὐ ἔνιψε τοὺς πόδας ὁ νίπτων. Ἄλλ' ὁ Σωτὴρ ἔνιψε τοὺς πόδας τοῦ προδότου Ἰούδα· μετὰ γὰρ τῶν μαθητῶν ἦν. Τί οὖν; ἄρα μείζων ὁ προδότης Ἰούδας τοῦ Χριστοῦ, ἐπεὶπερ ὁ Χριστὸς ἔνιψε τοὺς πόδας αὐτοῦ; Μὴ γένοιτο (Johannes Chrysostomus, *Gegen die Anhomöer* 9, 15-20: Malingrey 1994: 214).

‘Sag mir doch: wer ist größer, der, der die Füße wäscht, oder der, dem die Füße gewaschen werden? Gewiß ist der größer, dem der Waschende die Füße gewaschen hat. Aber der Heiland hat die Füße des Verräters Judas gewaschen; denn Judas war damals noch zusammen mit den Jüngern. Was nun? ist etwa der Verräter Judas größer als Christus, weil Christus seine Füße gewaschen hat? Das sei ferne!’ [ΥΚ].

- (4) Πλεονεξίας εἶδος τὸ χαλεπώτατον, μηδὲ τῶν φθειρομένων μεταδιδόναι τοῖς ἐνδέεσι. Τίνα, φησὶν, ἀδικῶ συνέχων τὰ ἑαυτοῦ; Ποῖα, εἰπέ μοι, σαυτοῦ; πόθεν λαβῶν εἰς τὸν βίον εἰσήνεγκας; (Basilius Caesariensis, *Reden über den Reichtum* 1, 6-7; Courtonne 1935: 33-35).

‘Die schlimmste Art von Habsucht ist es, sogar verderbliche Güter den Bedürftigen vorzuenthalten. Wem, sagt er, füge ich Unrecht zu, wenn ich mein eigenes Gut bei mir behalte? Was für ein “eigenes Gut”, sag mir? Woher hast du es genommen und ins Leben eingeführt?’ [ΥΚ].

Bei allen vier Beispielen handelt es sich um argumentative Texte. Die Argumentation wird darin als Dialog mit einem imaginären Opponenten gestaltet, dessen Einwürfe der Autor selbst vorträgt, um sie dann – mit einem Seitenblick auf seine Leser oder Hörer – zu widerlegen. Durch Reduktion oder gar vollständige Auslassung der Redeeinleitungen, durch den Gebrauch von Anreden, Fragen, Imperativen und geeigneten Diskurspartikeln (sowie, bei mündlichem Vortrag, durch die entsprechende Intonation) wird dabei der Eindruck erweckt, daß der Dialog nicht so sehr erzählt als nachgespielt wird.

Der Dialog mit einem imaginären (meist auch anonymen) Opponenten ist das Konstruktionsprinzip der Diatribe. Diesem Prinzip entspricht auf der formalen Seite eine Reihe von charakteristischen Sprachmitteln:

- Reduzierte Redeeinleitungen wie ἐρεῖ τις ‘jemand könnte sagen’ oder das parenthetische φησὶν ‘sagt er’, das geradezu als Markenzeichen der Diatribe gilt;
- Die Frage τί οὖν; ‘was also?’ zur Einleitung eines Einwandes, der dann mit μὴ γένοιτο ‘das sei ferne’ entschieden zurückgewiesen wird;
- Vokative, z.B. ἄνθρωπε ‘Mensch’, ἄφρων ‘du Narr’;
- Fragen wie ὁρᾷς; ‘siehst du?’, τί λέγεις; ‘was sagst du?’ oder Imperative wie ὄρα ‘siehe’, εἰπέ μοι ‘sag mir’.

Die Diatribe entsteht in der hellenistischen Antike und erlebt ihre Blütezeit in der Populärphilosophie der römischen Zeit. Von dort geht sie auf das Neue Testament (Paulusbriefe, Jakobusbrief) und auf die Kirchenväter (in erster Linie Johannes Chrysosto-

mus) über³. Diese Texte sind es auch, die in übersetzter Form die Leser des orthodoxen slavischen Mittelalters mit der Diatribe bekannt machen. Der einzige nichtchristliche Text, der diatribische Elemente enthält und (freilich nur in christlicher Überarbeitung) den Weg in das kirchenslavische Schrifttum gefunden hat, ist das 'Handbüchlein der Moral', das *Encheiridion* des Epiktet. Aus ihm stammt unser erstes Beispiel, das in der altbulgarischen Übersetzung folgende Gestalt hat:

(1') "Нъ не имать" рече "от(ъ)чина мѡужа, иже бы власть славнѣишо явилъ." Обаче оубо такъ помыслъ кажетъ са тако на неже са овѣща не приключимъ еси. Аще бо на ино покоусьнъ еси, на нышнее (*varia lectio*: нынѣшнее) же не покоусьнъ (Bulanin 1991: 310)⁴.

Wir geben auch die kirchenslavische Übersetzung der übrigen Abschnitte wieder, damit sich der Leser ein Bild von den sprachlichen Mitteln machen kann, mit denen die Übersetzer die diatribischen Elemente des Griechischen wiedergegeben haben:

(2') Нъ речесть кто: како възстають мъртвини, кымъже тѣлѡмъ придѡуть? Безоумлю, ты еже съиши, не оживеть, аще не оумьреть: И еже съиши, не тѣло бывающее съиши, нъ голо зьрно, аще клячуть са, пшеница или коего проудго. Б(ог)ъ же даетъ кѡмоу тѣло, такоже възхотѣ, и кѡнемоуждо съмени свое тѣло (Kažuňiacki 1896: 160).

(3') Аште ли то рьци ми: Кто боли? оумываа ли нозѣ, или онъ кѡмоуже оумывадатъ нозѣ? оуто тако онъ боли кѡмоуже оумы нозѣ мьни. Нъ съпасъ оумы нозѣ прѣдавѣшооумоу и иудѣ; съ оученикы бо бѣ. Что оубо? Деши боли прѣдавѣи иуда христоса понеже оумы христосъ нозѣ кѡмоу? Не бѣди! (Zaimov *et al.* 1982: 303).

(4') Лиχοименниа образъ горьдѣишии кестъ еже ни тѣлѣжштинѡхъ подрати трѣбѣжштинимъ. Кого, речеши, обиждо държа своа? Кага, повѣждь ми, своа? Отъкоудоу възьмъ въ житие възнесе? (Janeva *et al.* 2015: 469).

Die Diatribe ist von der slavischen Philologie als eigenes Phänomen bislang nicht ins Auge gefaßt worden. Eine bemerkenswerte Ausnahme bildet die Arbeit von A. Läg Reid über den rhetorischen Stil des Exarchen Johannes, wo am Beispiel eines Abschnitts aus dem "Hexaameron" die wichtigsten Merkmale der Diatribe vorgestellt werden (Läg Reid 1965: 7-43). A. Karavaškin erwähnt die Diatribe in Verbindung mit dem literarischen Werk

³ Die Bibliographie über die Diatribe ist sehr umfangreich. Eine gute Einführung bieten W. Capelle und H.I. Marrou im *Reallexikon für Antike und Christentum* (Capelle *et al.* 1957: 990-1009) und S.K. Stowers in seiner Dissertation über den Römerbrief (Stowers 1981: 7-78).

⁴ Das Zitat wird, wie auch alle folgenden, mit moderner Interpunktion und vereinfachter Orthographie wiedergegeben. Abkürzungen werden aufgelöst, supralineare Zeichen ausgelassen, hochgestellte Buchstaben in die Zeile gesetzt und dabei fehlende Buchstaben in runden Klammern ergänzt. Wir ersetzen: i, ѓ, ѣ, ѥ > е; ѡ > о; enges und breites ѣ > е; ѡ > о; ѡ > о; ѡ > о; ѡ > о. Bei der Ergänzung fehlender Buchstaben folgen wir der altkirchenslavischen Norm.

Ivans IV., setzt sie aber mit dem polemischen Dialog gleich, was nicht zutrifft (Karavaškin 2011: 419 und 442). Marcello Garzaniti verbindet das Auftreten der Diatribe in Rußland mit dem Werk von Maksim Grek (Gardzaniti 2019: 9-10).

Auf das zentrale Merkmal der Diatribe – den fiktiven Dialog – geht auch Alexander Naumow in seiner Untersuchung zur Funktion der Bibel in der kirchenslavischen Literatur ein. Das entsprechende Kapitel trägt den Titel *O specyficke komunikacji literackiej w prawostawnym średniowieczu* (Naumow 1983: 5-28); es ist vor kurzem auch in russischer Übersetzung erschienen (Naumov 2020: 85-118). Nach A. Naumow ist der fiktive oder vorgespelte Dialog (“dialog pozorny czy pozorowany”, “mnimyj dialog”) ein Mittel, das innerhalb der kommunikativen Beziehung “Ich (der Prediger, der Autor) – ihr (meine Hörer, Adressaten)” und “Wir, die Gläubigen und unser Gott – sie, die Ungläubigen, die falschen Götter” eingesetzt wird, um Monotonie zu vermeiden. Es setzt voraus, daß sich der Autor (und seine Leser, darf man hinzufügen) der Zweiseitigkeit der betreffenden Äußerung bewußt sind – also dessen, was wir oben in Anschluß an M. Bachtin den Seitenblick auf den tatsächlichen Adressaten des Textes genannt haben⁵.

Es ist sicher ein Verdienst von A. Naumow, auf den fiktiven Dialog im kirchenslavischen Schrifttum hingewiesen zu haben. Leider war sich jedoch der polnische Forscher der literarischen Wurzeln dieses Verfahrens nicht bewußt. Der Terminus *Diatribe* kommt in seinen Ausführungen nicht vor. Auch die Untersuchung von A. Läg Reid scheint er nicht zu kennen. Vielleicht liegt es daran, daß A. Naumow den fiktiven Dialog auch an Stellen sieht, wo er keineswegs vorliegt. Wenn etwa im Rahmen der Ektenie der Diakon *Господу помолимся!* ausruft und die Gemeinde (d.h. in der Regel der Chor) als Antwort *Господи, помилуй!* singt, so führt sie einfach die Aufforderung des Diakons aus. Der Adressat dieses *Господи, помилуй!* ist Gott. Darin zugleich den Beginn – oder die Fortsetzung – eines fiktiven Dialogs mit dem Diakon zu sehen, führt in die falsche Richtung. Ein solcher Dialog läge nur vor, wenn die Bitte um Gnade (zum Schein) an den Diakon adressiert wäre, um damit (indirekt) Gott zu erreichen – eine abwegige Vorstellung, die bereits durch den Vokativ *Господу* widerlegt wird.

Naumows These, die Funktion des fiktiven Dialogs bestehe nur in der Vermeidung von Monotonie, muß ebenfalls mit einem Fragezeichen versehen werden. Die Diatribe ist kein bloßer Zierat, sondern besitzt – wie jede wahrhafte Form – ihre eigene Substantialität. Im diatribischen Vortrag wird nämlich die Scheidewand zwischen dem “Wir”

⁵ Statt “Autor” und “Äußerung” sagt A. Naumow “narrator” und “komunikat”. Da die polnische Fassung von 1983 nicht leicht zugänglich ist, zitieren wir den betreffenden Abschnitt im Original: “Osobnym zagadnieniem, które nie zostało uwzględnione w tym omówieniu, jest dialog pozorny czy pozorowany, którego pewne elementy występują w singularyzacji typu Ia [azь / kaznodzieja, autor/ - vy / słuchacze, odbiorcy/] i zwrotach polemicznych z IIIb [my, wierni + Bóg nasz – oni, niewierni, nie-Boży]. Uzasadnieniem takiego dialogu jest przekonanie narratora o dwustronności komunikacyjnej danego komunikatu, a przytoczenia mają służyć przełamaniu monotonii wypowiedzi” (Naumow 1983: 25 = Naumov 2020: 113-114).

der Gemeinde und dem “Sie” der von dieser Gemeinde Ausgeschlossenen durchbrochen. Am deutlichsten wird dies in den Fällen, wo ein Einwand mit einem parenthetischen φησίν (3. Person) markiert und dann in direkter Rede (2. Person) beantwortet wird. In solchen Fällen vollzieht gewissermaßen der Text selbst die Bewegung, die die Scheidewand zwischen dem “Wir” und dem “Sie”, durchbricht. Es handelt sich dabei zugleich um die Scheidewand, die Belehrung und Widerlegung, Glauben und Zweifel, apodiktische und dialektische Argumentation (im aristotelischen Sinn) voneinander trennt. Warum muß sie überhaupt durchbrochen werden? Weil der Inhalt, um den es geht, zwar mit dem Anspruch auf objektive, göttliche Wahrheit vorgetragen wird, diesen Status aber nur einem Akt subjektiver, persönlicher Aneignung verdankt, die sich der Einzelne immer wieder neu erkämpfen muß⁶. Die Ambivalenz, die aus diesem Kampf resultiert, findet ihren formalen Ausdruck in der doppelten Ausrichtung des diatribischen Dialogs, der deshalb auch bei der Darlegung nackter historischer Tatsachen oder mathematischer Lehrsätze, wo die Gefahr der Monotonie nicht weniger gross ist, keine Verwendung findet.

Die Autoren des vorliegenden Aufsatzes haben in den letzten Jahren im Rahmen eines vom Schweizerischen Nationalfonds finanzierten Forschungsprojekts zwei diatribische Formeln – das parenthetische φησίν und das verneinende μή γένοιτο – enger ins Auge gefaßt und ihre Wiedergabe an einer Reihe von Übersetzungstexten (die chrysostomischen und pseudochrysostomischen Homilien im Suprasliensis; der *Izbornik* des Jahres 1073; das *Hexaemeron* Johannes des Exarchen; der *Zlatostruj*; der *Apostolos* des Franciscus Skaryna) untersucht. Dabei wurden auch andere Formeln (etwa der Vokativ ἀνθρωπε/υλοβ'υε) herangezogen und die argumentative Struktur einzelner Abschnitte analysiert⁷.

In diesem Aufsatz soll nun – unter Rückgriff auf die an den übersetzten Texten gewonnenen Ergebnisse – der Einfluß der Diatribe auf zwei Autoren des orthodoxen slavischen Mittelalters untersucht werden: Kosmas den Presbyter und Grigorij Camblak.

2. *Kosmas der Presbyter*, Homilie gegen die neuerschienene Häresie des Bogomil

Die *Homilie* (Βερεβδα) gegen die neuerschienene Häresie des Bogomil des Presbyters Kosmas ist eines der originellsten Werke der altbulgarischen Literatur und zugleich eines der populärsten. Ju. K. Begunov nennt 25 vollständige Abschriften des Textes, die allesamt aus dem ostslavischen Raum stammen (Begunov 1973: 19-21, 162-194). Daneben gibt es eine Vielzahl von selbständig überlieferten, mehr oder weniger stark überarbeiteten Auszügen ost- und südslavischer Herkunft (Begunov 1973: 21-161).

⁶ Dies gilt sowohl für die stoische Weltsicht Epikurs als auch für die Botschaft des Neuen Testaments.

⁷ Einen knappen Überblick über die Resultate der ersten Phase des Projekts bietet der Aufsatz (Kakridis im Druck a). Dort sind auch die im Rahmen des Projektes bislang entstandenen Publikationen aufgeführt.

Über die Entstehungszeit von Kosmas' Werk gibt es eine Vielzahl einander widersprechender Hypothesen. Im Eingangsteil seines Werkes gebraucht Kosmas die Formulierung *в лѣта правобѣрнаго ц(ар)а Петра* 'In den Jahren des rechtgläubigen Zaren Peter' (Begunov 1973: 299). Diese Formulierung legt nahe, daß Kosmas die *Homilie gegen die neuerschienene Häresie des Bogomil* erst nach 969, dem Jahr der Abdankung Peters, geschrieben hat. Die *Homilie* kann aber auch nicht sehr lange nach diesem Datum verfaßt worden sein. So sollen etwa zur Zeit, wo Kosmas schreibt, noch viele Menschen leben, die Johannes den Exarchen (einen Autor der ersten Hälfte des 10. Jh.) persönlich gekannt haben (79,11-12)⁸. Auch die bulgarische Staatlichkeit scheint weiterhin zu bestehen, wenn das Land auch von Kriegswirren heimgesucht wird (46,8-9). Man hat deshalb die Abfassung der *Homilie* zwischen 969, dem Ende der Regierungszeit des Zaren Peter, und 972, dem Jahr der Unterwerfung Bulgariens durch Byzanz (Popruženko 1936: LX-LXIX), oder gar in die ersten Monaten der byzantinischen Besetzung gesetzt (A. Vaillant in: Puech *et al.* 1945: 19-24). Ob allerdings diese von Krieg und Zusammenbruch geprägten Jahre der Niederschrift eines solchen Werkes günstig waren, ist mehr als fraglich. Aus diesem Grund kann eine Entstehung des Werkes in den 50er Jahren des 10. Jh., wie sie D. Petkanova (2001: 346) vorschlägt, u.E. nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Andere Forscher verlegen die Abfassungszeit der *Homilie* in das 11. (Ju. Trifonov, V.S. Kiselkov; neuerdings auch G. Minzew) oder gar in das 13. Jahrhundert (E. Georgiev). Die letztere Hypothese ist sicher falsch, da ein Fragment des Textes auf einem Pergamentblatt aus der 2. Hälfte des 12. Jh. überliefert ist (Begunov 1973: 34-38, 400-401).

Die *Homilie gegen die neuerschienene Häresie des Bogomil* wurde von M.G. Popruženko (1936: 1-80) und Ju.K. Begunov (1973: 297-392) kritisch ediert. Beide Ausgaben haben Vor- und Nachteile. Die Ausgabe von Ju. K. Begunov stützt sich auf ein breites handschriftliches Fundament, weist aber in Fragen der Interpunktion und der Absatzgestaltung erhebliche Schwächen auf. M. G. Popruženko arbeitet auf einer engeren Textgrundlage, bietet aber trotz einzelner technischer Fehler (Popruženko 1936: 82) einen lesbareren Text. Zudem weist seine Ausgabe am Rande eine Zeilenzählung auf, die genaue Verweise auf einzelne Passagen ermöglicht, und ist – last but not least – im Internet zugänglich. Hier wird versucht, die Vorteile beider Ausgaben zu verbinden: wir zitieren nach der Ausgabe von M.G. Popruženko, verbessern jedoch ihren Text, wo es nötig erscheint, nach der Ausgabe von Ju.K. Begunov. – Der altkirchenslavische Text wurde mehrmals übersetzt, unter anderem ins Französische (Puech *et al.* 1945: 53-128) und ins Polnische (Minzew *et al.* 2015: 67-125).

In thematischer Hinsicht ist Kosmas Text nicht homogen. Im ersten Abschnitt, der ungefähr die Hälfte des Textes einnimmt (1,1-42,21) werden nacheinander einzelne Lehren der Bogomilen widerlegt: die Ablehnung der Sakramente, des Kreuzeszeichens, der

⁸ Alle Verweise auf den Text der *Homilie* beziehen sich auf die Seiten- und Zeilenzahl der Edition von G.P. Popruženko, also 79,11-12 = Popruženko 1936: 79, Zeile 11-12. Ein Digitalisat dieser Edition findet man unter: <<http://ia802802.us.archive.org/27/items/bulgarskistarini12bulguoft/bulgarskistarini12bulguoft.pdf>> (Abruf am 16.05.2022).

Ikonen, des Alten Testaments etc. Daran schließt sich ein Abschnitt an, in dem die orthodoxe Auffassung der Ehe und des Mönchtums gegen Mißverständnisse verteidigt wird, die unter den Gläubigen selbst Wurzeln geschlagen haben (42,22-62,13). Den gemeinsamen Abschluß beider Abschnitte bildet der Satz: Се оуже оуказахъ имъ(ъ) [v.l. оуказахом, Begunov 1973: 373] и заградихомъ(ъ) оуста еретикомъ и всѣмъ хоулацимъ(ъ) истинуу [...], не своа износаще словеса, но х(ри)с(то)ва вѣщающе оученьа 'So haben wir nun mit unserer Beweisführung den Häretikern und allen, die gegen die Wahrheit lästern, das Maul gestopft. Wir brachten dabei nicht unsere eigenen Worte vor, sondern verkündeten die Lehren Christi' (62,13-15). Es folgt eine Reihe von Anathematismen, die im Hinblick auf die Lehren der Bogomilen abgefaßt sind (62,16-63,21). Der dritte und letzte Abschnitt des Werkes ist eine Buß- und Mahnpredigt, in der nach einem allgemeinen Teil (63,22-69,12) die reichen Mitglieder der Gemeinde (69,12-74,23) und die Geistlichkeit (74,26-79,15) ins Auge gefaßt werden. Das Werk schließt mit einem Kolophon, in dem der Autor in gut mittelalterlicher Manier um Nachsicht für seine Unwissenheit bittet (79,16-80,14).

Kosmas Werk weist also gewissermaßen einen doppelten Abschluß auf: 62,13-63,21 (Abschluß der Argumentation gegen die Bogomilen und einzelne schwankende Gläubige; Anathematismen) und 79,16-80,14 (Kolophon mit Bescheidenheitstopik). Dieser doppelte Abschluß hat M.G. Popruženko (1936: XLIII-LIX) zur Annahme bewogen, daß der dritte Abschnitt zuerst als eigenständiges Werk konzipiert und erst nachträglich mit den beiden ersten zu einem Ganzen verbunden wurde. Streng beweisen läßt sich diese Annahme nicht; sie ist jedoch nicht ganz unplausibel. Vaillants Urteil, daß sich der dritte Abschnitt ohne die beiden ersten nicht verstehen läßt (Puech *et al.* 1945: 19), oder A. Miltenovas These, daß das Werk einer einheitlichen Konzeption gehört und einen festgefügteten Bau aufweist (Anguševa *et al.* 2008: 283), sind zu einseitig, zumal sich die Heterogenität von Kosmas' Werk auch in den Überschriften zeigt, die es in den Handschriften trägt. Die Überschrift Недостойного Козмы Прозвитера всѣгда на новаивившоую са ересь Богомилоу deckt nur die ersten beiden Abschnitte ab. Sie wurde im Laufe der Überlieferung zu Слово сватаго Козмы Презвитера на еретикы препрвние и поучение отъ(ъ) божественыхъ книгъ bzw. zu Слово блаженнаго Козмы о спасении душевнѣмъ и на еретикы abgeändert (Begunov 1973: 297).

Die Gattungsbezeichnung "всѣгда" ('Predigt, Homilie'; ursprünglich 'Gespräch'), die vielleicht auf Kosmas selbst zurückgeht, trifft, wie wir noch sehen werden, den Stil des Werkes sehr gut. Die Forschung hat auch darin erwartungsgemäß Anklänge an die Homiletik der Kirchenväter gefunden. Besonders bei Johannes Chrysostomus hat Kosmas viele direkte Anleihen gemacht (Puech *et al.* 1945: 47-52, cfr. Begunov 1973: 257-281). Doch ist diese Predigt zu lang, um an einem Stück vorgelesen zu werden. Daß Kosmas nicht nur mit Hörern, sondern auch mit Lesern rechnete, zeigt sich im Kolophon, wo er sich an jeden Menschen richtet, der "dieses Schreiben (Buch?) liest" (79,14f). Auch im Werk selbst findet sich an drei Stellen das Verb писати: пишемъ (28,10), писати (32,3), намъ(ъ) ... пишущимъ(ъ) се (52,11).

Was ist nun die kommunikative Organisation von Kosmas' Werk? Die primäre kommunikative Situation der *Homilie gegen die neuerschienene Häresie des Bogomil* ist tatsäch-

lich das Gespräch zwischen Gleichgesinnten – dem Presbyter Kosmas und seinen orthodoxen Mitbrüdern. Kosmas rät seinen orthodoxen Adressaten ausdrücklich davon ab, mit den Bogomilen (die er stets als Häretiker bezeichnet) ins Gespräch zu treten (4,24-5,7). Tatsächlich kommen aber solche Gespräche – die man als die sekundäre kommunikative Situation der “Homilie” betrachten kann – in seinem Werk auf Schritt und Tritt vor. Sie sind nicht als einmalige Ereignisse zu verstehen, sondern als Situationen, die in der Vergangenheit immer wieder eintraten und auch in Zukunft immer wieder eintreten werden. Im folgenden Beispiel geht es um die Kritik, die die Bogomilen an der Lebensweise des orthodoxen Klerus übten; wir zitieren nur die Redeeinleitungen:

- (5) *Еретици ж(ε) си словеса слышавше от(з)вѣщають(з) ны г(лагг)л(ѣ)ще: “...”* (13,4-5).
 ‘Die Häretiker hören diese Worte und geben uns folgende Antwort: ...’

Мы же им(з) от(з)вѣщамъ сице: “...” (13,19).
 ‘Wir aber wollen ihnen folgendermaßen antworten: ...’

Бестоуднии же и высокооумни еретици не стыдаще са пакы гл(агол)ють: “...” (13,21-22).
 ‘Die schamlosen und hochmütigen Häretiker schämen sich nicht, zu entgegnen: ...’

Мы ж(ε) имъ от(з)вѣщамъ гл(аголѣ)ще: “...” (14,5).
 ‘Wir aber wollen ihnen mit folgenden Worten antworten: ...’ [ΥΚ].

Der Dialog wird allerdings hier nicht dramatisch nachgespielt, sondern (als habituelle oder prospektive Situation) erzählt. Die ausführlichen Redeeinleitungen sorgen dafür, daß die Grenze zwischen der primären und der sekundären kommunikativen Situation stets gewahrt bleibt. Um erzählten Dialog handelt es sich auch in folgendem Abschnitt:

- (6) *Но что гл(агол)ють еретици? “мы паче вде(з) в(ог)а молим(з) [...]”* (4,12-13).
 ‘Was sagen jedoch die Häretiker? “Wir beten mehr zu Gott als ihr [...]”

Мы же к ним(з) от(з)вѣщаемъ(з): “что са хвалите высокооумни еретици [...]” (4,16-17).
 ‘Wir aber antworten ihnen: “Wessen rühmt ihr euch denn, hochmütige Häretiker [...]”

“Но мы”, рѣша, “в(ог)а призываемъ(з) молаште са”. Мы ж(ε) к ним(з) от(з)вѣщаемъ(з): “то и вѣсовъ не слышите ли [...]” (4,18-20).

“Aber wir”, sagen sie, “rufen beim Gebet Gott an”. Wir aber antworten ihnen: “Hört ihr denn nicht auf die Dämonen [...]” [ΥΚ].

In der Replik der Bogomilen ist die Redeeinleitung auf das parenthetische *рѣша* reduziert. Von hier aus ist es nur ein Schritt zum dramatisierten Dialog der Diatribe. Dazu braucht nur die zweite Redeeinleitung ausgelassen zu werden:

- (7) “Но мы”, рѣша, “Д(а)в(и)да не послушадѣмъ, ни прор(о)кѣ, но самаго ѿв(д)галла, ниж(е) живѣм(ъ) по законуꙋ Моисииноꙋ, но ап(о)с(то)льскоꙋ.” “То оꙋже послушадите, еретици, аще имате оꙋши, да вы оꙋкажѣте, ꙗко не послушадѣте прор(о)кѣ и закона и самаго Х(рист)а от(ъ)мѣщѣте са” (20,10-14).

“Aber wir”, sagen sie, “hören weder auf David noch auf die Propheten, sondern auf das Evangelium selbst, und wir leben nicht nach dem Gesetz Mose, sondern nach dem der Apostel.” “So hört denn, Häretiker, wenn ihr Ohren habet, damit ich euch beweiße, daß sich jene, die auf die Propheten und das Gesetz nicht hören, auch von Christus selbst lossagen” [ΥΚ].

Das beste Beispiel für den fiktiven Dialog der Diatribe finden wir interessanterweise nicht im ersten, antihäretischen Teil der “Homilie”, sondern im zweiten, in dem es um die falsche Haltung geht, die manche Orthodoxe gegenüber der Ehe bzw. dem Klosterleben einnehmen:

- (8) “Но азъ”, рече, “в(о)гатъ есмь да пострадаю хоцю в монастыри и сп(а)сти д(о)ушою свою в нищете живы. А зъдѣ въ мирѣ нѣльзѣ сп(а)сти са, Ап(о)с(то)лоꙋ гл(а)голющю: ‘не любите мира сего и ꙗж(е) соꙋтъ в немъ’.” “То аще не вѣси, чл(о)в(ъ)че, о чѣмъ то рече(н)о ес(тъ), то послушди иоанна в(о)гослова: [...]” (45,5-9).

“Aber ich”, sagt er, “bin reich und will deshalb im Kloster leiden und meine Seele retten, indem ich in Armut lebe. Hier in der Welt kann man sich nicht retten, wie auch der Apostel sagt: ‘Habet nicht lieb die Welt und was in der Welt ist’”. “Mensch, wenn du nicht weißt, worüber das gesagt wurde, so höre doch Johannes den Theologen: [...]” [ΥΚ].

Das parenthetische *peche* (φησί), der Übergang in die 2. Person ohne vorangehende Redeeinleitung und nicht zuletzt auch die Anrede *чловече* (ἄνθρωπε) weisen den diatribischen Charakter dieses Abschnittes aus, der so aussieht, als sei er aus einer chrysostomischen Predigt direkt übernommen worden. Bemerkenswert ist, daß Kosmas auch im fiktiven Dialog die Aoristform *peche* beibehält. In den kirchenslavischen Übersetzungen aus dem Griechischen wird das diatribische *φησί(ν)* gelegentlich mit dem Präsens übersetzt (*peчeтъ*), das für diese Funktion wegen seiner potentiellen Bedeutung sogar geeigneter ist als der Aorist⁹.

Beispiele (7) und (8) sind die Stellen, an denen bei Kosmas der diatribische Stil am deutlichsten zum Vorschein kommt. In der Regel sind in der *Homilie* die Übergänge zwischen der primären und der sekundären kommunikativen Situation, zwischen Belehrung der Orthodoxen und Widerlegung der Häretiker bzw. der widerspenstigen Gemeindeglieder weniger kunstvoll. So fällt Kosmas nach dem oben zitierten Abschnitt 20,10ff (Beispiel 7) bald wieder in die 3. Person zurück:

⁹ Einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten der Wiedergabe des diatribischen *φησί(ν)* in den übersetzten Texten enthält der Aufsatz (Kakridis im Druck a); siehe auch Kakridis 2019: 138-142.

- (9) ЧТО БО ЗЛО И ЗАЗОРНО ВИДИВШЕ ВЪ ЗАКОНѢ ИЛИ ВЪ ПРОРО(О)ЦѢХЪ ЕРЕТИЦИ ПОХОУЛАЮТЬ И ОТ(Ъ) МЕЦЮТЬ? (20,18-21,2).

‘Was haben die Häretiker im Gesetz und in den Propheten für schlechte und tadelnswerte Dinge gefunden, daß sie sie tadeln und verwerfen?’ [ΥΚ].

Unmittelbar danach wird auf die “Häretiker” (d.h. die Bogomilen) mit der 2. Person referiert, indem in das Evangelienzitat Luk. 13,28 ein im Original natürlich nicht vorhandenes *еретици* (v.l. *еретикы*) eingefügt wird:

- (10) ЕГДА ОУЗРИТЕ АБРААМА И ИСААКА И ЯКОВА И ВСА ПРОРО(О)КЫ ВЪ Ц(А)РСТВИИ Б(О)ЖИИ, ВА СЪ Ж(Е) ЕРЕТИЦИ ИЗГОНИМЫ ВЪНЪ [...] (21,4-5).

‘Wenn ihr aber seht, wie Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reiche Gottes sind, ihr aber, Häretiker, hinaus gejagt werdet [...]’ [ΥΚ].

Der Text setzt mit *ТО КАКО ВЫ ГЛ(АГОЛ)ЕТЕ* (21,6) und *ТО НЕ СЛЫШИТЕ ЛИ* (21,7-8) die Widerlegung der Häretiker fort, um dann unvermittelt in die primäre kommunikative Situation zurückzufallen:

- (11) ДА СЕ ОУЖЕ ОУКАЗАХОМ(Ъ) ВАМЪ Х(РИСТ)ОЛЮБЦИ КАКО ПРОТИВНИЦИ И ВРАЗИ СОУТЬ Д(ОУ)ХОУ С(ВА) ТООУМОУ ЕРЕТИЦИ (21,13-14).

‘So haben wir euch nun gezeigt, Christusliebende, daß die Häretiker Gegner und Feinde des Heiligen Geistes sind’ [ΥΚ].

In der “Homilie” des Presbyters Kosmas wird also eine primäre, didaktische, mit einer sekundären, polemischen kommunikativen Situation kombiniert. Das Modell dazu hat zweifellos die Diatribe des Neuen Testaments und der Kirchenväter geliefert. Allerdings fehlt Kosmas’ Stil jene Geschmeidigkeit, mit der etwa ein Johannes Chrysostomus von der primären zur sekundären kommunikativen Situation, von der Didaktik zur Polemik überzugehen versteht.

3. *Grigorij Camblak, sieben Homilien*

Grigorij Camblak wurde zwischen 1357 und 1371 in der Hauptstadt des zweiten bulgarischen Reiches, Tärnovo, geboren¹⁰; er diente eine Zeitlang als Abt des Klosters Dečani; 1415 wurde er zum Kiever Metropolitengeweiht; in dieser Eigenschaft nahm er 1418 am Konstanzer Konzil teil; er ist im Winter 1420 gestorben. Die Tatsache, daß er in Bulgarien geboren wurde, in Serbien das Amt des Abtes innehatte und als Kiever Metropolit

¹⁰ Das genaue Geburtsjahr Grigorij Camblaks ist bis heute Gegenstand heftiger Debatten. Thomson (1998: 11) geht von einem etwas längeren Zeitrahmen zwischen den Jahren 1362 und 1371 aus, wohingegen Petkanova (2007: 55) sich auf die Jahre 1357-1363 festlegt. Begunov (2005: 15) nennt 1364 als ungefähres Geburtsjahr.

gestorben ist, hat zur Folge, daß er sowohl von bulgarischer, serbischer, russischer, als von ukrainischer Seite als Repräsentant des jeweiligen Kulturraums beansprucht wird. Für unsere Untersuchung sind derlei nationalistische Überlegungen, die manchmal sogar auf die Slavistik übertragen werden, jedoch nicht relevant, da wir den Einfluß der Diatribe auf den orthodoxen slavischen Raum untersuchen, von dem alle vier Kulturräume Exponenten sind. Auf kultureller und literarischer Ebene waren diese vier Räume während des gesamten Mittelalters derart stark miteinander verknüpft, daß Camblak als Person, insoweit er die Kommunikationsstrategien der Diatribe implementiert hat, als Vertreter des gesamten orthodoxen Slaventums gelten darf.

Schon D. Freydank (1988) stellt in der Sprache Grigorij Camblaks auf allen sprachlichen Ebenen Entlehnungen aus dem Griechischen fest. Er schließt dabei zwar die Ebene der 'Phraseologie' ein (1988: 358, 361-362), führt als Begründung jedoch nur einige wenige Übersetzungsäquivalente zwischen dem Griechischen und Slavischen an. Die Ebenen der Pragmatik und der Diskursanalyse werden dabei nicht berücksichtigt. In diesem Abschnitt unseres Aufsatzes soll nun untersucht werden, inwieweit Grigorij Camblak die diatribische Diskursorganisation in seinen slavischen Originalwerken angewandt hat.

Insgesamt wurden sieben seiner Homilien untersucht, die in älteren oder neueren Editionen zugänglich sind:

1. *Lobrede auf den Erstmärtyrer Stephanus* (Ivanova 1985: 98-106)
2. *Lobrede auf den heiligen Märtyrer Georg* (Jacimirskij 1906: 15-31)
3. *Homilie am Palmsonntag* (Jacimirskij 1906: 35-45)
4. *Homilie über das Fasten und die Tränen* (Jacimirskij 1906: 49-55)
5. *Homilie über die Almosen und die Armen* (Jacimirskij 1906: 59-63)
6. *Lobrede auf das Märtyrertum des heiligen Georg* (VMČ 1915: 884-900)
7. *Homilie über die göttlichen Geheimnisse oder die fünf Tage* (Spasova 2019: 40-56)¹¹

Alle sieben untersuchten Homilien enthalten ein gewisses Maß an Polemik, was eine Voraussetzung für das Vorhandensein diatribischer Elemente ist. Die Homilien weisen die in der TABELLE 1 präsentierten Formeln auf, deren Ursprung auf die kynisch-stoische Diatribe zurückzuführen ist. Die übrigen herausgegebenen Homilien Grigorij Camblaks enthalten keine nennenswerten diatribischen Elemente.

Die *Homilie am Palmsonntag* weist die größte Vielfalt an Formeln auf. Sie ist damit die am meisten diatribisch geprägte Homilie. Es reicht allerdings nicht, diese Formeln einfach abstrakt in einer Tabelle aufzulisten. Wir müssen auch ihren Gebrauch im jeweiligen Kontext qualitativ auswerten. Deshalb werden wir im folgenden einige der repräsentativsten Beispiele etwas ausführlicher besprechen. Nur so läßt sich feststellen, ob die

¹¹ Eine andere Version derselben Homilie befindet sich in VMČ (1907: 1588-1600), weist aber keine Abweichungen im Bereich der Diatribe auf.

TABELLE I.
Diatribische Formeln in 7 Homilien Grigorij Camblaks

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Total
Зри	III		I				II	6
Зриши ли						I		1
Видѣ ли			I				II	3
Видѣсте ли	III		III			IIII		11
Уто оубо		I	I	I				3
Да не бждеть			I				I	2
Никакоже			I				I	2
Глаголеши			I				I	2
Рече			II*		I	I		4
Рзци ми				III	III	I	II	9
Уловѣе				I	II		I	4

* In dieser Homilie sind zwei weitere Fälle von parenthetischem *рече* vorhanden, die aber nicht eindeutig als diatribisch interpretiert werden können; s. Beispiel (15). Es handelt sich dort um Bibelzitate, die aber im Rahmen eines diatribischen Austausch mit dem Evangelisten Johannes aufgeführt werden.

Formeln auch tatsächlich in diatribischer Manier verwendet werden. Oft ist es nämlich der Fall, daß bestimmte Formeln zwar häufig auftreten, im Diskurs jedoch nicht gemäß den Kriterien der Diatribe verwendet werden, wie z.B. bei Iosif Volockij (Dekker im Druck). Das entscheidende Kriterium ist dabei, wie schon oben dargelegt, daß ein fiktiver Dialog nicht bloß zitiert, sondern dramatisch aufgeführt wird. Ein Beispiel davon finden wir im folgenden Dialog:

- (12) Оубогъ есмъ, *рече*(е), седа не имамъ, стажании нѣс(тъ) ми, и от(ъ)къду имамъ дати нищому? Слыши, мола та. Не въ множествѣ даданиа Б(ог)ъ угаждаемъ ес(тъ), нѣ въ множествѣ произволения (*Homilie 5*, Jacimirskij 1906: 62).

‘Ich bin arm, *sagte er*, ich habe keinen Acker, ich habe keine Besitztümer, und woher soll ich dem Armen geben? Hör zu, ich bitte dich. Gott hat kein Wohlgefallen an der Menge des Gebens, sondern an der Menge des Wollens’ [SD].

Nach einer Ermahnung, mehr Almosen zu geben (nicht zitiert), kommt hier ein fiktiver Gegner zu Wort, dessen Einwand mit einem parenthetischen *рече* als solcher gekennzeichnet wird. Der Prediger beantwortet den Einwand mit einem Imperativ in der 2SG, der, ebenso wie das Personalpronomen *та*, an den fiktiven Gegner gerichtet ist. Dieser ganze Austausch findet also auf der fiktiven Ebene, d.h. in der sekundären kommunikativen Situation, statt. In seiner pragmatischen und rhetorischen Struktur ist dieser fiktive Dialog mit dem imaginären Opponenten mit den Beispielen (1) bzw. (1’) und (8) nahezu identisch. Das parenthetische *рече* entspricht der mit Abstand am häufigsten

verwendeten diatribischen Formel, mit der in der übersetzten Literatur das griechische $\phi\eta\sigma\iota(\nu)$ wiedergegeben wird (vgl. Dekker 2021a).

- (13) И елма Ц(а)рь И(зра)илевъ, рече(е), пошто на жрѣбати осли? Не мни са о семь възпрашааи, нѣ слыши съ опаствомъ (*Homilie 3*, Jacimirskij 1906: 39).

‘Und wenn er denn der König Israels ist, sagte er, warum [reitet er] auf einem Eselsfüllen? Bilde dir darauf nichts ein, der [du] fragst, sondern höre aufmerksam zu’ [SD].

Auch hier wird das parenthetische Verb $\rho\epsilon\chi\epsilon$ nicht in seiner üblicheren, quotativen Bedeutung verwendet, sondern im Sinne der Diatribe, als Marker der eingefügten und dramatisch aufgeführten Rede des Gegners. Dann folgt direkt darauf die Ermahnung des orthodoxen Lehrers, der seinen unklugen Opponenten bzw. Schüler in einem leicht herablassenden Ton eines Besseren belehrt.

- (14) Видѣ ли, о юудеѣ, како лице вы оумлзчусте, сии въззпиша? Еда не быс(тъ) слово Г(оспод) не, дѣло въз скорь? Что оубо? Хоцещи ли представла и прор(о)ка съгласоужца Вл(а)д(ы)цѣ? Прор(о)ка, от(з) прор(о)ка, и лишыше прор(о)ка, Иоанна Захарина (*Homilie 3*, Jacimirskij 1906: 44).

‘Hast du gesehen, o Jude, daß, obwohl ihr geschwiegen habt, diese geschrien haben? Ist nicht das Wort des Herrn bald Realität geworden? Was denn? Willst du, daß ich [dir] noch einen Propheten vorstelle, der mit dem Herrn übereinstimmt? Einen Propheten, [der] von einem Propheten [abstammt], und mehr [ist] als ein Prophet, [nämlich] Johannes, Zacharias’ [Sohn]’ [SD].

Nach einer längeren Argumentation, die mit einem Bibelzitat abgeschlossen wird, redet Grigorij nun einen fiktiven jüdischen Gegner an. Der Gebrauch der Formel видѣ ли ist dabei im Einklang mit ihrem Gebrauch in den patristischen Erscheinungsformen der Diatribe: ein Zitat wird angeführt, wonach $\delta\rho\acute{\alpha}\zeta$ / видѣ ли (mit oder ohne Vokativ) als Übergangssignal zur Anrede des fiktiven Gegners in der 2SG dient. Dieser Übergang hin zur direkten Anrede des imaginären Opponenten ist eines der Hauptmerkmale der Diatribe.

Die Formel что оубо ist in der übersetzten Literatur das erwartungsgemäße Äquivalent des griechischen $\tau\acute{\iota}\ \sigma\acute{\upsilon}\nu$; sie wird in der Diatribe regelmäßig als Einleitung eines Einwandes verwendet. Das ist in diesem Beispiel nicht ganz eindeutig der Fall. Auf что оубо folgt nämlich nicht der Einwand des Gegners, sondern eine Frage an den Gegner, deren Tenor völlig im Sinne des orthodoxen Predigers formuliert ist. So sehen wir, daß diatribische Formeln zwar von Grigorij aktiv eingesetzt werden konnten, ihre diskursive Funktion aber nicht notwendigerweise mit der des griechischen Äquivalents in der kynisch-stoischen Diatribe übereinstimmen mußte. Es handelt sich dabei nicht notwendigerweise um eine mangelhafte Aneignung des diatribischen Diskursstils, sondern um eine pragmatische Erweiterung des Gebrauchspotentials einiger ikonischer Formeln, die ursprünglich auf die kynisch-stoische Diatribe zurückzuführen sind.

- (15) *Үто гл(агг)л(а)еши¹², о в(о)ж(е)ств(е)ньных(ъ) евр(аг)г(е)листв(е) с(ва)щениш(и)и и мѣдрѣш(и)и? О в(о)зѣ гл(агг)л(а)еши, и о брѣтении ослате по сꙋлꙋчало въ срѣдѣ приводиши? Какъ оубо Матѣеи и Марко коупно же и Лоука, гакъ “оꙋченици от(ъ) Г(оспод)а послани быша”, реч(е), и “приведоша жрѣба”, ты же нѣкакъ недооꙋмѣннѣ “обрѣте И(сꙋ)с(ъ)” гл(агг)л(а)еши? Раздрѣши оубо недомыслимое, о евр(аг)г(е)листв(е) лювоѣдрѣш(и)и, раздрѣши. “Обрѣте”, реч(е), “приведено от(ъ) оꙋченикъ на скорѣ гакже повелѣль бѣше”. О прѣмѣдраго вѣтиа! Видѣсте ли сꙋгласие? Видѣсте ли прѣмѣдрю истины сꙋложение? Видѣсте ли чѣтыри рѣкы пишѣца, наразно и мѣсты и лѣты, и въ единѣ бл(а)говѣствованиа истинѣ събирема? (Homilie 3, Jacimirskij 1906: 38).*

‘Was sagst du, o heiligster und weisester der göttlichen Evangelisten? Du redest über Gott, und du machst ein Auffinden des Füllens durch Zufall geltend? Wie sagten denn Matthäus und Markus gemeinsam mit Lukas, daß “die Jünger vom Herrn gesandt wurden und den Esel [zu Ihm] brachten?” Du aber sagst irgendwie verstörend “Jesus fand”. Löse doch das Verwirrende, o wahrheitsliebender Evangelist, löse es. “Er fand [es]”, heißt es, “alsbald von den Jüngern gebracht, so wie Er es befohlen hatte”. O, du höchstweiser Redekünstler! Habt ihr die Übereinstimmung gesehen? Habt ihr die höchstweise Darlegung der Wahrheit gesehen? Habt ihr die vier Hände sowohl dem Orte nach als auch der Zeit nach getrennt schreiben und zu einer Wahrheit der Heilsverkündigung sich zusammenfügen sehen? [SD].

Kakridis (2019: 137) hat schon dargelegt, daß ein ‘fiktiver’ Gegner nicht unbedingt eine fiktionale Person sein muß, um trotzdem im Rahmen des diatribischen Textes als fiktiv zu gelten. Wichtig ist vielmehr, daß eine Auseinandersetzung mit ihm in der sekundären kommunikativen Situation angesiedelt ist, so daß er eine textinterne Fiktionalität besitzt. Der Evangelist Johannes wird in diesem Abschnitt – textintern – als fiktiver Gesprächspartner aufgeführt. Die polemische Komponente wird, weil es sich um einen Evangelisten handelt, verständlicherweise weniger scharf zugespitzt als im Falle eines häretischen Gegners. Trotzdem fungiert er in der sekundären kommunikativen Situation als ein indirektes Sprachrohr, um den Hörern der Homilie in der primären kommunikativen Situation eine dogmatische Position nahezubringen¹³. Auch hier sehen wir wieder, wie Polemik (wenn auch in abgemilderter Form) einem didaktischen Zweck dient. Beide Elemente – Polemik und Didaktik – sind in der Diatribe unerlässlich und werden eng miteinander verwoben.

Im nächsten Beispiel ist diese Verknüpfung noch eindeutiger, da wir nicht nur die 2^{PL}, sondern auch den Vokativ *лювимицы* finden. Ein häretischer Gegner oder ein widerspenstiger Schüler wird in der Diatribe normalerweise in der 2^{SG} angedredet. Die ortho-

¹² Die beiden doppelt unterstrichenen Belege von *гл(агг)л(а)еши* in diesem und im nächsten Satz sind zwar an den fiktiven Opponenten gerichtet und somit Teil des diatribisch aufgeführten Austausches, sie bezeichnen jedoch keine konkrete, dramatisch aufgeführte sprachliche Äußerung des Opponenten und sind somit nicht als diatribische Verbe im engeren Sinne zu betrachten.

¹³ Eine ähnliche Strategie findet man bei Johannes dem Exarchen, in seiner kompilativen *Homilie zum Evangelisten Johannes* (Dekker 2021b).

xe Hörer- bzw. Leserschaft wird jedoch eher liebevoll vom Redner bzw. Verfasser in seiner Argumentation mitgenommen.

- (16) Видѣсте ли, любимицы, какво постигохом(ъ) тръжество? Видѣсте ли, какво стръжника стажахом(ъ)? (*Homilie 6*, VMĀ 1915: 886).

‘Habt ihr gesehen, Geliebte, welch eine Feier wir erreicht haben? Habt ihr gesehen, welch einen Beschützer wir erworben haben?’ [SD].

Diese ‘sanfte’ Herangehensweise steht in krassem Gegensatz zur harten Art und Weise, in der ein fiktiver jüdischer Gegner angegangen wird. Grigorij verwendet hier also eine ähnliche Formel wie das oben erwähnte ВИДѢ ЛИ, nur in der 2PL, um seine Zuhörer anzu- reden. Daß es sich um seine Zuhörer in der primären kommunikativen Situation handelt, wird durch den Vokativ explizit gemacht. Die Formel funktioniert fast so wie in der Diatribe, wo nämlich nach einem argumentativen Gedankengang dessen Alleingültigkeit mit der Formel ВИДѢ ЛИ dem Opponenten noch einmal eingetrichtert wird. In diesem Beispiel wird den ‘geliebten’ Zuhörern in ähnlicher Art und Weise die unumgängliche Annahme der vorangegangenen Argumentation nahegelegt, obwohl dies jetzt ohne das polemische Gepräge der Diatribe stattfindet. So sehen wir, wie geläufige diatribische Formeln als ikonische Elemente eines argumentativen Stils auch außerhalb der eigentlichen Diatribe zur Anwendung kommen können.

- (17) Они же къ Г(оспод)оу гл(агол)ахъ негодующе о хвалѣ ꙗже подхъ отроци: “Слышиши ли, что сии гл(агол)ах(ъ)?” “Ѹи, рече(Ѹ), “нѣсте ли чѣли николиже, ꙗко изъ оустъ младенецъ и съжциих(ъ) съвршиа еси хвалѣ?” О иуденскаго окаянства! Оучаща не приемахъ, и ꙗко Б(ог)а славима негодуахъ. О послѣднѣго безчл(овѣ)чиа! (*Homilie 3*, Jacimirskij 1906: 41).

‘Sie aber sprachen verärgert zum Herrn über das Lob, das die Kinder sangen: “Hörst du, was diese sagen?” Ja, sagte er, “habt ihr nie gelesen: aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet?” (Matth. 21,16). O, die jüdische Fluchwürdigkeit! Sie nahmen ihn nicht an, als er lehrte, und sie empörten sich, als er wie Gott verehrt wurde. O, die äußerste Unmenschlichkeit!’ [SD].

Ѹи ist hier genau genommen kein diatribischer Einwand eines fiktiven Gegners, sondern ein Element der Dramatisierung, das dem Bibeltext hinzugefügt wird. Somit handelt es sich trotzdem nicht um ein ‘normales’ Zitat, das durch рече gekennzeichnet wird, sondern um einen dramatisch aufgeführten Dialog, wobei das parenthetische Verb eine ähnliche Rolle spielt wie in der Diatribe.

- (18) “Аще сии оумлзхат(ъ), камение въззпиетъ”. Которое, о иудеу, камение въззпиетъ народомъ оумлзхавшимъ? Не чювестъвно ли сие? Никакоже. Нъ аще и не чювестъвно то и безд(оу)шно, болше своего създателя познаваетъ неже ты (*Homilie 3*, Jacimirskij 1906: 43).

“Wenn diese schweigen, werden die Steine schreien” (Luk. 19,40). Welche Steine, o Jude, werden schreien, wenn die Völker in Schweigen verfallen? Doch nicht diese wahrnehmbaren Steine? Auf keinen Fall. Aber wenn sie auch nicht wahrnehmbar und dazu auch noch unbeseeelt sind, kennen sie doch mehr von ihrem Schöpfer als du’ [SD].

In diesem Beispiel wird *никакоже* in einer ähnlichen Art und Weise verwendet, wie *μη γένοιτο* in der griechischsprachigen Diatribe, z.B. bei Epiktet oder dem Apostel Paulus. Kakridis (im Druck b) hat festgestellt, daß *никакоже* einmal in der Bibelübersetzung von Franciscus Skoryna als Äquivalent von *μη γένοιτο* auftritt. Dekker (im Druck) hat dieselbe Formel sechsmal bei Iosif Volockij gefunden. Sie weicht jedoch von der üblichen kirchenslavischen Übersetzung *да не вѣдѣтъ* ab. Inwieweit Franciscus Skoryna, Iosif Volockij und Grigorij Camblak hier auf eine gemeinsame Tradition zurückgreifen, muß an dieser Stelle offen bleiben. Bemerkenswert ist jedoch, daß alle drei einen biographischen Bezug zum westrussischen Raum bzw. zum Großfürstentum Litauen aufweisen.

Um die Formel *никакоже* aber tatsächlich als Exponent der Diatribe bewerten zu können, müßte ihre Funktion mit der des griechischen *μη γένοιτο* 'möge es nicht geschehen' übereinstimmen. Letztere Formel, wie auch ihre 'kanonischen' (alt)kirchenslavischen Äquivalente *да не вѣдѣтъ* und *не вѣди* in übersetzten Texten (s. Kakridis im Druck b), dient dazu, eine Äußerung des fiktiven Opponenten brüsk abzulehnen. Ist das in diesem Beispiel auch der Fall? Man müßte dann davon ausgehen, daß der fiktive Jude dem Prediger entgegnet, die Steine, die im Zitat gemeint sind, seien die wahrnehmbaren Steine. Das ist in einem realen Gespräch mit einem Juden zwar nicht sehr realistisch, denn er würde vermutlich die Worte Christi nicht mal ansatzweise als verbindlich anerkennen, und schon gar nicht argumentativ ausnutzen¹⁴. Die Verwendung der Partikel *ми* scheint, wie oft auch in übersetzten diatribischen Texten der Fall ist, die Glaubwürdigkeit der gegnerischen Aussage direkt schon in Frage zu stellen. Dies stellt eine slavische Erweiterung der Diatribe dar. Somit sehen wir auch hier, daß der Prediger die Gestaltung des Diskurses fest in seiner Hand hält. Es handelt sich in der Diatribe nie um eine wahrheitsgetreue Abbildung eines real vorstellbaren Gesprächs, sondern immer um einen Dialog, der die Äußerungen des imaginären Opponenten (auf der fiktiven Ebene) dahingehend polemisch verzerrt, daß die Hörer der Homilie (auf der real existierenden Ebene) didaktisch 'erzogen' und durch die Argumentationsweise des Predigers überzeugt werden. Unter Beachtung dieser Funktion des Dialogs kann der Abschnitt also vollumfänglich als diatribisch angesehen werden.

¹⁴ Diese Überlegung läßt die Frage aufkommen, inwieweit die diatribische Aufführung eines jüdischen Gegners wirklich auf Begegnungen und polemische Auseinandersetzungen mit Juden im slavischen Raum zurückzuführen ist. Schon bei Chrysostomus im griechischen Sprachraum des 4.-5. Jh. ist dies unwahrscheinlich, so daß auch in der patristischen Literatur die Polemik gegen Juden eher einen dogmatischen Topos als einen gelebten Bedarf der Hörerschaft darstellt. Ähnlich wie es bei Iosif Volockij in seiner Polemik gegen die Judaisierenden unwahrscheinlich ist, daß sein Hauptwerk *Prosvetitel'* wirklich gegen einen realen jüdischen Einfluß gerichtet ist, stellt auch hier bei Grigorij Camblak eine dogmatische Fokussierung im Rahmen der fiktiven Ebene die tatsächlichen Gegebenheiten auf der realen Ebene in den Schatten. Die Polemik steht ganz und gar im Dienste der Didaktik: die Hörer sollten in patristischer, orthodoxer Tradition erzogen werden, unabhängig davon, ob die herbeigeführten, polemischen Redesituationen der fiktiven Ebene in ihrem Alltag Relevanz aufwiesen oder nicht.

- (19) “И аще оумножите молбоу не послушаю васъ. Роуки во ваша исполнь крове”. Которыа крове? Егда Исаины иже и предреч(е) сиа? Еда Иереминны? Еда иныхъ от(ъ) пр(о)р(о)кз ихже избисте прорекших(ъ) пришествие Х(рист)ово? Никакоже. Ибо сих(ъ) побивающе, и идоломъ слоужаще, и с(ы)ны своа и дщера закалающе вѣсом(ъ) своима роукама, и казни приемадсте (*Homilie 7*, Spasova 2019: 50).

“Auch wenn ihr euer Gebet vermehren werdet, werde ich euch nicht erhören, denn eure Hände sind voll Blut” (Jes. 1:15). Welches Blut? Etwa das des Jesaja, der dies vorausgesagt hat? Oder des Jeremia? Oder [das Blut] der anderen Propheten, die ihr getötet habt, weil sie das Kommen Christi vorausgesagt haben? Auf keinen Fall. Denn dafür, daß ihr diese getötet, und den Götzen gedient, und eure Söhne und Töchter mit euren eigenen Händen [als Opfer] für die Dämonen geschlachtet habt, habt ihr auch die Strafe empfangen’ [SD].

In diesem Beispiel zeigt sich eindeutig, daß Einwände des jüdischen Gegners in Form von Fragen aufgeführt und anschließend mit Hilfe von никакоже als verfehlt abgelehnt werden. Mit der wiederholten Interrogativpartikel еда deutet Grigorij auch schon subtil seine Ablehnung der vom fiktiven Gegner vorgeschlagenen Antworten an. Er führt dessen Einwände also dramatisch auf, aber immer derart und mit dem Ziel, sie auch direkt schon abzulehnen.

- (20) С(ы)нз Б(о)жи и Б(о)гъ къ м(и)л(о)сти призывает та, чл(овѣ)чѣ, и ты не радиши? Самз иже тебе помиловавши и посѣтивши оучитъ, и ты не взнемалши? Которы от(ъ)вѣтъ имѣти хоцѣши? – ръци ми (*Homilie 5*, Jacimirskij 1906: 59).

‘Der Sohn Gottes und Gott ruft dich zur Barmherzigkeit auf, o Mensch, und du bist fahrlässig? Derjenige, der dich begnadigt und besucht hat, unterrichtet dich, und du achtest nicht darauf? Sag mir: welche Rechtfertigung wirst du haben?’ [SD].

Dieser Vokativ чл(овѣ)чѣ entspricht dem kynisch-stoischen (ὁ) ἀνθρωπε ‘o Mensch’, das in der Folge auch beim Apostel Paulus und bei Chrysostomus häufig verwendet wurde, um dem fiktiven Gegner einen strengen Tadel zu erteilen. Diese Funktion, die King (2018) “censure” nennt, steht im Gegensatz zum protreptischen (“protreptic”) Gebrauch von Vokativen wie “любимицы” im Beispiel (16), wo die Hörschaft der Homilie mit sanfterer Überzeugungsarbeit in den Besitz der Wahrheit gebracht werden soll.

- (21) Но многих(ъ) слышаш(ъ) гл(агол)юща: “Не могу оставити. Зѣло преобидѣ ма, велми обезчести ма, прѣмногю опагоуби ма врага и ратника, соудомъ приложи са ко мнѣ”. Не гл(агол) и ми стодуденьна сиа смѣха достоинна гл(агол)ы, но истрѣзви са тако от(ъ) пиданства бесловесна гарости (*Homilie 7*, Spasova 2019: 44)¹⁵.

‘Aber ich habe viele gehört, die sagen: “Ich kann [ihm] nicht vergeben. Er hat mich sehr beleidigt, er hat mich aufs Äußerste entehrt, er hat mir als Feind und Widersacher über die Maßen geschadet, er läßt von mir in einem Gerichtsverfahren nicht los.” Sag zu mir nicht diese kalten, lächerlichen Worte, sondern ernüchtere dich von der unvernünftigen Wut, wie von der Beunkenheit’ [SD].

¹⁵ S. Dončeva-Panajotova (2004: 575) für eine andere Version eines Abschnitts aus dieser Homilie, die aber im Bereich der Diatribe keine Abweichungen aufweist.

Hier haben wir noch einmal ein schönes Beispiel eines deiktischen Wechsels von der 3SG hin zur Anrede des Gegners in der 2SG. In diesem Fall handelt es sich um den Einwand eines abstrakten Hörers. Zuerst zitiert der Prediger diesen Einwand, den er von ‘vielen’ gehört habe. Dann folgen aber zwei Imperative, die nahelegen, daß der renitente Hörer jetzt direkt und in einem polemischen Ton angedredet und zur Ordnung gerufen wird.

Die besprochenen Beispiele¹⁶ zeigen eindeutige Hinweise auf eine vertiefte Auseinandersetzung des Autors mit den polemischen und didaktischen Strategien der kynisch-stoischen Diatribe. Gleichzeitig läßt sich auch beobachten, daß Grigorij Camblak nicht alle diatribischen Formeln in vollem Umfang gemäß ihren ursprünglichen Bedingungen im dramatisch aufgeführten Dialog anwendet. Ihr Gebrauch in diatribischer Manier ist jedoch weitaus umfassender als in den anderen slavischen Originalwerken, die bisher im Rahmen unseres Forschungsprojektes erforscht wurden. Die Übertragung des diatribischen Stils aus dem Griechischen auf Camblaks slavische Originalkompositionen darf somit als recht gelungen angesehen werden.

Dončeva-Panajotova (2004: 304) zählt Grigorij Camblak zu den führenden Vertretern der christlichen Exegetik und vergleicht ihn mit u.a. Johannes Chrysostomus. Die Ähnlichkeiten mit letzterem beschränken sich allerdings nicht auf seine exegetischen Fähigkeiten. Vor allem der argumentative und spezifisch diatribische Stil der *Homilie am Palmsonntag* (*Homilie 3*) weist eine derart auffällige Verwandtschaft mit den typischen Gepflogenheiten chrysostomischer Homiletik auf, daß entweder Grigorij Camblak sich deren Stil sehr gut angeeignet hat, oder aber die Homilie unter falschem Namen kursiert und tatsächlich Chrysostomus zugeschrieben werden soll. Weitere Forschungen zu dieser Frage wären angebracht.

4. *Schlußbemerkungen*

Die beiden untersuchten Autoren unterscheiden sich bei ihrer Anwendung der Diatribe auf den ersten Blick lediglich in quantitativer Hinsicht. Dem ist allerdings entgegenzustellen, daß auch ein qualitativer Unterschied vorhanden ist. Grigorij Camblak benutzt mehr Standardformeln, deren Form eindeutig auf die kynisch-stoische Diatribe zurückzuführen ist, und die auch in den Werken anderer slavischer Autoren bzw. Übersetzer vorhanden sind. Sein Stil ist daher auf der formalen Ebene leichter mit der Diatribe in Verbindung zu bringen. Das Hauptmerkmal der Diatribe ist aber der dramatisierte Dialog mit einem fiktiven Opponenten, der sich auch bei Kosmas dem Presbyter manifestiert, wie vor allem aus Beispiel (8) ersichtlich wurde. Das Vorhandensein dieser sekundären kommunikativen Situation ist ein grundlegendes Merkmal der Diatribe als die in TABELLE 1 vertretenen

¹⁶ Die besprochenen Beispiele stammen aus den *Homilien 3, 5, 6* und *7*. Die übrigen Homilien weisen ähnliche diatribische Formeln auf, auf deren gesonderte Besprechung aus Platzgründen verzichtet werden kann. *Homilie 3* zeigt die klarsten und einprägsamsten Beispiele des diatribischen Stils, die bei der obigen Besprechung bevorzugt herangezogen worden sind.

Formeln, da letztere lediglich dazu dienen, die beiden kommunikativen Situationen (Realität und Fiktion) voneinander zu unterscheiden. Obwohl die formalen Kriterien der Diatribe bei Grigorij Camblak also an der Oberfläche liegen, manifestiert sich der diatribische Stil bei Kosmas eher auf der diskursiven als auf der formalen Ebene. Beide Autoren sind somit legitime Vertreter des Diatribenstils. Das heißt aber nicht, daß die Manifestationen der Diatribe bei den beiden Autoren als gleichwertig zu betrachten sind. Grigorij Camblak hat offenkundig mehr von den formalen Charakteristika der kynisch-stoischen Diatribe übernommen und stützt sich stärker auf schon vorhandene slavische Übersetzungsäquivalente griechischer Formeln, die andere frühe slavische Autoren bzw. Übersetzer schon angewandt und an die Bedürfnisse ihrer slavischen Leserschaft angepaßt hatten.

Abschließend kann festgestellt werden, daß sich der Diatribenstil im orthodoxen slavischen Schrifttum – vor allem in seinen Anfangsstadien – in einer dynamischen Entwicklung befand und sich bei verschiedenen Autoren in unterschiedlichem Maße zu etablieren begann. Bei der weiteren Erforschung dieses Themas soll dieser unterschiedliche Charakter berücksichtigt werden und die Identifizierung diatribischer Texte nicht lediglich aufgrund formaler Kriterien durchgeführt werden. Gleichzeitig darf infolge der vorliegenden Untersuchung das Vorhandensein eines diskursiven Stils, der auf die kynisch-stoische Diatribe zurückzuführen ist, in originalen slavischen Texten als gesichert gelten, womit eine gediegene Grundlage für weitere Forschungen in diesem Bereich geschaffen worden ist.

Abkürzungen

- VMČ 1907: *Velikija Minei Četii, Dekabr', Dni 18-23*, Moskva 1907.
 VMČ 1915: *Velikija Minei Četii, Aprěl', Tetrad' III, Dni 22-30*, Moskva 1915.

Literatur

- Aland 2012: B. Aland, K. Aland, J. Karavidopoulos, C. M. Martini, B. M. Metzger (ed.), *Novum Testamentum Graece*, Münster 2012²⁸.
 Anguševa et al. 2008: A. Anguševa, D. Atanasova, A. Bojadžiev, N. Gagova, M. Dimitrova, M. Jovčeva, A. Miltenova, T. Slavova, A. Stojkova, L. Taseva, *Istorija na bǎlgarskata srednovekovna literatura*, Sofija 2008.
 Begunov 1973: Ju.K. Begunov, *Kozma prezviter v slavjanskich literaturach*, Sofija 1973.
 Begunov 2005: Ju.K. Begunov, *Tvorčeskoe nasledie Grigorija Camblaka*, Veliko Tärnovo 2005.

- Boter 1999: G. Boter (ed.), *The Encheiridion of Epictetus and Its Three Christian Adaptations. Transmission and Critical Editions*, Leiden-Boston-Köln 1999 (= *Philosophia antiqua*, 82).
- Bulanin 1991: D.M. Bulanin, *Antičnye tradicii v drevnerusskoj literature XI-XVI vv.*, München 1991.
- Capelle et al. 1957: W. Capelle, H.I. Marrou, *Diatribē*, in: *Reallexikon für Antike und Christentum*, III (*Christusbild-Dogma 1*), Stuttgart 1957, pp. 990-1009.
- Courtonne 1935: Y. Courtonne (ed.), *Saint Basile. Homélie sur la richesse*, Paris 1935.
- Dekker 2021a: S. Dekker, *The Translation and Transmission of 'Diatribal' Verbs in the Textual Traditions of the Zlatostruj Collection*, "Russian linguistics", XLV, 2021, 2, pp. 175-200, DOI: <<https://doi.org/10.1007/s11185-021-09243-4>>.
- Dekker 2021b: S. Dekker, *Die Übersetzung griechisch-diatribischer Formeln beim Exarchen Johannes: Am Beispiel seiner kompilativen Homilie zum Evangelisten Johannes*, in: *Sub specie aeternitatis: Sbornik naučnych statej k 60-letiju Vadima Borisoviča Krysko*, Moskva 2021, pp. 568-585, DOI: <<https://doi.org/10.48350/154388>>.
- Dekker im Druck: S. Dekker, *Features of the "diatribē" in the writings of Iosif Volotskii*, "Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta: Jazyk i literatura", XIX, 2022 (im Druck).
- Dončeva-Panajotova 2004: N. Dončeva-Panajotova, *Grigorij Camblak i bälgarskite literaturni tradicii v Iztočna Evropa XV-XVII v.*, Veliko Tärново 2004.
- Freydank 1988: D. Freydank, *Zur Sprache Grigorij Camblaks*, "Zeitschrift für Slawistik", XXXIII, 1988, 3, pp. 357-362, DOI: <<https://doi.org/10.1524/slsw.1988.33.16.357>>.
- Gardzaniti 2019: M. Gardzaniti [Garzaniti], *Periodizacija literatury dopetrovskoj èpochi i konec srednevekov'ja v Rossii*, "Izvestija RAN. Serija literatury i jazyka" LXXVIII, 2019, 3, pp. 5-13, DOI: <<https://doi.org/10.31857/S241377150005407-0>>.
- Ivanova 1985: K. Ivanova, *Pohvalno slovo za pärvomäčenic Stefan ot Grigorij Camblak*, "Starobälgarska literatura", XVIII, 1985, pp. 93-106.
- Jacimirskij 1906: A.I. Jacimirskij, *Iz istorii slavjanskoj propovëdi v Moldavii: Neizvëstnyja proizvedenija Grigorija Camblaka podražanija emu i perevody monacha Gavriila, s 4 avtotipičeskimi snimkami*, Sankt-Peterburg 1906.
- Janeva et al. 2015: P. Janeva, A. Minčeva, C. Raleva, C. Doseva (red.), *Simeonov sbornik (po Svetoslavovija prepis ot 1073 g.)*, III (*Gräcki izvori*), Sofija 2015.
- Kakridis 2019: J. [Y.] Kakridis, *Argumentacija kod pravoslavnih Slovena u srednjem veku*, Niš 2019.

- Kakridis im Druck a: Y. Kakridis, *Dijatriba kod pravoslavnih Slovena u srednjem veku (intermedijarni bilans)*, "Vizantijsko-slovenska čtenija", IV (im Druck).
- Kakridis im Druck b: Y. Kakridis, *Das sei ferne! Eine diatribische Formel und ihre Äquivalente im Apostolos von Franciscus Skorina* (im Druck).
- Kalužniacki 1896: A. Kalužniacki (ed.), *Actus epistolaeque apostolorum palaeoslovenice*, Wien 1896.
- Karavaškin 2011: A. Karavaškin, *Literaturnyj obyčaj Drevnej Rusi*, Moskva 2011.
- King 2018: J. King, *Speech-in-Character, Diatribe, and Romans 3:1-9: Who's Speaking When and Why It Matters*, Leiden 2018.
- Kirchenrat 2008: Kirchenrat der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich (Hrsg.), *Zürcher Bibel*, Zürich 2008².
- Lägreid 1965: A. Lägreid, *Der rhetorische Stil im Šestodnev des Exarchen Johannes*, Wiesbaden 1965.
- Malingrey 1994: A.-M. Malingrey (éd.), *Jean Chrysostome. Sur l'égalité du Père et du Fils*, Paris 1994.
- Minczew et al. 2015: G. Minczew, M. Skowronek, J. M. Wolski, *Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach. Źródła słowiańskie*, Łódź 2015.
- Naumov 2020: A. Naumov [Naumow], *Ideja – obraz – tekst. Issledovanija po cerkovnoslavjanskoj literature*, Moskva 2020.
- Naumow 1983: A. Naumow, *Biblia w strukturze artystycznej utworów cerkiewnosłowiańskich*, Kraków 1983.
- Petkanova 2001: D. Petkanova, *Bălgarska srednovekovna literatura*, Veliko Tărnovo 2001⁴.
- Petkanova 2007: D. Petkanova, *Gregory Camblak: On some controversial issues*, "Scripta & e-scripta", v, 2007, pp. 43-62.
- Popruženko 1936: M.G. Popruženko, *Kozma prezviter. Bolgarskij pisatel' x veka*, Sofija 1936 (= Bălgarski starini, 12).
- Puech et al. 1945: H.-Ch. Puech, A. Vaillant, *Le traité contre les Bogomiles de Cosmas le prêtre. Texte et étude*, Paris 1945 (= Travaux publiés par l'Institut d'études slaves, 21).
- Spasova 2019: M. Spasova, *Knigata Grigorij Camblak (uvod, slavjanski tekst, prevod na savremenena bălgarski)*, Sofija 2019.
- Stowers 1981: S.K. Stowers, *The Diatribe and Paul's Letter to the Romans*, Chico (CA) 1981.
- Thomson 1998: F.J. Thomson, *Gregory Tsamblak: The Man and the Myths*, Gent 1998.
- Zaimov et al. 1982: J. Zaimov, M. Kapaldo (red.), *Suprasălski ili Retkov sbornik*, Sofija 1982.

Abstract

Yannis Kakridis, Simeon Dekker

Diatribal Style in the Works of Kosmas the Presbyter and Grigorij Camblak

The diatribe is a mode of exposition that grew out of the teaching of the popular philosophers of the Hellenistic and Roman period. It was adopted by St. Paul in his epistles and by the Church Fathers, first of all by John Chrysostom. In a diatribe, the author presents his thoughts in the form of an argumentative dialogue with an imaginary interlocutor; moreover, this dialogue is not narrated, but acted out, the author speaking both on behalf of himself and his opponent. Some characteristic features of the diatribe are the frequent use of the parenthetical φησί ‘says (the imaginary opponent)’, the formulas τί οὖν ‘what then?’ (to introduce a false conclusion) and μὴ γένοιτο ‘far be it from me’ (to reject it), questions such as ἀσὸρᾶς ‘don’t you see?’ and vocatives such as ἄνθρωπε ‘man’.

The diatribe entered medieval Orthodox Slavic writing through the translations of the New Testament and the Church fathers. This paper examines the impact of the diatribe on original texts written by two of the most prominent authors of the Slavic Middle Ages: Kosmas the Presbyter and Grigorij Camblak.

Kosmas the Presbyter wrote his *Sermon Against the Newly-Appeared Heresy of Bogomil* in the second half of the 10th century. This work combines a pedagogical (instruction to the believers) with a polemical layer (refutation of the “heretics”). In a handful of passages, the transition from the first to the second layer exhibits the typical features of diatribe: Kosmas introduces a counterargument by the imaginary opponent by parenthetical περὶ (φησί) and then addresses this opponent directly in order to refute him. Most of the time, however, the transition from the pedagogical to the polemical layer is less smooth. All in all, Kosmas’s diatribal style does not reach the smoothness of his Chrysostomic models.

Grigorij Camblak is the author of a number of homilies that he delivered in the late 14th-early 15th century. Seven of the published homilies attributed to him show a variety of diatribal formulas, which are investigated in more detail. Their function in the polemical discourse is compared to that of the original Hellenistic, Biblical and Patristic diatribal formulas in Greek. Grigorij Camblak’s spontaneous use of these formulas in his original Slavic compositions shows that he internalized the polemical and didactic strategies of the diatribe and found ways to express its functions in Slavic. Some of his homilies indeed approach or even equal the level of Chrysostom’s diatribal style.

Keywords

Diatribе; Dialogue; Kosmas the Presbyter; Grigorij Camblak.

Павел Федорович Успенский
Савелий Яковлевич Сендерович

“С черной мыслью белый волос”. Этюд о стихотворении Баратынского *Были бури, непогоды...**

Этот написанный в соавторстве этюд возник из-за желания уловить смысловые нюансы финала стихотворения Баратынского *Были бури, непогоды...* (1839). Строки “Не положишь ты на голос / С черной мыслью белый волос!” на нас как на читателей давно производят особое впечатление, однако сходу сформулировать, в чем же именно заключается их эффект, нам было затруднительно. Разумеется, мы отдаем себе отчет в том, что в сухом остатке в строках утверждается невозможность выразить в поэтической речи весь тот комплекс тяжелых мыслей и переживаний, на который обрекает человека старость. Сетования на то, что с сединой утрачивается способность к поэзии, восходят ещё к *Посланиям* Горация (I, I.7 и др.), о чем Баратынский несомненно помнил (см. подробнее: Мазур 2013). Нам, однако, представляется, что и генетическое историко-литературное толкование, и только что предложенный краткий пересказ финала на самом деле мало что объясняют. Это подступ к смыслу, но не итог поэтической мысли Баратынского. “Сухой остаток” игнорирует смысловое напряжение финала, возникающее, в свою очередь, благодаря особой семантической конфигурации всего стихотворения.

Были бури, непогоды,
Да молодые были годы!

В день ненастный, час гнетучий
Грудь подымет вздох могучий;

Бойкой песнью разольется:
Скорбь – невзгода распоеется!

А как век-то, век-то старый
Обручится с лютой карой;

* Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2022 году. Авторы выражают признательность двум анонимным рецензентам за ценные соображения и конструктивные критические замечания.

Груз двойной с груди усталой
 Уж не сбросит вздох удалий:
 Не положишь ты на голос
 С черной мыслью белый волос!
 (Боратынский 2012: 49)¹

Стихотворение разделяется на две смысловых части по принципу ‘было’ – ‘стало’², причем это разделение не схематичное: новая тема естественно вытекает из предыдущей, и за счет синтаксиса и интонационного напряжения возникает эффект “размышления, которое протекает на глазах у читателя” (Панов 2017: 112). Двухчастная смысловая структура вкупе со строфами из парных строк определяет поэтику стихотворения: текст последовательно работает с бинарными смыслами, смысловыми двойственностями³.

В самих фигурах парности, идет ли речь о парности синтаксических конструкций или объектов поэтического мира, конечно, еще нет ничего оригинального. Старинное средство выразительности – параллелизм – одна из самых каноничных и несложных форм создания смысловой двойчатки. Отличие стихотворения Баратынского не в факте использования бинарных фигур, а в особом качестве обращения к ним, в их сложной развертке, одновременно сближающей и противопоставляющей названные объекты. Именно динамика смысловых притяжений и отталкиваний, с нашей точки зрения, определяет особую выразительность финала стихотворения. Чтобы это показать, нам необходимо проследить, как в тексте последовательно возникают семантические флуктуации, которые, усиливаясь, в финале не разрешаются, а застывают в противоречии.

О параллелизме речь зашла неслучайно, – это не только прием, организующий семантику текста, но и один из маркеров его жанровой принадлежности. *Были бури, непогоды...* – стихотворение, весь строй которого откликается на популярный в 1810-

¹ Текст приводится в современной орфографии. Оговорим, что в изданиях поэта циркулирует иной вариант 5-й строки: “Вольной песнью...” (см., например: Баратынский 1936: 217; 1983: 141; 2000: 259). Строка в последнем академическом собрании сочинений поэта совпадает с вариантом “Сумерек” (Боратынский 1842: 47-48). Напомним также, что в первой публикации 1839 г. (“Современник”, XIV, 3) вместо синтагмы “груз двойной” в 9-й строке стояло словосочетание “купный груз” (Боратынский 2012: 50). Далее мы не будем специально обращаться к разночтениям.

² Формально глагольная цепочка стихотворения (кроме первого двустипия) состоит из глаголов совершенного вида будущего времени: во второй и третьих строфах они передают значение повторяемости действий в прошлом; в последующих строфах – значение действий, локализованных в настоящем времени и затрагивающих будущее в аспекте их результативности. О форме настоящего-будущего времени совершенного вида см.: Виноградов 1947: 573-580.

³ В этой характеристике стихотворения мы отталкивались от кратких, но глубоких наблюдений М.Г. Сендерович над этим текстом, см.: Сендерович 1990: 212.

1840-е годы жанр ‘русской песни’, жанр, поэтика которого состояла в литературных стилизациях ‘народной’ лирики, иногда, впрочем, весьма далеких от особенностей настоящей фольклорной словесности (в понимании русской песни мы следуем за: Шеля 2018). Стихи Баратынского многое сближает с типичной литературной русской песней. Это и ‘народный’ размер текста – четырехстопный хорей, правда, с той существенной оговоркой, что сплошные женские клаузулы не были так популярны, как сплошные дактилические или чередующиеся женские / мужские (см.: Шеля 2018: 141-142, 154 и сл.). Это и лексический ряд: лексемы ‘лютый’ и ‘грудь’ попадают в 30 наиболее характерных слов для жанра русской песни; ‘скорбь’, очевидно, семантически близка к таким частотным словам, как ‘грусть’ и ‘грустить’, а ‘двойной груз’ – к лексеме ‘тяжкий’ (Шеля 2018: 179). Это и индуцированный характерной лексикой эмоциональный настрой текста, передающий состояние грусти и безысходности лирического субъекта. Песенное начало стихотворения выражено также в характерных лексических повторах и, наконец, в самой теме песни – *Бойкой песнью разольется*.⁴

Однако на фоне литературного жанра русской песни в смысловом центре стихотворения Баратынского красноречивое зияние: вместо ожидаемого и типичного смыслового комплекса несчастной любви и разлуки *Были бури, непогоды...* обращается к характерной элегической теме прошедшей молодости и ушедших лет.⁵ В этом аспекте весьма показателен микросюжет с обручением (“Обручится с лютой карой”): важное для русской песни стремление героя воссоединиться с возлюбленной, связать с ней свою жизнь, в стихах Баратынского переосмысливается и переводится из любовного в метафизический план; глагол ‘обручиться’, отчасти сохраняя смысловой ореол любовной ситуации, употреблен в первую очередь метафорически.⁶ Сходным об-

⁴ Тема песни может в данном случае выступать показательным жанровым маркером текста. Так, характерно, что в более раннем стилизованном стихотворении Баратынского – *Песне* (в ранней редакции – *Русской песне*, 1821, 1823-1826) – в финале возникает микросюжет пения: “Он поет – никто не слышит / Слов печальных” (Баратынский 2002: 198). *Песню* можно воспринимать как контрастный к *Были бури, непогоды...* опыт: хотя стихотворение содержит несомненные фольклорные элементы (см. комм. И.А. Пильщикова: Баратынский 2002: 414-415), текст в первую очередь связан с литературным источником – популярным романсом А. Шорона *La Sentinelle* (1806). *Песня*, таким образом, легко размещается в поэтике жанра русской песни (Шеля 2018: 69-73). Этого, однако, нельзя сказать о стихотворении *Были бури, непогоды...* (см. ниже).

⁵ Ограничимся одним контрастным примером – чрезвычайно популярной песней А. Мерзлякова *Среди долины ровные* (1810). Ср.: “Ах, скучно одинокому / И дереву расти! / Ах, горько, горько молодцу / Без милой жизнь вести! <...> Ни роду нет, ни племени / В чужой мне стороне; / Не ластится любезная / Подруженька ко мне! <...> Возьмите же всё золото, / Все почести назад; / Мне родину, мне милую, / Мне милой дайте взгляд” (Мерзляков 1958: 57-58).

⁶ Интересно, что отчасти близкий сдвиг примерно в то же время и, по всей вероятности, совершенно независимо от стихотворения Баратынского произошел в быстро ставшей очень популярной песне С. Стромиллова *То не ветер ветку клонит...* (по-видимому, начало

разом типичный для русской песни эмоциональный трагизм, вызванный любовной коллизией, переводится Баратынским в экзистенциальный план.

Тематическая лакуна, таким образом, не позволяет отнести стихотворение Баратынского к русской песне. С нашей точки зрения, оно не воплощает характерные черты популярного жанра, а чутко реагируя на его поэтические особенности и обыгрывая их, формирует уникальное поэтическое высказывание.

Как известно, жанровые взаимовлияния характерны для русской поэзии первой трети XIX в. (Сендерович 2012, I: 433-471), и произошедшее в *Были бури, непогоды...* наложение песенного начала и элегической медитации выглядит хотя и смелым, но вполне закономерным. С нашей точки зрения, однако, стихотворение Баратынского идет еще дальше, включая в свою поэтику как ставшие частью языка русской лирики, так и находившиеся на его периферии фольклорные элементы. Как мы покажем далее, это прежде всего парные слова и синонимические перифразы (во многом усвоенные поэтическим языком как обороты народной словесности), а также использование поэтики паремии в заключительном двустишии. Таким образом, и в рассуждении о жанровых координатах стихотворения мы упираемся в его финал, представляющий определенную сложность не только в семантическом, но и в жанровом аспекте.

Поскольку смысловые нюансы последнего двустишия вытекают из специфики семантической развертки всего текста, далее мы построфно прочитаем стихотворение, обращая внимание на особенности организации поэтического смысла и периодически отвлекаясь на разговор о фольклорных элементах⁷.

* * *

Были бури, непогоды,
Да молодые были годы!

1840-х годов): “Не житье мне здесь без милой: / С кем теперь идти к венцу? / Знать, сулил мне рок с могилой / Обручиться молодцу” (Гусев 1965: 571, 1031). “Обручение с могилой”, однако, в данном случае неразрывно связано с любовным микросюжетом (“С кем теперь идти к венцу?”), отсутствующим у Баратынского.

⁷ В качестве экскурсии в биографию и творческое мышление Баратынского, обратим внимание, что в 1839 г., когда было написано интересующее нас стихотворение, поэт, по-видимому, особо интересовался древней словесностью, которая неизбежно ассоциировалась с представлениями о народном творчестве. В этом же году было написано хрестоматийное стихотворение *Приметы*, апеллирующее к древнему естественному состоянию гармонии человека и окружающего мира. Н.Г. Охотин убедительно продемонстрировал генетическую связь *Примет* с лексическим рядом и некоторыми мотивами *Слова о Полку Игореве*. Более того, как показал исследователь, для поэтического замысла Баратынского едва ли не ключевую роль сыграли публикации профессора М.А. Максимовича о *Слове...* (1836-1837). В них, в частности, реконструировалось мирозерцание автора *Слова...*, причем Максимович привлекал материалы русского и украинского фольклора. См. подробнее как библиографию, так

Начало стихотворения – его сильное место, и оно оказывается маркированным, поскольку предстает эссенцией фольклорного языка. Так, в первой строке проявляется характерное для устной поэзии удвоение: “бури”, “непогоды”. Хотя слова разделены запятой, они семантически приравнены друг к другу и как бы образуют единое сложное слово, в основе которого лежит синонимическая пара (второй синоним, однако, вводится через отрицание, происходит переопределение через противоположность). Такие пары характерны для фольклорного языка, ср.: ‘верою-правдою’, ‘честь-хвала’, ‘море-океан’, ‘драка-бой’, ‘мир-народ’, ‘время-час’, ‘ковыль-трава’ и т.п.⁸ (см. также далее в стихотворении ‘скорбь-невзгода’).

Именно ‘бури’ и ‘непогоды’ как композитное понятие, состоящее из двух синонимов, встречалось в лирике первой трети XIX в. и преимущественно было маркировано как фольклорное (хотя речь идет, конечно, об имитации устной поэзии и ее характерных оборотов). См., например, во влиятельном *Громобое* (1810) Жуковского: “Нет крова защитить главу / От бури, непогоды...” (Жуковский 1980: 76)⁹.

У Баратынского, однако, удвоение – только один из элементов фольклорности. Вторым элементом можно счесть фигуру параллелизма, уравнивающую ‘бури’, ‘непогоды’ с ‘младыми годами’. В таком случае в тексте представлен традиционный поэтический ход, сопоставляющий внешнее явление с внутренним.

Такая трактовка фольклорных приемов осложняется возможностью другого прочтения. Хотя в традиции ‘бури’, ‘непогоды’ естественным образом характеризовали природные явления, оба слова по отдельности в узусе первой трети XIX в. могли обозначать как внешние природные явления, так и называть жизненные неурядицы,

и наблюдения исследователя: Охотин 2020. На таком фоне работа с элементами фольклорной поэтики в стихотворении *Были бури, непогоды...* кажется вполне закономерной.

⁸ См. многочисленные примеры синонимических пар: Евгеньева 1963: 260-268. Некоторые синонимические пары используются в речи до сих пор (‘подобру’ / ‘поздорову’, ‘жить’ / ‘поживать’), однако за ним закреплен народный смысловой ореол.

⁹ См. еще строки в *Желании покоя* (1825) А. С. Хомякова: “Он жаждет брани и свободы, / Он жаждет бурь и непогоды, / И беспредельности небес!” (Хомяков 1969: 67); в *Нетуне* (1831) Н. М. Языкова и И. В. Киреевского: “Все, что волны, все, что воды, / Все, что море-океан, / Все, что бури, непогоды, / Надо всем я капитан” (Языков 1934: 662). См. также в раннем стихотворении Кольцова, опубликованном лишь в конце XIX в., в котором, однако, “бури-непогоды”, по-видимому, действительно взяты из фольклорного тезауруса: “...Сирых под кров собравший, / От бурей-непогод / Приют им давший, – / Вечно счастлив тот” (*Прямое счастье*, 1827; Кольцов 1958: 211). Интересный случай связан с весьма популярной квазифольклорной песней А. Мерзлякова *Чернобровый, черноглазый...* (1806). В ней, в частности, читаем: “Воет сыр-бор за горою, / Метелица в поле; / Встала вьюга, непогода, / Запала дорога” (Мерзляков 1958: 64). Вероятно, в исторической трансмиссии текста синтагма “вьюга, непогода” менялась на “бурю, непогоду”. Именно такой заменой можно объяснить, почему в эпиграфе к первой главе исторического романа *Клятва при гробе Господнем* (1832) Полевой “неточно” цитирует приведенную выше строфу (Полевой 1990: 302).

душевную сумятицу (Григорьева, Иванова 1969: 150, 210)¹⁰. Отсюда их связь с ‘младыми годами’. Укажем также, что ‘младые годы’ в сопоставлении с ‘бурями’, ‘непогодами’, возможно, обнажают еще одну ассоциацию названных явлений: фразеологизм ‘бурные годы (молодости, малолетства)’, зафиксированный в языке первой трети XIX в. (Кулжинский 1833: 9; Корнилович 1821: 305), объясняет сближение ‘младые годы’ + ‘бури’ / ‘непогоды’, выделяя и буквализуя их общие семантические признаки.

В таком контексте все три понятия предстают синонимичными (разумеется, в рамках стихотворения). Тройная синонимия (вводимая, в частности, с помощью союза *да*) – также характерная черта устной поэзии. См., например: “Без бою, без драки великия / И без того кроволития напрасного”, “А журить-бранить, на ум учить”, “С кем побиться-подраться и порататься”, “Не бьют-не казнят и не вешают” (Евгеньева 1963: 273-275; мы приводим примеры из *Древних русских стихотворений* Кириши Данилова, несомненно, известных Баратынскому).

Обе фигуры (удвоение + параллелизм vs. тройная синонимия) совершенно равноправны внутри строфы, однако они не вполне совместимы. В первом случае предполагается сопоставление младых лет со стихией, во втором – их тождество, причем с явлениями не только внешнего, но и внутреннего порядка. Благодаря тому, что с помощью и той, и другой фигуры строфа поддается последовательному объяснению (и в обоих случаях сохраняется ореол фольклорности), читателю сложно выбрать единственное последовательное прочтение. Смысл экспозиции начинает размываться, и ее прочтение оказывается в зависимости от смысла последующих строк, в которых, однако, возникают свои сложности.

В день ненастный, час гнетучий
Грудь подымет вздох могучий

Сопоставление явлений продолжается, но от статики первой строфы (“были” – “были”) переходит к динамике. Третья строка прибегает к тому же синонимическому принципу двукратного названия, но со сдвигом. Если “бури” и “непогоды” были полностью тождественными, то “день” и “час” допускают уже двойное прочтение: как маркеры неопределенного времени (как в оборотах ‘свободный час’, ‘настанет день, не предполагающих точную темпоральную и календарную локализацию) они предстают синонимами, но одновременно могут быть восприняты как смысловое сужение: внутри “ненастного дня” располагается особый “гнетучий час”.

¹⁰ ‘Буря’ как символ душевных потрясений, конечно, является топосом. ‘Непогода’ в таком значении выступает реже, ср., однако, в романе Загоскина *Рославлев, или Русские в 1812 году* (1830): “А я много трудился, мой друг! Долго был игралищем всех *житейских непогод* и, видит бог, устал. Всю жизнь боролся с страстями, редко оставался победителем, грешил, гневил бога” (Загоскин 1986: 299). См. также близкое переносное значение у слова ‘ненастье’, например, у Пушкина в послании *К князю А. М. Горчакову* (1817): “Вся жизнь моя – печальный мрак *ненастья*” (Григорьева, Иванова 1969: 229).

Внешний мир и состояние ‘Я’ во второй строфе приравнены, они находятся в балансе, но этот баланс не статичный, он возникает за счет действий субъекта: он преодолевает гнетущие обстоятельства *“могучим вздохом”*. Если в начале стихотворения равновесие было данностью, то здесь оно уже требует достижения: внешний мир вызывает реакцию ‘Я’.

Бойкой песнью разольется:
Скорбь-невзгода распоеется!

Третья строфа дублирует предыдущую, но с некоторыми уточнениями и вариациями. Так, в первом приближении она инвертирована по отношению ко второй: если в последней двухфазовая конструкция шла от обстоятельств к действию субъекта, то здесь, напротив, мы видим движение от действия к обстоятельствам. Иными словами, здесь двухстрофный баланс: как мир может воздействовать на субъекта, так и субъект способен воздействовать на мир.

Это, однако, только смысловой каркас. На самом деле, внешний мир в третьей строфе оказывается внутренним: лексическая двойчатка ‘скорбь-невзгода’ (фольклорная по своей природе), конечно, называет состояние субъекта, она же заставляет видеть в ‘бурях’ / ‘непогодах’ и ‘дне ненастном’ / ‘чаше гнетучем’ уже не характеристики внеположной реальности, а восприятие субъектом своих жизненных обстоятельств (это согласуется с одним из возможных сценариев прочтения первой строфы). Второе уточнение касается действий субъекта. В мире стихотворения они наделены самостоятельным бытием: ‘могучий вздох’ сам, как будто без мысленной команды ‘Я’, ‘подымет грудь’, он сам по себе ‘разольется песней’. Так молодость предстает органичным, естественным процессом, осуществляющимся без участия волевой и рефлексивной части ‘Я’¹¹. Наконец, последнее уточнение связано с характером действия или с характером реакции на обстоятельства. Эта реакция – поэтическая. Преодоление, таким образом, оказывается не столько физиологическим (‘грудь подымет вздох’), сколько творческим актом.

А как век–то, век–то старый
Обручится с лютой карой

Четвертая строфа заявляет новую тему – старость и таким образом вводит противопоставление двух жизненных эпох. Сам факт противопоставления подразумевает общие основания, зону сближения. В строфе они выражены двукратно. Во-первых, на уровне повторов: ‘век-то’, ‘век-то’ – прямой повтор, и его структура

¹¹ Своего рода последовательная деперсонализация явного субъекта (‘я’ напрямую в тексте отсутствует), проявляющаяся в разбираемом стихотворении, соотносится с особенностями поэтики Баратынского (см.: Винокур 1990).

собирает отзвуки лексических и смысловых двойчаток предшествующих строк¹². Во вторых, ‘старый век’, как ранее прочие объекты, дан абстрагировано: он наделен самостоятельным бытием и возможностью действовать – ‘обручится с лютой карой’. Отметим, что в словосочетании ‘лютая кара’ оба слова совместно задают высокий стиль, и торжественная модальность строфы мотивирует употребление глагола ‘обручиться’ в переносном значении. Стилистическое и, соответственно, смысловое напряжение возрастает, но объяснение, что именно является ‘лютой карой’, оттягивается и переносится в следующую строфу.

Груз двойной с груди усталой
Уж не сбросит вздох удалый

По замечанию М.Г. Сендерович, специально рассмотревшей эту строфу в рамках интересующих ее инверсий и амбивалентных синтаксических конструкций у Баратынского, “в данном случае ‘грудь’ и ‘вздох’ связаны метонимией, а ‘груз’ и ‘вздох’ – образные антонимы (в последнем случае связь опосредована еще нереализованной потенциальной метафорой ‘вздох облегчения’). Метонимическая связь здесь затрудняет различение субъекта и объекта. Это соответствует идее двойственности, проходящей через весь текст в целом ряде двоичных построений” (Сендерович 1990: 212).

Добавим, в свою очередь, что строфа сообщает о нарушении баланса, достигнутого в ‘младые годы’, – с ‘двойным грузом’ все тот же ‘вздох’ справиться уже не может. ‘Вздох’ дан с синонимическим варьированием: теперь он не ‘могучий’, а ‘удалый’, и действовать должен сильнее – не ‘поднимать грудь’, а ‘сбрасывать’ с нее ‘груз’. Вместе с тем как раз это он сделать не в состоянии – баланс частей ‘Я’ нарушен, и на первое место выходит характерный для Баратынского негативизм, его классическое ‘не’ (см., например: Иваск 1957: 135-156; Бочаров 1985: 69-70; Гитин 1996: 96-112).

Примечателен и сам ‘двойной груз’. Эпитет здесь поднимается до уровня метатемы всего стихотворения. Не менее важно, что это словосочетание оказывается промежу-

¹² По-видимому, в контексте эпохи прямой повтор мог ассоциироваться с фольклорным началом и потенциально способствовал фольклорному ореолу текста (имеем в виду не переход стихотворения в народную среду, но условно фольклорную модальность литературы). Для фольклорных коннотаций в случае ‘век-то, век-то’ важную роль также играют энклитики ‘-то’, ‘-то’, ассоциирующиеся с народной речью. О связи лексических повторов с мнемоничностью текста и потенциально – с его переходом в разные социальные страты в качестве песни свидетельствует обстоятельство, относящееся к другому позднему стихотворению Баратынского. А.С. Бодрова обнаружила свидетельство критика “Пантеона” (XVII, 1854, 10): “К замечательным стихотворениям отнесем <...> IX, начинающееся стихами, *которые некогда пелись всеми*: Мою звезду я знаю, знаю, / И мой бокал / Я наливаю, наливаю / Как наливал” (Цит. по: Бодрова 2011: 39-40). Стихотворение *Мою звезду...*, очевидно, не имеет никакого отношения к фольклору и его имитациям, однако, по всей вероятности, текст фольклоризировался именно за счет лексических повторов, сконцентрированных в первой строфе.

точной перифразой, не объясняя смысла. Оно отсылает к ‘старому веку’ и ‘лютой каре’, именно эта пара служит денотатом ‘двойного груза’, навалившегося на грудь субъекта, однако характер кары и, соответственно, особое свойство груза остаются непроясненными. Объяснение отложено до финального двустипшия, пуанты всего текста.

Не положишь ты на голос
С черной мыслью белый волос!

Финал наконец поясняет лютую кару и, соответственно, ‘двойной груз’: ‘белый волос’ по роду соотносится со ‘старым веком’, ‘лютая кара’ – с ‘черной мыслью’, притом что смысловая денотация ‘лютой кары’ шире и включает в себя всю ситуацию старости.

Структурно ‘черная мысль’ и ‘белый волос’ – смысловая двойчатка, такая же, как ‘бури’ / ‘непогоды’ или ‘день ненастный’ / ‘час гнетучий’. Они уравниваются между собой и составляют ‘двойной груз’, двойную кару. Но эта пара очень неуживчивая. Заложённый в нее контраст ‘черный’ vs. ‘белый’ настолько силен в своей универсальности, что заставляет воспринимать объекты как полярные – вопреки установке текста на парность и смысловое тождество элементов.

То же напряжение между смысловой конфигурацией текста и семантикой строки проявляется в паре ‘черная мысль’ / ‘белый волос’ и в другом аспекте. Бросающаяся в глаза цветовая символика ретуширует сущностную разность объектов: ‘мысль’ и ‘волос’. Хотя ‘белый волос’, очевидно, называет старость, из-за того, что во всем стихотворении объекты были наделены самостоятельным существованием (‘грудь’ как метонимия ‘Я’, дважды названный вздох как самостоятельный агент действия), возникает семантическая инерция, заставляющая воспринимать ‘белый волос’ буквально как физический объект.

В финале, таким образом, индуцированный последней строкой универсальный смысл сталкивается с физиологической семантикой, которая как раз инерционно нарастает к концу текста. Возникает эффект обманутого ожидания, читателю необходимо согласовать оба смысловых плана, и сам процесс согласования порождает ощущение ‘странности’, амбивалентности и крайней выразительности пуанты стихотворения.

Последняя строфа интересна в жанровом аспекте. Разумеется, можно считать ее типичной афористической концовкой стихотворения, столь характерной для Баратынского, который последовательно использовал эпиграмматические приемы в ‘серьезных’ стихах. Однако с нашей точки зрения, в свете фольклорных (повторы, параллелизм, фигуры парности) и фольклоризированных (соотношение с русской песней) черт стихотворения она апеллирует к поэтике паремии.

Оттолкнемся от наблюдения лингвиста В.И. Чернышева, который трактовал оборот “положишь на голос (на музыку)” как элемент народной речи у Баратынского (Чернышев 1970, II: 149). Эта точка зрения неубедительна: судя по НКРЯ, колокации *положить на голос* и тем более *положить на музыку* вполне употребительны в литературном узусе. Странным образом, мнение Чернышева указывает путь для дальнейшего

объяснения: лингвист, очевидно, почувствовал ‘народный колорит’ в финале стихотворения Баратынского и попытался найти в нем конкретный маркер народной речи.

Представляется, что он заключен не в отдельном словосочетании, а в целом в грамматической и семантической организации строфы. Она как высказывание имитирует пословицу – одновременно и феномен речи, и текст фольклора. В самом деле, строфа выглядит законченной афористичной сентенцией с характерной для паремий внутренней рифмой (‘голос’ – ‘волос’; ср. например: “Каковы *веки*, таковы и *человеки*” – Княжевич 1822: 100). Высказывание Баратынского выполнено в формально будущем времени (ср. “Против огня и камень *треснет*” – там же: 214) и оснащено модальностью (не)возможности какого-либо явления, столь характерного для смыслового пространства паремий, ср. “*Не удастся* свинье на небо смотреть” (там же: 182). К этим чертам добавляется и характерный символический цветовой контраст, ярко выраженный в пословице “*Черного* кобеля не вымоешь до *бела*” (там же: 277).

Несколько схематизируя, можно отметить, что в поэтическом языке первой трети XIX в. в большей степени было принято создавать аналог паремий, нежели использовать собранные пословицы и поговорки (ср. басни Крылова, *Горе от ума*). Баратынский уже прибегал к такому приему: в стихотворении *Старательно мы наблюдаем свет...* (1829), посвященном ‘народной мудрости’, финал также имитирует паремию в позиции смысловой пуанты (Успенский 2021). Представляется, что *Были бури, непогоды...* подхватывает уже реализованный ранее прием, включая в смешанные жанровые черты стихотворения еще и имитацию поэтики пословицы, что отражает установку Баратынского на фольклорность.

* * *

Жанровые координаты последней строфы не снимают финального вопроса: почему “белый волос с черной мыслью” нельзя “положить на голос”? Иными словами, почему они вкупе не поддаются поэтической терапии, столь важной для Баратынского (ср. хрестоматийное *Болящий дух врачует песнопенье...*)? Предполагаем, что эта пара “не ложится на голос” потому, что *волос* заведомо не может быть переведен в акустический план как вещество другой, конкретной, субстанции, в отличие от *мысли*, которая в акустический план переводится как раз легко. ‘Белый волос’ – поверх условностей поэтического языка – физическое воплощение старости, ее материальное телесное проявление, и положить его на голос нельзя буквально. Эта невозможность, основанная на свойствах реальности и поддерживаемая ограничением семантической сочетаемости в языке, заставляет читателя въявь ощутить старость говорящего в стихотворении ‘я’, пережить ее потусторонность языковому сознанию и поэтическому дискурсу.

Парадоксальным образом, хотя стихотворение *Были бури, непогоды...* утверждает невозможность выразить в поэзии то, на что обрекает старость, описываемую невозможность оно, однако, преодолевает. Само сомнение подвергнуто у Баратынского

го сомнению: поэту удалось передать в стихах осознание этого состояния, и ‘черную мысль’, и переживание ‘белого волоса’.

Именно невозможное становится у Баратынского источником поэтического высказывания. При таком рассмотрении *Были бури непогоды...* встраивается в ряд стихотворений, вдохновленных идеей невозможности (адекватного) высказывания и именно актом высказывания ее преодолевающих. В этом ряду находятся такие разные по своей поэтике и семантической организации (не говоря уже о историко-литературном генезисе) стихи, как *Невыразимое* Жуковского, *Silentium!* Тютчева (мы имеем в виду парадоксальную формулу *Мысль изреченная есть ложь*) и *Я слово позабыл, что я хотел сказать...* Мандельштама.

И все-таки стихи Баратынского нам как читателям кажутся более трагичными. Не потому ли, что они погружены в смысловой ореол смерти? В тексте он проявляется косвенно, но все же отчетливо. Во-первых, в ‘белом волосе’ – не только инородном для смыслового строя элементе, но и элементе, содержащим идею необратимости и являющимся уже мертвой материей. Во-вторых, в глаголе *обручиться*. Само по себе “обручение старого века с лютой карой” в стихотворении трагично, но, кажется, еще трагичнее неотвратимость следующего брачного этапа – венчания. Это грядущее венчание напрямую ассоциируется со смертью и является своего рода перспективным аналогом ‘крещения третьего’ у Блока.

Литература

- Баратынский 1936: Е.А. Баратынский, *Полное собрание стихотворений в двух томах*, ред., коммент. и биогр. ст. Е. Куприяновой и И. Медведевой, I, Ленинград 1936.
- Баратынский 1983: Е.А. Баратынский, *Стихотворения. Проза. Письма*, сост. и прим. В.А. Расстригина и А.Е. Тархова, Москва 1983.
- Баратынский 2000: Е.А. Баратынский, *Полное собрание стихотворений*, сост., подгот. текста и примечания Л.Г. Фризмана, Санкт-Петербург 2000.
- Бодрова 2011: А.С. Бодрова, *Из комментариев к поздней лирике Баратынского: “Мою звезду я знаю, знаю...”*, “Русская филология”, XXII, 2011, с. 36-41.
- Баратынский 1842: Е. Баратынский, *Сумерки. Сочинение Евгения Баратынского*, Москва 1842.
- Баратынский 2002: Е.А. Баратынский, *Полное собрание сочинений и писем*, рук. проекта А.М. Песков, I, Москва 2002.
- Баратынский 2012: Е.А. Баратынский, *Полное собрание сочинений и писем*, подгот. текстов и текстологич. коммент. А.С. Бодровой при участии А.Р. Зарецкого, Н.Н. Мазур и А.М. Пескова, III/1, Москва 2012.

- Бочаров 1985: С.Г. Бочаров, *“Обречен борьбе верховной...”* (Лирический мир Баратынского), в: Он же, *О художественных мирах*, Москва 1985, с. 69-123.
- Виноградов 1947: В.В. Виноградов, *Русский язык*, Москва-Ленинград 1947.
- Винокур 1990: Г. О. Винокур, *“Я и ты в лирике Баратынского”*, в: Он же, *Филологические исследования*, Москва 1990, с. 241-249.
- Гитин 1996: В. Гитин, *Текст как “точка зрения”: лексические отрицания у Баратынского*, “Russian Studies. Ежеквартальник русской филологии и культуры”, II, 1996, с. 96-112.
- Григорьева, Иванова 1969: А.Д. Григорьева, Н.И. Иванова, *Поэтическая фразеология Пушкина*, Москва 1969.
- Гусев 1965: В. Гусев (ред.), *Песни и романсы русских поэтов*, Москва-Ленинград 1965.
- Евгеньева 1963: А.П. Евгеньева, *Очерки по языку русской устной поэзии в записях XVII-XX вв.*, Москва-Ленинград 1963.
- Жуковский 1980: В.А. Жуковский, *Собрание сочинений в трех томах*, сост. и комм. И.М. Семенко, II, Москва 1980.
- Загоскин 1986: М.Н. Загоскин, *Рославлев, или Русские в 1812 году*, вступ. ст. и комм. А. Пескова, Москва 1986.
- Иваск 1957: Ю.П. Иваск, *Баратынский*, “Новый журнал”, 1957, 50, с. 135-156.
- Княжевич 1822: Д.М. Княжевич, *Полное собрание русских пословиц и поговорок, расположенное по азбучному порядку*, Санкт-Петербург 1822.
- Кольцов 1958: А.В. Кольцов, *Полное собрание стихотворений*, Ленинград 1958.
- Корнилович 1821: А.О. Корнилович, *Лефорт, генерал-адмирал и вице-роа Новгородский*, “Отечественные записки”, V, 1821, 9, с. 290-308.
- Кулжинский 1833: И. Кулжинский, *Федюша Мотовильский. Украинский роман*, Москва 1833.
- Мазур 2013: Н. Мазур, *Зависть Флакка и вражда с Навином: из комментария к стихотворению Баратынского “Спасибо злобе хлопотливой...”* в: *Статьи на случай: Сборник в честь 50-летия Р.Г. Лейбова*, <https://www.ruthenia.ru/leibov_50/Mazur.pdf>.
- Мерзляков 1958: А.Ф. Мерзляков, *Стихотворения*, вступ. ст., подгот. текста и примеч. Ю.М. Лотмана, Ленинград 1958.
- Охотин 2020: Н.Г. Охотин, *Из комментария к “Приметам” Е.А. Баратынского*, “Русская литература”, 2020, 3, с. 58-67.
- Панов 2017: М.В. Панов, *Язык русской поэзии XVIII-XX веков. Курс лекций*. Москва 2017.
- Полевой 1990: Н.А. Полевой, *Избранная историческая проза*, сост., вступ. ст. и комм. А.С. Курилова, Москва 1990.

- Сендерович 1990: М. Сендерович, *Поэтика инверсии Баратынского. Глава из Поэтики инверсии*, в: М. Сендерович, С. Сендерович, Пенаты. Исследования по русской поэзии, East Lansing (MI) 1990, с. 153-223.
- Сендерович 2012: С.Я. Сендерович, *Лидийский лад. Элегия в семье жанров русского Романтизма*, в: Он же, *Фигура сокрытия: Избранные работы*, I, Москва 2012, с. 433-471.
- Успенский 2021: П. Успенский, *Статус поговорки в первой трети XIX в. и характер мысли Баратынского: вокруг стихотворения “Старательно мы наблюдаем свет...”*, “Russian Linguistics”, XLV, 2021, 1, с. 105-121.
- Хомяков 1969: А.С. Хомяков, *Стихотворения и драмы*, вступ. статья, подгот. текста и примечания Б.Ф. Егорова, Москва 1969.
- Чернышев 1970: В.И. Чернышев, *Язык и стиль стихотворений Е.А. Баратынского*, в: Он же, *Избранные труды*, II, Москва 1970, с. 112-182.
- Шеля 2018: А. Шеля, “Русская песня” в литературе 1800-1840-х гг., Tartu 2018.
- Языков 1934: Н.М. Языков, *Полное собрание стихотворений*, ред., вступ. статья и комментарии М.К. Азадовского, Москва-Ленинград 1934.

Abstract

Pavel Fedorovich Uspenskij, Savely Yakovlevich Senderovich
 “The White Hair with the Black Thought”. A Study on Baratynskij’s Poem There Were Storms, Bad Weather...

This study is dedicated to the poem *There Were Storms, Bad Weather... (Byli buri, nepogody...)* (1839) by Evgenij Baratynskij. The study analyzes in detail the semantic development of the text, leading to a strong and somewhat paradoxical ending that causes a particular emotional experience for the reader. To understand how the meanings of the poem are shaped in its semantic development is one of the aims of our study. Additionally, we analyze the folkloric features of the poem: repetitions, a parallelism, and the use of paremia. A deep analysis of the text, considering both its semantic movement and lexical nuances, allows us to discuss the semantic paradox of Baratynskij’s poem and affirm that *There were storms, bad weather...* is part of a group of texts that by the very use of poetic speech overcomes the impossibility of the utterance.

Keywords

Evgenij Baratynskij; *There Were Storms, Bad Weather...; Byli buri, nepogody...*; Folklore Features of a Poetic Text; Poetic Semantics.

Людмила Васильевна Спроге

“О Сомов-чародей”. Визуальные контуры портрета Вячеслава Иванова в латышском романе 1926 г.

Сюжет о Константине Сомове, запечатленный в *Неотвратимых судьбах*, латышском романе 1926-го г.¹, интересен с нескольких точек зрения: прежде всего автор романа, Викторс Эглитис² (1877-1945), является реципиентом универсалий Серебряного

¹ Речь пойдет о второй части романной трилогии, состоящей из *Skolotāja Kalēja piedzīvojumi*, 1921. (*Приключения учителя Калейса*); *Nenovēršamie likteni*, 1926. (*Неотвратимые судьбы*), *Domājošā Rīga*, 1934 (*Думающая Рига*).

² Литература о нем к настоящему времени достаточно велика, вот некоторые из них, как на латышском (Briedis 2003: 169-170; Bērsons 2001: 31-74; L. Sproģe, V. Vāvere 2002: 8-272; Vāvere 2012: 7-422), так и на русском языках (Спроге 1996: 158-196; Вавере Спроге 2000: 300-314; Спроге, Вавере 2003: 148-162). Из фактов его творческой биографии важно учесть следующее: Викторс Эглитис (Виктор Иванович Эглит, как называли его в России) родился в крестьянской семье хуторянина в Видземской части Латвии в 1877 г., после приходской школы в городке Лаздоне, он с двенадцатилетнего возраста продолжает учебу в Витебском духовном училище и семинарии, затем, в 1899 г. он поступил и проучился два года в Пензенском Художественном институте. В Пензе он познакомился с В.Э. Мейерхольдом и А.М. Ремизовым; в начале XX века Эглитис продолжил художественное образование в мастерской княгини М.К. Тенишевой и у И.Е. Репина, тогда же подружился с художницей Т.Н. Гиппиус, сестрой известной поэтессы. В Петербурге и в Москве сблизился с русскими поэтами, в основном – символистами (А. Блоком, В. Ивановым, четой Мережковских, Ф. Сологубом, В. Брюсовым, А. Белым и др.). Сильнейшее влияние на становление Эглитиса-литератора оказал Валерий Брюсов, способствовавший его сотрудничеству с журналом “Весы”, где “литератор из Риги” опубликовал несколько очерков о культурной жизни в Лифляндской губернии. Переводы из Брюсова, Иванова и др., посвящение им своих произведений, а также ‘цитатный ряд’ из русских символистов способствовали становлению раннего творчества Эглитиса. Ярким креативным событием этого периода было его посещение Башни Вячеслава Иванова, которая была описана им в воспоминаниях, письмах и в художественных произведениях. Общение продолжалось и в 1907-1913 гг., когда он учился на отделении Классической филологии Дерптского университета, и во время Первой мировой войны (о чем есть интересные свидетельства, см. Котрелев 1999: 14-33), ко времени формирования Сборника латышской литературы под редакцией В. Брюсова и М. Горького в 1915-1916-х гг. произошла ссора Брюсова и Эглитиса, стихи последнего не вошли в сборник и довольно интенсивная переписка между поэтами прекратилась, но в стихах-посланиях Эглитиса память о Брюсове была сохранена. Дружба и

века, отраженных в его стихах и прозе. Будучи представителем латышской культуры конца XIX и начала XX вв. в России, он стал и одним из первых художественных интерпретаторов 'русского Ренессанса'. Здесь оппозиция 'свой'/'чужой' проявляется в сугубо ментальной сфере: латыш, попадая в салоны 'нового искусства' Москвы и Петербурга, осознает себя 'другим', этнически иным, создателем новых, глубоко национальных 'ключей тайн'³. Оказавшийся на Башне Вячеслава Иванова в феврале 1906 г., Эглитис, был глубоко потрясен новыми эстетическими откровениями, он – один из тех, немногих литераторов другой культуры⁴, который "проникся духом Башни". Таким, как он, обладающих творческой памятью, дал колоритное определение А.Б. Шишкин: "Многое осталось письменно не зафиксированным, принадлежало к устной 'башенной' культуре, которую воссоздать нельзя. Но некоторая часть из этой устной культуры различным образом реализовалась в творчестве приходивших на башню поэтов, театральных деятелей и ученых" (Шишкин 2006: 3). Здесь запечатлена еще одна точка зрения: Эглитис отражает рецепцию своих русских современников в контексте 'башенного уклада'. Благодаря письмам, воспоминаниям, художественным произведениям (роману *Неотвратимые судьбы*, эпосу *Сергий барон* и др.) 'сюжеты о Башне' латышского литератора восполняют как историю русского символизма, так и некоторые аспекты креативного восприятия одного из блистательных салонов культуры Серебряного века.

Примечательно и то, что В. Эглитис не только поэт и прозаик, но и художник, проучившийся два года в Пензенском Художественном училище им. Н.Д. Селивестрова в 1899-1901 гг., откуда был исключен вместе с 43-мя учащимися из-за открыто высказанных взглядов на устаревший академизм в живописи. Его друг и соратник по эстетическим взглядам, поэт Валдемарс Дамбергс⁵, обозначил этот 'декадентский'

общение с А. Ремизовым были более длительными, Эглитис звал русского писателя в начале эмиграции поселиться в его рижской квартире; внимание к эмигрантским писателям было не столь интенсивным со стороны латышского писателя, но В. Иванов остался для него до конца дней мэтром и Учителем. В 1944 г. В. Эглитис был арестован органами НКВД и погиб, в 1990 г. реабилитирован.

³ В. Эглитис был переводчиком статьи-манифеста и стихотворений Брюсова: Brjusovs 1904. Характерно, что первую книгу прозы Эглитис назвал *В голубой тюрьме* – цитатой из статьи-манифеста Брюсова и стихотворения А. Фета (Eglītis, 1907)

⁴ В описываемый период Эглитис был в дружеских и творческих отношениях с "остзейским немцем" из Митавы (Елгавы) Иоганнесом фон Гюнтером, который в ту же весну 1906 г. появляется на Башне В. Иванова (Азадовский 2006: 54-63)

⁵ Валдемарс Дамбергс, 1886-1960, поэт, прозаик, драматург, переводчик. Друг и литературный соратник В. Эглитиса, входящий вместе с ним в группу литераторов новых эстетических принципов "Dzelme" (1907). В эмиграции он выпустил несколько книг, посвященных его переписке с В. Эглитисом, и характеристикой развития латышской литературы в первой половине XX в. Дамбергс стал одним из первых, биографов В. Эглитиса, кто осветил его творческий путь и как художника, особенно акцентируя отношение Эглитиса к "Миру искусства", в научных работах эта часть наследия почти не затрагивалась.

период жизни художника и писателя так: “Важную роль в образовании творческой личности Эглитиса играла Пенза. [...]. В это время, наблюдая за культурной жизнью России, он был свидетелем той борьбы, которую против реализма вели Мережковский, Дягилев и Бенуа” (Dambergis 1947: 71).

Имя Константина Сомова продолжит этот знаменательный ряд в переписке и в мемуарах латышских литераторов, современников В. Эглитиса, который познакомился с модным художником на Башне Вячеслава Иванова. Об этом свидетельствуют его письма из Петербурга к жене в Лифляндскую губернию; описывая свое пребывание в столице и круг знакомств с поэтами, композиторами, писателями, художниками, журналистами, он часто цитирует В. Брюсова, К. Бальмонта, Вяч. Иванова, говорит о своем переводе последнего на латышский язык, упоминает журнал “Золотое Руно”, пересылает в одном из писем дифирамбическое стихотворное послание *Вячеслав Иванов*⁶. После одной из февральских сред 1906 г. латышский литератор подробно описал в письме ночь на Башне⁷. По возвращению в Ригу, он живописно рассказал о своих исканиях в Москве и в Петербурге близкому кругу лиц, которые в

⁶ Послание воспроизведено в: Спроге 1998: 400-401. Текст Эглитиса состоит из четырех катренов и корреспондирует с “Терцинами Сомову” В. Иванова, где мотив “бегло-облачных” и “радужных небес” (Иванов 1995: 291-292) становится “живописной чертой” поэта у Эглитиса, что “грузом облачным нагружен”: “В сыпучей мгле могил родильных / Он виноград, в гроздях обильных. / Поит людей. С извечным дружен, / Он грузом облачным нагружен” (Спроге 2003: 401). Эта фраза из дружеского шутивного послания повторяется в письмах Эглитиса к жене, написанных во время его личного знакомства с Ивановым и Сомовым в период посещения Башни (1906 г.), когда создавался известный сомовский портрет, воспроизведенный в одном из выпусков “Золотого Руна”.

⁷ На Башню Эглитиса отвез А.М. Ремизов, первое впечатление от знакомства с Ивановым в письме передается так: “...Выше среднего, златоволосый, в шиллеровских локонах до плеч Вячеслав Иванов, сама любезность. Про меня знает уже все, и что я переводчик и т.д. Спешит обо всем спросить, спешит познакомить с прочими. [...] А теперь, смотрите, входят Мережковский, Сомов Константин Андреевич и наш Ставрогин – Николай Александрович Бердяев. Перезнакомились. [...] Подлетает то Аннибал, то Вячеслав Иванович, предлагают чай, вино, закусь. Я отказываюсь. Но не говорю, что зуб болит и маленько голова. Затем Вячеслав Иванович возвышает свой сладкозвучный голос, сияя раскрасневшимся, блестящим лицом. ‘Приступим же к серьезному’ [...]. Затем я должен читать переводы Вячеслава Ивановича. Но я не помню ничего, и голова болит. ‘Я подумаю, я в конце...’ В конце иду к столику, читаю [...] ‘Громче!’ – кричат. ‘Окончания отчетливее’ – Вячеслав Иванович. После трех куплетов я сбиваюсь. Я – еще две народные песенки... И все хвалят латышский язык. ... Но все такие милые, открытые. Вячеслав Иванович хочет приехать ко мне или просит зайти поговорить. Домой приезжаю в 4 часа ночи, не могу заснуть. Сумбур в голове. И хорошо, что всех видел, и не хорошо, что все-таки робок и чуточку провинциален. ... Пробуду до следующей среды, чтобы побывать у Иванова и еще насладиться раз. Пропую им, как наши старушки, народные песенки” (Eglītis, RLMVM, inv. Nr. 46458. Государственный архив Латвии, фонд В. Эглитиса, письма к жене Марии Сталбовой).

своих воспоминаниях неоднократно приводили меткие характеристики Эглитиса⁸. Так, в одном из писем к В. Дамбергу от 17 июля 1907 г. он пишет: “Гостили и день ото дня беседовали. Часто сцеплялись в спорах, даже когда Серафима Павловна⁹, как и все женщины, впрочем, забывала приличие. Петербургские художники во всей наготе уже изображены нам. Про некоторых, таких как Сомов, В. Иванов, Кузмин, Феофилактов, я мог бы Вам многое ‘насплетничать’; они у меня честно отражены, но в силу своего пролетарства, я не могу не посмеяться. Но – не обо всем в письме скажешь” (Dambergs 1954: 70-71).

Выше приводимые события оказались через двадцать лет истоком художественного осмысления, когда латышский писатель создавал *Неотвратимые судьбы*, второй роман ‘трилогии’. Судьба забрасывает в широкий мир двух российских столиц латышского учителя и литератора Калейса¹⁰, конечно же, alter ego автора, чей текст, создан, несомненно, по опыту символистского романа. В связи с этим актуализируется одна из функций ‘неомифологического’ текста – введение широкого цитатного фона: от причудливых фольклорных образов, порожденных архаическим сознанием, до изысков европейского символизма. О символистской природе текста свидетельствует и ‘окультурная’ тема, тесно связанная с одним из нарративов романа – ‘демонизмом’ четы Бубуков (супругов Ремизовых). Их ‘жизнетворческие’ устремления становятся условием мифогенной основы произведения, где актуальность обрядовых действий и фольклорных представлений проецируются на повышенное в символистской среде внимание к истокам национального мифа. Герой романа появляется в знаменитом салоне ученого-поэта (Вячеслава Иванова, в романе он назван поэт-доцент), там на Башне, где ‘ночные бдения’ приходятся на пятницу (в отличие от реальных ‘сред’), Калейс покоряет изысканную публику самобытной культурой латышей, лирической свежестью стихов

⁸ Один из этого близкого круга – В. Дамбергс, одноклассник Йоганнеса фон Гюнтера, познакомившего своего друга с В.Эглитисом. о котором он вспоминает: “В. Эглитис после первых вводных слов начал рассказывать о своих впечатлениях в Петербурге. Уже ранее будучи знакомым с русским писателем-декадентом А.М. Ремизовым, при его посредничестве В. Эглитис проник в активную и определяющую русское искусство группу декадентов. Очень живо и колоритно описывая каждого, он рассказывал о самом Ремизове, Мерезковском и его супруге госпоже Гиппиус, о Ф. Сологубе, о поэте Вяч. Иванове, Об Андрее Белом, о художниках Сомове, Добужинском, Феофилактине. Живое изображение каждого участника этого сообщества [...] захватило нас. По меньшей мере два с половиной часа без усталости и не проронивши ни слова, слушали мы рассказ В. Эглитиса, поскольку он давал не только характеристику отдельным русским декадентам, но и декламировал тезисы нового символистского искусства” (Dambergs 1954: 67).

⁹ С.П. Ремизова (урожд. Довгелло) – жена А.М. Ремизова

¹⁰ Kalējs – по-латышски кузнец. Главный персонаж не случайно так назван: он в контексте ‘трилогии’ выковывает ‘ключи тайн’, он – создатель произведений новой эстетики, новой – глубинной – национальной идеологии, он обретает ментальную основу своей личности и творчества.

и песен, мелодикой незнакомой речи, к которой потянулись в Москве – Брюсов, а в Санкт-Петербурге – Вячеслав Иванов, сравнив латышский с итальянским языком. Таким образом, персонажами романа являются Ремизов и С.П. Довгелло, Вячеслав Иванов, Лидия Зиновьева-Аннибал, Николай Бердяев и его жена Лидия Юдифовна, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Рябушинский, Зинаида Лансере-Серебрякова, Константин Сомов, латышские писатели, современники Эглитиса и др.

Пространственная параллель романа – Петербург и лифляндский хутор, где гостят петербуржцы. Эти антитетические топосы маркированы по признакам: ‘элитарное’, сотканное из европейских изысков космополитное искусство, и – народная, глубоко национальная культура. Константин Сомов – продукт утонченной Европы, его обитание в Петербурге особенно ньюансируется в романе, он, как и другие современные художники и поэты ‘непостижимого’ града на Неве является создателем “этой странной чары”, “чужого творческого озарения”, под властным влиянием которых в течение месяца находился Калейс. Месяц петербургской жизни оваял латышского персонажа дымкой особой ауры, атмосферой внешнего западноевропейского уклада,

как сама архитектура Петербурга. Особое очарование исходило от их экстазной, всегда активной духовной жизни, отданной творчеству, самым интимным переживаниям и проблемам узкого круга. Там все поминутно разрешались от бремени шедеврами искусства, как будто появление творения было самоценным фактом счастливого рождения. Но этот шедевр всегда рождался как следствие трагических судеб и совместно пережитого (Эглитис 2000: 24).

Сомов назван в романе “русским Бердсли”, “нескромным красавцем-художником”, “эстетом-гурманом”:

Интереснейшим среди них был художник, толстоватый господин с темными, коротко остриженными волосами и двойным подбородком, в коричневом, почти новом визитном костюме с фиолетовым платочком в нагрудном кармане. Был он очень сдержан, вежлив и оригинален [...]. Было известно, что он специально ездил в Лондон, дабы следовать по стопам Бердслея и Оскара Уайльда, и в конце концов, отдал предпочтение художественным методам первого, нежели способности воплощения последнего (*там же*: 64-67).

Как антитеза “петербургскому бердслеанству” в романе выступает Татьяна Николаевна Лансере, прототипом которой явилась художница Зинаида Лансере-Серебрякова, сочувствующая духовным исканиям Калейса и оберегающая его от разрушающих чар новейшего искусства и его творцов. Среди персонажей романа, как видно, немало художников, что послужило особым ракурсам повествования. Так, в романе художественно активны визуальные отсылки к латышским пейзажам (Яниса Розентаалса, Карлиса Мелбардзиса, самого автора романа), немногочисленные ландшафты Санкт-Петербурга восходят к иллюстрациям *Медного всадника* А. Бенуа. Особую визуальную палитру романа образует ‘портретность’, которая складывается из

известных изображений прототипов персонажей¹¹, среди которых воплотивший “мудрость Гете и идеализм Шиллера”, облик Вячеслава Иванова в 1906-м г. представляет аллюзию на известный портрет К. Сомова. Автор романа как бы ‘вторит’ технике сомовского портрета: лик поэта-доцента не завершен, ибо невозможно постигнуть все тонкости выразительного лика и глубины духа оригинала. Изображение его осуществляется не сразу, а по мере постижения его глубинной сущности реципиентом Калейсом. На протяжении первой главы романа постепенно вырисовываются фрагменты портрета Иванова на фоне блистательного петербургского общества:

Всё, что он [Калейс] алкал в своем одиночестве, тут он узрел наяву в красоте дам, в непостижимости художников [...] каким светлым, грациозным, счастливым может быть интеллектуальное сообщество! Лица, которые он видел впервые, были настолько одухотворены внутренним огнем, глубинной красотой, что невозможно было оторваться! [...] Поэты, музыканты, художники! [...] Поэт-доцент был повсюду [...] В конце концерта Калейс подошел к нему – он был обаятелен, – в медовом золоте волос розовело лицо с классическим носом, с прищуром глаз и с сжатыми губами. Он пригласил Калейса, как завсегдатая, на свою “пятницу” и на обед (Eglītis 1926: 19, 22, 24, 34, 35)¹².

Основной колорит ‘словесного портрета’ – розовый фон, рыжеватая шевелюра с завитками, ниспадающими на плечи, открытость и доброжелательность лика. В романе как бы цитируется рисунок Сомова¹³, а также “ответ” изображенного в “Тер-

¹¹ Наиболее частотным словесным портретом в романе представлен А.М.Ремизов (‘мифотворец Бубука’); известный портрет З. Серебряковой *Перед зеркалом* (1909) запечатлевает облик героини романа Татьяны Лансере, где ономастика отсылает к пушкинской Татьяне, а в целом на основе культурных мифологем создается субстрат ‘пушкинского текста’ (подробнее об этом в: Спроге 2000: 149-155); портреты других персонажей представлены в интерьерах салона, деревенской избы, живописной запруды, мельницы, рижских локусов, дачи на Взморье.

¹² В журнальную версию перевода романа этот фрагмент не вошел (см. Eglītis 1926: 19, 22, 24, 34, 35 – перевод мой, Л.С.). Интересная деталь: в романе “розовое лицо” и “золотые кудри” воспринимаются как эстетические знаки одухотворенного портрета, лик поэта воплощает канонические черты, известные по портрету Сомова, и Эглитис далек от точки зрения некоторых его русских современников, видевших во внешнем облике Иванова “сельского батюшку” (Степун 1998: 121). В романе герой как бы рассматривает оживший портрет Сомова, находя в нем образное воплощение одного из своих персонажей. Характерно, что сам художник – “декадентский чародей” – не обозначен как портретист и автор фронтисписа к поэтической книге *Cor ardens*, но мотивы рисунка, портрета, иллюстрации систематически “сопровождают” его на страницах романа: в финальной главе, когда читается *Что есть табак*, “нескромный художник на самом деле, – иллюстратор этой Гоносовой повести, создает двусмысленную атмосферу своими ремарками и провокационными вопросами.

¹³ Концептуальный комментарий портрета содержится в Шишкин 2021: 377-394.

цинах к Сомову” (Иванов 1995: 291), где художник (“Сомов-чародей”¹⁴ и “гений”)¹⁵, вырвавшийся из плена “на волю [...] в луга и свежий лес”, – постоянный смысловой камертон в романе. Природа родной земли излечивает Калейса от декадентской болезни (отсюда – нарастающая частотность изображения родного ландшафта – “лугов” и “свежего леса”). Портрет не завершен и этот эффект рисунка Сомова становится знаком “канонического” изображения Вячеслава Иванова Эглитисом, который как бы ‘собирает’ лики русского поэта из своих ранних текстов¹⁶ и соотносит их с иллюстрацией в “Золотом Руно”, номер которого держат в руках персонажи романа. Эстетический эффект художника “Мира искусства” в портрете, выполненном с учетом современных живописных приемов, говорящих о неполной завершенности карандашного рисунка и акварели, вызвал скорее неоднозначные отклики в обществе, но для Эглитиса, хорошо знающего и профессионально оценивающего другие изображения поэта, было важным представить в своем тексте именно полотно Сомова.

Почему? Это связано с нарративными смыслами романа: настойчивое ‘корреспондирование’ трех персонажей, под которыми, подразумеваются Ремизов, Иванов, Сомов, со сложившемся в сознании латышского автора (и его героя Калейса)

¹⁴ “Петербургская чара”, декадентское / символистское марево в романе соответствуют “бердслеевской рафинированности”, от которой старается уберечь главного героя Татьяна Лансере, в письме она предупреждает Калейса: “они – опасный капкан не только для Вас – крестьянина, латыша, но и для художественных кругов Петербурга. Видели ли Вы, как боролся с ними молодой поэт, крестник Владимира Соловьева? Так же придется поступить и Вам, если захотите избежать опасных экспериментов, которые могли бы прервать Ваше развитие... Оставайтесь самим собою, подобно Одиссею, который, залепив воском уши своих товарищей, сам приказал только привязать себя к мачте, чтобы все-таки услышать волшебные звуки и увидеть погибельные пляски этих сирен” (Иванов 1995: 49).

¹⁵ Гений, творящий свой мир: “Когда же гений твой из этого плененья / На волю вырвется”, по-видимому, является парафразом более раннего стихотворения Иванова, где “воля” – как залог единения в “покорности”: “Светило братское, во мне зажгло ты вновь / Неуголимую, напрасную любовь! Детей творения, нас, в разлученной доле, / Покорность единит единой вечной Воле” (Иванов 1995: 73), стихотворение *Покорность* (1890) было переведено Эглитисом. В *Терцинах...* же мотив жизни – суетной игры “Вся жизнь – игра. / И все сменяется в извечной перемене / Красивой суеты” неоднократно осмысливается персонажами романа на разных семантических уровнях. Образ Вячеслава Иванова, таким образом, мифологизируется Эглитисом в духе игрового артистизма завсегдатаев “Башни”.

¹⁶ В 1908 г. Эглитис публикует в журнале “Stari” свою незавершенную трагикомедию *Поэты*, где центральный персонаж Аншлавс Залктис творит свою жизнь, как страстную Пятую симфонию Бетховена, он – “кочевник Красоты”: “Красота нужна во всем! Даже падение должно быть красивым”. Отвергая постылую мораль, он ищет “третий” путь, преодолевая собственную раздвоенность. Он цитирует *Узлы Змеи* – “Триста тридцать три соблазна, / Триста тридцать три обряда”. Уже в раннем творчестве латышского писателя видна устойчивая ориентация на тексты и на личность В. Иванова и важность его открытий для развития национальной культуры.

символистского мифа, сказывается и на характере литературной интерпретации экфрастических сюжетов. Эглитис ‘рассказывает’ визуальные тексты, давая им свое (писателя и художника) истолкование, т.е. усвоенный представителем нерусской культуры внутренний мир произведений с выявлением более значимых для него сюжетов, образов, мотивов. Рассказ об артефактах начинается в первой главе романа, когда Калейс попадает в квартиру ‘странной пары’ (супругов Ремизовых); поведав о языческих латышских божествах, он особенно акцентирует визуальную природу их отображения:

В латышской мифологии [...] все образы настолько понятны, что легко поддаются воспроизведению, их можно *изображать на полотне или высекать из камня* [...] *химеры и призраки потеряли ясность своего антропоморфного вида*. Самый устрашающий Перконс-отец обыкновенно стоит в блеске молний, задумчиво опершись на меч, и уже редко объезжает Взморье на своей свинцовой кобылице (Иванов 1995 – Разрядка моя, Л.С.).

Эффект экфразы запечатлен и в ‘пересказе’ увиденного персонажем витального ‘сказочного мира’ автора *Посолони*:

На мгновение оставшись в зале один, Калейс оглядел стены, где вместо живописи было нечто иное [...] более всего удивило Калейса то, что хранилось на письменном столе: большую часть стола занимал какой-то странный кусок дерева, похожий на мялку для льна, вывезенный мифотворцем из Усть-Сысольска и называвшийся гребнем Бабы-Яги. Вокруг этой мялки находилось бесконечное множество маленьких амулетов, оберегов, фетишей, созданных оригинальной народной фантазией. Войдя в залу и увидев Калейса, удивленно разглядывающего предметы, Бубука стал каждый из них называть поименно. Наиболее любимым оказалась Кикимора, женоподобный, не стареющий злой домашний дух, которого Бубука выдавал за своего божка (Иванов 1995: 22).

В колоритном абрисе коллекционера этих странных для Калейса ‘вещиц’ также узнаваемы портретные черты изображений Ремизова:

Большие черные глаза русского мифотворца [...] вспыхивали, как у кота, странными красноватыми искорками. Облизывая пухлые губы и, всей пядью ероша волосы, которые, словно кустики, торчали над широким лбом [...]. И Калейс, глядяваясь в этого малорослого чудака, который сидел, съёжившись, как лесной зверок, рассказывал далее про боговых сыновей и про богиню Сауле, и про ее дочерей, играющих друг с дружкой (Иванов 1995: 20).

Создавая галерею портретов, пейзажей, интерьеров, латышский автор стремится к экспрессивному изображению финала повествования, который связан с салонным чтением повести Ремизова *Что есть табак*:

Для всех запоздавших Бубука замыслил солидное введение к своим сказкам. Все умокла, и он важно начал: *Что есть табак*, – так называется сказка, которую сказывал монах Гоносий... Сразу же после первых строк скромная Татьяна Николаевна [Лансере – Л.С.] встала и вышла в другую комнату. Вскоре туда последовали и другие дамы, кроме Ангелики Францевны [т.е. Ремизовой-Довгелло], которая вместе с философом [Бердяев] и поэтом-доцентом [Вяч. Иванов] выдержала чтение до конца. Разумеется, дослушал до конца и художник [Сомов], который помышлял о дальнейших расспросах Ангелики Францевны. И как только сказка была досказана – из чего произошел табак, откуда пошла порча и всякое непотребство в мире, как художник подсел к Ангелике Францевне и продолжил свои расспросы ... Ассистировали ему философ, поэт-доцент и сам господин Бубука. Но насколько дивным искусителем был художник, столь же искусной собеседницей оказалась Ангелика Францевна. В конце концов художник вскочил с места, победоносно заявив, что в этот час – а было уже двенадцать – он гениален” (Иванов 1995: 67).

Известно, что ‘заветный сказ’ о табаке проиллюстрировал К. Сомов; книга, обильно насыщенная эротическими знаками в художественном оформлении, была опубликована незначительным тиражом в 1908 г. и вызвала скандал в обществе.

Экфразы в латышском романе гармонично вошли в его структуру, где описание предметов и ‘легендарных’ персонажей аллюзивно и связано с корреспондированием ‘новых смыслов’ в литературе и в живописи.

Литература

- Азадовский 2006: К.М. Азадовский, *Две Башни – два мифа (Стефан Георге и Вячеслав Иванов)*, в: В.Е. Багно, *Башня Вячеслава Иванова и культура Серебряного века*, Санкт-Петербург 2006, с. 53-73.
- Вавере, Спроге 2000а: В. Вавере, Л. Спроге, *Ремизов в латышской литературе: Виктор Эглитис, Антонс Аустриньш, Павилс Грузна*, “Балтийский архив: Русская культура в Прибалтике”, VI, 2000, с. 300-314.
- Вавере, Спроге 2000б: В. Вавере, Л. Спроге, *Алексей Ремизов – персонаж романа Викторса Эглитиса “Неотвратимые судьбы”*, “Даугава”, 2000, 4(222), с. 13-18.
- Иванов 1995: В. Иванов, *Стихотворения. Поэмы. Трагедия*, Санкт-Петербург 1995.
- Котрелев 1999: Н.В. Котрелев, Ю. Балтрушайтис и В. Эглитис: *два типа связи с имперской культурой*, в: Он же (ред.), *К 125-летию со дня рождения Юргиса Балтрушайтиса. К 80-летию литовской дипломатии*, Москва 1999, с. 14-33.
- Спроге 1996: Л.В. Спроге, *А.М. Ремизов в Латвии: В. Дамбергс, В. Эглитис, В. Гусев, И. Павлов, В. Гадалин*, “Балтийский архив: Русская культура в Прибалтике”, II, 1996, с. 158-196.

- Спроге 1998: Л. Спроге, "Баиня" Вячеслава Иванова и ее ливонские гости, в: С. Аверинцев, Р. Циглер, Вячеслав Иванов и его время. Материалы VII Международного симпозиума, Вена 1998, с. 395-404.
- Спроге 2000: Л.В. Спроге. Пушкинский пласт в романе Викторса Эглитиса "Неотвратимые судьбы", "Славянские чтения", I, 2000, с. 149-155.
- Спроге, Вавере 2003: Л. Спроге, В. Вавере, А. Ремизов в Латвии: русский писатель в жизни и творчестве Виктора Эглитиса, в: А.М. Gračeva, A. d'Amelia (a cura di), *Aleksej Remizov: Studi e materiali inediti*, San Pietroburgo-Salerno 2003, с. 149-162.
- Степун 1998: Ф. Степун, *Встречи*, Москва 1998.
- Шишкин 2006: А.Б. Шишкин, *Предисловие*, в: Б.Е. Багно, *Баиня Вячеслава Иванова и культура Серебряного века*, Санкт-Петербург 2006, с. 3-6.
- Шишкин 2021: А. Шишкин, *Сомов и Баиня Вяч. Иванова: Портрет – Терцины-Фронтиспис*, в: Д. Сегал, О. Левитан, А. Шишкин, М. Вахтель (ред. сост.), *Загадка модернизма: Вячеслав Иванов / Viacheslav Ivanov: The Enigma a Modernism. Материалы XI Международной Ивановской конференции*, Москва 2021, с. 377-412.
- Эглитис 2000: В. Эглитис, *Неотвратимые судьбы. Главы из романа, "Даугава"*, 2000, 4(222), с. 19-69.
- Bērgsons 2001: I. Bērgsons, *Deviņi likteņi. Represētie rakstnieki*, Rīga 2001.
- Briedis 2003: R. Briedis, *Eglītis Viktors*, in: A. Rožkalne, *Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Otrās, pārstrādātais un papildinātais izdevums*, Rīga 2003.
- Brjusovs 1904: V. Brjusovs, *Poēmas un noslēpumu atslēgas*, Rīga 1904.
- Dambergs 1947: V. Dambergs, *Zalais rakstniecības koks: Apcerējumu krājums*, Mulsisjo 1947.
- Dambergs 1954: V. Dambergs, *Sarakstīšanās Edvartu Virzu un Viktoru Eglīti: Vēstules / Переписка с Эдвартом Вирзей и Виктором Эглитом: Письма*, København 1954.
- Eglītis 1907: V. Eglītis, *Zila cietumā*, Rīga 1907.
- Eglītis 1926: V. Eglītis, *Nenovērsamie likteņi*, Rīga 1926.
- Sproģe, Vāvere 2002: L. Sproģe, V. Vāvere, *Latviešu aizsākumi un krievu literatūras 'Sudraba laikmets'*, Rīga 2002.
- Vāvere 2012: V. Vāvere, *V. Eglītis*, Rīga 2012.

Abstract

Ludmila Vasilyevna Sproge

“Oh, Somov-Sorcerer!”: Visual Contours of the Portrait of Vjačeslav Ivanov in the Latvian Novel of 1926

Konstantin Somov is one of the characters in Victor Eglitis’s novel *Inevitable Fates*. The Latvian writer and artist was familiar with members of the “World of Art” and created an ekphrasis in his novel of the famous portrait of the poet Vjačeslav Ivanov, and also described his impressions of the famous Tower from meetings with A. Remizov, L. Zinov’eva-Annibal, N. Berdjaev, and Z. Serebrjakova. The gallery of portraits, landscapes and interiors creates visual effects in the novel; these are reflected in the description of the characters, who are contemporaries of Victor Eglitis. The characters of the novel are presented according to their images in photographs and artists’ portraits. The portrait, painted by Konstantin Somov, is a visual image of the novel’s hero, a philosopher, poet and scientist, and the owner of a modernist salon in St. Petersburg.

Keywords

Victor Eglitis; Konstantin Somov; Vjačeslav Ivanov; Aleksej Remizov; Ekphrasis; Portrait; Reception; Illustration.

Duccio Colombo

I nomi dei militi ignoti. Letteratura di guerra sovietica e giornalismo, o verisimiglianza e verità: due casi

Tra i nomi delle persone, dei soldati e degli ufficiali, che hanno preso il Reichstag, è stato dimenticato il nome di Pjatnickij. Di Pëtr Pjatnickij. Eppure è stato proprio lui a saltare per primo la mattina dalla finestra della casa di Himmler quando è iniziato l'assalto, al primo attacco. Poi, accanto al canale, dove le compagnie erano rimaste bloccate a lungo, si è alzato un soldato con la bandiera rossa – solo qui l'ha spiegata – e si è portato dietro i compagni. Era Pëtr Pjatnickij' (Subbotin 1965a: 67).

Come finiscono le guerre di Vasilij Subbotin - una serie di bozzetti dedicati alla battaglia per Berlino, cui l'autore aveva partecipato in prima persona da giornalista militare, bozzetti di cui le prime raccolte uscirono sulla "Pravda" e sul "Novyj mir" in occasione del quindicesimo anniversario della vittoria e la versione completa in volume per il ventennale – è un tipico esempio della letteratura di guerra fiorita negli anni del disgelo chruščëviano. Il pathos fondamentale di questa letteratura è ristabilire una cruda 'verità di trincea' scavalcando le pompose versioni ufficiali (questo, ovviamente, nelle intenzioni dichiarate degli scrittori); le distinzioni tra i generi letterari, le diverse convenzioni sono, nel dibattito dell'epoca, lasciate in secondo se non in terzo piano. È ancora convinzione piuttosto diffusa nella storiografia letteraria che lo scontro sul *cosa* raccontare abbia in quest'epoca portato a trascurare la messa in discussione del *come*, che i principi della mimesi realista-socialista non siano allora stati messi seriamente in discussione; il libro di Subbotin è un esempio del fatto che le cose sono più complesse. Una discussione della storia dell'eroe dimenticato' Pëtr Pjatnickij, e un suo paragone con un episodio del periodo staliniano che presenta una possibile analogia, può contribuire a chiarire la questione.

La letteratura sovietica sulla seconda guerra mondiale è stata oggetto di dibattito, prima di tutto, come pretesto per una discussione storico-politica sulla guerra stessa. Come scriveva in un saggio riepilogativo un critico specializzato nell'argomento, Lazar' Lazarev (1991: 41):

Quattro decenni e più nella ricostruzione e nell'interpretazione degli eventi della grande guerra di popolo la letteratura è stata al comando, sono stati gli scrittori a tracciare la strada. Gli storici (...) seguivano gli scrittori, restando, non per propria colpa, indietro: una *povest'* coraggiosa e di talento aveva qualche possibilità di arrivare alle stampe, men-

¹ Qui e di seguito, ove non diversamente indicato, la traduzione è mia, DC.

tre un'indagine storica con una visione indipendente, con uno sguardo proprio sulle cause e l'andamento degli eventi non aveva nessuna possibilità.

La centralità della letteratura nel dibattito intellettuale (“*Literaturocentrizm*” o “*Literaturocentričnost*”), già caratteristica della Russia dell'Ottocento, si riproduce, per ragioni paragonabili (la ricerca di un'arena di discussione tollerata dalla censura), nel periodo sovietico; un fenomeno che non può non avere conseguenze anche qualitative sulla letteratura. Non è un caso che Lazarev (1991: 34) faccia precedere il discorso sulla letteratura da un passaggio sulla memorialistica sulla guerra; un genere, ricorda, esplicitamente bandito negli anni staliniani, mentre in quelli di Chruščëv “apparvero serie di memorie di guerra di grande successo presso i lettori, sia per le edizioni militari che per l'editrice Nauka, questi libri andavano a ruba”². Mentre, scrive lo storico Nikolai Kuposov (2011: 103), “Negli anni 1960-1970 appare un'ampia letteratura sulla guerra. Il suo genere principale sono le memorie, il cui ‘effetto di verità’ era totalmente utilizzato dal potere”. Il discorso sulla guerra, che nel tardo stalinismo era piuttosto soffocato, esplose negli anni di Chruščëv per diventare in quelli di Brežnev, beninteso con un forte spostamento degli accenti, la principale mitologia giustificatrice del regime (vedi Tumarkin 1994; Leonov 2009: 7). La letteratura è al centro del processo, e i libri di memorie ne sono considerati parte integrante; è in questi anni, e su questi temi, che si fissa definitivamente il genere che in Russia si chiama ‘letteratura documentaria’, il genere di cui fa parte il libro di Subbotin e che avrà da qui in poi sviluppi importanti (vedi Colombo 2017, 40-44).

Negli anni Sessanta, la letteratura documentaria è un genere ‘liberale’, che le forze conservatrici non vedono di buon occhio; un intervento dello scultore Evgenij Vučetič sulle “Izvestija” all'inizio del 1966 è un attacco esplicito in questo senso:

Col pretesto di eliminare il pomposo si fanno tentativi di privare l'arte monumentale del suo contenuto principale: l'affermazione dell'eroe positivo, l'autentica grandiosità. Qualcuno, ad esempio, chiede di sostituire i monumenti sui luoghi delle battaglie con bunker e trincee. Questi renderebbero meglio l'eroismo dei giorni della battaglia. Ma forse che i racconti in prima persona di chi ha partecipato alle battaglie possono sostituire i romanzi, i racconti, i poemi? Certamente no! Con tutti i pregi che hanno le testimonianze personali di chi ha fatto la guerra non possono sostituire la letteratura, l'arte. Solo le opere d'arte con le loro immagini generalizzanti sono in grado di esprimere la grandezza dell'impresa e della sofferenza del nostro popolo negli anni di guerra nella loro interezza. Qui sta la forza e il mistero dell'arte (Vučetič 1966).

² Ovviamente, anche la memorialistica sarebbe stata soggetta a censura, una censura sempre più severa col passare degli anni – ne è prova la cessazione della serie dell'editore Nauka (dell'Accademia delle Scienze), con l'assegnazione di un monopolio di fatto alle edizioni militari, molto più controllate; e l'obbligo di sottoporre le poche memorie pubblicate in altra sede all'Amministrazione Politica dell'Armata Rossa (cfr. Lazarev 1993: 34-35).

Il “qualcuno” a cui Vučetič allude è Boris Polevoj, che nel 1960 aveva pubblicato sulla “Komsomol'skaja pravda” un intervento contro il progetto, allora ancora non realizzato, del memoriale di Stalingrado (di cui Vučetič era responsabile per la parte scultorea), sottolineandone appunto il carattere pomposo, e chiedendo che venissero restaurati e valorizzati i luoghi e gli oggetti autentici delle battaglie (vedi Ogryzko 2015). A Vučetič avrebbe replicato una settimana dopo, sempre sulle “Izvestija”, Konstantin Simonov (1985: 349): “che i romanzi coesistano senza paura con le memorie e i documenti”: il campo liberale difendeva le sue pratiche.

* * *

La ricerca degli eroi dimenticati è una delle correnti tematiche principali di questa letteratura documentaria, probabilmente la prima ad apparire da un punto di vista cronologico: il ciclo di Sergej Smirnov sulla fortezza di Brest (i primi testi escono nel 1956, nel 1957 quello fondamentale) è seminale, ed esemplare della sorte di tutto il genere. Nel lavoro di Smirnov il pathos della denuncia è inizialmente ben presente, se non esibito. Le notizie sull'eroica resistenza nella fortezza sul confine, assalita nel primo giorno di guerra e proseguita per più di un mese, quando il fronte si era spostato centinaia di chilometri ad est, potevano venire solo dai superstiti, e i superstiti, data la situazione, non potevano che essere stati prigionieri dei tedeschi:

Bisogna ammettere che anche da noi sul territorio non sempre l'approccio verso queste persone è stato corretto. Non è un segreto che il nemico del popolo Berija e i suoi scagnozzi coltivassero un atteggiamento scorretto, infondato verso gli ex prigionieri di guerra, senza tenere per niente conto di come una persona fosse finita nelle mani del nemico e di come si fosse comportata negli anni della prigionia hitleriana (Smirnov 1961: 155).

Questo atteggiamento non impedirà al libro di Smirnov di essere ripubblicato con continuità per tutti gli anni sovietici, mentre l'autore continuerà la sua campagna per la ricerca degli eroi dimenticati con successo crescente, con rubriche prima alla radio e poi alla televisione. Per di più, il ‘progressista’ Smirnov si farà in seguito fama da ‘conservatore’ di ferro, trovandosi, da segretario della sezione moscovita dell'Unione degli scrittori, a presiedere la riunione in cui Pasternak fu espulso dall'organizzazione.

La stessa questione degli eroi dimenticati ritorna, con un tono sempre più esplicitamente polemico, in diversi testi pubblicati negli anni di Chruščëv (e nei primissimi dopo il suo allontanamento, anni in cui – forse un'onda in crescita che non si riuscì ad arrestare in un colpo, forse per il tentativo di Brežnev appena insediato di proiettare un'immagine attraente di sé verso l'intelligencija liberale – le tendenze dell'epoca del disgelo raggiungono il culmine). Così il discorso ritorna in *La morte è da ritenersi nulla* di Rudol'f Beršadskij (1964: 38):

Ora è perfino difficile immaginare per quali e quanti pretesti la vita ci abbia fatto imbattere nel culto della personalità di Stalin. Decine di eroi (io so solo quello che è successo su di un fronte, tra tutti i fronti della Grande guerra Patriottica probabilmente sono stati

centinaia) si sono gettati a petto nudo sui nidi di mitragliatrici del nemico, costringendo al silenzio le mitragliatrici tedesche. Però ci fu bisogno che la relazione sulle gesta di un eroe arrivasse fino a Stalin in persona, e solo allora si è illuminata l'intramontabile gloria di Matrosov. Ma, appunto, del solo Matrosov. Stalin notò proprio lui. E invece, diciamo, Gerasimenko, Krasilov, Čeremnov non li notò: tre comunisti degli Urali che sotto Novgorod, già prima di Matrosov, si gettarono contemporaneamente a bloccare con i loro corpi tre feritoie. Pensateci su: di comune accordo! Contemporaneamente! Ognuno su di una feritoia scelta in precedenza! Ma la loro storia continuano a conoscerla solo i pochi che hanno letto sul giornale del fronte la poesia di Nikolaj Semënovič Tichonov...

Il discorso concreto va forse un poco sfumato: la *Ballata sui comunisti* di Tichonov, uno dei poeti più noti dell'epoca, non uscì solo su un giornale di trincea, ma sulla "Krasnaja zvezda", l'organo ufficiale delle forze armate, giornale di grande tiratura e diffusione; e fu ripubblicata in decine di edizioni dell'opera di Tichonov. E, ciononostante, la gloria del trio Gerasimenko-Krasilov-Čeremnov non ha niente di paragonabile a quella di Matrosov.

Ancora molto simile il discorso in Subbotin (1965a: 82), collegato logicamente alle pagine su Pëtr Pjatnickij che citavamo in apertura:

È stranamente ristretta la cerchia delle persone che hanno preso il Reichstag...

Non so perché. Non sarà perché anche questo caratterizza un intero periodo della nostra storia. Si sa com'era in quel tempo complicato: si prendeva un nome, una qualche figura, e dietro la sua schiena sono sepolti moltissimi senza nome. Negli ultimi anni abbiamo corretto molto, ma comunque, di giubileo in giubileo, di anniversario in anniversario raccontiamo delle stesse persone. L'inerzia! Così nasce l'impressione che il Reichstag – se del Reichstag vogliamo parlare – l'abbiano preso in pochi.

Che falsità!

Così eravamo abituati ai tempi di Stalin: tutto, sia il grande che il piccolo, andava ridotto a due, tre nomi.

Non sorprende che l'edizione in volume del 1965 sia l'unica, tra le numerose versioni del libro di Subbotin, in cui questo passaggio ha superato la censura: nell'edizione pubblicata nell'anno successivo da "Roman-gazeta" (Subbotin 1966a: 24) è eliminata la sola frase su Stalin; in quelle successive è l'intero capitolo ad essere sostituito (vedi ad esempio la versione pubblicata in Subbotin 1981).

Nel suo studio ormai classico sul culto della guerra, Nina Tumarkin (1994: 76-77) nota questa insistenza su singoli eroi individualizzati e simbolici e tenta una spiegazione in termini di efficacia della propaganda:

For every Zoya and Panfilov there were thousands of equally deserving but unsung heroines and heroes. But for a people reared for centuries on the lives of Russian saints – whose iconographic likeness graced the icon corners in homes of all Russian Orthodox believers – and a people who for decades had seen communist ideals embodied in the

idealized personae of Lenin and Stalin, there was a strong pull toward the reverence of exemplary individuals.

Era più radicale il commento, nel vivo della polemica, di Vladimir Kardin (1966: 241):

Le parole sull'eroismo di massa non impedivano di canonizzare eroi individuali, per la maggior parte caduti, e di cancellare gli altri. Era un atto di mancanza di fede – non sempre e non in tutti cosciente – nella nostra gente. Si era radicata nella coscienza, guidava il pensiero nella direzione corrispondente e conseguentemente 'tagliava' la memoria.

* * *

Il saggio di Kardin, pubblicato già nel 1966 dal "Novyj mir", è tra le punte più estreme dell'attacco alla visione stalinista della guerra, tanto che si guadagnò una reprimenda da parte di Brežnev in persona. Un saggio di critica letteraria diventa così oggetto di discussione a livello governativo: nel suo intervento alla riunione del *politburo* del 10 novembre 1966 il segretario generale, mentre si compiaceva per "le fruttuose conseguenze del plenum di Ottobre del CC" (cioè dell'assemblea che nel 1964 aveva depresso Chruščëv e lo aveva insediato al suo posto) "nelle sfere dell'economia, dell'agricoltura e dell'industria", notava segnali inquietanti provenire dal campo dell'ideologia. Citato il diario di guerra di Konstantin Simonov, Brežnev procedeva con quella che non può essere che un'allusione a Kardin:

In alcune opere, nelle riviste ed in altre pubblicazioni, è soggetto a critica quanto nei cuori del nostro popolo è più sacro, più caro. Certi nostri scrittori (e li pubblicano) arrivano al punto che non ci sarebbe stata la salva dell'*Aurora*, che era stato un colpo a salve eccetera, che non ci sono stati i 28 *panfilovcy*, che erano di meno, manca poco a dire che questo fatto è stato inventato, che non c'è stato Kločkov e non c'è stato il suo appello "dietro di noi c'è Mosca e non abbiamo dove ritirarci" (Korotkov 1996: 112).

L'articolo di Kardin è una rassegna della letteratura memorialistico-documentaria sulla guerra uscita negli anni precedenti; il nodo principale è proprio la messa in discussione della versione ufficiale della storia dei 28 uomini della divisione Panfilov che, nel novembre del 1941, allo scambio di Dubosekovo, nella regione di Volokolamsk, avrebbero fermato 50 carri armati tedeschi in avanzata su Mosca cadendo fino all'ultimo uomo. Si tratta di una delle storie più diffuse nella mitologia sovietica sulla guerra, una storia che ha innumerevoli incarnazioni³. Kardin la mette radicalmente in discussione commentando le memorie di Aleksandr Krivickij, il giornalista che per primo l'aveva diffusa, dunque l'au-

³ Dal poemetto (ancora) di Nikolaj Tichonov (apparso in "Krasnaja zvezda" il 22 marzo 1942; ora in Tichonov 1981: 638-348) a un film del 2016: *28 panfilovcev*, sceneggiatura di A. Šal'opa, regia di A. Šal'opa e K. Družinin, produzione Kinostudia 28 panfilovcev – Gaijin entertainment, 122'. Cofinanziato dal ministero della cultura russo e da quello del Kazakistan oltre che attraverso una *crowdfunding* molto partecipato, è stato in Russia uno dei grandi successi dell'anno al botteghino.

tore della versione ufficiale. È questo, e l'autore non poteva non rendersene conto, il nodo polemico principale del suo saggio.

Su Krivickij e sui 28 *panfilovcy* torneremo. Quello che è importante sottolineare, a questo punto, è che il pathos di Kardin è dichiaratamente il pathos del xx congresso, come è esposto fin dalla prima pagina:

L'attuale interesse per le testimonianze documentarie, prima di tutto sugli anni e le disgrazie della guerra, sui veterani e gli eroi del nostro esercito, deriva dal desiderio irrefrenabile, così caratteristico dei nostri giorni, di bere "dal fiume chiamato fatto". Questo interesse si è subito acutizzato quando dopo il xx congresso del partito si è avviato il ritorno alla norma leninista e alla giustizia laddove erano state violate (Kardin 1966: 237).

Il discorso sugli eroi dimenticati discende direttamente dalla relazione segreta di Chruščëv. Una parte significativa di questa relazione era dedicata alla demolizione del mito di grande condottiero che Stalin aveva imposto di sé. Un passaggio celebre (nello stenogramma è indicato che fu seguito da "applausi furiosi e prolungati") recita:

Non Stalin, ma tutto il partito nel suo complesso, il governo sovietico, il nostro eroico esercito, i suoi validi comandanti e valorosi soldati, tutto il popolo sovietico, ecco chi ha assicurato la vittoria nella grande guerra Patriottica (Chruščëv 1959: 39).

Segnatamente, il passaggio è preparato da una battuta di spirito sul film *La caduta di Berlino*, dove "agisce solo Stalin; dà ordini in una sala dove ci sono molte sedie vuote e solo una persona gli si avvicina e fa qualche rapporto, è Poskrëbyšëv, il suo fido scudiero" (38).

Il film di Čiaureli è menzionato, coincidenza curiosa, anche nell'articolo di Kardin; ed è menzionato, di nuovo, in relazione ai racconti di Subbotin:

Vasilij Subbotin (prima di diventare scrittore, è arrivato fino a Berlino con la sua 150-ma divisione di fanteria Idrickaja e tra i primi è corso su per i gradini del Reichstag cosparsi di frammenti di intonaco) ha raccontato questo caso. Ricordando l'assalto al Reichstag a tavola con i commilitoni del reggimento, qualcuno menzionò il sergente Ivanov. Subbotin si mise sull'avviso. Aveva conservato i suoi taccuini del fronte, conosceva, credeva, i nomi di tutti quelli che avevano preso parte all'assalto, ma il sergente Ivanov lo sentiva menzionare per la prima volta. Gli amici però sostenevano di comune accordo: Ivanov era con loro, "quello stangone, grande e grosso..."

Subbotin prese nota del nuovo cognome, cominciò a verificare i suoi ricordi sui documenti, ma negli elenchi del battaglione non era indicato un sergente Ivanov. E allora Subbotin ebbe un'illuminazione: era l'Ivanov del film *La caduta di Berlino*. I ragazzi si erano abituati a lui, lo avevano 'incluso' nel gruppo di assalto, avevano cominciato a menzionarlo nei loro ricordi (Kardin 1966: 240).

Con "ha raccontato" (*rasskazyval kak-to*) Kardin si riferisce qui probabilmente a un racconto orale diretto dello scrittore; nei testi di Subbotin questo particolare compare,

in forma leggermente diversa, solo in pagine di diario che risalgono al 1960, agli incontri in occasione delle celebrazioni del quindicesimo anniversario della vittoria, ma sono state pubblicate solo nel 2016. Il critico prosegue, a dimostrazione della necessità di ristabilire la verità dei fatti al di là delle leggende staliniste, citando appunto il caso di Pëtr Pjatnickij.

Pjatnickij, autentico eroe caduto, è stato dimenticato, mentre Ivanov, frutto dell'immaginazione degli sceneggiatori, ha preso il suo posto anche nei ricordi dei commilitoni. Questo sempre che Subbotin racconti la verità. Per tentare di fare chiarezza in questo girotondo in cui realtà e finzione si scambiano continuamente di posto, proporremo ora di ipotizzare che Subbotin abbia mentito.

* * *

Dimostrare o smentire l'autenticità della storia di Pjatnickij sarebbe oggi probabilmente quasi impossibile, e richiederebbe comunque metodi e mezzi diversi da quelli di cui disponiamo qui; avanzare l'ipotesi di una falsificazione è comunque utile a un ragionamento sulle conseguenze che ne deriverebbero. Una ricerca delle tracce di Pjatnickij nell'abbondante e confusa memorialistica dedicata all'assalto del Reichstag porta effettivamente diverse sorprese: secondo Subbotin (1965: 68) "Allora scrivemmo di lui sul giornale della divisione, ma la cosa non andò oltre. E poi il suo nome fu menzionato sempre più raramente". Rintracciare oggi la collezione completa di "Voin rodiny", il giornale della 150-ma divisione, non è impresa facile; sono in rete il numero del 1 maggio e quello del 5 maggio 1945, quest'ultimo con un articolo firmato da Subbotin insieme al generale Šatilov dedicato proprio all'innalzamento della bandiera sul Reichstag, in cui il nome di Pjatnickij non compare⁴. Né compare nei diari dell'epoca che Subbotin pubblicò nel 1966 (ammettendo di avere in qualche modo corretto, abbreviato ed arricchito il testo ricorrendo ai suoi taccuini di giornalista dell'epoca) (Subbotin 1966b).

È menzionato invece nella rievocazione che Boris Gorbatov (1988: 406) scrisse per la "Pravda" del 9 maggio 1948:

Se mi chiederanno [...] chi ha innalzato la Bandiera della vittoria sul Reichstag, risponderò: tutti. Tutti i soldati sovietici.

E quelli che, senza raggiungere il Reichstag, sono caduti sulla piazza scavata dai proiettili stringendo con la mano morta una bandierina purpurea come il sangue. E il giovane comunista Pjatnickij, caduto con la bandiera rossa al primo gradino della scala che porta al Reichstag. E il kazako Kaškarbaev e il giovanotto russo Griša Bulatov, ancora viventi, che hanno piantato la bandiera sul terzo gradino della scala. E il soldato russo Egorov, e il georgiano Kantarija, che hanno innalzato la bandiera sulla cupola...

Nella prima, breve versione delle memorie di Stepan Neustroev (1960: 43), il comandante del battaglione di cui faceva parte, Pjatnickij è menzionato come comandante del

⁴ <<http://komiswow.ru/?q=13-Gazet>> (ultimo accesso il 13/8/2021),

plotone che per primo forzò il ponte sulla Spree il 28 aprile, ma non compare nelle scene dedicate all'assalto al Reichstag; chi, qui, salta fuori dalle finestre del seminterrato dell'edificio del Ministero degli Interni (la "casa di Himmler") e trascina con sé all'assalto le truppe che si erano trincerate sulla Koenigsplatz è il plotone di Il'ja S'janov (*ibid.*: 47). In questo testo, tra l'altro, compare anche il sergente Ivanov, che qui, insieme a Egorov e Kantarija (personaggi realmente esistiti, che si ritrovano in tutti i testi sull'argomento) è incaricato di portare al Reichstag la bandiera ufficiale, quella del Soviet della Terza armata d'assalto, e cadrà sui gradini dell'ingresso (*ibid.*: 48). Nella prima versione in volume (Nevostruev 1961: 59) delle memorie, Pjaticnickij porta ancora il suo plotone a forzare il ponte, ma ritorna qualche pagina dopo: è di nuovo il plotone di S'janov (il nome in questa versione ha una diversa ortografia) a partire all'assalto:

Le centinaia di soldati che erano rimasti distesi per molte ore sotto il fuoco nemico si unirono agli assaltatori. Petr Pjaticnickij spiegò correndo una bandiera rossa, e il telone scarlatto avanzò irrefrenabile verso il Reichstag. Intorno a Pjaticnickij si raggrupparono velocemente gli uomini, ecco che erano già dieci, venti... Il sergente maggiore S'janov fu due volte ferito leggermente da schegge, ma nell'ardore della battaglia non vi prestò attenzione.

Ed ecco la scala di granito dell'ingresso principale. Soffocando dalla tensione, Pjaticnickij saltò in un colpo sul terzo gradino e qui, falciato da una raffica di mitragliatrice, cadde morto sul granito. Nella sua mano era come si fosse congelata una granata ancora da gettare. Quante volte durante le battaglie la morte gli era passata accanto, e qui, davanti all'ingresso principale del Reichstag, sulla soglia della vittoria non riuscì ad evitarla. Il sangue scarlatto dell'eroe imporporò le lastre di pietra della scala... La bandiera rossa della compagnia ondeggiò, ma il sergente Ščerbina non la lasciò cadere (Nevostruev 1961: 69).

Tra una versione delle memorie di Neustroev e l'altra erano uscite le pagine dedicate a Pjaticnickij da Subbotin nella prima versione di quella che sarà la prima parte di *Come finiscono le guerre*, sulla "Pravda" nel quindicesimo anniversario della vittoria (Subbotin 1960a) e, in forma più ampia, sul "Novyj mir" dello stesso mese (Subbotin 1960b). A partire da questo momento, il posto di Pjaticnickij nel pantheon ufficiale è assicurato, e sarà sanzionato tre anni dopo dalla menzione nell'ufficialissima e monumentale *Storia della Grande guerra Patriottica* dell'Istituto di Marxismo-Leninismo presso il CC (Pospelov *et al.* 1963: 283).

Le memorie del comandante della divisione, il generale Šatilov, nella prima versione menzionano l'episodio in forma dubitativa (Šatilov 1975: 310):

Dicono che il sergente Pëtr Nikolaevič Pjaticnickij salì per primo i gradini del Reichstag con la bandiera d'assalto della compagnia nelle mani e che là fu colto da una pallottola. Altri invece affermano che una pallottola mise fine alla sua vita prima, davanti al fossato. Ma insomma, è così importante dove sia caduto il soldato che assaltava l'ultima fortezza nemica? Quello che importa è che l'ha assaltata ed è caduto da eroe...

In un libro successivo (Šatilov 1988: 150) il generale si diffonderà più a lungo sul personaggio:

Come comandante della divisione proposi al comandante della sezione politica tenente colonnello M. V. Artjučov di fare delle bandiere rosse e di distribuirne una ad ogni unità. Una di queste bandiere fu affidata dal capitano Neustroev al sergente Pëtr Pjatnickij.

Il fatto è che questo soldato era stato liberato dalla prigionia e, finito nel reparto di Neustroev, aveva sempre cercato di trovarsi dove la situazione era più difficile. E quando il comandante si trovò a dover decidere a chi affidare la bandiera Pjatnickij si fece avanti per primo.

Corso sul primo gradino del Reichstag, Pëtr Pjatnickij sventolò la bandiera e subito, colpito da una pallottola, ondeggiò e cadde. La sua bandiera, la sua bandiera di eroe, fu raccolta dal sergente P. Ščerbina e fissata ad una delle colonne dell'ingresso principale. Qui quasi contemporaneamente sventolarono le bandiere issate da molti guerrieri sovietici.

Mentre nel libro del comandante del reggimento, Fëdor Zinčenko (1983: 123), Pjatnickij è citato soltanto come ordinanza di Neustroev. Motivi per dubitare della sua storia come raccontata da Subbotin, una storia che sembra espandersi nel corso degli anni insieme alla canonizzazione dell'eroe, potrebbero davvero esistere.

* * *

E non finisce qui: nel giugno del 1960, un mese dopo l'uscita della prima raccolta dei suoi bozzetti sulla battaglia per Berlino, tra cui quello su Pjatnickij, Subbotin pubblica, di nuovo sulla "Pravda", una continuazione della storia, un testo che a partire dall'edizione del 1965 entrerà a far parte a sua volta di *Come finiscono le guerre*. Racconta delle numerose lettere ricevute in seguito alla prima pubblicazione; tra queste, una che conferma il racconto: "Tra i soldati si parlava con entusiasmo di questo milite ignoto... Ed ora, quindici anni dopo, ho appreso il nome di questo eroe" (Subbotin 1965a: 218). E, nelle parole di Subbotin, la descrizione delle circostanze, il nuovo testimone aggiunge un punto di vista specifico: "Šipilovskij correggeva il fuoco della batteria dal piano alto della 'casa di Himmler'. Quello che ha visto allora lo ha visto più da vicino di tutti, dato che guardava da un cannocchiale stereoscopico". Segue il racconto della visita dello scrittore alla famiglia di Pjatnickij in un villaggio remoto della regione di Brjansk. Fino all'intervento di Subbotin il 9 maggio di quell'anno, tutto quello che sapevano era che il marito e padre risultava disperso; eppure

La casa di Pjatnickij è un'izba, ha tre finestre, una stufa russa. Sul tramezzo – quando siamo entrati mi è subito saltato agli occhi – la riproduzione di un quadro sconosciuto. Mi sono avvicinato e mi sono messo a raccontargli che quello è il Reichstag. E loro nemmeno lo sapevano! Il Reichstag vi è mostrato di lato, dal lato della Spree: carrarmati e

cannoni sono accostati al muro annerito. Da qualche parte a una finestra del primo piano arde la macchia di una bandiera.

Come se avessero visto quel quadro la prima volta! Eccole, quelle colonne, quelle ampie lastre su cui è caduto falciato da una pallottola (Subbotin 1965a: 220).

Il quadro dev'essere quello di Vladimir Bogatkin, che era stato riprodotto in quegli anni in numerose versioni⁵. La descrizione sembra decisamente corrispondere (e corrispondere a questo quadro meglio che a tutti gli altri quadri noti che raffigurano la stessa scena), con un solo particolare differente: la bandiera rossa non spunta da una finestra del piano alto del Reichstag (secondo le relazioni, Egorov e Kantarija avevano esposto così la bandiera prima di salire sulla cupola), ma è nelle mani di un soldato che sta correndo verso l'edificio.

La famiglia di Pjatnickij, senza saperlo, ha appeso alla parete la riproduzione di un quadro che riproduce l'impresa di Pjatnickij. La storia raccontata da Subbotin, affrontando la questione da un altro punto di vista, ha dato un nome alla silhouette che, sul quadro di Bogatkin, porta la bandiera, la macchia rossa che si stacca, sola, sul tono grigio-bruno dominante.

Dare un nome; un nome che rende concreta, viva la storia dell'assalto al Reichstag. Un procedimento essenzialmente letterario, o analogo alle più tipiche tecniche letterarie.

La situazione di partenza era differente. Così si concludeva il racconto sulla "Krasnaja zvezda" del primo maggio 1945:

E quando l'ignoto eroe, il cui cognome in questo momento è difficile da stabilire, si è slanciato avanti ed ha spiegato la bandiera rossa, le raffiche di mitra e il rombo dei cannoni sono stati soffocati da un possente grido di "urrà". Più forte dei cannoni, più forte dell'esplosione delle bombe ha tuonato il grido dell'armata rossa. Tutti i soldati si sono gettati avanti dietro al portabandiera, si sono mossi i carri armati, i cannoni. L'"urrà" si è levato oltre il Reichstag, e dopo qualche minuto sull'edificio già del parlamento tedesco si è acceso al vento lo stendardo scarlatto, il simbolo della nostra vittoria (Vysokoostrovskij, Trojanovskij 1945).

Lo stesso Subbotin parlava di un eroe ignoto, o piuttosto di un eroe collettivo. Così in una poesia datata 1946 (vedi Subbotin 1981, I: 40):

⁵ Una riproduzione della versione a tempera, datata sul sito 1945, è visibile all'indirizzo <<https://www.virtualrm.spb.ru/ru/node/25789>> (ultimo accesso: 08.09.2021); quella a olio (1949) è su <<http://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=21636174>> (ultimo accesso: 09.09.2021); sono in vendita su internet innumerevoli riproduzioni, dalle autolitografie (con diverse date) alle cartoline, a versioni a manifesto, tra cui una pubblicata nell'album (cartella) *Iz rabot voennykh chudožnikov v dni Velikoj Otečestvennoj vojny 1941-1945*, Moskva, Voenizdat, 1950 (vedi <<https://www.litfund.ru/auction/147/275/>>, ultimo accesso: 08.09.2021). Nel 1958 l'immagine era stata riprodotta su un francobollo.

EPILOGO

Monti di ghiaia, mucchi di mattoni.
Lacera la carta di importanti archivi.
Arde la macchia di semplice tela rossa
Sulla cupola denudata del Reichstag.

Coperti della polvere delle strade, dell'oro delle medaglie,
Camminiamo accanto al nostro obbiettivo.
Sono screziate dei nostri nomi
Le mura affumicate della cittadella.

E il primo, illuminato da quella bandiera
Ha deciso di restare ignoto al mondo,
Come il coraggio che a tutti abbiamo mostrato,
Anche quello non ha ancora nome.

Qui l'anonimato ha un valore di per sé, rende l'eroe simbolo del collettivo. Simile la versione in un testo presentato come taccuino del 1945, pubblicato dalla "Pravda" per il ventennale della vittoria:

La Bandiera della Vittoria illumina i volti dei soldati sul tetto. L'hanno innalzata prima sul tetto, e poi sulla cupola, dove prima c'era una guglia. E quante bandiere e banderuole sono state poste, oltre a questa! Da quasi tutti i soldati si poteva sentir dire che anche loro avevano innalzato la loro bandiera. E che questa bandiera è stata la prima.

E non c'è menzogna. Quello che per primo ha toccato queste mura con una bandiera rossa è ignoto. Ma ha un nome collettivo: la nostra armata, il nostro popolo! Ogni soldato, ogni partecipante alla grande vittoria, se anche non è arrivato fino a Berlino, ha innalzato la bandiera della Vittoria (Subbotin 1965b).

Dare un nome al milite ignoto, dargli una storia, una personalità, una famiglia, è una tecnica da romanziere. Qualcosa di simile pare essere successo con gli eroi di Dubosekovo – ricordiamolo, i 28 della divisione Panfilov che, nel mito, avrebbero fermato 50 carri armati tedeschi sacrificandosi fino all'ultimo uomo. Scriveva Nina Tumarkin (1994: 80):

As far as Stalin was concerned, the ideal Soviet hero was much better dead than alive. (...) Dead heroes were also useful in that they could not interfere with the myths concocted about them, let alone spoil them in some embarrassing manner, and they could not be, furthermore, in a position to claim some form of reward after the war was over.

Pjatnickij è adatto a questo schema fino a un certo punto: l'urgenza di rendere nota la sua storia, in Subbotin, è anche l'urgenza di dare notizie (e, forse, una pensione?) alla vedova e al figlio: finché il loro congiunto risultava ufficialmente disperso, non avevano diritto a niente del genere; il sospetto che potesse essere stato fatto prigioniero – e dunque, nella logica stalinista, si fosse arreso – impediva anzi di rendergli qualunque onore. Il problema

con i 28 della divisione Panfilov, che secondo il mito erano tutti caduti eroicamente, è appunto che alcuni di loro furono ritrovati vivi. E non tutti con una biografia così esemplare.

* * *

Il paragone tra il caso di P'jatnickij e quello dei 28 *panfilovcy* è già implicito nel saggio di Kardin, dove le storie sono poste in contrapposizione; le similitudini sono notevoli, per quanto diverso il genere dei testi che ne danno conto.

Sulla realtà dell'eroico scontro presso lo scambio di Dubosekovo i dubbi sono consistenti. La polemica, su un tema ancora oggi politicamente sensibile, è accesa. Da un lato, abbiamo i materiali dell'inchiesta del 1948 della procura militare (materiali ampiamente citati nel 1990 in un articolo del generale A.F. Katusev, allora a capo della struttura, cfr. Katusev 1990a, 1990b); la relazione finale alla procura generale dell'URSS è stata pubblicata integralmente dal "Novyj mir" nel 1997, e una riproduzione fotografica dell'originale è ora disponibile sul sito dell'Archivio di Stato della Federazione Russa⁶) che sembrano non lasciare dubbi: nel 1947 era stato arrestato con l'accusa di essere stato un collaborazionista, un *polizei* al servizio dell'occupante tedesco, Ivan Dobrobabin, uno della lista dei 28 che, a quanto pare, non era caduto da eroe sul campo di Dubosekovo. L'inchiesta aperta per l'occasione concludeva che – come scriveva ad Andrej Ždanov il procuratore generale – “l'impresa dei 28' è un'invenzione del giornalista” (cfr. Petrov, Edel'man 1997: 149).

Il giornalista è il già citato Andrej Krivickij, l'autore degli articoli che avevano dato l'avvio al mito (e di decine di ulteriori pubblicazioni in materia fino agli anni Settanta). Come fanno notare gli storici che hanno pubblicato il documento della procura, il problema nasce dopo l'uscita del suo primo articolo (Krivickij 1941), un breve articolo di fondo:

In questo articolo non c'era ancora nessun nome. Ma già il 22 gennaio del 1942 sulla “Krasnaja zvezda” apparve l'articolo dello stesso Krivickij *Sui 28 eroi caduti* in cui erano menzionati i loro nomi. Furono questi nomi a finire nel Decreto del Presidium del Soviet Supremo dell'URSS del 1942. Fu qui l'errore. Se Krivickij si fosse semplicemente inventato questi nomi, la loro impresa sarebbe sempre esistita “autentica e irrefutabile”. Ma la cosa non rispondeva alle regole del sistema sovietico. Per una pura invenzione il giornalista avrebbe anche potuto essere punito, il mito doveva assolutamente essere “come la verità”. Ed è successo che la realtà è entrata in contraddizione con il mito (Petrov, Edel'man 1997: 143).

Secondo quanto racconta Krivickij nelle sue memorie, l'esigenza di riportare i nomi – un elenco di nomi da includere nel decreto del Soviet Supremo che li avrebbe insigniti del titolo postumo di Eroi dell'Unione Sovietica – era stata espressa da una telefonata di Michail Kalinin, il presidente del Soviet Supremo, in persona (Krivickij 1964: 15-16).

⁶ <<https://statearchive.ru/607>> (ultimo accesso: 23.08.2021).

Il suo articolo indicava (e le memorie lo ripetono, anche se con qualche ambiguità), come fonte dei dettagli – tra cui la celeberrima battuta di Kločkov: “È grande la Russia, ma non abbiamo dove ritirarci. Alle nostre spalle c’è Mosca”, la cui messa in discussione aveva fatto infuriare Brežnev – le parole di uno dei 28, Natarov, rintracciato moribondo in un ospedale dopo l’uscita del primo fondo:

Tutto questo ha raccontato Natarov ormai sul letto di morte. È stato rintracciato di recente in un ospedale. Quella notte ha raggiunto strisciando il bosco, ha vagato diversi giorni, spossato per il sangue perduto, finché non si è imbattuto in un gruppo di nostri esploratori. È morto Natarov, l’ultimo dei 28 eroi caduti della divisione Panfilov. Ha trasmesso a noi, ancora vivi, il loro testamento (Krivickij 1942).

Interrogato dalla procura, il giornalista avrebbe ammesso:

Per quanto riguarda le sensazioni e le azioni dei 28 eroi, è una mia invenzione letteraria. Non ho parlato con nessuno dei soldati feriti o sopravvissuti. Tra la popolazione locale ho parlato solo con un ragazzo di 14-15 anni che mi ha mostrato la fossa dove è sepolto Kločkov (Petrov, Edel’man 1997: 148).

Lo storico militare Georgij Kumanëv (2012), che in numerosi interventi nel corso di decenni ha combattuto per la riabilitazione di Dobrobabin – e quindi per l’affermazione dell’autenticità dell’episodio di Dubosekovo – sostiene, appoggiandosi a un racconto orale di Krivickij, che la ritrattazione gli era stata estorta:

“Mi dissero”, dichiarò Aleksandr Jur’evič, “che se avessi rifiutato di ammettere che la descrizione della battaglia a Dubosekovo l’avevo inventata io di sana pianta e che prima della pubblicazione dell’articolo non avevo parlato con nessuno dei *panfilovcy* gravemente feriti o rimasti vivi avrei potuto ritrovarmi presto dalle parti della Pečora o della Kolyma. E di ritrovarmici non ne avevo molta voglia. Capendo che le cose prendevano una piega pericolosa, ‘ammisi’ che molto nelle mie pubblicazioni sui 28 eroi non era altro che ‘invenzione letteraria’”.

Il regime avrebbe, insomma, fatto ricorso alla forza per demolire quella che era destinata a diventare una delle pietre angolari dell’edificio della propaganda bellica; racconto che non pare molto credibile, anche se le autorità staliniane, bisogna ammetterlo, non hanno mai brillato per coerenza.

La testimonianza del superstite Natarov, peraltro, è citata come documentazione solo per quanto riguarda il secondo articolo di Krivickij, la versione lunga, l’*očerk o podval* del gennaio 1942, quello che contiene la localizzazione allo scambio di Dubosekovo, la frase storica del *politruk* Kločkov, una descrizione dettagliata della battaglia e i nomi dei 28. Kardin metteva in dubbio anche il primo articolo, il fondo del 28 novembre 1941. Kardin, ricordiamolo, è un critico letterario, che scrive su una rivista letteraria, il “Novyj mir”; ed opera fundamentalmente con gli strumenti della critica letteraria. Il problema è un problema di genere.

È stato Krivickij, scriveva, il creatore del mito:

È a lui che il redattore ha passato le quattro righe della relazione politica, in cui non c'erano nomi né l'indicazione del punto preciso, solo la notizia della battaglia: un gruppo di soldati guidati dal *politruk* Diev ha respinto l'attacco di cinquanta carri armati.

Queste quattro righe sono state sufficienti a Krivickij per scrivere un articolo di fondo con molti dettagli di questa battaglia mai vista.

Da dove sono saltati fuori, questi dettagli? Quattro righe sono quattro righe. E più che la più breve comunicazione del fatto non può entrarvi. E chi avrebbe potuto comunicare i dettagli, se la relazione indicava: tutti gli eroi sono caduti? È notevole soprattutto una circostanza nell'articolo. I *panfilovcy*, salta fuori, all'inizio erano ventinove. Ma tra loro c'era un codardo, un traditore che ha alzato le mani. Gli hanno sparato immediatamente.

Come ha fatto ad apparire questo codardo, come è finito nell'articolo? Per verisimiglianza? O per la tradizione letteraria corrente: se c'è una sciagura, una disgrazia, cercate un traditore? (Kardin 1966: 246).

Sarebbe la ricerca di verisimiglianza, insomma, a rendere poco credibile il testo.

La *politdonesenie* di quattro righe è citata da Krivickij come fonte nelle sue memorie del 1964; in effetti, la storia dell'eroica resistenza ai carri armati tedeschi da parte di un gruppo di soldati della Guardia guidati dal *politruk* Diev era stata pubblicata, con molti dei dettagli che ritorneranno nel fondo, sulla stessa "Krasnaja zvezda" un giorno prima, in un colonnino firmato da V. Koroteev (e, con ancora un giorno di anticipo, come parte di un articolo di V. Černyšev sulla "Komsomol'skaja pravda"). L'articolo del generale Katusev cita le testimonianze all'inchiesta di entrambi i giornalisti, che raccontano di avere ripreso la notizia dal commissario della divisione Panfilov; in particolare racconta Koroteev:

Ritornato, alla sera [...] riferii al direttore Ortenberg della situazione, gli raccontai della battaglia della compagnia contro i carri armati nemici. Ortenberg mi chiese quanti uomini ci fossero nella compagnia che aveva combattuto contro i carri armati tedeschi. Gli risposi che la compagnia evidentemente era incompleta, circa 30-40 persone. Gli dissi anche che di queste persone due avevano tradito... Il 28 novembre sulla "Krasnaja zvezda" fu scritto il fondo *Il testamento dei 28 eroi caduti*. Io non sapevo che si stesse preparando quel fondo, ma Ortenberg mi convocò nuovamente e mi chiese quante persone c'erano nella compagnia che aveva combattuto contro i carri armati. Gli risposi che erano circa 30 persone. A questo modo la quantità dei combattenti era di 28, poiché dei 30 due avevano tradito. Ortenberg disse che non si poteva scrivere di due traditori e, evidentemente consigliatosi con qualcuno, permise di scrivere nel fondo solo di un traditore... In seguito non sono ritornato sul tema della battaglia della compagnia contro i carri armati tedeschi; di questo si è occupato Krivickij, che per primo ha scritto anche l'articolo sui 28 *panfilovcy* [...] (Katusev 1990b: 72).

Così sarebbe nata la cifra dei 28; Katusev aveva citato in precedenza un altro passaggio della deposizione di Koroteev, dove riportava il racconto del commissario della divisione a

propósito del fatto che “nonostante le condizioni difficili i nostri combattono eroicamente IN TUTTI I SETTORI”, commentando:

Non è per caso che ho evidenziato le ultime parole della deposizione di Koroteev. Queste, a mio parere, racchiudono LA GRANDE VERITA' DELLA GRANDE IMPRESA, falsificata in seguito, in modo ritengo criminoso, come “eroismo del plotone di Dobrobabin”. L'impresa di massa di tutta la compagnia, di tutto il reggimento, di tutta la divisione è stata ridotta dall'irresponsabilità di giornalisti non troppo coscienti alle dimensioni di un mitico plotone (Katusev 1990b: 71).

Ridurre l'eroismo di tutti i difensori di Mosca a quello di 28 eroi defunti comporta, da un punto di vista morale, tacere dell'eroismo degli altri cento che componevano la compagnia, e di centinaia di altri (di nuovo, l'accusa di fondo è quella di privilegiare alcuni eroi e di tacere degli altri). Dal punto di vista dell'effetto propagandistico, invece, quella di Krivickij è una scelta di enorme efficacia, come dimostrato dalla stessa persistenza del mito. Ed è un'operazione che presenta una forte analogia con il modo di lavorare tipico di un romanziere “realista”.

* * *

Gli eroi della divisione Panfilov, il “centinaio di disperati” di cui Katusev (1990b: 72) denunciava la dimenticanza, diventano Kločkov-Diev, Dobrobabin, Natarov, Bondarenko eccetera; gli anonimi eroi che hanno portato le bandiere rosse verso il Reichstag diventano Pëtr Pjatnickij. La legittimità del paragone va articolata.

Secondo lo schema interpretativo di Vladimir Papernyj (2017: 150), tanto il passaggio dal “collettivo” all’“individuale”, e dunque la rinascita della gerarchia, il fatto che “ciascun dirigente... preferiva non relazionarsi con il collettivo-squadra, bensì con l'individualità che lo rappresentava”, quanto quello dal “concetto” al “nome”, dai “lavoratori d'assalto” agli “stakhanovisti”, con elementi di pensiero mitologico, sono elementi che caratterizzano il passaggio dalla “Cultura Uno” (la cultura degli anni della rivoluzione, e dell'avanguardia; che avrà un ritorno parziale in quelli del Disgelo) alla “Cultura Due” dello stalinismo.

Teniamo però presente che Krivickij costruisce il mito dello scambio di Dubosekovo attraverso due interventi separati nel tempo, che possiamo trattare come due operazioni distinte. Prima operazione, dicevamo: l'individuazione del *numero* degli eroi caduti; seconda, l'attribuzione di un *nome* a ciascuno dei 28. Di un nome tratto dagli elenchi della divisione. Da un punto di vista critico-letterario si tratta di due operazioni in qualche modo contrapposte.

Abbiamo definito letteraria la prima operazione; lo è nella misura in cui accettiamo la tesi che il numero degli eroi sia un'invenzione (invenzione collettiva, a quanto pare, di Krivickij e del suo direttore Ortenberg). Ma la sua qualità squisitamente letteraria, l'applicazione delle tecniche che utilizza il romanziere per attribuire verisimiglianza al narrato (vedi il commento di Kardin), è proprio uno degli argomenti che fanno ritenere che di un'in-

venzione possa trattarsi. Sottolineavamo la differenza di effetto tra il racconto dell'eroismo "della compagnia, del reggimento, della divisione" nel reggere l'assalto dei carri armati tedeschi e quello delle gesta di ventotto eroi che hanno fermato l'assalto di cinquanta carri armati cadendo uno dopo l'altro: concretizzazione del principio in un evento particolare, 'effetto di verità', creazione del personaggio come 'tipo' rappresentativo di una situazione 'tipica', 'sineddoche' (cfr. Foley 1986: 153): tecnica caratteristica, e costitutiva, della narrativa "realista" (del realismo ottocentesco come di quello socialista).

A questa tecnica la Cultura Uno, nelle sue manifestazioni più teoricamente consapevoli, contrapponeva un'altra forma di concretizzazione, un'altra base per le sue pretese di autenticità: la verità contro la verisimiglianza. Questo può essere considerato il senso ultimo della campagna per la 'letteratura del fatto' lanciata sulle pagine del "Novyj Lef" alla fine degli anni Venti; proprio nell'affermazione della differenza radicale tra vero e verosimile si può rintracciare la coerenza sostanziale di un percorso avanguardistico che giunge qui a un'ultima svolta. Scriveva Osip Brik nel 1929, nel volume collettivo che riassume il lavoro del gruppo:

Una volta Jurij Libedinskij mi ha detto: "Voglio scrivere una *povest'* che abbia per tema la storia di una fabbrica; per farlo studierò la storia di tre fabbriche tipiche e poi sulla base del materiale raccolto scriverò la storia della fabbrica".

Gli ho risposto che se aveva preso la storia di tre fabbriche, perché non scriveva appunto quella storia reale di tre fabbriche, che bisogno aveva di inventarsi sulla base del materiale raccolto la storia di una quarta fabbrica inesistente (Brik 2000: 80)⁷.

Sostituendo alle fabbriche gli eroi di guerra, queste righe potrebbero applicarsi direttamente ai casi che stavamo analizzando.

La stessa questione si ripropone per la letteratura 'documentaria' che ha le sue origini nel disgelo. Adamovič e Granin (1992: 3) cominciano la loro *Blokadnaja kniga* affermando che "Questa verità ha indirizzi, numeri di telefono, cognomi e nomi". Una rivendicazione della verità concreta, verificabile, del narrato, in esplicita contrapposizione ad ogni pretesa di esemplarità del singolo episodio (di invenzione)⁸. Una verificabilità che qui si pone dun-

⁷ Stalin in persona, stando ai ricordi di Konstantin Simonov (1990: 169-170), si trovò una volta ad esprimere l'opinione diametralmente opposta. Discutendo, in una riunione allargata del politburo per l'assegnazione dei premi Stalin, della *Riva chiara* di Vera Panova, il dittatore disse: "La Panova ha una maniera un po' strana di prepararsi alla scrittura di un'opera. Si è presa un kolkhoz e lo ha studiato accuratamente. Ed è sbagliato. Bisogna studiare in modo diverso. Bisogna studiare diversi kolkhoz, molti kolkhoz, e poi generalizzare. Prenderli insieme e generalizzare. E solo poi raffigurarli. E come si comporta lei è sbagliato come maniera si studio".

⁸ La questione della legittimità dell'invenzione a fini di verisimiglianza si è posta ripetutamente, con forti analogie con il caso che stiamo discutendo, nel dibattito sulla rappresentazione della Shoah. "Despite its grounding in a verifiable historical reality", scrive Barbara Foley (1982: 347), "... the realistic Holocaust novel relies chiefly upon the strategy of depicting fictional characters who

que al di fuori del testo, nella possibilità di un riscontro concreto, e non in una valutazione della verisimiglianza del caso rappresentato.

Quando si trovò, su incarico governativo, a dover cercare i nomi dei 28 negli elenchi della divisione, Krivickij si trovò davanti alla questione dell'unica persona nominata nel primo articolo di fondo (e nei precedenti di Koroteev e Černyšev): il *politruk* Diev. Nella versione dettagliata, si chiarirà che questo è solo un soprannome, il vero cognome è Kločkov:

Solo ora abbiamo appreso il suo autentico cognome. Il paese lo ha glorificato sotto il nome di Diev. Così lo ha battezzato una volta il soldato ucraino Bondarenko. Ha detto: "Il nostro *politruk* continuamente *die*" – in ucraino significa: lavora. Nessuno sapeva quando Kločkov dormisse. Era sempre in movimento. Attivo e instancabile, i ragazzi gli volevano bene come a un fratello maggiore, come a un padre. La battuta azzeccata di Bondarenko ha fatto il giro non solo della compagnia, ma anche del reggimento. Il *politruk* era indicato come Kločkov solo nei documenti. Perfino il comandante del reggimento lo chiamava Diev (Krivickij 1942).

Il giornalista racconta nelle sue memorie di avere visitato la divisione Panfilov soltanto dopo la pubblicazione del primo articolo di fondo: era stata questa divisione a tenere il fronte nella zona di Dubosekovo, ma allo stato maggiore nessuno aveva mai sentito nominare Diev, e solo incontrando per caso il capitano Gundilovič, il comandante della compagnia di cui Kločkov faceva parte, aveva appreso dell'origine dell'equivoco (Krivickij 1964: 16).

"Una versione bizzarra", commenta il generale Katusev (1990b: 71), "anche se non è escluso che sia andata così". Davvero, non si può escludere: ma, se vale l'ipotesi che il combattimento allo scambio di Dubosekovo sia un'invenzione letteraria (non intedia-

constitute a representative fictional microcosm. And it is questionable whether this time-honored mimetic approach can adequately convey the full extremity of Holocaust experience". Analoga è la critica di Claude Lanzmann (1994) a *Schindler's List*: "Here you have the whole problem of the image, the problem of representation. Nothing that actually happened was anything like that, even if it all seems authentic. The Germans were not like that. And anyway I fail to see how deportees, sick with fear after months and years of misfortune, humiliation and misery, can be played by actors"; nelle righe immediatamente precedenti, l'argomento di Lanzmann contro Spielberg riecheggia, con una coincidenza impressionante, il discorso di Adamovič sulla letteratura sovietica. Così il regista di *Shoah* (Lanzmann 1994): "When Schindler dines with German officers or members of the ss to get them to go along with his scheme, the guys certainly come across as venal, but at the same time, in their fine uniforms, they are by no means unlikeable". Adamovič (1985: 147), da parte sua, è scioccato dalle parole di una ragazza sovietica: "Mi piacciono le loro uniformi, belle tese, pelle che scricchiola! Di che, di chi parla? Delle uniformi delle ss che lei, questa ragazza, ha certo visto solo al cinema". Tra i suoi commenti, il seguente: "In ogni caso, i giochi letterari alla guerra, alle uniformi sui manichini, dove si perde l'essenza stessa della guerra, l'essenza del fascismo, sono una cosa non solo poco utile, ma proprio dannosa" (*ibid.*: 148). Per arrivare a una questione, di nuovo, di genere: "Ma c'è qualcosa di fundamentalmente menzognero nella posizione stessa dell'autore contemporaneo di un'epopea in più volumi, calcolata, pianificata per i decenni a venire" (*ibid.*: 149).

mo qui prendere una posizione definitiva, ma si tratta certo di un'ipotesi che merita seria considerazione)⁹, il problema si sarebbe posto in questi termini: una volta inseriti – su indicazioni dall'alto – i nomi dei caduti (nomi da proporre per una decorazione *post-mortem*) – che fare dell'unico nome già citato, e introvabile negli elenchi ufficiali? La soluzione, se così le cose sono andate, è una soluzione di grande creatività. (E perfettamente adatta ad essere ripresa in tutta la letteratura successiva – tanto 'storica' quanto 'artistica': il "*politruk Kločkov-Diev*" è per esempio menzionato in un testo pubblicato dal Quartier Generale dell'Armata Rossa come analisi riepilogativa della battaglia per Mosca dal punto di vista della scienza militare, Šapošnikov 2006: un testo che Kumanëv cita come prova della verità dell'episodio di Dubosekovo, un testo che però nella descrizione di questo episodio deriva evidentemente – questa è solo una delle prove – dai lavori di Krivickij, e da Tichonov, che da Krivickij prende le mosse)¹⁰.

Si esprime qui, con tutta forza, la contraddizione tra due criteri contrapposti, due criteri contrapposti che la cultura staliniana si sforza continuamente di pretendere compatibili, con le difficoltà ben note. Che dire delle edizioni (anche postsovietiche) della celeberrima *Storia di un vero uomo* (o di un 'uomo vero?') di Boris Polevoj, la *fiction* sull'eroico aviatore Meres'ev (che, abbattuto dietro le linee nemiche, perde le gambe ma, con straordinaria forza di volontà, riuscirà a tornare a volare nell'aviazione da caccia sulle protesi) con

⁹ Che l'episodio dello scambio di Dubosekovo sia avvenuto o meno, la posizione di Krivickij è singolarmente analoga a quella del giornalista Krikun nel *Fronte* di Aleksandr Kornejčuk (1942: 12-13); un giornalista che non ha problemi a dichiarare: "Ci vivrei volentieri in prima linea. Ma sono corrispondente speciale per il fronte e devo purtroppo restare al quartier generale per rendere conto di tutto. Ma non si preoccupi, ricevo qui il materiale e lo rielaboro. Sono già usciti centocinque miei articoli sui nostri eroi. L'importante per me è il fatto, tutto il resto lo creo". Dopo l'unica scena di battaglia di tutto il dramma, quella in cui il figlio del protagonista negativo, il generale Gorlov, è caduto da eroe, Krikun ha già un articolo pronto: "... finisce così. Ascolti. (*Prende il foglio, legge*). 'È caduto davanti ai miei occhi, questo giovanotto meraviglioso, degno figlio di suo padre. Attraverso il rombo dei cannoni ho udito le sue ultime fiere parole: 'Fate sapere a mio padre che muoio in pace sapendo che mi vendicherà di quei cani sanguinari'. Capisce, se adesso avessi solo qualche riga da parte del padre... un testo l'ho anche buttato giù" (*ibid.*: 61). L'episodio della morte di Sergej Gorlov contiene un chiaro rimando a Dubosekovo – un gruppo di soldati della guardia (e un gruppo multinazionale, con un ucraino, un kazako, un georgiano), lasciati in retroguardia, affrontano senza tremare un numero schiacciante di carri armati tedeschi. Difficile, oggi, non vedere in Krikun, che descrive con pathos e citazioni letterali uno scontro che non ha visto neppure col binocolo, una caricatura di Krivickij. Una caricatura di Krivickij nel più ufficiale dei testi sovietici, un testo pubblicato sulla "Pravda" e rivisto da Stalin in persona? Il caso potrebbe essere una conferma alle tesi di Kumanëv; ma ricordiamoci che *Front* esce nel 1942, sei anni prima che il caso Dobrobabin faccia aprire l'inchiesta della procura militare.

¹⁰ A p. 45, il testo di questo documento ufficiale recita per esempio che "tra loro erano russi, ucraini, *kolchozniki* di Talgara e kazaki di Alma-Ata" – citazione quasi letterale dai versi di Tichonov (1981: 638-639).

in postfazione i ricordi dell'autentico Eroe dell'Unione Sovietica, Primo vicepresidente del comitato Russo dei veterani A.P. Mares'ev?¹¹

* * *

Il caso di Pjatnickij è analogo a quello degli eroi di Dubosekovo nell'ipotesi che si tratti di un'invenzione di Subbotin: un'invenzione letteraria, in questo caso, un modo di dare concretezza, effetto di realtà, rappresentazione per sineddoche, agli 'eroi anonimi' dell'assalto al Reichstag, alla macchia rossa sul quadro di Bogatkin. Se la sua storia è autentica, invece, il caso rientra perfettamente nella linea della letteratura documentaria tesa a rendere giustizia agli eroi dimenticati. La pretesa verificabilità nella realtà extratestuale impone che nello stesso luogo si cerchi la verifica: cosa impegnativa per lo scrittore, ma anche per il critico, che è costretto a trasformarsi, nella migliore delle ipotesi, in storico (nella peggiore in detective), se vuole una risposta definitiva. Resteremo qui nel campo delle ipotesi.

Se Pjatnickij è veramente la persona che portò quella bandiera, però, un ruolo che potremmo definire letterario, o per lo meno estetico, potrebbe essergli stato assegnato già nella realtà. In un nuovo testo di memorie pubblicato negli anni della *perestrojka* con il tipico pathos di denuncia delle menzogne diffuse negli anni precedenti, il suo comandante, il già citato capitano Neustroev, ammette in qualche modo di averlo mandato a morire per motivi discutibili: intorno alle tre del pomeriggio del 30 aprile 1945, racconta, il suo comandante Zinčenko gli mostrò un ordine del maresciallo Žukov che esprimeva gratitudine ai soldati della divisione che, alle 14:25, avevano catturato il Reichstag e vi avevano innalzato la bandiera della Vittoria¹².

Chiesi al comandante del reggimento: "Il Reichstag non lo abbiamo preso, la bandiera non c'è, e hanno già espresso gratitudine?" "A quanto pare, compagno *kombat*", rispose Zinčenko meditabondo [...].

A questo punto telefonò al mio comando il generale Šatilov ed ordinò di passargli il comandante del reggimento. Il comandante della divisione ordinò a Zinčenko: "se non ci sono i nostri al Reichstag e non vi è stata fissata la bandiera, prendi tutte le misure per innalzare a qualunque costo una bandiera o una bandierina almeno su una colonna dell'ingresso principale. A qualunque costo!", ripeté il generale... [...]

Obbedendo all'ordine del comando superiore, dai battaglioni di Jakov Logvinenko, Vasilij Davydov, e anche dalla 171-ma divisione di Konstantin Samsonov iniziarono ad inviare dei volontari isolati, le persone più coraggiose, verso il Reichstag con delle bandierine e con il compito di fissare la bandierina su una colonna dell'ingresso principale, o sulla facciata, o sull'angolo dell'edificio del Reichstag, dovunque purché sul Reichstag!

¹¹ Polevoj 2001; l'intervista a Mares'ev è alle pagine 298-301, a p. 302 una sua breve biografia.

¹² Quest'ordine è riprodotto, tra l'altro, nelle memorie del maresciallo: cfr. Žukov 1986, III:

Dai diversi battaglioni in diversi momenti degli uomini corsero con delle bandierine verso il Reichstag e... nessuno di loro arrivò, caddero. Dal mio battaglione fu inviato Pëtr Nikolaevič Pjatnickij, ed anche lui cadde senza arrivare alle colonne dell'ingresso principale (Neustroev 1990: 134).

Alla ricostruzione dell'assalto al Reichstag, alla ricerca di chi, davvero, per primo vi innalzò la bandiera rossa, sono dedicate letteralmente migliaia di pagine di memorialisti, storici, giornalisti; i dibattiti sono furiosi, e, di nuovo, non è nostro compito prendere posizione. È possibile che nel creare la situazione che ha portato alla morte, tra gli altri, di Pjatnickij abbia avuto una parte la concorrenza tra le diverse unità dell'Armata Rossa, che potrebbe aver portato un comandante ad inviare prematuramente al comando del fronte la notizia della presa dell'edificio per paura di essere sorpassato da un vicino¹³. O forse si tratta semplicemente dell'amore del regime per le ricorrenze solenni: come scriveva qualche anno fa il giornalista Evgenij Kiričenko (2012), "le truppe avevano il compito di irrompere a qualunque costo nel Reichstag e innalzare la bandiera della Vittoria entro il 1 maggio". La "Pravda" (solo all'interno del comunicato ufficiale del *sovinformbjuro*) e, più diffusamente, la "Krasnaja zvezda" (con il riferimento, che abbiamo visto, a un "eroe senza nome"! Vysokoostrovskij, Trojanovskij 1945) uscirono il 1 maggio con la notizia della caduta dell'edificio. Difficile ora ricostruire con precisione l'ora di chiusura dei giornali sovietici dell'epoca; ma, considerando il tempo necessario per trasmettere una notizia da Berlino a Mosca, e farle attraversare tutte le istanze di controllo, pare legittimo ritenere che i testi fossero pronti e impaginati ben prima che la bandiera sia effettivamente sventolata.

Le decine di migliaia di morti sovietici nell'assalto a Berlino, è opinione diffusa nella storiografia, furono soprattutto un tributo pagato all'ambizione di Stalin di battere sul tempo gli alleati (cfr., per es., Tumarkin 1994: 84-85); la morte di Pëtr Pjatnickij, e di altri accanto a lui, potrebbero essere un tributo a un'ambizione estetica, all'ambizione di vedere realizzato dal vero un quadro idealmente già dipinto.

* * *

Nella cultura staliniana – con il suo rifiuto radicale di distinguere tra i generi, e con il potere assoluto della volontà sulla materia – realtà e finzione si scambiano di posto con estrema disinvoltura, complice l'ambiguità totale del contratto di lettura, dove generi discorsivi finzionali e non finzionali si mescolano in un'identica pretesa di 'realismo'. Il discorso della 'letteratura documentaria' degli anni chruščëviani (che, vale ricordarlo, e *Come*

¹³ Michail Bajsurov, che all'assalto del Reichstag comandava una batteria, ha raccontato già negli anni postsovietici che tutto sarebbe nato da uno scherzo del comandante del 674 reggimento, il colonnello Plechodanov, che avrebbe dato a Zinčenko la falsa notizia che i suoi uomini erano già entrati nell'edificio ed avevano innalzato la bandiera: a questo punto Zinčenko avrebbe comunicato ufficialmente che era stato il suo 756-mo reggimento a farlo, provocando così la reazione ufficiale di Žukov, e quindi l'obbligo di piazzare immediatamente una bandiera sul Reichstag (cfr. Kiselev 2017: 317-320).

fniscono le guerre di Subbotin ne è prova evidente, pensa sé stessa comunque come *letteratura*) è prima di tutto un tentativo, un tentativo spurio e non sempre interamente cosciente, di ristabilire questa differenza. Riemergono qui questioni già affrontate dal dibattito del “Novyj Lef” (la bibliografia teorica sul genere *očerki* e sulla letteratura documentaria è composta fondamentalmente da testi degli anni Venti e testi degli anni Sessanta); le avanguardie, però, qui non sono mai menzionate (nessun riferimento all’esperienza del “Novyj Lef”, per esempio, nei numerosi interventi del dibattito sul tema ospitato da “Voprosy literatury”, Štejn 1966). Se la ragione sia tattica (censura?) o se si tratti di un dibattito che rinasce per ragioni tutte del suo tempo, senza nessuna memoria del precedente avanguardistico, è questione che richiede un supplemento di indagine¹⁴.

Bibliografia

- Adamovič 1985: A. Adamovič, *Ničego važnee: Sovremennye problemy voennoy prozy*, Moskva 1985.
- Adamovič, Granin 1992: A. Adamovič, D. Granin, *Le voci dell’assedio: Leningrado 1941-1943*, trad. it. di C. Di Paola, Milano 1992.
- Beršadskij 1964: R. Beršadskij, *Smert’ sčitat’ nedejstvitel’noj*, Moskva 1964.
- Brik 2000: O. Brik, *Bliže k faktu*, in N. Čužak (red.), *Literatura fakta: pervyj sbornik materialov rabotnikov LEFa*, Moskva 2000, pp. 80-85.
- Chruščëv 1939: N. Chruščëv, *Doklad na zakrytom zasedanii XX s’ezda KPSS: “O kul’te ličnosti i ego posledstvijach”*, Moskva 1959.
- Colombo 2017: D. Colombo, *Ceci c’est la pipe: come si racconta l’assedio di Leningrado*. In L. Piccolo (a cura di), *Violazioni: letteratura, cultura e società in Russia dal crollo dell’Urss ai nostri giorni*, Roma 2017, pp. 37-66.
- Foley 1982: B. Foley, *Fact, Fiction, Fascism: Testimony and Mimesis in Holocaust Narratives*, “Comparative Literature”, xxxiv, 1982, 4, pp. 330-360.
- Foley 1986: B. Foley, *Telling the Truth: The Theory and Practice of Documentary Fiction*, Ithaca-London 1986.
- Gorbatov 1988: B. Gorbatov, *Sobranie sočinenij*, III, Moskva 1988.

¹⁴ Il’ja Kukulin (2015: 253), che analizza sotto un diverso angolo visuale un materiale spesso vicino a quello di cui è oggetto questo lavoro, commentando il *Libro dell’assedio* (Adamovič, Granin 1992; un testo che rientra senza dubbio tra gli sviluppi della letteratura documentaria degli anni Sessanta), scrive che “Le dichiarazioni di Adamovič e Granin (...) ricordano i manifesti della ‘letteratura del fatto’ degli anni Venti...”, senza però indicare se si tratti di una coincidenza o di una ripresa cosciente.

- Kardin 1966: V. Kardin, *Legendy i fakty*, "Novyj mir", 1966, 2, pp. 237-250.
- Katusev 1990a: A. Katusev, *Čužaja slava*, "Voenno-istoričeskij žurnal", 1990, 8, pp. 68-81.
- Katusev 1990b: A. Katusev, *Čužaja slava*, "Voenno-istoričeskij žurnal", 1990, 9, pp. 67-77.
- Kiričenko 2012: E. Kiričenko, *Molčanie znamenosev: Kak v ugodu političeskoj kon'junktury posle vojny perepisyvali istoriju šturma rejchštaga*, "Svobodnaja pressa", 2012, <<https://web.archive.org/web/20150322173951/http://www.svpressa.ru/war/article/55116/#1>> (ultimo accesso: 07.09.2021).
- Kiselëv 2017: G. Kiselëv, *Neudobnaja pravda o vzjatii rejchštaga: poisk, issledovanie, rekonstrukcija*, Kaliningrad 2017.
- Koposov 2011: N. Koposov, *Pamjat' strogogo režima: istorija i politika v Rossii*, Moskva 2011.
- Kornejčuk 1942: A. Kornejčuk, *Front: pësa*, perevod s ukrainskogo, Leningrad 1942.
- Korotkov 1996: A. Korotkov (red.), *Iz rabočich zapisej Polithjuro: "Dogovarivajutsja do togo, čto ne bylo zalpa "Avrory"*, "Istočnik", 1996, 2, pp. 111-121.
- Krivickij 1941: A. Krivickij, *Zaveščanie 28 pavšich geroev*, "Krasnaja zvezda", 28.11.1941.
- Krivickij 1942: A. Krivickij, *O 28 pavšich gerojach*, "Krasnaja zvezda", 22.01.1942.
- Krivickij 1964: A. Krivickij, *Ne zabudu vovek*, Moskva 1964.
- Kukulin 2015: I. Kukulin, *Mašiny zašumevešego vremeni: Kak sovetskij montaž stal medodom neoficial'noj kul'tury*, Moskva 2015.
- Kumanëv 2012: G. Kumanëv, *Rassekrečennye stranicy istorii vtoroj mirovoj vojny*, Moskva 2012.
- Lanzmann 1994: C. Lanzmann, *Why Spielberg has distorted the truth*, "The Guardian Weekly", 03.04.1994.
- Lazarev 1991: L. Lazarev, *"Kak by ni byla gor'ka..."*, "Kommunist", 1991, 8, pp. 24-42.
- Lazarev 1993: L. Lazarev, *Russian Literature on the War and Historical Truth*, in: J. Garrard, C. Garrard (ed.), *World War II and the Soviet People: Selected Papers from the Fourth World Congress for Soviet and East European Studies, Harrogate, 1990*, London 1993, pp. 28-37.
- Leonov 2009: B. Leonov, *Russkaja literatura o Velikoj Otečestvennoj vojne: Očerki perežitogo dvaždy*, Moskva 2009.

- Neustroev 1960: S. Neustroev, *Šturm reichstaga (Vospominanija)*, "Voenno-istoričeskij žurnal", 1960, 5, pp. 42-51.
- Neustroev 1961: S. Neustroev, *Put' k rejchstagu*, literaturnaja zapis' V.E. Koroleva, Moskva 1961.
- Neustroev 1990: S. Neustroev, *O rejchstage – na sklone let*, "Oktjabr", 1990, 5, pp. 130-144.
- Ogryzko 2015: V. Ogryzko, *Počemu Konstantin Simonov proignal skulptoru Vučetiču*, "Literaturnaja Rossija", 25.11.2015.
- Papernyj 2017: V. Papernyj, *Cultura Due: L'Architettura al tempo di Stalin*, trad. it. di E. Baglioni, Roma 2017.
- Petrov, Edel'man 1997: N. Petrov, O. Edel'man, *Novoe o sovetskich gerojach*, "Novyj mir", 1997, 6, pp. 140-151.
- Polevoj 2001: B. Polevoj, *Povest' o nastojaščem človeke*, Moskva 2001.
- Pospelov et al. 1963: P. Pospelov et al. (red.), *Istorija Velikoj Otečestvennoj vojny Sovetskogo Sojuza 1941-1945*, v, Moskva 1963.
- Šapošnikov 2006: B. Šapošnikov (red.), *Razgrom nemeckich vojsk pod Moskvoy: Moskovskaja operacija zapadnogo fronta 16 nojabrja 1941 g.-31 janvarja 1942 g.*, Moskva 2006.
- Šatilov 1975: V. Šatilov, *Znamja nad rejchstagom*, Moskva 1975³.
- Šatilov 1988: V. Šatilov, *V bojach roždennoe znamja*, Moskva 1988².
- Simonov 1985: K. Simonov, *Soranie sočinenij: tom odinnadcatyj (dopolnitel'nyj): Očerki i publicistika: Stat'i i zametki o literature i iskusstve*, Moskva 1985.
- Simonov 1990: K. Simonov, *Glazami človeka moego pokolenija: Razmyslenija o I.V. Staline*, Moskva 1990.
- Smirnov 1961: S. Smirnov, *Geroj Brestskoj kreposti*, Moskva 1961.
- Štejn 1966: A. Štejn (red.), *Žiznennyj material i chudožestvennoe obobščenie*, "Voprosy literatury", 1966, 9, pp. 3-62.
- Subbotin 1960a: V. Subbotin, *Den' tysjača četyresta desjatyj*, "Pravda", 09.05.1960.
- Subbotin 1960b: V. Subbotin, *Den' tysjača četyresta desjatyj*, "Novyj mir", 1960, 5, pp. 49-62.
- Subbotin 1961: V. Subbotin, *Vesnoj sorok pjatogo*, "Novyj mir", 1961, 5, pp. 10-30.
- Subbotin 1965a: V. Subbotin, *Kak končajutsja vojny*, Moskva 1965.
- Subbotin 1965b: V. Subbotin, *Krasnye stjagi pobed. Eto bylo 20 let nazad*, "Pravda", 30.04.1965.
- Subbotin 1966a: V. Subbotin, *Kak končajutsja vojny*, "Roman-gazeta", 1966, 2.

- Subbotin 1966b: V. Subbotin, *Berlinskij dnevnik: april'-maj 1945 g.*, in: A. Dubovikov, N. Trifonov (red.), *Sovetskie pisateli na frontach Velikoj Otečestvennoj vojny, kinga vtoraja*, Moskva 1966 (= *Literaturnoe nasledstvo*, 78), pp. 358-372.
- Subbotin 1981: V. Subbotin, *Izbrannye proizvedenija v dvuch tomach*, Moskva 1981.
- Subbotin 2016: V. Subbotin, *Znamja pobedy. Iz dnevnikov pisatelja*, "Družba narodov", 2016, 5, pp. 141-182.
- Tichonov 1981: N. Tichonov, *Stichotvorenija i poemy*, Leningrad 1981.
- Tumarkin 1994: N. Tumarkin, *The Living and the Dead: The Rise and Fall of the Cult of World War II in Russia*, New York 1994.
- Vučetič 1966: E. Vučetič, *Pafos vremeni*, "Izvestija", 02.02.1966.
- Vysokoostrovskij, Trojanovskij 1945: L. Vysokoostrovskij, T. Trojanovskij, *Nad rejchstagom vodruženo znamja našej pobedy (Ot special'nych korrespondentov...)*, "Krasnaja zvezda", 01.05.1945.
- Zinčenko 1983: F. Zinčenko, *Geroi šturma rejchstaga*, Moskva 1983.
- Žukov 1986: G. Žukov, *Vospominanija i razmyslenija*, Moskva 1986.

Abstract

Duccio Colombo

The Names of the Unknown Soldiers. Soviet War Literature and Journalism, or Verisimilitude and Truth: Two Case Studies.

Vasilij Subbotin's *We Stormed the Reichstag* is a typical specimen of the wave of non-fiction prose about World War II which sprang up in the wake of the 20th Congress. The search for the unjustly forgotten war hero, one of the major themes of this kind of literature, is represented here by the story of Pëtr Pjatnickij, a soldier who fell on the steps of the Reichstag entrance with a red flag in his hand and was then forgotten.

If, hypothetically, this story was false, it would echo the (probably false) story of the 28 'panfilovcy' who purportedly fell at Dubosekovo during the battle for Moscow. In that case, Subbotin's text would embody a characteristically literary device: giving a name to an anonymous character, the anonymous figure, for example, carrying the flag in Vladimir Bogatkin's well-known painting, as a way to give life and credibility to the image. The Dubosekovo story, as developed by journalist Aleksandr Krivickij, appears to employ the same mechanism for achieving credibility. In this case the operation was twofold: Krivickij gave his heroes first a number, and only later names. The second move was the most hazardous. A story that pretends to be true must be verifiable in real life; this is where Krivickij failed and where Subbotin may have succeeded.

Stalinist culture fundamentally refused to separate fact from fiction. The non-fiction literature from the Thaw is exactly the opposite: an attempt at reinstating the separation.

Keywords

Vasilij Subbotin; Aleksandr Krivickij; War Literature; Non-Fiction.

Мануэль Гилардуччи

“Прорубоно, вытягоно”. Философия голоса в *Заседании завкома* Владимира Сорокина

Oh, the shape and the power of the voice
In strong low tones

Ultravox, *The Voice*

В данной статье предпринята попытка проиллюстрировать элементы философии голоса в рассказе Владимира Сорокина *Заседании завкома* (далее: *Заседание*). Он был впервые опубликован в сборнике *Первый Субботник* (1992), содержащем произведения, написанные с 1979 по 1984-й год. Большинство из них опирается на принципы деконструкции советских идеологем и мифологем (Roll 1996) и является примером “эстетик[и] отвратительного” (Гройс 2013: 136), телесного насилия (Flickinger 1999; Engel 1999; Lipovetsky, Veumers 2009: 47-69), и чудовищности (Schmid 2000). Несмотря на то, что Виктор Ерофеев включил *Заседание* в антологию *Русские цветы зла* (1997), внесшую большой вклад в популяризацию русского концептуализма и соц-арта за рубежом (Stewart 2006: 237), рассказ до сих пор не стал предметом подробного анализа в ‘сорокинологии’. Это тем более удивительно, учитывая, что языковая поэтика *Заседания* значима и не ограничивается рамками исключительно соц-арта.

Сюжет произведения довольно простой. На фрезеровщика Виктора Пискунова подали жалобу в завком: Пискунов “пьет, ругается, грубит, хулиганит” (Сорокин 2001: 41), не выполняет нормы и приходит на работу с опозданием. Комиссия завкома собирается, чтобы обсудить его случай. Её участники долго спорят о нужных мерах, непрерывно нападают на Пискунова с идеологизированными моральными упреками, не давая ему времени отвечать. К дискуссии присоединяются также уборщица и странный милиционер, высоко ценящий классическую музыку.

В первой части рассказа Сорокин репродуцирует советский новояз. Пискунов не соответствует коммунистическому обществу (*там же*: 48); образец для подражания в его цехе – это “женщина, мать троих детей, активистка, общественница. Из старой рабочей семьи” (*там же*: 40). Речь уборщицы и милиционера усиливает гротескный характер дискуссии. Выражаясь штампами морально-идеологического дискурса, уборщица строго укоряет Пискунова: “Да как тебе не совестно-то?! [...] Да кто же тебя [...] воспитал, кто обучал бесплатно?! Да мы в войну хлеб с опилками ели, ночами работали, чтобы ты вот в этой рубашке ходил” (*там же*: 48). Милиционер подчеркивает педагогическую функцию классической музыки: “Я тебе, Пискунов, посоветовал бы побольше классической хорошей музыки слушать. [...] Музыка знаешь, как человека облагораживает?” (*там же*: 52).

Конвенциональность коммуникации присутствует не только в диалогах милиционера и уборщицы, а во всем тексте. Инсценируя избыточную коммуникацию, рассказ 'портретирует' схему советского нарратива о коллективном решении социальной проблемы с помощью группы низовых партийных активистов. Текст эксплицитно указывает на театральность этого нарратива, становясь, в конечном итоге, (мета)литературным (авто)комментарием¹: "На слабо освещённой *сцене*, прямо под громадным портретом Ленина, сидели люди. Они занимали середину длинного стола, покрытого красным сукном" (*там же*: 37, курсив мой); "Витька неторопливо приподнялся, подошел к *сцене*" (*там же*: 40, курсив мой); "из-за *кулис* [...] вышел Хохлов" (*там же*: 58, курсив мой).

После исполнения панегирика о классической музыке милиционер выходит из комнаты, затем сразу возвращается обратно и неожиданно начинает реветь слово 'прубуно'. С этого фрагмента начинается коллективный ритуал² жертвоприношения уборщицы: в ее труп вбивают с помощью кузнечного молота трубы, которые заполняют червяками. Один член завкома, Звягинцева, раздирает себе лицо ногтями, Старухин бьется лицом о стол. В конце Клоков призывает коллег к спокойствию; Симакова закуривает, – и все расходятся. Ритуал сопровождается авторскими неологизмами 'пробойное', 'прободело', 'убойно', 'вытягоно', 'нашпиго', 'напихо', 'сливо', 'набиво' (Сорокин 2011: 55-57), которые писатель образует путем креативной аффиксации известных русских корней и приставок.

Все неологизмы заканчиваются буквой 'о', которая, припоминая наречие, намекает на некую бессубъектность действия. Во время ритуала герои теряют социальный самоконтроль, дегуманизируются. Отдаление от социальной сферы является главным моментом рассказа. По нашему мнению, в этой сцене представляется не столько советская действительность, сколько язык 'как таковой', в независимости от его исторического и культурного контекста. Важно отметить, что деформированная речь совершенно не построена на принципах соц-арта: слова не являются деформацией или пародией советского новояза. Следовательно, интерпретация *Заседания завкома* исключительно как примера соц-арта является спорной. Более того, деформирование речи характеризуется отсутствием мата, что делает языковую поэтику текста менее плакативной, чем в большинстве рассказов, составляющих *Первый субботник*.

Неологизмы производят эффект остранения. Не совсем ясно, что они обозначают, но в них *звучит* что-то знакомое. Перформативность звукового уровня речи ('акустика') находится в центре внимания авторской поэтики. Деформированные слова сопровождают ритуальное действие, которое можно назвать одновременно социальным и не социальным. Ритуал жертвоприношения выполняется представите-

¹ К (мета)литературным импликациям театральности в рассказе вернемся позже.

² Ритуалы являются константой в творчестве московского концептуалиста. В своей диссертации Георг Витте проанализировал ритуалы и выделил их главные черты в контексте позднесоветской литературы (Witte 1989: 145-168), в том числе у Сорокина, но не в *Заседании*.

лями определенных структур власти (членами парткома и милиционером), но сам акт насилия и коммуникация имеют негуманный характер. Все начинается с *рева*: слова не соответствуют полностью человеческому языку, социальные и коммуникативные правила теряются. Если учитывать, что в ритуале уродуется не только человек (уборщица), но и структура языка, становится ясно, что в этом рассказе происходит нечто большее, чем деконструкция советских реалий. Рассказ инсценирует отдаление от логоса и, одновременно, от социальной жизни. Таким образом, текст затрагивает политические и онтологические проблемы, которые релевантны не просто в рамках критики советской действительности, а на философском уровне.

Наше (пере)чтение *Заседания* опирается на теорию голоса, иллюстрированную Младеном Доларом в *A Voice and Nothing More* (*Голос и ничего больше*, 2006), а также на рассуждения Джорджо Агамбена об онтологической негативности быта и языка из *Il linguaggio e la morte. Un seminario sul luogo della negatività* (*Язык и смерть. Семинар о месте негативности*, 1982)³. Обе теоретические модели создают основу для интерпретации и объяснения специфики деформированной речи в рассказе с новой точки зрения. Мы рассматриваем рев милиционера как вторжение в текст ‘чистого голоса’ (*phonē*): до-сигнификативной (или уже не сигнификативной), акустической артикуляции, связанной с ‘голой жизнью’ (*zōē*). Как будет показано ниже, любой социальный, символический, языковой и политический порядок опирается на включение/исключение *phonē* и *zōē* в язык и социополитическую жизнь (*bios*). Инсценируя возвращение исключенных элементов, Сорокин обнажает фундаментальную и насильственную негативность, в которой укоренена любая социальная система.

1. Деформированная речь в *Заседании* с точки зрения ‘сорокинологии’

В исследованиях об отношении между языком и насилием у раннего Сорокина *Заседание* либо упоминается крайне бегло (Walsh 1998: 271-272), либо рассматривается, согласно принципам и приемам соц-арта, только как пародия на новояз и советскую действительность (Нефагина 1998; Генис 2002; Денисова 2003). Некоторые ученые подчеркивают философский характер сорокинской рефлексии над языком (Эпштейн 2004 и 2005; Калинин 2018), но не придают этому аспекту терминологической и теоретической значимости.

Эрих Пойнтнер говорит по поводу неологизмов в *Заседании* как о “degenerierte Wörter, die den degenerierten Protagonisten entsprechen”⁴ (Poynntner 2007: 94). Ученый обнаруживает вектор отдаления персонажей от человеческого языка и социальной субъективности (выражен, в частности, в суффиксах *-о* и *-оно*), но оставляет его имплицитным: более того, слово ‘дегенерация’ кажется лишь субъективной оценкой. В дру-

³ Мы будем ссылаться на последнее издание 2008-го года.

⁴ “Дегенеративных словах, соответствующих дегенеративным протагонистам”. Если не указано иначе, все переводы на русский язык мои (*автор*).

гой статье Пойнтнер называет эти слова “zerfallend[e] Sprache der [...] Wahnsinnigen”⁵ (Poyntner 2005: 106) и связывает их с невозможностью героев разговаривать (*там же*). Однако герои в точности понимают друг друга, несмотря на ‘особенность’ их речи. И с нарратологической точки зрения сцена несет больше динамики чем то, что происходит до и после нее: динамику вызывают именно ‘сдвинутые’ слова.

Михаил Эпштейн также подчеркивает бессмысленность деформированных слов, говоря о “безобразн[ом] и бессмысленн[ом] ритуал[е]” (Эпштейн 2005). Для Эпштейна ритуал в *Заседании* ничем не отличается от известных приемов соц-арта:

У Сорокина мы наблюдаем, как идеологическое слово [...] срывается в заговор и ворожбу. [...] [В]нятные идеологемы превращаются в жуткие глоссолалии [...]. Тем самым выявляются и сгущаются формы магизма, присущие самым обыкновенным словам, которые зацикливаются на себе, уже ничего не сообщают, а только заговаривают [...] (Эпштейн 2004: 279).

Деформированные слова – это не идеологемы и не глоссолалия. Не идеологемы потому, что корни и приставки, соединенные автором с суффиксами, являются лишь морфологическими единицами, которые сами по себе не связаны с советской действительностью. Автор не играет с “идеологическ[им] слово[м]” (*там же*), а с русским языком. Также невозможно говорить о глоссолалии в данном случае. Термин ‘глоссолалия’ обозначает дар Святого Духа говорения разными, иными языками (Ткаченко 2011). Слова, составляющие странную речь и сопровождающие ритуал в *Заседании*, не являются частями иных или разных языков. Они просто образуются, как мы утверждали выше, путем непривычной для читателей аффиксации нормативных корней русского языка. В результате русский язык деформируется и морфологически ‘сдвигается’, но не появляется новый или иной язык.

Несмотря на эти терминологические уточнения, употребление Эпштейном глагола ‘зацикливаться’ в цитате выше нам кажется значительным: глагол акцентирует внимание на процессе, происходящем внутри языка. Именно поэтому, как точно отмечает Вадим Руднев, в сорокинских неологизмах “угадывается некая общая протосемантика” (Руднев 2015: 57): какой-то смысл сохраняется, потому что деформирование происходит внутри одного языка – русского.

По нашему мнению, Александр Генис неправ, когда утверждает, что “тема Сорокина – грехопадение советского человека [...] в бессвязный хаос мира” (Генис 2002: 94), потому что хаос во время ритуала имеет свою логику. Заметим, однако, что исследователь выделяет один важный аспект, когда пишет о том, что “[а]кт падения происходит в языке” (*там же* – курсив мой). Данная формулировка подчеркивает ту же автореференциальность, которую подразумевает Эпштейн, и локализует ‘падение’ внутри языковых, а не этических координат. Подобный тезис

⁵ “Разваливающимся языком [...] сумасшедших”.

выдвигает Нил Стьюарт: Сорокин “richtet sich [...] keineswegs speziell gegen das politische System des Sozialismus und die für dieses charakteristischen Diskurspraktiken. [...] Sorokins Kritik ist radikaler, für ihn residiert die Gewalt im Wesen der Sprache”⁶ (Stewart 2006: 241)

Стьюарт анализирует в своем исследовании также исторический и культурный статус русского языка советской эпохи и его отражение в литературе (*там же*: 242-262). Как мы видим, интересные наблюдения ученых не переходят к систематическому анализу рассказа и не покидают рамки проблемы деконструкции советского дискурса. На наш взгляд, ‘дегенерация’ (Пойнтнер), ‘зацикливание’ (Эпштейн), ‘сущность языка’ (Стьюарт), ‘падение / инволюция в языке’ (Генис) и ‘протосемантика’ (Руднев) ведут не к бессмысленности и хаосу, а указывают на фундаментальную проблему. Да, Сорокин демонстрирует это на примере русского языка, но любой социальный, языковой и политический порядок устанавливается насильственным актом, потому что чистая *phōnē* должна исчезнуть, чтобы какой-либо порядок вообще состоялся. Но она не исчезает полностью, а напоминает о существовании доязыковой стадии. С 2012 по 2018 год⁷ Илья Калинин многократно утверждал, что языковая поэтика Сорокина уже в ранний период его творчества не исчерпывается деконструкцией советского дискурса:

Ретроспективный взгляд [...] позволяет увидеть в [сорокинской] демонстрации речевого насилия, в акценте на речи как на одном из типов действия не только антитоталитарный пафос, но и позитивную *рефлексию над природой языка, перформативности и насилия как таковых* (Калинин 2018: 131-132, курсив мой).

Следует отметить, что фокусирование Сорокина на языке ‘как таковом’ обнаруживается не благодаря ретроспективному взгляду, а благодаря подходящей методологии. Так как дискурсивный анализ⁸ не способен иллюстрировать все импликации деформированной речи в *Заседании*, нужно рассматривать эту сцену с перспективы философии голоса.

⁶ “Совсем не направляет свою критику исключительно на политическую систему социализма и на для нее характерные дискурсивные практики. Критика автора радикальней: для него насилие находится в ядре языка”.

⁷ Калинин заявил свою идею впервые в статье, опубликованной в 2012 (Калинин 2012). В 2013-ом году появилась обработанная версия этой статьи на английском языке (Kaliniņ 2013). В 2018-ом году, статья была снова опубликована в обработанной версии на русском языке (Калинин 2018). Поскольку в последней версии статьи Калинин расширяет и излагает свой тезис подробнее, мы будем ссылаться на этот источник.

⁸ Мы не согласны с Калининым в том, что “[у] Сорокина [...] в качестве [...] объекта [...], [...] выступает *дискурсивное* [...] измерение языка” (Калинин 2018: 12.4, курсив мой).

2. *Сорокинская философия голоса*

Рассмотрим упомянутую сцену ближе:

Он [милиционер] вышел за дверь. Уборщица вздохнула и, подняв ведро, двинулась за ним. Но не успела она коснуться притворившейся двери, как дверь распахнулась, и милиционер ворвался в зал с диким, нечеловеческим ревом. [...] Добежав до первого ряда кресла, он резко остановился [...] и замер на месте, ревя и откидываясь назад. Рев его стал более хриплым, лицо побагровело, руки болтались вдоль выгибающегося тела. – Про... про... прорубоно... прорубоно... – ревел он, трясая головой и широко открывая рот (Сорокин 2001: 53).

Непосредственно после рева начинается коллективный ритуал насилия:

Звягинцева медленно поднялась со стула, руки ее затряслись, пальцы с ярко накрашенными ногтями согнулись. Она вцепилась себе ногтями в лицо и потянула руки вниз, разрывая лицо до крови. – Прорубоно... прорубоно... – захрипела она низким трудным голосом. Старухин резко встал со стула, оперся руками о стол и со всего маха ударился лицом о стол. – Прорубоно... про... прорубоно... (там же: 53).

Рев ‘прорубоно’ маркирует начало процесса расслоения языка и дегуманизации героев: “Клоков дернулся, выпрыгнул из-за стола и повалился на сцену. Перевернувшись на живот, он заерзал, дополз до края сцены и свалился в партер зала” (там же: 53-54). Эту дегуманизацию вызывает акустическая и материальная сила речи. Каждый произнесенный звук сопровождается неконтролируемым движением тела; персонажи находятся в состоянии одержимости, на что особенно указывает глагол ‘трястись’: присутствует некая брутальная сила, которая полностью управляет человеческими телами. Эта сила не добавляется к языку снаружи (Стюарт 2006: 241), а находится внутри самого языка. Этот аспект имеет значение: мы имеем дело с чем-то вытесненным и забытым, *что возвращается изнутри самой языковой системы*. Недостаточно назвать эту силу магическим языком (Эпштейн 2004: 279; Калинин 2018: 124). Деформированная речь у Сорокина – это уже не полностью язык, так как неологизмы соответствуют языковым правилам в плане морфологии (как известно, суффиксация и аффиксация являются продуктивными процессами словообразования в русском языке), но с точки зрения семантики не совсем ясно, что сорокинские неологизмы обозначают. Тем не менее, они приводят к очень конкретным результатам несмотря на то, что их сила невидима. По этим причинам назовем эту ‘магию’ или силу фантазмагорическим явлением акустики голоса, звучанием чего-то невидимого, что, однако, полностью ощущается в его материальности и перформативности (Dolar 2006: 61).

Объясняя его роль в языковой системе, Долар сравнивает акустический голос с означающим. Философ утверждает, что голос выполняет функцию ‘звуковой оболочки’ речи: он транспортирует значения, делает высказывание вообще возможным, несмотря на то или именно потому, что оно само по себе ничего не значит:

what defines the voice as special [...], is its inner relationship with meaning. [...] No doubt we can ascribe meaning to all kinds of sounds, yet they seem to be deprived of it ‘in themselves’ [...]. [...] If we speak in order to ‘make sense’, to signify, [...] the voice is the material support of bringing about meaning, yet it does not contribute to it itself. It is [...] something like [a] [...] mediator [...] – it makes the utterance possible, but it disappears in it (Dolar 2006: 14-15).

Заседание указывает именно на этот аспект, поскольку не значение, а озвучивание ‘сдвинутых’ слов находится в центре внимания. Сорокин не просто представляет, а модулирует голос как физиологическо-акустический феномен с помощью прилагательных ‘низкий’, ‘дикий’, ‘трудный’ и ‘хриплый’. Эти прилагательные не столько описывают голос, сколько передают ему перформативное озвучивание. Перформативную ное потому, что произношение акустических ‘полуслов’ приводит непременно к действию. Апогей акуматики достигается прилагательным ‘хриплый’, чей ономатопоэтический характер особенно усиливает тревожность модуляции. Более того, перформативность акустического голоса выходит за текстуальные рамки: модуляция призывает читателей читать текст вслух или, как выразился Ханс-Георг Гадамер в рамках изложения своей философско-филологической герменевтики, произносить его вслух внутри себя, слушая ‘внутренним ухом’ как его семантика разворачивается (Gadamer 1993: 351). Фокусирование перформативности текста и эффектов, которые текст вызывает у читателей – постмодернистский прием, который можно обнаружить в большинстве произведений Сорокина. Однако в данном случае прием не связан просто с постмодернистской (или постструктуралистской) проблемой смерти автора, а именно с модуляцией голоса, акуматика которого способна выходить за пределы текста и ‘манить’ читателей, которые ощущают эту силу на себе.

В возвращении голоса обнаруживается важная черта языковой поэтики рассказа. В отличие от большинства текстов из *Первого субботника*, языковое насилие выражается в *Заседании* не путем вербальной агрессии (мы уже отметили отсутствие мата), а в фантазмагорическом возвращении ‘убитого голоса’. Как мы показали, голос можно себе представить как ‘мертвое тело’, которое дальше сохраняется и транспортируется в коммуникации. Но чтобы язык являлся полностью смысловым, нужно подчинять чистый голос: если человек разговаривает, лепечет языком и не придерживаясь языковых норм, его не понимают. Поскольку следы насильственного акта, совершенного языком над голосом, не исчезают (звук голоса и означающих необходимы), языковая система остается нестабильной. Голос может вернуться в любой момент.

В негативности перехода из голоса к языку, результирующей из покорения чистого голоса как опасного, но необходимого элемента коммуникации, укоренена сфера человеческой жизни: “The signifier is not endowed with any positivity, any quality definable on its own; its only existence is a negative one (that of being ‘different from other signifiers’), yet its mechanisms can be disentangled and explained in that very negativity, which produces positive effects of signification” (Dolar 2006: 17). Теория голоса Долара

показывает, что важно не ответить на вопрос, что обозначают неологизмы в *Заседаниях*, а принять к сведению, что они находятся *на стыке* между сигнификативным языком и асигнификативным голосом. Деструктивный и деконструирующий потенциал голоса укоренен в его фундаментальной негативности. Сорокин позволяет негативности голоса быть озвученной; таким образом, текст указывает на то, что возвращение чистого голоса угрожает целой социокультурной системе.

Как назвать это место перехода из еще-не-языка к уже-не-голосу и покорение голоса языком? Голос парадоксально присутствует и одновременно отсутствует в языке. Ссылаясь на Лакана и Агамбена, Долар называет этот аспект *extimacy*: “simultaneous inclusion / exclusion, which retains the excluded at its core” (*там же*: 106). Чтобы речь имела значение, и чтобы коммуникация в социокультурных рамках функционировала, чистый голос должен принести себя в жертву, исключиться; но он остается в ядре языка и общества (*там же*: 15 и 31). Инсценируя *extimacy*, Сорокин, безусловно, деконструирует советские социокультурные координаты. Однако факт того, что они – советские, не имеет значения, так как *extimacy* характеризует *любое* общество. Языковая поэтика *Заседания* преодолевает исторический контекст, в котором осуществляется. Рассказ затрагивает фундаментальную проблему:

the very institution of the political depends on a certain division of the voice, a division within the voice, its partition. For in order to understand the political, we have to discern the mere voice on the one hand and speech, the intelligible voice, on the other. There is a huge divide between *phone* and *logos*, [...] despite the fact that *logos* itself is still wrapped in voice [...]. [...] At the bottom of this is the opposition between [...] *zoe* and *bios*. *Zoe* is naked life, bare life [...]; *bios* is life in the community, [...] political life (*там же*: 105-106).

‘Сдвинутые’ слова, которые сопровождают ритуал – это литераризация возвращения *phonē* и *zōē*. Сорокин представляет метафорически физиологическую акустику голоса, соединяя ее с телесностью. Это не один из многих примеров лиминальности тела в текстах Сорокина, как утверждает Калинин (2018: 136), а затрагивание апории, на которую опирается *bios*, *так как* чтобы существовать как *animal rationale*, человек должен перейти от чистого голоса (*phonē*) к смысловой речи, к логосу. Но, как утверждает психоанализ, подавление – это вытеснение. Включение / исключение *Zōē* и *phonē* объясняет их аккумуляцию негативности и напряженности; в виде таких ‘эксплозивных’ элементов, *zōē* и *phonē* составляют социальную систему и одновременно ее дестабилизируют.

Сцена ритуала в *Заседаниях* является борьбой между *zōē* и *bios* с одной стороны, и *phonē* и логосом – с другой. Эта борьба имеет политические и онтологические импликации. Агамбен утверждает, что *bios* непрерывно подавляет и вытесняет *phonē* и *zōē* из себя, но, одновременно, артикулирует их в соответствии с (био-)политическим и дискурсивным порядком полиса:

Связь между голой жизнью и политикой – это та же самая связь [...] между *phonē* и *lógos* [...]. Живое существо одарено речью, из которой оно удаляет и в которой оно в то же время хранит свой логос, таким же образом, каким оно живет в полисе, позволяя исключить в его рамках свою голую жизнь. Политика [...] находится в месте стыка живого существа и логоса (Агамбен 2011: 14-15)⁹.

Агамбен называет одновременное включение и исключение *zōē* “зон[ой] абсолютной неразличимости” (*там же*: 16). Этот концепт соответствует тому, что Долар называет *extimacy*. Включение / исключение *zōē* в / из *bíos* соответствует включению / исключению *phonē* в логос / из логоса. Зона неразличимости и *extimacy* являются фундаментом социальной жизни; инсценируя этот фундамент, *Заседание* обнажает амбивалентную структуру любого политического порядка, укорененного в стыке несовместных элементов, которые его отрицают и одновременно обосновывают (Dolar 2006: 120-121). Текстуальный ‘взрыв’ как типичный прием сорокинского соц-арта рефлектирует в этом рассказе больше: он представляет аллегорический разрыв шва, который соединяет *zōē* / *phonē* с *bíos* / логосом, формируя социополитическую и языковую систему.

Чтобы играть значительную роль в обществе, члены завкома, милиционер и уборщица придерживаются устоявшихся языковых и социальных норм, регулирующих *bíos*, и идентифицируются полностью со своей функцией внутри системы. Как пишет Долар, “[t]he passage from voice to *logos* is an immediately political passage which, in the second step, entails the re-emergence of the voice in the midst of the political” (*там же*: 121). Рев милиционера и его негуманное поведение метафорически представляют собой возвращение (*re-emergence*) *phonē* и *zōē*: “[Д]обежав до первого ряда кресел, [милиционер] [...] замер [...], ревя и откидываясь назад. Рев его стал более хриплым, лицо побагровело, руки болтались вдоль выгибающегося тела. – Про... [...] прорубоно... – ревел он” (Сорокин 2001: 53). На следующих страницах рассказа рев становится мантрой, сопровождающей ритуал разными неологизмами: “– Пробойно! [...] – заревел милиционер. [...] – Пробойное! – заревел милиционер. [...] – Прободело! [...] – заревел милиционер и затрясся сильнее. [...] – Напшиго! Набиво! – заревел милиционер” (*там же*: 55-57).

Важно отметить, что *zōē* и *phonē* в рассказе не доминируют полностью над пространством текста, а сосуществуют в остром напряжении с *bíos* и логосом. Именно поэтому мы утверждаем, что в *Заседании* инсценируется борьба. Один член завкома, Урган, сопровождает рев милиционера, который представляет возвращение *zōē* и *phonē*, пустыми формулировками новояза, передающими язык социополитической системы: “Ну, если говорить там о технологии прорубоно, о последовательности сборочных операций, о взаимоменяемости деталей и почему же как прорубоно, так и брака межреспубликанских сразу больше и заметней” (Сорокин: 53). Речь Ургана

⁹ Все переводы из *Homo sacer* Изабеллы Левиной.

носит заметно письменный характер: она звучит так, как будто он читает текст вслух. Таким образом, Урган является представителем инстанции, связанной с официальным бюрократическим языком государства.

Но тут Сорокин не просто пародирует новояз, а инсценирует фундаментальную проблему любой социальной, политической и культурной системы. Покорение *phonē* логосом обнаруживается в присутствии голоса не только в виде 'звуковой оболочки' речи, а также в роли, предписанной голосу в обществе. Голос выполняет важную функцию в большинстве социальных и политических ритуалов, в которых письменные документы требуется прочитать вслух, чтобы они стали действительны (Dolar 2006: 107-112); в том числе в суде, на бракосочетании и при объявлении результатов выборов, "words stored on paper [...] can acquire performative strength only if they are relegated to the voice [...] [;] the use of the voice [...] endow[s] those words with the character of sacredness and ensure their ritual efficacy [...] because of [...] the fact that the use of the voice does not add anything to their content" (*там же*: 107 – курсив в оригинале). Следовательно, покоренный голос применяется в системе только тогда, когда его 'чистая перформативность' и акустика особенно нужны для конкретных целей.

Основываясь на контрасте между Урганом и милиционером, Сорокин переворачивает ситуацию, описанную Доларом. Письменная бюрократическая речь Ургана не имеет никакой силы и несмотря на то, что содержит узнаваемые языковые знаки, соответствующие правилам языка, *ничего конкретного не говорит*. Речь Ургана состоит из мертвых слов, настолько ритуализированных, что они потеряли связь с денотатами и не способны вызвать никакое действие: ведь Ургана все игнорируют, продолжая brutальный ритуал насилия в полном подчинении чистой *phonē*, выраженной ревом милиционера. Закономерно возникает вопрос о том, что, если Сорокин хотел представить господство голоса и "грехопадение [...] человека [...] в бессвязный хаос мира" (Генис 2002: 94), почему он настаивает на присутствии Ургана? Мы считаем, что Сорокин натолкнулся в рассказе на такую же амбивалентность и лиминальность "зон[ы] абсолютной неразличимости" (Агамбен 2011: 16), о которых Агамбен напишет только десять лет спустя.

Фигура милиционера играет центральную роль в этом приеме. С одной стороны, милиционер, ведя себя как лев, теряет свою социальную идентичность, релевантную в порядке биоса. Но, с другой стороны, в тексте он и дальше отмечается как 'милиционер', который сохраняет позицию власти, отдавая приказания. Важно при этом отметить, что насильственность его приказаний совершенно (уже) не связана с тем, что он – милиционер, а обусловлена именно тем, что его язык расслаивается. Другие персонажи подчиняются ему не потому, что он государственный служащий, а потому, что их манит его голос, имеющий деструктивную силу. Действуя одновременно как уже-не-милиционер (зверь) и как еще-милиционер, этот герой находится на стыке "живого существа и логоса" (Агамбен 2011: 15), *phonē* и *bíos*, и, таким образом, олицетворяет зону неразличимости, постулированную Агамбеном.

Откуда берется эта сила? Если она деструктивная и бесконтрольная, почему рассказ заканчивается восстановлением обычного коммуникативного и социального порядка? После завершения ритуала Черногаев говорит: “– Попрошу вас не кричать [...]. Извольте вести себя подобающе” (Сорокин 2001: 58). Эти слова обозначают возобновление логоса и *bíos*, представленных Черногаевым: нарратор подчеркивает, что Черногаев свои слова *произносит*, артикулирует спокойно и понятно, а не кричит. Просьба именно “не кричать” маркирует очередное исключение голоса: поскольку “the most salient inarticulate presymbolic manifestation of the voice [...] is the scream” (Dolar 2006: 27), его запрещение – акт контроля во имя *bíos* и логоса, вытеснение лепетания языком и ‘непристойного’ звериного поведения ради соблюдения социальных норм: нужно “вести себя подобающе” (Сорокин 2001: 58).

В этот момент, “подорванный козлом отпущения порядок [...] восстанавливается”¹⁰ (Жирар 2010а: 76). Поэтому, пишет Рене Жирар, “жертва восстанавливает, символизирует и даже воплощает порядок” (*там же*). Возвращение к символическому порядку социальной жизни после кризиса возможно потому, что насилие связано с вторжением *phonē* и *zōē* и перенесено на тело уборщицы, ведь “насилие [...] всегда находит заместительную жертву” (Жирар 2010б: 9). Поскольку жертва позволяет восстановление порядка, но она этим самым воплощает насилие, выходит, что *насилие само* нарушает и восстанавливает порядок. Тут текст портретирует короткое замыкание, из которого не может быть окончательного выхода. Герои рассказа приносят уборщицу в жертву¹¹ в попытке ‘обмануть’ или ‘перехитрить’ (*там же*: 9-11) фундаментальное насилие, в котором укоренено общество как результат *extimacy*. Однако, такой обман невозможен, потому что насилие – фундамент всего. После того как коллективное тело общества ‘утолило свой голод’ уничтожения путем ритуала, казалось бы, действие возвращается к подозрительному спокойствию. Наступает странное и необъяснимое спокойствие (Кион 2006: 158), которое, с одной стороны, подчеркивает абсурдность ритуала, а с другой оставляет у читателей ощущение опасности и нестабильности. Вытесненный элемент может вернуться в любой момент, раз социальная система сама по себе нестабильна из-за своей фундаментальной негативности.

Именно поэтому, большая часть произведений раннего Сорокина опирается на автоматическое / автоматизированное повторение ритуала насилия. Становится очевидно, что цель языковой поэтики раннего Сорокина вовсе не перевернуть дихотомии *bíos* / *zōē* и логос / *phonē*. Автор указывает на то, что социополитическая система опирается на негативность, которая никогда не исчезает, и результирует через акт акта насилия языка над голосом (*extimacy*). Эта негативность не заключается только в том, что, как утверждает Долар, голос ничего не обозначает, и что

¹⁰ Все переводы Жирара Григория Дашевского.

¹¹ Об интерпретации ритуала жертвоприношения в рассказе Сорокина с точки зрения философии Жирара, см. также Липовецкий, Кукулин 2022: 421-422.

в качестве несигнификативного означающего голос генерирует значения (Dolar 2006: 17). Негативность несет онтологический характер; она выражает еще тот переходный момент от *zōē* к *bíos* и от *phonē* к логосу, который, как мы показали выше, обладает насильственным характером насильственный характер, поскольку голос подавляется: “[I]’animale, morendo, [...] esala l’anima in una voce e, in questa, si esprime e conserva *in quanto morto*. La voce animale è [...] *voce della morte*. [...] [I]l linguaggio umano [...] articola [...] il puro suono di questa voce [...] e trattiene questa *voce della morte*”¹² (Agamben 2008: 59 – курсив в оригинале). Следовательно, проблема перехода, инсценированного в *Заседании*, имеет онтологические импликации.

Исследуя связь между языком, голосом, существованием и смертью в западной онтологии и метафизике, Агамбен показывает, что в этой традиции человек представляется как единственное существо, которое говорит о своей смерти и отдает себе в ней отчет (*там же*: 8-9). Тогда как звери не говорят, они выражают смерть лишь чистым голосом; человек, наоборот, артикулирует свои мысли, сохраняя и подавляя ‘голос смерти’ в своей речи. То, что позволяет человеку говорить (в том числе) о своей смерти – это парадоксально то, что было принесено в жертву, чтобы язык и *bíos* вообще установились. Существование человека в обществе и его способность говорить, следовательно, пропитаны негативностью, укоренены в акте насилия (*там же*: 3-6 и 20-23).

Рассмотренная с этой точки зрения, центральная сцена в *Заседании* – это ни “безобразный и бессмысленный ритуал” (Эпштейн 2005), ни падение человека “в бессвязный хаос мира” (Генис 2002: 94), а как раз возвращение человека к своим онтологическим корням. Сцена в рассказе изъясляет ту фундаментальную негативность, на которую опираются и социальная жизнь, и политическая и языковая система, и человеческое существование. Термин ‘фундамент’ следует понять в этимологическом значении как ‘дно’ (*fundus*): падение *phonē* и *zōē* на дно – это необходимое событие для установления логоса и *bíos* (Agamben 2008: 49).

Связующее звено между смертью, существованием и языком Агамбен обнаруживает в дейксисах. Дейксисы, утверждает философ, локализируются на переходе от чистого голоса к языку: поскольку сами по себе они еще ничего не значат и только указывают на что-то или кого-то, дейксисы ‘открывают’ место языка, делают его возможным (*там же*: 29-37). На стыке чистого голоса и языка, *zōē* и *bíos*, иными словами – в зоне неразличимости и *extimacy*, дейксисы являются

puro voler-dire, in cui qualcosa si dà a comprendere senza che ancora si produca un evento determinato di significato. [...] Esperienza *non più* di un mero suono e *non ancora* di un si-

¹² “Когда зверь умирает, его душа ‘испаряется’ в голосе. В этом голосе зверь выражается и остается именно *в качестве мертвого зверя*. Голос зверя – это *голос смерти*. В человеческом языке чистый звук этого голоса артикулируется: таким образом, в языке сохраняется *голос смерти*”. Все переводы из *Il linguaggio e la morte* мои (*автор*).

gnificato, [...] che, indicando il puro aver-luogo di un'istanza di linguaggio [...] è, pertanto, singolarmente vicina alla dimensione di significato del puro essere¹³ (*там же*: 45-47).

Деформированная речь в *Заседании* не базирована на дейксисах. Но ее ‘полуслова’ действуют как дейксисы. Вот почему коммуникация в рассказе сохраняется несмотря на расслоение языка, и почему ученые долго дебатировали о их смысле. На стыке еще-не-языка и уже-не-голоса, ‘полуслова’ ничего конкретного не обозначают, но они вовсе не бессмысленные, потому что их протосемантика (Руднев 2015: 57) выражает связующее звено между чистым бытием (или голой жизнью) персонажей, насильственной негативностью в их языке и чистым озвучиванием их голосов.

В сцене, находящейся на стыке между *bíos* и *zōé*, разыгрывается борьба, которая также сказывается на литературный текст, который является продуктом логоса. Унося его на некоторое время к доязыковой стадии, Сорокин обнажает негативность онтологического и социополитического существования и, в итоге, *литературы*. В конце текста, как мы показали, все возвращается к спокойствию. И литература возвращается к конвенциональному повествованию. Поскольку она укоренена в *bíos* и логосе (она состоит из языка одного определенного контекста), и так как *bíos* и логос пропитаны негативностью, литература также ей пропитана. Эта негативность представляется в конце текста уже не ритуальностью новояза, а именно пустым диалогом без какой-либо отсылки к советской действительности: “– Ну что, пошли? – Сумакова достала сигареты и закурила. – Пошли, – кивнул Черногаев, и все двинулись к выходу” (Сорокин 2001: 59).

Сорокин обнажает литературу как результат насилия языка и *bíos* над *phonē* и *zōé* в независимости от контекста. Конвенциональный характер диалогов, предшествующих и следующих за ритуалом жертвоприношения, связан в первую очередь не с ритуальностью официального советского дискурса, а с негативностью, которая, после вытеснения *phonē* и *zōé*, обуславливает негативность языка и *bíos* и может в любой момент подорвать целую систему. Чтобы выразить универсальный характер этой негативности, Сорокин пользуется интертекстом. Слова “– Ну что, пошли? [...] – Пошли” (*там же*) являются цитатой из пьесы Сэмюэла Беккета *Waiting for Godot* (*В ожидании Годо*, 1953): “VLADIMIR: Well? Shall we go? ESTRAGON: Yes, let's go” (Beckett 2006: 88). Примечательно, что Сорокин ссылается именно на один из шедевров экзистенциалистской западной литературы. Как известно, целая пьеса Беккета характеризуется отсутствием действия и состоит из ‘пустых’ диалогов двух главных героев, ожидающих того, кто никогда не придет. Законченное цитатой Беккета, *Заседание* представляет собой выход за пределы и соц-арта, и контекста советской литературы, а также указывает на глобальность негативности, которой пропитана любая социаль-

¹³ “Чистым желанием что-то сообщать; жестом, в котором что-то становится ясно, но не происходит никакой сигнификации. [...] Дейксис – это *уже не* чистый звук и *еще не* значение [...]; указывая на чистое присутствие / происшествие языковой инстанции, [...] дейксис, странным образом, находится близко к измерению значения чистого бытия”.

ная коммуникация, любая языковая система и, следовательно, *любой литературный текст*. В металитературном ключе необходимо прочесть также самое последнее предложение рассказа: “и все двинулись к выходу” (Сорокин 2001: 59). Оно является не более чем авторской ремаркой, и, таким образом, снова указывает на конвенциональную структуру литературного текста.

После жертвоприношения (единственного момента рассказа, в котором что-то действительно происходит и явно присутствует перформативность *phonē*, в отличие от общей пустоты и пассивности, которые обрисовывают сюжет, остается негативность, снова включенная в *bíos* и логос, покоренная социальными и языковыми конвенциями, но беспокоящая систему. Резкий контраст между двумя частями текста подчеркивает негативный фундамент любых соглашений: не только языка как такового, но также и литературы как знакового и нарративного порядка.

3. Заключение

Несмотря на специфику его языковой поэтики, *Заседание завкома* ранее рассматривалось исследователями лишь в качестве одного из многочисленных примеров соц-арта. Однако релевантность данного текста состоит именно в том, что он выходит за пределы (поздне-)советского культурного контекста. Ключевым моментом рассказа является ритуал, сопровождаемый деформированной речью, не направленной на деконструкцию новояза, а состоящую из слов, находящихся на стыке между логосом и *phonē*. Значение слов ‘прорубоно’, ‘вытягоно’, ‘напихо’ и др. неоднозначно, но эти неологизмы имеют сильный перформативный характер лишь потому, что в них звучит энигматическая сила, которую следует назвать акусматикой.

Вместо того, чтобы рассматривать деформированные слова как пример постмодернистского хаоса или бессмысленной игры знаков, мы попытались проиллюстрировать их политические, языковые и онтологические импликации. С помощью теории голоса Долара мы представили ‘полуслова’ в качестве промежуточной стадии между языком и ‘чистым’ голосом (*phonē*). Долар показывает, что голос должен покоряться логосу, чтобы смысловая коммуникация была возможна. Но *phonē* не исчезает; его следы остаются в языке и, в виде ‘звуковой оболочки’, транспортируют значения, гарантируют совместное функционирование социального существования и политической системы. Чистый голос – вытесненный элемент, симптом, который может в любой момент вернуться и подорвать гармонию текущего состояния, намекая на ‘забытую’ болезнь. Голос является симптомом языка, поскольку логос рождается путем покорения голоса, логос поражен актом насилия, совершенным над чистой *phonē*.

Процесс возвращения голоса в *Заседании* показывает, что любое общество нестабильно, потому что опирается на такое насильственное вытеснение. Отчетливо об этом свидетельствует образ милиционера, который во время ритуала является одновременно и представителем власти (и символического порядка), и дегуманизированной личностью без социальной субъективности. Примечательно, что перформативный успех его голоса достигается не потому, что он милиционер, к которому следует при-

слушиваться, а потому, что его голос манит деструктивной негативностью, чистым авторитетом. На контрасте с пустой речью письменного характера Ургана, милиционер олицетворяет “the [...] voice as the source of authority against the letter” (Dolar 2006: 113).

Деструктивность чистой *phonē* связана с включением исключенного голоса в язык, процессом, который Долар называет *extimacy*. Этот процесс соединяется с включением исключенной голой жизни, о котором пишет Агамбен: любое общество укоренено в зоне неразличимости (Агамбен 2011: 16), в которой пересекаются *phonē*, логос, *zōē* и *bíos*. Пересечение этих элементов находится в постоянном напряжении, в связи с чем лишь легкое изменение их энтропии быстро приводит социальную и языковую систему к кризису. И действительно, в рассказе Сорокина целая система внезапно и без логики рушится.

Негативность зоны неразличимости и *extimacy* сказывается не только на политике и обществе, но и на человеческом существовании. Переходя от *zōē* к *bíos*, человек покидает чистый голос, оставляя его сфере зверей, жизнь которых является голой. Следы этого перехода остаются в языке. Для Агамбена они обнаруживаются в дейксисах – словах, указывающих на предмет, но не называющих его, коммуницирующих жестами и артикуляцией логоса без языка. Подобную функцию играют ‘полуслова’ в *Заседании*. Их протосемантика (Руднев 2015: 57) способна перевернуть интерпретацию рассказа, так как только во время ритуала происходят материальные действия. Более того, сюжет ускоряется до такой степени, что сцены до и после появления голоса являются пустыми с точки зрения и семантики, и сюжета: в них много говорят, но ни о чем конкретном, и ничего не происходит; читатели ожидают вразумление и раскаяние Пискунова, как ожидается Годо в пьесе Беккета, но – напрасно.

В конце рассказа возвращается коммуникативная конвенциональность, но присутствует ощущение нестабильности и опасности, результирующих из брутальности ритуала, из фундаментального насилия *phonē* и *zōē* и из негативности бытия. Эти элементы сказываются и на литературе как попытке создать нарратив об онтологических и социальных фундаментах. Таким образом, текст воплощает сам процесс исключения и включения чистых *phonē* и *zōē* и становится аллегорией того же *extimacy*, о котором пишет Долар. Это и есть “violence as such” (Калинин 2018: 132): не дискурсивное измерение, а короткое замыкание *extimacy* и насилия. Если *Первый субботник* является “первым образцом русской прозы, где соц-арт становится осознанно применяемым методом” (Кукулин 2001: 2), то в нем находится текст, преодолевающий пределы этого метода.

Соответственно, по нашему мнению, следует пересмотреть классическое чтение раннего творчества Сорокина, покидая центральные до сих пор контекстуализирующие аналитические рамки. Теоретико-методологическая модель, предложенная здесь, может оказаться продуктивной также при попытках анализа других сорокинских произведений того же периода, поскольку они построены на подобных принципах¹⁴.

¹⁴ Например, рассказ *Геологи* и роман *Норма*.

Литература

- Агамбен 2011: Дж. Агамбен, *Ното sacer. Суверенная власть и голая жизнь*, Москва 2011.
- Генис 2002: А. Генис, *Чужь и жидо*, в: Он же, *Собрание сочинений*, II, Москва 2002, с. 94-105.
- Гройс 2013: Б. Гройс, *Gesamtkunstwert Сталин*, Москва 2013.
- Денисова 2003: Г. Денисова, *В мире интертекста. Язык, память, перевод*, Москва 2003.
- Жирар 2010а: Р. Жирар, *Козел отпущения*, Москва 2010.
- Жирар 2010б: Р. Жирар, *Насилие и священное*, Москва 2010.
- Калинин 2012: И. Калинин, *Голубое сало языка. Металингвистическая утопия Владимира Сорокина*, "Вестник пермского университета", 2012, 1(17), с. 215-221.
- Калинин 2018: И. Калинин, *Владимир Сорокин. У-топос языка и преодоление литературы*, в: Е. Добренко, И. Калинин, М. Липовецкий (ред.), "Это просто буквы на бумаге..." *Владимир Сорокин: после литературы*, Москва 2018, с. 122-145.
- Кукулин 2001: И. Кукулин, *Кошмары, ставшие классикой*, "Независимая газета", 2001, 26, с. 1-5.
- Липовецкий, Кукулин 2022: М. Липовецкий, И. Кукулин, *А-партизанский логос: проект Дмитрия Александровича Пригова*, Москва 2022.
- Нефагина 1998: Г. Нефагина, *Динамика стилевых течений в русской прозе 1980-90-х годов*, Минск 1998.
- Руднев 2015: В. Руднев, *Логика бреда*, Москва 2015.
- Сорокин 2001: В. Сорокин, *Заседание завкома*, в: Он же, *Первый субботник*, Москва 2001, с. 36-59.
- Ткаченко 2011: А. Ткаченко, *Глоссолалия*, в: *Православная Энциклопедия*, XI, с. 598-600, <<https://www.pravenc.ru/text/165161.html>> (посл. доступ: 10.07.21).
- Эпштейн 2004: М. Эпштейн, *Знак пробела. О будущем гуманитарных наук*, Москва 2004.
- Эпштейн 2005: М. Эпштейн, *Слово и молчание в русской культуре*, "Звезда", 10, 2005, <<https://magazines.gorky.media/zvezda/2005/10/slovo-i-molchanie-v-russkoj-kulture.html>> (посл. доступ: 08.09.20).
- Agamben 2008: G. Agamben, *Il linguaggio e la morte. Un seminario sul luogo della negatività*, Torino 2008.

- Beckett 2006: S. Beckett, *Waiting for Godot*, в: S. Beckett, *The Complete Dramatic Works*, London 2006, с. 7-88.
- Dolar 2006: M. Dolar, *A Voice and Nothing More*, Cambridge (MA) 2006.
- Engel 1999: C. Engel, *Sorokins allesverschlingendes Unbewusstes: Inkorporation als kannibalischer Akt*, в: D. Burghardt (Hrsg.), *Poetik der Metadiskursivität. Zum postmodernen Prosa-, Film- und Dramenwerk von Vladimir Sorokin*, München 1999, с. 139-150.
- Flickinger 1999: B. Flickinger, *Psycho-image – Performance – Violence. Zur Symptomatik der Postmoderne bei Vladimir Sorokin und Bret Easton Ellis*, в: D. Burghardt (Hrsg.), *Poetik der Metadiskursivität. Zum postmodernen Prosa-, Film- und Dramenwerk von Vladimir Sorokin*, München 1999, с. 115-126.
- Gadamer 1993: H.-G. Gadamer, *Text und Interpretation*, в: Он же, *Hermeneutik 2. Wahrheit und Methode*, II, Tübingen 1993.
- Kalinin 2013: I. Kalinin, *The Blue Lard of Language: Vladimir Sorokin’s Meta-Lingual Utopia*, in: T. Roesen, D. Uffelmann (ed.), *Vladimir Sorokin’s Languages*, Bergen 2013, pp. 128-147.
- Kuon 2006: L. Kuon, *René Girard und die Wahrheit des Romans. Der mimetische Konflikt als Handlungsschema in den Romanen von Bret Easton Ellis, American Psycho (1991), Michel Houellebecq, Elementarteilchen (1996) und Vladimir Sorokin, Der himmelblaue Speck (1999)*, Freiburg 2006 <<https://freidok.uni-freiburg.de/data/2566>> (посл. доступ: 09.07.21).
- Lipovetsky, Beumers 2009: M. Lipovetsky, B. Beumers, *Performing Violence. Literary and Theatrical Experiments of New Russian Drama*, Chicago 2009.
- Poyntner 2005: E. Poyntner, *Der Zerfall der Texte. Zur Struktur des Hässlichen, Bösen und Schlechten in der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts*, Frankfurt am Main 2005.
- Poyntner 2007: E. Poyntner, *Anderswelt. Zur Struktur der Phantastik in der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts*, Frankfurt am Main 2007.
- Roll 1996: S. Roll, *Stripping Socialist Realism of its Seamless Dress. Vladimir Sorokin’s Deconstruction of Soviet Utopia and the Art of Representation*, “Russian Literature”, xxxix, 1996, pp. 65-78.
- Schmid 2000: U. Schmid, *Flowers of Evil. The Poetics of Monstrosity in Contemporary Russian Literature (Erofeev, Mamleev, Sokolov, Sorokin)*, “Russian Literature”, XLVIII, 2000, p. 205-222.
- Stewart 2006: N. Stewart, *“Ästhetik des Widerlichen” und “Folterkammer des Wortes”. Die russische Konzeptkunst von Vladimir Sorokin*, в: J. Fritz, N. Stewart (Hrsg.), *Das schlechte Gewissen der Moderne. Kulturtheorie und Gewaltdarstellung in Literatur und Film nach 1968*, Köln 2006, с. 231-272.

- Walsh 1998: H. Walsh, *Intertextuality at Work: Prince Andrei Kurbskii in Contemporary Russian Literature*, "Canadian Slavonic Papers", XL, 1998, 3-4, с. 251-272.
- Witte 1989: G. Witte, *Appell – Spiel – Ritual. Textpraktiken in der russischen Literatur der sechziger bis achtziger Jahre*, Wiesbaden 1989.

Abstract

Manuel Ghilarducci

"*Prorubono, vytjagono*". *The Philosophy of the Voice in Vladimir Sorokin's The Factory Committee Meeting*

The article investigates the poetics of language in Vladimir Sorokin's *The Factory Committee Meeting* from a new point of view. This tale, which dates to the author's early short prose (1979-1984), has been unanimously regarded as one of the many examples of literary soc-art. Accordingly, the deformed words pronounced in the main event of the text – a collective ritual of violence – have been considered as a device to deconstruct official Soviet ideological discourse (*novojaz*). However, the neologisms pronounced by the characters (*prorubono, vytjagono* and others) are not linked to *novojaz*. Rather, they are arcane words with a strong performative character, which is, paradoxically, linked to the fact that they apparently do not mean anything. In my investigation, I consider these neologisms as a device to deconstruct language as such. Following Mladen Dolar's philosophy of the voice and Giorgio Agamben's consideration on the role voice and bare life play in human existence, I regard the deformed words in *The Factory Committee Meeting* as the literary representation of a point of transition from pure voice / sound (*phonē*) as the expression of bare life (*zōē*) to the articulated language (*logos*) which socio-political life (*bios*) is based on. I call this liminal stage extimacy (Dolar) and 'zone of indistinguishability' (Agamben): a movement of exclusion and, at the same time, inclusion of pure voice and bare life in the logos of the socio-political community.

Keywords

Sorokin; Voice; Language; Extimacy; Soc-Art; Logos; Bare Life.

Vittorio Springfield Tomelleri
Marco Biasio

Il convitato di pietra. La riscoperta sovietica della linguistica formale verso il primo Chomsky*

Ernst Frideryk Konrad Körner (1939-2022) *in memoriam*

История советского языкознания, несмотря на отдельные трудности и отступления отдельных лингвистов, – это история развития марксистско-ленинской концепции языка как “непосредственной действительной мысли”, как “действительно практического сознания” (Budagov 1988: 34).

1. *La linguistica sovietica: una polifonia discontinua*

La scienza sovietica si è sempre adoperata per conciliare l'analisi dei fatti osservati con le posizioni del marxismo-leninismo e della dialettica del materialismo storico. In un'ottica di crescente contrapposizione al mondo borghese-capitalista, essa arrivò addirittura a basarsi su nuove metodologie di analisi fedeli alle linee ideologiche imposte dal partito; questo paradossale e funesto dogmatismo oscurantista era dovuto, evidentemente, all'isolamento internazionale in cui venne a trovarsi l'Unione Sovietica (abbr. URSS) quando svanì definitivamente l'utopia trockijista della rivoluzione proletaria mondiale e si cominciò a costruire il socialismo in un solo paese.

In linguistica, nello specifico, si perseguiva l'obiettivo, ambizioso e visionario ad un tempo, di fondare un modello di scienza marxista antitetico a quello occidentale, secondo uno schema ben riassunto nel percorso dialettico leniniano della conoscenza della verità (Lenin 1973: 152-153). A questo scopo particolare rilievo fu costantemente dato alla funzione stilistico-comunicativa, all'aspetto sociale del fenomeno linguistico e, infine, al delicato rapporto fra lingua e pensiero, sulla scorta di un celebre passo dell'*Ideologia tedesca*, nel quale Karl Marx e Friedrich Engels (1983: 30) rimarcavano il legame indissolubile di genesi e sviluppo della lingua con la vita materiale della società e con il processo lavorativo degli esseri umani, sottolineando lo strettissimo rapporto fra lingua e pensiero; essi inoltre consideravano i rapporti sociali determinati dai mezzi di produzione elemento decisivo per la formazione della coscienza, e la lingua prodotto delle conseguenti relazioni interpersonali.

* Il presente lavoro, concepito e redatto a quattro mani, si propone come continuazione di riflessioni già avviate in uno studio precedente sul rapporto dialettico-ideologico fra linguistica formale in senso lato e spazio sovietico (Biasio, Tomelleri in stampa). A VST si devono i §§ da 1. a 1.4, a MB i §§ da 2. a 2.2.; comuni sono le conclusioni e la bibliografia.

Il recinto dialettico-materialista all'interno del quale si svolse la complessa e spesso faticosa ricerca linguistica in URSS è ben delineato nella seguente definizione di uno dei protagonisti del tempo, Vladimir Andreevič Zvegincev (1910-1988):

Основные и принципиальные положения марксистского языкознания по проблеме предмета и метода научного исследования устанавливают, что язык обслуживает общество в качестве важнейшего средства общения, обмена мыслями и средства понимания. Вместе с тем он есть орудие мышления. Не образуя тождества, язык и мышление неразрывно связаны друг с другом и не могут существовать друг без друга. Тем самым определяются две основные функции языка: функция общения (коммуникативная функция) и функция воплощения мысли (Zvegincev 1956: 444).

A livello storiografico viene di solito proposta in modo comodo, per quanto schematico, una suddivisione cronologica della linguistica sovietica in quattro periodi principali (Girke, Jachnow 1974: 17-18).

1.1. *Il periodo sociologico: pluralismo e internazionalizzazione (dal 1917 fino alla prima metà degli anni '30)*

In nome della lotta all'analfabetismo e di una sorta di 'derussificazione' a favore del rafforzamento dell'identità nazionale delle minoranze dell'ex-impero (Martin 2001: 32), gli anni che seguirono la guerra civile furono caratterizzati da una particolare attenzione all'opera di pianificazione linguistica e politica alfabetica, che vedeva in un processo generalizzato di latinizzazione la via maestra verso il progresso e l'anticamera della rivoluzione proletaria su scala mondiale. Vale la pena di notare, *en passant*, che negli Stati Uniti, con qualche anno di anticipo e in condizioni storiche molto diverse, anche la scuola antropologica capeggiata da Franz Boas (1858-1942) mirava alla valorizzazione del patrimonio autoctono. Gli sforzi dei linguisti, primariamente indirizzati allo studio delle comunità aborigene della costa nord-occidentale, avevano avviato un filone di studi che sarebbe culminato poi nel descrittivismo bloomfieldiano, conservando delle caratteristiche, in particolare l'antimentalismo, che si spiegano solo alla luce di questo approccio empirico-pratico (Marcellesi, Gardin 1979: 20).

In questa fase di entusiastica attività linguistico-etnografica, l'approccio sincronico (statico) alla descrizione e classificazione di svariati e spesso ignoti idiomi permise un poderoso sviluppo applicativo della ricerca linguistica, con particolare riferimento alla fonologia. Nella necessità di combinare la riflessione teorica con l'utilità pratica, imposta socialmente dal nuovo contesto politico-culturale, erano però pericolosamente insiti i germi del rifiuto categorico della linguistica tradizionale, rappresentata in modo caricaturale da accademici solitamente seduti alla scrivania a elucubrare oziosamente su inutili etimologie di radici indoeuropee:

Казалось бы, из представителей всех научных специальностей в старое время именно лингвисты рисовались в массовых представлениях как люди наиболее ото-

рванные от реальной жизни и её потребностей, занятые в своих кабинетах какими-то никому не нужными греческими и санскритскими корнями и настолько далёкие от практических нужд народных, что дико было даже задавать вопрос о той пользе, которую они непосредственно могли бы принести трудовому населению. В смысле отхода от реальной жизни выбрать своей специальностью лингвистику – это было почти то же, что постричься в монахи (Polivanov 1968: 53).

Vittime del graduale imporsi del materialismo storico furono anche interessanti movimenti culturali, quali i formalismi moscovita (Circolo linguistico di Mosca) e pietrogradese (Opojaz), che facevano capo ad alcuni dei più brillanti allievi di Filipp Fëdorovič Fortunatov (1848-1914) e Jan Baudouin de Courtenay (1845-1929) e la cui lezione sarebbe stata riesumata in un secondo momento proprio nella medesima congiuntura storico-culturale che avrebbe visto la positiva ricezione della ‘nuova’ linguistica matematica.

Questa posizione sempre più intollerante avrebbe poi raggiunto il proprio epilogo parossistico all’indomani del riconoscimento ufficiale della teoria di Nikolaj Jakovlevič Marr (1865-1934).

1.2. *Il periodo marrista, ovvero il presunto trionfo del marxismo in linguistica (dalla metà degli anni ’30 fino al 1950)*

A partire dalla fine degli anni ’20 la *Nuova dottrina del linguaggio* (*Novoe učenie ob jazyke*), propugnata da Marr come naturale e quasi logica evoluzione della linguistica giafetica, si impose come esempio mirabile di connubio fra scienza e marxismo, assurgendo a modello imprescindibile di riferimento e facendo sì che l’incontestabile autorità del suo artefice venisse estesa a tutti gli ambiti delle scienze sociali (Tomelleri 2020: 77).

Pervicacemente ostile al modello epistemologico borghese-capitalista, Marr era solito sottolinearne a più riprese le aporie. Tra i bersagli ricorrenti figurava, forse anche per un certo qual orgoglioso patriottismo e l’avvertita necessità di ristabilire il centrale ruolo culturale delle popolazioni caucasiche (giafetiche) contro gli “usurpatori” indoeuropei (*ibid.*: 94-96), la linguistica storica del XIX secolo, al cui percepito approccio razzista (un elemento di ‘tesi’ imperialista) veniva contrapposta un’“antitesi” interna, costituita da figure di noti dissidenti quali Hugo Schuchardt (1842-1927), nemico dichiarato delle leggi fonetiche e sostenitore della mescolanza linguistica. L’obiettivo dichiarato mirava a risolvere la triade hegeliana nella ‘sintesi’ del materialismo dialettico, con questo rimarcando, di fatto, come la linguistica indoeuropeistica si fosse cacciata in un vicolo cieco¹.

L’ostilità verbale della linguistica marrista era tuttavia animata da una più generale iconoclastia verso la ‘tradizione’ e non tardò a degenerare in una caccia alle streghe che, fra le altre cose, annientò fisicamente la gloriosa tradizione slavistica prerivoluzionaria,

¹ Si veda, per esempio, il contributo “programmatico” di Rozalija Osipovna Šor (1894-1939), uscito nella rivista dell’Istituto Giafetico di Marr con il titolo significativo di *Krizis sovremennoj lingvistiki* (Šor 1927).

rappresentata da nomi quali Nikolaj Nikolaevič Durnovo (1876-1937), Grigorij Andreevič Il'inskij (1876-1937) e Afanasij Matveevič Seliščev (1886-1942) (Ašnin, Alpatov 1994; Robinson 2004: 145-190), oltre a ridurre al silenzio l'opposizione interna, come dimostra il tentativo fallito dello *Jazykfront*² di rovesciare, pur in seno ad una visione marxista della linguistica, la posizione egemonica di Marr e dei suoi adepti (Smirnickaja 2000: 32-33). Fra gli oppositori caduti vittima della propria fermezza e onestà intellettuale, figura il caso emblematicamente tragico dell'orientalista Evgenij Dmitrievič Polivanov (1891-1938), uno dei pionieri sovietici dell'applicazione del metodo statistico allo studio fonologico comparato delle lingue indoeuropee; nello stesso periodo, tuttavia, le violente purghe staliniane colpirono anche molti dei più acritici sostenitori del marrismo, fra cui i fedelissimi e non meno famigerati Sergej Nikolaevič Bykovskij (1896-1936) e Valerian Borisovič Aptekar' (1899-1937), a conferma dell'imperscrutabile e imprevedibile complessità delle dinamiche storiche sovietiche. L'imbarazzante stallo indotto dall'egemonia marrista si protrasse fino al provvidenziale intervento di Stalin il quale, all'interno della "libera discussione" avviata dalla "Pravda", liquidò perentoriamente il "regime alla Arakčeev", ponendo fine alla volgarizzazione sociologica e al miraggio glottogonico della teoria di Marr, e parzialmente allentando l'isolazionismo antiborghese della linguistica sovietica.

1.3. *La linguistica staliniana, ovvero la rivelazione degli errori passati (1950-1956)*

Le considerazioni 'geniali' di Stalin, contenute in un breve pamphlet in cui, in una forma maieutico-erotemica forse ispirata dallo stile catechetico del *Manifesto del partito comunista* o anche dall'esperienza seminariale dell'autore, veniva smontato pezzo per pezzo il fragile edificio della linguistica marrista, suscitavano uno straordinario entusiasmo in patria e non meno interesse all'estero, dove il testo fu immediatamente tradotto e commentato. La lingua (nazionale) veniva ora considerata entità monolitica che non rifletteva significative differenziazioni sociali, se non a livello di gergo; essa inoltre non sarebbe stata soggetta, nel proprio sviluppo, a fenomeni di mescolanza linguistica e/o a improvvisi mutamenti (salti) dovuti a trasformazioni sociali ed economiche, dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto da Marr, non apparteneva alla sfera della sovrastruttura³. La nuova centralità della lingua nazionale e dell'eroico popolo russo, uscito trionfatore nella grande guerra patriottica, dipendeva anche dal nuovo clima postbellico della guerra fred-

² Sotto la denominazione di *Jazykfront* (ossia *Jazykovednyj front*) si raccolse una cellula di linguisti appartenenti al *Naučno-issledovatel'skij institut jazykoznanija* che si fecero portavoci, fra il 1930 e il 1932, di un fallimentare attacco alla teoria giafetica (Bruche-Schulz 1984: 104-111; Alpatov 2012: 234-238). Fra questi spicca la figura di Pëtr Savvič Kuznecov (1899-1968), autore di un'articolata esposizione critica delle posizioni di Marr (Kuznecov 1932).

³ Le posizioni di Marr si richiamano qui alle tesi espresse da Nikolaj Ivanovič Bucharin (1888-1938), che nella sua *Teoria del materialismo storico* (1924) aveva sottolineato l'origine sociale del linguaggio umano considerandolo, insieme al pensiero, come la più astratta categoria ideologica della sovrastruttura (Lähteenmäki 2011: 38).

da: l'URSS si trovava ora alla guida di un nuovo blocco geopolitico, di matrice prevalentemente slava. Pertanto, agli equilibrismi etimologici del metodo che riconduceva l'intero repertorio lessicale delle lingue del mondo ai famigerati quattro elementi primordiali (*sal, ber, jon, roš*) si preferì, nonostante i suoi innegabili difetti, un recupero del modello storico-comparativo (Stalin 1953: 33).

Non meno rilevante fu il decisivo cambio di rotta della linguistica. Se negli anni '20 l'obiettivo era stato quello di alfabetizzare le lingue delle minoranze dell'ex impero, ora invece l'attenzione principale era rivolta all'insegnamento della lingua russa, divenuta nell'esercito e nell'esercizio delle funzioni amministrative del colosso sovietico imprescindibile strumento di comunicazione intranazionale, alle comunità alloglotte dell'Unione (Papp 1966: 36). In questo nuovo clima si comprende bene, fatto salvo il perentorio rifiuto della protolingua, l'accettazione del concetto neogrammatico di famiglia linguistica concretamente applicato al caso delle nazioni slave nel nuovo scacchiere geopolitico che usciva dalle macerie del conflitto mondiale (Stalin 1953: 33-34).

L'intervento a gamba tesa di Stalin, tuttavia, non solo non permise di superare le assurdità causate dal culto della personalità nelle scienze, ma tarpò le ali ad alcune istanze della teoria marrista che, se coltivate con raziocinio, avrebbero potuto produrre sviluppi interessanti: si pensi alla critica all'indoeurocentrismo dei neogrammatici, al recupero autoctono di lingue e culture orientali, all'attenzione a fenomeni di sostrato e adstrato come fattori non secondari nei processi di sviluppo e mutamento linguistico, oltre ad alcune intuizioni sociolinguistiche *ante litteram* sulla variazione diastratica e, soprattutto, alla considerazione dell'enunciato come unità minima della comunicazione. Lo studio di lingue tipologicamente differenti aveva poi stimolato alcune riflessioni sul legame tra evoluzione del pensiero e struttura linguistica in una prospettiva che, se liberata da alcune scorie volgarizzanti insite nell'ipotesi del mutamento stadiale del linguaggio come riflesso dello sviluppo delle società e delle tecniche di produzione, apriva nuove prospettive (Budagov 1972: 410). Partendo proprio dalla particolare situazione plurilinguistica dell'URSS, e dunque anche da esigenze di carattere pratico e glottodidattico, il pupillo di Marr, Ivan Ivanovič Meščaninov (1883-1967), riteneva che non bastasse il confronto contrastivo a livello fonetico o morfologico; solo la sintassi infatti era in grado di combinare il piano della forma con quello del significato:

Нужно установить, какое назначение придаёт общественная среда данной падежной системе, какие понятия выражаются в языке и какими грамматическими формами они передаются в одном языке и в другом. Морфология на службе синтаксиса, – так утверждал Марр. Синтаксис завершает законченное смысловое выражение предложения. Выявив на синтаксическом построении социальную значимость морфологических показателей и установив их смысловое значение в строе предложения, исследователь сводит наличные расхождения грамматических форм в сопоставляемых языках к общему их смысловому содержанию. Морфология, взятая отдельно, ничего не даёт (Meščaninov 1949: 298).

La priorità della sintassi, definita a più riprese da Marr chiave interpretativa per morfologia e lessicologia⁴, era stata ribadita anche in ambito descrittivo, trovando concreta applicazione pratica nella disposizione del materiale in grammatiche e manuali secondo il seguente schema: sintassi, lessicologia, formazione delle parole, morfologia e fonetica (Nicol'skij, Jakovlev 1949: 282).

Accanto alle prevedibili e inevitabili capriole di contrito pentimento e inneggiamento panegiristico al nuovo corifeo della linguistica marxista, si registrò un inevitabile cambio della guardia a capo delle principali istituzioni accademiche. Oltre a creare le condizioni per la nascita della rivista del neocostituito Istituto moscovita di Linguistica, *Voprosy jazykoznanija*, il ribaltamento di fronte pose fine, fra l'altro, alla fulgida carriera di Meščaninov, per diversi anni vittima della solita *damnatio memoriae* nel mondo accademico⁵. Oltre agli orfani del marrismo, la dichiarazione di guerra riguardava tutte le teorie linguistiche idealistico-borghesi sulla lingua (Vinogradov 1952: 60). Non diversamente da quanto avvenuto nelle epoche precedenti, con la coesistenza di tendenze sotterranee e parallele di cui, in conseguenza di contingenze storico-politiche, una si trovava a prevalere momentaneamente sulle altre, il contrasto politico-militare con il mondo capitalista portò ad un confronto foriero di importanti e imprevedibili novità anche in campo linguistico.

1.4. *Il periodo poststaliniano: nunc demum redit animus? (a partire dal 1956)*

Con la morte di Stalin e l'apertura della nuova stagione del disgelo sembra avere inizio una nuova vita in tutti i campi. La denuncia istituzionale dei crimini staliniani trova un esplicito riflesso anche in ambito linguistico, dove pure il ruolo del dittatore continua ad essere considerato complessivamente positivo: la tradizionale (auto)critica degli errori precedenti e il *mea culpa* dei protagonisti sono però accompagnati da un fiorire di interessi e direzioni fino a poco prima inimmaginabili e tacitati dal dogmatismo di regime. Anche l'atteggiamento ostile nei confronti della linguistica occidentale 'borghese', che nei primi anni '50 era stata pe-

⁴ Cfr. Marr (1929: 6): “[...] синтаксис это самая существенная часть звуковой речи: как учение о звуках лишь техника для морфологии, так и морфология лишь техника для синтаксиса” (cfr. anche Zubkova 2002: 465). Simile, anche se formulata in ambito completamente differente, l'affermazione di Benjamin Lee Whorf (1897-1941): “Hence the meanings of specific words are less important than we fondly fancy. Sentences, not words, are the essence of speech, just as equations and functions, and not bare numbers, are the real meat of mathematics” (Whorf 1952: 178-179). Qui, secondo Rosiello (1974: 77), sarebbe possibile “riconoscere il principio metodologico che è stato assunto da Chomsky alla base della propria teoria generativo-trasformativa [...]”.

⁵ In una delle due miscellanee che celebravano il suo settantacinquesimo genetliaco è contenuta una bibliografia dei suoi lavori (van Helden 1993, I: 101). Il periodo successivo alla discussione del 1950 è piuttosto silenzioso: deposto da tutte le alte cariche ed escluso dall'attività didattica, egli fu costretto a fare ammenda degli errori metodologici del passato e per diversi anni non poté più pubblicare (Poltorackaja 1961: 25-26). Non è chiaro se Meščaninov, che si riaffacciò soltanto nel 1958 su “Voprosy Jazykoznanija”, sia stato riabilitato come ‘vittima’ dello stalinismo.

santemente aggredita e vilipesa⁶, viene sempre più mitigato, lasciando spazio a un confronto maggiormente scevro da condizionamenti politico-ideologici. A partire dal primo numero del 1955 di “Voprosy jazykoznanija” si registra un abbandono dei riferimenti a opere di natura genericamente filosofica o giornalistica, citate con eccessiva frequenza nel periodo precedente; contestualmente si osserva un incremento delle citazioni di autori occidentali e russi o sovietici di epoche precedenti (Papp 1966: 39). Viktor Vladimirovič Vinogradov (1894-1969), che era stato uno dei protagonisti della fase staliniana della linguistica sovietica, ne denuncia, nella solita prospettiva marxista, alcune gravi mancanze sul piano teorico tra cui la scarsa considerazione del carattere sociale della lingua e l’errata valutazione del rapporto fra linguaggio e pensiero (Vinogradov 1963). È precisamente in questi anni che vengono promosse, da un lato, una graduale apertura alle correnti dello strutturalismo e, dall’altro, un’alacre attività di traduzione di ‘nuovi’ classici della linguistica occidentale, patrocinata dai meritori sforzi di Zvegincev a partire dal 1960: tra i vari titoli, è all’interno della terza sezione del secondo volume della collana “Novoe v lingvistike” che compare la prima traduzione in una lingua straniera di *Syntactic Structures* (1957), atto fondativo della prima fase della grammatica trasformazionale di Noam Chomsky (1928-).

2. Una questione di formalità

L’apparizione editoriale di *Syntactic Structures* rappresenta un’originale rielaborazione e, al contempo, un iniziale punto di sintesi di diverse linee formali di ricerca sui linguaggi logici e naturali condotte, a cavallo tra gli anni ’30 e gli anni ’50, in orbita perlopiù euroamericana. Uno studio sul carattere della ricezione di Chomsky (1957) nella coeva linguistica sovietica dovrebbe pertanto partire da un’indagine preliminare sulla (dis)continuità critica con cui veniva storicamente accolto in URSS lo strumento dell’astrazione matematica applicato alle scienze non esatte. Tuttavia, a differenza di una periodizzazione storica di tipo cronologico, che pur nel suo inusuale andamento ondulatorio sembra restituire, almeno in parte, un quadro fondato dell’evoluzione della linguistica sovietica, il passaggio ad una periodizzazione di tipo tematico rivela nuovamente tutta la complessità di un compito la cui risoluzione, aldilà dell’alternarsi di scuole e correnti, coinvolge più ampie questioni di ordine politico, filosofico e metodologico. Due, nello specifico, sono i problemi aperti che preludono ad una più organica contestualizzazione dell’approdo di Chomsky (1957) in URSS:

1. un mutato orientamento nei confronti di modelli linguistici ideologicamente neutrali o addirittura incompatibili coi precetti del marxismo-leninismo istituzionale (come lo strutturalismo), tipicamente accompagnato dal nuovo utilizzo di una terminologia filosoficamente informata;

⁶ Significativo al riguardo è il titolo di un violento articolo antistrutturalista di Ol’ga Sergeevna Achmanova (1908-1991): *Glossematika Lui El’msleva kak projavlenie upadka sovremennogo buržuaznogo jazykoznanija* (Achmanova 1953; cfr. anche Vel’mezova 2014: 342).

2. il progressivo cambio di passo imposto alle iniziative politiche nel campo della glotto-didattica e della pianificazione linguistica, con particolare riferimento alla congiuntura storico-politica in cui il declino dell'egemonia marrista incontra l'esplosione della cibernetica.

Le prossime sezioni tratteranno in ordine questi punti.

2.1. *Dare una struttura al caos*

L'incertezza attorno all'articolazione tematica del magmatico periodo poststaliniano è in parte dovuta al nuovo clima, di inevitabile per quanto vivace smarrimento, che caratterizza la linguistica sovietica dopo la condanna senza appello del marrismo. A riprova della difficoltà di proporre un incasellamento lineare per le tappe evolutive della disciplina, il subitaneo ritorno alla tradizione neogrammatica, accompagnata dalla prima traduzione di alcuni grandi classici dell'indoeuropeistica e della slavistica francese (cfr. Meillet 1951, 1952; Vaillant 1952), si può considerare solo una fase transitoria di riorganizzazione interna, speculare ad un'analogia finestra temporale di fine anni '30 in cui, a dispetto dell'imperversare dell'egemonia marrista, vennero (ri)pubblicate le traduzioni russe di alcuni classici della linguistica occidentale, come la storia della linguistica del turcologo danese Wilhelm Thomsen (1842-1927) (Thomsen 1938) e l'*Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes* di Antoine Meillet (1866-1936) (Meillet 1938)⁷. È piuttosto a partire dalla seconda metà degli anni '50 che la linguistica sovietica vive un'epoca molto vivace e interessante, ricca di dibattiti fra innovatori e tradizionalisti e dominata dall'esigenza di fondo, alla stregua di basso continuo, di armonizzare la crescente curiosità verso i nuovi modelli teorici elaborati oltre cortina con i dettami del materialismo dialettico e storico, riferimento imprescindibile per il consolidamento di una linguistica autenticamente marxista. Al centro della rivalutazione critica sovietica un posto d'onore venne ricoperto dallo strutturalismo di matrice euroamericana a vario titolo derivante dall'eredità scientifica di Ferdinand de Saussure, le cui altalenanti fortune (vituperato negli anni marristi e stalinisti, riabilitato in seguito) testimoniano l'avvento di una nuova cesura nell'approccio politico-filosofico a questioni linguistiche teoriche.

Inizialmente, ad accomunare la ricezione delle scuole strutturaliste post-saussuriane – in particolar modo il Circolo praghese e la glossematica copenaghenese di Louis Hjelmslev

⁷ Piuttosto peculiare è anche la scelta delle opere pubblicate: se il testo di Thomsen (1938) si può considerare ideologicamente neutro, assai meno lo è la monografia di Meillet, studioso ostile verso le speculazioni di Marr al punto da essere definito dalla sua segretaria e agiografa "ero постоянный антагонист, глава индоевропейской лингвистики" (Michankova 1949: 219). Meillet (1938), peraltro, riprendeva e integrava una precedente versione uscita in epoca prerivoluzionaria (1911); entrambe le pubblicazioni furono curate da Šor, a suo tempo coinvolta direttamente anche nella prima traduzione russa del *Cours* di Ferdinand de Saussure. Sui rapporti fra Meillet e Marr si rimanda a Moret (2019).

(1899-1965) e Viggo Brøndal (1887-1942) – sia in epoca marrista che in epoca stalinista sembrano porsi le generiche accuse di “antistoricismo”, “formalismo” linguistico e “idealismo” filosofico, mosse da posizioni di ortodossia marxista-leninista: si veda, ad esempio, la relazione che Nikolaj Sergeevič Čemodanov (1903-1986) tenne a Leningrado il 21 gennaio 1947 in occasione del venticinquesimo anniversario dell’*Institut jazyka i myslenija im. N.Ja. Marra* (Čemodanov 1947). Alla linguistica strutturale, eloquentemente bollata come *buržuaznaja lženauka* (Smirnickaja 2000: 29), veniva rimproverata non solo una concezione eccessivamente astratta del costruito di “struttura”, che spostava l’attenzione sull’aspetto sincronico dell’analisi linguistica a discapito della diacronia e sulla natura pan- o extratemporale delle relazioni intrasistemiche, ma anche la “fallacia” (*poročnost*) insita nel sostanziale ridimensionamento del rapporto di interdipendenza fra linguaggio e pensiero e nella minimizzazione dell’aspetto sociale (concreto, non astratto) della lingua, al contrario ideologicamente centrale per la linguistica sovietica:

Закон неравномерности темпов изменений разных компонентов и элементов языка в корне подрывает принципы синхронного анализа, свойственные буржуазному структурализму. Структуралисты стремятся “установить те постоянные, необходимые и, следовательно, конститутивные отношения, которые сосуществуют между элементами структуры”. Эти отношения считаются “всевременными” или “вневременными”, перманентными, всегда себе равными (Vinogradov 1952: 15).

Un’analogia (per quanto momentanea) resa dei conti con lo strutturalismo aveva travalicato i confini dell’URSS. Nella Cecoslovacchia appena ‘liberata’, reduce dall’effimera parentesi marrista coronata dalla visita ufficiale di Meščaninov a Bratislava (Tomelleri 2020: 105), la libera discussione sulla “Pravda” ebbe da subito un’eco straordinaria, finendo per essere tradotta anche in slovacco (Isačenko 1950). Si trattava del preludio all’analogia discussione avviata, sulle pagine della rivista “Tvorba”, attorno alle posizioni teoriche del Circolo linguistico praghese, duramente criticate da posizioni marxiste (Chobotová 2011; Zvegincev 1956: 411).

Nella produzione scientifica sovietica la feroce critica all’idealismo antisociale degli orientamenti strutturalisti europei traspare spesso anche ad un secondo livello, terminologico, meno appariscente, per cui si rende indispensabile una breve digressione complementare. Si consideri il seguente passo di Arnol’d Stepanovič Čikobava (1898-1985):

Структурализм доводит дело до конца: отодвинутая на задний план у де Соссюра диахрония (т. е. история) у структуралистов совершенно вытесняется. Синхрония у структуралистов порождает панхронию, а панхрония равнозначна ахронии, так как “всевременное” в языке и есть “вневременное”. “Ахроническое языкознание” не что иное, как идеалистическая философия языка (Čikobava 1952: 34).

La menzione di una “linguistica atemporale” come risultato necessitante del livellamento euristico operato sul piano sincronico dallo strutturalismo, dove l’“onnitemporale”

(*vseвременное*) equivale all’“atemporale” (*vневременное*), sembra contenere un riferimento implicito alla concezione kantiana delle categorie come filtri dell’intelletto con i quali il soggetto interpreta la realtà e la cui esistenza, precedendo quella del soggetto stesso, non si estrinseca nello spaziotempo. In epoca marxista, l’idea romantica di una correlazione tra le categorie di un soggetto e le caratteristiche della lingua di cui si serve per nominare ed accedere al fenomeno era stata ricollegata (con qualche approssimazione) alla visione linguistica humboldtiana che, popolarizzata negli anni ’20 dal fenomenologo husserliano Gustav Gustavovič Špet (1879-1937), era poi stata rigettata nei decenni successivi come razzista, idealista e capitalista (Lähteenmäki 2015: 115-121). Degno di nota è anche il fatto che, nel passo riportato, Saussure venga menzionato separatamente dagli altri “strutturalisti”, al contrario saldati in un unico blocco a dispetto delle importanti divergenze filosofiche e metodologiche tra scuole (Čikobava 1952: 34). Questa scelta testuale potrebbe suggerire, al di là dell’oggettiva difficoltà di incasellare univocamente la figura saussuriana (a un tempo indoeuropeista, rappresentante della scuola sociologica francese e padre dello strutturalismo), la percezione di un più sostanziale scarto teorico tra le due fazioni. Non casualmente, questa incertezza teorica è strettamente intrecciata con un’altra delicata questione traduttologica, vale a dire, la resa in russo della celebre triade saussuriana *langage, langue e parole*: come noto, nella prima versione russa del *Cours*, completata nel 1933 da Aleksej Michajlovič Suchotin (1888-1942), a *langue* venne fatto corrispondere *jazyk* e a *parole* invece *reč’*, mentre *langage* (inteso come mezzo universale di comunicazione o, in un’accezione più chomskyana, facoltà biologica propria della specie umana) venne reso, nella maggioranza dei casi, come *rečevaja dejatel’nost’* (Mecacci 2020). Si tratta di concetti la cui dimensione psicologica sottostante è storicamente riconducibile, ancora una volta, alle scuole di Baudouin de Courtenay e Fortunatov (Tchougounnikov 2018: 92)⁸.

Nel passo sotto riportato, invece, la germanista e linguista storica Viktorija Nikolaevna Jarceva (1906-1999) attribuisce all’idea strutturalista di “pancronia” un carattere intrinsecamente “cosmopolita”, aggettivo che – nell’agone politico successivo all’intervento staliniano sulla “Pravda” in difesa del carattere “nazionale” della lingua – assumeva una connotazione inesorabilmente negativa:

В историческом плане системы, замкнутые как монады, сменяют одна другую. Понятно, что при таком подходе к делу подлинно-историческое исследование языка оказывается невозможным и недаром, наряду с “диахронией” и “синхронией”, структуралисты выдвигают космополитическую идею о “панхронии”, которая должна установить внеисторические закономерности, якобы универсальные для языков всего человечества (Jarceva 1952: 82).

⁸ Come sottolinea ancora Mecacci (2020: 191), nella letteratura psicologica degli anni ’20 la relazione fra linguaggio e pensiero, inizialmente teorizzata in termini di *jazyk i myšlenie* (denominazione, peraltro non casuale, di una delle riviste capofila del marxismo), comincia a modificarsi con l’inserimento costante di *reč’* nel significato originariamente attribuito a *jazyk*.

Interessanti, nell'argomentazione a senso unico di Jarceva, sono anche i riferimenti paralleli alla pretesa "universalità" di certi modelli atemporali teorizzati dalle scuole strutturali e, soprattutto, l'analogia con cui il costrutto linguistico del "sistema" viene accomunato a quello filosofico della "monade", da intendersi qui in senso più leibniziano che aristotelico. Curiosamente, tuttavia, entrambi i termini, con tutta evidenza connotati peggiorativamente, sembrano preludere all'ascesa degli orientamenti formali che, negli anni immediatamente successivi, ridisegneranno ancora una volta i confini della linguistica istituzionale sovietica. In particolare, il lavoro pionieristico di Leibniz, considerato da Vološinov (1993: 64) uno dei capostipiti di quella corrente di 'oggettivismo astratto' di cui Saussure rappresenterebbe la filiazione linguistica contemporanea, esercita un'influenza determinante sull'elaborazione e la costruzione dei linguaggi non naturali impiegati nella logica simbolica, *in primis* nel modello elaborato da Rudolf Carnap (1891-1970), e nella linguistica applicata del XX secolo, con particolare riferimento agli algoritmi utilizzati per la traduzione meccanica. Quanto all'"universalità" delle strutture, difficile non riconoscerci, se non una profetica anticipazione di Chomsky (1957), perlomeno un richiamo indiretto allo strumento dell'analisi trasformazionale che, in quegli stessi anni, veniva perfezionato dal suo maestro, il distribuzionalista americano Zellig Harris (1909-1992)⁹.

Che un cambiamento fosse nell'aria lo dimostra il celebre dibattito sul fonema con cui, a partire da un articolo programmatico di Sebastian Konstantinovič Šaumjan (1916-2007) pubblicato nel 1952 ed inizialmente accolto da una preponderanza di voci critiche, il clima di ostilità attorno allo strutturalismo comincia a stemperarsi, per poi invertirsi di polarità negli anni successivi alla morte di Stalin. L'avvicinarsi di una nuova congiuntura favorevole all'utilizzo (metodologicamente esteso) dell'astrazione matematica non è tuttavia una variabile storicamente di rottura, se già Vološinov le attribuiva una patente di legittimità in base alla natura teorica o pratica degli scopi scientifici (Vološinov 1993: 77-78) e due anni più tardi, cercando di delineare le caratteristiche essenziali della 'nuova' linguistica marxista in un articolo intitolato *I matematika možet byt' poleznoj*, Polivanov aveva ammesso che i metodi matematici potevano apportare un aiuto concreto al linguista in alcuni campi d'indagine, tra cui la fonetica sperimentale, la statistica applicata alla dialettologia e la determinazione probabilistica di certe etimologie (Papp 1966: 27-28).

La diversa natura della ricezione critica del 'formalismo' nel periodo poststaliniano, ben più favorevole rispetto ai decenni precedenti, è qui condizionata dalla gamma di applicazioni squisitamente pratiche che i modelli delle scuole post-strutturaliste euroamericane avevano dimostrato di possedere in una grande quantità di campi, primo su tutti quello della traduzione meccanica, che sul finire degli anni '40 aveva cominciato a

⁹ Un revisore anonimo ha sollevato il problema dell'effettiva influenza delle ricerche strutturaliste di Roman Osipovič Jakobson (1896-1982) e Nikolaj Sergeevič Trubeckoj (1890-1938) sul distribuzionalismo americano e, per diretta conseguenza, sulla grammatica trasformazionale chomskiana. La questione è complessa e non può essere affrontata in questa sede; per una panoramica più esauriente si rimanda a Biasio, Tomelleri in stampa.

muovere i primi passi in Gran Bretagna e negli Stati Uniti e, con qualche anno di ritardo, stava penetrando anche in URSS.

2.2. *“I Hear a New World”, o della conversione cibernetica della glottodidattica*

All’indomani della nascita della cibernetica come area interdisciplinare e dello sviluppo del filone di studi sull’intelligenza artificiale, precorso dal matematico britannico Alan Turing (1912-1954), le ricerche britanniche e statunitensi si erano da subito orientate verso la scrittura di un algoritmo per una macchina calcolatrice elettronica che fosse in grado di eseguire una retroversione interlinguistica senza il coinvolgimento diretto del fattore umano. Dopo l’organizzazione di una prima conferenza tematica al MIT di Cambridge, nel giugno del 1952, e un relativo periodo di sperimentazione, il 7 gennaio del 1954, nel quartier generale newyorchese della IBM veniva condotta una dimostrazione pubblica, realizzata in collaborazione con la Georgetown University di Washington, durante la quale il celeberrimo calcolatore IBM 701 eseguì la (per quei tempi fulminea) traduzione automatica di una sessantina di frasi dal russo (traslitterato) all’inglese:

A girl who didn’t understand a word of the language of the Soviets punched out the Russian messages on IBM cards. The “brain” dashed off its English translations on an automatic printer at the breakneck speed of two and a half lines per second.

“*Mi pyeryedayem mislyi posryedstvom ryechy*”, the girl punched. And the 701 responded: “We transmit thoughts by means of speech”.

“*Vyelyichyina ugla opryedyelyayetsya otnoshyenyem dlyini dugi k radyiusu*”, the punch rattled. The “brain” came back: “Magnitude of angle is determined by the relation of length of arc to radius” (Nilsson 2010: 108).

La cosa, ovviamente, non passò inosservata oltre cortina. Sebbene nel Piccolo dizionario filosofico la cibernetica fosse stata complessivamente bollata come *forma sovremenno-go mechanicizma e reakcionnaja lženauka*, espressione dei tratti fondamentali della visione del mondo borghese, arma ideologica della reazione imperialista e strumento per la realizzazione dei suoi piani militari di aggressione (Rozental’, Judin 1954: 236-237), ben presto i quadri istituzionali avevano dovuto ammorbidire la presa ideologica e riconoscerne l’utilità (van Helden 1993, 1: 105). Già nell’ottobre del 1954 il matematico Dmitrij Jur’evič PanoV (1904-1975) aveva pubblicato, nella rivista “*Matematika*” edita dal *Vsesojuznyj institut naučnoj i tehničeskoj informacii*, un resoconto dell’esperimento condotto a Georgetown; l’anno successivo, un gruppo di matematici e ingegneri poteva pubblicare, su un organo ufficiale, “*Voprosy filosofii*”, un articolo tematico sobrio e scevro dalle consuete etichette ingiuriose (Sobolev *et al.* 1955)¹⁰. Queste comunicazioni sancirono l’inizio della traduzione

¹⁰ Una raccolta di interessanti materiali anticibernetici è contenuta nel volume a cura di Šilov, Kitov (2020: 595-651), secondo i quali (pp. 9-10) sarebbe da attribuire al solo Kitov la paternità dell’articolo, ispirato da *Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the*

automatica in URSS e una tappa fondamentale nel percorso d'ascesa della stagione della linguistica formale sovietica (Buras 2022: 18).

Il primo progetto sovietico di traduzione meccanica, coordinato da Ol'ga Sergeevna Kulagina (1931-2005) e Igor' Aleksandrovič Mel'čuk (1932-) sotto la supervisione di Aleksej Andreevič Ljapunov (1911-1973) venne avviato all'Istituto di matematica Steklov di Mosca, sul finire del 1954, con il compito di scrivere un algoritmo francese-russo sulla base di un corpus di testi scientifici e matematici che, a differenza della *chudožestvennaja literatura*, si prestavano particolarmente ad un'analisi strutturale desemantizzata, data l'elevata percentuale di tecnicismi e ripetizioni formulaiche in essi contenuti. L'algoritmo diede i suoi primi frutti, per quanto modesti, già nel 1956 (Gordin 2020: 840-841; Mel'čuk 2000: 205-208). Quasi nello stesso periodo, superate le reticenze della linguistica istituzionale (Gordin 2020: 845), le pagine di "Voprosy jazykoznanija" si arricchivano di una nuova rubrica, *Opyty mašinogo perevoda*, pubblicata a cadenza regolare. Nella direzione di una nobilitazione del ruolo propulsore della 'nuova' linguistica matematica andava anche la menzione speciale della traduzione meccanica, al XX Congresso del PCUS (1956), fra gli indirizzi principali delle ricerche scientifiche in relazione al "programma generale del progresso tecnico"¹¹ (Vel'mezova 2014: 345). A partire dalla seconda metà degli anni '50, nomi come Ljapunov, Vladimir Andreevič Uspenskij (1930-2018) (Buras 2022: 86-94) e Viktor Jul'evič Rozencvejg (1911-1998) (*ibid.*: 81-85) si fecero promotori di importanti iniziative, fra cui la creazione di numerosi centri di ricerca, attorno ai quali si formò una generazione di linguisti strutturali di grande spessore¹². Dal punto di vista istituzionale, l'aspetto più rilevante della cibernetica applicata risiedeva nel suo carattere strategico, soprattutto in ambito militare e spionistico; agli occhi di molti dei suoi entusiasti protagonisti, invece, la linguistica si avviava a diventare una scienza esatta, un "angolo matematico" – citando Andrej Anatol'evič Zaliznjak (1935-2017) (Buras 2019: 151) – definitivamente emancipato da letteratura e filologia (Apresjan 1966: 4). A tal proposito, è piuttosto interessante un appunto di van Helden (1993, 1: 110), che nell'uso esteso e malleabile che i giovani linguisti formali sovietici facevano del termine *model'* intravede una precoce e precisa volontà di smarcamento ideologico in merito alla natura della relazione dialettica fra realtà e costrut-

Machine (1948), lavoro del padre della moderna cibernetica Norbert Wiener (1894-1964) allora conservato nell'*otdel special'nogo chranenija* SKB-245.

¹¹ Le direttive di partito vennero recepite in un articolo collettivo pubblicato sulle pagine di "Voprosy jazykoznanija" (AA.VV. 1956): esplicito riferimento veniva fatto, fra le altre cose, ai progressi scientifici ottenuti nel campo della traduzione meccanica in Gran Bretagna, negli Stati Uniti e in Italia, dove a partire dal 1949 si era cominciata a pubblicare *Methodos*, la pionieristica rivista di cibernetica e teoria della mente facente capo alla Scuola Operativa Italiana di Silvio Ceccato (1914-1997).

¹² Va rilevato che la formazione di molti dei linguisti sovietici che in questo periodo si cimentavano con gli orientamenti formali, o con la loro applicazione pratica nel campo della traduzione meccanica, è anch'essa radicata storicamente nella scuola di Fortunatov (Papp 1966: 15-16).

to (cfr. Frumkina 1997: 98); è noto infatti che, nel periodo più aspro della contrapposizione ideologica della guerra fredda, furono in particolare i settori umanistici a subire condizionamenti, imposizioni e ribaltamenti da parte del partito, in quanto maggiormente sensibili alla manipolazione ideologica.

All'incrocio fra le esigenze nazionali e le ambizioni di una generazione di giovani studiosi si poneva il problema di come riorganizzare le politiche statali nel campo della glottodidattica, la cui pianificazione, dopo la caduta del marrismo e la svolta anticosmopolita staliniana, rimaneva particolarmente pressante. Sebbene la maggior parte delle numerosissime ricerche di questi anni, sparse per lo più nei volumi antologici della serie "Voproscopy kibernetiki" diretta da Ljapunov o nel bollettino (ciclostilato e a tiratura limitata) dell'associazione di traduzione meccanica di Rozencvejg "Mašinnyj perevod i prikladnaja lingvistika", si concentrasse sulla traduzione da e verso il russo, rimaneva sostanzialmente aperta la questione sugli elementi di quale lingua naturale fosse meglio tarare e istruire l'algoritmo incaricato della traduzione.

È qui opportuno notare che, nel mentre, la corsa sovietica al monopolio nel campo della *machine translation* aveva già conosciuto una fase di riappropriazione retrospettiva. Nel 1959, l'anziano caucasologo ed esperantista Lev Ivanovič Žirkov (1885-1963) aveva celebrato il ventennale del brevetto di un prototipo di traduttore elettronico, invenzione ascritta all'ingegnere Pëtr Petrovič Smirnov-Trojanskij (1894-1950) che, stando alla cronologia ufficiale, l'avrebbe per la prima volta presentata all'Accademia delle Scienze addirittura nel 1933. Nella letteratura storiografica si è molto dibattuto sull'effettivo primato di Smirnov-Trojanskij, la cui scoperta sarebbe comparsa quasi in contemporanea al dispositivo (il cosiddetto *Cerveau Mécanique*) su cui stava lavorando da anni un suo vecchio compagno di studi universitari pietrogradesi, l'ingegnere franco-armeno Georges Artsrouni, che ebbe persino modo di presentarne un prototipo all'Expo parigino del 1937¹³. Tuttavia, diversamente dal "cervello meccanico" di Artsrouni, la peculiarità del macchinario di Smirnov-Trojanskij, il cui funzionamento si basava sull'assunto leibniziano dell'esistenza di una struttura logica universale per tutti i linguaggi naturali (un fatto che aveva fatto guadagnare all'inventore l'aperto sospetto, quando non la condiscendenza dei circoli scientifici dell'epoca)¹⁴, stava nella scelta di affissi grammaticali mutuati dall'esperanto come elementi fissi delle due 'forme logiche' mediatrici fra lingua di partenza e arrivo. Si trattava di una scelta politicamente infelice per l'epoca, dal momento che la creatura di Ludwik Lejzer Zamenhof (1859-1917), dopo un'entusiastica parentesi nel periodo che seguì la rivoluzione

¹³ Della dimostrazione di un modello ancora precedente (*pišuščaja mašina-perevodčik*), realizzata a Tallinn da un non meglio precisato A. Wachter, dà notizia l'edizione del 24 febbraio 1924 di *Waba Maa*, l'allora quotidiano del Partito Estone del Lavoro (Mel'čuk, Ravič 1967: 26).

¹⁴ Toni e tempistiche dell'incoronazione postuma di Smirnov-Trojanskij dovevano esaltare il pionierismo della scienza sovietica alla vigilia di una delle congiunture chiave della guerra fredda e, al contempo, mettere sotto accusa le calcificazioni burocratiche dell'economia staliniana (Gordin 2020: 857-858).

d'ottobre¹⁵, era stata oggetto, a partire dalla metà degli anni '30, di una violenta campagna ideologica, marchiata dall'accusa di essere l'idioma della "piccola borghesia" e dei "cosmopoliti apolidi" (Kamusella 2021: 133). Eppure fu proprio il precedente espediente delle forme logiche di Smirnov-Trojanskij, oltre all'esperienza maturata in laboratorio nel tradurre da e verso lingue dalle caratteristiche strutturali più varie (tra cui ungherese e cinese mandarino), che ispirò a Mel'čuk, già nei primi anni '60, la formulazione di un'interlingua simbolica per rappresentare formalmente (ma senza specificare alcuna regola grammaticale) l'informazione semantica contenuta in (e estraibile da) un testo: l'antesignana della fortunata teoria *Smysl* \Leftrightarrow *Tekst* e della "lessicografia sistemica" di Jurij Derenikovič Apresjan (1930-) (Buras 2022: 175; Mel'čuk 2000: 212-216). Ancora una volta si tornava all'ovile di Leibniz, passando per una pagina di storia scientifica dimenticata (Smirnov-Trojanskij) e un'altra ripudiata (l'esperanto): a dimostrare che, come la possibilità di applicazione dell'astrazione matematica alla linguistica non era sorta in URSS *ex nihilo*, in seguito al riconoscimento dell'eredità scientifica delle scuole strutturaliste post-saussuriane, così anche l'applicazione della traduzione meccanica a problemi concreti di glottodidattica aveva connessioni storiche molto più profonde di quanto sembrasse.

3. *Alcune considerazioni conclusive: corsi e ricorsi, o di paradigmi e rivoluzioni*

Il tentativo di contestualizzare storicamente un breve episodio di storia del pensiero linguistico sovietico in quello che è genericamente etichettato come periodo poststaliniano, allo scopo di individuare i presupposti ideologico-culturali che favorirono l'applicazione dei modelli formali in linguistica e prepararono il successivo ingresso della grammatica trasformazionale in URSS, deve scontrarsi con l'oggettiva difficoltà di proporre una convincente periodizzazione lineare, tematica prima ancora che temporale. Un esame anche solo preliminare dell'attività scientifica dei principali protagonisti del tempo fa comprendere che la cronistoria proposta nel primo paragrafo, comodo strumento per una presentazione annalistica dei fatti, deve poi essere parzialmente relativizzata o addirittura superata *in toto*, dato che le idee e persone formano una rete di intersezioni che travalicano gli stretti limiti dei periodi individuati. Un'adeguata comprensione di questa fase interlocutoria presuppone necessariamente l'analisi di alcune tendenze precedenti. La ricezione favorevole di modelli teorici orientati verso l'applicazione dello strumento euristico dell'astrazione matematica in linguistica, sebbene concretamente motivata dall'insorgere di una nuova contingenza politica di contrapposizione dialettica con il mondo occidentale, rappresenta un ricorso storico che rimanda alla tradizione di alcune scuole prerivoluzionarie, tra cui quelle di Baudouin

¹⁵ Si noti che Marr scrisse una prefazione, intitolata *K voprosu ob edinom jazyke* al volume *Za vseobščim jazykom* dell'esperantista Ernest Karlovič Drezen (1892-1937), poi passato dalla parte del *Jazykofront* e infine caduto vittima delle purghe staliniane (Drezen 1928); d'altro canto, l'esperantista Andrej Petrovič Andreev (1864-????) pubblicò un opuscolo celebrativo della linguistica giafetica (Andreev 1929). Sull'interlinguistica all'interno della riflessione sociolinguistica in URSS si raccomanda la lettura di Duličenko (2010).

de Courtenay e Fortunatov e, nei decenni dell'egemonia marrista, di alcuni loro allievi spirituali, come Polivanov. Allo stesso modo, accanto all'indubbia utilità strategico-militare, l'impetuoso sviluppo delle ricerche nel campo della traduzione meccanica che caratterizzò gli indirizzi applicati della linguistica sovietica dalla seconda metà degli anni '50 in poi cercava di ottemperare all'esigenza glottodidattica di trovare un concreto tramite linguistico per uniformare e agevolare il più possibile la comunicazione con il mosaico di popoli dell'URSS: un tramite linguistico spesso individuato nel russo, altrove identificato con un'«interlingua» ausiliaria (come per il calcolatore 'esperantista' del pioniere Smirnov-Trojanskij) o puramente simbolica (Mel'čuk), leibniziana nel senso più letterale del termine.

Altrettanto fondamentale è un resoconto di quanto avvenne dopo che questa importante esperienza si concluse ufficialmente, in seguito al cambio di guardia istituzionale, al nuovo irrigidimento ideologico verso l'occidente e al contestuale ridimensionamento dei finanziamenti militari (statunitensi ancor prima che sovietici) nel campo della *machine translation*, un filone di ricerca che, aldilà dei sensazionalismi della prima ora, aveva mantenuto molto meno di quanto promesso. Se il riaffiorare di tendenze reazionarie, antiformaliste e neomarriste, almeno all'apparenza, invertì nuovamente la direzione di sviluppo della linguistica istituzionale, il nuovo progetto scientifico ritrovò linfa vitale in altri tempi e luoghi. Acquista nuova rilevanza il ruolo delle periferie, vero e proprio *Leitmotiv* che attraversa, come un filo rosso, tutto l'orizzonte storico-culturale russo contemporaneo, a partire dall'espressione del potere centrale: dal decentramento dei centri di ricerca sulla linguistica matematica alla nascita della scuola semiotica lotmaniana a Tartu, dalla marginalizzazione (geografica e umana) del dialogo interdisciplinare con gli studiosi occidentali alla riconversione disciplinare di molti dei giovani protagonisti della stagione formale (com'è il caso, ad esempio, di Zaliznjak, affermatosi nei decenni successivi come geniale linguista filologico). La centralità delle periferie è un tema complesso ma estremamente interessante, che merita senz'altro di essere approfondito in separata sede.

Il fitto intreccio di idee e i cambiamenti repentini di indirizzo, registrati nel giro di pochi decenni, debbono farci riflettere sulla possibilità, o meglio impossibilità, di adottare con profitto, in ambito linguistico, il modello kuhniano dei cambiamenti di paradigma. Si può anzi affermare che nella storia della linguistica si osserva quello che Beaugrande (1991: 344) ha definito in maniera calzante *ancestor-hopping*, ovvero il risoluto ripudio dei predecessori immediati e la contestuale ricerca di precursori in epoche più remote (Chomsky si è esplicitamente richiamato al pensiero della scuola di Port-Royal e alla filosofia cartesiana, il linguista Stalin, *si parva licet componere magnis*, ha rivalutato il metodo storico-comparativo tanto bistrattato dai marristi). Come sottolinea correttamente Patrick Sériot, in linguistica, e in generale nelle scienze umane, i paradigmi non si alternano né negano reciprocamente, ma si sovrappongono l'uno all'altro, coesistendo e al contempo ignorandosi (Sériot 1993: 52). Questa è anche la lezione che ci viene da un periodo estremamente denso e in parte ancora inesplorato, al cui interno convivono con difficoltà diversi indirizzi scientifici, criticamente aperti o pregiudizialmente chiusi al passato, furiosamente entusiasti del presente ancora in fase di definizione e con un costante sguardo ad un futuro davvero radiosio.

Bibliografija

- AA.VV. 1956: *O nekotorych aktual'nykh zadachakh sovremennogo sovetskogo jazykoznanija*, "Voprosy jazykoznanija", V, 1956, 4, pp. 3-13.
- Achmanova 1953: O.S. Achmanova, *Glossematika Lui El'mseva kak pojavlenie upadka sovremennogo buržuaznogo jazykoznanija*, "Voprosy jazykoznanija", II, 1953, 3, pp. 25-47.
- Alpatov 2012: V.M. Alpatov, *Jazykovedy, vostokovedy, istoriki*, Moskva 2012.
- Andreev 1929: A.P. Andreev, *Revolucija jazykoznanija. Jafetičeskaja teorija akademika N.Ja. Marra*, Moskva 1929.
- Apresjan 1966: Ju.D. Apresjan, *Idei i metody sovremennoj strukturnoj lingvistiki (kratkiy očerk)*, Moskva 1966.
- Ašnin, Alpatov 1994: F.D. Ašnin, V.M. Alpatov, *"Delo slavistov": 30-e gody*, Moskva 1994.
- Beaugrande 1991: R. de Beaugrande, *Linguistic Theory: The Discourse of Fundamental Works*, London 1991.
- Biasio, Tomelleri in stampa: M. Biasio, V.S. Tomelleri, *Prolegomeni a uno studio sulla ricezione del primo Chomsky in Unione Sovietica*, "Archivio glottologico italiano", CVII, 2022.
- Bruche-Schulz 1984: G. Bruche-Schulz, *Russische Sprachwissenschaft. Wissenschaft im historisch-politischen Prozeß des vorsowjetischen und sowjetischen Rußland*, Tübingen 1984.
- Budagov 1972: R.A. Budagov, *O predmete jazykoznanija*, "Izvestija Akademii Nauk SSSR. Serija literatury i jazyka", XXXI, 1972, 5, pp. 401-412.
- Budagov 1988: R.A. Budagov, *Portrety jazykovedov XIX-XX vv. Iz istorii lingvističeskikh učenij*, Moskva 1988.
- Buras 2019: M.M. Buras, *Istina suščestvuet. Žizn' Andreja Zaliznjaka v rasskazach eë učastnikov*, Moskva 2019.
- Buras 2022: M.M. Buras, *Lingvisty, prišedšie s choloda*, Moskva 2022.
- Čemodanov 1947: N.S. Čemodanov, *Strukturalizm i sovetskoe jazykoznanie*, "Izvestija Akademii Nauk SSSR. Otdelenie literatury i jazyka", VI, 1947, 2, pp. 115-124.
- Chobotová 2011: K. Chobotová, *Le structuralisme pragois vu par le marxisme officiel en Tchécoslovaquie*, in: E. Velmezova (éd.), *Langue(s). Langage(s). Histoire(s)*, Lausanne 2011, pp. 99-118.
- Chomsky 1957: N. Chomsky, *Syntactic Structures*. 's-Gravenhage 1957.
- Čikobava 1952: A.S. Čikobava, *Ob osnovnykh zadachakh i voprosakh sovetskogo jazykoznanija v svete stalinskogo učenija o jazyke*, in: *Voprosy teorii i istorii jazyka v svete trudov I.V. Stalina po jazykoznaniju*, Moskva 1952, pp. 22-39.

- Drezen 1928: È.K. Drezen, *Za vseobščim jazykom. Tri veka iskanij*, Moskva-Leningrad 1928.
- Duličenko 2010: A.D. Duličenko, *Ideja međunarodnogo iskusstvennogo jazyka v debrjach rannej sovjetskoj sociolingvistiki*, "Russian Linguistics", XXXIV, 2010, 143-157.
- Frumkina 1997: R.M. Frumkina, *O nas – naiskosok*, Moskva 1997.
- Girke, Jachnow 1974: W. Girke, H. Jachnow, *Sowjetische Soziolinguistik. Probleme und Genese*, Kronberg Ts. 1974.
- Gordin 2020: M.D. Gordin, *The Forgetting and Rediscovery of Soviet Machine Translation*, "Critical Inquiry", XLVI, 2020, 4, pp. 835-866.
- van Helden 1993: W.A. van Helden, *Case and Gender: Concept Formation between Morphology and Syntax* (2 voll.), Amsterdam-Atlanta 1993.
- Isačenko 1950: A.V. Isačenko (a cura di), *Za marxističnú jazykovedu. Sborník prejavov v diskusii o sovietskej jazykovede*, Bratislava 1950.
- Jarceva 1952: V.N. Jarceva, *K voprosu ob istoričeskom razvitii sistemy jazyka*, in: *Voprosy teorii i istorii jazyka v svete trudov I.V. Stalina po jazykoznaniju*, Moskva 1952, pp. 68-98.
- Kamusella 2021: T. Kamusella, *Politics and the Slavic Languages*, London-New York 2021.
- Kuznecov 1932: P.S. Kuznecov, *Jafetičeskaja teorija*, Moskva-Leningrad 1932.
- Lähtenmäki 2011: M. Lähtenmäki, 'Sociology' in Soviet Linguistics of the 1920–30s: Shor, Polivanov and Voloshinov, in: C. Brandist, K. Chown (a cura di), *Politics and the Theory of Language in the USSR 1917–1938. The Birth of Sociological Linguistics*, London et al. 2011, pp. 35-51.
- Lähtenmäki 2015: M. Lähtenmäki, *On the Reception of Wilhelm von Humboldt's Linguistic Ideas in the Soviet Union from the Late 1920s to the Early 1950s*, "Language & History", LVIII, 2015, 2, pp. 111-123.
- Lenin 1973: V.I. Lenin, *Filosofskie tetradj*, Moskva 1973.
- Marcellesi, Gardin 1979: J.-B. Marcellesi, B. Gardin, *Introduzione alla sociolinguistica*, Bari 1979.
- Marr 1929: N.Ja. Marr, *Počemu tak trudno stat' lingvistom–teoretikom?*, in: Id. (a cura di), *Jazykovedenie i materializm*, Leningrad 1929, pp. 1-56.
- Martin 2001: T. Martin, *The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939*, Ithaca-London, 2001.
- Marx, Engels 1983: K. Marx, F. Engels, *Deutsche Ideologie*, in: K. Marx, F. Engels, *Werke*, III, Berlin 1983.
- Mecacci 2020: L. Mecacci, Reč, *tra linguistica e psicologia*, "eSamizdat. Rivista di culture dei paesi slavi", XIII, 2020, pp. 189-194.

- Meillet 1938: A. Meillet [Meje], *Vvedenie v sravnitel'noe izučenie indoevropskich jazykov*, Moskva-Leningrad 1938.
- Meillet 1951: A. Meillet [Meje], *Obščeslavjanskij jazyk*, Moskva 1951.
- Meillet 1952: A. Meillet [Meje], *Osnovnye osobennosti germanskoj grupy jazykov*, Moskva 1952.
- Meščuk 2000: I.A. Meščuk, *Machine Translation and Formal Linguistics in the USSR*, in: John W. Hutchins (ed.), *Early Years in Machine Translation: Memoirs and Biographies of Pioneers*, Amsterdam-Philadelphia 2000, pp. 205-226.
- Meščuk, Ravič 1967: I.A. Meščuk, R.D. Ravič, *Avtomatičeskij perevod, 1949-1963: kritiko-bibliografičeskij spravočnik*, Moskva 1967.
- Meščaninov 1949: I.I. Meščaninov, *Marr – osnovatel' sovetского jazykoznanija*, "Izvestija Akademii Nauk SSSR. Otdelenie literatury i jazyka", VIII, 1949, 4, pp. 289-298.
- Michankova 1949: V.A. Michankova, *Nikolaj Jakovlevič Marr. Očerki ego žizni i naučnoj dejatel'nosti*, Moskva-Leningrad 1949³.
- Moret 2019: S. Moret, *Meillet et Marr*, in: S. Moret, A. de la Fortelle (éd.), *Histoires des linguistiques, histoires des idées. Mélanges offerts à Patrick Sériot*, Moscou 2019, pp. 361-399.
- Nikoľskij, Jakovlev 1949: V.K. Nikoľskij, N.F. Jakovlev, *Osnovnye položeniya materialističeskogo učeniya N.Ja. Marra o jazyke*, "Voprosy filosofii", 1949, 1(6), pp. 265-285.
- Nilsson 2010: N. J. Nilsson, *The Quest for an Artificial Intelligence: A History of Ideas and Achievements*, Cambridge et al. 2010.
- Papp 1966: F. Papp, *Mathematical Linguistics in the Soviet Union*, London-The Hague-Paris 1966.
- Polivanov 1968: E.D. Polivanov, *Specifičeskie osobennosti poslednego desjatiletija 1917–1927 v istorii našej lingvističeskoj mysli (vmesto predislovija)*, in: Id., *Stat' i po oščemu jazykoznaniju*, Moskva 1968, pp. 51-56.
- Poltorackaja 1961: M.A. Poltorackaja, *Ob akademike I.I. Meščaninove i ego trudach. K 75-letnemu jubileju*, "A Guide to Teachers of the Russian Language in America", XV, 1961, 58, pp. 23-26.
- Robinson 2004: M.A. Robinson, *Sud'by akademičeskoj élitu: otečestvennoe slavjanovedenie (1917-načalo 1930-ch godov)*, Moskva 2004.
- Rosiello 1974: L. Rosiello, *Relatività linguistica (ed etnocentrismo)*, in: Id., *Linguistica e marxismo. Interventi e polemiche*, Roma 1974, pp. 74-78.
- Rozental', Judin 1954: M. Rozental', P. Judin (red.), *Kratkij filozofskij slovar'*, Moskva 1954⁴.
- Sériot 1993: P. Sériot [Serio], *V poiskach četvërtoj paradigmy*, in: *Filosofija jazyka: v granicah i vne granic*, Char'kov 1993, pp. 37-52.

- Šilov, Kitov 2020: V.V. Šilov, V.A. Kitov, *Anatolij Ivanovič Kitov*, Moskva 2020.
- Smirnickaja 2000: O.A. Smirnickaja, *Aleksandr Ivanovič Smirnickij*, Moskva 2000.
- Sobolev *et al.* 1955: S.L. Sobolev, A.I. Kitov, A.A. Ljapunov, *Osnovnye čerty kibernetiki*, "Voprosy filosofii", 1955, 4, pp. 136-148 (ripubblicato in Šilov, Kitov 2020: 217-229).
- Šor 1927: R.O. Šor, *Krizis sovremennoj lingvistiki*, "Jafetičeskij sbornik", v, 1927, pp. 32-71.
- Stalin 1953: I.V. Stalin, *Marksizm i voprosy jazykoznanija*, [Moskva] 1953.
- Tchougounnikov 2018: S. Tchougounnikov, *The Formal Method in Germany and Russia: The Beginnings of European Psycholinguistics*, "Linguistic Frontiers", 1, 2018, 2, pp. 90-101.
- Thomsen 1938: V. Thomsen [Tomsen], *Istorija jazykovedenija do konca XIX veka*, Moskva 1938.
- Tomelleri 2020: V.S. Tomelleri, *Linguistica e filologia in Unione Sovietica. Trilogia fra sapere e potere*, Milano-Udine 2020.
- Vaillant 1952: A. Vaillant [Vajan], *Rukovodstvo po staroslavjanskomu jazyku*, Moskva 1952.
- Vel'mezova 2014: E.V. Vel'mezova, *Istorija lingvistiki v istorii literatury (kratkij obzor osnovnykh momentov)*, Moskva 2014.
- Vinogradov 1952: V.V. Vinogradov, *Značenie rabot I.V. Stalina dlja razvitija sovetškogo jazykoznanija*, in: *Voprosy jazykoznanija v svete trudov I.V. Stalina*, Moskva 1952, pp. 5-60.
- Vinogradov 1963: V.V. Vinogradov, *O preodolenii posledstvij kul'ta ličnosti v sovetskom jazykoznanii*, "Izvestija Akademii Nauk SSSR. Serija literatury i jazyka", XXII, 1963, 4, pp. 273-288.
- Vološinov 1993: V.N. Vološinov, *Marksizm i filosofija jazyka: osnovnye problemy sociologičeskogo metoda v nauke o jazyke*, Moskva 1993 (1929¹).
- Whorf 1952: B. L. Whorf, *Language, Mind, and Reality*, "ETC: A Review of General Semantics", IX, 1952, 3, pp. 167-188.
- Zvegincev 1956: V.A. Zvegincev, *Chrestomatija po istorii jazykoznanija XIX-XX vekov*, Moskva 1956.
- Zubkova 2002: L.G. Zubkova, *Obščaja teorija jazyka v razvitii*, Moskva 2002.

Abstract

Vittorio Springfield Tomelleri, Marco Biasio

The Stone Guest. The Soviet Rediscovery of Formal Linguistics Towards the Early Chomsky

After Stalin's death, Soviet linguistics seemingly steered in a new direction, enthusiastically adopting mathematical methods within the upsurge of interest in machine translation. This fostered the acceptance of formal models disjointed from the rigid dictates of dialectical materialism and paved the way for the rediscovery of the scientific legacy of (post-)structuralist Euroamerican schools. In the eyes of the protagonists of this epistemological change, linguistics seemed to be freed from the traditional methodological constraints imposed by philology and literature. This short-lived yet intense period, however, is characterized by the polyphonic coexistence of several ideas and personalities, whose research activity can be properly understood and evaluated only from a broader historical perspective, encompassing both earlier and later stages, thus substantially curtailing the explanatory power of historical and thematic periodization. The study aims at examining the salient characteristics of the scientific environment surrounding the early critical reception of Noam Chomsky's *Syntactic Structures* in the Soviet Union. By tackling specific terminological and epistemological issues, it is argued that the evolution of Soviet linguistics was not defined by abrupt saltational processes, but rather by a constant pendular oscillation which – depending on cultural, political, and historical circumstances – would grant temporary priority to some scientific approaches and orientations at the expense of others.

Keywords

Soviet Union; Linguistics; Formal Methods; Machine Translation; Chomsky.

Salvatore Del Gaudio

The Language Situation in the District of Loeŭ (Belarus¹)

Introduction

The present contribution provisionally concludes a 'trilogy' devoted to the description of the social and sociolinguistic factors determining the language (dialect) use and selection in the rural areas set across the Ukrainian-Belarusian border and very close to the Russian Federation¹.

More specifically, the current study focuses on the analysis of the language situation in the western part of the district Loeŭ (Region of Homel', Belarus²), paying particular attention to the use, distribution and speakers' evaluation (perception) of the local dialect(s) in relation to other language varieties. It is worth reminding that by 'local dialect(s)' is meant the traditional, rural dialect usually spoken by older (70-90 years), non-mobile informants with a poor level of schooling in a specific inhabited point. The plural 'dialects', thus resembling the Belarusian and Ukrainian dialectological traditions (cfr. Bel. *mjascovy havorki*; Ukr. *hovirky*), may indicate the dialectal micro-system of one or more neighbouring dialectal units/inhabited communities (Del Gaudio 2015b: 17). This predominantly oral speech is disappearing or evolving under the steady influence of language acculturation, standardization processes in favour of the standard languages, especially Russian in the case of Belarus². Intermediate stages of dialectal development towards Russian may give place to hybrid formations and/or to more stable mixed varieties with cross-regional features.

The area under research, considered in its entirety, also includes the adjoining district of Homel' (Region of Homel', Belarus²) and most of the former district of Ripky² (Region of Černihiv, Ukraine). Geographically, the Dnipro / Dnjapro (Bel. Дняпро́) functions as a

¹ Some formal and content overlappings with preceding articles are, in certain points of the present paper, unavoidable. This is due to the fact that all these contributions deal with correlated thematic aspects and they can be regarded as integrating components of a single, larger study. I would also like to thank the Humboldt Research Fund for its support.

² A recent administrative reform (18th July 2020) has abolished many of the existing Ukrainian districts, among them the district of Ripky. The latter has been incorporated in the larger administrative-political unit of Černihiv which also gives the name to the entire region. For ease and for the sake of comparison, however, we shall occasionally use this denomination. Cfr. <<https://www.minregion.gov.ua/press/news/novi-rajony-karty-sklad/>> (latest access: 08.04.21).

natural barrier separating the district of Loeŭ from that of Ripky. This territory represents a mere segment of the much larger Polissian macro-region³ which, due to its size, is neither linguistically (dialectally) nor ethnographically completely homogeneous.

The language situation of this cross-border area has rarely been object of sociolinguistic research in either western European or East Slavic linguistic traditions for a series of correlated reasons, e.g. national and linguistic-cultural stability of already established geo-political borders etc. Specific language questions have traditionally been the domain of East Slavic dialectology⁴ and / or ethnolinguistics (folklore)⁵.

The district of Loeŭ acquires a specific dialectal and sociolinguistic significance. Here, just as in the other two aforementioned rural districts, different standard and non-standard language varieties alternate and interact according to a series of interrelated variables and situational contexts.

It was already pointed out (Del Gaudio 2018b: 84) that the varieties spoken throughout this territory are: a) the local dialects⁶; b) the three standard East Slavic languages (i.e. Belarusian, Ukrainian and Russian⁷); c) forms of mixed speech which carry different denominations⁸ in connection with the country where they are spoken.

³ With a surface of over 200,000 square kilometers, the low land Polissia (Bel. *Palesse*; Rus. *Poles'e*; Pol. *Polesie*) embraces most of northern Ukraine and southern Belarus³ as well as some of the south-western Russian regions and a small part of north-eastern Poland (western of the river Buh/Byr). For more details, see: <<http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CP%5CO%5CPolisia.htm>> (latest access: 28.04.21).

⁴ Cfr. Durnovo *et al.* 1915, Buzuk 1926, Hancov 1928, Avanesaŭ 1964, Žylko 1953, Bevzenko 1985, lately Del Gaudio 2013a, 2018b, just to mention a few.

⁵ For an overview of ethnolinguistic studies on Polissia (Rus. *Poles'e*), see: Tolstaja 2017.

⁶ Belarusian dialectology classifies these dialects as the uttermost south and south eastern extensions of the middle and southwestern Belarusian dialects (Blinava, Mjaceł'skaja 1980: 205). On the other hand, in Ukrainian dialectology they represent the uppermost extension of eastern or, more exactly, north-eastern Polissian dialects, also known in the traditional Russian and Soviet (including Ukrainian and Belarusian) specialist literature, as 'transitional' from Ukrainian to Belarusian (Del Gaudio 2017: 66-67). The analysis of the features characterizing these border dialects are already the object of a parallel linguistic study which is still underway. A description of the most distinctive features of the Belarusian border dialects, especially in relation to other mesoletic varieties, will be omitted here for two basic reasons: a) the elaborated data are still very limited at present; b) their exemplification would by far exceed the mere sociolinguistic approach chosen for this paper. For an overview, see: Del Gaudio 2013a, 2014.

⁷ One could further distinguish between 'national' and regional varieties of Russian along with regionalized varieties of Belarusian and Ukrainian. This additional differentiation, however, would further complicate the already complex picture of these areas. Moreover it will deserve further research which goes far beyond the scope of the present study.

⁸ It is worth reminding that this mixed speech based on the vernacular of the respective ethnic languages with the addition of (presumed and / or real) Russian elements along with a number

The analysis of data and their comparison with previous results will be preceded by an outline of the methodological design and by a short account of relevant benchmarks characterizing language use in the district of Loeŭ. However, unlike earlier studies, aspects of the generalized language situation of Belarus' and Ukraine will only be contextually discussed.

1. *Methodological Design*

The bulk of dialectal and sociolinguistic interviews in the district of Loeŭ was carried out in early autumn 2017 and, to a very limited extent, in late spring 2018. These periods facilitate personal contacts with a community outsider for a number of social and psychological reasons: relatively good weather; term time for educational institutions; longer days; possibility of meeting people outside their homes and in the fields etc. As in the case of the district of Homel⁹ but unlike the Ripky area, the actual field work had to be chiefly concentrated in only one phase ('expedition'). This choice was conditioned by a series of organizational and bureaucratic factors⁹ which regulate the research access to the border territories, especially in times of international tension due to the Ukrainian-Russian geopolitical and military conflict (2014 to date). Notwithstanding these limitations a certain degree of participant observation on generalized language habits (e.g. language selection in situational contexts, linguistic landscape etc.) had been possible during previous scholarly visits to Belarus'.

The logistic base and starting point for the collection of both dialectal, social and sociolinguistic data was the small village of Byvalki which is situated at approximately the same latitude as Radul', a small settlement in the former district of Ripky (Ukraine)¹⁰.

Three local informants (two women and a man)¹¹, previously instructed about the research aims, supported my dialectal and sociolinguistic expeditions to other rural villages

of hybrid forms is generally known as *Trasjanka* in Belarus' and *Suržyk* in Ukraine. Some Ukrainian linguists adopt the designation of "Ukrainian-Russian *Suržyk*". Avoiding here the long-lasting terminological discussion about the appropriateness of using these 'terms' of popular scientific origin [which have already found their way even into authoritative Belarusian and Ukrainian language encyclopedias and publications], I will follow the already established practice of recent research on the topic. Therefore the linguistic terms "Belarusian Russian Mixed Speech" (BRMS) and "Ukrainian Russian Mixed Speech" (URMS) will have a more specific usage in line with the Oldenburg sociolinguistic school (cfr. Hentschel 2017: 18). On the other hand, the more common designations of *Trasjanka* and *Suržyk* will alternate with the former definitions when referring to general aspects of these varieties or to publications in which these 'terms' are already established. On the terminological issue, also see: Del Gaudio 2015a: 215-216.

⁹ Required institutional invitations, visa, circulation permits etc.

¹⁰ More precisely, the urban-type Ripky is positioned about 23 km south-east of Radul'.

¹¹ I wish to express my gratitude for the support and assistance during the interviews to Andrjanec Halina Borisovna (sociolinguistic questionnaires), Dubacova Valjancina Ivanaŭna and ajcec Pryhara Aljaksandr (dialectal expeditions).

of the same district and to the southern periphery of the town of Loeŭ. Besides personal field notes (ethnographic / traditional dialectological approach), dialectal data were audio recorded with semi-structured interviews and some degree of elicitation techniques. On the other hand, social and sociolinguistic materials, particularly relevant for the present discussion, were mainly acquired by means of a previously prepared questionnaire. The structure and the contents of the questionnaire(s) resembled the pattern already used for the Ukrainian survey¹² (first stage of the project) and the district of Homel' (second stage). The questionnaire structure and its contents will be illustrated in § 3. One hundred questionnaires were also distributed among a number of pre-selected small rural settlements (see: TABLE 1). About thirty sociolinguistic interviews had to be completed and recovered *in absentia* by one of the local informants who assisted me in late spring 2018. It is well known that a questionnaire is used with the purpose of assembling social and sociolinguistic data in a relatively short time (cfr. Milroy, Gordon 2003: 52). This proved to be particularly convenient in an area where there exists a series of 'bureaucratic' hindrances and local people are not always so keen to give a stranger information about personal and national identity, work / profession, social and language behaviour.

The small corpus of collected data was stored and elaborated with the help of Microsoft Access (a Database management system).

2. The District of Loeŭ: Geo-Linguistic Context

The district of Loeŭ (Bel. *Loeŭski raën*, created in 1926) is one of the 21 districts making up the region of Homel'¹³. It is situated in the south-eastern part of the region and borders the following districts: Homel' (Bel. *Homel'ski raën*)¹⁴ in the north-east, Brahin (Bel. *Brahinski raën*) in the west, Rëčica (*Rëčycki raën*) in the north-west and for a small part with Chojnicki (*Chojnicki raën*) also in the north-west. At the same time the district of Loeŭ is separated from the region of Černihiv (Ukraine) and, more specifically, with the former district of Ripky by the rivers Dnipro and partially Sož. The main administrative-economic and cultural centre is the town of Loeŭ located on the right bank of the Dnipro at approximately the same latitude of the Ukrainian village of Zaderijivka (Ukr. *Zaderijivka*, also object of research) and about 100 km south-west of the city of Homel'¹⁵.

¹² The questions were translated from Ukrainian into Belarusian and adapted to the needs of Belarusian respondents.

¹³ It is worth remembering that the region of Homel' is one of the six and largest regions making up the Republic of Belarus'. It is situated in the south-eastern part of Belarus', bordering Ukraine in the south and south-west and the Russian Federation in the east.

¹⁴ This is not to be confused with the region and the city of Homel'; the latter is considered to be the 22nd administrative unit and main political-administrative centre of the entire region, being endowed with a special status.

¹⁵ For a more detailed account about the district of Loeŭ, see: <<http://loeŭ.gomel-region.by/by/>> (latest access: 02.05.21).

According to the 2009 census, the ethnic component of the district of Loeŭ was made up by 92.9% Belarusians, 4.4% Russians and 1.84% Ukrainians. As to the native language (Bel. *rodnaja mova*): 87.05% of the inhabitants claimed Belarusian as their ‘mother tongue’; 11.6% opted for Russian and 1.35% indicated other languages. Of these 63.43 % said to use Belarusian in familiar settings and 32.54% Russian¹⁶. It is clear that these figures, as often remarked in similar studies, did not consider further variability and, under the tag ‘Belarusian’, also local dialects and, to a good extent, the BRMS (‘Trasjanka’) are to be included / understood. As pointed out by Kittel *et al.* (2018: 133) “[...] halten die meisten Sprecher die WRGR für eine Variante des Weißrussischen, was sich in den Zensus-Erhebungen ‘beschönigend’ für das Weißrussische niedergeschlagen haben konnte” (also, Hentschel, Kittel 2011).

Even though at this stage of research we do not have access to any quantitative data, participant observation (autumn 2017) confirmed that Russian, or its debated Belarusian variety (B-Russian)¹⁷, tended to dominate the language habits and the linguistic landscape of the centre of Loeŭ. The situation in the small district centre, especially in regard to the linguistic landscape, contrasts with that of Černihiv (Ukraine) but it reflects the generalized language attitudes of Homel’. The language situation of the Loeŭ surrounding periphery and further rural areas is less homogeneous as the data illustrated below reveals (cfr. § 3.), with a likely minor degree of Russification compared to the district of Homel’¹⁸. Also in this case, it can be spoken of as a sort of ‘polyglossia’ consisting of three sometimes overlapping layers: a) an official and ostensible asymmetric Belarusian-Russian bilingualism, with a clear-cut dominance of Russian over Belarusian; b) forms of Belarusian-Russian mixed speech whose peculiar features still need to be studied, especially in relation to the local dialects; c) rural dialect(s). As it will emerge in § 3., older people (especially over 75) in small rural villages still retain, to a great extent, their local dialect, even when addressed in Belarusian, Russian or Ukrainian. People of the middle generations (36-65) tends to speak B-Russian with additional local features with strangers and / or outsiders, using, presumably, the BRSM among themselves and in informal, non-controlled conversations as emerged in similar studies (Kittel *et al.* 2010). This point, however, remained unobserved during field work due to the relatively limited time spent in the place and also because it went beyond the immediate scope of research, prevalently directed to the acquisition of dialectal data.

¹⁶ Cfr. <<https://archive.is/20120523225241/belstat.gov.by/homep/ru/perepic/2009/itogii.php>> (latest access: 02.05.21).

¹⁷ The typical variety of Russian spoken in Belarus’ or ‘Belarusian Russian’ (also known as Russian ‘natiolect’) has been studied by a number of linguists both in Belarus’ and abroad during the last fifteen years. Among the most recent publications we can mention: Woolhiser 2012, Del Gaudio 2013b, Zeller, Sitchinava 2019 etc.

¹⁸ This statement based on personal observation needs to be verified and requires further field research.

3. *Language Situation in the District of Loeŭ*

The results of field research (autumn 2017; spring 2018) will be examined in this section. The analysed data will be compared with previous outcomes derived from parallel sociolinguistic studies conducted in the districts of Ripky (Ukraine) and Homel' (Belarus').

Most interviews with related questionnaires were conducted in the villages listed in TABLE 1. A small number of questionnaires was also distributed in the southern periphery of the town of Loeŭ (district centre). The essential geo-historical facts about each rural village were noted down during field-work or, alternatively, derived from the *Encyclopedia About Towns and Villages in the Region of Homel* (Marcèleŭ 2005) and, occasionally, from the Belarusian wikipedia¹⁹.

The questionnaire contained 40 questions. These were approximately structured in blocks of 10 questions. The FIRST segment concentrated on generic aspects and on the social characterization of informants, for example: nationality, place of birth, sex (gender²⁰), education, residence, mobility etc. More exactly, the first seven questions concentrated on such independent variables such as nationality, place of birth, sex, age etc.

The SECOND portion of questions was about the level and duration of school instruction / education, employment and / or retirement and the degree of mobility. Only two questions (respectively 10 and 12) were about the language of teaching at school.

The THIRD block and more relevant set of questions (18 to 30) focused on individual language use, perceptual assessment and characterization of the local dialect, first and / or native language in relation to other language varieties.

The FOURTH group of questions (31 to 36), asked for a) language and self-identification (e.g. Belarus', the region, the village etc.); b) language selection and the situational contexts: work, colleagues etc.; c) language use in the media or social media, e.g. internet etc.

The last three questions (37 to 39), once again, were about language (dialect). This time, though, respondents were asked to evaluate in percentage the use of the local dialect when they speak with either men or women and who, between men and women, more frequently uses the local dialect.

Adhering to the scheme of the two preceding pieces of research, all the fundamental language issues have been gathered in one single block, thus modifying the original structure of the questionnaire. This time, however, differently from previous contributions, questions 37 to 39, have been included in the block on "dialect and language use" (§ 3.3.). This change intends to simplify the analysis and comparison of language trends in order to attain a more effective discussion.

¹⁹ <<https://be.wikipedia.org/wiki/Ручаёўка>> (latest access: 10.04.21).

²⁰ From now on, we shall only use the term 'sex' for this variable since it best fits into a more isolated rural society which still keeps traditional values, e.g. self-identification and role subdivision.

TABLE 1. Villages in the district of Loeŭ (Belarus')

Rural settlements		Type of settlements	Population	Administration
Byval'ki	Бывалькі	village	802 (1999)	self-rule
Haradok	Гарадок	village	90 (1999)	dependent on Byvalki
Sinsk	Сінск	village	102 (1999)	administered by Byvalki
Dzjaražychy	Дзяражычы	village	159 (1999)	administered by Byvalki
Trascjanec	Трасцянец	village	99 (1999)	administered by Byvalki
Kaŭpen'	Каўпень	village	512 (1999)	self-rule
Krupejki	Крупейкі	village	583 (1999)	dependent on Kaŭpen'
Moħaŭ	Моħаў	village	359 (1999)	dependent on Kaŭpen'
Ručaĵoŭka	Ручаёўка	village	329 (2010)	self-rule
Dzimamierki	Дзімамеркі	village	226 (1997)	dependent on Ručaĵoŭka
Karpaŭka	Карпаўка	village	420 (1999)	self-rule
Abakumy	Абакумы	village	148 (1999)	dependent on Karpaŭka
Haminka	Хамінка	village	282 (1999)	dependent on Karpaŭka

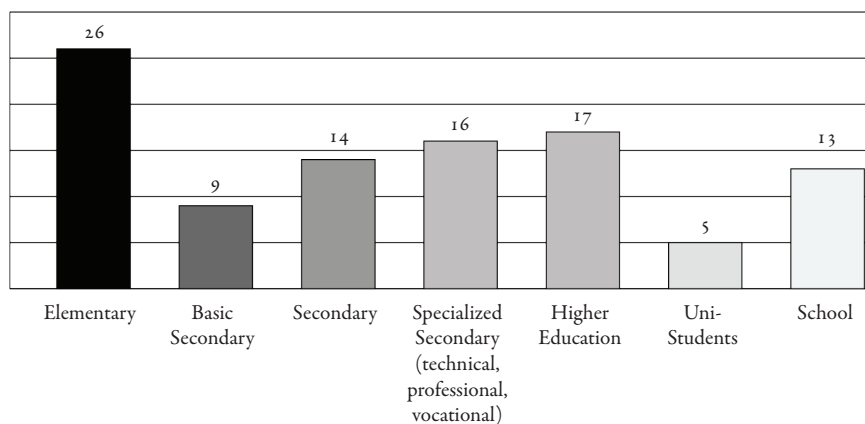
3.1. *Social Characterization: Nationality, Place of Birth, Age, Sex*

This section illustrates the first block of introductory questions. The absolute majority of respondents (96 out of 100) were born in Belarus' and originated from the surveyed area. Three female informants originally moved from the adjacent district of Ripky (region of Černihiv, Ukraine) and one was born in Russia. However, all had spent most of their life in this neighbourhood at the time of the interview.

AGE: the age of respondents ranged between 14 and 93 years: fifty belonged to the old generation (≥ 66); the other half was more heterogeneous, including the young, the middle and middle-older generation: ≥ 14 . The oldest respondent was a female aged 93 at the time of interview from Ručaĵoŭka, while the youngest were three teenagers (school) from Byvalki and Dzilaŭka.

SEX: in Loeŭ rural area female respondents clearly prevailed over the males: 78 vs. 22. The reasons for this gap, as amply discussed in the specialist literature, can be explained in terms of historical-demographic factors, especially in relation to the old population, and the higher degree of availability (retired) women have for social interviews (Del Gaudio 2020: 179).

GRAPHIC 1. Age and Education



■ Age: 72+	26					
■ Age: 61+		9				
■ Age: 42+			14			
■ Age: 23+				16	17	
■ Age: 17+						5
■ Age: 14+						
						13

3.2. Education, Language of Instruction, Occupation

This block of questions (№ 8 to 14) concentrated on such variables as education, language of school instruction²¹ and type of occupation.

Most respondents (**fifty-four**) were retired at the time of the interview. The other half can be roughly divided into two groups: 1) those who were working (**twenty-six**) and acknowledged different occupations, e.g. director, manager, nurse, teacher, driver etc. and 2) those who were attending either school (**twelve**) or university (**eight**).

The relation between age and education can be visualized in GRAPHIC 1: the graphic representation shows that pensioners (≥ 60) had generally elementary instruction which, in some cases, had not even been completed. A small group of **nine** people, whose age ranged between 61 and 85, just achieved basic secondary (“lower-middle”) education; **fourteen** completed secondary school (“middle education”); **sixteen** obtained a professional-technical instruction (“specialized secondary school”); **seventeen** received higher education (bachelor or more)²²; **five** were still university students and **thirteen** were still at school.

²¹ Except for the disciplines Russian language and literature, Belarusian is the language of elementary learning in many provincial schools.

²² It is worth noting that among the group who obtained higher education there was *one* ninety-year-old female respondent.

The limited schooling of the majority of older respondents is explained by the fact that these people were born between the two World Wars or just before the outbreak of the Second World War and, for a number of socio-economic reasons connected with the military conflicts, had a very limited access to education.

The most diversified level of education can be observed in the age group 23-65. This may range from basic secondary (one respondent) to secondary school (seven respondents) through specialized secondary (e.g. technical, professional and vocational schools) to (basic) higher education (e.g. university, college etc.), thus confirming the trend already reported for the district of Ripky and, partially, for the district of Homel' (Del Gaudio 2020: 185-186).

As mentioned above, younger respondents, between 14 and 22 years, with a clear prevalence of females over males (16 vs. 5), were mainly studying when the interviews took place. The number of female university students overtakes that of their male colleagues (5 vs. 2). These data are in line with the results of the 2009 all Belarusian census²³ and other recent studies (Kittel *et al.* 2018: 151).

This survey, just like those conducted in the districts of Homel' and Ripky (Ukraine) and other similar studies, confirmed that the level of education is, overall, directly proportional to age (Del Gaudio 2020: 185-186; Kittel *et al.* 2018: 150-152).

3.2.1. Population Mobility and Settlement Type

The majority of respondents (80%) was non-mobile or indicated limited mobility; this was mainly confined to the district or the region of residence. Some of the university students temporarily resided in Homel' or commuted to the city from the surrounding districts. All respondents claimed to have permanent residence in Belarus²⁴. Pensioners and children, as one might have expected, were essentially anchored to their village. A small minority of older respondents (12%) had spent from a few months to a few years outside the region of residence or abroad, for example in other former Soviet Republics. Two female respondents aged 60 had even been in Western Europe, accompanying children from the Čornobyl' (Černobyl') area to Italy and southern France for health / cure purposes. A more restricted number of 'real' dialectal speakers originated and spent most of their life in the rural villages whose population did not exceed 3,000 inhabitants.

3.3. Dialect and Language Use

As stated above, all the points dealing with language, particularly in relation to dialect use, distribution, selection and assessment, focus of the present study, have been assembled

²³ <<https://belstat.gov.by/by/statystyka/demagrafichnaya-i-satsyyalnaya-statystyka/adukatsyya/>> (latest access: 02.05.21).

²⁴ Question 16 asked: "Калі ласка, укажыце, колькі часу ў цэлым Вы правялі / пражылі ў наступных краінах або колішніх савецкіх рэспубліках?" ('Please, specify how much time did you live / have you spent in one of the following countries of former Soviet Republics?' Translated by the author).

TABLE 2. Everyday Language

1	Belarusian (basically in a “pure” form)
2	LOCAL DIALECT
3	Russian (in a more or less “pure” form)
4	Belarusian with some Russian words
5	Russian with some Belarusian words
6	Belarusian with some Ukrainian words
7	Mixed language with a high occurrence of Belarusian, Ukrainian and/or Russian words
8	Other...

in this subsection. Central to this research were questions 18 to 23 and, to a more limited extent, questions 37 to 39.

Questions 18 to 23 directly addressed local speakers. These tried to elicit speakers’ judgements and evaluations (their perceptual characterization) about the language/dialect variety they use in everyday communication.

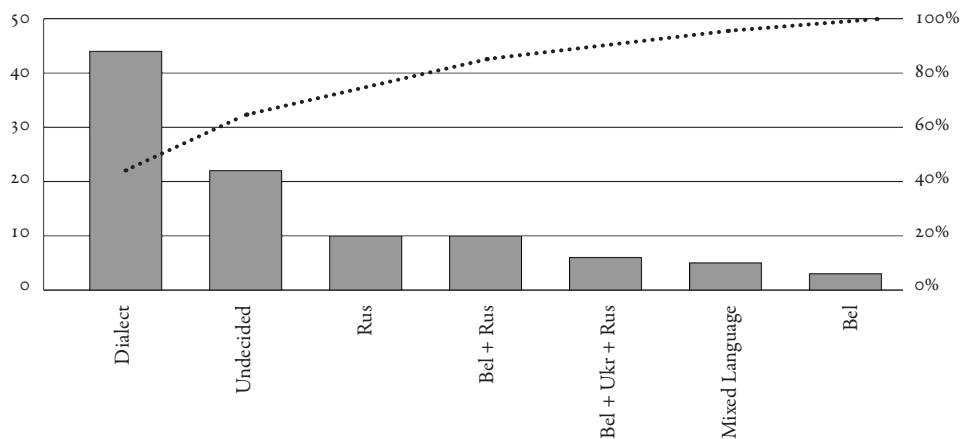
Question 18 was about everyday language selection. All the options to the question: “which language do you generally use in everyday life?” are well illustrated in TABLE 2²⁵: **forty-four** respondents acknowledged the local dialect as their primary language of everyday communication: **thirty-six** were between 66 and 93 years, and **eight** were between 15 and 65 (cfr. GRAPHIC 2). These results (44%) are closer to those obtained in the district of Ripky (49%) since the age range also includes respondents of the middle and young generations. On the other hand, a substantial variation in the use of dialect can be noted between the first two districts and that of Homel’ where only 13 to 15% acknowledged the local dialect²⁶ as their everyday language (cfr. Del Gaudio 2020: 188).

The relation between age and dialect use as everyday language revealed that also in the case of Loeŭ people of the older generation (66+) are more accustomed to the local dialect.

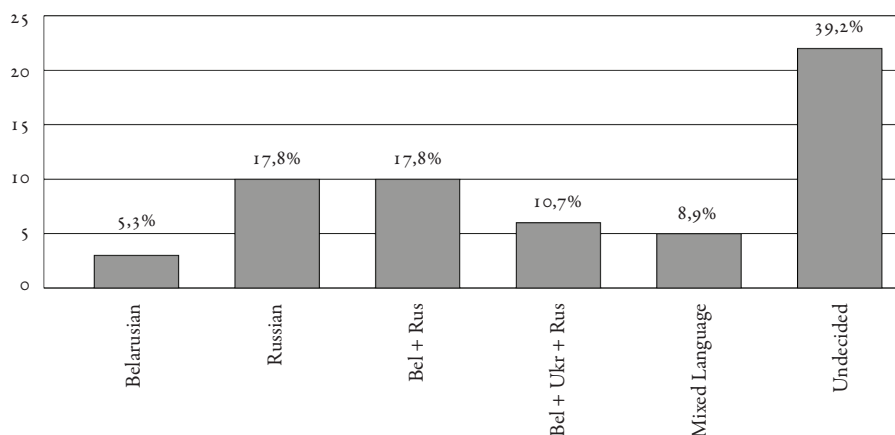
²⁵ The original question in Belarusian was: “Якую мову Вы, у асноўным, выкарыстоўваеце ў паўсядзённым жыцці?” (‘Which language do you generally use in everyday life?’). The options were: 1) Беларуская (у асноўным у ‘чыстай’ форме); 2) Мясцовая гаворка; 3) Руская (у асноўным у ‘чыстай’ форме); 4) Беларуская з некаторымі рускімі словамі; 5) Руская з некаторымі беларускімі словамі; 6) Беларуская з некаторымі ўкраінскімі словамі; 7) Змяшаную мову, з вялікай колькасцю як беларускіх, так і ўкраінскіх або рускіх слоў; 8) Іншая, а менавіта: ... (For the translation of these questions, see: TABLE 2).

²⁶ It should be remembered, however, that the survey could not be completed in the district of Homel’ for a number of hindrances. Otherwise, it is assumable that respondents claiming the local dialect as the everyday language would be higher but, according to our observation, less than in the Loeŭ area.

GRAPHIC 2. Every Day Language Use in the District of Loeŭ

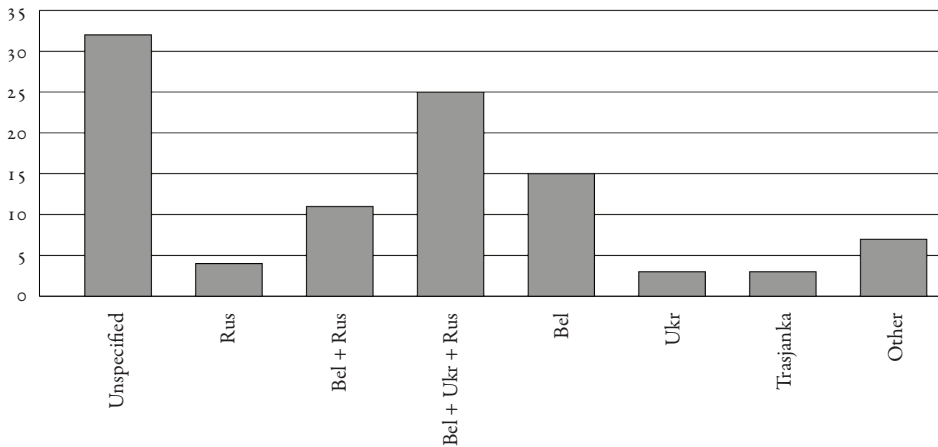


GRAPHIC 3. Language Use Except for the Local Dialect



The preferences about everyday language use, with the exclusion of the local dialect, (calculated on 56 persons), showed a more heterogeneous picture (cfr. GRAPHIC 3): **ten** respondents claimed they only use Russian as every day language (17.8%); **ten** respondents reported Belarusian and Russian (17.8%); **six** (not all originating from the nearby district of Ripky, Ukraine) said they were using Belarusian, Ukrainian and Russian (10.7%); **five** explicitly spoke of a mixed language (8.9%); **three** university students, most probably of the philological faculty of the university of Homel, acknowledged standard Belarusian as the main language of communication (5.3%) while the rest (**twenty-two**) was undecided or, most probably, tended towards a dialectal based mix (39.2%). The use of Ukrainian in the district of Ripky is not considerably higher since only 8% of the 100 respondents claimed to exclusively use standard Ukrainian as the language of everyday communication.

GRAPHIC 4. About the Local Dialect



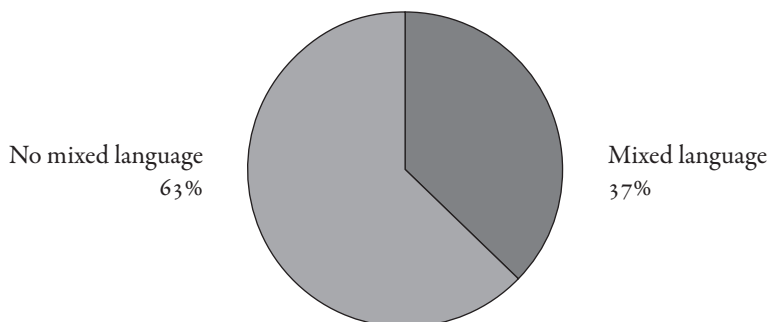
In question 19 respondents were asked, especially if they acknowledged themselves as dialectal native speakers, to provide a short description of their dialect (in concealed relation to Belarusian, Russian and Ukrainian) and to label it²⁷ (cfr. GRAPHIC 4).

The most frequent answer was simply “*mjascovaja*”, literally ‘local’, i.e. local dialect. As it was observed in the previous pieces of research, older dialectal informants, on the whole, seemed to be more aware of the similarity between their local dialect and Ukrainian, Russian or both languages. In fact, **twenty** respondents (20%), mainly belonging to the old generation (age: 74+) with the addition of **five** of the middle-older generation (age range: 39-67) associated their dialect with Belarusian, Ukrainian and Russian. The picture becomes looser when the entire age range is considered: **eleven** respondents (age: 14 to 67) claimed that their dialect is just similar to Belarusian and Russian; **fifteen** (age: 16-81, among them the absolute majority was between 42 and 72 years) correlated their dialect only to Belarusian; **three** speakers (two teenagers from Byvalki and a forty two year old female with higher education from Loeŭ openly spoke of “Trasjanka” (BRMS); **three** (age: 66-76) associated it with Ukrainian and **four** (age: 37-69) with Russian. On the other hand, **thirty two** respondents, covering a wide age range: 14 to 80, could not provide the interviewer with a concrete answer. Finally, a smaller group saw either no similarities or just reasserted the word “dialect”.

In this survey, in contrast to the data obtained in the districts of Ripky and Homel, the similarity with the language of the neighbouring country, in this case “Ukrainian” was mentioned thrice. It should be reminded that Ukrainian respondents of the same age

²⁷ The Belarusian question was: “Ці можаце каротка расказаць пра вашу гаворку?” (‘Can you shortly tell about your local dialect?’ Translated by the author).

GRAPHIC 5. BRMS “Trasjanka”



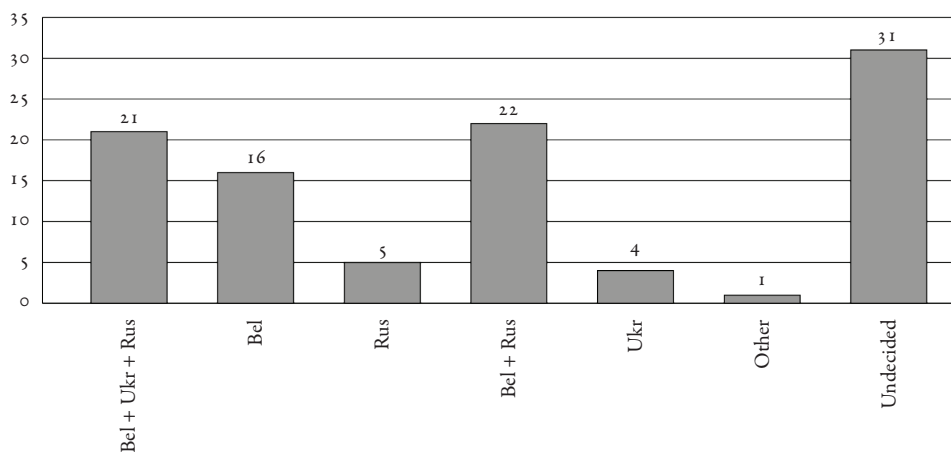
group in the district of Ripky barely associated any formal-structural similarity with Belarusian or, we can add, its varieties (Del Gaudio 2020: 189). As clearly illustrated above, a high degree of uncertainty can be noted in the perceptual attempt at defining the local dialect. In other words, about a **third** of local speakers of different age groups had difficulties in describing the affinity their home dialect shares with other related varieties and standard languages²⁸. Moreover, a certain degree of reticence was observed in the use of the word “Trasjanka”: only three respondents assimilated their speech to the Belarusian-Russian mixed speech (BRMS) and spoke frankly about it.

This cautiousness was confirmed by the next yes/no question (20) in the use of the mixed speech “with the addition of Ukrainian and Russian words”²⁹. Here (cfr. GRAPHIC 5), **sixty three** respondents out of one hundred (63%) denied the use of the mixed speech altogether, even contradicting their previous answers (question 19). Almost all typical dialectal speakers who had acknowledged the existence of Belarusian, Ukrainian and Russian elements in their local dialect (which our parallel dialectal study confirms to be true) categorically avoided this definition. As assumed, most respondents who admitted the use of the mixed speech as one of the main communication means belonged to the young and middle-older generations, in particular they were between 14 and 64 years of age, thus making up 25% of the affirmative answers. It should be pointed out, however, that quite a few respondents between 66 and 75 years of age (12%) also recognized themselves in this category.

²⁸ The speakers’ difficulty in assessing and describing their home dialect (perceptual dialectological approach), differentiating it from related forms of language mix is also confirmed by dialectal studies still underway. If some distinctive / formal criteria have been suggested to distinguish Ukrainian from other related varieties, e.g. Ukrainian-Russian language mix (cfr. Del’ Gaudio 2015a), the same, at the present stage of research, cannot be said for Belarusian.

²⁹ The exact question was: “does it happen that you sometimes speak a mixed language containing Belarusian, Ukrainian and Russian words?”

GRAPHIC 6. Dialect Similarity



It must be said, however, that the ‘traditional’ dialectal vernacular increasingly tends towards forms of language mix with a strong Russian component. These changes mostly concern young people’s speech. At the current stage of research it is difficult to prognosticate whether this process is more or less advanced than on the Ukrainian side of the border.

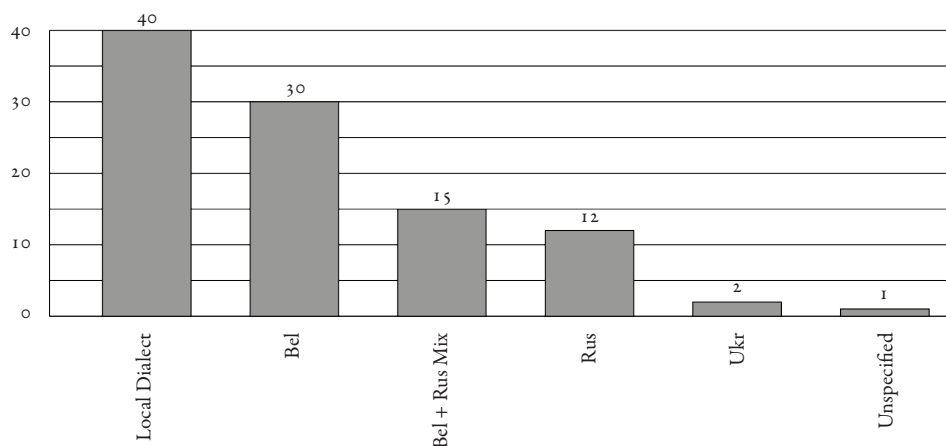
The subsequent question (21 “which of the following options is true of the dialect you speak”) aimed at completing the issue about the degree of similarity the local dialect has with the languages spoken in the border region, namely Belarusian, Ukrainian and Russian.

The answers substantially reflect the results obtained in question 19 (“about your dialect”): **twenty one** respondents, mainly older than 66 years, confirmed that they speak in a dialect which equally resembles Belarusian, Ukrainian and Russian; **sixteen** belonging to different age groups (16-81) just indicated Belarusian; **five** said Russian; **twenty two** saw an equal share of Belarusian and Russian in their speech but four respondents acknowledged a stronger Belarusian component; **thirty one** interviewees could not give a definite answer; **four** respondents found affinity with Ukrainian and **one** did not perceive any similarities at all. These data are represented in GRAPHIC 6.

In the foregoing points, particularly in graphic 4 and 6, it has emerged that primarily older speakers perceive a similarity of their local dialect as well as with Ukrainian. Older villagers’ perceptual evaluation probably relies on the fact that their dialectal varieties, particularly if compared with those of the middle and younger generations, have been less intensively affected by the strong standardization wave and process of convergence, especially towards Russian. In addition locals used to move more freely than today across the respective state borders during the Soviet period (and earlier in the Russian Empire), thus enhancing the communication possibilities with speakers living on the other side of the dialectal continuum³⁰. This constant interaction contributed to assure a more stable

³⁰ This aspect will be dealt with in a separate study.

GRAPHIC 7. First Language (L1)



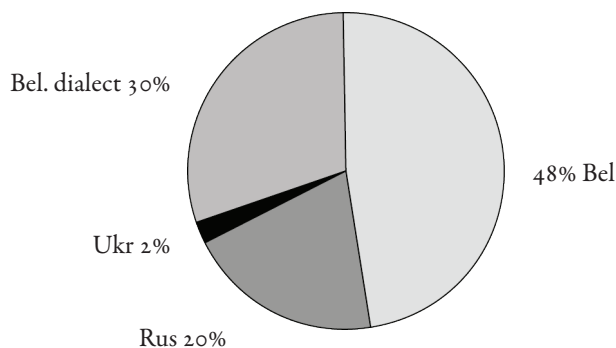
and consistent linguistic character to the dialects spoken across the borders. The gradual increasing in divergence between the so called ‘transitional dialects’³¹ and their perception by their respective speakers undoubtedly depend on a number of factors such as a) school instruction accompanied by a more capillary diffusion of standard languages, b) growing mobility to large urban conglomerates or even emigration to other European countries, particularly in the last two decades, c) mass-and social media etc. The process of divergence in the micro language situation of these three contiguous areas began to change more rapidly after 1991 (e.g. the proclamation of Independence of both the Republic of Belarus’ and Ukraine) but it has become even sharper since the mid-2000s with the increased prestige of Ukrainian on its side of the border. Moreover, as already argued, both Ukrainian and Russian, although in different domains, exert a certain influence on local dialect(s) in the district of Ripky. On the other hand, in the districts of Loeŭ and Homel’ the *de facto* ‘roof-language’ is only Russian. Nevertheless, personal observation and some of the obtained data seem to suggest that the Belarusian-based varieties (including the BRMS) are slightly better off in the district of Loeŭ than in that of Homel’. However, this last point deserves further quantitative research.

Questions 22-23 asked about “which language/ dialect/ mixed speech locals began to speak as “first language”³² and in which situational context (home, school, work, street etc.). The selection followed among these languages: Belarusian, Ukrainian, Russian, lo-

³¹ The appropriateness of this conceptual characterization of these dialects will be re-examined in a separate study.

³² In general terms both definitions can be regarded synonymically as the first language a child begins to speak (= L1). However, in the case of Belarus’ and Ukraine the *native language* or *mother tongue* (Bel. *rodnaja mova*; Ukr. *ridna mova*) usually refers to the language of the (dominant) ethnic group of belonging rather than the language an individual began to speak first in the

GRAPHIC 8. Native Language



cal dialect, mixed Belarusian-Russian, mixed Belarusian-Ukrainian and / or other. The answers allowed more than one option. As is visible in GRAPHIC 7, **forty** respondents claimed dialect as L1; **thirty** Belarusian; fifteen the BRMS; **twelve** Russian – probably in its national or, more exactly, regional variety; **two** Ukrainian and **one** was undecided.

If we compare the above data with those obtained from the thematic related question 30: “Which language(s), besides those already mentioned, do you consider native?” (GRAPHIC 8)³³, the difference is remarkable, especially in connection with the options Belarusian (48%) and local dialect (30%). These results showed inverted positions compared to what had emerged in the previous graphic (7).

As already mentioned, such a discrepancy in favour of Belarusian as mother tongue (cfr. Bel. *rodnaja mova*) is not surprising (cfr. § 2.) and it is perfectly in line with the outcomes derived from analogous works (cfr. Zeller, Levikin 2016). It is well known that change in speakers’ attitudes can be explained in terms of national, cultural and psychological associations connected with the idea of the ‘national’ language³⁴ and state loyalty. Similar results about the language of the titular nation can in fact be found in the two parallel studies conducted in the districts of Ripky (Ukraine) and Homel’ (Belarus’). Moreover, the concept of what is to be understood under first language (L1) remains somehow vague for the average speaker.

domestic environ. Therefore ‘mother tongue’ is usually associated with a marker of ‘Belarusianess’ or ‘Ukrainianess’ and, as we shall see, this subtle opposition may bring about different results.

³³ Original question: “Якую мову / якія мовы, апрача вышэйназванай, Вы лічыце таксама сваёй роднай мовай (-амі)?”. The proposed options of the list were shortened and restricted to the following four: 1) local dialect (on a Belarusian base), 2) Belarusian, 3) Russian, 4) Ukrainian.

³⁴ In the Belarusian and other linguistic traditions, the term national language may be used synonymously with official and / or standard. Here the semantic inverted commas underline the role of Belarusian as the language of the Belarusian nation associated with specific cultural-historical and ethnic values which are *not* shared by all speakers alike.

The data reported in this subsection once again confirmed the higher degree of variation in language selection between the more isolated rural settlements and the urban centres. In Loeŭ and, even more manifestly, in Homel', Russian dominates most of the communicative spheres and all public domains in both its varieties (i.e. the more common B-Russian and the more controlled standard Russian specific to highly educated social groups). In small rural communities, local speakers, at least among themselves, may still speak the local dialect along with a gradience of mixed varieties. The use of standard Belarusian remains confined to isolated speakers of the middle-younger generations with a middle-higher education level and whose profession and/or university degree is directly connected with the Belarusian language and culture. In the adjacent Ripky area, as mentioned in other articles, the use of standard Ukrainian, although still limited and with an uneven distribution, is definitely more consistent, at least among young professionals. The social-political circumstances of the last five or six years and the outbreak of the Ukrainian-Russian conflict (2014 until today) has certainly given an impulse to the use of Ukrainian. Whether the relatively recent Belarusian social and political upheavals and anti-government demonstrations started in August 2020 will affect the further course of language policy and related language issues cannot be excluded. A sudden change could take place in case an unexpected turning point should occur in favour of more 'democratic' forces. But even in such a hypothesis, cultural changes always reach rural peripheries with a notable delay³⁵.

Question 23 asked for the place locals began "to speak the local dialect or, alternatively, the mixed speech". The options were: at parents' home, nursery school/school, university, college, technical schools, street, work, other. More than half of respondents indicated the parents' home as the place where they first began to acquire both the dialect: 60% (age range: 66 to 93) and the mixed speech 30% (age range: 14 to 65). A percentage could not be assigned to the above mentioned situational contexts because of the limited number of answers (about 10%). Nonetheless we plan to return to this point in a further stage of research. The picture is similar to the one obtained in the district of Homel' and in the Ripky area (Ukraine) but in contrast to what had been reported for Ripky, no one marked the options: college and/or university as the place where they began to speak either varieties.

Additional points concerned with language – although less relevant for the present research – were questions 33 to 39 (with the exception of 34). The full range of answers is unavailable for questions 33 and 35 to 38 and therefore the data reported below are incomplete. For this reason the data reported below can only give a partial view of the real language selection³⁶.

³⁵ This can be seen, for example, in the replacement of sign posts on the Ukrainian side of the border where, until our personal observation (early Summer 2020), the old nomenclature was partially kept despite the fact that a Ukrainian law on place names had been passed in 2016 and most Ukrainian towns had completely re-named their streets.

³⁶ We are planning to complement/supplement the missing data in a subsequent research.

Question 33 directly asked respondents to assess a sort of gradiency scale of which language and/or variety they select when speaking with people of different ages: a) older than 65; 35 to 65; 18 to 34; teenagers and children. A relative majority (30%) indicated dialect as the variety most frequently used when they address older people, especially over seventy years of age. This outcome is in line with previous research. Russian is used by 10% of respondents with the old generation while no answer was given for Belarusian and mixed speech. On the other hand, 25% of respondents indicated mixed speech as the usual variety when turning to people between 35 and 65 or even younger; 15% Russian and 4% Belarusian in its standard form. This ratio contrasts with the results obtained in the district of Homel' where the percentage of those using Russian with all age groups is significantly higher: 60% of the total. The trends indicated above differ, at least to a certain extent, with the data obtained in the Ripky area where, as is known, standard Ukrainian occupies a somewhat better position than standard Belarusian, and Russian is more evenly distributed along the different age groups (cfr. Del Gaudio 2020: 192-193).

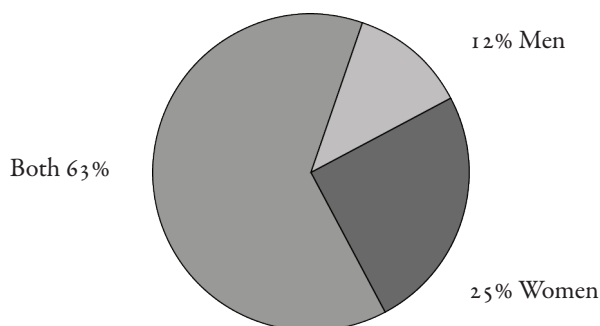
Questions 35 and 36 can be seen as a countercheck and, at same time, a deepening of question 23 since they tried to establish in further detail which language people select in 1) educational institutions (35) and 2) in a work environments (36). The choice in both cases implied: Belarusian, dialect, Russian, mixed speech with a triple distinction: mixed speech more similar to a) Russian; b) Belarusian; c) Ukrainian.

As for the language used in educational institution, in particular at school (question 35), we obtained the following (partial) results: dialect 5%; Russian 10%; Belarusian: 40%; BRMS 10%. The overwhelming use of Belarusian is obviously true only for some rural realities where the number of schools with Belarusian as the main language of instruction is territorially better rooted compared to middle and large urban settlements. This finding is confirmed by similar studies, although their statistical data refer to the period 2009-2010 (Kittel *et al.* 2018: 150)³⁷. Belarusian in the district of Loeŭ seems to enjoy a slightly fairer distribution, at least officially, than in the district of Homel' where Russian covers larger space in educational institutions. However, students at school, just as on the Ukrainian side of the border, tend to speak the mixed speech and/or Russian among themselves and in informal situational contexts.

Questions 37 to 39 conclude the block on language issues. In questions 37 and 38 respondents were asked to indicate which language variety among Belarusian, dialect, Russian and/or mixed speech they select when they speak with the opposite sex: men with women and women with men and, subsequently, to assign a percentage. On the other hand, question 39 simply asked to assign a percentage to those, between men and women, who, in the respondents' opinion, more frequently use the local dialect as the main communicative source. Questions 37 and 38 were only partially answered while all respondents answered question 39 (cfr. GRAPHIC 9). A clear majority of respondents (63%) specified that both men and women

³⁷ Also, see: *Tavarystva belaruskaj školy*, <<http://news.tut.by/society/246883.html>> (latest access: 03.05.2021).

GRAPHIC 9. Dialect Use Between Men and Women



make equal use of the dialect; 25% indicated women as more often turning to dialect, and 12% answered men. By and large, these answers reflect the results previously obtained in the districts of Homel' and Ripky. In the latter district, however, the absolute majority of respondents claimed an equal use of dialect between men and women, and only an insignificant percentage claimed that men more often turn to the local dialect in everyday communication.

3.4. *Media and Language Selection*

Questions 24 to 29 can be interpreted as a kind of semi-distractors since they asked about the relation between language selection and people's habits, preferences in the choice of TV programmes, reading materials, internet and social media.

Russian clearly prevails over Belarusian in the mass and social media. Belarusian covers no more than a small percentage of the communicative space³⁸. This is, at least officially, in evident contrast with the Ukrainian situation where teenagers and students have access to a relatively high percentage (75%) of Ukrainian broadcasting and internet sites³⁹.

As to the language of TV (question 25), the absolute majority of respondents (80%) stated that they regularly watch television. A small minority, made up of students and very old people, (20%) affirmed they do not watch television at all. The choice of programmes, especially for those respondents who live in the proximity of the Ukrainian border, is rela-

³⁸ A specific law regulating the 'quotas' in broadcasting activities is most likely inexistent. The only recent data are on the percentual use of Belarusian in press, journals and books in the period 1918-2018 (cfr. Rasinski 2019), <https://belinstitute.com/sites/biss.newmediahost.info/files/attached-files/2019-2-18%20Mova_Rasinski_FINALIS.pdf> (12.06.2020). Noteworthy is the fact that this page is not yet available or it has been deleted (latest access 02.05.2021).

³⁹ Cfr. Article 24 on the *State Language in Broadcasting Activities (TV and Radio)* (Ukr. Державна мова у сфері телебачення і радіомовлення), <<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19>> (11.06.2020).

tively ample. These people have simultaneously access to Belarusian, Ukrainian and Russian channels. However, Russian continues to be the most popular choice even in the district of Loeŭ with 56% of preferences; Belarusian follows with 44%. One needs to differentiate between those interviewees who sporadically search for broadcasting in Belarusian (16% of 44%) and those who more constantly claimed to be watching Belarusian programmes (30%). The preference assigned to Russian is also a direct consequence of the limited number of programmes in Belarusian. Belarusian state channels mainly broadcast in Russian, Belarusian is mainly confined to some commercials and news⁴⁰. Among the aforesaid respondents, 12% of the interviewees admitted to frequently listening to and/or watching programmes and films in Ukrainian⁴¹ and 10% rarely. The percentage of those choosing broadcasting in Ukrainian significantly differs from the situation witnessed so far in the districts of Homel' and Ripky in relation to Belarusian (cfr. Del Gaudio 2020: 195). Relying on these data, it can be said that Ukrainian enjoys a somewhat higher prestige in Belarus' than Belarusian in Ukraine. This may depend on a series of factors: a) the more consistent number of real speakers of Ukrainian; b) its longer and more consolidated literary and journalistic tradition; c) the territorial extension of the state and, last but not least, d) the fact that Ukrainian enjoys the status of the only official language of the neighbouring country.

Question (27) about "the language in which people read the press and books" does not substantially alter the picture reported above, particularly with reference to Belarusian and Russian. In fact 60% of all respondents sometimes read a newspaper or a journal. People of the middle-older generation tend to read more regularly than the younger generations who make a larger use of internet and social networks. A small majority (40%) occasionally reads local papers and books in Russian; 28% claimed to read occasionally in Belarusian: what sort of literature, though, remained unspecified. It was objectively difficult to find Belarusian press in newsstands not only in Loeŭ but also in Homel'⁴². As to Ukrainian, 8% admitted to rarely turn to Ukrainian press. This last outcome slightly differs from the results of the districts of Homel' and Ripky where almost no one appeared to be interested in reading the neighbour's language.

3.5. *Nationality, Identity and Language*

For the sake of brevity, questions 30 and 31 about language and identity (self-identification) will not be examined here in detail. Nevertheless, after a preliminary assessment of

⁴⁰ The TV channel Belsat (Bel. *Belsat*, Pol. *Bielsat*) which broadcasts in Belarusian language is based in Poland. It covers most of the former USSR but it is unavailable in Belarus'. Other senders, e.g. euroradio.fm; radyë svaboda (Czech Republic) are also subject to contingent restrictions and are mainly addressed to an intellectual élite who often coincides with the political opposition.

⁴¹ These people probably have relatives in Ukraine, they could be of Ukrainian origin or they live in border towns along/on the opposite site of the river Dnipro.

⁴² Personal observation 2017-2018.

available data and on the basis of analogous studies, it can be stated that most respondents consider themselves Belarusians independently from the language they speak. A similar attitude to language and identity can be found in the district of Ripky (Ukraine) and Homel' (Del Gaudio 2020: 198). In contrast to the preceding Ukrainian survey, however, respondents did not directly express themselves about their identification with a specific ethnic-cultural identity such as for example: East Slavic, Russian, European etc. (question 32). In general terms all respondents recognized their belonging to the Belarusian nation. Question 33 about "the sense of 'Belarusianness' in connection with a series of related variables such as place of birth, Belarusian origin, citizenship, respect of the law etc." as for the district of Homel' was left unanswered by the large majority of respondents.

4. *Towards a Final Conclusion*

The analysis of the most essential aspects characterizing the language situation in the rural district of Loeŭ temporarily concludes a piece of research devoted to the language situation across neighbouring border areas.

The methodological design adopted for the collection of language (dialect) and social data in the district of Loeŭ (cfr. § 1.) does not substantially differ from the approach used for the adjacent areas of Ripky and Homel'. The main difference consisted in the time available for each concrete field situation and logistic-organizational circumstances (cfr. Del Gaudio 2018b, 2020: 178-179).

Hence the necessity of conducting in the future additional fieldwork on the Belarusian side of the border. However, despite the lack of additional social data and some informational gaps concerning a) the "relation between the local dialect(s) and the mixed speech"; b) "a more accurate perceptual assessment of the local dialect"; c) "language, nationality and identity", a certain degree of reliable generalization can be accomplished.

The language selection in the surveyed rural areas essentially rotates around the following varieties: a) the local dialect(s); b) the B-Russian with some local (regional) features that also would deserve a closer examination and c) forms of mixed speech (linguistically known as Belarusian-Russian mixed speech or, in some specialist literature as "Trasjanka"). The latter variety could also include Ukrainian features, more evident in the speech of the middle-older generations where the process of dialect shift towards Russian is still underway. This last point also requires further research.

The entire rural territory is therefore characterized by an overlapping of different language codes, whose realization depends on a series of more or less interrelated variables. The local dialect(s)⁴³ are chiefly spoken by the older generations (66+) and best preserved by the oldest respondents (75+). This age group tends to be more aware of the (structural-lexical) similarities with the neighbouring languages, e.g. Ukrainian, Belarusian and Russian. However, the strong urbanization waves which intensified in the second half of the

⁴³ They are still being analysed.

20th century in all the former Soviet Union, along with the constant process of intense standardization, especially in favour of Russian, have noticeably reduced the use of dialects, triggering a dialectal levelling towards standard forms. The local dialect(s), in the entire examined area, is no longer the main source of everyday communication as might have been the case until the end of 1950s, when the collection of most dialectal Atlases had been already completed.

The compared figures showed that about half of respondents select dialect in everyday life in both the rural areas of Loeŭ (44%) and Ripky (49%) but less consistently in the district of Homel' (26%). It should be pointed out that significant variation between the first two results and that obtained in Homel' partly depends on the lower number of questionnaires returned for the Homel' area. The language options of the other half of respondents, especially those whose age ranged between 36 and 65, disclosed a more complex picture. This is in fact the population layer that may use the full scale of varieties with a preference for mixed speech in non-formal contexts, e.g. family, friends, (also considering the variable education). The linguistic characteristics of the mixed speech, especially in relation to the local dialects, still need to be studied for the Belarusian dialectal area. On the contrary, for the Ukrainian side, as already argued, the attempt at drawing a line differentiating local dialects from language mix is somewhat less complex. At present, however, the differentiation between Belarusian local dialects and forms of mixed speech goes beyond the scope of this paper.

Speakers of the middle and, above all, younger generations (14 to 35), unless they have a specific philological-linguistic background or a well-developed language consciousness, are less aware of the Ukrainian component in the 'Belarusian' dialects and / or of the Belarusian component in the 'Ukrainian' dialects. Young generations, with a few exceptions, tend to assimilate their local dialect to the BRMS in Belarus' and to URMS in Ukraine. In addition, young speakers, contrary to the assessment expressed by the middle and older generations who are more aware of the Belarusian and / or Ukrainian features in their 'language', are inclined to associate their dialect or, more likely, mixed speech to the 'roof' languages of their respective 'national' areas: Belarusian and Russian or Ukrainian and Russian.

Russian remains for the entire border region the main language of interethnic communication and it is widely used in most semi-formal situational contexts with a different gradience of frequency and distribution between the Ukrainian and Belarusian districts. Yet, in the Ripky area a growing minority of well-educated young speakers consciously opting for the 'national' language tend to characterize the Ripky district over the last decade, whereas young language 'patriots' are definitely rarer and more isolated in the Belarusian part of the border.

As to language selection in mass- and social media, the following generalization is possible: the state languages (in the case of the Belarusian districts this is Russian) dominate in TV programmes, Internet, social media, press and literature. Nevertheless, a small minority of informants likewise watches Ukrainian TV in Belarus' and Belarusian TV in

Ukraine. On both sides of the border, though, one notes a tendency to avoid reading in the 'national' language of the bordering land.

Another common cross-regional discrepancy can be observed in the option about first language and native language (mother tongue). When the question is about the mother language, the number of respondents who chose Belarusian in Belarus' and Ukrainian in Ukraine noticeably increased, followed by Russian and local dialect(s).

The issues of language in relation to social and national identity have been marginally dealt with for the Belarusian districts in consequence of the limited number of answers.

The points discussed in this study will be further developed in a successive stage of research. This will be necessary in order to give a more comprehensive interpretation of the language situation of the entire border area.

Literature

- Avanesaŭ 1964 R.I. Avanesaŭ, *Narysy pa belaruskaj dyjalektalohii*, Minsk 1964.
- Bevzenko 1985: S.F. Bevzenko, *K voprosu o kriterijach razgraničeniya ukrainsko-belorusskich porubežnych govorov*, in: *Tezysy dokladov i soobščeniŭ III Respublikanskoj konferencii*, I, Homel' 1985, pp. 10-12.
- Blinava, Mjacel'skaja 1980: Ė.D. Blinava, E.S. Mjacel'skaja, *Belaruskaja dyjalektalohija*, Minsk 1980.
- Buzuk 1926: P.A. Buzuk, *Vzajemovidnosyny miž ukrajin'skoju ta bilorus'koju movamy*, in: "Zapysky istoryčno-filolohičnoho viddilu", VII, 1926, 6, pp. 421-426.
- Del Gaudio 2013a: S. Del Gaudio, *Zwischen Ukrainisch und Weißrussisch: nordukrainische (polessische) Übergangsdialekte des linken Ufers*, "Wiener Slawistischer Almanach", LXXII, 2013, pp. 35-54.
- Del Gaudio 2013b: S. Del Gaudio, *Russian as a Non-Dominant Variety in Post-Soviet States: A Comparison*, in: R. Muhr et al. (eds.), *Exploring Linguistic Standards in Non-Dominant Varieties of Pluricentric Languages*, Frankfurt am Main et al. 2013, pp. 343-363.
- Del Gaudio 2014: S. Del Gaudio, *Per un approccio preliminare ai dialetti di transizione ucraino-bielorussi*, in: A. Bonola, P. Cotta Ramusino, L. Goletiani (a cura di), *Studi italiani di linguistica slava. Strutture, uso e acquisizione*, Firenze 2014, pp. 273-288.
- Del' Gaudio 2015a: S. Del' Gaudio, *Ukrainsko-russkaja smešannaja reč' "suržyk" v sisteme vzajmodejstvija ukrainskogo i russkogo jazykov*, "Slověne", IV, 2015, 2, pp. 211-246.

- Del Gaudio 2015b: S. Del Gaudio, *The Concept of "Dialect" in the East Slavic Tradition and in Western European Languages*, "Aktual'ni problemy ukrajins'koji linhvistyky. Teorija i praktyka / Current Issues of Ukrainian Linguistics: Theory and Practice", XXIX, 2015, pp. 7-20.
- Del Gaudio 2017: S. Del Gaudio, *An introduction to Ukrainian Dialectology*, Frankfurt am Main *et al.* 2017 (= Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 94).
- Del Gaudio 2018a: S. Del Gaudio, *Recent Changes in the Linguistic Landscape of Černihiv*, "Slov"jans'kyj svit", 2018, 17, pp. 83-94.
- Del Gaudio 2018b: S. Del Gaudio, *Between Three Languages, Dialects and Forms of Mixed Speech: Language and Dialect Contacts in Ukrainian-Belarusian Transitional Area*, in: L. Salmon, G. Ziffer, M.G. Ferro (a cura di), *Contributi italiani al XVI Congresso Internazionale degli Slavisti. (Belgrado, 20-27 agosto 2018)*, Firenze, pp. 79-93.
- Del Gaudio 2020: S. Del Gaudio, *Language Situation in the District of Ripky (Černihiv)*, "Russian Linguistics", XLIV, 2020, 2, 2020, pp. 177-201, DOI: <<https://doi.org/10.1007/s11185-020-09226-x>>.
- Del Gaudio 2022: S. Del Gaudio, *Language Situation in the District of Homel' (Belarus)*, "Die Welt der Slaven", forthcoming.
- Durnovo *et al.* 1915: N.N. Durnovo, N.N. Sokolov, D.N. Ušakov, *Opyt dialektologičeskoj karty russkogo jazyka v Evrope*, Moskva 1915 (= Trudy Moskovskoj dialektologičeskoj komissii, 5).
- Hancov 1928: V. Hancov, *Dialektni meži na Černihivščyni. Zapysky Ukrajins'koho naukovoho tovarystva v Kyjevi*, in: M. Hruševs'kyj (red.), *Černihiv i pivnične Livoberežžja. Ohljady, rozvidky, materialy*, XXIII, Kyjiv 1928, pp. 261-280.
- Hentschel, Kittel 2011: G. Hentschel, B. Kittel, *Weißrussische Dreisprachigkeit? Zur sprachlichen Situation in Weißrussland auf der Basis von Urteilen von Weißrussen über die Verbreitung "ihrer Sprachen" im Lande*, in: S. Kempgen, T. Reuther (Hrsg.), *Slavistische Linguistik*, München 2011 (= "Wiener Slawistischer Almanach", 67), pp. 107-135.
- Hentschel 2017: G. Hentschel, *Eleven Questions and Answers about Belarusian-Russian Mixed Speech ("Trasjanka")*, "Russian Linguistics", XLI, 2017, 1, pp. 17-42, DOI: <<https://doi.org/10.1007/s11185-016-9175-8>>.
- Kittel *et al.* 2018: B. Kittel, D. Lindner, M. Brüggemann, J.P. Zeller, G. Hentschel, *Sprachkontakt – Sprachmischung – Sprachwahl – Sprachwechsel. Eine sprachsoziologische Untersuchung der weißrussisch-russisch gemischten Rede "Trasjanka" in Weißrussland*, Berlin *et al.* 2018.
- Marcěleŭ 2005: S.V. Marcěleŭ, *Harady i vėski Belarusi*, in: H.P. Paškoŭ (hal. rėd.), *Ėncyklapedyja, II. Homel'skaja voblast'*, Minsk 2005, p. 520.

- Milroy, Gordon 2003: L. Milroy, M. Gordon, *Sociolinguistics: Method and Interpretation*, London 2003.
- Tolstaja 2017: S.M. Tolstaja, *Ėtnolingvističeskoe izučenie Poles'ja. 1995-2016gg. (Obzor)*. "Slověne", VI, 2017, 2, pp. 686-706.
- Woolhiser 2012: C. Woolhiser, "Belarusian Russian": *Sociolinguistic Status and Discursive Representations*, in: R. Muhr (ed.), *Non-dominant Varieties of Pluricentric Languages. Getting the Picture. In memory of Prof. Michael Clyne*, Wien et al. 2012, pp. 227-262.
- Zeller, Levikin 2016: J.P. Zeller, D. Levikin, *Die Muttersprachen junger Weißrussen. Ihr symbolischer Gehalt und ihr Zusammenhang mit sozialen Faktoren und dem Sprachgebrauch in der Familie*, "Wiener Slavistisches Jahrbuch", IV (N.F.), 2016, pp. 114-144.
- Zeller, Sitchinava 2019: J.P. Zeller, D. Sitchinava, *The Russian Language in Belarus and Ukraine*, in: A. Mustajoki, E. Protassova, M. Yelenevskaya (eds.), *The Soft Power of the Russian Language. Pluricentricity, Politics and Policies*, London-New York 2019, pp. 108-122.
- Žylko 1953: F.T. Žylko, *Perehidni hovirky vid ukrajins'koji do bilorus'koji movy v pivnično-zachidnych rajonach Černihivščyny*, "Dialektolohičnyj bjuleten'", IV, 1953, pp. 7-20.

ELECTRONIC SOURCES

- <<https://www.minregion.gov.ua/press/news/novi-raiony-karty-sklad/>> (latest access: 08.04.21).
- <<http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CP%5CO%5CPolisia.htm>> (latest access: 28.04.21).
- <<https://be.wikipedia.org/wiki/Ручаёўка>> (latest access: 10.04.21).
- <<http://loev.gomel-region.by/by/>> (latest access: 02.05.21).
- <<https://archive.is/20120523225241/belstat.gov.by/homep/ru/perepic/2009/itogi.php>> (latest access: 02.05.21).
- <<https://belstat.gov.by/by/statystyka/demagrifichnaya-i-satsyyalnaya-statystyka/adukatsyya/>> (latest access: 02.05.21).
- <https://belinstitute.com/sites/biss.newmediahost.info/files/attached-files/2019-2-18%20Mova_Rasinski_FINALIS.pdf> (first access: 12.06.20; page removed: latest access: 02.05.21).
- <<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19>> (latest access: 11.06.20).
- <<http://news.tut.by/society/246883.html>> (latest access: 03.05.2021).

Abstract

Salvatore Del Gaudio

The Language Situation in the District of Loeŭ (Belarus')

The article describes the language situation in the rural district of Loeŭ in Belarus, focusing on dialect use, especially in relation to other language varieties. The study of this border region, separated from the former Ripky district in Ukraine (Region of Černihiv) by the river Dnipro, is part of a more extensive research project. The latter includes the segment of the Polissian geo-linguistic macro-region situated between Belarus' and Ukraine but not distant from the Russian Federation. Different language varieties co-exist in this border area whose use and distribution is determined by a number of related variables. The analysis and the illustration of data will be preceded by an outline of the methodological design and by a short account of the geo-linguistic context typifying the district of Loeŭ.

Keywords

Language Situation; Belarus'; Loeŭ District; Belarusian; Ukrainian; Russian.



BLOCCO TEMATICO

*Лексика славянской Библии и её
значение для истории славянской
рукописной традиции*

*Lexicon of the Slavic Bible
and Its Meaning for the History
of Slavic Manuscript Tradition*

a cura di

M. Garzaniti, T. Afanasyeva e A. Alberti

Введение

Библейская комиссия, основанная во время 10-го Международного съезда славистов (София 1988), с начала 1990-х годов проводит конференции и семинары по различным аспектам изучения славянской Библии, начиная с конференции, посвященной Геннадиевской Библии (Москва 1990). С самого начала целью Комиссии было сохранение наследия прошлых исследований и в то же время стимулирование развитие новых исследований. Внимание было сосредоточено на ряде фундаментальных вопросов: рукописная традиция книг Ветхого или Нового Завета, рукописи с преимущественно или частично библейским содержанием, их лингвистический анализ на разных уровнях, библейские цитаты и их использование в славянской письменной традиции в экзегетической, агиографической и гимнографической сферах, модели и практика публикации, относящиеся к отдельным библейским книгам или конкретным рукописям или группам рукописей, и, наконец, славянская апокрифическая традиция, которая сопровождает развитие и распространение библейских текстов. За эти более чем тридцать лет деятельности комиссия и ее члены в целом сыграли важную роль в продвижении изучения славянской Библии.

В ходе семинаров, организованных в недавние годы нашей Комиссией, было представлено несколько докладов, посвященных ряду тем, связанных с лексикой славянской Библии: лексические особенности отдельных списков или групп рукописей с библейским содержанием; изучение и идентификация архаического лексического фонда в связи с кирилло-мефодиевской традицией; лексические инновации и их происхождение (Преслав, Афон и т.д.); наличие и использование гебраизмов и грецизмов в славянской Библии; наличие библейской лексики в славянской рукописной традиции.

Несомненно, лексикография занимает чрезвычайно важное место в изучении рукописной традиции славянской Библии, и ее анализ должен сопровождать исследования в области текстологии, по возможности различая лексические и текстовые варианты. Прежде всего, необходимо сохранить специфическую методологию, разработанную в лексикографической сфере, которая учитывает развитие в диахроническом и диагеографическом аспектах, поскольку в наших исследованиях древнейшей традиции используются рукописи, которые значительно более поздние и происходят от разных географических областей. В лексической сфере важно учитывать контакты как с местными славянскими языками, так и с различными языками и письменными традици-

ями, а также различные функции книг с библейским содержанием, так как они могут использоваться в литургической практике, для келейного чтения или для экзегезы.

По этим причинам мы решили, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, организовать дистанционный семинар 17 декабря 2020 года, посвященный славянской библейской лексике и ее значению для истории славянской рукописной традиции. Авторитетные специалисты по рукописям библейского содержания из разных эпох и разных областей встретились в сети, предлагая на рассмотрение многочисленных участников вопросы особой актуальности на основе различных методологий и подходов. В конце семинара, под руководством дискуссанта, С.Ю. Темчина, был задан ряд вопросов и развернулась дискуссия, которая, безусловно, помогла улучшить и обогатить опубликованные здесь тексты.

И. Христова-Шомова выступившая с размышлениями о лексике Драготина Апостола, не прислала свой текст для публикации, поскольку ее исследование содержится в издании вышеупомянутого кодекса Апостола (София 2020). С другой стороны, были добавлены материалы А. Альберти и Р. Клеминсона, хотя они не представили на семинаре свой доклад, которые мы включили из-за богатства предложенного материала и особого методологического подхода.

Мы решили представить материалы в хронологическом порядке анализируемых рукописных источников, чтобы прояснить намерение нашего семинара осмыслить историю рукописной традиции. В первом тексте, представленном Р. Кривко и К. Костомаровой, предлагается обширное изучение заимствований, присутствующих в древнейшей славянской рукописной традиции Евангелий, где представлены грецизмы и латинизмы, слова романского и германского происхождения и, наконец, тюркские заимствования, затрагивающие темы, имеющие особое значение для рукописной традиции, такие как вопрос о первичных и вторичных грецизмах, также в отношении их присутствия в латинской версии Вульгаты, или вопрос о романизмах и германизмах, на фоне литургической традиции и работы по христианизации сначала в Моравии, а затем в ранней Болгарской империи.

Вклад А. Альберти имеет другой уклон. Он посвящен одной рукописи, восточнославянскому праздничному апракосу Погод.11, который рассматривается на фоне текстуральной традиции греческих и славянских Евангелий. Здесь исследуются определенные лексические варианты, присутствующие в тех текстовых узлах, которые особенно сближают его с Мстиславовым евангелием. Следующая статья, предложенная Е. Црвенковской фокусируется на одной рукописи, на Дечанском евангелии XIII века, лексика которого, исследованная по методике различных лексических пластов, демонстрирует традиционные лексические пары, где архаизмы контрастируют с инновациями.

Статья Р. Клеминсона сосредоточена на способах передачи греческого термина для 'шелка' на славянском языке, выявляя его присутствие как в книге Есфирь, так и в книге Откровение. Серия вариантов показывает сложность распознавания смысла, который, может быть, либо передан с помощью родственных терминов, либо оставлен без перевода. Исследование В. Желязковой сосредоточено на книге Исход. На основе

древнейших рукописных свидетельств анализируются, в частности, составные слова и подчеркивается способность переводчика использовать ресурсы языка, не прибегая к неологизмам. В своей статье А.И. Грищенко рассматривает некоторые восточнославянские свидетельства из Великого княжества Литовского, в частности, некоторые варианты Пятикнижия и Песни Песней в восточнославянской традиции. Проблема языковых контактов между славянским и еврейским миром решается не путем обращения к масоретскому тексту, а к традиции таргумов и ее посреднической функции как на языковом, так и на текстовом уровнях, с особым вниманием к тюркскому посредничеству.

Последний вклад, представленный Л. Тасевой и М. Йовчевой, рассматривает первую печатную славянскую Библию, т. е. Острожскую Библию. Книга пророка Иезекиля, которая содержится в этой Библии, сравнивается с более ранними рукописными свидетельствами, в частности, с перикопами пророка Иезекиля, которые читались во время литургии. Анализируя, в частности, варианты перевода греческих лемм, можно проследить тесную связь между Острожской и Геннадиевской Библиями, а также отношения с рукописной традицией восточноболгарского происхождения. При этом подход редакторов первой печатной Библии к источникам не выглядит систематическим.

На коротком пространстве нескольких десятков страниц, посвященных этому тематическому блоку, можно наблюдать не только очень широкий диапазон – от времени появления самых ранних евангельских свидетельств кирилло-мефодиевского восхождения до первых печатных изданиях, но и поразительное разнообразие как в выборе источников, так и в методологии. Могут рассматриваться отдельные леммы или выражения, или объектом исследования может быть одна рукопись; в других случаях анализ проводится на конкретном типе книги, как в случае с евангелиями или паремейниками. В сфере языковых отношений проблема заимствований возникает в связи не только с возможным языком происхождения священного текста, но и со стандартом церковнославянского языка в различных областях с влиянием местных диалектов, или еще с посредничеством или присутствием вторичных влияний. В то время как литургический контекст должен быть принят во внимание, особенно для более древней традиции, затем становятся все более важными вопросы экзегетического характера, а в Новом времени сравнение с еврейским и греческим оригиналами. Таким образом, можно заметить, что лексические исследования в славянской Библии предполагают очень широкую компетенцию, которая должна постоянно измеряться не только текстуальной критикой, но и учитывать историю литургии и историю культурных отношений в широком диахроническом спектре и в географическом контексте, простирающемся от германо-латинского мира до азиатского Востока. Мы уверены, что эти материалы станут ценным вкладом в развитие исследований славянской Библии и славянской рукописной традиции в целом.

М. Гардзанини, Т.И. Афанасьева, А. Альберти

Роман Николаевич Кривко
Ксения Павловна Костомарова

Заемствованная лексика древнейших редакций славянского Евангелия. Опыт количественного анализа

Особенности употребления заимствованной лексики относятся к важнейшим признакам древних церковнославянских текстов и их редакций, корпусов, диахронических и региональных разновидностей церковнославянского языка (Jagić 1913: 299-322; Соболевский 1900: 177-178; Добрев 1978: 90; Добрев 1979; Славова 1989: 25-32, 80-82, 98, 108, 109; Алексеев *и др.* 1998: 9; Делева 2000; Garzaniti 2001: 82-83, 109, 112, 114, 140, 177, 212-213, 345-355; Славова 2011; Йовчева 2013: 259-260; Милтенов 2019; Милтенов 2020: 64, 68-69; ср. Станков 2021: 71-72)¹. Цель нашей работы – установить, как заимствованная лексика разного происхождения характеризуют древнейшие редакции славянского перевода Евангелия и как пласты заимствований распределяются относительно истории текста. Для этого была произведена сплошная выборка заимствованных слов и их разночтений в рукописях славянских Евангелий XI-нач. XII вв. (*Мар, Зоґр, Ас, Тун, Остр, Сав, Арх, Мст*; Люсен 1995; OCSDB). Результаты выборки представлены в таблицах.

При оценке текстологической значимости лексических вариантов мы исходим из новейших представлений об истории текста славянского Евангелия (см. Garzaniti 2001: 27-280). Его самым ранним типом считается древний литургический тетр, засвидетельствованный прежде всего "тетрами первого поколения": *Мар, Зоґр* и *Тун* (Алексеев *и др.* 1998: 25; Garzaniti 2001: 277). Известно, что *Мар* и *Зоґр* отражают разные редакции древнего литургического тетра и восходят к разным типам греческого текста, а некоторые чтения при общем греческом оригинале предполагают разный перевод (Алексеев *и др.* 1998: 26-31; Пичхадзе 2002: 48). А.М. Пентковский исходит из первичности "текста типа *Зоґр*" по сравнению с *Мар*, поскольку характерные чтения *Мар* отражают

‘византийский’ тип текста, тогда как ‘различающиеся’ чтения *Зоґр*Ев встречаются в ‘невизантийских’ текстах, в том числе в кодексах ... содержащих текст ‘александрийского’ [и] ... ‘кесарийского типа’ ... а также в кодексах, содержащих текст ‘западного’

¹ О церковнославянском языке как языке корпуса текстов (*Korpusssprache*) и его диахронических (исторических) и региональных (диатопных) разновидностях см. Кайперт 2017: 17-20, 31-40.

типа ... ‘различающиеся’ чтения ЗоґрЕв ... систематически соответствуют чтениям латинских рукописей ... [Следовательно,] чтения ЗоґрЕв восходят к первоначальному переводу, а ‘различающиеся’ чтения МарЕв, соответствующие стандартным чтениям ‘византийского’ текста, являются вторичными и обусловлены редактированием с привлечением греческого текста ‘византийского’ типа (Пентковский 2019: 97-99).

Несмотря на архаические, “невизантийские” особенности греческого текста, лежащего в основе славянского “текста типа Зоґр” (Пентковский 2019: 75-100), лексические особенности как Зоґр, так и Ас отражают “восточноболгарские редактуры, причем редакция Ассеманиева евангелия основывается на том же ... тексте, что и Зоґрафское” (Пичхадзе 2002: 49-50). Как мы увидим далее, в отношении заимствованной лексики Мар представляет более раннее состояние, чем Зоґр, что соотносится с более архаичными грамматическими особенностями Мар по сравнению с Зоґр, особенно в области глагольной морфологии.

Глаголический краткий апракос типа Ас восходит к переводу типа Зоґр, кириллические краткие апракосы типа Сав и Остр представляют неоднородную традицию и не зависят от полного апракоса с “преславской лексикой”, который засвидетельствован Арх и Мст и в котором содержится старшая, краткоапракосная, и младшая часть, дополняющая краткий апракос до полного на основе более раннего тетра (Темчин 1996; Алексеев и др. 1998: 23-25; Garzaniti 2001: 278; Пичхадзе 2002; Пичхадзе 2009; Пичхадзе 2016: 304; Пентковский 2019: 110-125).

Заимствованная лексика древнейших редакций Евангелия разделена нами на несколько групп в соответствии с источниками заимствования: греческим, латинским, романским, тюркским, древне(восточно)- и западногерманским (древневерхненемецким). Имена собственные исключены из рассмотрения как текстологически незначимые. Как правило, этимологические сведения далее не комментируются, ссылки на литературу не приводятся, слова со спорными этимологиями (напр., ЧАДО) не обсуждаются и исключены из рассмотрения (кроме КРЪЧАГА, БАГЪР-, ОУЖАС-, см. ниже) (см. s.vv. НРЭ; РЭС; ЭСРЯ; ЭССЯ; ERHSJ; ESJS; OCSD; см. затем: Делева 2000; Granberg 2009; Voček 2010; DÉLG; Dybo 2010; Славова 2011; Newerkla 2011; Voček 2014; Bergren 2019; Holzer 2014; Holzer 2020; Voček 2020).

Самый объемный пласт заимствованной лексики составляют грецизмы, к которым мы относим:

- собственно греческую лексику;
- лексику латинского происхождения, освоенную греческим языком, славянские параллели которой не имеют следов латинского влияния (ЛЕНТИИ, ДИНАРЬ и др.);
- библейские гебраизмы (АМИНЬ, РАВВИ и др.).

Происхождение соответствующих слов нигде далее не учитывается. Особый интерес для нашего исследования представляют грецизмы, имеющие соответствия

в Вульгате. Необходимость сопоставления древнего славянского перевода Евангелия с Вульгатой объясняется практикой “двойных чтений” (Пентковский 2019: 77) Евангелия в церковной организации свт. Мефодия, когда во время мессы Евангелие должно было читаться на латинском и затем на славянском языке (Garzaniti 2001: 17). В этой связи высказывалось мнение, что древнейший славянский перевод Евангелия отражает влияние латинского литургического текста и латинской литургической терминологии (см. критический обзор мнений: Garzaniti 2001: 27, 166-168, 287-291; свидетельства латинского влияния: Пентковский 2019: 77-80, там же литература). Для нашей темы важна гипотеза, согласно которой грецизированная лексика древнего славянского литургического текста является результатом влияния латинского текста, содержащего многочисленные грецизмы (Пентковский 2019: 80-82; о грецизмах латинской Вульгаты: Bergren 2019: 5-24). Разумеется, речь не идёт о заимствовании грецизмов через латинское посредство – предполагается лишь, что сакральный латинский текст служил образцом, но не источником грецизации². Напротив, тексты, предназначенные не для богослужения, а для разъяснения латинского оригинала, напр., др.-в.-нем. перевод Тациана или Мондзейские фрагменты, демонстрируют малое количество латинизмов (Пентковский 2019: 82-84; Костомарова 2021).

Лексика, заимствованная из латыни, делится на три группы:

- латинизмы, не имеющие параллелей в греческом Новом Завете;
- слова греческого происхождения, фонетические особенности которых свидетельствуют об их заимствовании из латинского языка (ДРАГМА);
- латинизмы, заимствованные в др.-в.-нем. язык и не всегда надёжно отличимые от германизмов, напр., **олеи**, **дльтарь** (о лат. источнике ц.-слав. **дльтарь** см. Holzer 2020: 60, 97-98); такие лексемы рассматриваются нами как заимствования из

² Тем не менее нельзя отрицать, что христианская терминология греческого происхождения была хотя бы частично заимствована из латыни, тем более, что важнейшие христианские термины *евангелие*, *ангелъ*, *апостоль* фонетически тождественны латинским и др.-в.-нем. лексемам: ср. греч. εὐαγγέλιον, лат. *evangelium*, др.-в.-нем. *euangelio*; греч. ἄγγελος, лат. *angelus*, др.-в.-нем. *engil*, *eingil*, *a[ngil]*, *ehngil*, *engel*, *angil*, *anghil*, *angel*; греч. ἀπόστολος, лат. *apostolus*, др.-в.-нем. *apostol*, *apostolo*. Только такие грецизмы, входящие в словарный фонд “европейской латыни”, имеют соответствия в польской христианской терминологии, не затронутой прямым греческим влиянием (Klich 1927; SSTC). В переводах с польского языка, выполненных монахами московского Чудовского монастыря в XVII в., прослеживается тенденция употреблять только те грецизмы, которым имеются соответствия в польском оригинале, что “призвано согласовать лексические характеристики переведенного с польского и представленного только в западноевропейской традиции текста с основным текстом Нового Завета, переведенным с греческого”, а в “переводах Феофана Чудовского грецизмы могут быть заимствованы напрямую из польского оригинала” (Пентковская 2017: 169-170; см. также: Пентковская 2016: 204-206).

одной культурно-языковой общности и без дополнительной этимологической дифференциации относятся к латинизмам.

Не относится к латинизмам лексика латинского происхождения, заимствованная в праславянский через германское посредство, напр., *цѣсарь*, ср. готск. *kaisar* из лат. *Caesar* (Pronk-Tithoff 2013: 99-100). Такая лексика рассматривается среди праславянских германизмов древне(восточно)германского происхождения (см. ниже). Отдельно от латинизмов рассматривается лексика романского происхождения:

- западно-балканские лексемы, проникшие в славянские языки в ходе контакта с романским населением западноадриатического региона, прежде всего Далмации и Истрии;
- восточно-балканские лексемы, заимствованные в ходе контактов с носителями романских идиомов восточнобалканского региона.

Среди германских заимствований выделяются две группы:

- праславянские германизмы древне(восточно)германского происхождения, которые часто имеют готские, т.е. древневосточногерманские, параллели, хотя в некоторых случаях надёжный источник заимствования установить не удаётся (напр., для слова *кѣназь* предполагается не древневосточно-, а древнесеверозападногерманский источник);
- германизмы западногерманского происхождения, заимствованные в ходе контактов с др.-в.-нем. языком во время баварской миссии в славянских землях центральной Европы и в процессе интеграции славян в феодальные структуры каролингов.

Среди заимствованной лексики тюркского происхождения выделяются два пласта, соответствующих двум фазам древнейших славяно-тюркских контактов (восточнославянско-тюркские контакты по понятным причинам не учитываются):

- 'архаическая' лексика, проникшая в праславянский язык в ходе славянско-тюркских языковых контактов в северном Причерноморье до VII в. н. э.
- 'протобулгаризмы', или дунайско-булгарские заимствования, появившиеся в древнеболгарском языке в результате славянско-протобулгарского взаимодействия эпохи становления и развития Первого Болгарского царства.

Структура таблиц заимствованной лексики отражает историю текста древнейших редакций славянского Евангелия и классификацию заимствований в зависимости от языка-источника. Крайнюю левую колонку таблиц занимают данные *Мар*, которое, хотя и с неабсолютной последовательностью, представляет древнейшее со-

стояние займствованной лексики, коррелирующее с грамматической архаичностью этой рукописи. Соседнее положение занимает *Зогр*, содержащее, как будет видно, большее количество вторичных лексических различий. Справа от *Зогр* находится *Ас* – глаголический краткий апракос, зависящий от текста типа *Зогр*, затем располагается древнейший сохранившийся кириллический тетр – *Тин*, зависящий от текста типа *Мар*. Завершают славянскую часть таблицы кириллические апракосы – краткие, *Остр* и *Сав*, – и полные, *Арх* и *Мст*, свидетели наименее устойчивой редакции славянского Евангелия, отражающей влияние преславского (древневосточноболгарского) лексического узуса (Добрев 1979; о лексическом содержании понятий “преславский” и “(древне)восточноболгарский” см. Милтенов 2020 (там же литература); ср.: Станков 2021; о происхождении полного апракоса см.: Garzaniti 2001: *passim*, литература; Пичхадзе 2016; Пентковский 2019: 116-125).

Для каждой славянской лексемы приводится греческое и латинское соответствие. В комментариях описываются тенденции, связанные с текстологически значимым варьированием лексики рассмотренной группы. Все славянские формы лемматизированы по правилам Пражского Словаря старославянского языка (ОСДС), независимо от их реального графико-орфографического облика в цитируемых источниках (исключение представляют слова, отсутствующие в этом словаре, напр., *ѡбръднѣ*, или формы, отражающие гиперкорректную грецизацию, напр., *скорьфина*). Лексема *сѡласъ* (ср. *сѡласъ*) лемматизирована с *ь* (см. Пичхадзе 2011: 90). Существительные с общей корневой морфемой и отыменные прилагательные с этой морфемой объединяются в одну ячейку при наличии общей греч. лексической параллели (*осьлз* и *осьла*, *оцѣтано вино* и *оцѣтно вино*). При единичных, исключительных или уникальных употреблениях указывается адрес библейской цитаты, помета *passim* означает более чем однократное употребление.

Грецизмы (ТАБЛИЦА 1) абсолютно доминируют во всех древнейших редакциях и составляют 67% займствованной лексики *Мар*. 71% грецизмов *Мар* имеет соответствие в Вульгате, что подтверждает гипотезу о латинском литургическом тексте как образце лексической грецизации древнейшего славянского Евангелия.

Лексика греческого происхождения может варьироваться с грецизмами, латинизмами, германизмами и славянскими лексемами. Варьирование “грецизм / грецизм” отмечено трижды, причём дважды в индивидуальных чтениях: *сотона* > *диаволь* (Мф 4:10 *Зогр*) (ОСДС, *s.vv.*); (плема) *ѡхидьново* > (плема) *аспидово* (*γεννηματα ѡχιδνῶν*) (Мф 4:10 *Сав*) (ОСДС, *s.v.* *аспидовъ*).

Сложнее объясняется варьирование *хризма* / *мвро*. Слова *χρῖσμα* в Евангелиях нет, оно лишь трижды встречается в *Ин*. 2:20,27 (VKGNT 1330; CNTG 1915-1916), и тем не менее *хризма* дважды появляется как разночтение к *мвро* (*μῦρον*) в *Мст* (Лк 7: 37, 38, 46) и в *Тин* (Ин 11:2). В *Сав* и *Остр* чтение *мвро* представлено в соответствии с *хризма* прочих редакций во всех контекстах – тем самым краткие кириллические апракосы отражают последовательное выравнивание займствованной терминологии по оригиналу,

ТАБЛИЦА 1. Гречизмы (цветом выделены гречизмы, имеющие соответствия в Вульгате)

Стих	Мар	Зотр	Ас	Тип	Остр	Сав	Арх	Мст	NA28	V
<i>passim</i>				АДЗ				АДЗ, ИИЗМ Мф 1:1-2:3	Αἰθίς	infertum
<i>passim</i>	ΔΚΡΙΑΖ Мк 1:6	ΔΚΡΙΑΖ Мф 3:4	ΔΚΡΙΑΖ Мф 3:4	ΔΚΡΙΑΖ Мк 1:6	ΔΚΡΙΑΖ Мф 3:4; Мк 1:6	ΠΡΩΓΓ Мф 3:4	ΔΚΡΙΑΖ Мк 1:6	ΠΑΡΕΦΑΔΙΕ Μφ 3:4; Мк 1:6	ἀϊφίς	lucusta
<i>passim</i>				ΔΑΒΕΛΑΤУЗ				СТЬСЬАЛНИЦА	ἀλαβαστηρος	alabastrum
Ин 1:9:39			ΔΛΖΓУУИЗ			—	ΔΛΖΓУУИЗ	ΔΛΖΓУУИЗ	ἀλόη (τῆς ἀλόης)	aloe
<i>passim</i>				АМИНЬ				АМИНЬ ПРАВО	ἀμήν	amen
<i>passim</i>				АНГЕЛЗ					ἀγγελος	angelus
<i>passim</i>			ΑΠΟCΤΟΛУЗ, СЪЛЗ Ин 13:16			ΑΠΟCΤΟΛУЗ			ἀποστολος	apostolus
<i>passim</i>			ΑΡΟΜΑТУЗ			—	ΑΡΟΜΑТУЗ	ΑΡΟΜΑТУЗ	ἀρωμα	aromata
Мф 10:29	ΔΣΑΦИИ	ΓВНАСЪЗ		ΔΣΑΦИИ		—	ΓВНАСЪЗ	ИДИМАА ИФІА	ἀσπίριον	asis, as (= assarius)
<i>passim</i>				ΑΡΧИЕРИИ				ЖЪРЪУСЪЗ, ΑΡΧИЕРИИ Мф 2:1-15	ἀρχιερεὺς	principes sacerdotum
<i>passim</i>	ΑΡΧИЕРИАТУЗ, ΑΡΧИЕРИАТУЗ Мк 5:38	ΑΡΧИЕРИАТУЗ, СУНАГОГУЗ, ΔΚ 8:49, 13:14	ΑΡΧИЕРИАТУЗ, СУНАГОГУЗ, ΔΚ 8:49, 13:14	СУНАГОГУЗ	ΑΡΧИЕРИАТУЗ	ΑΡΧИЕРИАТУЗ, ΔΚ 13:14, СУНАГОГУЗ, ΔΚ 8:49	ΑΡΧИЕРИАТУЗ, СУНАГОГУЗ, ΔΚ 8:49	СТУГВИШИИ СЪВОРА	ἀρχισυναγωγος	archisynagogus
<i>passim</i>				ΑΡΧИΤΕΚΝИИЗ					ἀρχιτεκτωνος	architectonicius
<i>passim</i>		ΔΦЕΔΡИИЗ				—		ΠΡΟΥΔЗ	ἀφεδρών	secessus (secessum)
<i>passim</i>			ВЕАΖГЕВОУЗ			—		ВЕАΖГЕВОУЗ	Βεελζεβούλ	Beelzebub

ТАБЛИЦА 1. Гречизмы (продолж.)

Стих	Мар	Зотр	Ас	Тип	Остр	Сав	Арх	Мст	NA28	V
<i>passim</i>	власфримахти <i>passim</i> , власфримахти Ин 10:36				власфримахти <i>passim</i> , хульствехти Мф 9:3	власфримахти <i>passim</i> , хульствехти Мф 9:3	власфримахти Ин 10:36, власфримахти Мф 9:3, хульствехти Лк 12:10	власфримахти Ин 10:36, хульствехти <i>passim</i>	βλασφημέω	βλασφημο, -ate
<i>passim</i>	власфрима, хула Мф 12:31	власфрима, хульствехти Мк 7:22	власфрима, хула Мф 12:31		власфрима, хула Мф 12:31; Мк 2:7; Мф 26:65; Лк 5:21	власфрима, хульствехти Мф 12:31	власфрима Ин 10:33, хула Мф 12:31 et <i>passim</i>		βλασφημία, βλασφημέω	blasphemia
Лк 16:19			вусонъ				—	чрвеменица	βύσσος	byssos
<i>passim</i>				гхурфримахна					γὰρ φαρμάκιστον	gazoiflactum
<i>passim</i>			гѣона				гѣона		γέονα	gehenna
Мк 9:3	гхлфрн				—	—	бѣло	бѣлманикъ	γυαφεύς	sandida
Лк 7:41	динарь			—	динарь	—	динарь	кѣттинаръ	δηνάριον	denarios
<i>passim</i>				динаволъ					διάβολος	diabolus
<i>passim</i>				вемлѣне					εὐαγγελιστον	evangelium
<i>passim</i>				еминъ					Ἐγγλν	gentilis
Ин 10:22	енсѣнна		свещение			—	свещение	свещение	ἐγκαθίζα	ensenia
Ин 2:17			епенъдигъ				—	епенъдигъ	ἐπενδύτης	tunica
Лк 1:5	еримарна	дънегана чрѣда	еримарна			—	еримарна	чрѣда	ἐφημερία	vicus
<i>passim</i>			еуцъднъ			аспидовъ		еуцъднъ	τῶν ἐχθρῶν	vipera

ТАБЛИЦА 1. Гречизмы (продолж.)

Стих	Мар	Зотр	Ас	Тип	Остр	Сав	Арх	Мст	NA28	V		
<i>passim</i>				ИЧЕМОУГ, ИЧЕМОУБЕГ							ἡγεμόν	praeses
Лк 16:8		ИКОМОУГ	—	ИКОМОУГ		—		СТРОИТЕЛЬ	οἰκοδόμος	vilius		
Мф 5:18	*ИЮТА (ИЧЕТА, Дечеув., ОССД 3/1, ИЮТА)		ПИКМА	ИЮТА (π[ι]ε[υ]τα)			ИЮТА	ПИКМА	ἰώτα	iota		
Ин 19:29		УСОУГ	—	УСОУГ		—		ТРУСТЬ	ὑσσώπος	hussor		
<i>passim</i>	ИЮДЕН	ИЮДЕН, ЖИДУВНИУГ Ин 19:12		ИЮДЕН				ИЮДЕН, ЖИДУВНИУГ Ин 19:12	Τουδαίος	Iudaeus		
<i>passim</i>		УТОКРИТУГ		УТОКРИТУГ	ЛИЦЕУБУГ		УТОКРИТУГ	ЛИЦЕУБУГ Мф 6:2, 2:3:13, 2:2:18	ὑποκριτής	hypocrita		
Мф 27:6			КАУРЪБАНА	КАУРЪБАНА							κορβάν	corbanas
<i>passim</i>		КАТАПЕГЪЗМА		КАТАПЕГЪЗМА	ЗАПОНА Лк 23:45; ИЮНА Мф 23:51	ЗАПОНА Лк 23:45; ИЮНА Мф 23:51	КАТАПЕГЪЗМА	КАТАПЕГЪЗМА	καταπέτασμα	velum		
Ин 18:1		КЕУМУРОУГ	КЕУМУГ	КЕУМУРОУГ							κέλευρος	ceclurus
Мк 15:45	КЕУМУРОУГ		СЕГЪНИКЪЗ	КЕУМУРОУГ				КЕУМУРОУГ	κεντηρίων	centurio		
<i>passim</i>			КЕИНСЪ	КЕИНСЪ			КЕИНСЪ Мф 22:17,19; СЕБРОКЪЗ Мф 17:25	КЕИНСЪ	κέρως	tributum		
Мф 12:40		КЕИНСЪ	КЕИНСЪ	КЕИНСЪ							κέρως	setus
<i>passim</i>		КОДРАНТУГ		КОДРАНТУГ							κοδραντής	quadrans

ТАБЛИЦА 1. Гречизмы (продолж.)

Стих	Мар	Зотр	Ас	Тип	Остр	Сав	Арх	Мст	NA28	V
Лк 16:7		корз	—	вързбъзъ	—	—	—	мѣра	κάρος	choros
<i>passim</i>				корабль					πλοῖον	navicula Мф 1:4:24
<i>passim</i>	кринъ	цвѣтъ	кринъ Мф 6:28, цвѣтъ Лк 12:27	цвѣтъ	кринъ	цвѣтъ	кринъ Мф 6:28	цвѣтъ	κρίνον	lilia
Мф 2:3:23		бѣшнъ			—			бѣшнъ	κύμνον	suminum
<i>passim</i>	кустодина	—		кустодина					κουστοδία	custodia
<i>passim</i>				лебѣнъ					λευεόν	legio
Ин 13:4				лебѣнъ					λευεόν	litcum
<i>passim</i>				лебѣнъ					λευεόν	minutus
<i>passim</i>	мѣра					мѣра	мѣра Лк 2:12	мѣра Мф 12:42, цѣта Лк 2:12	μετρη	libra
<i>passim</i>	мѣра					мѣра		мѣра, стѣсальница Ин 12:3	μετρη	libra
<i>passim</i>	мамона, жрѣне Лк 16:11	мамона, жрѣне Лк 16:11		мамона			мамона, жрѣне Лк 16:11	мамона	μαμωνάς	mamona
<i>passim</i>				мамона				мамона	μαμωνά	manna
Ин 19:24				мамона				мамона	μαμωνάς	vestimenta
<i>passim</i>	мѣро, мѣрънъ			мѣро, хризма Ин 11:2			мѣро	мѣро Мф 26:7-9, 12 хризма Лк 7:37-38-46	μετρον	unguentum

ТАБЛИЦА 1. Гречизмы (продолж.)

Стих	Мар	Зогр	Ас	Тип	Остр	Сав	Арх	Мст	NA28	V
<i>passim</i>			мънасъ			—		мънасъ	μνά	mná
Ин 1:2:3			нарлъ			—		стъкльница	νάρδος	nardus
Мк 1:2:3:3			вкъсъжженине	олокселътома		—		вкъсъжженине	δολοκαύτομα	holocaustoma
<i>passim</i>				осанна					ὄσαννα	osanna
<i>passim</i>				пърксмитъ					πάρκσιμος	paracletus
Мф 2:3:25-26			—	пъротомла		—		блѣдо	παροψίς	parapsidis
<i>passim</i>				пѣсѣ					πάσχα	pascha
Лк 1:6:19				пуръфурѣ				бълърѣница	πορφύρα	purpura
Лк 11:42			пигамъ			—		пигамъ	πίμαρον	tuta
<i>passim</i>			пирѣ	—		пирѣ		мѣхъ	πίρα	pera
<i>passim</i>			—		пистинѣна			вѣрѣмъ многѣцѣмъ Мк 1:4:3, благѣбнѣмъ	πιστινός	pisticia
<i>passim</i>				претѣръ					πραιτόριον	praetorium
<i>passim</i>			псалъмъ	—	псалъмъ	—		псалъмъ	ψαλμός	psalm
<i>passim</i>			равени оучитѣль	равени	равени	оучитѣль Мф 2:6:49		равени	ραββί	rabbi
Ин 2:6:16			равени	равени	равени	—		равени Ин 20:16, Мф 10:51	ραββουί	rabboni
Мк 6:9			сандалъна			—		сандалъна	σανδάλιον	sandalium

ТАБЛИЦА 1. Гречизмы (продолж.)

Стих	Мар	Зотр	Ас	Тип	Остр	Сав	Арх	Мст	NA28	V
Мф 13:33		сѣль			сѣль, похвалѣние Лк 13:21	—		сѣль	σάτων	satus
Лк 1:15	снѣбрь	творенъ кѣсь	снѣбрь						σνѣβρη	sicera
passim	снѣмѣль	снѣмѣль, снѣмѣль, Мф 13:41, Лк 17:1	снѣмѣль, снѣмѣль, Мф 13:41, Мф 13:4	снѣмѣль		—		везаконие Мф 13:41, снѣмѣль, Лк 17:1	σκάνδαλον	scandalum
	снѣмѣль		снѣмѣль			—		снѣмѣль	σκηνωτήρια	scenopergia
passim	снѣмѣль		снѣмѣль, Мф 9:5	снѣмѣль		—		кѣца Мф 9:5 сѣнь Лк 9:33 хрѣмъ Лк 16:9	σκηυή	tabernaculum
passim			снѣмѣль			снѣмѣль		снѣмѣль	σκόρπιος	scorpio
Ин 19:39		зѣмръна			зѣмръна	—		зѣмръново	σνѣρνη	myrra
passim	снѣмѣль	снѣмѣль, снѣмѣль, Мф 4:10	снѣмѣль	снѣмѣль	снѣмѣль	снѣмѣль		снѣмѣль	σατανάς	satanas
passim			снѣмѣль	снѣмѣль	снѣмѣль	снѣмѣль		снѣмѣль	σπεῖρα	cohors
passim			снѣмѣль	снѣмѣль	снѣмѣль	снѣмѣль	—	снѣмѣль	στάδιος	stadia
Мф 17:27		снѣмѣль			снѣмѣль	—		снѣмѣль	στατήρ	stater
Лк 22:52		снѣмѣль		—	снѣмѣль	—		снѣмѣль	στρατιγός	magistratus
passim	снѣмѣль	снѣмѣль Ин 20:7, снѣмѣль	снѣмѣль Ин 20:7, снѣмѣль Ин 11:44	снѣмѣль Ин 20:7, снѣмѣль	снѣмѣль Ин 20:7, снѣмѣль Ин 11:44	снѣмѣль	снѣмѣль	снѣмѣль	συδάρην	sudarium

ТАБЛИЦА 1. Гречизмы (продолж.)

Стих	Мар	Зотр	Ас	Тип	Остр	Сав	Арх	Мст	NA28	V
Лк 17:6			СУКМИНА			—	СУКМИНА	—	σουκκίνος	
Лк 19:4			СУКОМАРИНА			—	ΙΜΥΔΑΥΡΙΝΑ		σουκομαρία	συκοπιος
<i>passim</i>		СВЪОТЪ, СВЪОТЫНЪ (ср. <i>sabbatum</i>)	СВЪОТЪ, СВЪОТЪ [СВЪОТЪ?], СВЪОТЫНЪ			СВЪОТЪ			τὸ σάββατον, τὰ σάββατα	sabbatum
<i>passim</i>				ТАЛАНТЪ					τάλαντον	talenta
Мф 13:55 Мк 6:3		ТЕЧЪОТЪ, ТЕЧЪОТЫНЪ				—		АРВЪОДЪМА	τέκτων	faber
Мф 14:1		ТЕТРАРЪХЪ (четвертого- владетельникъ Лк 3:19)	—	ТЕТРАРЪХЪ (!) Мф 14:1 (четвертого- владетельникъ Мф 14:1)		—		ТЕТРАРЪХЪ (четвертого- владетельникъ Лк 3:19)	тетραράρχης	tetrarcha
Ин 19:19, 20				ТИТЬЛА				АЛЪКА	τίτλος	titulus
<i>passim</i>				ТРАПЕЗА					τραπέζα	mensa
<i>passim</i>				ФАРИСЕИ					Φαρισαίος	pharisaei
Ин 12:13		ФИННИКЪ				ФИННИКЪ	—	ФИННИКЪ	φάνιξ	palma
Ин 19:23		ХИТОНЪ				—		КЕПЪГА	χιτών	tunica
<i>passim</i>				ХЛАМИДА				БЛАГЪРЪНИЦА	χλαμίδος	chlamys
<i>passim</i>	ХРИЗМА		ХРИЗМА, МУРО Ин 12:3	ХРИЗМА		МУРО	—	МАСТЬ Ин 12:3	μύρον	unguentum

где встречается только *ѹров*. Причину варьирования грецизмов *хризма* / *мвро* установил К. Горалек, заметивший, что в *Мар* (Ин 12: 3-7) указательное местоимение ж.р. вин.п. ед.ч. *ѣ* относится к существительному ср.р. *мвро*, и объяснил это наличием в архетипе чтения *хризма* (Ногáлек 1954: 77-78, 119-120; Алексеев и др. 1998: 20). Это чтение сохраняется в *Тит* и в Галицком евангелии 1144 г., оно же повторяется в *Зогр* в качестве маргинальной глоссы к чтению *мвро* (Алексеев и др. 1998: 20). “Слова *хризма* и *хризмынъ* известны Паримийнику, Псалтири, древним тетрам ... но не употребляются в древнейших списках краткого апракоса” (*там же*: 21). Первоначальным чтением древнейшего тетра считается германизм *крижма*, *кризма* (ср. др.-в.-нем. *chrismo*, лат. *[h]risma* из греч. *χρίσμα*), а “написание *хризма* представляет собой орфографическую грецизацию, проведенную у южных славян” (*там же*: 20). Фонетическая и графико-орфографическая грецизация германизма позволяет предполагать аналогичные явления в других случаях, когда греческий облик заимствованных слов не несёт следов латинского или германского влияния: возможно, отсутствие фонетических признаков заимствования грецизмов через лат. или др.-в.-нем. обусловлено вторичной грецизацией первоначального перевода на древнеболгарской почве. Гиперкорректное проявление такой грецизации – форма *скоръфия* в *Сав* (*σκορπίος*).

В двух случаях отмечена вторичная германизация древнего перевода.

Чтение *пѣнаѣ* *Зогр*, *Арх* (Мф 10:29) в соответствии с *ассарии* (ср. *ѣдинага мѣбра Мст*) отражает вторичную гармонизацию монетных обозначений по германскому образцу за счёт употребления частотного германизма *пѣнаѣ*. В отличие от *пѣнаѣ*, употребление грецизма *ассарии* ограничено в церковнославянской письменности единственным евангельским контекстом и его аллюзиями: “не дѣвѣ ли пытици н-д-ассарии вѣннигѣ есте *ἀσσαρίου πολεῖται* Мт 10,29 *Мар*, *ассарии* without праер. Ostr (*пѣназоу Зогр*, на *дсврн sic! As.*)” (OCSD, *s.v.* *пѣнаѣ*; ESJS 1: 51; см. также НКРЯ, ц.-слав. модуль, *s.v.* *ассарій*). Реального содержания у слова *ассарии* в эпоху появления первых евангельских переводов не было, поскольку к этому времени античный ассарий вышел из употребления. По всей видимости, наличие грецизма в архетипе перевода и его сохранение в последующей традиции обусловлено идиоматическим характером фразы. Естественной заменой термина *ассарии* был германизм *пѣнаѣ*, который обозначал монету, имевшую реальное хождение.

Замена *длавастръ* > *стъкланица Мст*, *нардъ* > *стъкланица Мст* имеет ту же природу, что и замена грецизмов славянской лексикой, поскольку в IX-X вв. праслав. заимствование *стъкл-* (готск. *stikls* ‘кубок’) едва ли ощущалось как чужое слово.

Единственный случай варьирования грецизма с лексемой – семантической калькой германского слова – *енкенига* / *сващение*, причём *енкенига* – *haraх legomenon*, индивидуальное чтение *Мар* (Ин. 10:22)³. В пользу вторичности термина *енкенига* сви-

³ Единообразная словообразовательная мотивация др.-ц.-слав. слов, обозначающих с помощью корня *-сват-* (1) обновление и (2) освящение храма и (3) рукоположение священников, позволяет сопоставить др.-ц.-слав. *сващение*, *осващение* (*осващение*) с др.-в.-нем. сущ. *wihî*

детельствует моравское происхождение лексемы **сващенине** (*сващенине) ‘обновление храма’, на что указывает форма **свац[ение]**, читаемая в соответствии с греч. *ἐγκαίνια* в Пс 29:1 в *Син*, где речь идёт о ежегодном обновлении Иерусалимского храма и где зап.-слав. рефлекс йотовой палатализации (-ц-) доказывает моравское происхождение термина (Diels 1932: 131; Пентковский 2019: 105, 87-89). Нельзя, однако, исключать наличия этого слова в архетипе др.-ц.-слав. Евангелия, учитывая лексическую параллель *encenia* в Вульгате (ср. структурно-семантическую кальку **обновление Тин**, точную передачу греч. *ἐγκαίνια*): наличие -к- в ц.-слав. **енкенина** объяснимо как результат фонетической и орфографической грецизации, а вытеснение грецизма может быть мотивировано прозрачной словообразовательной мотивацией лексемы **сващенине** ‘обновление храма’. Очередной случай вторичной грецизации – замена латинизма **свбота** (и **свботьнъ**), представленного почти во всех ветвях традиции (см. ниже таблицу латинизмов), грецизмом **сѣбота** (и **сѣботьнъ**).

Один раз грецизм **литра** (*λίτρα*) заменяется славянским рефлексом латинизма **ливра** (ср. лат. *libra*) в *Зогр* и *Ас*. Судя по форме, **ливра** могло быть заимствовано через посредство греч. *λίβρα*, “что ... свидетельствует о балканском происхождении слова в тексте и вторичности правки, при которой оно было внесено” (Алексеев и др. 1998: 26-27). Впрочем, греч. источник слав. **ливра** неочевиден: в западнобалканских романизмах реконструируется переход исконного лат. *b* в *β*, который отражается в чакавск. *Lavkat* (< *Rubicāta*), *Ko.nāv 'le* (< **Cannabula*) и др. (Holzer 2011: 20).

Замена грецизмов славянскими лексемами представляет хорошо известную тенденцию редактирования, которая ярче всего представлена в полном апракосе (**гнафеи** > **вѣлильникъ** и мн. др.). Сюда же относится перевод греч. *ἐφημερία* словосочетанием **дньевьнага чрѣда** *Зогр*, где лексическое значение атрибута **дньевьнага** мотивировано семантикой греческой корневой морфемы, ср. *ἡμέρα* ‘день’. Вероятно, параллельное чтение **чрѣда** *Мст* восходит к более полному чтению “текста типа *Зогр*”, а обе рукописи отражают древнеболгарскую правку, судя по отсутствию чтения (**дньевьнага**) **чрѣда** в других редакциях. В одном случае отмечена замена грецизма балканским романизмом: **хитонъ** > **котыга** *Мст* (Ин 19:23), ср. лат. *coticum*, один раз грецизм **июдеи** заменён романизмом **жидовинъ** (Ин 19:12) *Зогр*, *Мст*. Оба примера отражают балканскую правку текста у южных славян.

Ярчайший пример болгаризации древнейшего перевода – замена грецизма **коръ** (*κόρος*) южнославянизмом **вързобъ** *Тин* (ср. **мѣра** *Мст*). Слово **вързобъ** имеет соответствия в болг. *врзоп*, макед. *врзоп* ‘узел с находящимся внутри предметом; связка’ и сербск. *врзоб* ‘плетёное приспособление для процеживания молока при изготовлении сыра’ (РБЕ, *s.v.*; РСХКНЯ 3: 58). В славянских исторических словарях эта лексема отсутствует, форма **вързобъ** *Тин* – её самая ранняя и единственная фиксация в памятниках древней славянской письменности, которая до сих пор оставалась не-

‘Heiligkeit, Heiligung, Weihe’, *wibi* ‘Heiligkeit, Heiligung’ (AHDW 389), где один корень *wih-* выражает три разных понятия (Пентковский 2019: 87-89).

известной. Согласно (БЕР 1: 210-211), “**вързѡп** ... късно образуване от *врѣзѡм* [‘соединять, стягивать в узел, связывать’ – К.К., Р.К.] по *сноп* ... засто в рум. диал. *hirzob* ‘въже; мрежа, простряна на въже’, *virzób* ‘мрежа, простряна на въже; нос на обувка’, *vurzor* ‘дървен кръг с кръстосани върви, дето се цеди сирене’”, рум. диал. *vărzob* ‘соломенный жгут для связывания снопа’, *virzob* ‘связка виноградных лоз с гроздьями’ (Клепикова 1972: 71). По мнению Т.Г. Клепиковой (1972: 89-93), **вързѡп** содержит малопродуктивный суффикс *-*ǫp*- романского юго-западнобалканского происхождения (< греч. -*ὄπουλον*), независимый от праслав. *-*ǫp*, ср. **врѣтъпъ**, **врѣтопъ** (см. затем: Страхов 1991: 139; OCSД, *s.v.* **врѣтъпъ**; ESJS 4: 1094-1095). Это не объясняет *b* в **вързѡбъ** и в его сербских и румынских соответствиях, ср. варианты **vьrtьpъ* / **vьrtьbъ*, польск. *wertep*, *werteb*, *werteba* ‘окольная дорога, пропасть, ущелье’, русск. диал. *вертебя*, *вертеб* (и производ.) *вертеба*, укр. диал. *вертиб*, *вѣртѡбѡ*, др.-русск. *вертебѡ*; у этих слов обычно усматривают общую словообразовательную модель с **вързѡбъ** (*врѣзон*, *врѣзон*, *врѣзоб*), формы с *b* объясняются “восприятием конечного -*n* как глухого -*b*” или же звонким вариантом соответствующего суффикса (Клепикова 1972: 52-54, 63-67; Страхов 1991: 139; РЭС 6: 329, 331-334). Фиксация формы **вързѡбъ** в *Тин* заставляет датировать её эпохой до завершения падения редуцированных (не позднее XI в.), что делает гипотезу о наличии двух вариантов суффикса *-*ǫp* / *-*ǫb* более вероятной, чем предположение о гиперкорректном озвончении конечного согласного. Семантика гебраизма *кѡрос* ‘мера объёма зерна, муки и под. (ср. др.-евр. *kor*)’ (GDWNT 806), болг. *врѣзон*, рум. *virzob* позволяют определить значение др.-болг. **вързѡбъ** ‘сноп (пшеницы)’, ср.: *ἔπειτα ἐτέρω εἶπεν· σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις; ὁ δὲ εἶπεν· ἑκατὸν κόρους σίτου* (Лк. 16:7) ‘потом другому сказал: а ты сколько должен? Он сказал: сто мер пшеницы’.

Пример варьирования “грецизм – грецизм” – замена *динарь* (греч. *δηνάριον*, ср. лат. *dēnārius*) на *кентинарь* (или *кентинарии*) *Мст* (Лк 7:41) (*κεντινάριον* < *centinarium*). Слово *кентинарь* (или *кентинарии*) отсутствует в OCSД, Ф. Миклошич отметил *кентинарь* (и варианты) в сербско-церковнославянских рукописях XIV-XVII вв. (LPGL, *s.v.* *кентинарь*), а СРЯ 11-17 вв. (7:113) приводит форму *кентинарь* (*кентинарь*) с древнейшей фиксацией в Пандектах Никона Черногорца. Самый ранний пример употребления этой лексемы в *Мст* поразительным образом не имеет словарной фиксации и свидетельствует о её наличии в древнеболгарской книжности X в. Подобно варьированию *ассарии* > *пѣнасъ*, замена *динарь* > *кентинарь* отражает модернизацию денежной терминологии в соответствии с современной редактору номенклатурой: римский динарий был неизвестен в эпоху первых славянских переводов, в отличие от имевшего реальное хождения кентинария.

Латинизмы (ТАБЛИЦА 2) составляют около 7 % займствованной лексики *Мар*. Этот небольшой лексический пласт очень устойчив, дважды отмечена его вторичная грецизация:

ТАБЛИЦА 2. Латинизмы

Слх	Мар	Зогр	Ас	Тип	Остр	Сав	Арх	Мст	№Лз8	V	
<i>passim</i>			Δρηγμα				ΔΙΔΡΑΓΜΑ Мф 17:24	ΜΕΔΥΛΛΙΝΑ, ΔΙΔΡΑΓΜΑ Мф 17:24	δρασηρή	diagma didragma	
Лк 11:42			ΜΑΤΑ			—		ΒΟΛΑΜΙΝΑ	ήδουσιου	menta	
<i>passim</i>			οΛВИ	οΛВИ, οΛВИ Мф 25:3;4	οΛВИ, οΛВИ Мк 6:13; Мф 25:8	οΛВИ Лк 7:46, 10:34; Мф 25:3	οΛВИ	οΛВИ Мф 25:3, Лк 7:46, ΜΑΣΟ Лк 10:34	ελαιου	olcum	
<i>passim</i>			οΛΤΑΡЬ	οΛΤΑΡЬ		—	οΛΤΑΡЬ	ΤΡΕΨΥΝΙΝΣΖ Мф 5:23, 23:18, 19; οΛΤΑΡЬ Лк 11:51; 1:11	βουλαστηριου	altare	
Мф 27:7, 10			οΛΟ οΣΚΑΔΑΜΥΝΙΚΩΣ / οΣΚΑΔΑΜΥΝΗ								αγρου φυγυλι
<i>passim</i>			οСЕРИЦА	οСЕРИЦА	οСЕРИЦА	οСЕРИЦА	—	οСЕРИЦА	οСЕРИЦА	loculos	
Лк 5:19			οСΚΑΔΑΖ, οСΚΑΔΑΖ	οСΚΑΔΑΖ	οСΚΑΔΑΖ	οСΚΑΔΑΖ	οСΚΑΔΑΖ	—	οΙ κερατοι	testum	
<i>passim</i>			οСΚΑΔΑΜΥΝΙΚΩΣ	οСΚΑΔΑΜΥΝΙΚΩΣ	οСΚΑΔΑΜΥΝΙΚΩΣ	—	οСΚΑΔΑΜΥΝΙΚΩΣ	οСΚΑΔΑΜΥΝΙΚΩΣ	κερασιου	lagena amphora	
<i>passim</i>			οСΑΒΒΑΤУМ, οСΑΒΒΑΤУМ (ср. sabbatum)	οСΑΒΒΑΤУМ, οСΑΒΒΑΤУМ [ср.ср.ср.], οСΑΒΒΑΤУМ (ср. sabbatum)	οСΑΒΒΑΤУМ, οСΑΒΒΑΤУМ [ср.ср.ср.], οСΑΒΒΑΤУМ (ср. sabbatum)	—	οСΑΒΒΑΤУМ	οСΑΒΒΑΤУМ	το σαββατου, τα σαββατα	sabbatum	

ТАБЛИЦА 4. Германизмы Древне(восточно)германского происхождения

Стих	Мар	Зогр	Ас	Тип	Остр	Сав	Арх	Мст	NAz8	V
Мк 6:2-5			вмѣдо				—	вмѣдо	πίνωξ	discus
Лк 1:6:6,7		воуры		кыныгы			—	кыныгы	γράμμα	cautio littera
<i>passim</i>				вельмьжъ, вельмьжъдъ					κάμηρος	camelus
<i>passim</i>				вино					οἶνος	vinum
<i>passim</i>				виноградъ					ἀμπέλον, σταφυλή	vinca
Мк 7:4		котьмъ					—	мьдмъ	χάλκος	crāmentum
<i>passim</i>				куупиги					ἀγοράζω	epō / epeteo
<i>passim</i>				кряктъ					στειρός	styx
<i>passim</i>			кыназь				—	кыназь, владыка Мк 3:2-2	ἀρχόν	princeps
<i>passim</i>				льсть				льсть Мк 14:1, Мф 27:64 ЛФКАМЪСГЕТО Лк 20:2-3	πασούριον πᾶντι δόλος, ἀπάτη	dolum error descriptio
<i>passim</i>		осьмъ	осьмъ	жрѣвць Мф 2:1-2	осьмъ	осьмъ	—	осьмъ	ὄναριον, ὄνος	asinus
Мф 2:3:2-9			рака				—	рака	μνημεῖον	monumenta
<i>passim</i>				оржмъ (слав. лексема, ср. * <i>gasiiti</i> ?)					ἔκστασις, θάμβος	avor, stupor
<i>passim</i>				хумь					ἄρτος	panis
<i>passim</i>			хумь				—	хумь	βουνός	collis
<i>passim</i>				цркъ					ἐκκλησία, ἱερόν	ecclesia, templum
<i>passim</i>				цркърь					βασίλειός	rex

- (1) **сѡбота** (только *Мар*⁴) и **сѡботънѣ** (*Мар, Зоґр, Ас, Сав, Остр*) (OCSD, *s.vv.* сѡботънѣ, сѡботънѣ), наличие формы **сѡбот-** в независимых ветвях традиции текста не позволяет сомневаться в её исконном характере;
- (2) **олеи** (лат. *oleum*, др.-в.-нем. *olei*) > **ѡлеи** (ἔλαιον) *Тин, Остр, Мст*.

Замена слова **скриница** (общее чтение свидетелей независимых ветвей традиции, *Мар* и *Ас*) общим чтением *Зоґр* и *Мст* **ковъѣжыць** свидетельствует о вторичной тюркизации первоначального перевода в древнеболгарской языковой среде.

Вторичная латинизация евангельского текста не засвидетельствована, при наличии лексического варьирования латинизмы всегда представляют исконное чтение.

Романская лексика представлена четырьмя корневыми морфемами. Слова носят повседневно-бытовой характер, христианская терминология романского (не латинского!) происхождения в древнейшем славянском Евангелии отсутствует. Устойчивость этого небольшого лексического пласта объясняется праславянской древностью заимствований. Единственный случай замены романизма славянизмом представлен индивидуальным чтением *Сав* (**клевѣртѣ** > **подрѡугѣ**), единичный случай варьирования романизма с хронологически близким германизмом – **миса** (*Мар, Ас*) / **блюдо** (*Зоґр, Ас, Мст, Остр, Тин*). Общее чтение *Мар* и *Ас* свидетельствует в пользу первичности романизма **миса** по отношению к германизму **блюдо**. Слово **блюдо**, однако, несомненно входило в лексикон древнейшего перевода, хотя и было, судя по всему, менее частотным (см. ТАБЛИЦУ 3).

Лексика **древне(восточно)германского** происхождения (ТАБЛИЦА 4) составляет около 11% заимствованной лексики *Мар*. Вторичная германизация евангельского текста с помощью лексики восточногерманского происхождения проявляется в заимствованиях из готского языка, ср. замену **алавастръ** и **нардѣ** лексемой **стыкланица** в *Мст* и **скълаасъ** > **цата** в *Остр*. Кроме примера **миса** / **блюдо**, укажем на двукратную замену восточногерманских лексем славянскими в *Мст*: **котълъ** > **мѣдъница** (Мк 7:4); **льсть** > **лѣкавьство** (лоукавьство) (Лк 20:23). Древне(восточно)-германский пласт столь же устойчив, как и древнероманский, что объясняется общеславянским характером заимствований и глубокой освоенностью этой древней лексики славянскими диалектами.

Германизмы **западногерманского** происхождения (ТАБЛИЦА 5) заменяются славянскими лексемами в кириллических апраксах: **скриница** > **раѣица**; **пѣнажьникъ** > **тѣръжьникъ**, **коупьць**; **жюпелъ** > **камы гораць**. За единственным исключением (см. выше **асарии** > **пѣназь**), вторичная германизация славянского перевода с помощью лексики западногерманского происхождения не засвидетельствована.

⁴ Вопреки OCSD, форма **сѡбота** отсутствует в *Ас* (Koch 2000).

ТАБЛИЦА 5. Древнезападногерманские заимствования

Слех	Мар	Зотр	Ас	Тип	Остр	Сав	Арх	Мст	NA28	V
Лк 17:29		жопельз			—			камь гуржи	βῆσον	sulphur
<i>passim</i>	мыгхуьр	мыгхуьр мьздоньмьц Мф 5:46, 9:10-11, 11:19				мыгхуьр			τελώγης	publicanus
<i>passim</i>	неврдуь (ESSJ 4: 1086-1087, s.v. <i>vr̥daz̥</i>)	неврдуь не вез рладз	неврдуь не вез рладз	неврдуь неврдуь	неврдуь Мф 2:1-42	неврдуь, не вез рладз Мф 2:1-42	—	неврдуь	ἀπεδοσείω	gerrobare
<i>passim</i>				пестити са					ιυρεγέω	iciuno
<i>passim</i>				постъ				постъ Мк 9:29, Лк 2:37 АМАННЕ Мф 17:21	ιυρεγέω	ieiunium
Ин 2:14; Лк 19:23		пвнлжынкьз			трузьжынкьз	пвнлжынкьз	трузьжынкьз Лк 19:23	пвнлжынкьз кэульцэ	κερατιαστῆς Ин 2:14, τρεῖς τρεῖς Лк 19:23	numularius mensa
<i>passim</i>				пвнлжь				залтица	δραχμον	denarium
Мф 22:19	свължьз		свължьз	свължьз	цатх	свължьз	свължьз	залтица	νέμισμα	nomisma

ТАБЛИЦА 6. Тюркизмы (выделены цветом)

Стих	Мар	Зотр	Ас	Тип	Остр	Сав	Арх	Мст	NA28	V	
<i>passim</i>	палпрѣдѣ, прѣвпрѣдѣ, прампрѣдѣ, прѣвпрѣдѣ, прѣвпрѣдѣ			палпрѣдѣ	бѣлгѣрѣвѣнѣца	прѣвпрѣдѣдѣ	бѣлгѣрѣ, бѣлгѣрѣнѣца		порѣрѣрѣ	purpura	
Ин 19:2		палпрѣдѣдѣдѣ, прѣвпрѣдѣдѣдѣ		прѣвпрѣдѣдѣ	бѣлгѣрѣвѣнѣцѣ	прѣвпрѣдѣдѣдѣ	бѣлгѣрѣнѣцѣ		порѣрѣрѣдѣ	purpurea	
<i>passim</i>				бѣсѣрѣдѣ							margaritas
Мк 4:38	вѣдѣрѣдѣдѣнѣца	дѣрѣдѣдѣдѣ	—	вѣдѣрѣдѣдѣнѣца	—	—	—	вѣдѣрѣдѣнѣ	прѣдѣрѣдѣдѣдѣдѣ	servical	
<i>passim</i>				кѣвѣдѣрѣдѣдѣ							arca
<i>passim</i>		кѣрѣдѣдѣдѣ		—	—	кѣрѣдѣдѣдѣ	—	кѣрѣдѣдѣдѣ	стѣдѣдѣ	seditio dissensio	
<i>passim</i>				кѣдѣнѣдѣ							libro
<i>passim</i>		кѣдѣнѣдѣдѣдѣ, кѣдѣнѣдѣнѣцѣ		кѣдѣнѣдѣдѣнѣцѣ, кѣдѣнѣдѣнѣцѣ	кѣдѣнѣдѣдѣнѣцѣ, кѣдѣнѣдѣнѣцѣ	кѣдѣнѣдѣнѣцѣ, кѣдѣнѣдѣнѣцѣ	кѣдѣнѣдѣнѣцѣ, кѣдѣнѣдѣнѣцѣ	кѣдѣнѣдѣнѣцѣ, кѣдѣнѣдѣнѣцѣ	дѣрѣдѣдѣдѣдѣдѣдѣ	scribae	
Мк 7:8	дѣдѣдѣдѣ	дѣрѣдѣдѣдѣ (слав. лексема?)		—	дѣдѣдѣ	—	—	дѣдѣдѣ	дѣдѣдѣдѣ	ursus	
<i>passim</i>	дѣдѣдѣдѣ, дѣдѣдѣдѣ			дѣдѣдѣдѣ							calcamenta
<i>passim</i>				дѣдѣдѣ							decem milia; multus

ТАБЛИЦА 7

	Мар	Зогр	Ас	Тип	Остр	Сав	Арх	Мст
греческие	95 (2)	84 (5) [2]	85 (6) [6]	87 (2) [5]	76 (3) [17]	49 (2) [37]	57 (1) [32]	61 (6)
латинские	9	7 (1)	8 [1]	8 (1)	4 (1) [2]	5 [3]	5 [2]	4 (2) [1]
романские	5	4	4 (1)	4	4	4 (1) [1]	4 [1]	4
др.-герм. и др.-вост.-герм.	17	17	17	15	15 [2]	11 [5]	11 [6]	15 (2)
зап.-герм.	8	8 (1)	7	7	5 [1]	6 [1]	5 [2]	5 (2)
тюркские	7 (1)	9	7 [2]	7 [1]	8 (1) [2]	7 [1]	8 [3]	9 (2)
всего	141	129	128	128	112 [24]	82 [48]	90 [46]	98

К архетипу перевода восходят слова *бисъръ*, *ковъчегъ*, *крамла*, *кънига* (*кънижьникъ*), *сапогъ*, *тъма*, из них только *къниг-* относится к древнейшему пласту праславянских *тюркизмов*, остальные слова – дунайско-болгарские заимствования, которые были известны и в праславянских говорах к юго-западу от очага славянско-болгарских контактов на востоке Первого Болгарского царства и по этой причине могли входить в кирилло-мефодиевский лексикон (см. Станков 2021: 74-75). По мере распространения славянского Евангелия на древнеболгарской почве количество дунайских болгаризмов увеличивается: вторичная тюркизация представлена в формах *дохторъ* (*Зогр*), *кънигъчи*, *ковъчезьць* (*Зогр*, *Мст*) (см. ТАБЛИЦУ 6), в дериватах с корнем *багър-* (для *багър-* допускается славянское происхождение), *кръчагъ* (*Зогр*) (если это не славянское слово, ср. **kŕk-* ‘горло’; ср. Саенко 2020), *кънигъчи* (OCSDB, s.vv.; Темчин 1995: 75; Пичхадзе 2009: 443-446; Пичхадзе 2016: 301). В Юрьевском, Галицком и Добриловом евангелиях XII в. представлены тюркизмы *гоморъ*, *комърогъ*, отсутствующие в древнейших рукописях (Славова 2011: 64). Судя по материалам Т. Славовой (2011), наибольшее количество тюркизмов представлено не в Евангелии, а в считающихся преславскими толковых редакциях ветхозаветных книг.

Итоговые числовые данные представлены в ТАБЛИЦЕ 7. Число в круглых скобках обозначает количество заимствований, которые варьируются с исконно славянской или другой заимствованной лексикой в отдельных стихах (напр., *олеи / масло*). Это число включено в общее число лексем каждой группы. Число в квадратных скобках обозначает количество лексем, о наличии или отсутствии которых мы не можем судить из-за отсутствия соответствующего чтения (это число по понятным причинам особенно велико в кратких апракосах).

Подведём итоги.

Греческие лексем абсолютно доминируют среди заимствованной лексики древнейших славянских переводов Евангелия и имеют системные соответствия в Вулгате.

Вторичная грецизация отмечена в примерах олѣи/елеи; динарь/кентинарь; *крижма > хризма, хрисма; оцьтньо вино/озьмьрено вино; собот-/сѣбота-. Вероятно, сюда же относится *haraх legomenon* енкениа (*Map*) (vs. свѣщеніе, *сѣщеніе). За исключением вариантов динарь/кентинарь, грецизмы заменяют лексику лат. и др.-в.-нем. происхождения. Количество случаев вторичной грецизации, очевидно, было больше, ср. *форз* (Лк. 20: 22) 'налог (ср. φόρος)' в вост.-слав.-ц.-слав. Галицком четвероевангелии 1144 г., сербск.-ц.-слав. Никольском четвероевангелии XV в., ср.-болг.-ц.-слав. Карпинском евангелии XIII в.; этому слову в древнейших рукописях соответствует *дань* (LPGL, s.v.; Jagić 1913: 321; OCSD, s.v.), перед нами результат позднего редактирования моравского перевода у южных славян, который отражает адаптацию древнего текста к финансово-юридической терминологии балканской славянско-греческой контактной зоны. Вероятно, вторичной грецизацией объясняется отсутствие в использованных здесь списках славянского Евангелия латинизма *аменз* (*амень*) (ср. *amen*), которому везде соответствует грецизм *аминь*, *аминз* (*ἀμίν*). О возможном наличии латинизма в несохранившемся кирилло-мефодиевском переводе свидетельствуют формы *аменз* или *амень*, отмеченные в Ватиканском палимпсесте и в новооткрытой части Синайской псалтири (OCSD, s.v. *аминь*).

Займствования из латыни и древневерхненемецкого языка образуют существенно меньшую группу, однако эта лексика является столь же древней по отношению к истории текста славянского Евангелия, что и грецизмы. Это естественно объясняется тем, что архетип перевода, выполненный с греческого языка носителями южнославянского идиома (солунского – городского? – диалекта), возник в латинско-западногерманско-славянской культурно-языковой среде, в церковных организациях Римской церкви на центральноевропейских территориях Великой Моравии и Блатенского княжества. Вторичная латинизация древнейших редакций не засвидетельствована, вторичная германизация представлена единичными формами: *пенась* *Зогр* (vs. *дссарии*; гармонизация терминологии за счёт устранения лексемы с контекстно ограниченным употреблением), *цата* *Остр*, *Арх* (vs. *лѣпта*; древневосточногерманское заимствование праславянского периода *цата*, вероятно, уже не воспринималось как иностранное слово в эпоху появления первых переводов). За единственным исключением (*пенась*/дссарии), западногерманские заимствования и латинизмы всегда представляют первоначальное чтение по сравнению с любым другим вариантом.

Относительно небольшой пласт древне(восточно)германских заимствований глубоко освоен славянскими диалектами и по этой причине устойчив, хотя германизм *блюдо* может варьироваться с романизмом *миса*. Таковую же устойчивость демонстрируют романизмы и заимствования из народной латыни, носящие исключительно повседневно-бытовой характер.

Культурно-языковая общность, в которой был выполнен славянский евангельский перевод, в меньшей степени была подвергнута влиянию тюркизмов дунайско-прабугарского происхождения, чем балканский регион – область позднейшего распространения церковнославянской письменной культуры у южных славян. Этим

объясняется относительно небольшое количество тюркизмов в древнейшем переводе, которое увеличивается в ходе редактирования Евангелия в древнеболгарской среде. Случаи вторичной тюркизации малочисленны и несистемны, спорадичность тюркизации в отдельных списках Евангелия в целом сопоставима с тем, что Я. Милтенев (2020: 60) (вслед за другими авторами) писал о непоследовательности употребления “преславской лексики” в древнем славянском Священном Писании.

Характер варьирования заимствованной лексики древнейших редакций церковнославянского Евангелия соответствует содержанию и направлению ранних славянских языковых контактов до XI в. и отражает распространение древней церковнославянской письменности из центральноевропейского культурно-языкового ареала на Балканы.

Источники

<i>Арх</i>	<i>Архангельское евангелие</i> 1092 г., по изд. Жуковская, Миронова 1997 ⁵ .
<i>Ас</i>	<i>Ассеманиево евангелие</i> XI в., по изд. Kurz 1955.
<i>Зогр</i>	<i>Зографское евангелие</i> XI в., по изд. Jagić 1879.
<i>Мар</i>	<i>Мариинское евангелие</i> XI в., по изд. Ягич 1883.
<i>Остр</i>	<i>Остромирово евангелие</i> 1056-1057 гг., по изд. Востоков 1843.
<i>Сав</i>	<i>Саввина книга</i> XI в., по изд. Щепкин 1902; Князевская и др. 1999.
<i>Тип</i>	Типографское евангелие XII в., по эл. изд. в базе данных <i>Манускрипты</i> , <manuscripts.ru>.
NA ₂₈	<i>Novum Testamentum Graecae</i> (= Nestle-Aland, editio 28) по изд. в: <i>Lesen im Bibeltext. Deutsche Bibelgesellschaft</i> , <www.bibelgesellschaft.de>.
V	<i>Biblia Sacra Vulgata</i> , по изд. в: <i>Lesen im Bibeltext. Deutsche Bibelgesellschaft</i> , <www.bibelgesellschaft.de>.

Словари, справочные издания, электронные ресурсы

БЕР:	<i>Български етимологичен речник</i> , I-VII-, София 1971-2010-.
МСДРЯ:	И.И. Срезневский, <i>Материалы для словаря древнерусского языка</i> , I-III, Санкт-Петербург 1893-1912.

⁵ Современные полные сведения о шифрах рукописей см. в Пентковский 2019: 135-137. Электронные издания источников: *Манускрипты* <manuscripts.ru>; *TITUS. Thesaurus indogermanischer text- und Sprachmaterialien: Slavonic, Old Church Slavonic* <titus.uni-frankfurt.de/indexd.htm>.

- НРЭ: *Новое в русской этимологии*, Москва 2003.
- РБЕ: *Речник на българския език*, online: <<https://ibl.bas.bg/rbe>>.
- РСХКНЯ: *Речник српскохрватског књижевног и народног језика*, I-XX-, Београд 1959-2017-.
- СРЯ 11-17 вв.: *Словарь русского языка 11-17 вв.*, I-XXXI-, Москва 1975-2020-.
- РЭС: А.Е. Аникин, *Русский этимологический словарь*, I-XIV-, Москва 2007-2020-.
- ЭСРЯ: М. Фасмер, *Этимологический словарь русского языка*, перев. с нем. и доп. О. Н. Трубачева, I-IV, Москва 1986².
- ЭССЯ: *Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд*, I-XLI-. Москва 1974-2018-.
- AHDW: R. Schützeichel, *Althochdeutsches Wörterbuch*, Berlin-Boston 2012⁷.
- CNTG: K. Aland, W. Slaby, *Concordance to the Novum Testamentum Graecae of Nestle-Aland, 26th edition, and to the Greek New Testament, 3rd edition*, Berlin 1987.
- DÉLG: P. Chantraine, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots*, Paris 2002.
- ERHSJ: P. Skok, *Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, I-IV, Zagreb 1971-1974.
- ESJS: *Etymologický slovník jazyka staroslověnského*, I-IV, Brno-Praha 1989-2018.
- GDWNT: W. Bauer, *Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur*, Berlin-Boston 1952⁴.
- OCSD: *Digital Old Church Slavonic Dictionary*, в: *GORAZD: The Old Church Slavonic Digital Hub*, <gorazd.org>.
- LPGL: *Old Slavonic – Greek / Latin Dictionary, a database based on Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum by Fr. Miklosich, 1865 edition*, <<http://monumentaserbica.branatomic.com/mikl2/main.php>>.
- SSTC: M. Karpluk, *Słownik staropolskiej terminologii chrześcijańskiej*, Kraków 2001.
- VKGNT: K. Aland, *Vollständige Konkordanz zum griechischen Neuen Testament: unter Zugrundelegung aller modernen kritischen Textausgaben und des Textus receptus*, I (1/2), Berlin 1983.

Литература

- Алексеев и др. 1998: А.А. Алексеев, А.А. Пичхадзе, М.Б. Бабицкая, И.В. Азарова, Е.Л. Алексеева, Е.И. Вансеева, А.М. Пентковский, В.А. Ромодановская, Т.В. Ткачева (изд., иссл., ред.), *Евангелие от Иоанна в славянской традиции*, Санкт-Петербург 1998.
- Востоков 1843: А.Х. Востоков, *Остромирово евангелие 1056-57 года*, Санкт-Петербург 1843.
- Делева 2000: А.Кр. Делева, *Прабългари и прабългарски заемки. Върху материал от старобългарските писмени паметници*, "Acta Palaeoslavica", 1, 2000, с. 109-115.
- Добрев 1978: И. Добрев, *Гръцките думи в Супрасълския сборник и втората редакция на старобългарските бослужбни книги*, "Български език", 2 (28), 1978, с. 89-98.
- Добрев 1979: И. Добрев, *Текстът на Добромировото евангелие и втората редакция на старобългарските богослужбни книги*, "Български език", 1 (29), 1979, с. 9-21.
- Жуковская, Миронова 1997: Л.П. Жуковская, Т.Л. Миронова, *Архангельское евангелие 1092 года. Исследования. Древнерусский текст. Словоуказатели*, Москва 1997.
- Йовчева 2013: М. Йовчева, *Късните гръцки заемки в преводите на преславските книжовници*, "Годишник на Софийския университет 'Св. Климент Охридски'. Център за славяно-византийски проучвания 'Иван Дуйчев'", 98 (17), 2013, с. 259-273.
- Кайперт 2017: Г. Кайперт, *Церковнославянский язык: круг понятий*, "Slověne", VI, 2017, 1, с. 8-74.
- Клепикова 1972: Г.П. Клепикова, *О карпатоукраинской терминологии горного ландшафта. II*, в: Она же (отв. ред.), *Карпатская диалектология и ономастика*, Москва 1972, с. 51-117.
- Князевская и др. 1999: О.А. Князевская, Л.А. Коробенко, Е.П. Дограмаджиева, *Саввина книга: древнеславянская рукопись XI, XI-XII и конца XIII века*, Москва 1999.
- Костомарова 2021: К.П. Костомарова, *Заемствованная лексика древнейших славянских Евангелий (курсовая работа)*, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Москва 2021.
- Люсен 1995: И. Люсен, *Греческо-старославянский конкорданс к древнейшим спискам славянского перевода евангелий (codices Marianus, Zographensis, Assemanianus, Ostromiri)*, Uppsala 1995 (= Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Slavica Upsaliensia, 36).

- Милтенов 2019: Я. Милтенов, *Три слоя лексического редактирования в Зографском евангелии*, "Slověne", VIII, 2019, 1, с. 12-24.
- Милтенов 2020: Я. Милтенов, *Преславските лексикални маркери. I. Опыт за въведение*, "Palaeobulgarica", XLIV, 2020, 2, с. 54-79.
- Пентковская 2016: Т.В. Пентковская, *Новый Завет в переводе книжного круга Епифания Славинецкого и польская переводческая традиция XVI в.: перевод аргументов к Апостолу*, "Русский язык в научном освещении", 1 (31), 2016, с. 182-226.
- Пентковская 2017: Т.В. Пентковская, *Грецизация в церковнославянских переводах с польского Чудовской книжной школы*, в: И.А. Рассохина (сост.), *Классические языки в постклассический период*, Казань 2017, с. 167-177.
- Пентковский 2014: А.М. Пентковский, *Славянское богослужение в архиепископии святителя Мефодия*, в: Ј. Радић, В. Савић (ур.), *Свети Ђурило и Методије и словенско писано наслеђе: 863-2013. Старословенско и српско наслеђе*, I, Београд 2014, с. 25-102.
- Пентковский 2019: А.М. Пентковский, *Славянский перевод Евангелия и его использование в богослужении в IX (посл. треть)-XI вв.*, в: Ј. Радић, В. Савић (ур.), *Наслеђе и стварање Свети Ђурило: Свети Сава 869-1219-2019*, Београд 2019, с. 73-148.
- Пичхадзе 2002: А.А. Пичхадзе, *Две древнейшие редакции славянского Евангелия: Зографское и Ассеманиево евангелия*, в: А.Ф. Журавлев, Г.К. Венедиктов, В.С. Ефимова (ред.), *Палеославистика. Лексикология. Лексикография. Тезисы международной научной конференции, посвященной памяти Р.М. Цейтлин, 27-29 ноября 2002 г.*, Москва 2002, с. 48-50.
- Пичхадзе 2009: А.А. Пичхадзе, *Преславский полный апракос как свидетель кирилло-мефодиевского перевода Евангелия*, "Slavia", LXXVIII, 2009, 3-4, с. 437-446.
- Пичхадзе 2016: А.А. Пичхадзе, *К текстологии Преславского полного апракоса*, "Studi Slavistici", XIII, 2016, с. 299-306.
- Пичхадзе 2011: А.А. Пичхадзе, *Переводческая деятельность в домонгольской Руси. Лингвистический аспект*, Москва 2011.
- Саенко 2020: М.Н. Саенко, *Праславянское *къгк: семантика и этимология*, "Slověne", IX, 2020, 2, с. 39-62.
- Славова 1989: Т. Славова, *Преславска редакција на КирилоМетодиевия старобългарски евангелски превод*, "Кирило-Методиевски студии", VI, 1989, с. 15-129.

- Славова 2011: Т. Славова, *Правбългаризми в старобългарския превод на Библията*, в: М. Митева, Т. Николова, Б. Славов (съст.), *Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Диана Иванова*, Пловдив 2011, с. 64-74.
- Соболевский 1900: А.И. Соболевский, *Церковнославянские тексты моравского происхождения*, "Русский филологический вестник", XLIII, 1900, 1-2, 1900, с. 150-217.
- Станков 2021: Р. Станков, *Еще раз к проблеме так называемой "преславской лексики"*, "Palaeobulgarica", XLV, 2021, 2, с. 65-84.
- Страхов 1991: А.Б. Страхов, *Культ хлеба у восточных славян. Опыт этнолингвистического исследования*, Мюнхен 1991.
- Темчин 1995: С.Ю. Темчин, *О разграничении лексических архаизмов и инноваций в церковнославянском тексте: варианты књижижникъ и књижици в списках Евангелия XI-XVI вв.*, "Kalbotyra" XLV, 1995 [1997], 2 (= "Slavistica Vilmnensis"), с. 64-81.
- Темчин 1996: С.Ю. Темчин, *Текстологическая значимость церковнославянской лексики: восточноболгарская лексика в древнерусском Мстиславовом евангелии*, "Славяноведение", 1, 1996, с. 63-72.
- Щепкин 1902: В.Н. Щепкин, *Саввина книга*, Санкт-Петербург 1902 (= Памятники старославянского языка, 1/2).
- Ягич 1883: В. Ягич, *Мариинское четвероевангелие с примечаниями и приложениями*, Berlin-Санкт-Петербург 1883.
- Bergren 2019: Th. Bergren, *Greek Loan-Words in the Vulgate New Testament and the Latin Apostolic Fathers*, "Traditio", LXXIV, 2019, с. 1-25.
- Voček 2010: V. Voček, *Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích*, Praha 2010.
- Voček 2014: V. Voček, *Praslovanština a jazykový kontakt*, Praha 2014.
- Voček 2020: V. Voček, *Románské výpůjčky ve staroslověnině a otázka možných paleoslovenismů románského původu ve staré češtině*, "Slavia" 89 (2), 2020, с. 156-167.
- Diels 1932: P. Diels, *Altkirchenslavische Grammatik mit einer Auswahl von Texten und einem Wörterbuch*, I, Heidelberg 1932 (= Sammlung slavischer Lehr- und Handbücher, 1. Reihe: Grammatiken; 6: Altkirchenslavische Grammatik).
- Dybo 2010: A. Dybo, *Bulgars and Slavs: Phonetic Features in Early Loanwords*, *Studies on the Turkic World*, in: E. Mańczak-Wohlfeld, B. Podolak (eds.), *Studies on the Turkic World: Festschrift in Honour of Stanisław Stachowski*, Kraków 2010, pp. 21-40.

- Garzaniti 2001: M. Garzaniti, *Die altslavische Version der Evangelien. Forschungsgeschichte und zeitgenössische Forschung*, Köln-Weimar-Wien 2001 (= Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte, neue Folge, Reihe A: slavistische Forschungen, 33).
- Granberg 2009: A. Granberg, *Classification of the Hunno-Bulgarian Loan-Words in Slavonic*, in: P. Ambrosiani (ed.), *Swedish Contributions to the Fourteenth International Congress of Slavists (Obhid, 10-16 September 2008)*, Umeå 2009, c. 19-29 (= Umeå Studies in Language and Literature, 6).
- Holzer 2011: G. Holzer, *Glasovni razvoj hrvatskoga jezika*, Zagreb 2011.
- Holzer 2014: G. Holzer, *Vorgeschichte der slavischen Sprachen und Sprachkontakt: Vorhistorische Periode*, in: S. Kempgen, P. Kosta, T. Berger, K. Gutschmidt (Hrsg.), *Die slavischen Sprachen. Ein Handbuch ihrer Struktur, ihrer Geschichte und ihrer Erforschung / The Slavic languages. An International Handbook of their Structure, their History and their Investigation*, II, Berlin-New York 2014, c. 1198-1210.
- Holzer 2020: G. Holzer, *Untersuchungen zum Urslavischen: Einleitende Kapitel, Lautlehre, Morphematik*, Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Warszawa-Wien 2020 (= Schriften über Sprachen und Texte, 13).
- Horálek 1954: K. Horálek, *Evangeliáře a čtveroangelia. Příspěvky k textové kritice a k dějinám staroslověnského překladu evangelia*, Praha 1954.
- Jagić 1879: V. Jagić, *Quattor evangeliorum codex glagoliticus olim Zographensis nunc Petropolitanus*, Berolini 1879.
- Jagić 1913: V. Jagić, *Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache*, Berlin 1913.
- Klich 1927: E. Klich, *Polska terminologia chrześcijańska*, Poznań 1927.
- Koch 2000: Ch. Koch, *Kommentiertes Wort- und Formenverzeichnis des altkirchenslavischen Codex Assemanianus*, unter Mitwirkung von E.-M. Kintzel und A. Schröder, Freiburg i. Br. 2000.
- Kurz 1955: J. Kurz, *Evangeliář Assemanův: kodex Vatikánský 3. slovanský, díl 2. Úvod, text v přepise cyrilském, poznámky textové, seznamy čtení*, Praha 1955.
- Newerkla 2011: S. Newerkla, *Sprachkontakte Deutsch-Tschechisch-Slowakisch. Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Tschechischen und Slowakischen: historische Entwicklung, Beleglage, bisherige und neue Deutungen*, Frankfurt am Main 2011² (= Schriften über Sprachen und Texte, 7).
- Pronk-Tiethoff 2013: S. Pronk-Tiethoff, *The Germanic Loanwords in Proto-Slavic*, Amsterdam-New York 2013 (= Leiden Studies in Indo-European, 20).

Stachowski 2014:

M. Stachowski, *Türkischer Einfluss auf den slavischen Wortschatz*, in: S. Kempgen, P. Kosta, T. Berger, K. Gutschmidt (Hrsg.), *Die slavischen Sprachen. Ein Handbuch ihrer Struktur, ihrer Geschichte und ihrer Erforschung / The Slavic languages. An International Handbook of their Structure, their History and their Investigation*, II, Berlin-New York 2014, с. 1199-1210.

Abstract

Roman Nikolaevich Krivko, Ksenia Pavlovna Kostomarova

Loanwords of the Earliest Slavic Gospels. An Attempt of Quantitative Analysis

Graecisms make up the majority of loanwords in the earliest Slavic Gospels, while more than 70% of the same graecisms appear also in the Latin Bible. During mass, the Slavic Gospel was to be recited after the Latin one in the ecclesiastical organisation of St. Methodius, therefore the lexicon of the Latin Bible must have served as one of the models of the earliest Slavic Bible, which also concerns its graecism. The lexemes of western Germanic and Latin origin make up a much lesser group of loanwords in Slavic Gospels in comparison to graecisms. However, they are as archaic as graecisms and thus are a testament to the earliest text of the Slavic Gospel which originated in Great Moravia and has not survived. Turkic loanwords are not numerous in the earliest Slavic Gospels, though they appear more often in the younger versions along with secondary graecisms. The variation of loanwords in the redactions of Slavic Gospels shows the historical path of Old Church Slavic from the central european areas of Great Moravia and the Pannonian principality to the south of the Slavic world.

Keywords

Old Church Slavic Gospels; Loanwords; History of Old Church Slavic; Greek Influence in Old Church Slavic; Latin Influence in Old Church Slavic; Germanic Influence in Old Church Slavic.

Alberto Alberti

RNB.Pogodin.11 e la tradizione testuale dei vangeli slavi. Le varianti testuali e lessicali a confronto

Presso la Biblioteca Nazionale Russa (RNB) di San Pietroburgo è conservato, con segnatura Pogodin.11 (d'ora in poi P11), un manoscritto che ha attirato più volte l'interesse degli studiosi, ma che solo in tempi recenti è stato analizzato in modo approfondito (cfr. Mol'kov 2016). Si tratta di un lezionario festivo slavo-orientale molto antico – solitamente viene datato a cavallo dei secc. XII-XIII (Granstrem 1953: 21; Žukovskaja 1984: 164; Tvorogov, Zagrebin 1988: 27; Garzaniti 2001: 567; "prima o attorno al 1250" in Sreznevskij 1882: col. 118), ma sono state proposte anche datazioni più remote: già N.N. Durnovo (1969: 58) datava il ms. agli inizi del XII secolo; più recentemente, criteri ortografici, paleografici e linguistici hanno portato G.A. Mol'kov (2016: 251) a collocarlo "tra i mss. anticorussi dell'XI secolo". Nella sua edizione del Vangelo di Marco, G.A. Voskresenskij (1894) trovò opportuno inserire il ms. (con sigla A25) nell'apparato della 'prima redazione', sottolineando che si trattava di "un testimone assai importante" sia dal punto di vista linguistico, sia da quello propriamente testuale (cfr. Voskresenskij 1896: 24).

Il codice è ora integralmente consultabile on-line sul portale *Elektronnaja biblioteka rukopisej* della RNB², dove la modesta risoluzione delle immagini (100 ppi) è decisamente compensata dalla loro grande dimensione (ca 75 × 50 cm).

Mentre le particolarità ortografiche e linguistiche (per lo più fonologiche) del codice sono state almeno in parte analizzate all'interno di studi di carattere generale (si veda la ricca bibliografia di Mol'kov 2016), manca a tutt'oggi uno studio esaustivo del suo testo, in particolare per quanto concerne gli aspetti lessicali. In questa sede non mi occuperò direttamente delle problematiche inerenti alla datazione; ritengo tuttavia che il quadro che emergerà dall'analisi potrà fornire spunti di riflessione anche agli studiosi che si occupano di questo problema.

¹ La datazione all'XI secolo è accolta in Kryš'ko, Mol'kov 2017: 339 (cfr. anche *passim*). La stessa E.V. Uchanova, che ringrazio per avermi suggerito di occuparmi di questo interessante ms., anticipa la composizione di P11 rispetto alla datazione tradizionale, collocando il codice tra la fine dell'XI sec. e il primo terzo del XII (comunicazione personale del giugno 2021).

² <<http://nlr.ru/manuscripts/RA1527/elektronnyy-katalog?ab=EB7469D8-A0BB-411A-B798-156C4D2FEB24>> (l'ultimo accesso a tutti gli URL menzionati in questo articolo è stato effettuato il 04.11.21).

Anzitutto, prima di analizzare il lessico di P₁₁ è necessario inquadrare questo codice nella complessa tradizione testuale dei vangeli slavi (in particolare del lezionario), dal momento che una forma lessicale può risalire all'antigrafo, oppure può essere il risultato di un adattamento linguistico a opera del copista.

1. *La tradizione testuale del lezionario festivo*

Il più esteso e sistematico studio del lezionario festivo slavo-ecclesiastico comparso negli ultimi decenni è opera di Jerzy Ostapczuk (2013). La nostra ricognizione del testo di P₁₁ quindi partirà necessariamente dai dati raccolti dallo studioso, che ha collazionato il testo di alcune pericopi del ciclo matteo (ovvero i sabati e le domeniche 1, 8 e 16 dopo la Pentecoste) in ben 73 lezionari festivi della tradizione slava (Ostapczuk 2013: 487sgg.). Sulla base di questa selezione di versetti (assai utile, ma troppo limitata perché se ne possano trarre conclusioni affidabili), quando il testo di P₁₁ devia dalla versione slava maggioritaria, i mss. del *corpus* che si accordano più spesso con questo codice risultano essere soprattutto lezionari slavo-orientali (e, anche assumendo la datazione di P₁₁ al confine tra il XII e il XIII secolo, tutti di età successiva al nostro codice):

- Moskva, RGADA, f. 188, n°816, XIII sec. (slavo-orientale, ma risulta difficile identificare con precisione l'area di provenienza: cfr. Garzaniti 2001: 427-428). 36 varianti condivise su 107 (34%).
- Peć, Monastero patriarcale, n°26, 1425-1450. 31 varianti (29%).
- Moskva, RGADA, Sin.Tip., n°12, XIII-XIV sec. 31 varianti (29%).
- Moskva, RGB, M.3168 (*Vangelo di Evsevij*), 1283 (galiziano, ma caratterizzato da vari bulgarismi, cfr. Garzaniti 2001: 94). 30 varianti (28%).

I lezionari festivi il cui testo sembra invece più distante da P₁₁ (escludendo i codici molto lacunosi) sono codici slavo-meridionali, anche in questo caso più recenti di P₁₁:

- Cluj-Napoca, Biblioteca centrala universitară, n°4095, XV sec. 5 varianti (5%).
- Sofija, NBKM, n°849, fine XIII sec. 6 varianti su 107 (6%).
- Sankt-Peterburg, RNB, Q.p.I.23, prima metà XIII sec. 7 varianti (7%).
- București, Biblioteca Academiei Române, n°6, XV sec. 8 varianti (7%).
- Gerusalemme, Biblioteca del patriarcato greco-ortodosso, slav.19, metà XIII sec. 8 varianti (7%).

I lezionari paleoslavi invece si collocano all'incirca a metà strada:

- Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Slav.3 (*Vangelo di Assemani*), seconda metà X sec. 22 varianti (21%).
- Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Gr.2502 (*Palinsesto Vaticano*), seconda metà X sec. 22 varianti (21%).
- Moskva, RGADA, Sin.Tip., n°14 (*Libro di Sava*), XI sec. 15 varianti (14%).

Per quanto riguarda la tradizione slavo-orientale più antica, è il caso di notare come P₁₁ sembri accordarsi più spesso con il Vangelo di Ostromir – che sopravanza i lezionari paleoslavi in termini di numero di accordi –, rispetto al Vangelo di Archangel'sk e a quello, più recente, di Putna – che comunque mostrano più punti di contatto rispetto alla *Savvina Kniga*:

- Sankt-Peterburg, RNB, F.p.I.5 (*Vangelo di Ostromir*), 1056-1057, 27 varianti (25%).
- Moskva, RGB, f.178, n° 1666 (*Vangelo di Archangel'sk*), 1092, 19 varianti (18%),
- Mănăstirea Putna, n° 566/II (*Vangelo di Putna*), inizio XIV sec. 19 varianti (18%).

2. *La tradizione testuale del tetraevangelo greco e il 'corpus di Münster'*

Come anticipato, il *corpus* raccolto da Ostapczuk fornisce utili indicazioni, ma è troppo limitato per identificare con precisione il posto che P₁₁ occupa nella tradizione testuale dei vangeli slavi. A tal fine, utilizzeremo il *corpus* di 467 nodi testuali elaborato per il testo del tetraevangelo greco presso l'Institut für neotestamentliche Textforschung (INTF, <<http://egora.uni-muenster.de/intf/>>) e pubblicato nella serie *Text und Textwert der griechischen Handschriften des Neuen Testaments* (TuT, <<http://egora.uni-muenster.de/intf/veroeff/antt.shtml#TuT>>)³.

Come ho già avuto modo di mostrare in una serie di lavori (cfr. nota 3, *supra*), le tradizionali 'redazioni' in cui gli studiosi, da Voskresenskij (1894) ad Alekseev (*et al.* 1998, 2005) hanno suddiviso la tradizione testuale slava sono facilmente identificabili sulla base della quantità di 'testo bizantino' in essi contenuto: oltre il 70% per le versioni più tarde (il cosiddetto 'testo atonita', o 'quarta redazione'), tra il 60% e il 70% per i mss. più antichi (o arcaizzanti, la 'prima redazione'), tra il 50% e il 60% il cosiddetto 'testo di Preslav' (o 'seconda redazione'), mentre il messale glagolitico scende addirittura sotto il 50%.

2.1. *Analisi di P₁₁ nell'intero corpus*

Il testo di P₁₁ contiene 279 nodi, poco più della metà dei *loci critici* presenti nel *corpus*, il che è naturale, trattandosi di un lezionario festivo (il Vangelo di Ostromir, per esempio, ne contiene 283). Un primo esame dipinge il quadro riportato nella TABELLA 1: P₁₁ sembra collocarsi nella periferia superiore (prossima al 'testo antico') dei codici di 'seconda redazione', una tipologia testuale che gli studiosi hanno identificato prevalentemente su basi lessicali, non testuali in senso stretto. I codici più prossimi (ma stiamo ancora parlando di statistiche, non di accordi concreti) risultano essere tetraevangeli balcanici, come il Vangelo di Kopitar (Ljubljana – NUK Cod.Kop.24, del XIV sec.) e lezionari festivi, come

³ La prima applicazione del *corpus* di Münster all'analisi di un testimone slavo si deve a M. Garzaniti (2004). Per un'introduzione metodologica cfr. Alberti 2016a. Per un'applicazione concreta del *corpus* alla tradizione slava (51 testimoni) cfr. Alberti 2013. La disamina di ogni singolo nodo (analizzato in 12 mss. slavi) si può leggere in Garzaniti, Alberti 2017.

TABELLA 1
Pogodin 11 (lesk, 279 nodi)

	testo bizantino e di maggioranza	testo standard	lezioni particolari	casi dubbi e non corrispondenti
Mt	80%	5%	7%	9%
Mc	56%	7%	15%	21%
Lc	55%	24%	17%	3%
Gv	55%	8%	21%	16%
TOT	59%	9%	17%	15%

TABELLA 2
Vangelo Macedone (lesk, 172 nodi)

	testo bizantino e di maggioranza	testo standard	lezioni particolari	casi dubbi e non corrispondenti
Mt	83%	0%	11%	6%
Mc	47%	10%	22%	20%
Lc	48%	11%	26%	15%
Gv	59%	8%	18%	15%
TOT	59%	8%	19%	15%

TABELLA 3
Vangelo di Vukan (le, 425 nodi)

	testo bizantino e di maggioranza	testo standard	lezioni particolari	casi dubbi e non corrispondenti
Mt	73%	5%	13%	9%
Mc	59%	9%	18%	14%
Lc	49%	18%	24%	10%
Gv	56%	8%	19%	17%
TOT	59%	9%	18%	14%

il Vangelo Macedone (Zagabria – HAZU III.c.1, XII-XIII sec.), ma anche alcuni lezionari feriali che, dal punto di vista testuale, rappresentano una sorta di passaggio tra prima e seconda redazione, come i Vangeli di Miroslav (Belgrado – NM 1538, 1180-1190), di Vukan (San Pietroburgo – RNB F.p.I.82, 1200 ca) e di Druck (Novosibirsk – GPNTB SOAN Tich.1, XIV sec.). Il ‘picco’ di testo bizantino nel ciclo matteo (come quello di ‘testo standard’ in Luca) per il momento non deve destare particolare sospetti: infatti dipende dalla natura dei nodi testuali presenti nel Vangelo di Matteo e caratterizza l’intera tradizione (sarà semmai il caso di chiedersi perché la tradizione testuale slava nel suo insieme presenti queste caratteristiche, ma ciò esula dai fini del presente lavoro), come mostrano i dati relativi ai due lezionari più prossimi a P11 (cfr. TABELLE 2 e 3).

2.2. *Analisi dei 279 nodi presenti in P11 in relazione alla tradizione manoscritta greca*

Come anticipato (§ 2.1.), questa prima ricognizione è meramente statistica e, come tale, non fornisce informazioni sull’effettiva convergenza testuale dei codici analizzati nei singoli nodi. Nei precedenti lavori (cfr. Alberti 2013, 2016; Garzaniti, Alberti 2017) il *corpus* si è mostrato più che affidabile, ma va tenuto presente che è pensato per l’analisi del tetraevangelo (infatti è finalizzato al raggruppamento dei codici in famiglie per l’*Editio Critica Maior* del Nuovo Testamento greco, attualmente in corso di pubblicazione presso l’INTF), e non del lezionario.

Per ottenere risultati più mirati, perciò, restringeremo l’analisi ai soli nodi presenti in P11, in modo da ottenere un quadro statistico più omogeneo (cfr. TABELLA 4). Sulla base di questo confronto, due codici in particolare mostrano percentuali di testo bizantino prossime a quelle di P11: si tratta di due tetraevangeli slavo-meridionali di prima redazione, ovvero il Vangelo di Nicola (Nik⁴, XIV-XV sec.) e il Vangelo di Dobromir (Dobr, XII sec.). Particolarmente rilevante è la convergenza con Nik, visto che questo è tra i codici tipologicamente più simili a P11 in tutti e quattro i vangeli (mentre Dobr si distanzia notevolmente in Marco e Luca). Analogamente, possiamo notare un accordo maggiore con il lezionario feriale rispetto a quello festivo (è comunque rilevante la presenza di due lezionari paleoslavi come Sav [XI-XII sec.] e As [XI sec.] – che quindi non risultano così periferici come suggerisce l’analisi di Ostapczuk, cfr. *supra*).

È interessante notare come tutti questi codici, dal punto di vista della quantità di testo bizantino che contengono, ricadono tutti nella tipologia più antica se analizzati nell’intero *corpus* di 467 nodi, con valori compresi tra il 60% e il 70%. In particolare, rappresentano la periferia inferiore di questo tipo testuale, prossima al cosiddetto ‘testo di Preslav’.

⁴ Le sigle utilizzate d’ora in poi per i mss. slavi fanno riferimento al siglario di Alberti 2013: 40-43, facilmente consultabile on-line (cfr. <<https://fupress.com/catalogo/contributi-italiani-al-xv-congresso-internazionale-degli-slavisti/2669>>). Si impiegano inoltre le consuete abbreviazioni della critica testuale neotestamentaria (le = lezionario feriale; lesk = lezionario festivo; e = tetraevangelo).

TABELLA 4
Percentuale di testo bizantino e di maggioranza nei 279 nodi presenti in P11

		Mt	Mc	Lc	Gv	279 nodi	467 nodi
Sav	lesk	76%	58%	48%	50%	60%	60%
Dim	e	72%	64%	62%	56%	60%	62%
Karp	le	82%	59%	48%	56%	60%	64%
Nik	e	78%	58%	50%	57%	59%	63%
P11	lesk	80%	56%	55%	55%	59%	59%
Dobr	e	–	64%	66%	55%	59%	62%
Mir	le	80%	55%	56%	55%	59%	60%
As	lesk	76%	56%	60%	54%	59%	60%

2.3. *Analisi dei 279 nodi presenti in P11: la resa slavo-ecclesiastica del testo greco*

Questo il quadro generale, ma ricordiamo che finora abbiamo parlato di semplice convergenza tipologica e non di accordo concreto tra i codici. Anzitutto, abbiamo operato dal punto di vista statistico (e una stessa percentuale, paradossalmente, può generarsi anche senza che ci sia accordo in neppure un nodo testuale); secondariamente, abbiamo finora considerato la condivisione di una medesima variante *greca*, alla quale possono corrispondere lezioni slave anche molto distanti tra loro. Adesso invece considereremo gli accordi concreti dei singoli codici nella *resa slava del testo* (e quindi considerando anche le *varianti lessicali*). È il caso di ricordare che non si tratta necessariamente di un dato più affidabile per stabilire parentele genealogiche tra i codici, dal momento che una “variante di traduzione” (come giustamente le considerava Nevostruev⁵) può avere origini indipendenti in due manoscritti, e non indica per forza che questi appartengano allo stesso ramo della tradizione. Fatta questa doverosa precisazione, di certo per raggruppare i manoscritti in famiglie l’accordo in una stessa lezione slava va tenuto in maggior peso rispetto alla semplice convergenza tipologico-statistica. Elenco nella TABELLA 5 i codici che si accordano più spesso con P11 nell’intero *corpus* di 279 nodi e nei singoli cicli (si segnala con il grassetto il valore più alto per ciascuna colonna, mentre tra parentesi sono indicate le percentuali dei codici che nei singoli cicli non risultano particolarmente vicini a P11).

⁵ In uno studio esemplare sul Vangelo del Mstislav, scritto all’incirca nel 1860 ma mai integralmente pubblicato fino al 1997, K.I. Nevostruev teneva ancora ben distinte le ‘varianti’ vere e proprie (“*varianty*”) dalle ‘[varianti di] traduzione’ (“*perevod*”)(Nevostruev 1997: 85, 51-54 e *passim*, cfr. Alberti 2016b: 144). La critica neotestamentaria slava successiva raramente ha mostrato la stessa accortezza.

TABELLA 5
Accordo con P11 nella resa slavo-ecclesiastica del testo

		TOT	Mt	Mc	Lc	Gv
Mst	ℓe	65%	57%	63%	62%	69%
Tip	e	61%	57%	63%	(31%)	69%
As	ℓesk	60%	54%	56%	55%	66%
Mar	e	60%	(41%)	62%	48%	69%
Nik	e	60%	46%	58%	48%	68%
W148	e	60%	(41%)	63%	(41%)	68%
K12	e	59%	(43%)	62%	(41%)	67%
IoAl	e	58%	52%	(51%)	45%	67%
Zogr	e	58%	(41%)	58%	55%	64%
Karp	ℓe + ℓa	57%	52%	54%	45%	64%
Vuk	ℓe	57%	(41%)	(52%)	55%	64%
Ban	e	56%	48%	54%	48%	62%
Mir	ℓe	56%	(43%)	(51%)	(41%)	66%
OE	ℓesk	56%	46%	56%	(31%)	65%

Come emerge in modo assai chiaro dalla TABELLA 5, il testo più vicino a quello di P11 è quello contenuto nel Vangelo di Mstislav (Mst), che mostra il maggior numero di accordi con P11 in tutto il *corpus*. Altrettanto evidente è la preponderanza dei codici di ‘prima redazione’, siano essi antichi (Mar, As, Tip, Zogr, OE) o arcaizzanti (Nik, IoAl⁶). Inoltre, colpisce la relativa assenza dei lezionari festivi: con la significativa eccezione del codice Assemaniano (che dopo Mst è il codice in assoluto più simile a P11 nelle pericopi di Luca) e – ma solo in parte – del Vangelo di Ostromir, tutti i lezionari festivi del nostro *corpus* sono in realtà abbastanza, se non molto distanti da P11 (cfr. TABELLA 6).

Le eccezioni sono poche: il Vangelo Macedone (Mak), per esempio, si accorda più di Mst nel ciclo marciano del sinassario (60% Mak ~ 53% Mst, mentre i dati della tabella includono anche le letture del menologio); sempre nel sinassario, il Vangelo di Kochno (Koch) mostra la stessa percentuale (peraltro non altissima: 57%) dell’Assemaniano in Matteo; per il resto, come dicevamo, P11 sembra avere maggiori punti di contatto con il testo dell’antico tetraevangelo e con il lezionario feriale, che non con la tradizione del lezionario festivo.

⁶ Sull’arcaismo del testo del Vangelo di Ivan Aleksandăr cfr. Garzaniti, Alberti 2017: 705-706 e *passim*.

TABELLA 6
Accordo con P₁₁ dei lezionari festivi

		TOT	Mt	Mc	Lc	Gv
cfr. Mst	ℓe	65%	57%	63%	62%	69%
As	ℓesk	60%	54%	56%	55%	66%
OE	ℓesk	56%	46%	56%	(31%)	65%
Put	ℓesk	53%	(43%)	(49%)	52%	58%
Vrač	ℓesk	49%	50%	(39%)	48%	(55%)
Arch	ℓesk	37%	(33%)	(52%)	45%	(29%)
Mak	ℓesk	31%	(43%)	(39%)	(28%)	(24%)
Koch	ℓesk	27%	50%	(28%)	(28%)	(18%)
Sav	ℓesk	25%	(41%)	(42%)	(31%)	(10%)

2.4. Rassegna dei nodi testuali più significativi

2.4.1. Vangelo secondo Matteo

Mt 1,25 (nodo n° 4). P₁₁ è il solo testimone slavo (nel nostro *corpus* e nell'apparato di Alekseev *et al.* 2005: 23) a travisare la referenzialità del riflessivo in *сына своего прѣвѣннца* (dove lo *свои* che compare nella restante tradizione è riferito a Maria, cfr. *αυτης*⁷ del testo greco), impiegando al suo posto il pronome di terza persona al maschile (*сѣа ѿмоу* || *прѣвѣннца*, ff. 226v-227r).

Mt 14,26 (n° 46). P₁₁ (f. 75v) condivide con il Vangelo della Tipografia (e) e il Vangelo Macedone (*ℓesk*) l'omeoteleuto *морю* (vs. 25) [... *морю* (vs. 26)], privo di riscontro nella tradizione greca. Ovviamente, questo *saut du même au même* può essersi generato in modo completamente indipendente nei tre codici, ma vista la generale prossimità del testo di P₁₁ a quello di Tip, merita comunque di essere segnalato, tanto più che lo si può incontrare anche – sempre all'interno della tradizione slavo-orientale più antica – nel Vangelo di Dobrilo, un cod. galiziano del 1164 (Alekseev *et al.* 2005: 81, cfr. Garzaniti 2001: 402).

Mt 17,20(2) (n° 53). *рѡдъ же не исходитъ • тькъмо | молитвою и постомъ* (f. 77v). Soltanto il Vangelo di Vraca (*ℓesk*) condivide con P₁₁ l'omissione (sconosciuta alla versione greca) del determinativo *съ* nel sintagma *рѡдъ же съ/съ же рѡдъ* (l'omissione è senza riscontro nell'apparato di Alekseev *et al.* 2005: 94). Il Vangelo di Vraca, tuttavia, inserisce *ничимъ* prima di *ТЬКЪМО*, evidente caso di *conflatio* con la lezione che caratterizza il Nuovo Testamento di Hval (*съ же родъ ничимъ же не можетъ изыты такмо молитвою и постомъ*),

⁷ Seguendo la consuetudine della critica testuale neotestamentaria, riportiamo le varianti greche senza diacritici.

in tutto corrispondente alla variante particolare greca $\tau\omicron\upsilon\tau\omicron \delta\epsilon \tau\omicron \gamma\epsilon\nu\omicron\varsigma \epsilon\nu \omicron\upsilon\delta\epsilon\nu\iota \delta\upsilon\nu\alpha\tau\alpha\iota \epsilon\acute{\xi}\epsilon\lambda\theta\epsilon\iota\nu \epsilon\iota \mu\eta \epsilon\nu \pi\rho\omicron\sigma\epsilon\upsilon\chi\eta \kappa\alpha\iota \nu\eta\sigma\tau\epsilon\iota\alpha$ (presente soltanto in 1 ms. del tetraevangelo greco, il cod. 931 del XIII sec.). Una consistente parte della tradizione slava mostra la stessa *conflatio* di Vrač, mentre P11, a parte l'omissione del determinativo, resta fedele al testo bizantino, testimoniato dalla tradizione slava più antica, del tetraevangelo (Mar, Tip, ecc.) e del lezionario (Arch e OE). Perciò, sembra probabile che l'omissione si sia generata in modo indipendente in P11 e in Vrač.

Мт 18,10 (n° 54). ВЪЗНИСА|ТЬ и СѢСЕТЬ (f. 59v). Nel nostro *corpus* e nell'apparato di Alekseev *et al.* (2005: 97), l'errore che caratterizza P11 resta isolato. Il presente СѢСЕТЬ risulta sicuramente dall'errata interpretazione dell'abbreviazione СѢСТЪ, caratteristica della tradizione più antica, da parte del copista incapace di riconoscere la forma del supino paleoslavo (notiamo per inciso che, malgrado l'ortografia relativamente stabile e corretta, il testo di questo ms. mostra ripetutamente segni di inaccuratezza – ben al di là dei frequenti ipercorrettismi segnalati in Mol'kov 2016).

Мт 19,17 (n° 55). УТО МА ГЛѢШИ БЛАГА • НИ|КЪТОЖЕ БЛАГЪ • ТЪМО [sic] БЪ ИЄДИНЪ [z *vid.*] (f. 81r). Questa lezione è molto interessante, in quanto è una delle poche che caratterizza la tradizione del lezionario festivo: nel nostro *corpus* compare anche in Arch, As e Mak, oltre che nel lezionario feriale Karp. Aggiungiamo che l'inversione БОГЪ ИЄДИНЪ (cfr. ИЄДИНЪ БОГЪ della restante tradizione), assieme ad altre piccole varianti interne al nodo, è presente anche in Sav, Put e Muz (e nel Vangelo di Orbele, *lesk*, XIII-XIV sec., cfr. Alekseev *et al.* 2005: 104), mentre è pressoché sconosciuta alla tradizione del tetraevangelo slavo (con l'eccezione del cosiddetto Vangelo di N.P. Lichačev, un tetra bulgaro anch'esso databile al confine dei secc. XIII e XIV (*ibidem*)).

Мт 27,49 (n° 63). ДРУГЪИ ЖЕ ПРИ|М' КОПИЕ ПРОВОДЕ ЕМОУ РЕВРА • И ИЗИДЕ | АВНЕ КРЪВЪ И ВОДА (f. 192r). L'aggiunta al versetto 49, caratteristica di una serie di lezioni particolari della tradizione greca, è tipica della versione slava in generale, a eccezione dei codici più tardi, che la eliminano per avvicinarsi alla versione greca più diffusa (anche se l'aggiunta manca già in una delle occorrenze del versetto in Mst e Put). Soltanto alcuni codici, tuttavia, inseriscono l'avverbio АВНЕ come P11, in conformità con una lezione particolare della tradizione greca (che presenta $\epsilon\upsilon\theta\epsilon\omega\varsigma$). Nel nostro *corpus*, ciò si verifica nel lezionario feriale TS5 e in Hval (di nuovo un contatto con l'arcaizzante tradizione bosniaca). L'avverbio compare anche (ma in posizione diversa: И АВНЕ ПРОВОДЕ) nel già citato Vangelo di Orbele (Alekseev *et al.* 2005: 155), un codice preso a testimonianza del 'testo antico' sia da Voskresenskij (1894: 77), sia da Alekseev *et al.* (2005: 9), e i cui arcaismi lessicali ben si coniugano con l'ipotetica antichità dell'antigrafo (cfr. Garzaniti 2001: 114).

Мт 28,9 (n° 64). La quasi totalità della tradizione slava si allinea al testo bizantino, con la lezione ИГДА ЖЕ ИДЪВШЕТЕ ВЪЗВѢСТИТЬ ОУЧЕНИКОМЪ ЕГО И СЕ (così Tip e Zogr, con numerose varianti simili all'interno della tradizione). I codici che riflettono il 'testo standard' (che ha il solo $\kappa\alpha\iota \iota\delta\omicron\upsilon$) come P11 (и се, f. 192r) sono prevalentemente tetraevangeli slavomeridionali, a partire da Mar (cfr. anche, tra gli altri, Ban e Nik), ma la lezione è testimoniata anche nel lezionario festivo (già in As, ma cfr. anche Vrač) e in quello feriale (Karp).

2.4.2. *Vangelo secondo Marco*

Mc 2,15/16 (nodo n° 30). и кѣнижъници и фѣрѣсѣи и (f. 133r). Soltanto Vuk inserisce la congiunzione и⁸ anche dopo фѣрисѣи, come avviene in P11, riflettendo il ‘testo occidentale’ della tradizione greca (in questo caso testimoniato dal solo *Codex Bezae*, D05).

Mc 6,14 (n° 76). крѣпѣль (f. 260v). Nel nostro *corpus*, P11 è il codice più antico a riflettere una lezione particolare del testo greco (ιωαννης ο βαπτιστης), di nuovo testimoniata nel *Codex Bezae* (D05), ma stavolta ampiamente diffusa nella tradizione greca (134 mss.). La maggior parte della tradizione slava segue il ‘testo di maggioranza’ e utilizza il participio (крѣстѣи, cfr. βαπτιζων). Nella versione slava, oltre a P11, il sostantivo compare in una serie di codici più tardi sia slavo-meridionali (a partire da Dobš, della prima metà del XIII secolo), sia slavo-orientali (tra cui Čud), ma caratterizza già il testo del Vangelo di Galizia (Mosca – ГИМ Sin.404) del 1144. In seguito, la lezione viene accolta soprattutto dai lezionari (festivi e feriali) della tradizione slavo-orientale (Voskresenskij 1894: 190).

Mc 9,3 (n° 119). P11 omette l’avverbio съло (cfr. λιαν del ‘testo bizantino’) in блѣ|цѣцѣ са акы снѣгѣ (f. 258v), come nei lezionari slavo-meridionali Karp e Vrač (ma in quest’ultimo codice come risultato di una correzione), conformandosi a una lezione particolare del testo greco (ως χιων, 39 mss.). Come nel nodo precedente, la lezione di P11 è testimoniata già nel Vangelo di Galizia del 1144.

Mc 9,24 (n° 121). съ слѣзѣми глѣ (f. 132r). Come un ristretto gruppo di codici, P11 usa il participio глѣголя al posto dell’imperfetto глѣголяше (dominante nella tradizione testuale slava e conforme al ‘testo bizantino’) o dell’aoristo глѣголя (come nella tradizione balcanica, cfr. Kop Mir Nik, ma presente anche nella tradizione del lezionario festivo, cfr. Arch)⁹. La variante, priva di riscontro in greco, scaturisce verosimilmente da un’errata lettura dell’abbreviazione dell’aoristo presente nell’antigrafo. Ovviamente, la variante può essersi originata in modo indipendente nei singoli codici che la testimoniano, che appartengono alle tipologie testuali più disparate: lezionario festivo (Sav), lezionario feriale (Sim TS5 e Vuk), tetraevangelo (Krat e NBKM22) e persino messale glagolitico (Omiš). Come si può vedere, si tratta sempre di codici di area slavo-meridionale, con la sola eccezione del lezionario slavo-orientale Sim (che mostra comunque chiari influssi meridionali, almeno negli ornamenti teratologici delle lettere capitali, cfr. Garzaniti 2001: 410).

Mc 15,32 (n° 185). L’omissione di и распята съ нимъ понашаѣста ѣмоу (sconosciuta alla tradizione del tetraevangelo greco) caratterizza in generale il testo del lezionario, dove

⁸ La variante (come spesso accade) è priva di riscontro nell’apparato di Voskresenskij (1894: 120-121), ma cfr. Vrana 1967: 395.

⁹ Nella tradizione successiva, il participio si diffonde anche nei lezionari festivi di ‘prima redazione’ ГИМ, Chlud.31 (l+a esk, XIV sec.), RGB, Rum.107 (lesk, prima metà XIV sec.), RGB, M.3168 (Vangelo di Evsevij, lesk, 1283), nonché nei codici secondari della ‘redazione-Čudovskij’ RGB, Tr.Ser.III.6 (Vangelo di Nikon, e, fine XIV sec.) e RNB O.p.I.1 (Vangelo di Tolstoj, e, prima metà XV sec.) (Voskresenskij 1894: 258-259).

il versetto risulta troncato alla fine della pericope, sia nel lezionario festivo (Arch As Mak OE Put Sav Vrač, oltre a P11), sia in quello feriale (Dru Karp Mir Muz Sim Vuk).

Mc 16,17 (n° 193). La tradizione slava è divisa tra codici che seguono l'ordine del testo bizantino (ταυτα παρακολουθησει, cfr. сн послѣдѣствовуѣштѣ ecc., a partire da As e Mar) e codici che invece adottano l'ordine di alcune lezioni particolari del testo greco (παρακολουθησει ταυτα, ακολουθησει ταυτα, cfr. послѣдѣствовуѣштѣ сн ecc., prevalentemente nella tradizione bosniaca e balcanica). P11, assieme ai lezionari Mak e Vuk, si colloca in questo secondo gruppo, ma utilizza il costruito participiale послѣдѣствовуѣциимѣ сн соутѣ. L'origine della lezione slava potrebbe essere il tentativo di restaurare la lezione corrotta di Dobr, il cui testo non presenta la forma del verbo 'essere' e il cui participio al dativo plurale è verosimilmente innescato dal precedente вѣровавѣшимѣ (omesso infatti da Mak e P11¹⁰, ma non da Vuk). Lo stesso tentativo potrebbe essere alla base del testo di Put, che a оуслѣдѣствовуѣциимѣ сн fa seguire иже вѣроуютѣ.

Mc 16,19 (n° 195). Mentre le versioni più recenti si conformano al 'testo bizantino' (ο μεν ουν κυριος, cfr. господъ же [оубо]), la tradizione slava più antica segue compattamente una lezione particolare del testo greco (ο μεν ουν κυριος ιησους, cfr. господъ же исуетѣ). Soltanto P11 omette l'enclitica: ꙗ̄з̄ ӣз̄ (la variante non compare nell'apparato di Voskresenskij 1894: 402).

Mc 16,20 (n° 196). Assieme a uno sparuto gruppo di codici, P11 omette l'ebraismo αμιν̄ in conclusione dell'ultimo versetto del Vangelo di Marco, come avviene in parte della tradizione greca, a partire dal *Codex Alexandrinus* (A02, del v secolo). Nel nostro corpus l'omissione caratterizza il messale glagolitico nel suo complesso (MRG NYM Omiš, dove naturalmente riflette l'*explicit* di Marco nella Vulgata¹¹), ma è presente anche nella tradizione slavo-meridionale del lezionario, sia feriale (Karp Mir e Vuk), sia festivo (Mak, ma anche Q.p.I.26, cfr. Voskresenskij 1894: 402, Garzaniti 2001: 451). Soltanto P11, tuttavia, conclude il versetto con il singolare (знамение), peraltro ignoto alla tradizione greca.

2.4.3. *Vangelo secondo Luca*

Lc 2,15 (nodo n° 2). и ѿбци и пакт|оуци (f. 228r). Nel nostro corpus, soltanto alcuni codici balcanici come il lezionario festivo Mak (*videtur*), e i tetra Hval Krat e NBKM22 (che però omettono la prima congiunzione) si accordano con P11 nella resa di una lezione particolare del testo greco (και οι ανθρωποι και οι ποιμενες, presente in soli 2 codd. – il n° 747 del 1164 e il n° 1047 del XIII sec. Il 'testo bizantino', seguito dalla maggior parte della tradizione slava ha invece και οι ανθρωποι οι ποιμενες). Va precisato che P11 è comunque isolato dal punto di vista lessicale, visto che i codici che condividono questa lezione partico-

¹⁰ La stessa lezione di P11 compare già nel Vangelo di Galizia (GIM, Sin.404, del 1144, cfr. знаменьа же послѣдѣствовуѣциимѣ сн соутѣ) e in un lezionario festivo, RGB Pog.16, della seconda metà del XIV sec. (Voskresenskij 1894: 400)

¹¹ Cfr. *Clementine Vulgate Project*: <<http://vulsearch.sourceforge.net/html/Mc.html>>.

lare utilizzano tutti il consueto *пастыри* (il termine *пастоухъ* compare anche altrove nella tradizione, ma sempre in codici che in questo caso seguono il ‘testo bizantino’, come Mst).

Lc 6,1 (n° 8). Dovendo ristrutturare il versetto all’*incipit* della pericope, il lezionario (sia festivo, sia feriale) accoglie pressoché all’unisono il ‘testo standard’ (*εν σαββατω*), mentre la tradizione testuale del tetraevangelo slavo riflette compatta il ‘testo bizantino’ (*εν σαββατω δευτεροπρωτω*). P11 non fa eccezione e procede nell’alveo del testo liturgico, con il testo {ВЪ ОНО ВРЪМА} ХОЖДАШЕ ИЪЗ • | ВЪ СОУВОТОУ • СКОВЗЪ [*sic*] СЕАНИА (f. 95r). È interessante notare come la variante del lezionario venga accolta anche nella tradizione balcanica del tetraevangelo (Ban e Curz).

Lc 16,20 (n° 34). La quasi totalità della tradizione slava segue una subvariante del testo bizantino, caratterizzata dall’ordine delle parole *БЪ ИТЕРЪ ИМЕНЕМЪ ЛАЗАРЪ ИЖЕ* (così in As). Abbastanza curiosamente, in questo caso la Bibbia di Gennadij e parte del testo atonita (TS66) optano per una variante particolare (ma abbastanza diffusa: 60 mss.) del testo greco, che omette il verbo ‘essere’. I codici che si conformano come P11 al ‘testo bizantino’ (*ИТЕ|РЪ БЪ • ИМЕНЕМЪ ЛАЗАРЪ • ИЖЕ*, f. 98v) non sono molti, e sono tutti tetraevangeli di età posteriore rispetto a P11, con la sola eccezione di Dobr (un tetra slavo-meridionale del XII secolo): si tratta infatti di Čud, Dobr, IoAl, Kop, Tert, Ven e – con piccole varianti rispetto al testo di P11 – Hval, Nik e Vrut. È comunque evidente la stretta connessione di P11 con una forma testuale diffusasi solamente nei Balcani (il che è davvero curioso, trattandosi del ‘testo bizantino’) a partire almeno dal XII secolo.

Lc 18,11 (n° 37). Anche in questo caso il ‘testo bizantino’ (in realtà stavolta si tratta del ‘testo di maggioranza’, come lo si definisce quando è identico al ‘testo standard’, cfr. Alberti 2016a: 316-318) non ha avuto particolare fortuna in ambito slavo: la lezione *К СЕБЪ СИА* (cfr. *προς εαυτον ταυτα*) compare nel solo Čud (ma cfr. anche *ВЪ СЕБЪ СИЦЕ* nel messale glagolitico). La quasi totalità della tradizione segue una variante particolare del testo greco (*ταυτα προς εαυτον*, 34 mss., testimoniata a partire dal papiro P75). P11 invece si conforma al testo di Mar e dell’antico lezionario (Arch e Sav), omettendo il determinativo: *ВЪ СЕБЪ* (f. 118r, cfr. *προς εαυτον*, testimoniata soltanto in 4 mss. in minuscola del tetraevangelo greco).

Lc 23,45 (n° 50). Come parte della tradizione (prevalentemente codici slavo-meridionali, ma anche lezionari slavo-orientali come OE e Sim), P11 riflette la costruzione assoluta del ‘testo standard’ (cfr. *СЛНЦЮ ПО|МРЬКЪШЮ* [Sim, f. 110v], cfr. *του ηλιου εκλιποντος*). P11, tuttavia usa il verbo non prefissato (*СЛНЦΟΥ МРЬКЪШΟΥ*, f. 193v), come avviene soltanto nei lezionari festivi As e Koch e nel tetra ‘balcanico’ Dobš. La costruzione assoluta con il verbo non prefissato in realtà compare già in Zogr, dove però è introdotta dalla congiunzione *и*.

2.4.4. *Vangelo secondo Giovanni*

Gv 1,38 (nodo n° 10). In questo nodo P11 è fortemente connesso al tetraevangelo slavo-meridionale (la lezione penetra anche nel lezionario feriale slavo-orientale – cfr. Dru

e Sim¹² – ma con varianti lessicali rispetto a P11), omettendo il participio (сѣказаѣмо) in accordo con una ventina di mss. greci in minuscola. Il testo ѡѣе глѣтъ сѧ | оуѣителу (f. 2r) corrisponde a quello presente nei tetra ‘balcanici’ (Ban Curz Dobš e Vrut), ma è accolto anche in alcuni lezionari (Karp e Vrač), oltre che nel messale glagolitico (MRG e NYM), che in questo caso devia dalla *Vulgata*¹³.

Gv 1,49 (n° 12). Soltanto P11, nel nostro *corpus*, riflette una variante particolare del testo greco (che si legge soltanto nel testo di prima mano del ms. 556, del XII sec.) che inserisce il pronome al dativo anche dopo απεκριθη (forse per *conflatio* del testo bizantino con il testo standard): ѡмоу | нафанаилъ • и глѧ ѡму (f. 3v). Il versetto è ripetuto al f. 127r, secondo la consueta variante bizantina, ma con quello che potrebbe essere un semplice caso di aplografia nel nome proprio a fine rigo: наѧа|илъ [sic] • и глѧ ѡмоу. Va comunque notato come il nome compaia con la stessa forma in 5 mss. greci in minuscola (ναθανηλ και λεγει αυτω, cfr. mss. 112, 796 e 1170 dell’XI secolo, 111 del XII e 790 del XIV).

Gv 2,12 (n° 15). P11 si accorda con il solo Vrut (nel nostro *corpus* e nell’apparato di Alekseev *et al.* 1998: 9) nell’omettere il sintagma и братиѧ ѡго: la variante и мати ѡго • и оуѣеници ѡго (f. 5v) coincide con una lezione particolare del testo greco relativamente diffusa (και η μητηρ αυτου και οι μαθηται αυτου, 30 codici a partire dall’unciale 0211, del IX secolo).

Gv 2,15(2) (n° 17). Di nuovo, P11 si muove nell’alveo del ‘testo balcanico’, stavolta per una variante lessicale. La quasi totalità della versione slava usa il plurale ПРВНАСА, allineandosi a una parte della tradizione greca (τα κερματα), a cominciare dalle testimonianze su papiro (Soltanto As usa il singolare сѣрѣро conformemente al ‘testo di maggioranza’, cfr. το κερμα). Il lessema ЦАТЫ (P11, f. 6r) trova riscontro nei tetra târnoviani IoAl e Tert (XIV sec.), ma anche nella coeva tradizione slavo-orientale del tetraevangelo, cfr. RNB F.p.I.14 e RNB Pog.21, nonché nel Vangelo commentato (codici del XV secolo, cfr. Alekseev *et al.* 1998: 9). Sempre alla luce dell’apparato di Alekseev, il codice più antico a utilizzare ЦАТЫ risulta essere il Vangelo del monastero Jur’evskij (GIM Sin.1003, 1119-1128).

Gv 3,16 (n° 25). Mentre la tradizione slava segue compatta il ‘testo bizantino’, la variante lessicale ИНОУАДЫИ e l’assenza della categoria dell’animatezza nel sintagma сѣъ свои ИНОУАДЫИ (f. 11r) connettono P11 con il testo del solo Tert, del 1322 (ma cfr. anche, nella tradizione slavo-orientale del XII secolo, il Vangelo del monastero Jur’evskij e il Vangelo di Dobrilo; nei Balcani la lezione sembra essere stata accolta più tardi, cfr. il cod. serbo RNB Gil’f.I, del 1284 ca, Alekseev *et al.* 1998: 12). La pericope è ripetuta nel menologio di P11 (f. 209v), dove però il versetto 16 risulta omissso in seguito a omeoteleuto, come nel cod. G011, del IX sec. (НОМ. αωνιον [vs. 15] ... αωνιον [vs. 16]). L’omissione non pare comparire altrove nella tradizione slava (cfr. anche Alekseev *et al.* 1998: 12).

¹² Il participio viene omissso anche nel Vangelo di Dobrilo, un lezionario feriale di area galiziano-voliniana datato al 1164 (cfr. Alekseev *et al.* 1998: 6; Garzaniti 2001: 402).

¹³ “quod dicitur *interpretatum* Magister”, <<http://vulsearch.sourceforge.net/html/Jo.html>>. Il participio è comunque presente in Omiš.

Gv 4,11(2) (n° 37). L'omissione della particella (ου)βο, in accordo con una lezione particolare del testo greco (OM. ουν, 42 codd. a partire dal Sinaitico ΝοΙ e dal *Codex Bezae* Do5) sembra connettere strettamente P11 (dove il versetto compare al f. 30r) alla tradizione slavo-meridionale: la particella infatti è omessa anche in Ban Curz Dobš IoAl Mir Tert TS5 Vrač e Vuk – dove l'unico codice slavo-orientale è TS5, un lezionario feriale della seconda metà del XIV secolo. Anche in questo caso, tuttavia, la variante compare già nella precedente tradizione slavo-orientale del lezionario feriale (cfr. il Vangelo del monastero Jur'evskij, il Vangelo di Dobrilo, e Tret'jak.K.5348), come anche nei più tardi RNB Gil'f.I e RNB F.p.I.14 (Alekseev *et al.* 1998: 16).

Gv 4,24 (n° 39). In quest'occasione, l'uso del participio (КЛАНАЮЩИИХЪ СЯ, f. 31r) invece della costruzione relativa trova riscontro soltanto nella tradizione successiva a P11, cfr. il Vangelo di Ivan Aleksandăr e la famiglia del Nuovo Testamento Čudovskij (Čud però usa il verbo prefissato e il dativo: ПОКЛАНАЮЩИЙ, ed. Leontij 1892, f. 43r, ma il testimone secondario RNB Pog.21 ha la stessa forma di P11, Alekseev *et al.* 1998: 17).

Gv 5,3 (n° 48). P11 segue il testo bizantino, come la maggior parte della tradizione slava, che però presenta numerose varianti morfologiche, sintattiche e lessicali. L'impiego del termine ВЪЗМЪЩЕНИЕ (cfr. соухъ • ѿлющиихъ възмоуцения водъ, f. 22r) sembra collegare direttamente P11 alla tradizione balcanica (Tert e Vrač, ma con varianti minori cfr. anche Ban Curz Dobš Dim IoAl Krat Mak, e anche il messale glagolitico nel suo insieme: MRG Omiš e NYM). Fuori dal nostro *corpus*, tuttavia, la variante lessicale di P11 è condivisa anche dal Vangelo del monastero Jur'evskij (Alekseev *et al.* 1998: 20).

Gv 5,7 (n° 50). Di nuovo una variante lessicale, che però stavolta inserisce P11 nel *milieu* testuale slavo-orientale: la variante сълазить (f. 22v), accolta nella Bibbia di Genadij e nella Bibbia di Ostrog (oltre a NR e TS66), compare tuttavia già nel Vangelo di Dobromir, del XII secolo, ed è riportata anche in quello di Nicola, dal carattere notoriamente conservativo.

Gv 5,44(2) (n° 56). L'omissione di сына божия isola completamente P11 (ѿже ѿ единоуадааго не ищете, f. 14v) all'interno della tradizione slava (cfr. anche Alekseev *et al.* 1998: 24). Il sintagma omesso è peraltro privo di corrispondenza nella tradizione greca (dove il testo di maggioranza ha του μονου θεου, cfr. οτз единааго ба, Mar) e la sua eliminazione potrebbe rappresentare il tentativo di correzione del testo slavo – che accoglie prevalentemente la variante (ѿд)иноуадааго сына божия – alla luce di una variante greca particolare che omette θεου. La variante in questione è presente in pochi ma importanti mss. (6 codici, a partire dai papiri P66 e P75 e dagli onciali B03 e W032).

Gv 6,52 (n° 75). La lezione di P11 съ | дати намъ (f. 20v) è conforme a una variante particolare abbastanza diffusa del testo greco (ουτος δουναι ημιν, 55 mss.) e nel nostro *corpus* slavo compare soltanto nei tetra 'balcanici' Ban e Curz (che però hanno la forma lunga del pronome: сѿи). La variante tuttavia si incontra anche nel lezionario feriale serbo (RNB Gil'f.I, 1284 ca) e in un tetra slavo-orientale di età posteriore (RNB F.p.I.14, XIV sec.).

Gv 7,46 (n° 94). Questo nodo è particolarmente importante, in quanto P11 (*6 гл|лз ѿлкз • *7 ѿвѣщааа, f. 58v) e il lezionario feriale Tret'jak.K.5348 (fine XII-inizio XIII sec.,

slavo-orientale, cfr. Alekseev *et al.* 1998: 36), sono i soli testimoni slavi a riflettere il ‘testo standard’, che non aggiunge $\omega\varsigma$ ουτος ο ανθρωπος alla fine del versetto (cfr. IAKO CB YLOB'BIKZ della restante tradizione).

Gv 7,47(2) (n° 96). Anche in quest’occasione il testo di P₁₁ è fortemente caratterizzato. L’omissione di $\alpha\upsilon\tau\omicron\iota\varsigma$ è tipica di un nutrito gruppo di mss. greci (38 codici a partire dal *Codex Vaticanus* B03), mentre nella tradizione slava la si incontra, oltre a P₁₁ ($\text{WB'EMAMA \Phi\Delta\rho\iota\epsilon\epsilon\iota}$, f. 58v) soltanto nel tetra mediobulgaro Dim (1340-1360) e nel lezionario feriale Muz, di area novgorodese (fine XII-inizio XIII sec., cfr. Garzaniti 2001: 407; la variante non compare nell’apparato di Alekseev *et al.* 1998: 36).

Gv 8,59 (n° 119). La lezione di P₁₁ ($\text{и прошь|дѣ по средѣ ихъ • идааше и хо|дааше} \cdot$, f. 34v) corrisponde a una subvariante particolare del testo greco (1 solo codice: il ms. in minuscola 799, dell’XI secolo) seguita, oltre al nostro ms., da parte della tradizione slava più antica (o conservativa), del tetraevangelo (Mar, Tip, Nik e Ven, cfr. anche il testo di prima mano di Kop) e del lezionario (Mst e OE). La stessa variante è seguita anche dal Vangelo di Dobromir, che però omette и хъ . La maggior parte della tradizione slava aggiunge TAKO alla fine del versetto (cfr. la variante $\text{και διελθων δια μεσου αυτων επορευετο και παρηγεν ουτως}$, 36 codd. greci).

Gv 9,11 (n° 122). Il testo di P₁₁ (и рече оумьи са , f. 40r) resta isolato nella tradizione slava (anche nell’apparato di Alekseev *et al.* 1998: 43) ed è privo di un corrispondente preciso nel tetraevangelo greco. La lezione di P₁₁ forse potrebbe essere stata innescata da una variante greca simile (che però è presente nel solo ms. 1578, del XIII secolo) che, omettendo $\text{εις τον σιλωαμ και}$ (ma non il precedente υπαγε), dovrebbe dar luogo a $\text{**и рече (ми) иди оумьи са}$, forma peraltro non attestata in slavo.

Gv 9,18 (n° 124). In quest’occasione P₁₁ segue il ‘testo di maggioranza’ ($\text{αυτου του αναβλεψαντος}$), come la gran parte della tradizione slava. Anziché il genitivo, però, P₁₁ impiega un dativo di possesso ($\text{τομου | прозьрѣвьшоумоу}$, f. 40v) come il lezionario festivo Put (e – nell’apparato di Alekseev *et al.* 1998: 44 – lezionari feriali come il Vangelo del monastero Jurev’skij e Tret’jak.K.5348 e un tetra mediobulgaro: RGB Grig.10).

Gv 10,16 (n° 134). Soltanto parte della tradizione slavo-meridionale (Dobš IoAl Mir Tert e il testo di prima mano di Sav – ma anche RGB Grig.10, cfr. Alekseev *et al.* 1998: 48) utilizza il verbo non prefissato come P₁₁ (слышатъ , f. 208r). Questa variante sembra corrispondere maggiormente al presente della lezione particolare ακουουσιν (9 codd. greci, a partire dal ms. Y044 , del IX sec.), mentre il testo di maggioranza (che ha il futuro ακουσουσιν) corrisponde pienamente al testo della restante tradizione slava (оуслышатъ).

Gv 10,32(1) (n° 143). Come la versione slava più antica, P₁₁ segue l’ordine delle parole del ‘testo standard’ ($\text{Д'ВЛД | ДОБРАД ІВНІХЪ ВДМЪ}$, f. 38r). L’uso della forma lunga dell’aggettivo, tuttavia, lega il testo del nostro ms. a un gruppo ristretto di codici: i tetra slavo-meridionali Hval e Zogr (*Krat videtur*) (ma anche il tetra slavo-orientale Tret’jak.K.5348, cfr. Alekseev *et al.* 1998: 49) e i lezionari feriali slavo-orientali Muz e TS₅ (ma anche il serbo RNB Gil’f.I, *ibidem*).

Gv 10,34(1) (n° 146). Soltanto P11, nella tradizione slava, omette l'*incipit* del versetto (cfr. *ѠТЪВЪШТА ИМЪ ИСЪ* in Mar), come avviene in 3 mss. greci in minuscola dei secc. XI-XIV (301, 1637 e 2600 – in tutti e tre i manoscritti, tuttavia, l'omissione dà luogo a una correzione).

Dal punto di vista del rapporto con la tradizione greca, nei 39 nodi analizzati non si ravvisa la convergenza di P11 con un gruppo di codici in particolare (ricordiamo che, per ciascuna variante, il *corpus* di Münster riporta *tutti* i testimoni del tetraevangelo greco, ma *non* considera la tradizione del lezionario). Restringendo l'analisi ai 18 nodi in cui P11 devia dal 'testo bizantino' o dal 'testo standard' a favore di una 'lezione particolare', risulta che soltanto due codici in minuscola si accordano in 3 nodi (17%): il n° 33 (Parigi, BN Gr.14, del IX sec.) e il n° 579 (Parigi, BN Gr.97, del XIII sec.). Assai più consistente (ma ancor meno rilevante) il numero di mss. che si accordano in 2 nodi (11%): si tratta di 36 codici, quasi tutti in minuscola e quasi sempre risalenti al XII (9 mss.) o al XIII sec. (12 mss.).

3. *Il lessico di P11*

Naturalmente, così come per le varianti testuali, è impossibile dar conto dell'intero lessico che caratterizza questo codice nelle poche pagine di un articolo. Per questo motivo, ci limiteremo ad analizzare i 46 nodi del *corpus* di Münster (sui 279 presenti in P11) in cui all'interno della tradizione slava si osserva una variazione lessicale significativa (vale a dire l'effettivo uso di un sinonimo – o 'quasi-sinonimo' – a fronte di una medesima lezione greca, scartando i casi in cui l'intervento del copista-autore dà di fatto origine a un *testo* diverso).

In buona parte dei casi, il testo di P11 procede nell'alveo della tradizione slava e la variante lessicale riguarda altri codici (spesso singoli manoscritti molto caratterizzati dal punto di vista lessicale, come il Nuovo Testamento Čudovskij). Vista la particolare affinità testuale che abbiamo riscontrato con il Vangelo di Mstislav, iniziamo col riportare nella TABELLA 7 i 13 nodi in cui P11 si oppone a esso dal punto di vista lessicale (tra parentesi i lessemi differenti che compaiono nelle pericopi ripetute), per poi analizzare in modo dettagliato l'interazione tra varianti testuali e lessicali per ciascuno dei 14 nodi.

Come si può notare nella TABELLA 8, in Mt 17,20(1) (nodo n° 52) l'intera tradizione slava riflette il 'testo bizantino'. Non ci sono testimonianze (anche alla luce di Alekseev *et al.* 2005: 94) del 'testo standard' (*ολιγοπιστιαν υμων*). L'unica variazione compare proprio al livello lessicale (morfologico, a voler essere precisi). Come si può notare, mentre Mst utilizza un lessema tipico del lezionario feriale slavo-orientale, P11 è fortemente connesso con la tradizione slavo-meridionale, soprattutto del tetraevangelo – a partire dal *codex Marianus* – ma anche del lezionario festivo (As e Mak) e feriale (Mir). Già con l'analisi di questo nodo ci troviamo di fronte a quello che rappresenta il *Leitmotiv* di questo studio: mentre Mst utilizza una forma lessicale innovativa (un 'preslavismo', come si usa dire nella letteratura scientifica, in questo caso *невърованиѣ* [f. 50v], cfr. Slavova 1989: n° 69), P11

TABELLA 7
Opposizione lessicale di P₁₁ e Mst nel *corpus* di Münster

		P ₁₁	Mst	variante testuale
Mt 17,20	ἀπιστία	НЕВѢРСТВО	НЕВѢРОВАНИЕ	=
Mt 17,20	νηστεία	ПОСТЪ	ДЛЪКАНИЕ	=
Mc 1,35	ἐξέρχομαι	ИЗИТИ	ИТИ (ИЗИТИ)	=(≠)
Mc 2,26	ἀρχιερεὺς	АРХИЕРЪИ	СТАРЪШИНА ЖЪРЪСЪСЪ	=
Mc 9,34	διαλέγομαι	ВЕСѢДОВАТИ	ВЕСѢДОВАТИ (СЪТЛАСАТИ СЛ)	=(≠)
Mc 16,14	πιστεύω	ВѢРЖЪ ИАТИ	ВѢРОВАТИ	=
Mc 16,17	παρακολουθέω	ПОСЛѢДСТВЕОВАТИ	ВЪСЛѢДОВАТИ	≠
Gv 2,15	κέρμα	ЦАТА	ПѢНАСЪ	=
Gv 3,16	μονογενής	ИНОУАДЪ	ЕДИНОУАДЪ	=
Gv 5,3	κίνησις	ВЪЗМЪЩЕНИЕ	ДВИЖЕНИЕ	=
Gv 5,7	καταβαίνω	СЪЛАЗИТИ	ВЪЛАЗИТИ	=
Gv 10,28	ζωή	ЖИЗНЬ (ЖИВОТЪ)	ЖИВОТЪ	=(=)
Gv 10,38	πιστεύω	ВѢРОВАТИ	ВѢРЖЪ ИАТИ	=

TABELLA 8
Mt 17,20(1) (nodo n° 52)

testo bizantino

απιστιαν υμων

НЕВѢРСТВО	As Curz Hval K ₁₂ Krat Mar Mak Mir P ₁₁ Tert Ven
НЕВѢРСТВЕНЕ	Arch (Dim) Dobš Elgr GB Grig Iak K ₇ Karp Kop Muz NBKM ₂₂ NBKM ₁₁₃₉ Nik NR NUB ₄₃ OB OE Put Ril Sav Tip Trg TS66 Vrač Vrut Vuk W ₁₄₈
НЕВѢРИЕ	Ban Čud IoAl Koch
НЕВѢРОВАНИЕ	Dru Mst Sim TS ₅

TABELLA 9
Mt 17,20(2) (nodo n° 53)

	testo bizantino	testo standard	lezione particolare
	ADD. τουτο δε το γενος ουκ εκπορευεται ει μη εν προσευχη και νηστεια	SINE ADD.	ADD. τουτο δε το γεμος εν ουδενι δυναται εξελθειν ει μη εν προσευχη και νηστεια
постъ	Arch As Ćud Curz Dim Dobš Elgr GB (Grig) Iak IoAl K7 K12 Mak Mar Mir NBKM1139 Nik NR NUB43 OE OB P11 Ril Tert Tip Trg TS66 Vrut Vuk		Ban Dru Hval Karp Koch Kop Muz NBKM22 Put Sav Sim Ven Vrač W148
ΔΛΖΚΑΝΗΕ	Mst		
–		Krat	

(che in questo caso ha *за невѣръство вѣше*, f. 77v) conserva la terminologia più arcaica (ma non necessariamente la variante testuale più arcaica! Cfr. Mc 16,17, *infra*). Nel testo di Mst il termine innovativo compare 5 volte, ma in due occasioni (Mt 13,58 e Mc 16,14) usa l'arcaismo *невѣръствине*. Nel passo di Marco, P11 condivide la lezione di Mst (Mt 13,58 non compare in P11). Curiosamente, in Mc 9,24 (dove Mst ha *невѣровѣданію*, f. 126v) il nostro codice usa la forma *невѣрнію* (f. 132r), che si diffonde soltanto nelle versioni più tarde (il vangelo di Ivan Aleksandār, per esempio, e il 'testo atonita'/'quarta redazione', cfr. Voskresenskij 1894). Quando P11 contiene un riflesso del greco *ἀπιστία* (3 occorrenze), perciò, il lessema impiegato è diverso di volta in volta.

Nel nostro *corpus*, soltanto Mst usa la variante innovativa in Mt 17,20(2) (n° 53, TABELLA 9, cfr. anche § 2.4.1. *supra*). Il lessema però compare anche – sempre nella tradizione slavo-orientale del XII secolo – nel vangelo di Galizia (e, 1143) e nel Vangelo del monastero Jur'evskij (le, 1119-1128). Più tarda la testimonianza slavo-meridionale del Vangelo di Tärnovo (e, 1273) (cfr. Slavova 1989: n° 82), che a sua volta potrebbe, nel suo complesso, riflettere l'influenza del lezionario slavo-orientale (Garzaniti 2001: 375). Mt 17,20 rappresenta la sola occorrenza del termine innovativo in Mst (*ΔΛΚΑΝΗΕΜЪ*, f. 50v). Gli altri versetti in cui in Mst compare *постъ* o mostrano accordo lessicale con P11 (Mc 9,29, *постомъ*, f. 132v; Lc 2,37, *постъмъ*, f. 242v), oppure non sono presenti nel nostro codice (Mc 4,29).

TABELLA 10
Mc 1,35 (nodo n° 21)

	testo di maggioranza	lezione particolare	lezione particolare	lezione particolare	lezione particolare
	ἐξῆλθεν και απηλθεν	ἐξῆλθεν και απηλθεν ο ιησους	ἐξῆλθεν ο ιησους και απηλθεν	ἐξῆλθεν ο ιησους	απηλθεν
ИЗИТИ	Čud Curz Dim Dobš Dru Elgr GB Iak IoAl K7 Karp ^{51r} Mst ^{55r} NBKM1139 Nik NR NUB43 OB Ril Sim ^{50r} Tip Trg TS66 Zogr	Ban Kop Muz ^{48v} TS ^{55v} W148	K12 Krat Mar Vuk ^{58r}	As Karp ^{111r} Koch Mak Mir OE P11 Sav Sim ^{112v} TS ^{123r}	
ИТИ			Ven	Mst ^{124v} Muz ^{121v} Put	
ВЪЗИТИ				Vrač	
ВЪНИТИ				Arch Vuk ^{141v}	
–					Hval NBKM22 Tert

Il caso di Mc 1,35 (n° 21, TABELLA 10) è emblematico, anche se la variazione riguarda soltanto l'impiego o meno del prefisso nella forma verbale: come si può vedere, Mst e P11 o impiegano lo stesso lessema all'interno di una lezione differente (ИЗИДЕ • И ИДЕ, Mst f.55r; ИЗИДЕ ИЪЪ, P11 f. 127v), oppure seguono (in sostanza) la stessa lezione greca, ma con un lessico diverso (e anche in quest'occasione è Mst a discostarsi dalla versione paleoslava, cfr. ИДЫИ ИЪЪ, Mst 124v – il verbo non prefissato compare anche, forse per *conflatio*, nella più tarda tradizione bosniaca, cfr. il Vangelo di Venezia). Tutto ciò a riprova del fatto che testo e lessico vanno considerati come due 'strati' indipendenti, ciascuno che obbedisce a regole sue proprie (che possiamo riassumere sinteticamente in: 'fedeltà semantica' vs. 'intelligibilità linguistica' e/o 'variatio stilistica').

TABELLA II
Mc 2,26 (nodo n° 39)

	testo di maggioranza	testo di maggioranza (subvariante)	testo di maggioranza (subvariante)
	επι αβιαθαρ αρχιερεως	επι αβιαθα αρχιερεως	επι βιααθααρ αρχιερεως
архиерѣи	Arch As Ban Čud Curz Dim Dobr Dobš Elgr GB Hval Iak IoAl K7 K12 Karp Koch Mar NBKM22 NBKM1139 Nik NR NUB43 OE P11 Put Ril Sav Sim Tip Trg TS5 TS66 Ven Vrač Vuk W148 Zogr	(Tert)	Kop Krat OB
старѣшина жрьъскъ	Dru Mak Mst Muz		

Mc 2,26 (n° 39, TABELLA II). La coppia lessicale архиерѣи ~ старѣшина жрьъскъ (Slavova 1989: n° 4) è tra le più caratteristiche della stratificazione lessicale presente nella tradizione più antica: al prestito, caratteristico della versione paleoslava, si oppone il calco, presente in codici più tardi e particolarmente nei lezionari (ricordiamo che la ‘seconda redazione’ di Voskresenskij – oggi impressionisticamente nota come ‘testo di Preslav’ – contemplava quasi esclusivamente lezionari feriali slavo-orientali). Nel Vangelo di Mstislav ci sono 47 occorrenze del termine innovativo (il calco) e 58 del prestito. A fronte di questa situazione ‘ibrida’ (caratteristica della maggior parte dei codici che usano il termine innovativo), P11 utilizza sempre il lessema arcaico (архиерѣи), anche dove Mst ha il calco (cfr. архииниерѣа sic Mt 2,4 f. 229r, иереомъ Mt 8,4 f. 65r, архиерѣи Mt 27,1 f. 161r, архиинереи Mc 2,26 f. 119v, архииниерѣи Lc 3,2 f. 235r; cfr. anche архи.соунагога Lc 8,49 103r ~ старѣшини събора Mst f. 86v, архісѣнагогъ Lc 13,14 f. 108r ~ старѣшина събору Mst f. 94v). Sostanzialmente, P11 ricorre a старѣшина soltanto quando il sostantivo è isolato, cioè non riflette un termine composto del greco (cfr. старѣшинамъ | галилѣискамаъ Mc 6,21, f. 261r, dove il greco ha τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας – e in questo caso la resa è identica in Mst, f. 206r).

TABELLA 12

Mc 9,34 (nodo n° 124)

	testo di maggioranza	testo di maggioranza (subvariante)	lezione particolare	lezione particolare	casi dubbi o non corri- spondenti
	διελεχθησαν εν τη οδω	διελεχθη εν τη οδω	διελεχθησαν	διελογιζοντο εν τη οδω	
СЪТЪСАДТИ СѦ	Dobš Elgr GB Hval Iak IoAl Koch K12 Krat (Mak) Mar NBKM22 NBKM1139 Nik NR NUB43 OB OE Ril Tert Tip Trg TS66 Vrač W148	Dobr Zogr	Vrut	Arch As Ban Curz Grig K7 Karp Mir Mst ^{178v} Put Ven	Kop
БЕСЪДОВАТИ	Dru Mst ^{101r} Muz P11			Čud Sim	
ΓΛΑΓΟΛΑΤΙ	TS5				
СЪВЪПРАШАТИ СѦ				Dim	
ВЪСЪТЪСАДТИ СѦ					Vuk

Mc 9,34 (n° 124, TABELLA 12). Quando i versetti sono ripetuti nel sinassario e nel menologio, la loro resa può essere differente dal punto di vista testuale e/o lessicale: in questo caso P11 (in cui il versetto compare solo nel menologio, cfr. БЕСЪДОВАША, f. 224r) si accorda lessicalmente con Mst quando entrambi seguono il testo di maggioranza; in Mst, tuttavia, ciò avviene nel ciclo mobile (sinassario), mentre nel menologio non solo viene impiegato un altro tempo verbale (in conformità con una lezione particolare del testo greco), ma si utilizza il lessema più diffuso nella tradizione slava (СЪТЪСАДТИ СѦ ΒΑΧΟΥ, f. 178v). Si noterà come l'uso di БЕСЪДОВАТИ (pur maggiormente diffuso rispetto a СЪТЪСАДТИ СѦ già nel canone paleoslavo, cfr. Cejtin *et al.* 1994, s.vv.) caratterizzi marcatamente la tradizione slavo-orientale, in particolare del lezionario feriale (al di là del nostro *corpus*, cfr. anche la 'seconda redazione' di Voskresenskij 1894: 262).

TABELLA 13

Mc 16,14 (nodo n° 192)

testo bizantino

ΕΠΙΣΤΕΥΣΑΝ

ΒΨΡΟΒΔΤΗ	Čud Dim Dru Mst NBKM ₁₁₃₉ NUB ₄₃ OE Tert Trg
ΒΨΡΚ ΙΑΤΗ	Arch As Ban Curz DobrC (Dobr*) Dobš Elgr GB Hval Iak IoAl K ₇ K ₁₂ Karp Kop Krat Mak Mar Mir MRG NBKM ₂₂ Nik NR NYM OB Omiš P ₁₁ Put Ril Tip TS ₅ TS ₆₆ Ven Vuk W ₁₄₈

TABELLA 14

Gv 10,38 (nodo n° 149)

testo bizantino

lezione particolare

lezione particolare
(omeoteleuto)

και πιστευσητε

ΟΜ. και πιστευσητε

ΗΟΜ. πιστευετε
[...πιστευετε]

ΒΖΖΒΨΡΟΒΔΤΗ	MRG NYM
ΒΨΡΟΒΔΤΗ	Arch As Ban Čud Curz Dim Dobr Dobš Dru ElgrC GB Hval Iak IoAl K ₁₂ Karp Kop Krat Mar Mir Muz NBKM ₁₁₃₉ Nik NR OB Omiš P ₁₁ Ril Tert Tip Trg TS ₆₆ Ven Vrut W ₁₄₈ Zogr
ΒΨΡΚ ΙΑΤΗ	Mst OE TS ₅ Vuk
ΒΨΡΚ ΗΜΔΤΗ	Vrač
–	Elgr* Mak Koch K ₇ Put Sim

In Mc 16,14 (n° 192, TABELLA 13) e Gv 10,38 (n° 149, TABELLA 14) possiamo notare il carattere non-sistematico della variazione lessicale già all'interno del *corpus*: mentre nel passo del vangelo di Marco Mst utilizza la forma verbale costruita sulla radice **věr-* (ΒΨΡΟΒΔΨΔ, f. 207v) a fronte del sintagma (NE ΑΨΔ ΒΨΡΥ, f. 198r) di P₁₁, nel passo giovanneo si verifica esattamente l'opposto. Riportiamo il passo per intero, anche perché si tratta di

TABELLA 15
Uso di ВЪРОВАТИ in Mst e P11

	Mst	P11	accordo con P11 (Voskresenskij 1894, Alekscev et al. 1998)
Mt 24,23	вѣроуиѣ 52v	имѣте вѣры 143r	<i>permulti</i>
Mc 11,24	вѣроуиѣ 106r	вѣроу имете 262v	–
Mc 16,14	вѣроваша 207v	аша вѣры 198r	<i>permulti</i>
Mc 16,16	вѣроуиѣ 207v	вѣроу иметь 198r	<i>permulti</i>
Gv 1,7	вѣроу имѣтъ 2r	вѣроуиѣтъ (<i>vid.</i>) 1v	Cd Pg Th
Gv 4,48	не имате вѣры 9v	не имате ли вѣрова ти (<i>post corr.</i>) 17v	<i>BOB</i>
Gv 4,50	вѣроу имѣ 10r	вѣрова 18r	Cd Pg Th <i>BOB</i>
Gv 12,47	вѣроуиѣтъ 21v, 139r	имете вѣры 45v	–
Gv 14,11	вѣроуиѣ 22v	вѣрю имѣте 49r	<i>permulti</i>
Gv 14,29	вѣроуиѣ 23v, 146r	вѣроу имѣте 51v	<i>permulti</i>

uno dei tantissimi casi di resa inaccurata del testo da parte del copista di P11 (dove dittografia e aplografia – dovuti prevalentemente a omeoteleuto come in quest’occasione – compaiono con frequenza decisamente superiore alla media):

- Gv 10,38 аще и мнѣ вѣры не имаете дѣломъ моимъ вѣроу имете • да разумѣете и вѣроу имете (Mst, f. 18v).
аще ми вѣры не емлете • дѣломъ моимъ вѣры не емле||те • дѣломъ моимъ вѣроу имѣте • да разумѣете и вѣроуиѣте (P11, f. 38v-39r)¹⁴.

Elenco nella TABELLA 15 i pochi casi in cui P11 e Mst si discostano nell’uso di ВЪРОВАТИ e ВЪРЖ ИАТИ/ИМАТИ: Come si può vedere, P11 usa il verbo ВЪРОВАТИ soltanto nei primi fogli all’interno del ciclo giovanneo (a fronte di 44 occorrenze del sintagma ВЪРЖ ИАТИ/ИМАТИ nell’intero codice). Più frequente in P11 è invece l’uso del sintagma dove Mst ha il verbo semplice. Questo è molto interessante, anzitutto perché, mentre l’uso del sintagma

¹⁴ Sull’impiego della *variatio* o sulla resa fedele della successione nella tradizione slava, cfr. Alberti 2017: 684.

TABELLA 16
Mc 16,17 (nodo n° 193)

	testo bizantino	lezione particolare	casi dubbi o non corrispondenti
	ταυτα παρακολουθησει	παρακολουθησει ταυτα	
ПОСЛѢДСТВОВАТИ	Arch As Dim K1 2 Mar Mir MRG ^{185, 408} NBKM ₂₂ NYM ^{265v} ^{137v} Omiš Ril	Ban Curz Dobr Dobš Krat Mak OE P11 Tip TS5 Vuk W1 48	Karp
ПОСЛѢДОВАТИ	Elgr GB Iak K7 MRG ³²⁷ NBKM1 1 39 NR NUB ₄₃ NYM ^{230r} OB (Tert) Trg TS66	Hval IoAl Kop Nik Ven	
ПРИПОСЛѢДОВАТИ	Čud		
ВЪСЛѢСТВОВАТИ		Put	
ВЪСЛѢДОВАТИ	Dru Mst		

da parte di P11 avviene sempre in conformità con la tradizione (eccezion fatta per Gv 12,47 dove compare per una variante testuale – P11 segue infatti il testo bizantino, che ha *και μη πιστευση*, dove buona parte della tradizione slava invece traduce *και μη φυλαξη* del ‘testo standard’, cfr. *НЕ СЪХРАНИТЬ* di Mar), le tre occorrenze di *ВЪРОВАТИ* sono caratteristiche soltanto della tradizione successiva (il Nuovo Testamento Čudovskij, il ‘testo atonita B’ e il Vangelo Commentato [codici del xv sec.], cfr. Alekseev *et al.* 1998).

Va inoltre considerato che, anche se la compresenza delle forme di *ВЪРЪ ИАТИ* e di *ВЪРОВАТИ* per rendere il gr. *πιστεύειν* è una caratteristica presente almeno in parte fin dai più antichi codici, l’espressione *ВЪРЪ ИАТИ* è tra le forme “tipiche dei mss. glagolitici, al tempo stesso eredità di modelli moravi” (Horálek 1954: 40). Anche in questo caso, quindi, a opporre il testo di Mst e quello di P11 è il maggior uso che quest’ultimo codice fa di un arcaismo lessicale, dove invece Mst inserisce un’innovazione (si noterà che nei due nodi riportati poc’anzi – Mc 16,14 e Gv 10,38 – P11 e Mst seguono entrambi il ‘testo bizantino’, la differenza è cioè puramente lessicale).

Come abbiamo già visto (cfr. § 2.4.2.), in Mc 16,17 (n° 193, TABELLA 16) P11 segue una lezione particolare della tradizione greca come buona parte della tradizione slava, ma assieme ai lezionari Mak e Vuk impiega il costruito participiale *ПОСЛѢДСТВОУЮЩИИМЪ СИ СΟΥТЬ*. Nel nostro *corpus*, i codici che utilizzano il lessema *ВЪСЛѢД(СТВО)ОВАТИ* sono tutti lezionari slavo-orientali. Le restanti 6 occorrenze di *ВЪСЛѢДИТИ/ВЪСЛѢДОВАТИ* in Mst non

TABELLA 17
Gv 2,15 (nodo n° 17)

	testo di maggioranza το κερμα	lezione particolare τα κερματα	casi dubbi o non corrispondenti
сѢРЕВРО	As		
ПѢНАСЬ		Ban Curz Ćud Dim Dobš Dru Elgr GB Hval Iak K7 K12 Karp Kop Mar Mir Mst Muz NBKM1139 Nik NR NYM OB OE Omiš Put Ril Sim Tip Trg TS5 TS66 Ven Vrač Vrut Vuk W148 Zogr	
ЦАТА		IoAl P11 Tert	
–			Dobr MRG

compaiono nel testo di P11, mentre i casi in cui Mst utilizza послѣдovati/послѣдствовать sono in accordo con P11 (Lc 7,9 e Mc 16,20), tranne in Lc 9,57 dove Mst inserisce послѣдствующимъ (f. 205r) per una variante testuale (sconosciuta alla tradizione greca, a giudicare dall'apparato di NA₂₈).

Di nuovo, in Gv 2,15 (n° 17, TABELLA 17) P11 si muove nell'alveo del 'testo balcanico', stavolta proprio per una variante lessicale, peraltro molto caratterizzante. La quasi totalità della versione slava usa il plurale ПѢНАСА, allineandosi a una parte della tradizione greca (τα κερματα), a cominciare dalle testimonianze su papiro (Soltanto As usa il singolare сѢРЕВРО conformemente al 'testo di maggioranza', cfr. το κερμα). Il lessema ЦАТЫ trova riscontro nei tetra târnoviani IoAl e Tert (XIV sec.), ma anche nella coeva tradizione slavo-orientale del tetraevangelo, cfr. RNB F.p.I.14 e RNB Pog.21, nonché nel Vangelo commentato (codici del XV secolo, cfr. Alekseev *et al.* 1998: 9). Sempre alla luce dell'apparato di Alekseev, il codice più antico a utilizzare ЦАТЫ è il Vangelo del monastero Jur'evskij (GIM Sin.1003, 1119-1128).

Se osserviamo come vengono impiegati questi termini nella tradizione (cfr. la TABELLA 18), notiamo subito come P11 si muova pienamente nel solco della versione antico-slava (qui esemplificata da Mar), che rispetta in modo molto preciso il lessico dell'originale greco: come Mar (e l'arcaizzante Vangelo di Ivan Aleksandăr), P11 utilizza coerentemente ПѢНАСЬ dove il testo greco ha δηνάριον (o ἀσσαρίον), mentre in Mst ciò si verifica quasi solo nel menologio, dove paradossalmente compaiono, tutte interne alla pericope Mt 20,1-16 (non Lc, come recita la rubrica al f. 244v di P11), le uniche occor-

TABELLA 18
 Uso di ΠΒΝΑΣΨ, σρεβρῆνικῶς ecc. in Mst e P11

	Mar	Mst sinassario	Mst menologio	P11	IoAl
	δηγάριον				
Mt 18,28	ΠΒΝΑΣΨ	σρεβρῆνικῶς (54Γ)	–	ΠΒΝΑΣΨ (79v)	ΠΒΝΑΣΨ
Mt 20,2	ΠΒΝΑΣΩΥ	σρεβρῆνικοῦ (46v)	ΠΒΝΑΣΨ (193Γ)	σρεβρῆνικοῦ (245Γ, menol.)	ΠΒΝΑΣΩΥ
Mt 20,9	ΠΒΝΑΣΨ	σρεβρῆνικοῦ (47Γ)	σρεβρῆνικοῦ (193Γ)	σρεβρῆνικοῦ (245Γ, menol.)	ΠΒΝΑΣΩΥ
Mt 20,10	ΠΒΝΑΣΩΥ	σρεβρῆνικοῦ (47Γ)	ΠΒΝΑΣΨ (193v)	σρεβρῆνικοῦ (245Γ, menol.)	ΠΒΝΑΣΩΥ
Mt 20,13	ΠΒΝΑΣΩΥ	σρεβρῆνικοῦ (47Γ)	ΠΒΝΑΣΨ (193v)	σρεβρῆνικοῦ (245Γ, menol.)	ΠΒΝΑΣΩΥ
Mt 22,19	ΠΒΝΑΣΨ	ЦАΤΟΥ (58Γ) ΠΒΝΑΣΨ (113v)	–	ΠΒΝΑΣΨ (82v)	ΠΒΝΑΣΨ
Mc 6,37	ΠΒΝΑΣΨ	σρεβρῆνικῶς (63Γ)	–	–	ΠΒΝΑΣΨ
Mc 12,15	ΠΒΝΑΣΨ	ЦАΤΟΥ (107v)	–	–	ΠΒΝΑΨΨ
Mc 14,5	ΠΒΝΑΣΨ	σρεβρῆνικῶς (111Γ)	–	–	ΠΒΝΑΣΨ
Lc 10,35	ΠΒΝΑΣΑ	σρεβρῆνικῶς (89v)	–	ΠΒΝΑΣΑ (105v)	ΠΒΝΑΣΑ
Lc 20,24	ΠΒΝΑΣΨ	ЦАΤΟΥ (96v)	–	–	ΠΒΝΑΣΨ
Gv 6,7	ΠΒΝΑΣΨ	σρεβρῆνικῶς (17Γ)	–	ΠΒΝΑΣΨ (35Γ)	ΠΒΝΑΣΨ
Gv 12,5	ΠΒΝΑΣΨ	σρεβρῆνικῶς (130Γ)	–	ΠΒΝΑΣΨ (140Γ)	ΠΒΝΑΣΨ
	κέριμα				
Gv 2,15	ΠΒΝΑΣΥ	ΠΒΝΑΣΑ (5Γ)	–	ЦАТЫ (6Γ)	ЦАТЫ
	ἄσσαριον				
Lc 12,6	ΠΒΝΑΣΕΜΑ	σρεβρῆνικῶς (85v)	ΠΒΝΑΣΕΜΑ (173v)	ΠΒΝΑΣΕΜΑ (219Γ, menol.)	ΠΒΝΑΣΕΜΑ
	κοδράντης				
Mt 5,26	ΚΟΔΡΑΝΤΨ	ЦАΤΟΥ (28v)	–	–	ΚΟΝΔΡΑΤΨ
Mc 12,42	ΚΟΔΡΑΝΤΨ	ΚΟΝΔΡΑΤΨ (109Γ)	–	–	ΚΟΝΔΡΑΤΨ
	λεπτά				
Mc 12,42	ΛΕΠΤΨ	ΜΨΔΨΝΙЦИ (108v)	–	–	ΛΕΠΤΨ
Lc 21,2	ΛΕΠΤΨ	ЦАТΨ (111v)	–	ΛΨΠΨΤΨ (119Γ)	ЦАТΨ

(segue)

TABELLA 18 (segue)
 Uso di ПѢНАСЬ, СРЕБРЪНИКЪ ecc. in Mst e P11

Mar	Mst sinassario	Mst menologio	P11	IoAl
ἀργυρος				
Mt 10,9	сѣребра	сребра (32v)	–	сребра
ἀργύριον				
Mt 25,18	сѣребро	сребро (66v, 137r)	–	сребро (147r)
Mt 25,27	сѣребро	сребро (67r, 137r)	–	сре (<i>sic!</i> 148r)
Mt 26,15	сѣребръникъ	сребръникъ (139r, 141v)	–	сребръникъ (151r, 152r)
Mt 27,3	сѣребръникъ	сребръникъ (152v, 156v, 160r)	–	сребръникъ (161r, 187r)
Mt 27,5	сѣребро	сребро (152v, 156v, 160r)	–	сребро (161r, 187r)
Mt 27,6	сѣребро	сребро (152v, 156v, 160r)	–	сребро (161v, 187r)
Mt 27,9	сѣребръ- никъ	сребръникъ (152v, 157r, 160r)	–	серебръникъ (161v) сребръ- никъ (187v)
Mt 28,12	сѣребро	сребро (163r)	–	сребро
Mt 28,15	сѣребро	сребро (163r)	–	сребрѡ
Mc 14,11	сѣребръни- кы	сребрънікы (113r)	–	сребръникы
Lc 9,3	сѣребра	сребра (86r)	–	сребра
Lc 19,15	сѣребро	сребро (93v)	–	сребро
Lc 19,23	сѣребра	сребра (94r)	–	сребро
Lc 22,5	сѣребро	сребро (99r, 140r)	–	сребро

renze di сребръникъ in P11! La sola ulteriore deviazione dalla scelta lessicale di Mar si ha proprio nel caso poc' anzi citato di Gv 2,15. L'estremo arcaismo dello strato lessicale di P11 è testimoniato dall'uso del prestito ΛΕΠΤΑ (λεπτά, Acc.n.pl.) in Lc 21,2, dove il nostro codice si accorda, oltre a Mar, anche con Zogr e As (cfr. Cejtin *et al.* 1994: 305).

Come abbiamo potuto osservare nell'uso innovativo del verbo ВЪРОВАТИ, anche in questo caso l'unica evidente deviazione lessicale dalla versione paleoslava (l'uso del 'preslavismo' ЦАТА, per il quale si veda Slavova 1989: nn° 47, cfr. 88) si verifica nei primi fogli di P11.

TABELLA 19
Gv 3,16 (nodo n° 25)

	testo bizantino	lezione particolare	casi dubbi o non corrispondenti
	τον υιον αυτου τον μονογενη	τον υιον αυτου τον αγαπητον	
ИНΟΥАДЫИ	Arch Ban Curz Hval Kop Mar Mir P I I Tert Tip Ven Vrut Vuk ^{7v}		
ЄДИНУАДЫИ	As Čud Dru ^{5v} K I 2 Karp Koch MRG Mst Muz Nik NYM OE Omiš Put Sav Sim TS ₅ Vrač ^{163r} Vuk ^{180v} W I 48		
ЄДИНОРОДЬНЫИ	Dim Elgr GB Iak IoAl K7 NBKM I I 39 NR OB (Ril) Trg TS66		
–		Dobr	Dru ^{160r} Vrač ^{9r}

TABELLA 20
Uso di (ЄД)ИНОУАДЪ in Mst e P I I

	Mar	Mst	P I I	Tert
Lc 7,12	ИНОУАДЪ	ИНОУАДЪ (76v)	ИНОУАДА (94v)	ЄДИНОУАДЪ (113v)
Lc 8,42	ИНОУАДА	ИНОУАДА (86v)	ИНОУАДА (102v)	ЄДИНОУАДА (117r)
Lc 9,38	ИНОУАДЪ	ЄДИНОУАДЪ (89r)	ИНОУАДЪ (104r)	ЄДИНОУАДЪ (120r)
Gv 1,14	ИНОУАДААГО	ЄДИНОУАДААГО (2v)	–	ИНОУАДААГО (156v)
Gv 1,18	ИНОУАДЫ	ЄДИНОУАДЫИ (2v)	–	ИНОУАДЫИ (156v)
Gv 3,16	ИНОУАДААГО	ЄДИНОУАДААГО (7r, 167r)	ИНОУАДЫИ (11r)	ИНОУАДЫИ (160r)
Gv 3,18	ИНОУАДААГО	ЄДИНОУАДААГО (7r)	ИНОУАДААГО (11r)	ЄДИНОУАДААГО (160r)
Gv 5,44	(ЄДИНААГО БД)	ЄДИНОУАДААГО (8v)	ЄДИНОУАДААГО (14v)	ИНОУАДААГО (166r)

TABELLA 21
Gv 5,3 (nodo n° 48)

	testo bizantino	testo bizantino (subvariante)	casì dubbi o non corrispondenti
	ξηρων εκδεχομενων την του υδατος κινησιν	ξηρων εκδεχομενους την του υδατος κινισιν	
ДВИЖЕНИЕ	As Ćud Elgr GB Hval K7 K12 Karp KopC Mar Mst NBKM1139 NR OB OE Tip Trg TS66 TS5 Ven Vuk W148 Zogr	Dru Sim Kop* Muz Nik	Put
ВЪЗДВИЖЕНИЕ	Iak Vrut	Dobr Mir	
ВЪЗМЪЩЕНИЕ	Ban Curz Dim Dobš IoAl MRG NYM P11 Tert Vrač		Krat Mak Omiš Ril

In Gv 3,16 (n° 25, TABELLA 19) abbiamo già rilevato (cfr. *supra*, § 2.4.4.) come la variante lessicale ИНОУАДЫИ e l'assenza della categoria dell'animatezza nel sintagma сѣнь свои ИНОУАДЫИ (f. 11r) in realtà connettano P11 con il testo del solo Tert, del 1322 (ma cfr. anche, nella tradizione slavo-orientale del XII secolo, il Vangelo del monastero Jur'evskij e il Vangelo di Dobrilo (Alekscev *et al.* 1998: 12). Mentre l'uso di ИНЪ al posto di ѦДИИЪ (< *ed + ie. *oinos) caratterizza alcuni codici innovativi tradizionalmente associati al 'lessico di Preslav' (in particolare Mst e Vuk, ma il fenomeno si osserva già in Sav, cfr. Slavova 1989: n° 33), la resa del gr. μονογενής tramite il composto ИНОУАДЫИ è un fenomeno piuttosto diffuso nella tradizione più antica (esemplificata nella TABELLA 20 da Mar, che lo usa con regolarità):

Diversamente dal nodo precedente (Gv 2,15, cfr. ПЪНАСЪ), la distanza tra P11 e IoAl non potrebbe essere maggiore, dal momento che quest'ultimo accoglie coerentemente (e per certi versi sorprendentemente! Si confronti l'uso del termine in Tert, il cui *testo* non è privo di punti di contatto con IoAl) l'atonismo' ѦДИИНОУАДЫИ (Alberti 2017: 679-681). Con la sola eccezione di Gv 5,44 (dove Mar non impiega il composto per via di una variante testuale), P11 utilizza sempre la forma ИНОУАДЪ (-ЫИ), il cui uso è piuttosto marginale anche in Mst (2 occorrenze). Di nuovo, quindi, possiamo notare una generica convergenza testuale del nostro codice con Mst (la variante greca di riferimento è la medesima), ma con l'utilizzo di un lessico decisamente più arcaico.

Gv 5,3 (n° 48, TABELLA 21). Come abbiamo già notato (cfr. *supra*, § 2.4.4.), l'impiego del termine ВЪЗМЪЩЕНИЕ sostanzialmente collega P11 alla tradizione balcanica (in particolare Tert e Vrač, anche se fuori dal nostro *corpus* la variante lessicale di P11 è condivisa anche dal

TABELLA 22
Uso di ВЪЗМЪЩЕНИЕ in Mst e P11

	Mar	Mst	P11	IoAl	Tert
Lc 21,25 (σάλος)	ВЪЗМЪЩЕНИѢ	ВЪЗМОУЩЕНИЯ (116v)	ВЪЗМОУЩЕНИЯ (122r)	ВЪЗМЪЩЕНІА	ВЪЗМЪЩЕНИЯ (146v)
Gv 5,3 (κίνησις)	ДВИЖЕНИѢ	ДВИЖЕНИЕ (11v)	ВЪЗМОУЩЕНИЯ (22r)	ВЪЗМЪЩЕНИЕ	ВЪЗМЪЩЕНИЯ (164r)
Gv 5,4 (ταραχή)	ВЪЗМЪЩТЕНИИ	ВЪЗМОУЩЕНИИ (11v)	ВЪЗМОУЩЕНИИ (22r)	ВЪЗМЪЩЕНИ	ВЪЗМЪЩЕНИИ (164r)

TABELLA 23
Gv 5,7 (nodo n° 50)

	testo di maggioranza καταβαινει	lezione particolare καταλαμβάνει
СЪЛЛЗИТИ	Dobr GB Nik NR OB P11 TS66	
	As Ban Curz Dim Dobš Čud Dru Elgr Hval Iak IoAl K7 K12 Karp Kop Krat Mak Mar Mir Mst Muz NBKM22	
ВЪЛЛЗИТИ	NBKM1139 OE Omiš Put Ril Tert Tip Trg TS5 Ven Vrač Vrut Vuk W148 Zogr	
–		Sim

Vangelo del monastero Jur'evskij, cfr. Alekseev *et al.* 1998: 20). Come per il Vangelo di Ivan Aleksandār e il Vangelo di Terter, il testo di P11 sembra risultare dalla volontà di armonizzare il lessico dei due versetti contigui Gv 5,3 e 5,4 (mentre la *variatio* è presente già in greco – perlomeno nel ‘testo bizantino’ che inserisce il versetto 4). Lo stesso si verifica in Ban e nel Vangelo del monastero Jurev'skij (Alekseev *et al.* 1998: 20). Si noterà come, in questo caso, sia Mst a restare fedele al ‘testo antico’, utilizzando ДВИЖЕНИЕ in Gv 5,3 (cfr. anche la TABELLA 22).

Gv 5,7 (n°50, TABELLA 23). Stavolta la variante lessicale inserisce P11 nel *milieu* testuale slavo-orientale (cfr. *supra*, § 2.4.4.): la variante СЪЛЛЗИТИ (f. 22v), è accolta in codici tardi come le Bibbie di Gennadij e di Ostrog, ma curiosamente non in codici atoniti come Iak. La variante compare tuttavia già nel Vangelo di Dobromir, del XII secolo. La diversa prefissazione della forma verbale, in questo caso, scaturisce sicuramente

TABELLA 24

Gv 10,28 (nodo n° 138)

testo bizantino

ζωην αιωνιον διδωμι αυτοις

ЖИВОТЪ	Arch As Ban Curz Dim Dobr Dobš Dru Elgr GB Hval Iak IoAl K7 K12 Karp Koch Kop Krat Mak Mar Mir MRG Mst MuZ NBKM11 39 Nik NR NYM OB OE Omiš P11 ^{37v, 38r} Put Ril Sim Tert Tip Trg TS5 TS66 Ven Vrač Vrut (Vuk) W148 Zogr
ЖИЗНЬ	(Čud) P11 ^{249v}

dalla ricerca di una maggiore fedeltà all'originale greco e ha quindi carattere testuale, piuttosto che lessicale in senso stretto. Ciò trova conferma nel fatto che nel resto del codice i verbi *ѢЛАДЗИТИ* (5 occorrenze) e *ВЪЛАДЗИТИ* (13) sono utilizzati esattamente come in Mar (e Mst).

In Gv 10,28 (n° 138, TABELLA 24), mentre Mst procede nell'alveo della tradizione, il menologio di P11 utilizza la forma *ЖИЗНЬ ВЪУЪНЮ* (f. 249v), che non si è mai imposta sulla più diffusa *ЖИВОТЪ ВЪУЪННИ* (in questo versetto, per esempio, solo Čud utilizza *ЖИЗНЬ* come P11, anche se non mancano casi come Mt 25,46, in cui la variante è accolta pressoché in tutta la tradizione del lezionario, a partire da As e OE, cfr. Alekseev *et al.* 2005: 140; per il suo utilizzo nel tetra balcanico cfr. Slavova 1989: n° 35). In P11 il versetto compare altre due volte nel ciclo giovanneo, in entrambe con il consueto *ЖИВОТЪ* (ff. 37v e 38r). Un attento confronto con il testo di Mst, del resto, basta a confermare il carattere isolato e non sistematico di questa variante: dei 35 passi comuni ai due lezionari in cui Mst impiega il lessema *ЖИВОТЪ* (sempre a fronte del gr. ζωή), Gv 10,28 è l'unico in cui P11 utilizzi *ЖИЗНЬ*. Al contrario, P11 si mostra molto più coerente dello stesso Mst, che nel ciclo matteano, per esempio, ricorre esclusivamente a *ЖИЗНЬ*: 7 occorrenze, di cui soltanto 2 in versetti presenti nel testo di P11, che invece ha *ЖИВОТЪ* in entrambi (Mt 19,16 e 19,17, f. 81r).

3.1. Elementi lessicali nella 'periferia' dei nodi testuali

L'analisi delle varianti lessicali contenute all'interno dei *loci critici* del corpus di Münster, naturalmente, non può che rappresentare un primo approccio alla descrizione del lessico di un testimone dei vangeli (soprattutto se si tratta di un lezionario festivo). Ciononostante, il quadro che emerge dall'analisi di P11 è sufficientemente chiaro per ritenere affidabili le indicazioni che se ne possono trarre. Un'ulteriore conferma ci viene dall'analisi del contesto immediatamente precedente o successivo al nodo vero e proprio:

- Nel testo di P₁₁ prevale sensibilmente l'arcaismo ГОДИНА, con 39 occorrenze, contro le 28 dell'innovativo ЧАСЪ. In P₁₁, ГОДИНА compare 13 volte dove invece Mst utilizza ЧАСЪ (escludiamo dal computo alcuni versetti che vengono ripetuti in Mst, utilizzando ora un lessema ora l'altro): cfr. Mt 14,15 (f. 73v), Mt 24,36 (88r, 144v), Mt 24,42 (88v, 145r), Mt 27,45 (165r), Gv 11,9 (135v), Gv 12,27 (43r, 201r *bis*) e Gv 17,1 (178r, 50r). Il contrario (ЧАСЪ in P₁₁ e ГОДИНА in Mst) avviene più di rado: 6 volte, nei primi fogli di P₁₁ (Gv 4,52.53, f. 18r) e in una pericope del menologio (Mt 20,3.5.6.9, f. 245r-245v). Il carattere arcaico del lessico di P₁₁, che trova una parziale conferma anche in questo dato, rappresenta un elemento di differenziazione di P₁₁ dal 'testo balcanico': ЧАСЪ infatti è accolto puntualmente in codici come IoAl e (in misura leggermente minore) Tert (cfr. Alberti 2017: 692-693), dei quali altrove in questo studio abbiamo notato la convergenza lessicale con P₁₁.
- Anche l'innovativo жид(овин)ъ (e derivati) (cfr. Slavova 1989: n° 43) occupa una posizione del tutto marginale nel testo di P₁₁. Alle 40 occorrenze di нюдъви (e derivati) ne corrispondono soltanto 7 di жидовинъ (e derivati), 5 delle quali nel vangelo di Giovanni: жидове (Gv 2,18, f. 6v; Gv 19,31, f. 165v), жидовинъ (Gv 18,35, f. 185r), жидовьскъ (Gv 2,13, f. 5v; Gv 3,1, f. 4r); le restanti 2 occorrenze compaiono nel menologio: жидовьскаа (Mc 1,5, f. 234r) e жидовьска (Lc 1,5, f. 253r). È interessante notare come Mst, che pure fa un notevole uso del lessema innovativo (15 occorrenze di жидовинъ, 21 di жидовьскъ e 1 dell'avverbio жидовьски, cfr. Žukovskaja *et al.* 1983: 348), in 4 occasioni soltanto utilizza il prestito dove P₁₁ presenta la forma жид-: Lc 1,5 жидовьска (P₁₁, 253r) ~ иудейска (Mst, 198v); Gv 2,13 жидовьска (P₁₁, 5v) ~ иудъвискъ (Mst, 5r); Gv 2,18 жидове (P₁₁, 6v) ~ иудъви (Mst, 5r) e Gv 3,1 жидовьскъ (P₁₁, 4r) ~ иудъвискъ (Mst, 4v). Come si noterà, a eccezione del passo di Luca (che in P₁₁ compare solo nel menologio), si tratta sempre delle letture di Giovanni contenute nei primi fogli del codice, che evidentemente si ricollegano a una tradizione testuale diversa dal resto del manoscritto: bisogna infatti considerare che alla stesura del codice hanno partecipato due copisti, il primo dei quali si è limitato ai ff. 1r-7r (Mol'kov 2016: 231; cfr. però la resa di ἔθνος, *infra*).
- P₁₁ usa regolarmente il prestito параскевьгии (Mt 27,62, f. 196r; Gv 19,14, f. 186v; Gv 19,31, f. 186v; Gv 19,42, f. 195v; nel menologio Gv 19,14, f. 211v e Gv 19,31, f. 212r), tipico della versione più antica; l'innovativo павъкъ (che invece caratterizza il testo di numerosi testimoni, tra cui Mst, ma anche Tert e IoAl, cfr. Slavova 1989: n° 76; Alberti 2017: 685) compare soltanto nelle uniche due occasioni in cui il versetto è ripetuto: nella pericope per il mattutino della settimana santa (Mt 27,62, f. 167r) e in quella per i vesperi (Gv 19,31, f. 166r). Ciò richiama quanto notato poc'anzi nell'uso dell'innovativo ЧАСЪ: con ogni evidenza, le pericopi per il mattutino e per i vesperi contengono elementi di trasmissione orizzontale (*conflatio*), o di revisione linguistica (lessicale).
- Assolutamente distante da Mst è la resa del gr. ἔθνος (cfr. Slavova 1989: n° 124), per la quale P₁₁ ricorre in modo consistente al tradizionale ѡзъкъ (21 occorrenze): come si può

TABELLA 25
Uso di СТРАНА e ЯЗЫКЪ in Mst e P11

	СТРАНА		ЯЗЫКЪ	
	Mst	P11	Mst	P11
ἔθνος	28	7	16	21
χώρα	12	8	–	–
περίχωρος	6	2	–	–
μέρος	5	4	–	–
πέραν	10	2	–	–
ὄρεινός	1	1	–	–
γλώσσα	–	–	5	4

notare nella TABELLA 25, P11 utilizza ЯЗЫКЪ nel 75% dei casi, a fronte del 25% di СТРАНА, mentre in Mst si verifica esattamente l'opposto (ЯЗЫКЪ 36% ~ СТРАНА 64%). Vale la pena di notare come in P11 l'innovativo СТРАНА compaia, oltre che nel menologio (Mt 4,15, f. 239r, Mt 10,18, f. 250v e Lc 2,32, f. 241v), soltanto ai ff. 44 e 47 (Lc 24,47, f. 47r, Gv 11,48 e Gv 11,50, f. 44r), a fronte del tradizionale ЯЗЫКЪ di Mst. Abbiamo già osservato in varie occasioni come nei primi fogli del codice P11 faccia un uso maggiore dei 'preslavismi' (cfr. ВЪРОВАТИ ai ff. 1-18r, ЦАТА al f. 6r), persino in casi in cui lo stesso Mst fa ricorso al termine arcaico (cfr. ЧАСЪ al f. 18r, ЖИДЪ e derivati ai ff. 4r-6v). Oltre a confermare la marcata distanza lessicale che intercorre tra questi due codici, pure appartenenti a una medesima tipologia testuale, ciò potrebbe indicare che il carattere composito del testo di P11 non sia dovuto semplicemente al cambio di copista al f. 7 (come notato *supra*, cfr. ЖИДЪ), ma che il cambio di antigrafo sia avvenuto più avanti durante la stesura del codice (in altre parole, il secondo copista avrebbe continuato a copiare dallo stesso ms. utilizzato dal suo predecessore, per passare a un'altra fonte soltanto dopo il f. 47).

- Mentre Mst non fa praticamente uso dell'arcaismo велии (3 occorrenze contro le 80 del suffissato вел-ик-ъ), P11, dove pure predominano le forme innovative (30 occorrenze), lo utilizza ben 12 volte: велии Mc 10,43 (134v), Mc 16,4 (197r), Lc 7,16 (95r); велина Mt 15,28 (90r), Mt 24,21 (143r); велиа Mt 24,24 (143v); велииє Lc 5,29 (94r); велииємь Mt 24,31 (143v), Mt 27,50 (192r); велииємь Gv 11,43 (138r); велземь Lc 8,28 (100v, forse corretto a partire da великомь). Il menologio di P11 è molto più coerente nell'uso della forma innovativa: all'interno del ciclo fisso, велии compare soltanto in Mt 5,19 (f. 207r), a fronte delle 10 occorrenze di великь. Anche in questo caso, non si può fare a meno di notare come l'unica occorrenza di велии in Mst che compaia in un versetto presente anche nel testo di P11 (велииємь, Lc 17,15, Mst, 100r) venga sostituita in quest'ultimo da великомь (119r), ma si tratta appunto di un caso del tutto isolato.

4. Conclusioni

In generale, dal punto di vista tipologico (ovvero sulla base della quantità di ‘testo bizantino’ presente nel *corpus* di 467 nodi testuali, § 2.1.), P₁₁ si colloca nella ‘periferia superiore’ della ‘seconda redazione’ (il suo testo è cioè prossimo al ‘testo antico’, ma riflette già un sensibile aumento di ‘lezioni particolari’ della tradizione greca), mostrando valori simili a quelli della tradizione slavo-meridionale del lezionario feriale (soprattutto Mir e Vuk) e del lezionario festivo (Mak). Restringendo il *corpus* ai 279 nodi presenti in P₁₁ (§ 2.2.) si ottiene un quadro molto simile, in cui però, tra i codici tipologicamente affini (tutti di ‘prima redazione’), compaiono anche i lezionari paleoslavi As e Sav.

Passando dal confronto tipologico (cioè statistico, sulla base della variante greca seguita nei singoli nodi) all’analisi dell’effettivo accordo nella resa slavo-ecclesiastica del testo (§ 2.3.) diventa ancora più evidente la vicinanza di P₁₁ ai codici di ‘prima redazione’: colpisce la relativa assenza dei lezionari festivi (con la significativa eccezione di As) e, soprattutto, il frequente accordo con Mst. La tradizione del lezionario festivo, sia quella paleoslava (As Sav), sia quella slavo-meridionale più tarda (Mak Vrač), mostra comunque numerosi punti di contatto, che emergono con chiarezza se ci si concentra sui 39 nodi in cui il testo di P₁₁ è maggiormente caratterizzato (§ 2.4.). Resta però da notare che la metà di questi nodi (19 su 39) compare nel ciclo giovanneo del sinassario (§ 2.4.4.), dove P₁₁ sembra distanziarsi marcatamente da quanto finora osservato: in particolare, oltre all’incremento delle *lectiones singulares*, possiamo notare il frequente accordo con la tradizione ‘balcanica’ del tetraevangelo (IoAl e Tert) da una parte, e con il lezionario slavo-orientale dall’altra (soprattutto con il Vangelo del monastero Jur’evskij, degli inizi del XII secolo). Quella che almeno in parte può essere definita la ‘fisionomia slavo-orientale’ di P₁₁, del resto, trova conferma nell’analisi parziale del ciclo matteano condotta da J. Ostapczuk (§ 1.), dove i lezionari festivi della tradizione slavo-orientale (più tarda) mostrano un accordo con P₁₁ maggiore rispetto al canone paleoslavo e, soprattutto, alla tradizione slavo-meridionale successiva. Un altro importante punto di contatto con la più antica tradizione slavo-orientale è rappresentato dai casi di convergenza con il Vangelo di Galizia osservati nel menologio (cfr. in particolare Mc 6,14 e Mc 9,3, § 2.4.2.).

Ciò detto, nella maggior parte dei casi il testo di P₁₁ procede nell’alveo della tradizione ‘balcanica’: sia quella più antica (soprattutto Mar, ma anche As e Zogr), sia quella successiva (oltre agli arcaizzanti codici bosniaci, talvolta è il cosiddetto ‘testo di Preslav’ ad accordarsi con P₁₁, cfr. in particolare la ‘famiglia’ Ban Curz e Dobš). L’influenza del ‘testo di Preslav’ è evidente soprattutto nel ciclo giovanneo, in particolare nei primi fogli del codice, che sono opera di un copista diverso – Gv 1,38 (f. 2r), Gv 2,15 (f. 6r), Gv 3,16 (f. 11r), Gv 4,11 (f. 30r), Gv 6,52 (f. 20v) –, ma i contatti con la tradizione slavo-meridionale non si limitano certo al vangelo di Giovanni (cfr. per es. Mt 28,9, Mc 9,24, Lc 16,20).

Il manoscritto più simile a P₁₁, all’interno del nostro *corpus* di 51 testimoni, è senza dubbio il Vangelo di Mstislav. Altrove (Alberti 2016b) abbiamo notato come questo codice, posto da Voskresenskij a pilastro della sua ‘seconda redazione’, sia in realtà molto arcaico dal punto di vista testuale: il suo carattere innovativo riguarda prevalentemente il lessico (le innovazioni note come ‘preslavismi’). P₁₁, al contrario, contiene un testo che a tratti sembra

addirittura più innovativo (anche se solo l'esame integrale del testo potrà fornire una risposta definitiva), ma con un lessico decisamente arcaico. Ciò non fa che confermare per l'ennesima volta che 'testo' e 'lessico' sono due strati assolutamente indipendenti nella tradizione testuale dei vangeli slavi, dal momento che, in ultima analisi, erano già percepiti come tali da parte dei copisti: l'alterazione del 'testo', infatti, obbedisce a ragioni teologiche, mentre quella del lessico ha finalità anzitutto pratiche: rendere fruibile, o stilisticamente più adeguato, il messaggio. È assolutamente ovvio che spesso (ma non sempre) forme lessicali penetrano nel testo per via testuale (risultano cioè copiate dall'antigrafo), ma almeno in parte esse sono dovute all'intervento attivo del 'copista-autore' – che resta "il vero *artefice* dei testi che sono riusciti a sopravvivere" (Canfora 2019: 21). Ciò richiama alla mente la distinzione che gli studiosi di filologia romanza (ambito in cui, per via della scarsa normalizzazione linguistica dei testi, si incontrano problematiche molto simili a quelle che caratterizzano la tradizione slava) operano tra 'forma' e 'sostanza' di un testo: "quando la forma di un manoscritto appare dovuta in modo almeno relativamente coerente all'azione di un copista che l'ha adattata alla propria varietà linguistica, si parla di *patina linguistica*" (Beltrami 2010: 22). Nel nostro caso, se quest'impostazione è corretta, a mostrare i tratti della *patina linguistica* (le forme lessicali innovative) è Mst, mentre P11, a prescindere dal sensibile incremento di varianti testuali 'non bizantine', rappresenta uno stadio formalmente più arcaico della stessa sostanza (ovvero il cosiddetto 'testo antico' o 'prima redazione' che dir si voglia).

Bibliografia

- Alberti 2013: A. Alberti, *Il lessico dei vangeli slavi e il 'testo di Preslav'. Alcune considerazioni sulla classificazione dei codici*, in: M. Garzaniti, M. Perotto, A. Alberti, B. Sulpasso (a cura di), *Contributi italiani al XV Congresso Internazionale degli Slavisti (Minsk, 20 - 27 agosto 2013)*, Firenze 2013 (= Biblioteca di Studi Slavistici, 19), pp. 23-48.
- Alberti 2016a: A. Alberti, *Text und Textwert. Mjunsterskaja metodika i ocenka raznočtenij slavjanskich evangelij*, "Studi Slavistici", XIII, 2016, pp. 307-335.
- Alberti 2016b: A. Alberti, *Il Vangelo di Mstislav e la tradizione testuale dei vangeli slavi*, in: A. Alberti, M.C. Ferro, F. Romoli (a cura di), *Mosty mostite. Studi in onore di Marcello Garzaniti*, Firenze 2016 (= Biblioteca di Studi Slavistici, 34), pp. 135-154.
- Alberti 2017: A. Alberti, *Leksikata na Ivan-Aleksandrovo evangelie i tekstologičeskata tradicija na slavjanskite evangelija*, in: T. Popova, H. Miklas, (Hrsg.), *Četirievangelie na car Ivan Aleksandăr. Izdanie i izsledvane / Tetraevangelium des zaren Ivan Aleksandăr. Edition und Untersuchung*, Wien 2017, pp. 656-699.
- Alekseev et al. 1998: A.A. Alekseev, A.A. Pičhadze, M.B. Babickaja, I.V. Azarova, E.L. Alekseeva, E.I. Vaneeva, A.M. Pentkovskij, V.A. Romodanovskaja, T.V. Tkačeva (red.), *Evangelie ot Ioanna v slavjanskoj tradicii*, Sankt-Peterburg 1998.

- Alekseev *et al.* 2005: A.A. Alekseev, I.V. Azarova, E.L. Alekseeva, M.B. Babickaja, E.I. Vaneeva, A.A. Pičhadze, V.A. Romodanovskaja, T.V. Tkačeva (red.), *Evangelie ot Matfeja v slavjanskoj tradicii*, Sankt-Peterburg 2005.
- Beltrami 2010: P.G. Beltrami, *A che serve un'edizione critica? Leggere i testi della letteratura romanza medievale*, Bologna 2010.
- Canfora 2019: L. Canfora, *Il copista come autore*, Palermo 2019.
- Cejtlin *et al.* 1994: R.M. Cejtin, R. Večerka, È. Blagova [Blahová], *Staroslavjanskij slovar' (po rukopisjam X-XI vekov)*, Moskva 1994.
- Durnovo 1969: N.N. Durnovo, *Vvedenie v istoriju russkogo jazyka*, Moskva 1969 (Brno 1927¹).
- Garzaniti 2001: M. Garzaniti, *Die altslavische Version der Evangelien. Forschungsgeschichte und zeitgenössische Forschung*, Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien 2001 (= Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Neue Folge. Reihe A, 33).
- Garzaniti 2004: M. Gardzaniti, *Perevod i ekzegeza na primere Evangelija carja Ivana Aleksandra*, in: L. Taseva (red.), *Prevodite prez XIV stoletie na Balkanite*, Sofija 2004, pp. 59-69.
- Garzaniti, Alberti 2017: M. Gardzaniti, A. Alberti, *Četirievangelieto na car Ivan Aleksandăr v tekstologičnata tradicija na slavjanskite evangelija*, in: T. Popova, H. Miklas (Hrsg.), *Četirievangelie na car Ivan Aleksandăr. Izdanie i izsledvane / Tetraevangelium des zaren Ivan Aleksandăr. Edition und Untersuchung*, Wien 2017, pp. 700-742.
- Granstrem 1953: E.È. Granstrem, *Opisanie russkich i slavjanskich pergamennych rukopisej. Rukopisi russkie, bolgarskie, moldovlachijskie, serbskie*, Leningrad 1953.
- Horálek 1954: K. Horálek, *Evangeliiäre a čtveroevangelia*, Praha 1954.
- Krys'ko, Mol'kov 2017: V.B. Krys'ko, G.A. Mol'kov, *Jazykovye osobennosti Učitel'nogo evangelija Konstantina Preslavskogo i ego drevnejšego spiska*, "Zeitschrift für Slavische Philologie", LXXIII, 2017, 2, pp. 331-395.
- Mol'kov 2016: G.A. Mol'kov, *Osobennosti jazyka i piš'ma Pogodinskogo evangelija (RNB POGOD II)*, "Die Welt der Slaven", LXI, 2016, 2, pp. 230-253.
- Nevostruev 1997: K.I. Nevostruev, *Issledovanie o Evangelii, pisannom dlja Novgorodskogo knjazja Mstislava Vladimiroviča v načale XII veka, v sličienii s Ostromirovym spiskom, Galičskim i dvumja drugimi XII i odnim XIII veka*, in: *Mstislavovo Evangelie XII veka. Issledovanija*, Moskva 1997, pp. 5-649.
- Ostapczuk 2013: J. Ostapczuk, *Sobotnie i niedzielne perykopy liturgiczne z Evangelii Mateusza w cerkiewnostowiańskich lekcjonarzach krótkich*, Warszawa 2013.
- Slavova 1989: T. Slavova, *Preslavska redakcija na kirilo-metodievijska starobalgarski evangelski prevod*, "Kirilo-Metodievski Studii", VI, 1989, pp. 15-129.
- Sreznevskij 1882: I.I. Sreznevskij, *Drevnie pamjatniki russkogo piš'ma i jazyka (X-XIV vekov). Obščee povremennoe obozrenie*, Sankt-Peterburg 1882² (1863¹).

- Voskresenskij 1894: G.A. Voskresenskij, *Evangelie ot Marka po osnovnym spiskam četyrech redakcij rukopisej slavjanskogo evangel'skogo teksta s raznočtenjami iz sta vos'mi rukopisej evangelija XI-XVI vv.*, Sergiev Posad 1894.
- Voskresenskij 1896: G.A. Voskresenskij, *Charakterističeskija čerty četyrech redakcij slavjanskago perevoda Evangelija ot Marka po sto dvenadcati rukopisjam evangelija XI-XVI vv.*, Moskva 1896.
- Tvorogov, Zagrebin 1988: O.V. Tvorogov, V.M. Zagrebin (red.), *Rukopisnye knigi sobranija M.P. Pogodina. Katalog*, 1, Leningrad 1988.
- Žukovskaja 1984: L.P. Žukovskaja (red.), *Svodnyj katalog slavjano-russkich rukopisnyh knig, chranjaščichsja v SSSR. XI-XIII vek*, Moskva 1984.
- Žukovskaja et al. 1983: L.P. Žukovskaja, L.A. Vladimirova, N.P. Pankratova (red.), *Aprakos Mstislava Velikogo*, Moskva 1983.

Abstract

Alberto Alberti

RNB.Pogodin.11 and the Textual Tradition of Slavic Gospels. A Comparison of Textual and Lexical Variants

RNB.Pogodin.11 (P11) is an ancient East-Slavic Gospel lectionary (of the esk-type), for which various datings have been proposed, going back to the 11th century. This manuscript was given a prominent position in the 19th century editions of the Slavic version of the Gospels, as a witness of the 'ancient' redaction. Nevertheless, only in recent times has it become the object of extensive study. In the present paper, the text of P11 is preliminarily contextualized within the Slavic tradition, by use of the *corpus* of textual nodes, developed at the Münster Institute for New Testament Textual Research (<<http://egora.uni-muenster.de/intf/>>): the analysis shows that the text of this codex has few points of contact with the tradition of the feast (esk) lectionary, while it is very close to the text of the Mstislav Gospel (except for the Mark cycle). From a typological point of view (moderate increasing of particular variants at the expense of the so-called 'Byzantine text'), P11 places itself between the 'first redaction' and the 'second redaction', i.e. between the 'ancient text' and the 'Preslav text'. The influence of the latter is particularly evident in the John cycle, especially in the first folios of the manuscript. In comparison to the Mstislav Gospel, the text of P11 seems to be more innovative, but with a strongly archaic lexicon. It confirms that 'text' and 'lexicon' are independent layers within the Slavic Gospels textual tradition, and were already perceived as such by the copyists. Adopting the distinction between 'form' and 'substance' of a text used by Romance philologists, I propose to interpret the innovative lexical forms of the Mstislav Gospel as a 'linguistic coat' (*patina linguistica*), while P11, both from the textual and the lexical point of view, seems to be 'formally' a more archaic stage of the same 'substance' (the so-called 'ancient text' or 'first redaction').

Keywords

Church Slavonic Gospels; Greek Gospels; Byzantine Text; Lexicon; Linguistic Coat.

Емилија Црвенковска

Лексиката на Дечанското евангелие (РНБ, Гильф. 4)

Дечанското евангелие (Гильф. 4) се чува во Руската национална библиотека во Санкт Петербург. Снимки или опис на ракописот се даваат во повеќе изданија: Срезневский 1868, Лавров 1915, Жуковская 1984, Десподова, Славева 1988, Поп-Атанасов 2017 (повеќе литература за тоа во: Десподова 1983). Ова евангелие, како и Дечанскиот псалтир (Гильф. 17), му припаѓало на Дечанскиот манастир кај Пек. Во 1857 година оттука го зел А. П. Гильфердинг и сега се чува во неговата збирка. Ракописот ги содржи четирите евангелија. Пишуван е на пергамент, има 209 листа, 180 × 118 мм. Пишуван е со уставно писмо, а правописот е двоеров и двојусов. На крајот (л. 198-207) е поместен месецослов, во којшто е одбележана паметта на св. Кирил Солунски, св. Јован Рилски и на св. Сава Српски (Поп-Атанасов 2017: 100).

Дечанското евангелие (Деч) во описите се датира различно. Во некои описи се укажува на тоа дека ракописот е настанат во XIV век и припаѓа кон среднобугарските ракописи со србизми (Гранстрем 1953: 103), а во други описи се датира во втората половина на XIII век како текст од македонска редакција, но со доста изразено српско влијание (Десподова 1983: 39-41), додека во *Сводный каталог* (Жуковская 1984: 299) се опишува како среднобугарски ракопис од XIII век. Во ракописот има низа архаични црти на фонетско и на морфолошко рамниште што ја одразуваат постарата традиција карактеристична за најстариот период на развитокот на словенската писменост (асигматски аорист, стар партицип на претерит кај глаголите од и-група и сл.).

Познато е дека уште најстарите преписи на евангелието во словенската писмена традиција во својата основа се компилативни текстови, се состојат од нееднородни по потекло делови (Темчин 1997: 48). Таква слика е одразена и во Деч. Тоа е јасно воочливо при разгледувањето на лексиката на овој текст, при што во одделни делови е поизразено присуството на исконска, а во други на подновена лексика.

1. Архаична лексика

Во Деч е присутен архаичен лексички слој што го поврзува ракописот со старословенските канонски текстови:

алџкати, възалџкати πεινάω: възалкаѣ Мт 25:35, алѣѣна Мт 25:37, възалка Мт 25:42, алѣѣѣѣѣѣ Л 6:21, ароматѣ ѣρωμα: ароматѣ Мр 16:1 (вонѣ Дбм), ароматѣ и мѣро

Λ 23:56, 24:1, аромати Ј 19:40, вѣскрилие κράσπεδον: вѣскрилию Мт 14:36, 23:5, Мр 6:56, Λ 8:44. Изразот вѣсь мирѣ κόσμος: Мт 4:8, 25:34, Λ 11:50, Ј 1:29, 7:4, 12:46, 17:9 се смета за архаичен во однос на поновото мирѣ. Застапен е архаичниот израз вѣрѣж ати πιστεύειν: не имѣте вѣрѣи Мт 24:24 – не вѣроуиѣте Мкд¹, да не вѣрѣи емше Λ 8:12 – да не вѣровавшѣ Мкд, вѣрѣж емлѣжѣ Λ 8:13 – вѣроуаѣтѣ Мкд. Овој израз е присутен и во Орб, Хлуд, Григ (Рибарова 2005: 64). горѣница ἀνάγειον: горѣница Мр 14:15, Λ 22:12. Архаичниот глагол граѣти ἔρχεσται: граѣѣтѣ Ј 6:1, граѣжѣцаго Ј 1:9, граѣды Ј 1:15, 11:27 се среќава со висока застапеност како и во Дбм Баниш Курз (Vakarelyska 2008: 24), како и во Кохно (Коссек 1986: 65). дрѣвле πάλαι, πρῶτον: дрѣвле Λ 9:61, прѣжде Мт 6:33, Мр 4:28, Λ 9:59, и двете варијанти се одбележани во најстарите евангелија. дрѣрколь ξύλον: дрѣркольми Мт 26:47 – сѣ посохѣи Мкд, сѣ дрѣрколинемѣ Мт 26:55 – сѣ посохѣи Мкд, дрѣркольми Мр 14:43, дрѣрколь Λ 22:52. Формата дрѣрколие, покрај најстарите евангелија ја бележат и старите триоди: Шаф, Орб, Хлуд. Оваа именка спаѓа во лексика карактеристична за охридската традиција (Цейтлин 1977: 44). дрѣсѣль σκυθρωπός: чѣрмнѣиѣт са дрѣхло нѣбо Мт 16:3 – ведро чѣрмноуѣт бо са нѣбо Мкд, онѣ же дрѣсѣль бѣвѣ ѡтиѣде скѣрѣба Мр 10:22 Зогр Дбм – дрѣхлѣ Мкд Курз Банш; дрѣхлѣ Λ 24:17 – дрѣсѣла Дбм Мар Зогр Асем. Формата дрѣхлѣ е регистрирана и во Орб. Оваа именка спаѓа во лексика карактеристична за охридската традиција (Цейтлин 1977: 45). конѣчина, конѣць τέλος, конѣчина: Мт 24:3, 24:14, 26:58, Мр 3:26, 5:23, Λ 21:9, 22:37, конѣць: Мт 24:31, Мр 2:21, 13:7 Дбм. И двете форми се присутни во најстарите текстови. млѣвити θορυβεῖν: млѣвити Мт 9:23, Мр 5:39, Λ 10:40, 10:41, млѣва θορυβος: Мр 5:38, 14:2, млѣдити, моуѣдити χρονίζω: млѣдитѣ Мт 24:48 – кѣснитѣ Мкд, моуѣдитѣ Курз; млѣдлѣцоу Мт 25:5 – млѣдлѣцоу Мкд. Покрај Зогр, Асем, Сав, овој глагол го користат уште и Остр, Дбм, Трнов. И варијантата кѣснѣти е архаична, се среќава во канонските текстови како и во Деч: кѣснитѣ Λ 12:45. подѣножѣи ὑποπόδιον подѣножѣи Мт 22:44, Мр 12:36, Λ 20:43, прѣбѣхати διαπεράω: Мр 6:53, Λ 8:26, распати σταυροῦν: се смета за моравизам распашѣ Мр 15:25 – пропашѣ Мкд, распатаго Мр 16:6, распаша Мт 27:38, распатаѣ Мт 27:44 – пропата Мкд, но и пропати: пропатѣ М 27:22, 9:6, пропѣнѣтѣ Јов 19:6, пропати Јов 19:10, пропаша Ј 19:23. Се забележува дека архаичната лексика најмалку е застапена во Ј.

2. Грцизми

Во Деч се присутни низа грцизми, од кои дел заеднички со оние во најстарите евангелија. Грцизмите често се варираат и со словенски еквиваленти:

¹ Основната ексцерпција на Деч е правена во споредба со Македонското четвороевангелие (Костовска 2003), и затоа во трудот најчесто се посочуваат различните места со Мкд. За другите црковнословенски ракописи користени се кратенки. За евангелијата: *Банишко* (Банш), *Добрејшево* (Дбј), *Добромирово* (Дбм), *Карпинско* (Карп), *Кратовско* (Крат), *Курзонско* (Курз), *Мирославово* (Мир), *Мстиславово* (Мст), *Остромирово* (Остр), *Радомирово* (Рад), *Трновско* (Трнов), за триодите: *Битолски* (Бит), *Шафарииков* (Шаф), *Орбелски* (Орб), *Хлудов* (Хлуд), за псалтирите: *Болоњски* (Бон), *Погодинов* (Пог), паримејник: *Григоровичев* (Григ). За канонските ракописи се употребуваат вообичаените кратенки.

алавастръ *ἀλάβαστρον*: алавастръ хризми Λ 7:2 – алавастръ мира Мкд, но и: стъклѣнициѣ мѹра Драгдаго Мт 26:7 – стъкленициѣ мѹра имѣци мно҃гоцѣнааго Мкд, стъклѣници Мт 3:26, архисѣнагогъ *ἀρχισυνάγωγος*: архисѣнагогъ Мр 5:22, архисѣнагогови Мр 5:30, афедронъ *ἄφεδρών*: екозѣ афедить (!) Мр 7:19 – проходомаѣ Мкд; проходомаѣ Мт 15:17. Овој грцизам е присутен и во Зо҃гр, Мар, Рад, Дбј, Крат, Крп, Курз. власфим-, *βλασφημ*–: власвимисаѣтъ Мт 12:32, власвиминѣ Мт 26:65, власвиминѣ Мр 2:7, власвиминѣ Λ 5:21, хоул- Мр 14:64, Λ 5:21, J 10:33, гнафеи *γναφεύς*: гнафеи Мр 9:3 – гнафеѣ Зо҃гр Мар Дбм Дбј – вѣаилникъ Мкд; декапольскъ *τῆς Δεκαπόλεως*: декапольскы Мр 7:31, епеньдитъ *ἐπενδύτης*: епендитомаѣ прѣпоаса са J 21:7 Зо҃гр Мар Асем Сав; катапетазма *καταπέτασμα* Λ 23:45, матизма *ματισμός*: w матизмаѣ моѣи J 19:24, скининѣ *σκηνή*: скининѣ Мр 9:5, покрај сѣнь: сѣни Λ 9:33 Дбм, а се среќава и во Супр, Банш; но за празникот скинопигиѣ Дбм во Деч: поточѣние кѣциѣ J 7:2, спира *σπείρα*: спириѣ Мр 15:16 – спириѣ Мкд; тектоновъ *τέκτων*: текътоновъ сѣнь Мр 6:1, дрѣводѣлинѣ поправено во ракописот во текънътовъ (!), Мт 13:55 – тектоновъ сѣнь Мкд, но, понатаму правилно: текътоновъ сѣнь Мр 6:3 го бележат Зо҃гр и Мар. титла *τίτλον*: титлаю J 19:19, титлаю J 19:20, овој грцизам не е регистриран во Дбм Банш Курз (Vakarelyska : 23); хламида *χλαμός*: хламидѣ Мт 27:31, хламидѣ Мт 27:28 на двете места го има во најстарите евангелија Зо҃гр Мар Асем Сав; упокритъ *ὑποκρίτης*: упокрити Мт 6:2, 6:5, 6:16 но и лицѣмѣри Мт 22:18. оупокритъ.

Според Славова (2013: 133), врз основа на анализа на 12 чтенија во евангелијата во однос на употребата на грцизимите (преведени/непреведени), најзастапени се грцизимите во текстот на Ват, потоа Асем, Сав, Остр, Мар, а Зо҃гр има најмалку непреведени грцизми.

Некои други грцизми во Деч како: *ароматъ*, *архиерен*, *краниевъ*, *мѹро*, *олѣи*, *хризма* и сл. се разгледуваат во другите делови на овој труд.

3. *Врски со великоморавската средина*

Во еден слој од лексиката присутна во Деч се потврдува архаичноста преку употребата на моравизми и заемки од германскиот/старовисоконемскиот, латинскиот, како и некои лексеми карактеристични за великоморавската средина.

наставѣши днь: изразот *хлѣвъ нашъ наставшааго дње* (*panem nostrum quotidianum*) е потврден во Мар, Сав како и во Деч: *хлѣвъ нѣшъ наставшааго дње* Мт 6:11 – *настѣцини* Мкд. Се смета дека овој израз е настанат под влјание од западнословенскиот зашто Господовата молитва *Оче наш* била во употреба во Моравија уште во предкирилскиот период (Cibulka 1956: 415). Оваа варијанта, *наставшааго*, во Господовата молитва може да ја одразува како западната традиција, така и грч. *ἐπιούσιον*. Во ракописов како синоним се среќава и формата *вѣгтни*: *хлѣвъ нѣшъ вѣгтни* Λ 11:3 – *настѣцини* Мкд, што се однесува на грч. *οὐσία* ‘сушност’.

неприаѣнъ: *ѿ неприаѣни* Мт 6:13, Λ 11:4 – *ѿ лѣкавааго, неприаѣнъ* Мт 13:19, *неприаѣнинѣи* Мт 13:38. Во постарата литература (в. кај Рибарова 2005: 36) терми-

ристел за искажување на евхаристична благодарност (Пентковскиј 2014: 78). Во ракописот не се среќаваат поновите синоними, глаголите **ХВАЛИТИ**, **ПОХВАЛИТИ**, како на некои места во Дбм (Темчин 1998: 96), ниту **БЛАГОДАРИТИ**: **ХВАΛΛ ΒΥΖΔΑΒΖ** Мт 15:36 – **БΛΓΟΔΑΡΊΒЪ** Мкд.

4. Варирање на постара и понова лексика

Во ракописот се употребуваат низа синоними, лексички парови, од кои едната лексема припаѓа кон постариот период, кирилметодиевска лексика и охридизми, а втората кон поновата лексика (“преславизми”). Се повикуваме овдека на претходни класификации од овој тип (Цейтлин 1977, Славова 1989, Темчин 1997, 1998, Varkarelyska 2008). Примерите се подредени според алфаветниот редослед на грчките форми, а првата лексема од словенскиот превод или адаптација ја претставува постарата состојба во јазикот.

ἀμίνъ – **АМИНЪ**, **ПРАВЪ**

Многу позастапена, во целиот текст, е варијантата **АМИНЪ**, а на следниве места **ПРАВЪ**: Мт 8:10, Мр 9:41, 10:15, 11:23, 12:43, 13:30, 14:9, 14:30, Л 4:24, 18:17, 18:18, 18:29, 23:43, 12:37. Во Ј на сите места се употребува исклучиво втората варијанта, покажува блискост со поновите редакциски текстови.

ἀρχιερεύς – **АРХИЕРИИ**, **СТАРЪШИИНА ЖЪРЪЧЪСКЪ**, **ЖЪРЪЦЪ**

АРХИЕРИИ: Мт 21:45, 26:3, 26:57, 26:59, Мр 2:26, 8:31, 10:33, 11:27, 14:1, 14:53 (2x); 14:55, 14:60, 14:61, 14:63, 15:1, 15:3, 15:10, 15:11, 15:31, Л 19:47, 20:19, 22:2, 22:4, 22:50, 22:52, 22:66, 23:4, 23:10, 23:13, 24:20, Ј 7:32, 7:45, 11:47, 11:49, 11:51, 11:57, 12:10, 18:3, 18:19, 18:13, 18:15, 18:16, 18:22, 18:24, 18:35, 19:21, **СТАРЪШИИНА ЖЪРЪЧЪСКЪ**: Мт 8:4, Мр 14:10, 14:43, Л 23:23, Ј 19:6, 19:15, **ЖЪРЪЦЪ**: Мр 11:18. Од горниот пар позастапена е кирилметодиевската варијанта **АРХИЕРИИ**.

ἀφίημι – **ОТЪПОУСТИТИ (СА)**, **ОТЪПОУШТАТИ (СА)**, **ОСТАВИТИ**

ОТЪПОУСТИТИ (СА): Мр 3:28, 4:12, 4:36, 11:25, 23:34, Ј 20:23 (2x); **ОТЪПОУШТАТИ (СА)** Мт 9:2, 9:5, 9:6, Мр, 2:7, 2:9, 2:10, 11:25, Л 3:2, 4:19, 5:20, 5:21, 5:24, 7:47 (2x); 7:48, 7:49, **ОСТАВИТИ** Л 17:4.

γέεννα – **ГЕОНА**, **КЕЗЕРО**, **ДЪБРЪ**, **ОГНЪ**

ГЕОНА: Мт 5:22, 5:29, 5:30, 23:33, 23:15, **КЕЗЕРО**: Мт 18:9, **ДЪБРЪ**: Л 3:5, 12:5, **ОГНЪ**: Мр 9:43, 9:45, 9:47.

γραφή – **КЪНИГЪ**, **ПИСАНИЕ**

КЪНИГЪ: Мт 17:12, Мр 14:49 (Дбм: **ПИСАНИЕ**); Л 24:45, Ј 2:22, 5:39, 7:38, 7:42, 13:18, 7:12, 19:24, 19:28, 19:36, 19:37, 20:9, **ПИСАНИЕ**: Мт 21:42, 22:29, Мр 12:24, Л 24:27, 24:32.

δυνατόν ἐστίν – (НЕ)ВЪЗМОЖНО ЕСТЬ, (НЕ)МОЦТЪНО

(НЕ)ВЪЗМОЖНО ЕСТЬ: Мр 9:23, 10:27, 13:22, 14:35, Λ, 17:1, 18:27 (2×); (НЕ)МОЦТЪНО: Мр 10:27, 14:36, 14:38.

ἐγείρω, ἀνίστημι, ἐανίστημι – ВЪСКРЪСИТИ, ВЪСКРЪШАТИ, ВЪСТАВИТИ

ВЪСКРЪСИТИ: Мт 26:32, Λ 11:32, Ј 12:1,12:19, ВЪСКРЪШАТИ: Λ 20:28, Ј 5:21, 6:39, 6:40, 6:44, 6:54, ВЪСТАВИТИ: Мт 22:24, Мр 12:19.

ἐλαιον – ОЛЪИ, МАСЛО

ОЛЪИ: ωλѣια Мт 25:3, 25:4, 25:8, Мр 6:13, МАСЛО: Λ 7:46, 10:34, 16:6.

Само во Λ се јавува подновувањето масло. Распределбата на двете варијанти е еднаква како во Банш (Темчин 1997: 60), додека Дбм користи олѣи во Λ 10:34, 16:6, а масло во Мр 6:13, Λ 7:46.

ἐν κρυπτῷ – ВЪ ТДИНЪ: Ј 7:4, ТАИ: Ј 7:10.

ζωή – ЖИВОТЪ, ЖИВОТЪНЪ, ЖИЗНЪ

ЖИВОТЪ: Мт 19:17, Λ 10:25, 12:15, 18:18, 18:30, Ј 1:4 (2×); 3:15, 3:16, 4:14, 4:36, 5:24 (2×); 5:26 (2×); 5:29, 5:39, 5:40, 6:27, 6:33, 6:40, 6:47, 6:48, 6:51, 6:53, 6:54, 6:63, 6:68, 10:10, 10:28, 12:25, 12:50, 14:6, 20:30, ЖИВОТЪНЪ: Ј 6:35, 8:12, ЖИЗНЪ: Мт 7:14, 18:8, жнѣ (!) 18:9, 19:16, 19:29, 25:46, Мк 9:43, 9:45, 10:17, 10:30,

Може да се забележи дека во два непосредни стиха се употребени двете варијанти: жнѣ Мт 19:16, животъ 19:17. Λ и Ј ја употребуваат само варијантата животъ.

θυρωρός – ДВЪРЪНИКЪ, ВРАТЪНИКЪ

ДВЪРЪНИКЪ: ДВЕРНИКЪ Ј 10:3, исто и во Банш, ДВЕРНИЦА Ј 18:16, 18:17, ВРАТЪНИКЪ: ВРАТЪНИКЪ Мр 13:34 – ВРАТАРЪ Дбм.

ἰμάς – РЕМЕНЪ, ВЪЗВЪЖЪ

РЕМЕНЪ: Ј 1:27, ВЪЗВЪЖЪ Λ 3:16.

Ἰουδαῖος, Ἰουδαίος – ИЮДЕИСКЪ, ЖИДОВЪСКЪ, ЈЕВРЪБИСКЪ

ИЮДЕИСКЪ: Мт 2:1, 27:11, Мр, 10:1, 15:2, 15:9, 15:12, 15:18, 15:26, Λ 1:5, 1:65, 23:38, Ј 2:6, 2:13, 3:1, 6:4, 7:13, 18:12, 19:19, 19:21, 19:38, 19:42, 20:19, ЖИДОВЪСКЪ: Λ 7:3, 23:37, Ј 7:2, 18:33, 19:21, ЈЕВРЪБИСКЪ: Λ 23:38, 23:51, Ј 5:2, 19:14.

Во еден ист стих се среќаваат и двете варијанти, во Λ 23:38: ЈЕВРЪБИСКЪ и ИЮДЕИСКЪ, во Ј 19:21: ИЮДЕИСКЪ и ЖИДОВЪСКЪ.

καλέω – НАРЕШТИ (СА), НАРИЦАТИ (СА), ПРОЗЪВАТИ (СА), ПРОЗЪИВАТИ (СА)

НАРЕШТИ (СА): Мр 11:17, Λ, 1:13, 1:59, 1:60, 1:61, 1:62, 1:76, 2:4, 2:21 (2×), 2:23, 15:19, 15:21, Ј 1:43, НАРИЦАТИ (СА): Мт 22:43, 22:45, 23:7, 23:8, 23:9, 23:10, Λ 1:59, 1:60, 6:15, 7:11, 9:10, 19:2, 20:44, 21:37, 22:3, 22:25, 23:33.

κῆπος – **врѣтоградъ, пещера, врѣтѣпъ**

врѣтоградъ: Λ 13:19, Ј 18:1, на овие две места еднакво и во Банш, **врѣтогра(!)** Ј 18:26, **пещера:** Λ 19:46, Ј 19:41 (2x). Во последниве примери **пещера** е употребена во значење на *κῆπος*, а таква употреба има и во Крат, Рад (Десподова 1992: 232); **врѣтѣпъ:** Мр 11:17, со истото значење на ова место се среќава и во Дбм, Мка, **пещера** κλίβανος, σπήλαιον Ј 11:38.

κληρονομία – **достојание, причастие**

достојание: Мт 21:38, Мр 12:7, Λ 20:14, **причастие** Λ 12:13.

κληρονόμος – **наслѣдникъ, причастникъ**

наслѣдникъ: Мт 21:38, Мр 12:7, Λ 20:14, а синонимот **причастникъ** не се среќава.

κρανίου τόπος – **краниевъ, главнъ**

краниево мѣсто Мт 27:33, Λ 23:33, **главнѣе мѣсто** Мр 15:22.

λεπτόν – **мѣдъница, лѣпта, цата**

мѣдъница Λ 12:59 – **трѣхѣтѣ** Дбм – **мѣдъница** Рад; **лѣпта** Мр 12:42 – **мѣдъница** Дбм; **цата** Λ 20:24, 21:2 – **лапѣка** Дбм.

ματρουρέω – **сѣвѣдѣтельствовати, сѣвѣдѣтельство, послушествовати, послушество**

сѣвѣдѣтельствовати: Ј 1:8, 1:15, 1:32, 1:34, 2:25, 3:11, 3:26, 3:28, 3:32, 5:31, 5:37, 7:7, 8:13, 8:14, 8:18 (2x), 10:25, 12:17, 13:21, 15:26, 15:27, 18:23, 19:35, 21:24, **сѣвѣдѣтельство:** Ј 1:7, **послушествовати:** Мт 23:31, Мр 14:56, 14:59, 14:60, 15:4, Λ 4:22, 11:48, **послушество:** Мр 10:19, 14:57, Λ 18:20, 21:13.

Без исклучок Ј користи **сѣвѣдѣтельствовати, сѣвѣдѣтельство**, а во останатите три евангелија се среќаваат само формите **послушествовати, послушество**. Во однос на оваа форма Ј покажува поинаква состојба, обично во него е поизразена преславската традиција, но овдека само во тој дел се гледа кирилometодиевската форма.

μύρον – **муро, хризма, помазание, масло**

муро: Λ 23:56, Ј 12:13, 12:15, **хризма:** Λ 7:37, 7:38, **помазание:** Мр 14:3, 14:4, 14:5.

περίλυτος, λύπη – **(при)скрѣбнъ, скрѣбъ, печаль**

(при)скрѣбнъ: Мр 6:26, 10:22, Λ 18:23, 18:24, Ј 16:33, **скрѣбъ** Мр 13:19, 13:24, Ј 16:6, **печаль:** Мт 13:21, 24:21 Мир, Ј 16:21. Подновената варијанта ја има само во делови од Мт и Ј.

Во Ј 16 паралелно се употребуваат и двете варијанти: **скрѣбъ-** 16:6, 16:33, и **печаль** Ј 16:21.

παράκλητος – **параклитъ, оутѣшителъ**

οὐτΰшителъ J 14:16, 14:26, 15:26, 16:7, во J на сите места е употребена преславската варијанта, исто како и во Банш (Темчин 1997: 57).

παρασκευή – параскевѣги, патъкѣз

патъкѣз Мт 27:62, Мр 15:42, Л 23:43, 23:54, J 19:14, 19:31, 19:42, а параскевѣги воопшто не се користи.

πήρα – пира, мѣхъ

пира: Мр 6:8 – с(ъ)пира Дбм Банш Курз (Varkarelyska 2008: 28), мѣхъ: Л 22:35, 22:36, како еквивалент на овој грцизам во евангелијата се среќаваат и следниве лексеми: врѣтице, вѣлагалице, мѣхъ, пира, и како коруптела *спира (Аргировски 2003: 370).

πλησίον – искрѣнии, ближѣнии

искрѣнии: Л 10:36, Мт 22:39, Мр 12:33, ближѣнии: Л 10:27, 10:29, Мр 12:31.

ποιμήν – пастырь, пастоухъ

пастырь Мр 6:34, 14:27, J 10:2, 10:11 (2x), Л 2:8, 2:15, 2:18, 2:20, J 10:12, 10:14, 10:16, се употребува само првичната варијанта, а пастоухъ воопшто не се користи.

πόλεμος – брань, ратъ

ратъ: ратна Мт 24:6, брань Л 14:31, 21:9.

πορφύρα, πορφυρός – порфира, багрѣница

багрѣница: Мр 15:17, 15:20, Л 16:19, багрѣнъ: J 19:2, 19:5. Оваа лексема ја бележи Супр. Грцизмот порфира не е застапен во Деч, ниту во Дбм.

πρωΐ – оутро, здоутра

оутро: Мт 16:3, Мр 1:35, 13:35, здоутра: Мт 21:18, Мр 11:20, 16:2, J 8:2, 18:28, 20:1. Се смета дека лексемата здоутра е понова варијанта, а оутро првобитна кирилометодиевска лексема. Може да се заклучи дека вторичната варијанта во мнозинството случаи ја истиснала првичната варијанта, во Банш во половината случаи е така, но уште во глаголските тетри оваа варијанта се среќава во Мр 16:2, 16:9, J 18:28, 20:1 и во тие стихови е првична, не е поврзана со преславската редакција (Темчин 1997: 52).

σπεῖρα – спира, народъ

спира: свѣраша на нь всѣ спирѣ Мт 27:27 Дбм Банш Курз, призваша всѣ спирѣ Мр 15:16 Дбм, како и во триодите Заг, Орб и во коментираниите псалтири Бон, Пог. Покрај овој грцизам застапен е и словенскиот еквивалент народъ J 18:3 Дбм Трнов; J 18:12.

συναγωγή – сѣньмицѣ, сѣньмъ, сѣбориштѣ, сѣборъ

сЪНЬМИЦТЕ: Мт 5:22, 6:2, 6:5, 9:35, 12:9, 23:34, Мр 3:1, 6:2, 13:9, Л 4:16, 4:38, сЪНЬМЪ: Мр14:55, сЪВОРИШТЕ: Мт 10:17, 13:54, 23:6, Мр 12:39, Л 4:15, 4:20, 4:33, 4:44, 8:41, 21:12, сЪВОРЪ: Мр 15:1.

τίς – еТЕРЪ, ЈЕДИНЪ, НЪКЪЗИ, ДРОУГЪ, ИНЪ

еТЕРЪ: Мт 9:18, Мр 5:25, 7:1, 7:2, 9:1, 11:5, Л 6:1, 6:19, 7:19, 7:41, 8:2, 9:1, 9:7, 10:38, 13:23, 13:31, 14:1, 14:2, 14:15, 14:16, 15:11, 16:20, 17:12, 21:5, 24:22, 24:24, Ј 7:44, 11:37, 11:46, 12:20, 13:29, ЈЕДИНЪ: Мр 10:17, 14:51, 15:36, НЪКЪЗИ: Мт 21:28, 21:33, Мр 15:21, Л 1:5, 6:2, 7:2, 7:36, 8:49, 9:7, 9:57, 10:25, 10:30, 10:31, 10:33, 10:38, 11:1 (2x), 11:15, 11:36, 11:37, 11:45, 12:13, 12:16, 13:1, 13:6, 16:1, 16:19, 18:2, 18:35, 19:12, 20:27, 20:39, 21:2, 22:56, 22:59, 23:19, Ј 4:46, 5:5, 7:25, 11:49, ДРОУГЪ: Мр 8:3, 14:4, 14:65, Л 18:9, ИНЪ: Мр 9:38, 15:35, Л 20:16.

χιτών – РИЗЪ: М 6:9, 14:63, Л 3:11, 6:29, 9:3, Ј 9:23

кРАТЪ- како компонента за образување на количествени прилози е знак за архаизам. Варијантите со оваа компонента се внесени во четвороевангелскиот текст во Моравија и првенствено преовладуваат во тетрите (Десподова 1997: 82). Во Деч е одразена ваква состојба: три кРАТИ Мр 14:30, 14:72, ТРИЦИ Л 22:34, 22:61, Ј 13:38, ДЪВА кРАТИ Л 18:12, МНОГЪ кРАТИ Мр 5:4 Курз, стокРАТИЦЕЪ Л 8:2, МЪНОГАШЪДИ Мр 9:22, ВЪТОРИЦЕЪ Мр14:72, вторицеЪ Ј 21:16, ДЪВАШЪДИ Мр 14:72, ВЪТОРОЕ Мт 26:42, Ј 3:4, множицеЪ Ј 18:2, третицеЪ Мт 26:44, Ј 21:14, 21:17 (2x).

Формите ВЪТОРИЦЕЪ, третицеЪ, множицеЪ се архаични, додека подновената ВЪТОРОЕ се наоѓа по еднаш во Мр и во Ј. Во рамки на еден стих Мр 14:72, се среќаваат три варијанти: ДЪВАШЪДИ, ВЪТОРИЦЕЪ, три кРАТИ.

5. Подновена лексика

Деч бележи ретки лексеми што не се широко застапени во постарите текстови, некои од нив може да се сметаат за неологизми или индивидуални варијанти, веројатно навлезени во текстот од разговорниот јазик на писецот:

ἀλέκτωρ – ПЪТЬЛЪ: оваа лексема е потврдена и во Дбм, Мкд;

пЪТЬЕЪ Мр 14:30, 14:68, 14:72 (2x), Л 22:34 (коуръ Дбм), 22:60, 22:61, Ј 13:38, 18:27. Оваа ретка лексема што е карактеристична за Дбм, овдека се употребува уште подо следно, на сите места. За ἀλέκτοροφωμία Деч, исто како и Дбм, Дбј, Рад, Крп, Крат, ја следи формата од Зогр: коуруглашение Мр 13:35, – алектороглашение Мкд, наспрема кокотоголашение во Мар. Лексемата коуръ одразува најстара охридска традиција (Vakarelyska 2008: 29), присутна е и во Асем, Сав (кокотъ Мар), а алекторъ (покрај патчеъ) се употребува во Кохно 2x (Коссек 1986: 62, 70). И во Учителното евангелие на Константин се употребува коуруглашение и тоа во поговорот кон Словото на Јован Златоуст во првата недела на постот, а поговорите и предговорите кон словата биле составени од самиот Константин и во поголема мера се одраз на неговиот јазичен узус, отколку преводните делови на Учителното евангелие (Пичхадзе 2016: 261).

ἀπολελυμένη – отъбѣга

и жени са ѿбѣгоѡ Мт 5:32 – и иже поуценицѡ поемлетъ Мкд – подъпѣга Дбм. Канонските текстови ги регистрираат глаголите отъбѣгати Супр, отъбѣгнѡти Супр Евх, отъбѣжати Супр Евх Клоц. Паралелно се употребува и: поуцѡенѡиѡ отъ мѡжа Дбм.

αὐλητής – пицѡальникѡ

видѣвѡ пицѡальникѡи Мт 9:23 – свирѡць во други евангелија, а во старите триоди се среќава пицѡаль Бит Шаф Орб Хлуд.

κατάλυμα – обитѣвѡница

обитѣвѡница Мр 14:14 Дбм – обитѣвѡ Мкд, а изведувањата обитиѡ, обитѣвѡиѡ ги бележи Орб.

κεράμιον – каменица

въ каменици водѡ носѡ Мр 14:13 – вѡ скѡдѡлѡницѡѡ Зогр Мар Мкд, вѡ зѡдѡници Дбм, вѡ скѡдѡвѡници Л 22:10. каменица е ретка лексема, одбележана во Трнов (Утринова-Скаловска, Десподова 1992: 102), но: село скѡдѡвѡлѡникѡво (τοῦ κεραμέως) Мт 27:7, скѡдѡвѡлѡникѡвѡ Мт 27:10.

πλάτος – ширина

въ ширинѡ морѡстѡви Мт 18:6 – вѡ пѡчинѡвѡ Мкд, се среќава уште во коментарот кон псалтирот Бон и Пог.

συκομορέα – ѡгодичина

на ѡгодичинѡвѡ Л 19:4 Дбј Рад Крат Курз Мст.

Дел од новата лексика се наоѓа во определени фрагменти од текстот. Така, во Мр 14 има дури три ретки лексеми: пѡтѡель Мр 14:30, 14:68, 14:72 (2×), обитѣвѡница Мр 14:14, каменица Мр 14:13. Друга секвенца од текстот во којашто се присутни подновувања е Мт 5-18: отъбѣга Мт 5:32, пицѡальникѡ Мт 9:23, ширина Мт 18:6. Може да се претпостави дека овие делови се препишани од понова предлошка.

6. *Заклучоци*

Во Деч на лексичко рамниште се утврдуваат различни слоеви: низа архаизми што го поврзуваат ракописот со канонските текстови, лексеми и изрази во кои е одразен моравскиот период на словенската писменост преку заемки од латинскиот и германскиот и изрази карактерстични за западниот узус. Во текстот честопати има варирање на постара и понова лексика, дури и во рамки на еден ист стих, што го

потврдува паралелното егзистирање на дублетните форми. Извесен лексички слој на подновувања може да е одраз на народниот говор.

Деч покажува сличности со Дбм, Банш, Курз, Трнов и со други евангелија. Дел од лексика карактеристична за првичните преводи што се среќава во Дбм, на истите места е присутна и во Деч: **драсель** Мр 10:22, **коњць**: Мт 24:31, Мр 2:21, 13:7, **краниево мѣсто** Ј 19:17, **постити са** Мт 2:18 (3x), 2:19 (2x), 2:20, 9:15, **ради** Ј 9:23, 19:11. Дел од подновувањата се заеднички за Деч и за Дбм: **поточение кѣць**: Ј 7:2 Дбм, како и ретките лексеми **пѣтълъ**, **овитѣльница**. Деч и Банш на исто место ги користат лексемите **вѣртоградъ** Л 13:19, Ј 18:1, **двѣрьникъ** Ј 10:3, **цага** Л 21:2, а во овие две евангелија се совпаѓа и распределбата на **олѣи** и **масло**. Во Деч и во Курз на исто место се употребува архаичниот глагол **мѣдити**, **моудити**: **мѣдлитъ** Мт 24:48, **моудитъ** Курз, **моудити** и во Дбј, Дбм, но во Л 12:45, на истото место и во Трнов. Деч со Трнов го споделува и подновувањето **каменица** Мр 14:13.

По извршената лексичка анализа на Деч се открива и неговата разнородност во одделни делови, односно компилативниот карактер на ракописот. Извесни подновувања покажуваат делови од Мт 5-18: **печаль** Мт 13, **право** Мт 8, **старѣшина жрьцьскъ** Мт 8, **сѣвориште** Мт 10, 13, како и делови од Мт 21-26: **заоугра** Мт 21, **писание** Мт 21, **послушествовати** Мт 23, **вѣтороје** Мт 26, **печаль** Мт 24, **сѣвориште** Мт 23, а во нив се наоѓаат и ретките лексеми **отѣвѣга** Мт 5, **пицалникъ** Мт 9, **ширина** Мт 18. Друга секвенца од текстот што одразува понова состојба е Мр 10-15, каде што се присутни дел од ретките лексеми **пѣтѣлъ**, **вбитѣльница**, **каменица**, како и некои варијанти од вторичните преводи: **послушествовати** Мр 14-15, **послушество** Мр 10-14, **сѣвориште** Мр 12, **сѣворъ** Мр 15, **старѣшина жрьцьскъ** Мр 14:10, 14:43, **жрьць** Мр 11:18, преведената форма **главное мѣсто** и сл. Евангелието по Јован во Деч се разликува од останатите три, не е од толку архаична предлошка. Потврда за ова се и некои морфолошки одлики, како комплетно отсуство на асигматскиот аорист и на постариот партицип на претеритот. На лексичко рамниште од синонимните парови во некои случаи се застапени само поновите варијанти, како **право**, **оутѣшитѣлъ**, **печаль**, **патъкъ**, **старѣшина жрьцьскъ**. Од друга страна, само Ј ја користи постарата форма **сѣвѣдѣтельствовати**, **сѣвѣдѣтельство**.

Деч може да се разгледува и во контекст на некои други ракописи. Составен дел на основната христијанска терминологија поврзана со западнословенската средина претставуваат и глаголите **отпустити**, **отѣдати** **грѣхъ** за грчкото *συγχωρεῖν*, *φίεσαι*. Ваква употреба има и во коментарот кон Бон и Пог. Со овие два коментирани псалтири Деч го поврзува и лексемата **ширина**. Некои ретки лексеми забележани во Деч се среќаваат и во архаичните триоди настанати на овие простори: **вѣрѣ ати** Орб, но и Григ; **дръколь** Орб, Хлуд; **драхлъ** Орб; **овитие**, **овитѣлице** Орб, а во Деч **вбитѣльница**; **пицалъ** Бит, Шаф, Орб, Хлуд, а во Деч **пицалникъ**.

Литература

- Алексеев 1999: А.А. Алексеев, *Текстология славянской библии*, Санкт-Петербург 1999.
- Аргировски 2003: М. Аргировски (ред.), *Речник на грчко-црковнословенски лексички паралели*, Скопје 2003.
- Гранстрем 1953: Е.Э. Гранстрем, *Описание русских и славянских пергаменных рукописей*, Ленинград 1953.
- Десподова 1983: В. Десподова, *Македонски писмени споменици во ленинградските библиотеки*, "Македонистика", III, 1983, с. 5-61.
- Десподова, Славева 1988: В. Десподова, Л. Славева, *Македонски средновековни ракописи*, I, Прилеп 1988.
- Десподова 1992: В. Десподова, *Добромирово евангелие. Диференцијален речник*, во: Р. Угринова-Скаловска, В. Десподова, *Добромирово евангелие*, II, Скопје-Прилеп 1992, с. 223-327.
- Десподова 1997: В. Десподова, *Студии за македонската средновековна лексика*, Скопје-Прилеп 1997.
- Жуковская 1984: Л.П. Жуковская (ред.), *Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР*, Москва 1984.
- Коссек 1986: Н. В. Коссек, *Евангелие Кохно*, София 1986.
- Костовска 2003: В. Костовска, *Македонско четвороевангелие*, Скопје 2003.
- Лавров 1915: П.А. Лавров, *Палеографическое обозрение кирилловского письма*, Санкт-Петербург 1915.
- Максимович 2008: К.А. Максимович, *Западнославянское влияние на древнерусский книжно-письменный язык в XI-XIV вв.*, во: *XIV Международный съезд славистов. Письменность, литература и фольклор славянских народов. Охрид, 10-16 сентября 2008 г. Доклады российской делегации*, Москва 2008, с. 102-125.
- Пентковский 2014: А.М., Пентковский, *Славянское богослужение в архиепископии святителя Мефодия, Свети Ѓирило и Методије и словенско писано наслеђе 863-2013*, Београд 2014, с. 25-102.
- Пичхадзе 2016: А. Пичхадзе, *Лексика Мариинского евангелия в свете произведений Климента и Константина и их круга*, "Slavia", LXXV, 2016, 3-4, с. 255-266.

- Поп-Атанасов 2017: Ѓ. Поп-Атанасов, *Словенски ракописи од Македонија во странски ракописни збирки X-XIX век*, Скопје 2017.
- Рибарова 2005: З. Рибарова, *Јазикот на македонските црковнословенски текстови*, Скопје 2005.
- Славова 1989: Т. Славова, *Преславска редакција на Кирило-Методијевиј старобългарски евангелски превод*, “Кирило-Методијевиј студии”, VI, 1989, с. 15-129.
- Славова 2013: Т. Славова, *Остромировото евангелие и Кирило-Методијевиот превод на евангелието*, “Език и литература”, 2013, 1-2, с. 128-136.
- Срезневский 1868: И.И. Срезневский, *Древние славянские памятники юсового письма*, Санкт-Петербург 1868.
- Темчин 1997: С.Ю. Темчин, *Текстологическая история Баницкого евангелия по данным внутренней реконструкции*, “Palaeobulgarica / Старобългаристика”, XXI, 1997, 1, с. 48-62.
- Темчин 1998: С. Ю. Темчин, *Текстологическая история Добромирова евангелия по данным внутренней реконструкции*, “Македонски јазик”, XLV-XLVII, 1994-1996, 1998, с. 81-106.
- Угринова-Скаловска, Десподова 1992: Р. Угринова-Скаловска, В. Десподова, *Добромирово евангелие*, II, Скопје-Прилеп 1992.
- Христова 2005: И. Христова, *Към въпроса за произхода и значението на думата неприпадънъ*, “Acta Palaeoslavica”, II, 2005, с. 161-169.
- Цейтлин 1977: Р.М. Цейтлин, *Лексика старославянского языка*, Москва 1977.
- Цубалевска, Макаријоска 2013: М. Цубалевска, Л. Макаријоска, *Лексиката на коментарот кон Погодиновиот псалтир*, Скопје 2013.
- Sibulka 1956: J. Sibulka, Ἐπιούσιος – надъщъный – *quotidianus* – *vezdejší*, “Slavia”, XXV, 1956, 3, с. 406-415.
- Ribarova 2005: Z. Ribarova, *Uz nekoliko kršćanskih termina u makedonskim crkvenoslavenskim tekstovima*, *Drugi Hercibonjin zbornik*, Zagreb, с. 367-372.
- Vakareliyska 2008: С. M.Vakareliyska, *The Curzon Gospel*, II: *A Linguistic and Textual Introduction*, New York 2008.

Abstract

Emilija Crvenkovska

Lexicon of the Dečani Gospel (RNB, Gil'f. 4)

This paper casts light on the lexicon of the Dečani Gospel, a 13th century Church Slavonic manuscript. Several layers of lexis are discussed. The oldest layer of the archaisms, as well as Graecisms, is the same as that in canonical manuscripts and is partly related to the western tradition. The influence from the vernacular is presented by some rare new words. There is a frequent occurrence of numerous synonyms, older and newer variants, but, on occasions, the older variant prevails in one part of the manuscript, while the newer in the other, which indicates that the manuscript was compiled from different sources. Some parts of the manuscript, such as Mt. 5-18, Mt. 21-26, Mk. 10-15, and Jh., refer to the newer period. In Jh. that fact is supported by grammatical features like the absence of asigmatic aorist, only in that part of Deč.

Keywords

Dečani Gospel; Lexis; Archaisms; Graecisms; Lexical Variants; Innovations.

Ralph Cleminson

Silk in the Slavonic Scriptures

Silk was known in Europe from antiquity, but there was no domestic production until the age of Justinian¹: silk was imported from the East. Consequently, silk is designated in European languages by loan-words, neologisms or resemantisation – in Slavonic, **СВИЛА**, **СИРИКЪ**, **КОПРИНА**, **ШИКЪ** / **СИКЪ**, **ШЬЛКЪ**, **ШИДА**, *hodváb*, etc. The present article examines the Slavonic words for 'silk' in the limited context of the Slavonic version of the Bible.

In Greek, the words for 'silk' reflected the sources from which it was obtained: Procopius, writing in the sixth century A.D., refers to "ἡ μέταξα [...] ἦν πάλαι μὲν Ἑλληνες μηδικὴν ἐκάλουσαν, τανῦν δὲ σηρικὴν ὀνομάζουσιν" (*De bello Persico*, 1.20). In other words, they first obtained it from the Persians, and designated it accordingly (μηδικόν); then, as their commercial activities extended further to the East, and they began to deal with silk-traders among the Seres, a people inhabiting the present-day Punjab (Cleminson 2021), they began to call it σηρικόν. It would appear, though, that by Procopius' time the basic designation was ἡ μέταξα. This is a loan-word. It is first attested in Latin in the second century B.C., before silk was known to the Romans (Marx 1904-1905, I: 81; II: 377), and survives in Italian (as *matassa*), meaning a ball or skein of wool (or indeed of anything else that can be wound up). This meaning already existed in antiquity: Isidore of Seville says "Mataxa quasi metaxa, a circuitu scilicet florum; nam meta circuitus"². If something of this sense persisted in the Greek word, then the oldest Slavonic name for 'silk', **СВИЛА**, could be a calque of μέταξα in the same way as **СВИТОНЕ** is a calque of εἰλητόν (Afanasyeva forthcoming).

The first attested use of the word **СВИЛА** is by John the Exarch of Bulgaria in his *Bogslowie*, at the very end of the text, in a section relating to exempla of the resurrection

¹ By 'silk', here and throughout, we mean the thread produced by the domesticated silkworm, the larva of *Bombyx mori*. Wild silks, produced by the larvae of other moths, were known in Europe much earlier – the *locus classicus* is Aristotle, *Historia animalium* 5.19.6, for an exposition of which see Forbes 1930 – but the two commodities were regarded as distinct from the earliest times.

² *Etymologies* 19.29.6. Though worthless as an etymology, this does indicate how the word was understood. Strictly speaking, a *meta* was one of the markers of the circuit, for example in the hippodrome, which had to be gone round. Since both silken cloth and silken thread were imported into the Graeco-Roman world, it may be surmised that the merchants distinguished the latter as ἡ (σηρικὴ) μέταξα, and that the word eventually acquired the meaning of silk as such.

(ПРИКЛАДИ ВО ВЪСТАНИИ) for which no Greek original is known (though it is manifestly a translation): in the oldest manuscript (Moscow, GIM, Syn. 108, f. 209v), СЪМОТРИ ЧРЪВИ ИЖЕ ИСЕБЕ СВИЛОУ ТОЧИТЬ. This manuscript was written at the end of the twelfth or beginning of the thirteenth century in the East Slavonic area, but it is probable that the word СВИЛА in such a context is a South Slavonicism, reflecting the earlier history of the text.

In the East Slavonic area only we find the word ШЬЛКЪ, which is a borrowing from Old Norse³. Its first attested use is probably in the *Canonical Responses* of John Prodromus, written during his tenure of the metropolitan see of Kiev (1076/7-1089) and presumably translated into Slavonic immediately⁴. The thirty-third of these begins: ОНѢМЪЖЕ АЦЕ ПОДОБАЕТЬ ИЖЕ БОГУ ѠТЛУЧЕНЬЕ ИНѢРѢИЕМЪ ѠБЛАЧИТИСА В РИЗЫ РАЗЛИЧНЫА [*var. add:* и вѣ] ШЕЛКОВЪНА..., as the editors say, “место вообще весьма темное”. It is moreover unfortunate that the Greek text survives only in a very late and abbreviated form, in which this passage is not present, but Pavlov (1873: 20) points out a partial correspondence to the beginning of section 10 of the Greek: Καὶ τοὺς ἱερομένους δὲ σπουδάζειν ἱματίους ἐκ μετάξης, ἢ ἐκ λίνου εἰργασμένοις...⁵

The presence of the word ШЬЛКОВЪ is part of the evidence for an East Slavonic origin for the *Ausgangstext* of the Slavonic Book of Esther, which was “made most probably by a scribe in the western East Slavic lands in the mid-1300s” (Lunt, Taube 1998: 7). It occurs twice, at 1.6, ВОБРЪМЪ И ОУТРИНЪМЪ И ЧРЪВЕМЪ СНИМАНЪНЪ ВЪРЪВМИ ШЬЛКОВЫМИ, И ЛЕПТУГЪ НА ГЛАВАХЪ СРЕБРЕНЫХЪ, and 8.15, where there is something of a reprise of the vocabulary of the former verse, and МАРДЪХАИ ВЫИДЕ Ѡ ЛИЦА ЦАРЕВА ВЪ СВИТѢ ЦАРСТВИ И ВЪ ЧРЪВИ И ВЪ ОУТРИНѢ, И ВѢНЬЦЪ ЗЛАТЪ ВЕЛИКЪ [НА ГЛАВѢ ЕГО], И ОУШВЪВЪ ШЬЛКОВЪ ЛЕПТУЖЪНЪ⁶. The earlier history of this text is highly problematic. It is uncertain when and where it was originally translated, or even from what language: whether from a lost Greek intermediary (Altbauer, Taube 1984) or directly from Hebrew (Lysén 2001). The question remains open (Pereswetoff-Morath 2002: 71-79), but further arguments in support of a Greek intermediary have been advanced by Kulik (2008: 58-62). If the original was Hebrew, the word here translated as ШЬЛКОВЪ was *buts* (בִּטּוּס), and if Greek, βύσσινος, neither of which means ‘silk’, but rather ‘fine linen’.

³ Vasmer 1987, IV:423-424. The unfounded conjecture found in some older etymological dictionaries of the Scandinavian languages that the Norse word is a borrowing from Slavonic has evidently been abandoned in more recent scholarship. Whereas *s* > *š* in Slavonic borrowings from Old Norse is well attested (Sobolevskij 1910: 186-187), *š* > *s* in Nordic borrowings from Slavonic is improbable.

⁴ Edited in Pavlov 1880: 1-20; the base text is from GIM, Čud. 4 (*Varsonof'evskaja kormčaja*), written at the end of the fourteenth century.

⁵ Pavlov 1873: 11. The gist of both passages is the same: that priests must wear the prescribed clothing when performing their priestly duties, but at other times some latitude is permitted in accordance with the customs of the country.

⁶ As edited in Lunt, Taube 1998: 24, 46.

The Greek word βύσσοϛ (and the corresponding adjective βύσσινος) is used in the Septuagint to translate not only *buts*, but also *bad* (בד; but this may also be translated as λίνον or left untranslated) and *shesh* (שׁשׁ; particularly frequent in the book of Exodus). All of these words refer to linen of high quality, and this is the correct meaning of βύσσοϛ, which is a Semitic loan-word in Greek. The word itself is well established⁷, but its precise meaning does not seem to have been widely familiar in the Greek-speaking world: it appears to have suggested the quality of the fabric rather than its material⁸. This leads to a confusion with the other luxury fabric of ancient and mediaeval Europe, silk. This confusion, which is endemic to the entire continent, is seen even in the Vulgate, where the distribution of *bys-sus/byssinus* (allowing for the occasional divergences between the texts) is almost the same as in the Septuagint: but at Esther 8.15 the word is *sericum*. Up to early modern times “the word was to English writers often a mere name to which they attached no certain meaning, except that of fineness and value” (*OED*, s.v. *byss*¹). In Slavonic, βύσσοϛ is translated as БУССЪ or БУССОНЪ, suggesting that it was not identified with any known material; evidence of the same confusion is found in East Slavonic where БУССЪ is glossed as ШИДА (Sreznevskij 1893-1912: 1592-1593), another word for ‘silk’, borrowed from German or Swedish⁹.

The only place in the Bible where silk really is mentioned is in the Apocalypse (18.12). The early history of this book in Slavonic is almost as obscure as that of the Book of Esther. The earliest manuscripts (*NI* and possibly *Rum*) date from the fourteenth century; the vast majority are East Slavonic¹⁰. All either contain the commentary of Andrew of Caesarea or show signs of being descended from manuscripts which contained it. Obviously the commentated text is not Methodian (since in translating the whole Bible one would not translate a commentary for one book only), but it is uncertain whether it represents an independent, later translation, or the translation by Methodius (which, on the testimony of the *Vita Methodii*, must be assumed to have existed) to which commentary was subsequently added; in the latter case some revision to the text would typically have taken place at the same time.

The relevant passage¹¹, as written in an early manuscript, *Rum*, which has often been taken as typical of that redaction found in most Slavonic manuscripts of the Apocalypse (the ‘majority text’) reads:

⁷ The adjective βύσσινος is found in the tragedians and in Herodotus.

⁸ The modern application of the word *bys-sus* to the threads produced by the mollusc *Pinna nobilis* may be seen as the culmination of this semantic process; they were not so named in antiquity (see Jaroszyński, Kotłowska 2013).

⁹ Similarly, ШЬЛКОВЪ in the Slavonic Esther may suggest an underlying βύσσοϛ, and thus a Greek original.

¹⁰ For the purposes of this article we shall disregard the later manuscripts (after c. 1500), and also the cycles of illustrations which they contain.

¹¹ The sections are those of the commentated manuscripts, and may be numbered 229-230 or 227-228 in the Slavonic tradition. They do not correspond exactly to the modern division into chap-

сѣдъ И купци земьстни възрѣдѣють и въз | сплѣчють са о неи. ꙗко времени и | хъ никто-
же купчють ктомуꙗ. вре | мени златна и сребрена. и камен | ѣа драга. и бисера. и вусаа.
и перфирзи. | и шика · и червлени. (Ⓣ) Иже в си | лѣ и въз пици тлѣють. излиха кестъ |
вси хъ купла и имѣнии ꙗ | ѣа И всакого дрѣва финьна. и всакого | сѣсудѣ слонова. и
всакого сѣсудѣ | ѿ камени. и мѣдѣна и желѣзна | и мрамора. и корица. и амона. и |
фгмиана. и мурѣ и ливана. и ви | на и волѣа. и сѣмени. и пшеница | и ксота и ввель.

The corresponding Greek text reads:

καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς κλαύσουσι καὶ πενθήσουσιν ἐπ’ αὐτῇ, ὅτι τὸν γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι, γόμον χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ λίθου τιμίου καὶ μαργαρίτου καὶ βύσσου καὶ πορφύρας καὶ σηρικῆς καὶ κοκκίνου. Τῶν γὰρ ἐν δυναστείᾳ καὶ τρυφῇ φθειρομένων περιττῆ ἢ τούτων ὠνῆ καὶ κατάχρησις, καὶ πᾶν ξύλον θύϊνον καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ λίθου τιμιωτάτου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ μαρμάρου, καὶ κινάμωμον καὶ ἄμωμον καὶ θυμιάματα καὶ μύρον καὶ λίβανον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ σεμίδαλιν καὶ σίτον καὶ κτήνη καὶ πρόβατα¹².

There are a number of variants in the Slavonic version of this passage that allow the manuscripts to be grouped – not something that one would normally do on the basis of such a small portion of text, but since the results agree with those of more comprehensive text-critical studies of the book (Alekseev, Lichačeva 1987; Grünberg 1996; Trifonova 2016) they may be taken as valid. In the majority text (corresponding to Grünberg’s families *d* and *e*, which do not differ at this point; for the purposes of the present study, *NI Rogii Rum TSL6 TSL120 TSL121 TSL122 Vol*)¹³ σηρικῆς is translated, not with any of the known Slavonic words for ‘silk’, but by a *hapax legomenon*. Along with сѣмене дѣла (сѣмене *Rogii Rum TSL122*), it is one of the distinctive readings of this text-type, presenting in two forms, шика *Rum TSL120 TSL121 TSL122* and сика *NI TSL6 Vol*).

This may be compared with the text of the Bosnian group of manuscripts (family *a*), the closest of the other types to the majority text and, though without commentary, long recognised as having been extrapolated from the commented text:

И кѣпци земьлни възрѣдѣють и възплачѣтъ се о неи, ꙗко врѣмене ихъ никтоже не кѣпитъ къ томѣ. врѣмене злата и сребрна и каменитѣ драгаго и бисера и висона и

ters and verses, in the present case including verses 11 and 12 and most of verse 13 of the eighteenth chapter. Here and elsewhere diacritics are not reproduced.

¹² Schmid 1955-1956: I, 197. The reading κλαύσουσι καὶ πενθήσουσιν ἐπ’ αὐτῇ, which underlies the Slavonic, is from the variants in the apparatus, as is λίθου: Schmid’s paradosis reads κλαίουσι καὶ πενθοῦσιν ἐφ’ ἑαυτοῦς and ξύλου respectively. The reading σηρικῆς of many modern editions stems from Westcott and Hort’s editorial preference for ‘unclassical’ spellings (Westcott, Hort 1882: introduction, 302-308, appendix, 151), which in the present instance is, to say the least, arbitrary.

¹³ The reader should bear in mind that this article was written in time of pestilence, so that access to sources, both primary and secondary, has been limited.

поръфиры и сирика и чрвлениѣ и всакаго дрѣва тинова и всакаго сьсѣда слонова и всакаго сьсѣда ѿ каменнѣ драга и мѣдена и желѣзна. и корице и дмона и тьмиѣна и хризми и ливана и вина и олѣѣ и семидала и пшенице и скота и овецъ.

Here we find that the word, like some of the other obscurer commodities in this list, remains untranslated. This is also true of another significant group of Russian manuscripts (family *b*, which besides *Q*, the text of which is given here, also includes *Čud TSL710 Und*):

[mg.: сѣз] И коупци земнии вздрьдають | и всплачють по неи. ꙗко бре|мени ихъ никтоже коупоу | етъ не еше времени злата и | серебра. и камени драгаго и | бисера и виса. и перфиры и | сирика и чрвлени. — сѣи. | И всакого дрѣва виннаго. и вса|кого соуда слонова. и всако|го соуда ѿ дрѣва драгаго и мѣ|дана и желѣзна и мраморна | и киннамому и финидама | и моура и ливана. и олѣа. и | семидала. и пшеница. и о|вецъ. и скота.

Q is unusual in that the commentary is given separately (on ff. 41v-125) from the text (on ff. 1v-39), but paragraphs are numbered in each, so that the two can be correlated. This is evidently the first step in the extrapolation of the biblical text from the commentated version. The other manuscripts in this group have no commentary. Some of the variants (ѿ дрѣва драгаго, omission of и дмона and и вина, and transposed ОВЕЦЬ и СКОТА) also occur in the Greek tradition, and indicate (as does the hyperliteral не еше, οὐκ ἔτι) that the text of this group has been heavily revised against a Greek text that differed from the original *Vorlage*; it is not, however, an independent translation (Grünberg 1996: 66-71). It has been suggested that the revision was a very early one (Aleksiev, Lichačeva 1987: 14 – “напоминает редактуру [...] проведенную в Болгарии в X в.”), in which case the reading сирика here and in *Bosn* is evidently primary, continuing the text as it was before the appearance of the distinctive variants of the archetype of the majority text (a corollary of this is that the *Čudov* New Testament is not a single translation, and the Apocalypse therein has a different origin from the Gospels and the Apostolos)¹⁴.

There is some mixing between this text-type and the majority text. *TSL119* is a majority-text manuscript that has been corrected against a text of the *Q* type; *MDA27* again contains basically the majority text, but with the *Q* readings сири | ка, виннаго and семидала; *VMČ* and the closely related *TSL83* have double readings such as корица. и киниѣмомѣ. This suggests that the corrector of *TSL119* and the scribe of *MDA27*, at least, regarded the *Q* text as superior.

A further group which evidently arose comparatively early is that represented by *RogI* and *Sol* (both with commentary: family *c*). The manuscripts are Russian, but a South Slavonic origin for the group is implied both by the spellings тѹинна and темьѣна, and by its affinity with *Vid*, which shares some distinctive readings. *Vid* is the only one of the

¹⁴ Grünberg regards *Čud* as the manuscript furthest from the archetype of family *b* (Grünberg 1998: xiv).

‘northern’ group of glagolitic breviaries that contains the relevant passage (Jurić-Kappel 2004: 185). Although compiled on a Latin model, these breviaries used existing Slavonic translations from Greek where available, with hardly any revision; the ‘southern’ group, by contrast, were revised (progressively) against the Latin text (Stankovska 2006: 211-212). That the same translation in different redactions appears in *Vid* and in the cyrillic Apocalypses is further evidence for its antiquity. The passage in *Rogi* and *Vid* reads:

Купци земнии възъзрѣдають. и възъсплачють са ѿ неѣ | тако и брѣмѣ ихъ | никтоже не купуѣ | етъ ктому. брѣме | ни злата и сребре | на и каменна | драга и бисера и ву | са. и порфурѣ. и су | рика. и чрвлениѣ ÷ | сѣказъ ÷ | Иже в силѣ и пици и | тлѣють. излиха | етъ вси хъ купъ | ли и имѣниѣ ÷ | И всего дрѣва тунна. | и всего ссуда слоно | ва. и всего ссуда ѿ | каменѣ драга. и | мѣдана и желѣзъ | на и мраморена. | и скорѣца. и амолъ || и темѣана и кри | жмы. и ливана и | вина олѣѣа · и сѣми | дални. и пшеници | и ѿвѣць:

I kupci zemaľsci vzridaũt' i vsplačut se o nem' êko brêmene ih' niktože ne kupuet' k tomu. brêmene zlata i srebra i kameniê dragago. i bisera i visina. i por'pori i sirika i čr'vlena. i vsъkogo drêva tain'na i vsъkogo slonova. i vъkogo sъsuda do kamene draga. i mêdena i želêzna i skorice i amom'. i tьm'êna i krizmu i livana i vina. i masla. i semidala. i pšenice skota i овъс'.

The reading *сурѣца* is an error, for *сѣриксъ* is minium (Pb₃O₄), perhaps more likely to be part of a scribe's vocabulary than *сѣриксъ*, and a plausible item of Babylonian trade, so not necessarily a reflexion of the *συρικὸν* found in some Greek manuscripts. (It is also found in the majority-text *Rogii*, either spontaneously or by contamination.) The confusion had been prevalent since ancient times: “Aliud est autem sericum, aliud syricum. Nam sericum lana est quam Seres mittunt; syricum vero pigmentum quod Syrii Phoenices in Rubri maris litoribus colligunt” (Isidore of Seville, *Etymologies* 19.17.6). Perhaps more interesting is the reading *крижмы* / *krizmu* (similarly *хризми* *Bosn*). This is the regular translation of *μύρον* in the glagolitic tradition (Šafařík 1858: 35), occurring only sporadically in cyrillic manuscripts, which usually have *μυρο*. More extensive study would be required to determine whether this represents a survival from a very early state of the text or is the result of an interpenetration of traditions in the Western Balkans.

In favour of the latter hypothesis are the similar affinities visible between the un-commentated ‘calendrical redaction’ of the Slavonic Apocalypse, here represented by *Drag*¹⁵, and *2Ber*:

И коупци | земниѣ възплачѣтса ѿ неѣ. тако еже | носимъ нѣ ктомѣ коупѣж. еже но | сѣ злато и сребро. и каменѣ драго и би | сер. и висъ и багрѣвницѣ. и сѣриксъ. | и кокино. и възсѣво дрѣво лѣво. и вѣ | сѣжъ красна дрѣва. и мѣ и желѣзо. и | мармаръ. и куминь. и димѣань. и | мурѣ. и ливанѣ и вина. и след. и сми | даль. и пшеницѣ и ѿвѣца и сѣвѣтъ.

¹⁵ Four other manuscripts of this group are listed by Ivanova (2016: 494-495), to which should be added a fifth described by Iufu (1963: 456, № 18).

kupe'ci z(e)m(a)lni vsi | vsplačutъ o nei êk(o) eže ni|samъ nestъ kto kupe zla|to ili srebro kamenie drago. | i biser' suk'ne bagrenice i s|uk' i kokin' i vsakoe drevo kr|as'noe. medъ i železo mram|or' i kumiěmъ i tьm'ěnъ muro | i livanъ vino i olěi smid|alъ i pšenice skotъ

Both have a defective text (*zBer* with a more serious lacuna), with shared omissions, and both have lexical changes, in one case introducing a Greek word (conceivably via Latin, cfr. *kokcina*, 1493), elsewhere apparently updating the vocabulary in line with changing norms (ЕЖЕ НОСИМЪ, suk'ne, БАГРЪНИЦЪ). The latter phenomenon is typical of the development of the glagolitic text, and is taken further (though not on the basis of the text represented by *zBer*) in *Mosk* and 1493, for example *masti* for *muro* and *melkie muki* for *smidalъ*.

It appears, therefore, that the prototype of the Slavonic version of the Apocalypse did not translate the word for 'silk', but retained the Greek word, along with others in this list for wares unfamiliar to the Slavs. Either Methodius could find no Slavonic word for it in Moravia, or a later generation did not recognise the obsolete σηρικόν as a synonym for μέταξα. Nor did copyists realise that *сирикъ* was the same as *свила* or *шьлакъ*. The word was not in their active vocabulary, and was thus easily distorted to *сикъ* (by simple omission – cfr. *сѣтъ* [*suk'*] *zBer*), and thence to *шикъ*. The latter change is due to the neutralisation of /s/ and /š/ in Old Pskov dialects (Zaliznjak 2004: 52, Sobolevskij 1884: 118-143, 149-150)¹⁶. Its persistence in manuscripts otherwise free of this feature is explained by the fact that scribes copying from such an exemplar could normally correct from their knowledge of the norm – except for a word that occurred nowhere else. Its meaning remained mysterious to readers and copyists of the Slavonic Apocalypse; it is only late in the transmission of the glagolitic version, in 1493, that it is replaced by a contemporary word with the correct meaning: *dubalja*.

There is one partial exception to this, in the oldest Serbian manuscript, *H474*, without commentary but descended from a commentated protograph:

И коупци | зем[л]ни възрыдають и възплачуютсе w нии. ѣко брѣ|мене ихъ никтоже кстоуоу коупитъ. брѣмене златна | и сребрна. и каменна драгдаго. и бысера. и вусса · и по|рфиры. и чръвалена и жьлта. и всакого дрѣва финна. | и всакого съсоуда слонива · и всакого съсоуда ѿ каменѣа | и мѣдна. и желѣзна. и мрамора. корыце. и алмѣна | и фумѣна. и мѣра. вина и масла. смидала и пше|нице. и скота и овць ·

This is notable for the East Slavonic spellings *финна* and *фумѣна* (against which, however, compare on f. 366v *тиадѣр|скыѣ* 2:18; the remaining spellings are “neutral”, e.g. *дѣатирѣ* 2:24, *думѣна* 8:3, 4), which suggest that the “македонизми” (i.e. *o < ъ*, *e < ъ*, Grković-Major 2000: 314) might actually be East Slavonic forms too, and raise the

¹⁶ Oller (1993: 579) identifies *сикъ* as a South Slavonic form, but this is due to a misunderstanding. Sobolevskij, whom he cites, does indeed include it in a list of “типичные южнославяннизмы” (Sobolevskij 1910: 184), but this is in the context of the *Hilandar Typicon*, where silk is not mentioned: it is the pronoun *сикъ* that is meant.

possibility that this redaction belongs to the body of East Slavonic texts copied in fourteenth-century Serbia (Miklas 1988). The translation of κοκκίνου as ЖЛЪТА is inexplicable. It cannot simply be that, ΥΡΒΛΙΕΝΑ having already been used, another colour was required, for at 18:16, where there is no such motivation, περιβεβλημένη βύσσινον και πορφυρούν και κόκκινον becomes УВЛЪЧЕНІИ ВЪ ПОРФІРОУ || И ВУССОНЪ И ВЪ ЖЛЪТАІА (however, on f. 375, at 17:3, 4 we find the expected ΥΡΒΛΙΕΝЪ).

And why is σηρικου translated as ΥΡΒΛΙΕΝΑ? This at least is not wholly isolated. Silk is not often mentioned in the earliest Slavonic texts, but there are two passages of Byzantine canon law which refer to it and which were translated very early. These are Canon 45 of the Council in Trullo and Canon 16 of the Second Council of Nicaea. Both are quoted in the *Sylloge of XIV Titles*, which was translated in the First Bulgarian Kingdom (Naydenova 2005-2006: 240 and the literature cited there) and is represented in the oldest Slavonic legal text, the *Efremovskaja Kormčaja* (GIM, Syn. 227). The latter is also quoted in chapter 37 of the *Pandects* of Nikon of the Black Mount, of which there were two translations, the first made in the eleventh/twelfth century and the second, of which there is also a 'Euthymian' redaction, in the thirteenth/fourteenth (Bogdanova, Lukanova 2009: 358)¹⁷. It also mentions silk in chapter 23, in what is evidently Nikon's own text. The origin of the first translation is a matter of unresolved debate, but it is undisputed that the earliest witnesses belong to an East Slavonic recension; among the evidence cited for this is the lexeme ШЪЛКЪ in ch. 23 (Sreznevskij 1874: 296)¹⁸. The relevant phrases¹⁹ are:

- Trull. 45 σηρικαῖς καὶ ἑτέραις παντοίαις στολαῖς
 ВЪ УРВЛІЕНАХЪ И ИНѢХЪ ВСАУРЪСКЪИИХЪ РИΖΑΧЪ
- II Nic. 16 οὐδὲ ἐκ σηρικῶν ὑφασμάτων πεποικιλμένην ἐσθήτα ἐνεδέδυτό τις
 ИИ Ѡ УРВЛІЕНАДГО СВИЛІНА ПОПЪСТРЕНОЮ РИΖЮ ДА НЕ ОДЪВАЕТЕЪ СА КЪТО
 (= Pand. 37) ИИ Ѡ СВИЛНА ТКАНЫА ОБЛАЧАШЕ СА КЪТО
- Pand. 23 εἶτε ἀργυροῦν, ἢ χρυσοῦν, ἢ ἐν σηρικοῖς ὑφάσμασι κατασκευασμένον
 ЛИ СРЪВРЪЗМЪ ЛИ ЗЛАТЪЗМЪ СЪ ШЕЛКЪЗМЪ²⁰ ТЪКАНОІЕ ОУСТРОІЕНО

Elsewhere the old confusion of fabrics recurs, for βύσσος too is sporadically translated as ΥΡΒΕΝΑ/ΥΡΒΕΝΙЦА in early texts (Jagić 1913: 305). The reading of H474 is thus not a chance aberration, but a regular, if uncommon, rendering of σηρικός. The clue to the mys-

¹⁷ The second translation need not be considered here, as it consistently reads *съръскъ*, implying that the original read (or was read as) *συρικός*.

¹⁸ Sreznevskij also finds the word in ch. 49, quoting St John Chrysostom's Homily 72 on Matthew, but here it appears to translate *κρόκη*. At this point the Euthymian redaction reads *СВИЛЪНЪ*.

¹⁹ Quoted from Benešević 1906: 175, 222 and Maksimovič 1998: 217, 308.

²⁰ The Serbian manuscripts RNB, F.п.1.121 and Q.п.1.27 read *висерѡмъ*, but the readings of the Serbian redaction are generally inferior (Pičhadze 2006: 60).

tery is probably to be found in II Nic. 16: a scribe unacquainted with the origin of silk could easily copy *УРЪВИНА СВИЛА as УРЪВЕНА СВИЛА, thus inadvertently creating a new synonym.

It appears from the above that for the translators, copyists and readers of the Slavonic Bible there was a general lack of comprehension where silk was concerned. In the book of Esther, and in glosses elsewhere, we observe a confusion with βύσσοϛ / ВУССЪ / ВУССОНЪ that extends beyond the Slavonic Scriptures and indeed far beyond the Slavonic cultural sphere. In the Apocalypse silk is equally unrecognised. For the Slavonic translators the word presented a problem either in understanding the sources or in finding an adequate translation. The Greek word was thus left untranslated, as СИРИКЪ, and as such it does not seem to have conveyed very much to the reader, particularly at its one scriptural occurrence in a list including a number of obscure and untranslatable commodities. This left it open to textual corruption, and indeed it is the corrupt form ШИКА that is found in the majority of manuscripts. Though only the most highly educated readers could have had any idea of what it meant, it proved highly resilient, persisting in the Ostrog Bible and in the 1663 Moscow edition; only in the Elizabethan Bible of 1751 does the vernacular (but comprehensible) ШЕЛКА finally triumph.

Literature

PRIMARY SOURCES

H474 was consulted in a digital copy supplied by the Hilandar Research Library at The Ohio State University by kind permission of the monks of the holy Monastery of Hilandar. *Drag* was consulted in a digital copy kindly provided by Professor Anissava Miltenova. Otherwise, where no edition is indicated, the manuscripts were consulted online at the websites of their respective libraries. The point in the source where the relevant passage occurs is indicated in each case.

<i>Bosn</i>	Reconstructed archetype in Grünberg 1999: 128, 130
<i>Čud</i>	Čudov NT, f. 156v (edited in Leontij 1892)
<i>Drag</i>	Dragomirna, MS 1828, f.73v
<i>H474</i>	Hilandar, MS 474, f. 376
<i>MDA27</i>	RGB, f. 173/I (sobr. MDA), № 27, f. 393
<i>Mosk</i>	RGB, f. 270/II (sobr. P.I. Sevast'janova), № 51a, f. 132a-b
<i>NI</i>	BAN, Nikol'sk. 1, f. 82 (edited in Oller 1993: 235)
<i>Q</i>	RNB, Q.п.1.6, f. 30
<i>RogI</i>	RGB, f. 247 (sobr. Rogožskogo kladbišča), № 1, f. 127c-d
<i>RogII</i>	RGB, f. 247 (sobr. Rogožskogo kladbišča), № 11, ff. 111v–112
<i>Rum</i>	RGB, f. 256 (sobr. gr. Rumjanceva), № 8, f. 75v

<i>Sol</i>	RNB, Sol. 1049/1158, f. 68
<i>TSL6</i>	RGB, f. 304/1 (sobr. Troice-Sergievoj Lavry), № 6, f. 87
<i>TSL83</i>	RGB, f. 304/1 (sobr. Troice-Sergievoj Lavry), № 83, f. 41v
<i>TSL119</i>	RGB, f. 304/1 (sobr. Troice-Sergievoj Lavry), № 119, f. 63c
<i>TSL120</i>	RGB, f. 304/1 (sobr. Troice-Sergievoj Lavry), № 120, f. 57v
<i>TSL121</i>	RGB, f. 304/1 (sobr. Troice-Sergievoj Lavry), № 121, f. 64v
<i>TSL122</i>	RGB, f. 304/1 (sobr. Troice-Sergievoj Lavry), № 122, f. 82v
<i>TSL710</i>	RGB, f. 304/1 (sobr. Troice-Sergievoj Lavry), № 710, f. 164
<i>Und</i>	RGB, f. 310 (sobr. Undol'skogo), № 1, f. 439
<i>Vid</i>	ÖNB, Cod. slav. 3 (<i>Brevijar Vida Omišljanina</i> , 1396, edited in Berčić 1866: 131)
<i>VMČ</i>	<i>Velikie Minei Četii, sobrannye userossijskim mitropolitom Makariem: sentjabr', dni 25-30</i> , Sankt-Peterburg 1883, col. 1770
<i>Vol</i>	RGB, f. 113 (sobr. Iosifo-Volockogo monastyrja), № 641, f. 103
<i>1493</i>	Blaž Baromić, <i>Breviary</i> , 1493, f. 217b-c
<i>2Ber</i>	Ljubljana, Narodne in univerzitetne knjižnice, MS 163, f. 178c (from the facsimile edition: Mihaljević 2018)

WORKS CITED

- Afanasyeva forthcoming: T. Afanasyeva, *Slavonic Commentaries on the Liturgy: Symbols and Church Usage*, in: Á. Kriza (ed.), *Enigma in Medieval Russian and Church Slavonic Cultures*, Berlin-Boston forthcoming.
- Alekseev, Lichačeva 1987: A.A. Alekseev, O.P. Lichačeva, *K tekstologičeskoj istorii drevneslavjanskogo Apokalipsisa*, in: M.V. Kukuškina (red.), *Materialy i soobščeniya po fondam Otdela rukopisej i redkoj knigi 1985*, Leningrad 1987, pp. 8-22.
- Altbauer, Taube 1984: M. Altbauer, M. Taube, *The Slavonic Book of Esther: When, Where, and from What Language was it Translated?*, "Harvard Ukrainian Studies", VIII, 1984, 3-4, pp. 304-320.
- Benešević 1906: V.N. Benešević, *Drevneslavjanskaja kormčaja XIV titulov bez tolkovanij*, I, Sankt-Peterburg 1906.
- Berčić 1866: I. Berčić, *Ulomci svetoga pisma obojega uvjeta staroslovenskim jezikom*, v, u Zlatnom Pragu 1866.
- Bogdanova, Lukanova 2009: S. Bogdanova, E. Lukanova, *Kām izsledvaneto na ruskata recenzija na srednobālgarskija prevod na 'Pandektite' na Nikon Černogorec*, "Tārnovska knižovna škola", IX, 2009, pp. 358-380.

- Cleminson 2021: R.M. Cleminson, *The Place Where Nobody Went: Where (and What) was Serica?*, in: J.M. Hartley, D.J.B. Shaw (eds.), *Magic, Texts and Travel. Homage to a Scholar, Will Ryan*, London 2021, pp. 135-158.
- Forbes 1930: W.T.M. Forbes, *The Silkworm of Aristotle*, "Classical Philology", xxv, 1930, pp. 22-26.
- Grković-Major 2000: J. Grković-Major [Mejdžor], *Hilandarska Apokalipsa Jovana Bogoslova (Hil. 474)*, "Južnoslovenski filolog", lvi, 2000, pp. 311-320.
- Grünberg 1996: K. Grünberg, *Die kirchenslavische Überlieferung der Johannes-Apokalypse*, Frankfurt et al. 1996 (= Heidelberger Publikationen zur Slavistik, A. Linguistische Reihe, 9).
- Grünberg 1999: K. Grünberg, *Die Apokalypse: Edition zweier Hyparchetypi*, Salzburg 1999 (= Die Slawischen Sprachen, 59).
- Iufu 1963: I. Iufu, *Manuscrise slave în bibliotecile din Transilvania și Banat*, "Romanoslavica", VIII, 1963, pp. 451-467.
- Ivanova 2016: K. Ivanova, *Canonical and Apocryphal Texts from the Bible in Balkan Calendrical Miscellanies*, in: A. Kulik et al. (eds.), *The Bible in Slavic Tradition*, Leiden-Boston, 2016, pp. 483-508.
- Jaroszyński, Kotłowska 2013: A. Jaroszyński, A. Kotłowska, *Eparchikon biblion V, 2: Is Thalassai the Same as Byssos?*, "Studia Ceranea", III, 2013, pp. 39-46.
- Jagić 1913: V. Jagić, *Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache*, Berlin 1913.
- Jurić-Kappel 2004: J. Jurić-Kappel, *Hrvatskoglagoljske apokalipse*, in: M.-A. Dürriegl, M. Mihaljević, F. Velčić (eds.), *Glagoljica i hrvatski glagolizam*, Zagreb-Krk 2004, pp. 183-190.
- Kulik 2008: A. Kulik, *Judeo-Greek Legacy in Medieval Rus'*, "Viator", xxxix, 2008, 1, pp. 51-64.
- Leontij 1892: Leontij, mitropolit Moskovskij (red.), *Novyj Zavet Gospoda Našego Iisusa Christa. Trud svjatitelja Alekseja, mitropolita Moskovskogo*, Moskva 1892.
- Lunt, Taube 1998: H.G. Lunt, M. Taube, *The Slavonic Book of Esther: Text, Lexicon, Linguistic Analysis, Problems of Translation*, Cambridge (MA) 1998.
- Lysén 2001: I. Lysén [Ljusen], *Kniga Esfir'. K istorii pervogo slavjanskogo perevoda*, Uppsala 2001 (= Studia Slavica Upsaliensia, 41).
- Maksimovič 1998: K.A. Maksimovič, *Pandekty Nikona Černogorca v drevnerusskom perevode XII veka (juridičeskie teksty)*, Moskva 1998.
- Marx 1904-1905: F. Marx, *C. Lucilii Carminum Reliquiae*, Lipsiae 1904-1905.
- Mihaljević 2018: M. Mihaljević (prired.), *Drugi Beramski Brevijar: hrvatskoglagoljski rukopis 15. stoljeća*, Zagreb 2018.

- Miklas 1988: H. Miklas, *Kyryllomethodianisches und nachkyryllomethodianisches Erbe im ersten ostslavischen Einfluß auf die südslavische Literatur*, in: K. Trost, E. Völkl, E. Wedel (Hrsg.), *Symposium Methodianum*, Neuried 1988, pp. 437-471.
- Naydenova 2005-2006: D. Naydenova, *Die byzantinische Gesetze und ihre slavische Übersetzung im Ersten Bulgarischen Reich*, "Scripta & e-Scripta", III-IV, 2005-2006, pp. 239-252.
- Oller 1993: T.H. Oller, *The Nikol'skij Apocalypse Codex and its place in the textual history of medieval Slavic apocalypse manuscripts*, unpublished PhD thesis, Brown University 1993.
- Pavlov 1873: A.S. Pavlov, *Otryvki grečeskogo teksta Kanoničeskich otvetov russkogo mitropolita Ioanna II*, Sankt-Peterburg 1873 (= Priloženie k XXII tomu Zapisok imp. Akademii nauk, 5).
- Pavlov 1880: [A.S. Pavlov (sost.)], *Pamjatniki drevne-russkogo kanoničeskogo prava*, I. *Pamjatniki XI-XV v.*, Sankt-Peterburg 1880 (= Russkaja istoričeskaja biblioteka, 6).
- Pereswetoff-Morath 2002: A. Pereswetoff-Morath, *A Grin without a Cat*, II. *Jews and Christians in Medieval Russia. Assessing the Sources*, Lund 2002.
- Pičhadze 2006: A.A. Pičhadze, *K tekstologii drevnejšego slavjanskogo perevoda Pandekt Nikona Černogorca*, in: A.M. Moldovan, A.A. Pletneva (red.), *Lingvističeskoe istočnikovedenie i istorija russkogo jazyka (2004-2005)*, Moskva 2006, pp. 59-84.
- Šafařík 1858: P.J. Šafařík, *Über den Ursprung und die Heimat des Glagolitismus*, Prag 1858.
- Schmid 1955-1956: J. Schmid, *Studien zur Geschichte des griechischen Apokalypse-Textes*, München 1955-1956.
- Sobolevskij 1884: A.I. Sobolevskij, *Očerki iz istorii russkogo jazyka*, Kiev 1884.
- Sobolevskij 1910: A.I. Sobolevskij, *Materialy i issledovanija v oblasti slavjanskoi filologii i archeologii*, Sankt-Peterburg 1910 (= SbORJaS, 88/3)
- Sreznevskij 1874: I.I. Sreznevskij, *Svedenija i zametki o maloizvestnyh i neizvestnyh pamjatnikach*, Sankt-Peterburg 1874 (= Priloženie k XXIV tomu Zapisok imp. Akademii nauk, 4).
- Sreznevskij 1893-1912: I.I. Sreznevskij, *Materialy dlja slovarja drevne-russkogo jazyka po piš'mennym pamjatnikam*, Sankt-Peterburg 1893-1912.
- Stankovska 2006: P. Stankovska, *Dvojí překlady v chorvatskohlaholských středověkých památkách*, v: L. Taseva et al. (red.), *Mnogokratnité prevodi v Južno-slavjanskoto srednovekovie*, Sofija 2006, pp. 211-220.
- Trifonova 2016: I. Trifonova, *Otkrovenie sv. Ioanna Bogoslova sredi pravoslavnyh slavjan i v južnoslavjanskoi piš'mennosti*, "Studia Ceranea", VI, 2016, pp. 177-204.

- Vasmer 1986-1987: M. Vasmer [Fasmer], *Étimologičeskij slovar' russkogo jazyka*, Moskva 1986-1987.
- Westcott, Hort 1882: B.F. Westcott, F.J.A. Hort, *The New Testament in the Original Greek: Introduction and Appendix*, New York 1882.
- Zaliznjak 2004: A.A. Zaliznjak, *Drevnenovgorodskij dialekt*, Moskva 2004².

Abstract

Ralph Cleminson
Silk in the Slavonic Scriptures

Silk, as an imported commodity in Europe, is designated either by loan-words or neologisms in European languages. There are several of these in Slavonic languages, notably *свила* in South Slavonic and *шѣлкѣ* in East Slavonic. The use of the latter on two occasions in the Slavonic Book of Esther is part of the evidence for the East Slavonic origin of the *Ausgangstext* of this book. However, the word that it renders, either *γῆβ* or *βύσσος*, does not mean 'silk', but 'linen' (although confusion between *βύσσος* and silk appears to be endemic throughout mediaeval Europe). On the one occasion on which silk really is mentioned in the Bible (Revelation 18:12), none of the established Slavonic words for silk is used, but, in most manuscripts, the *hapaχ legomenon* *шикѣ* or *сикѣ*, evidently a corruption of *сирикѣ* for *σηρικόν*, left untranslated. The occasional substitution of *чръвлень* further complicates the picture of how the word was, or was not, understood.

Keywords

Silk; Church Slavonic; Book of Esther; Revelation.

Веселка Желязкова

Сложните думи в гръцкия текст на Книга Изход и техните старобългарски съответствия

Интересът към предаването на гръцките композити в средновековните славянски преводи възниква още в края на XIX в. (Jagić 1898), но особено се засилва след появата на монографията на К. Шуман (Schumann 1958). Като съпоставя думи от езика-източник и езика-реципиент, ученият предлага класификация на старобългарските калки в зависимост от характера на предполагаемото влияние на гръцката дума или израз върху създаването на нова славянска дума или израз, методика приета и от следващите изследователи¹. Силен тласък за изучаването на сложните думи в преводни и оригинални средновековни славянски творби дават монографиите на Р.М. Цейтлин (1977, 1986). В повечето случаи в центъра на вниманието на палеославистите стои описанието на словообразователните модели и класификацията на двукоренните думи в славянските текстове в съпоставка с гръцкия оригинал. Случаите, когато на гръцките композити съответстват еднокоренни думи и словосъчетания, се разглеждат значително по-рядко (Ефимова 2019: 124-138).

В настоящата статия е поставен въпросът за предаването на гръцките композити в старобългарския небогослужебен (пълен, чети) превод на Книга Изход. Целта е не само да бъде описана важна част от лексиката на тази старозаветна книга, но и да се обърне внимание на качеството на превода и преводаческите нагласи на книжовниците. Както е известно небогослужебният превод на Книга Изход е възникнал в сиемоновска България през X в., като преславският му произход се доказва от редица езикови и лексикални черти (Алексеев 1999: 163-172; Желязкова 2016). По особеностите на текста достигналите до наши дни преписи на Книга Изход (един от края на XIV в. и над тридесет от XV-XVI в.) формират няколко основни традиции – южнославянска, руска и хронографска, като всяка от тях има свои разновидности (Пичхадзе 1996; Желязкова 2016; Вилкул 2015, Грищенко 2020). При изучаването на лексикалния състав на Книга Изход следва да се отчита и фактът, че в някои от пълните преписи преславският превод на паримейните части е заменен с по-ранния кирило-методиевски превод, а в други – с по-късната атонска редакция (Желязкова 2018).

¹ Преглед на изучаването на калкирането в старобългарските паметници вж. в Ефимова 2016: 79-89.

Наблюденията в настоящето изследване се основават на всички запазени южнославянски преписи на Книга Изход, както и на девет руски ръкописа, представители на различни редакции и групи². Примерите се дават по ръкопис № 3 от сбирката на Е. Барсов. От другите ръкописи се посочват само разночетения, в случай че има такива. За гръцките съответствия е използвано критическо издание на Дж. Уивърс (Wevers 1991).

1. Композитите в гръцкия текст на Книга Изход

Утвърдилото се мнение, че една от типологичните особености на старогръцкия език се състои в употребата на голямо количество сложни думи, не е приложимо към текста на Книга Изход в Септуагинта. В него се наброяват 57 сложни думи, което е едва 4% от пълнозначната лексика.

По-голямата част от тях (27 думи) са съществителни имена. От тях 13 са наименования на лица (*αὐτόχθων* 'туземен, местен жител', *γραμματοεισαγωγεὺς* 'чиновник, писмоводител', *δεκάδαρχος* 'началник на десет души', *ἐκατοντάρχης* 'началник на сто души', *ἐργοδιώκτης* 'надзирател над работата', *μυρεψός* 'който прави благовонни масла', *πεντεκόνταρχος* 'началник на петдесет души', *τριστάτης* 'офицер', *χιλιάρχος* 'хилядник') или на други същества (*κυνόμυια* 'кучешка муха', *ὀρτυγομήτρα* 'пъдпъдък'). Някои сложни думи означават различни понятия и действия (*ἀρχιτεκτονία* 'строително майсторство', *εὐλογία* 'благословение', *εὐωδία* 'благоухание', *κληρονομία* 'наследство', *νουμηνία* 'новолуние', *ὀλιγοψυχία* 'отчаяние, униние', *ὀλοκαύτωμα*, *ὀλοκαύτωσις* 'жертвоприношение чрез пълно изгаряне, всесъжение', *πλινθουργία* 'производство на тухли', *πρωτογενήματα* 'първите плодове', *συγγενεία* 'род, семейство') или конкретни предмети (*ἀκροβυστία* 'крайната плът', *ἀσπιδίσκη* 'неголяма кръгла пластина', *ἀσφαλτόπισσα* 'вид смола', *δίδραχμον* 'дидрахм, монета от две драхми', *χρυσόλιθος* 'хризолит').

Сред композитите значително място заемат прилагателните (18 думи) – *ἀλυσιδωτός* 'направен като верижка', *ἰσχνόφωνος* 'който говори неясно, тихо', *βραδύγλωσσος* 'който говори трудно, заеква', *ἐνιαυσίος* 'едногодишен', *εὐώδης* 'ароматен, благоуханен', *θεοσεβής* 'богоугоден', *θηριάλωτος* 'уловен от диви зверове', *μακρόθυμος* 'многотърпелив', *μακροχρόνιος* 'дълголетен', *μυρεψικός* 'благовонен', *πρωτογενής* 'първороден', *σκληροπράχηνος* 'несговорчив, своеволен', *τετράστιχος* 'който се състои от четири реда'. Някои от сложните прилагателни се употребяват като съществителни: *ἀλλογενής*, ὁ 'който е от друго племе или раса', *ἀργυρώνητος*, ὁ 'който е купен (със сребро)', *λιθουργικά, τά* 'каменоделство', *πρωτότοκος*, ὁ 'първороден', *τετράποδα, τά* 'който има четири крака, тетраподи', *τετράγωνον, τό* 'квадрат'.

Срещат се и сложни глаголи (12 думи): *ἀρχιτεκτονεῖν* 'конструирам, проектирам', *εὐαρεστέω* 'удовлетворявам, харесвам се', *εὐλαβέομαι* 'боя се', *εὐλογέω* 'благо-

² Списък на използваните преписи е даден в края на статията.

славям, ζωογονέω ‘запазвам някого жив’, κακολογέω ‘злословя’, κληρονομέω ‘наследявам’, λιθοβολέω ‘убивам с камъни’, λιθουργέω ‘изсичам от камък’, οἰκοδομέω ‘строя’, πολυπληθύνω, πολυπληθέω ‘умножавам, увеличавам’.

Някои от изброените композити са с висока честота на употреба и са засвидетелствани още в класическия гръцки език, например εὐλογέω, εὐλογία, κληρονομέω, κληρονομία, λιθοβολέω, οἰκοδομέω и др.³ Други са характерни само за библейската и свързаната с нея литература – ακροβυστία, θηριάλωτος, ὄλοκαύτωμα (вж. Lust и др. 2003). Срещат се и думи, които са претърпели семантично развитие и в библейските текстове се употребяват в ново значение. Например, глаголят λιθουργέω в класическия гръцки има значение ‘превръщам в камък’, а в Изх 35:33 – ‘обработвам камък’ (Lust и др. 2003: 762). Субстантивираното прилагателно ἀλλογενής обикновено (включително и в Книга Изход) има значение ‘от друго племе или раса’, но в Изх 29:33 значението е по-специфично, а именно ‘мирянин’ (Wevers 1990: 481).

По-голямата част от изследваните композити са редки думи с терминологично значение. Вероятно някои от тях са възникнали непосредствено в процеса на превода на Петокнижието и са свързани със специфичното му съдържание, поради което се определят като неологизми (Lee 1983; Lust и др. 2003). Например, в книгите Битие и Изход за означаване на роба, който е купен, се използва думата ἀργυρώνητος (за да се отличи от този, който е роден в дома – οἰκέτης). Такъв роб е можел да яде от жертвоприношението едва след като бъде обрязан (Wevers 1990: 191-192). Само за книгите Изход и Второзаконие е характерно съществителното γραμματοεισαγωγέως, назоваващо чиновниците измежду тези “мъже способни, богобоязливи, мъже правдолюбиви, мразещи корист” (Изх 18:21), с чиято помощ Моисей ефективно е управлявал народа. Налице са и неологизми, характерни само за Книга Изход – ἀσπίδίσκη Изх 28:13, 14, 25; 36:23, 26 (термин, означаващ пластината, на която се закрепват верижките на съдийския нагръдник), ἀσφαλτόπισσα Изх 2:3 (специална смола от Мъртво море, която от древни времена се използва като лепило и хидроизолатор), πλινθουργία Изх 5:7 (за означаване на работата на израилтяните в древен Египет) и др.

В някои случаи сложните думи се употребяват в състава на съчетания, означаващи специфични термини: ἔργον ἀλυσισωτόν ‘плетене на верижки’ (Wevers 1990: 455, 457), τὰ ἔργα τῆς ἀρχιτεκτονίας ‘строително майсторство’ (Wevers 1990: 507, 588), τέχνη λιθουργική ‘изкуството за обработване на камъни’ (Wevers 1990: 449, 508), ἐργοδιώκτης τοῦ λαοῦ ‘надзирател’ (Lee 1983: 96-97). Някои от сложните глаголи се употребяват в състава на *figura etymologica*: ἐν λίθοις λιθοβολήσεται, λιθουργῆσαι τὸν λίθον.

³ Това лесно може да бъде установено при проверката на думите в речниците на старогръцкия език.

2. *Съотношение между гръцките композити в текста на Книга Изход и техните старобългарски съответствия*

2.1. *Гръцките композити се предават със сложни думи*

Фактът, че сложните думи не са отличителна особеност на текста на Книга Изход в Септуагинта вероятно има стилистични причини. Още по-малко сложните думи са характерни за старобългарския превод на тази библейска книга. От всичките 57 композита (в това число и деривати от композити) едва 16 имат като съответствие славянски сложни думи. Повечето от тях са структурни калки. Както е известно двукоренните сложения са изконно присъщи на славянските езици, което несъмнено е облекчавало предаването на сходните морфологични структури от гръцкия оригинал.

Една част от калките напълно повтарят структурата и семантиката на гръцките композити. Това са:

ἀλλογενής – иноплеменикъ: Изх 12:43 съи закѡ пасхы, вѣ иноплемении да не ясть ѿ неѣ.

εὐλογέω – благословити: Изх 20:24 ...и прїидѣ к тебѣ и бѣва та. Също в Изх 12:32, 23:25, 39:23.

εὐλογία – благословение: Изх 32:29 ...дѣ са на вы блененїе.

εὐώδης – благовоннъ: Изх 30:23 ты же възми вона цвѣта вѣладо фїміана избранна ꙗ суглѣ. и корица блговонны, ѡба полы ѣ маты же блговонны.

εὐωδία – благовоние: Изх 29:18 и да възложиши вѣ ѡвень на трѣбни възсезжеженїе гѣи. въз ѡвоннїе блговонїю.

ισχύφωνος – хоудогласнъ: Изх 4:10 ...хоудогласень есмь и непотрѣбѣ и непостижень азыкѡ, азъ есмь; хоудорѣчивъ: Изх 6:30 ...се азъ хоудорѣчивъ, да како имѣ послѣшати мене фараѡ. В случая в двата контекста при калкирането се отчитат различни значения на гр. φωνή, а именно 'глас' и 'звук на речта'. В Лавърското петокнижие намираме разночетения, съответно хоудогласъ и хоудорѣчъ.

μακροχρόνιος – длъголѣтнъ: Изх 20:12 чѣти ѡца своего и мѣре своа, да ти добро бѣдѣ. и длъголѣтень бѣдѣши на земли блсѣви. Този превод намираме във влахо-молдавските преписи, Архивския и Варшавския хронограф, ръкописите от ранната руска редакция. За четенето в другите редакции вж. по-долу.

ὀλοκαύτωμα – възсезжежение: Изх 10:25 ...ты ли нѣ даси трѣбы и възсезжеженїа да положи гоу трѣбѣ боу нашему. Също в Изх 20:24, 29:18, 32:6.

πρωτογενής – пръворожденнїи: Изх 13:2 ѡсти мнѣ вѣ пръвѣнеѣ пръворожѣнїи, ѡврзѣши възса ꙗтровѣ.

(οὐ) ψευδομαρτυρέω – Изх 20:16 (не) лъжесѣвѣдѣтель быти: не лъжесѣвѣтель бѣди на друуга своѣ. Този превод се среща само в южнославянските преписи, за четенето в руските преписи вж. по-долу.

Може да се посочат примери, в които семантиката на вторите компоненти на гръцката и старобългарската сложна дума не съвпада:

ἀλλογενής – иноземецъ: Изх 29:33 ...иноземець да не ясть ѿ нї еѣи бѡ сѣ. Също в Изх 30:33. В Кирило-Методиевия превод на Апостола иноземецъ превежда гр. βάρβαρος.

θεοσεβής – боговолазливъ: Изх 18:21 а ты себѣ избѣри ѿ всѣхъ людий мѣжа силны. бѣголазливъ, мѣжа правдивы...⁴ На посочения композит по-добре съответства калката богоуштивъ, най-старите фиксации на която намираме в Асеманиевото евангелие (X-XI в.) и Супрасълския сборник (X в.). Възможно е в ръкописа, от който е правен славянския превод на Книга Изход е стоял вариантът φοβούμενοις τον θεόν, посочен сред разночетенията в критическото издание на гръцкия текст на Книга Изход (Wevers 1991: 230).

μακροχρόνιος – дългожизнь: Изх 20:12 чѣти вѣда своего и мѣръ свою. да ти добро боудѣ. и дългожизнь боудеши на земли блазѣи⁵. Това четене е характерно за западно-българските и сръбските преписи. В ръкописите от късната руска редакция и Лавърското петокнижие намираме варианта дългожизньнъ, а във Виленския хронограф – дългоживъ. В Крушедолската библия текстът е редактиран допълнително – и дълго поживеши. За превода на μακροχρόνιος вж. и по-горе.

В някои случаи гръцките композити се употребяват в състава на съчетание, което в старобългарския превод се предава с една сложна дума:

αὐτόχθων τῆς γῆς – тоземьникъ (във влахо-молдавските преписи): Изх 12:19 дѣла та потрѣбит са. и въ стражѣ. и тоземьницѣ. Сретат се и разночетенията тоземьць (в западно-българските и сръбските преписи) и тоземьць, сеземьць (в руските преписи).

κρέας θηριάλωτος – зѣвроадиѣ: Изх 22:31 мѣжѣ же сѣи да бѣдете мнѣ. и зѣвроадиѣ да не ясте, нѣ ѣмѣ да ја повржете.

Налице са и случаи, когато на гръцките композити съответстват старобългарски сложни думи, които не са калки, а структурата на думите съвпада случайно, т.е. преводът е направен по смисъл, а не по морфеми:

ἀρχιτεκτονεῖν – дрѣводѣлство (< дрѣводѣла): Изх 31:4 и нѣти дрѣводѣлство дѣлати злато и сребро. и мѣдь...; дрѣводѣланиѣ: Изх 35:32 по въсемѣ дрѣводѣланиѣ. творити злато и сребро и мѣ.

ἀρχιτεκτονία – дрѣводѣланиѣ (< дрѣводѣла): Изх 35:32 и напѣзни ж прѣмѣрости и рѣзѣма ... творити въсе дѣло. дрѣводѣланиѣ стрѣпта.

συγγενεῖα – сръдволаство (< сръдвола): Изх 12:21 поимѣте себѣ агньца по сръдволаствѣ своему. Също в Изх 6:16, 19.

Тук е мястото да отбележим, че съществителните дрѣводѣла и сръдвола както и аналогичните главола, хлѣвола и др. принадлежат към най-стария слой славянска лексика за назоваване на лица, навлязла и в книжовния старобългарски език (Цейтлин 1986: 219; Ефимова 2011: 93, 166). Те, както и производните им са

⁴ Цитирано по Викул (2015: 160), тъй като във всички южнославянски преписи на Книга Исход поради загубени листове в общия им протограф този стих липсва.

⁵ Цитирано по Загребската библия.

характерни изключително за паметниците възникнали през Х в. в Преславското книжовно средище. Показателна е и употребата на думата *сръдвола* в каменния надпис на Георги Синкел от Х в. (Лекова 2018).

2.2. Гръцките композити се предават със старобългарски словосъчетания

Предаването на гръцките композити със славянски словосъчетания е нормален и често употребяван преводачески похват както на началния етап от развитието на старобългарския книжовен език, така и в по-късните преводи. Обикновено тези словосъчетания са създадени чрез особен род поморфемно калкиране, когато компонентите на композитите се предават с отделни думи. В повечето случаи получените славянски съчетания следва да бъдат смятани за отделни лексикални единици, тъй като номинират един лингвистичен концепт (Ефимова 2017).

ἀκροβυστία – крѣпнѣна пльть: Изх 4:25 въземши же сепфора разорѣ, вбръзда крѣпнѣ (!) пль сѣна своѣ... В руските преписи – конечнѣна пльть.

βραδύλωστος – непостижнъ языкомъ: Изх 4:10 хѣдогласенъ есмь и непотрѣбѣ и непостиженъ языкѣ, азъ есмь.

ἐνιασίος – единого лѣта: Изх 12:5 агнецъ же сѣврѣше да ѣ мѣжъскы по единого лѣта. да бѣде.

(οὐ) κακολογέω – (не) глаголати зъла: Изх 22:28 боу да не глѣши зла.

κυνόμυια – псына мѣхы: Изх 8:21 се азъ поущѣ на та и на мѣжа твоа и на люди твоа и на дома ваша песна мѣхы. и наплънат са домове егѣпестѣи псѣи мѣхы... Също в Изх 8:22, 24, 29, 31.

λιθουργικά, τά (< λιθουργικός) – каменное дѣло: Изх 31:5 и каменное дѣло имы.

νομιμία – пръвыи днь мѣсаца: Изх 40:15 и въ пръвыи днь мѣца ста храмь.

πολυπληθύνω – сѣло оумножити: Изх 32:13 сѣлау оумножѣ плема ваше, гакъ свѣздаи мноужествѣи.

πρωτογενήματα – пръвѣа жита: Изх 23:16 и великъ днь жѣтвы пръвыи жи свои, иже сѣеши на нивѣ свои; начала житѣ: Изх 34:26 начала жи зѣмла твоѣа. да не възнесеша въ домъ га бѣ твоего.

τετράγωνον, τό (< τετράγωνος) – на чѣтыри яглы: Изх 27:1 на чѣтыри яглы да бѣде трѣбни.

τετράστιχος – чѣтырми рады: Изх 28:17 и нашиеши на шьвы по камени чѣтырми рады.

В следващите примери славянското словосъчетание точно превежда компонентите на гръцката сложна дума, но с промяната на мястото им:

ἐργοδιώκτης (τοῦ λαοῦ) – погоничъ дѣлз (людьскыхъ): Изх 5:6 заповѣда же фараѣ погонниче дѣлз людскы. и книгоудамъ гла. Посоченото четене, което вероятно е било характерно за първоначалния превод, се среща в повечето от южнославянските преписи, хронографските преписи и ръкописите от ранната руска редакция. Ръкописната традиция познава и вариантите погонникъ дѣлз людьскыхъ (някои от западнобългарските преписи), погоничъ дѣлз людьскыхъ (Лавърско петокнижие), приставникъ дѣлз людьскыхъ (ръкописите от късната руска редакция). В наше по-ранно изследване беше изказано мнение, че вероятно суфиксът -ичъ е бил характерен за народния език и че съществителните образувани с него

рядко са прониквали в писмените паметници, в които са били предпочитани утвърдените за литературния език продуктивни суфикси -ѡЦЬ и -НИКЪ (Желязкова 2014: 80-87).

μυρεψός – **ВАРАИ** **ВОНѢ**: Изх 30:25 да сътвориши масло помазаніа сѣга вѡна. хытростіѣ варациа вѡна. Също в Изх 30:35

πλινθουργία – **ЗЪДАНІЕ** **ЛАНИННОЕ**: Изх 5:7 ѡселѣ не можѣте плѣвы людѣ даати, зѣннїюу ланннѡму. **НАКО** **ВЧЕРА** **ТРЕТЇИ** **ДНЕ** **САМИ** **ШЕШЕ** **ДА** **СИ** **СЪБИРАѢ** **ПЛѣВЫ**.

(ού) ψευδομαρτυρέω – **(НЕ)** **ПОСЛОУШЬСТВОВАТИ** **ЛЪЖА**: Изх 20:16 не послоушествѡи лжа на друуга своего. Този превод е характерен за руските преписи на Книга Изход. За четенето в южнославянските преписи вж. по-горе.

Заслужават внимание глаголите λιθουργέω и λιθοβολέω, които се употребяват в състава състава на *figura etymologica* (λιθουργήσαι τὸν λίθον и λίθοις λιθοβοληθήσεται), която в старобългарския превод не е предадена. Съчетанията **ВАДИ** **КАМЕНІЕ** (Изх 35:33) и **КАМЕНІЕМЪ** **ДА** **СА** **ПОВІЕ** (Изх 21:28) превеждат гръцкия израз като цяло.

2.3. Гръцките композити се предават със старобългарски несложни думи

Най-често гръцките композити се превеждат с еднокоренни старобългарски думи. В повечето случаи се превежда само първият елемент на думата, по-рядко – само вторият. Като цяло книжовникът се придържа към по-прост стил и се стреми да използва ресурсите на езика, а не да създава нови думи. Последното е особено ясно, когато композитите в Септуагинта са неологизми.

ἀλυσιδωτός – **ВЕРИЖЪННИ**: Изх 28:22 и да сътвориши въ словѣ трѣсны съплетены вблиценїемъ **ВЕРИЖЪНІИ** **ѡ** **ЗЛАТА** **УСТА**.

ἀργυρώνητος – **КОУПЛЕНИКЪ**: Изх 12:44 и **ВѢ** **РАВЪ** и **КѢ** **ПЛЕНІ** **ВЕРѢЖАТЕ** **И**, и тогѡ же да **ІА** **ДѢ** **ѡ** **НЕА**. Посоченото четене е характерно за влахо-молдавските преписи на Книга Изход. В руските, западнобългарските и сръбските преписи намираме варианта **ПРИКОУПЛЕНИКЪ**, а в Лавърското петокнижие е употребено съществителното **ПРИКОУПЪ**.

ἀσπιδίσκη – **ЦИТЪ**: Изх 28:13 и да сътвориши цита **ѡ** **ЗЛАТА** **ЧѢ**. Също в Изх 28:14, 25; 36:23, 26.

ἀσφαλτόπισσα – **ПЫСЪЛЪ**: Изх 2:3 посмоливши же ковчегъ пеклѡ и възложи ѡтроѡа въ нь.

γραμματοεισαγωγεύς – **КЪНИГЪЧІИ**: Изх 18:25 избра мѡнси мѡужа силны **ѡ** **ВСЕГО** **ІІ** **ЛА**. и створи **ІА** **НА** **ДЪ** **НИМИ** **ТЫСОУЦІНИКЫ** **И** **КНИГЪЧІА**⁶.

δεκάδαρχος – **ДЕСАТЪНИКЪ**; ἐκατοντάρχης – **СЪТЪНИКЪ**; χιλίαρχος – **ТЫСЪЦЪНИКЪ**: Изх 18:21 и постави **ІА** **НА** **Д** **НИМИ** **ТЫСАЦІНИКЫ** **И** **СЪТНИКЫ** **И** **ДЕСАТНИКЫ**.

εὐαρεστέω – **ОУГОДИТИ**: Изх 21:8 аще ли не **ОУГДИ** **ГНѢ** **СВОЕМОУ**...

εὐλαβέομαι – **БОАШЕ** **СА**: Изх 3:6 боаше бо са **ВЪЗРЪВТИ** **ПРѢ** **БѢ**.

ζωογονέω – **ОЖИВИТИ**: Изх 1:22 и **ВѢ** **ЖЕ** **НІ** **СЫ** **ПѠ** **ЖИВИТЕ**.

κληρονομέω – **ПРЪВАТИ**: Изх 23:30 **ДОНДЕЖЕ** **ВЪЗРАСТЕШИ** **И** **ВЪНИДЕШИ** **И** **ПРЪВИМЕШИ** **ЗЕМЛА**.

⁶ Цитирано по ръкопис Барсов № 1 поради пропуск в южнославянските преписи.

κληρονομία – достоиние: Изх 15:17 въведъ въсади ѿ въ горѣ дѣлїа твоего.

λιθοβολέω – погубити са: Изх 21:32 аще ли раба, или рабѣ. оубодѣ воль. сребро ꙗ. дидрагмы гѣоу ѿ да дадѣ. а воль да са погубѣ. Също в Изх 21:29.

μακρόθυμος – тръгблївъ: Изх 34:6 Гб бѣъ щедрыи млтивыи. тръгблївъ и истинень.

οικοδομέω – градиши: Изх 20:25 аще же трѣбнѣ ѿ каменїа сътвориши мнѣ да не градиши съскыѣ; създади; Изх 1:11 и създаша (в хронографските преписи и в ръкописите от ранната руска редакция – съградиша грады тврѣды фараонѣ).

ὀλιγοψυχία – тѣщивьство Изх 6:9 и не послушаша мнѣсеа. тѣщивьствѣ дѣль поржкыихъ.

ὀρθομήτρα – крастѣль: Изх 16:13 бѣ же вѣрь, и изыдошѣ крастѣли и покрыша вѣ плѣ.

πρωτότοκος – прѣвѣнць: Изх 11:5 и измрѣ въси прѣвѣнци въ земли егїпѣствї. ѿ прѣвѣнца фараонѣ, до прѣвѣнца рабѣ, иже въ жрѣнеѣ. и до прѣвѣнца въсего скота.

σκληροτράχηλος – жестокъ: Изх 33:5 вы же людїе жестоци. блудѣте са да не врѣдъ другыи възложите на вы, потрѣбла во вы.

τετράποδα, τά (< τετράπους) – скотѣ: Изх 8:16 (12) простри рѣка твоа, и жезлъ оудари въ прѣсть земнѣа. и да бѣдѣ мѣшица въ ѣлѣхъ, въ скотѣ. и по въсеи земли егїпѣствї. Също в Изх 8:17, 18, Изх 9:9, 10.

Два от композитите са употребени в устойчиви съчетания:

λιθουργική τέχνη (< λιθουργικός) – каменная хытрость: Изх 28:11 дѣло каменная хытрости, ваднїе знаменїа. ваднїи вѣа камика имена снѣвъ илѣвъ.

μυρεψικόν ἔργον (< μυρεψικός) – ꙗханно дѣло: Изх 30:35 и да сътворѣ ꙗхнїа. аханно дѣло варацїа вонѣ. Посоченото четене е характерно за южнославянските преписи, докато в руските намираме варианта вонно дѣло.

2.4. Гръцките композити остават непреведени

Тази група вклучва три думи и всички те са реалии.

δίδραχμον – дидрагмѣ: Изх 21:32 сребро ꙗ. дидрагмы гѣоу ѿ да дадѣ. Също в Изх 30:13.

τριστάτης – трїстатѣ: Изх 14:7 и поѣ шесть сѣ колесницї избраннѣи и въса конѣ егѣпѣскы, и трїстаты нѣ въсѣми. Също в Изх 15:4.

χρυσόλιθος – хрисолистоъ: Изх 28:20 радъ же дѣ, хрисолиствѣ... Също в Изх 36:20.

3. Съпоставка с преводаческите решения в други старобългарски преводи, както и в църковнославянския превод на Книга Изход

3.1. Някои от преводните еквиваленти на интересуващите ни гръцки композити от Книга Изход са се установили още в Кирило-Методиевите преводи. Така лексемите прѣвѣнць, тръгблївъ, оживити, достоиние като съответствия съответно на πρωτότοκος, μακρόθυμος, ζωογονέω и κληρονομία са употребени в най-старите славянски преписи на Евангелието, Апостола и Псалтира. Същ. тѣщивьство (гр. ὀλιγοψυχία) не

се среща в най-ранните преводи, но в преписите на Апостола намираме прилагателното **ТЪЩИВЪ** 'нерешителен, страхлив' като съответствие на гр. *δλιγψυχος*.

В повечето случаи обаче при превода на гръцките композити от Книга Изход старобългарският книжовник избира думи, които не са характерни за Кирило-Методиевите преводи. Във ТАБЛИЦА 1 привеждам списък на различни преводачески решения.

ТАБЛИЦА 1

Септуагинта	Книга Изход	Кирило-Методиеви преводи
<i>ἀκροβυστία</i>	ВЪСЕСЪЖЕЖЕНИЕ	ОЛОКАВЪТОМА
<i>ἐνιαυτός</i>	ЕДИНОГО ЛѢТА	НАЗИМО
<i>εὐλαβέομαι</i>	БОГАТИ СА	ГОВѢТИ
<i>κακολογέω</i>	ГЛАГОЛАТИ ЗЪЛО	ЗЪЛОСЛОВИТИ
<i>νοημηνία</i>	ПРЪВЫИ ДЪНЬ МѢСАЦА	НОВЪ МѢСАЦЪ
<i>δλιγψυχία</i>	ТЪЩИВЪСТВО	ПРЪВНЕМАГАНІЕ ДОУХА
<i>συγγενεία</i>	СРЪДВОЛЬСТВО	РОЖДЕНИЕ, РОДЪ

3.2. Преводът на гръцките композити със словосъчетания и еднокоренни думи е нещо обикновено в средновековната славянска писменост. Една от причините на това е, че старобългарският език не е разполагал с такива възможности за образуване на сложни думи както гръцкия. В превода на Книга Изход обаче се създава впечатлението, че преводачът съзнателно е избягвал употребата на сложни думи и се е стремил към по-прост стил. До такъв извод водят съпоставките с други старобългарски преводи, в които интересуващите ни гръцки композити са преведени със сложни думи (ТАБЛИЦА 2).

3.3. Интересно е и сравнението с църковнославянския текст на Книга Изход, където повечето гръцки композити са калкирани (ТАБЛИЦА 3).

ТАБЛИЦА 2

Септуагинта	Книга Изход	Други старобългарски преводи
βραδύγλωσσος	непостижнѣ языкомѣ	моудьноѣязычѣнѣ (Слова на авва Доротей) мѣдлоѣязычѣнѣ (Историческа паля)
ἔργον λιθουργική	каменьное дѣло	дѣло каменнодѣлателѣ (Книга на Исус син Сирахов)
κακολογέω	глаголати зъло	зълословити (Евангелие) зълוגлаголати (Книга на пророк Иезекиил) Сравни и зълуглагольникѣ
μακρόθυμος	трьпѣливѣ	длъготрьпѣливѣ (Супрасълски сборник, Новгородски минеи, Пандекти на Антиох и др.) Сравни и длъготрьпѣниѣ, длъготрьпѣти
μυρεψός	варан вонѣ	мироварѣць (Песен на песните, Книга на Исус син Сирахов)
ὀλιγοψυχία	тъцивьство	маллодушнѣ (Пандекти на Антиох, Ефремовска кормчая) Сравни и маллодушнѣ (Атонска редакция на Апостола)
πρωτογενήματα	пръвдѣа жита на чѣлаа житѣ	пръвоплодѣнаа (Книга на пророк Михей)
πρωτότοκος	пръвѣньць	пръвородѣць (Супрасълски сборник) пръворожѣньнѣи (Историческа и Тълковна паля, Слова на Григорий Богослов)
σκληροτράχηλος	жестокоѣ	жестоковынѣи, жестокошивѣи (преписи на Апостола) жестошинѣць (Изборник от 1073 г.)
τετράποδα, τά	скотѣ	четвероногѣ, четвороногѣ, четврѣногѣ, четвороножнѣ, четверножие (Синайски евхологий, преписи на Апостола и Паримейника, Изборник от 1073 г. и др.)

ТАБЛИЦА 3

Септуагинта	Книга Изход старобългарски превод	Книга Изход църковнославянски текст ⁷
βραδύγλωστος	НЕПОСТИЖЪНЪ ЯЗЫКОМЪ	КОСНОАЗЪГЪЕНЪ
γραμματοεισαγωγεύς	КЪНИГЪЧИИ	ПИСЬМОВОДИТЕЛЬ
δεκάδαρχος	ДЕСАТЬНИКЪ	ДЕСАТОНАЧЪАЛЬНИКЪ
ἑκατοντάρχης	СЪТЪНИКЪ	СТОНАЧЪАЛЬНИКЪ
ἐνιαυσίος	ЕДИНОГО ЛЪТА	ЕДИНОЛЪТЪНЫИ
μακρόθυμος	ТРЪПЪЛИВЪ	ДОЛГОТЕРПЪЛИВЪ
μυρεψός	ВЪРАИ ВОИЖ	МЪРОВАРЪЦЪ
νομηνία	ПРЪВЫИ ДЪНЬ МЪСАЦА	НОВОМЪСАЧЪЕ
ὀλιγοψυχία	ТЪЩИВЪСТВО	МАЛОДУШИЕ
πλινθουργία	ЗЪДАНИЕ ЛАНИННОЕ	ПЛЪН-Ф-ОДЪЛАНЪЕ
πρωτογενήματα	ПРЪВЕДА ЖИТА, НАЧАЛА ЖИТЪ	ПЕРВОРОДНАА
σκληροτράχηλος	ЖЕСТОКЪ	ЖЕСТОКОВЫИНЫИ
τετράγωνος	НА ЧЕТЫРИ ЖГЛЫ	ЧЕТВЕРОЪГОЛЬНЫИ
χιλιάρχος	ТЫСЪЩИНИКЪ	ТЫСАЦЕНАЧЪАЛЬНИКЪ

⁷ Под 'църковнославянски текст' разбираме превода в Елисаветинската библия (1751 г.). Използван е по: <http://www.my-bible.info/biblio/bib_tsek/ishod.html>.

4. *Заключение*

При предаването на гръцките сложни думи от Книга Изход старобългарският преводач е проявил завидно умение, още повече, че в много случаи те са редки думи, често неологизми или пък се употребяват в специфично терминологично значение. Той се е ръководел от стремежа да направи текста по-ясен и разбираем за читателя и за тази цел умело е използвал както ресурсите на литературния език, така и думи от народната реч. Някои от използваните съответствия потвърждават мнението за преславски превод на разглежданата библейска книга.

*Използвани ръкописи*ВЛАХО-МОЛДАВСКИ РЪКОПИСИ⁸

ГИМ, сбирка на Барсов, № 3, XV в.

Библиотека на Румънската академия на науките, № 85, XV в.

РГБ, сбирка на Румянцев, ф. 256, № 29, 1537 г.

ЗАПАДНОБЪЛГАРСКИ РЪКОПИСИ

РГБ, сбирка на Григорович, ф. 87, № 1/М 1684, 1523-1543 г.

Църковно-исторически архив и музей (София), № 351, XVI в.

Библиотека на Хърватската академия на науките и изкуствата (Загреб), № Шс17, XVI в. (Загребска библия).

СРЪБСКИ РЪКОПИСИ

РГБ, сбирка на Севастьянов, ф. 270, № 1/М, XV в.

Библиотека на Срърбската патриаршия (Белград), Рс № 48, XVI в. (Крушедолска библия)

РЪКОПИСИ ОТ РАННАТА РУСКА РЕДАКЦИЯ

РГБ, сбирка на Троицко-Сергиевата лавра, ф. 304.1, № 1, XIV в. (Лавърско петокнижие)

РГБ, сбирка на Троицко-Сергиевата лавра, ф. 304.1, № 44, XV в.

РГБ, сбирка на Ундолски, ф. 310, № 1, XVI в.

ГИМ, сбирка на Уваров, № 1, XVI в.

⁸ Графико-фонетичните и правописните особености на тези ръкописи показват, че в тях са отразени езиковите норми на търновските ръкописи след реформата на патриарх Евтимий и че техния антиграф е среднобългарски ръкопис от XIV в. с търновски произход.

РЪКОПИСИ ОТ КЪСНАТА РУСКА РЕДАКЦИЯ

ГИМ, сбирка на Барсов, № 1, XV в.

ГИМ, сбирка на Барсов, № 2, XV в.

РЪКОПИСИ ОТ ХРОНОГРАФСКАТА РЕДАКЦИЯ

РГАДА, МГАМИД, ф. 181, № 279/658, XV в. (Архивски хронограф)

Национална библиотека на Полша. BOZ. Спм. 83, XVI в. (Варшавски хронограф)

Библиотека на Литовската академия на науките, F. 19-109, XVI в. (Вилненски хронограф)

Литература

- Алексеев 1999: А.А. Алексеев, *Текстология славянской библии*, Санкт-Петербург 1999.
- Вилкул 2015: Т.Л. Вилкул (сост.), *Книга Исход. Древнеславянский полный (четый) текст по спискам XIV-XVI веков*, Москва 2015.
- Грищенко 2020: А.И. Грищенко, *Археография и текстология Правленного славяно-русского Пятикнижия XV века: Новые данные*, “Славяноведение”, 2020, 4, с. 68-87.
- Ефимова 2011: В.С. Ефимова, *Наименования лиц в старославянском языке: способы номинации и приоритеты выбора*, Москва 2011.
- Ефимова 2016: В.С. Ефимова, *Об истории изучения старославянского калькирования: проблемы и методы*, “Кирило-Методиевски студии”, XXV, 2016, с. 79-89.
- Ефимова 2017: В.С. Ефимова, *О границе между старославянскими лексическими единицами и словосочетаниями*, “Славянское и балканское языкознание. Палеославистика”, XVI, 2017, с. 60-80.
- Ефимова 2019: В.С. Ефимова, *К вопросу о передаче в старославянском языке греческих композитов*, “Славянское и балканское языкознание. Палеославистика”, XVII, 2019, с. 124-138.
- Желязкова 2014: В. Желязкова, *Към историята на един словообразователен модел, в: Актуални проблеми на балканистиката и славистиката – Доклади от Втората международна конференция, проведена на 9 и 10 ноември 2012 г. във Великотърновския университет “Св. Кирил и Методий”*, Велико Търново 2014, с. 80-87.
- Желязкова 2016: В. Желязкова, *Книга Исход в южнославянских списках XV-XVI вв.*, “Studi Slavistici”, XIII, 2016, с. 243-256.

- Желязкова 2018: В. Желязкова. *Четивата от книга Изход в Триода*, "Palaeobulgarica", XLII, 2018, 2, с. 3-37.
- Лекова 2018: Т. Лекова, *Към въпроса за преславизмите в средновековната славянска книжнина (Още за произхода, значението и употребата на старобългарското срьдоболя)*, "Palaeobulgarica", XLII, 2018, 3, с. 3-32.
- Пичхадзе 1996: А.А. Пичхадзе, *К истории четъего текста славянского Восьми-книжия*, "Труды Отдела Древнерусской литературы", XL, 1996, с. 10-21.
- Цейтлин 1977: Р.М. Цейтлин, *Лексика старославянского языка. Опыт анализа мотивированных слов по данным древнеболгарских рукописей X-XI вв.*, Москва 1977.
- Цейтлин 1986: Р.М. Цейтлин, *Лексика древнеболгарских рукописей X-XI вв.*, София 1986.
- Lust и др. 2003: J. Lust, E. Eynikel, K. Jauspie (compiled by), *A Greek-English Lexicon of the Septuagint*, Revised Edition, Stuttgart 2003.
- Jagić 1898: V. Jagić, *Die slavischen Composita in ihrem sprachgeschichtlichen Auftreten*, "Archiv für slavische Philologie", XX, 1898, p. 516-556.
- Lee 1983: J.A.L. Lee. *A Lexical Study of the Septuagint Version of the Pentateuch*. Chico (CA) 1983.
- Schumann 1958: K. Schumann. *Die griechischen Lehnbildungen und Lehnbedeutungen im Altbulgarischen*, Berlin 1958.
- Wevers 1990: J.W. Wevers *Notes on the Greek text of Exodus*, Atlanta (GA) 1990.
- Wevers 1991: J.W. Wevers (ed.), *Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum. Auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis editum*, II/1. *Exodus*, Göttingen 1991.

Abstract

Veselka Zhelyazkova

Compound Words in the Septuagint Version of the Book of Exodus and Their Slavonic Correspondences

The first part of the paper examines the compound words (CWs) in the Greek text of the Book of Exodus. As a whole they are not typical for the text of this biblical book. Some of the CWs have a high frequency of use and are attested in the classical Greek. Others are typical only for the biblical and related literature, and they are rare words with terminological meaning, probably originating directly in the process of translating the Pentateuch and related to its specific content. The second part examines the relationship between the Greek CWs in the Book of Exodus and their Old Bulgarian correspondences. The Greek CWs can be rendered with CWs, a combination of words, simple words (most often), as well as remain untranslated. In addition, a comparison is made with the translation decisions in other Old Bulgarian writings as well as in the Church Slavonic text of the Book of Exodus. Some of the Slavonic equivalents have been established in the Cyrillo-Methodian translations. In most cases, however, when translating the Greek CWs the Old Bulgarian writer chooses words that are not typical for the first Slavonic translations. It seems that he avoided the use of CWs and sought a simpler style. Comparisons with other texts in which the Greek CWs we are interested in have been translated with CWs lead to such a conclusion. It can be said that the Old Bulgarian translator shows an admirable skill in transmitting the Greek CWs. In general, he seeks to use the resources of the language rather than creating new words. The latter is especially clear when the CWs in the Septuagint are neologisms.

Keywords

Bible Studies; Book of Exodus; Compound Words; Slavonic Translations from Greek.

Александр Игоревич Грищенко

Лингвотекстологические маркеры в позднесредневековых славянских библейских переводах с еврейских оригиналов*

Занимаясь изучением таких необычных памятников позднесредневековой славяно-русской письменности, как *Правленое Пятикнижие* (Грищенко 2018a) и западнорусский перевод Песни песней по *Музейному списку* (Grishchenko 2019), я столкнулся с рядом теоретических проблем, которые как будто бы до сих пор не обсуждались в рамках не только лингвистической текстологии (если эта дисциплина имеет право на отдельное существование, см. резонные сомнения Д.М. Буланина (2014: 33-36)), но также ни в собственно традиционной текстологии, ни в теории текста, ни в теории перевода.

Правленое Пятикнижие – это группа 23 восточнославянских (и только восточнославянских) рукописей конца XV-третьей четверти XVI века церковнославянского перевода *Пятикнижия Моисеева*, сделанного с греческого оригинала (в составе *Восьмикнижия*, бытовавшего в византийской традиции) ещё, видимо, в Симеоновскую эпоху в Первом Болгарском царстве в нач. X в. Эти рукописи содержат множество глосс на полях и эмэндаций в тексте, сделанных по еврейским источникам, как ещё недавно считалось – непосредственно по древнееврейскому *Масоретскому тексту* (Пичхадзе 1996: 20-21; Алексеев 2005: 196-197; 2018: 14-15), хотя происхождение части глосс и эмэндаций из средневековой иудейской экзегезы было установлено ещё на заре изучения этого памятника (Горский 1860). Несмотря на маргинальный – в прямом смысле этого слова – характер глосс, признать сам памятник маргинальным отнюдь нельзя, поскольку 23 списка – это наиболее многочисленная редакция церковнославянского *Пятикнижия* в целом. Так, для сравнения, списков южнославянской редакции *Восьмикнижия* (из него как раз и было выделено *Пятикнижие*) сохранилось только девять (Желязкова 2016), а всех списков остальных восточнославянских редакций, начиная со старшего *Лаврского Пятикнижия* рубежа XIV-XV вв. и включая четыре сохранившихся списка *Геннадиевской Библии* – 21 (Грищенко 2020: 76-79)¹. Кроме того, нужно

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 21-012-41004.

¹ Ещё один, двадцать третий, список *Правленого Пятикнижия*, хранящийся в Хиландарском монастыре на Афоне, только выявлен и пока ждёт своего подробного описания. В указанной работе рассмотрены 22 списка этого памятника.

учитывать влияние *Правленого Пятикнижия* на иные редакции славянской Библии, которое, безусловно, прослеживается и в кардинально важной для истории всех церковнославянских библейских текстов *Геннадиевской Библии* 1499 г., есть его следы и в первопечатной *Острожской Библии* 1580/81 г. (а также в её переиздании – *Московской Библии* 1663 г.) и даже в *Елисаветинской Библии* середины XVIII в.

Западнорусский перевод Песни песней, известный в двух различных, но связанных друг с другом версиях – более ранней *Музейной* (в единственном списке Российской государственной библиотеки Муз. 8222 сер. XVI в.) и несколько более поздней *Виленской* (также в единственном списке в составе *Виленского библейского свода* пер. четв. XVI в., в рукописи Библиотеки Академии наук Литвы им. Врублевских F-19, № 262), – был сделан с еврейского оригинала, и ни у кого ранее не было сомнений в том, что этим оригиналом был древнееврейский *Масоретский текст* (Lunt 1985; Taube 1985; Алексеев 2002: 137-143).

Мною была выдвинута гипотеза о том, что среди источников и *Правленого Пятикнижия*, и обоих переводов Песни песней важную роль играл не только собственно *Масоретский текст*, а переводы с него – средневековые таргумы, выполненные на диаспоральные еврейские языки. Для *Правленого Пятикнижия* в качестве такого текста-посредника был предложен иудео-тюркский таргум, у которого в том же XV веке было обнаружено и рукописное свидетельство – ранее никем не датированный фрагмент *Пятикнижия* РНБ, Евр. I. Библ., № 143 (Исх 21:11 – Числ 28:15 с лакунами) на золотоордынском кипчакском языке в еврейской графике, который относится к 70-80-м годам XV века и был сделан, скорее всего, уже на восточнославянских землях, причём сам этот текст возник не в караимской, а в раввинистической среде, см. подробнее о нём в статьях проф. Дана Шапиры (Sharira 2019; Sharira 2021: 718-726). Для западнорусских переводов Песни песней, в первую очередь *Музейного*, я предлагаю в качестве текста-посредника староидишский таргум, материал из которого уже был проанализирован при рассмотрении иноязычной лексики глоссария к Песни песней в составе обнаруженной мною в рукописи 30-40-х гг. XVII в. Государственного исторического музея (Москва) Забел. 436 *Забелинской подборки*: этот глоссарий оказался свидетелем одновременного и *Музейного*, и *Виленского переводов* Песни песней (Грищенко 2021).

Столь необычные выводы о наличии текстов-посредников на диаспоральных языках мне удалось сделать при помощи единиц, которые я предлагаю называть лингвотекстологическими маркерами – такими показателями связи текстов, которые имеют лингвистическую природу, опираются на знак языка как двустороннюю сущность – единство означаемого и означающего. Лингвотекстологические маркеры могут быть таковыми благодаря или своему значению (внутренней стороне знака), или своей форме (внешней стороне знака). Поскольку эти маркеры важны для текстологии и всегда занимают определённую позицию в тексте, я предлагаю к классическому определению знака, принятому в семиотике, добавить ещё один компонент, который делает данный знак не просто знаком языка, а знаком

текста, – это текстуральная привязка. Текстуральная привязка знака хорошо демонстрируется на памятниках так называемой контролируемой текстологической традиции (Алексеев 2001: 691-694), к коим относятся и церковнославянские переводы библейских книг, причём не только служебные, но и четвы. Библия вообще – оптимальная модель для отработки текстологической теории и испытания текстологических методов, поскольку это, пожалуй, один из наиболее стабильных за всю историю рукописной трансмиссии текст, который даже при переводе практически не теряет тесной связи с оригиналом. Оригиналы библейских текстов при этом довольно чётко размечены библеистами начиная ещё с эпохи Средневековья, и эта разметка играет существенную роль в идентификации библейских цитат: мы всегда можем дать точную ссылку на конкретную библейскую книгу, главу и стих (естественно, с поправками на различные особенности переводов, каковые отличаются, например, греческую *Септуагинту* или латинскую *Вульгату* от *Масоретского текста* и оба перевода друг от друга).

Установление непосредственного оригинала при переводе с некоего еврейского источника – судя и по данным текста, и по ряду языковых особенностей, – на церковнославянский стало предметом затянувшейся полемики вокруг старшего, восточнославянского по происхождению, перевода книги *Есфирь*, и эта полемика стала, по сути, началом новой отрасли исторической славистики – средневековой иудео-славистики. Н.А. Мещерский, один из основателей этой отрасли, подготовил первое издание *Книги Есфирь* (Мещерский 1978). Позиция Н.А. Мещерского о домонгольском переводе *Есфири* непосредственно с древнееврейского оригинала вызвала полемику со стороны М. Альтбауэра и М. Таубе (Altbauer, Taube 1984). Своего учителя Н.А. Мещерского полностью поддержал А.А. Алексеев в первой обобщающей статье на средневековую славяно-еврейскую тематику (Алексеев 1987). А.А. Алексеёву на страницах того же журнала ответили Г. Лант и М. Таубе (Lunt, Taube 1988), которые через десять лет выпустили новое, критическое, издание *Славянской Есфири* с обширным исследованием текста и языка памятника (Lunt, Taube 1998). Соавторы предложили в качестве оригинала старшего перевода *Славянской Есфири* греческий текст и чрезвычайно расплывчато датировали этот перевод XI-XIII веками, локализовав его где-то на славянском Юге (в Сербии или Болгарии), тогда как А.А. Алексеев продолжал (Алексеев 1993) и продолжает (Алексеев 2014; Алексеев 2018) придерживаться концепции Н.А. Мещерского о домонгольских древнерусских переводах с еврейского. После выхода ещё одного, также критического и сопровождаемого подробным исследованием, издания *Славянской Есфири*, подготовленного И. Люсен (Люсен 2001), которая вернулась к гипотезе о еврейском оригинале, но датировала перевод 1380-40-ми гг. и локализовала его на восточнославянских землях Литвы или Польши, А.А. Алексеев выступил с ещё одной статьёй на эту тему (Алексеев 2003), предложив пока не закрывать проблему. Наконец, недавно В.М. Лурье выдвинул ещё одну, на первый взгляд весьма экстравагантную, гипотезу о другом непосредственном оригинале старшего славянского перевода *Есфири* – сирийском, сделанном в эллинистическую эпоху с греческого перевода

еврейского текста; церковнославянский же перевод, по мнению В.М. Лурье, был осуществлён на заре славянской письменности (Лурье 2017).

Подобного рода непрекращающаяся полемика между сторонниками гипотез о том или ином оригинале *Славянской Есфири* – результат несбалансированности критериев, когда среди них не выделяются сильные и слабые показатели, точнее – сильные и слабые лингвотекстологические маркеры. Так, А.А. Алексеев в своём прибавлении к хрестоматийной *Текстологии* Д.С. Лихачёва вкратце упомянул о процедуре выявления непосредственного подлинника: “Обычно подлинник выдает себя формой собственных имен, ошибками перевода, некоторыми синтаксическими и изредка грамматическими чертами” (Алексеев 2001: 717). Однако упомянутые А.А. Алексеевым “формы собственных имён”, взятые сами по себе, – это слабые маркеры.

Так, хорошо известно, что если в библейском или парабиблейском средневековом славянском тексте (например, в *Толковой Палее*) встречается иноязычная форма с буквой *Ш* (передающей, соответственно, некую шипящую фонему), то эта форма не могла быть заимствована из греческого или латинского источника. Поэтому написание имени царя Артаксеркса *Ахашверошь* в *Славянской Есфире* (правда, лишь в некоторых списках) считается показателем еврейского оригинала. Такого рода ‘шокающих’ форм много и в *Правленом Пятикнижии*: *Матушелахъ* вместо *Мафусаль*, *Еношь* вместо *Енось*, *Гишомъ* вместо *Гирсонъ* и т. п. (их в *Правленом Пятикнижии* десятки, что послужило в своё время столь уверенному определению источника – *Масоретского текста*). Поэтому, когда в ранних списках *Есфири* Артаксеркс именовался *Ахасверось*, это дало основания Г. Ланту и М. Альтбауэру предположить греческий перевод-посредник. В связи с такого рода случаями А.А. Архипов предложил свою классификацию показателей непосредственного оригинала перевода, но применительно лишь к *Есфире* (Архипов 1995: 252-262). Однако, допустив, что форма *Ахашверошь* первична, мы тем не менее не можем быть уверенными в том, что оригинал именно древнееврейский, поскольку есть иные языки, которые, в отличие от греческого и латыни, вполне нормально передают шипящие. Более того, возможны такие тексты, которые являются переводными, но в которых имя *Ахашверошь* написано ровно так же, как в оригинале, и, соответственно, читается приблизительно так же, – речь идёт о переводах в н у т р и и у д е й с к о й т р а д и ц и и, выполненных на диаспоральные еврейские языки и записанных еврейской графикой, то есть о т а р г у м а х. В нашем случае это таргумы иудею-тюркский (известный прежде всего как «караимский») и иудео-немецкий, то есть староидишский.

В серии статей об именах Бога в *Правленом Пятикнижии* Б.А. Успенский довольно подробно проанализировал встречающиеся в нём еврейские формы *Эгъе ашеръ / эшеръ Эгъе* (передача древнееврейского *’ehye ’ăšer ’ehye* ‘Аз есмь Сущий’) и *Эль Шаддаи* (древнееврейское *’el šadday* ‘Бог Всемогущий’), записанные кириллицей, но с использованием буквы ‘Э обратное’ (Успенский 2012; Успенский 2013; Успенский 2014), и мне уже приходилось вносить в гипотезу Б.А. Успенского о происхождении этой буквы некоторые уточнения (Грищенко 2019). Непосредственным

источником этих написаний Б.А. Успенский считал именно *Масоретский текст*, хотя в ряде случаев обнаруживались употребления, близкие арамейским таргумам. Более того, Б.А. Успенский обращал внимание на то, что практически без изменений, неотличимо от исходного еврейского текста, *nomina sacra* писались и в иудео-персидских переводах Библии. Однако то же самое характерно и для тюркских, и для староидишских таргумов. Так, например, в старшем из известных списков тюркского таргума Евр.І.Библ., № 143 божественный эпитет *Шаддай* остаётся без перевода, ср. Числ 24:4 *maḥāzēb šadday* ‘видение Всемогущего’ в *Масоретском тексте* и *körümi šadday-nıñ* (транслитерация без огласовок: *kwrwımy šdy nyg*) ‘видение Шаддая’ в этой рукописи (л. 101), однако в более поздней караимской версии тюркского таргума, дошедшей в рукописи 1720 г. на тракайском диалекте, божественный эпитет уже переведён: *körümün küclü Tenrinin* ‘видение сильного Бога’ (Németh 2021: 748). В той же рукописи 1720 г. древнееврейская фраза *’ehye ’äšer ’ehye* (Исх 3:14) остаётся без перевода на иудео-тюркский (там же: 282). Таким образом, наличие в славянском тексте древнееврейских вкраплений типа *Эгве ашеръ Эгве* или *Эль Шаддай*, а также собственных имён, близких к транслитерации с древнееврейского, а не греческого, само по себе не говорит, что эти заимствования были сделаны непосредственно из *Масоретского текста*, а не из какого-либо его таргума. Особенно это касается собственных имён – из-за такого их свойства, которое открыл В.Н. Топоров:

...в п р и н ц и п е с[обственные] и[мена] не нуждаются в переводе на данный язык [...] Это особенность с[обственных] и[мен] [...] делает [их] наиболее существенным интерлингвистическим слоем языка, который – в известной мере – может быть сопоставлен с музыкой или изобразительным искусством. Следовательно, с[обственные] и[мена] в принципе могут быть поняты как некий, хотя и очень узкий, но зато единый канал коммуникации в человеческом обществе, причем как в пространстве, так и во времени (Топоров 1962: 5).

Именно это свойство, как ни парадоксально, затрудняет использование собственных имён в качестве надёжного свидетельства о связи текстов, написанных на разных языках. Поэтому показатели связей такого рода текстов – в нашем случае библейских переводов – необходимо подвергнуть типологизации, выделив среди них наиболее сильные и наиболее слабые лингвотекстологические маркеры.

На примере *Правленого Пятикнижия* ограничимся выборочными примерами – отдельными словами из глосс и эмендаций, расположенными в определённом порядке в ТАБЛИЦЕ 1, где чем выше находится маркер, тем сильнее его доказательная сила.

Гebraизмы, то есть лексические заимствования из древнееврейского или неосвоенные вкрапления из *Масоретского текста* (МТ), относятся к наиболее слабому, пятому, уровню лингвотекстологических маркеров. Если с формальной точки зрения такого рода слова являются наиболее надёжными показателями непосредственных контактов славян и евреев (см. перечень таких показателей в: Грищенко 2018б: 42-48), то текстологически их значимость не очень велика: они действительно свидетельствуют о том,

ТАБЛИЦА I

Уровень маркера	МТ	Тюркский таргум	Правленое Пятикнижие
I. Гапаксы-экзотизмы	<i>təvāḥīm</i> 'небольшие идолы' (Быт 31:19, 34, 35)	<i>sturlab</i>	<i>стурлабъ</i>
II. Освоенные / осваиваемые заимствования	<i>zēmer</i> 'разновидность газели?' (Втор 14:5)	<i>soğaq</i>	<i>саугакъ</i>
	<i>mişnēḥet</i> 'тюбан' (Исх 28:39, Лев 16:4)	<i>çalma</i>	<i>чалма</i>
III. Нетекстуальные лексические заимствования	<i>mēlek</i> 'царь' (Быт 40:1)	<i>xan, biy</i>	<i>солтанъ</i>
IV. Индивидуальные семантические кальки	<i>bənē ha'ēlōhim</i> 'сыны Бога' (Быт 6:2)	<i>oğlanları ol</i> <i>şəra 'atçılarnıñ</i> 'сыны судей'	<i>судный</i>
V. Гебраизмы	<i>'ehye 'āšer 'ehye</i> 'аз есмь [ТОТ], который есмь' (Исх 3:14)	<i>'ehye 'āšer 'ehye</i>	<i>эгъе ашеръ / эшеръ</i> <i>эгъе</i>

что текст-источник принадлежал иудейской традиции, в которой совершенно естественно выглядят имена собственные и отдельные слова МТ, однако такие формы во все не исключают возможности того, что текстом-источником был не сам МТ, а его переводы, сделанные в рамках той же иудейской традиции, то есть таргумы. Самым надёжным лингвотекстологическим маркером – первого уровня – оказывается наличие в тексте анализируемого перевода (в нашем случае славянского) таких слов, которые не просто являются иноязычными заимствованиями, причём не из древнееврейского языка МТ, но и квалифицируются как гапаксы, не освоенные языком книжной традиции, на который сделан соответствующий перевод. В Правленом Пятикнижии таким маркером оказалось слово *стурлабъ* (в формах вин. мн. *стурлаби* и род. мн. *стурлабиш*) – заимствованное из Тюркского таргума арабское название астролябии, прошедшее ряд формальных преобразований на тюркской почве: принципиально важно, что этим словом Тюркский таргум передавал др.-евр. *təvāḥīm* ровно в тех же местах текста, где появлялась глосса *стурлабъ* в Правленом Пятикнижии, тогда как в последующей славяно-русской традиции это слово было использовано лишь в *Хронографе Русском*, причём

как цитата из *Правленого Пятикнижия*, и более нигде называть идолов этим словом восточнославянские книжники не решались (Грищенко 2018а: 97-108).

Одной лишь глоссы типа *турлаби* вполне достаточно для того, чтобы со всей очевидностью указать на текст-источник, однако между этим, самым сильным, и самым слабым лингвотекстологическими маркерами имеются и промежуточные ступени, которые в разной степени обнаруживают наличие языка-посредника и текста-посредника: это маркеры II-IV уровней. Иноязычные заимствования, которые уже нельзя назвать гапаксами, поскольку они известны и из других памятников того же или более позднего периода, относятся ко второму и третьему уровням: их использование в анализируемом тексте может быть свидетельством как языкового заимствования, так и текстуального. Если текст-посредник, известный нам, содержит в том же самом месте аналогичную форму, например *soğaç*, когда речь идёт о некоем чистом копытном, а *Правленое Пятикнижие* глоссирует его как *саугак* (Грищенко 2018а: 60-72), то с большой долей вероятности славянский книжник обращался именно к тексту-посреднику, а не к своему знанию о существовании такого животного, тем более что название последнего – тюркизм. Такого типа заимствования обладают большей доказательной силой, чем те, для которых не удалось в доступных версиях предполагаемых текстов-посредников (тюркского таргума) найти формально совпадающие текстуальные параллели, – поэтому они относятся к маркерам второго уровня, а к третьему уровню – иноязычные заимствования, которые могли быть результатом взаимодействия языков, а не текстов, хотя, возможно, с открытием новых рукописей окажется, что и эти слова были текстуальными, а не языковыми заимствованиями. Более того, случайно дошедшие до нас рукописи таргумов, причём почти все существенно более позднего времени, не могут в точности передавать именно тот текст, коим пользовались славянские книжники для глоссирования *Правленого Пятикнижия* в XV веке. См. сводный перечень тюркизмов, относящихся к лингвотекстологическим маркерам I-III уровней, в специальной таблице (Грищенко 2018а: 109-111), где текстуальные заимствования, то есть маркеры I-II уровней, выделены серой заливкой.

Маркеры IV уровня – индивидуальные семантические кальки – уже ничего не говорят о языке текста-посредника, поскольку представляют собой перевод на язык текста-реципиента (в нашем случае церковнославянский или рутенский), но свидетельствуют о самом тексте-посреднике, а точнее о целой текстуальной традиции, из которой заимствованы соответствующие чтения. Так, следуя экзегетической практике, проявившейся ещё в арамейских таргумах, заменять божественные имена на более земные, устраивая таким образом монотеизм, в части иудео-тюркских таргумов вместо “сыновей Божиих” (Быт 6:2) находим “сыновей судей”. *Таргум Онкелоса* переводит это место как “сыны великих правителей”, *Таргум Неофити* – “сыны судей”, и впоследствии раввинистические экзегеты используют оба этих варианта: “сыны судей” у Авраама Ибн-Эзры (ок. 1089/1092 – ок. 1164/1167), “сыны правителей и судей” у Раши (1040-1105) и Рамбана (1194-1270) (Грищенко 2017: 19-20).

Взятые по отдельности, лингвотекстологические маркеры II-V уровней не могут служить доказательством того, что анализируемый текст зависит тем или иным образом от текста-посредника, восходящего к собственно тексту-донору (в нашем случае это *МТ*). Более того, маркеры V уровня сами по себе говорят о зависимости от *МТ*, маркеры IV уровня – от традиционной иудейской экзегезы, и только в сумме, особенно при наличии лингвотекстологических маркеров I уровня, чтения всех пяти предлагаемых мною типов могут с большой надёжностью свидетельствовать о тексте-посреднике и его языке.

Если для *Правленого Пятикнижия* текстом-посредником оказался *Тюркский таргум*, то доказательства того, что для восточнославянских переводов Песни песней того же XV века в качестве аналогичного посредника – трудно судить, собственно оригинала или вспомогательного источника отдельных чтений, – служил некий староидишский перевод, собранный в ТАБЛИЦЕ 2, где лингвотекстологические маркеры распределены по тем же пяти уровням. При этом в ней приведены славянские чтения обоих переводов – *Музейного (Муз.)* и *Виленского (Вил.)*, а также данные *Забелинской подборки (Забел.)*. Соответствия в *Староидишском таргуме (Yid.)* даются по трём печатным изданиям: *Konst.* – выпущенное в 1544 г. Павлом Фагисем в Констанце, *Aug.* – изданное в том же 1544 г., но в Аугсбурге Павлом Эмилием, *Cr.* – кременское издание Лейба Бреша, с параллельными толкованиями Раши в переводе на старый идиш; *Vas.* – его базельское переиздание 1583 г. (подробнее о староидишских переводах Песни песней и глоссариях к ним см. в Грищенко 2021: 17-18).

Совпадения чтений, прежде всего лексические, между *Муз.*, *Вил.* и *Забел.*, с одной стороны, и с *Yid.* и *МТ*, с другой, выделены в ТАБЛИЦЕ 2 полужирно; нерегулярные совпадения между отдельными текстами даны серым цветом шрифта, среди них прописными буквами особо выделены совпадения между *Забел.* и *Муз.* или *Вил.* Поскольку староидишские чтения в восточнославянских переводах Песни песней с еврейских источников и в связанной с ними *Забелинской подборке* только начинают исследоваться, приведённые примеры требуют некоторого лингвистического и текстологического комментария.

К гапаксам-экзотизмам здесь относятся лишь два слова – *вирах* (в *Муз.* и *Забел.*), из средневерхненемецкого *wi(h)rouch* ‘ладан’, что отмечалось ранее (Taube 1985: 205; Алексеев 2002: 142), и *марграм* (в *Муз.* и *Вил.*) – соответствует староидишскому *milgrom* или *milgram* ‘гранат (плод или дерево)’, при этом в средневерхненемецких словарях в свободном употреблении оно не зафиксировано, лишь в композитах со вторым компонентом *apfel / öpfel* ‘яблоко’ и *boum* ‘дерево’, правда уже с отражением межслоговой ассимиляции согласных в первом компоненте, чего пока не обнаруживается в староидишских источниках: *marginan-* и *margram-* (подробнее об обоих словах и их употреблении в позднесредневековом славяно-еврейском контексте см. в (Грищенко 2021: 29-30, 36-37)). Однако к той же категории лингвотекстологических маркеров следует отнести и гапакс *поментник* (*Муз.*), ошибочно квалифицированный ранее как полонизм (Taube 1985: 205), и, судя по всему, связанное с ним причастие

ТАБЛИЦА 2

Уровень маркера	МТ	Yid.	Муз.	Вил.
I. Гапаксы-экзотизмы	ləḇōnā ^h ‘ладан’ (4:14)	weiarich <i>Aug.</i> / weiaroch <i>Konst.</i> / weierich <i>Cr., Bas.</i>	вирах вирахь , древо бѣло и чисто <i>Забел.</i>	ладан
	kəḇélaḥ hā- rimmōn raqqātēk ‘как долька граната висок твой’ (4:3)	eyn halbr mil- grom deyn lern <i>Aug., Cr., Bas.</i> / milgram <i>Konst.</i>	якоже половины марграма костици твоя	якоже половина марграму голубець твой
	rahīṭēnū bəḡōtīm ‘стропила наши кипарисы’ (1:17)	unzr latn buqs boymn <i>Aug., Cr., Bas.</i> / unzri (rigl – latn) zeyn buchs boymn <i>Konst.</i>	латы нашѣ никсоусовы	латы наши пискусовы
II. Освоенные / осваиваемые заимствования	ʔānī ḥāḇaṣṣélet ha-ššārōn šōšannaṭ ha-ʔāmāqīm ‘я асфодель / крокус Шарона, лилия долин’ (2:1)	ich az eyn lilg des plon, az eyn roz in der tifnis <i>Aug.</i> / ich bin eyn roza dis plon, eyn yoylg der telrn <i>Konst.</i> / ich bin az eyn roz des plon, az eyn roz in di tifnis <i>Cr., Bas.</i>	азь лелѣя полскаа. а рожа болонскаа	я лилия огоридная рожа долинная
	mikkōl ʔāḇqaṭ rōḳēl ‘от всех порошков купца’ (3:6)	wen als štoyb das apiteqr <i>Aug.</i> / den al štoyb dis aptikrs <i>Konst.</i> / az ali štoyb das apitigir <i>Cr., Bas.</i>	от всего праху ПОМЕНТ- НИКА	от всякого пороху АПТѢЧНОГО
	ʔāšqəḳā miyyūyīn hāreḳaḥ ‘напою тебя вином пряным’ (8:2)	ich walt šterqn dich von weyn des apitekris <i>Aug., Cr., Bas.</i> / ich walt trenkn dich von dem weyn dis gi- waurtstn <i>Konst.</i>	напою тя вином бла- говонным	напою тебе от вина АПТѢЧНОГО
				ОТ ВИНА ПУМЕНТО- ВАННАГО <i>Забел.</i>

(продолж.)

ТАБЛИЦА 2 (продолж.)

Уровень маркера	МТ	Yid.	Муз.	Вил.
II. Освоенные / осваиваемые заимствования	karkōm (4:14)	zafn <i>Aug., Cr., Bas. / zafron Konst.</i>	шафран харкомъ, шафран <i>Забел.</i>	шафранъ
	mənullāʾim ba-ttaršiš [...] mēʿullēpet sappîrîm 'наполненные яшмой [...] покрытые сапфирами' (5:14)	givoylt mit yachnt [...] giwaundn mit safir <i>Aug., Cr., Bas. / givoylt mit yachtsink [...] gibondn mit sfirn Konst.</i>	полны яко- же драгьи камень [...] перевивано яхонты	полны яхонту [...] завивано шафиромъ
	lûʾh ʾárez 'доска кедровая' (8:9)	eyn tavl tenn <i>Aug. / eyn tavln tenn Konst. / eyn tavil tenn Cr., Bas.</i>	тавлы кедровы тавлы. рекше, скрыжали <i>Забел.</i>	дошку цедрову
ha-ddûdāʾim 'мандраторы' (7:14)	di weyln <i>Aug., Cr., Bas. / di (alroann – weyln) Konst.</i>	а-фиолы	а-фиолы	
III. Нетекстуальные лексические заимствования	samməḳûnî bāʾāšišōt 'подкрепите меня сладстями' (2:5)	untr leyn mich mit zemil <i>Aug., Cr., Bas. / untr leynt mich mit zimln Konst.</i>	скружил мя въ цолтах подпречите мя цолтами, рекше кубкы <i>Забел.</i>	подоприте мя кубкы
	mēʿāšê ha- Lləbānôn 'от деревьев Ливана' (3:9)	von holts des wald <i>Aug. / von holts dis walds Konst. / fon hoyltsir des wald Cr., Bas.</i>	от дрѣва лѣснаго ливанон, лѣсъ <i>Забел.</i>	от дерева Ливанова
IV. Индивидуальные семантические кальки	mēšārîm ʾahēbūḳā 'справедливо любят тебя' (1:4)	di rechoertign tsadiqim zi habn lib dich <i>Aug. / di recht oertign zi habn lib dich Konst. / di rechtn tsadiqim habn lib dich Cr., Bas.</i>	праведныя любят тя	правости полюбили тебе

(продолж.)

ТАБЛИЦА 2 (продолж.)

Уровень маркера	MT	Yid.	Муз.	Вил.
	šir hašširîm ʔašer li-šlômô ^h ‘Песнь песней, которая к Соломону’ (1:1)	ŠYR	Ширь гаши[ри]м ашир ли- Шломо	П̣ьсн п̣ьснеи
	mêrôʔš ʔĀmānāh mêrôʔš Šānîr wə-Ḥermôn ‘от вершины Амана, от вершины С(е)- нир’ (4:8)	...un von hoybt Šānîr un Ḥermôn	от вр̣ьху Амана. и от вр̣ьху Снирь. и Хермон	от верху Аманы от верху Снира и Хермона
V. Гебраизмы	min-ha-Ggilʿād ‘от Галаад’ (6:5)	von dem berq Gālʿād	от Гелаад от Гелаад <i>Забел.</i>	о Гелаад̣ь
	bə-Ḥešbôn ‘в Хешбоне’ (7:5)	von Ḥešbon	въ Хежбонѣ	въ Хежбонѣ
	bə-Báʿal Hāmôn ‘в Баал-Гамоне’ (8:11)	in štat der brumung des meynt Yərušālayim	въ Балгамонѣ	въ народе (Раши: “в Иерусали- ме, городе с мно- жеством народа”)

пументованный (*Забел.*) – ср. средневерхненемецкое *pimentäre* ‘торговец специями’ (Грищенко 2021: 32-33), а также слово *цолта* (*Муз.* и *Забел.*) – из средневерхненемецкого *zēlte* ‘плоский хлеб’, вряд ли бывшее в широком употреблении в старопольском языке (там же: 34).

Слова второго уровня лингвотекстологических маркеров *лата*, *никсус* и *тавла* были зафиксированы и в рутенском, и в польском языках XV-XVI вв., так что, как и во всех подобных случаях, может возникнуть резонное возражение: почему эти формы должны считаться показателями текстуальной связи между славянским и идишским переводами Песни песней? Строго говоря, это могли быть и языковые, а не текстуальные заимствования: *лата* – из средневерхненемецкого *latte*, *никсус* – из греческого *πίξος* через латинское *bixus*, *тавла* – из латыни через греческое, итальянское, а затем снова средневерхненемецкое посредничество (Грищенко 2021: 27-28) – сначала в чешский или польский язык, затем в рутенский, а затем эти слова попали в церковнославянский текст уже не как идишизмы, а как рутенизмы или полонизмы.

Эти обстоятельства, конечно, снижают вероятность перевода славянской Песни песней с идиша (или использование стародишского перевода в качестве контрольного), но другое обстоятельство – наоборот, повышает её, а именно т е к с т у - а л ь н а я п р и в я з к а. Случайность того, что эти, а не иные рутенизмы оказались ровно в тех же местах текста, где они были в тексте на языке, из которого они были заимствованы, представляется маловероятной. Ещё ниже она в тех случаях, когда в тексте-реципиенте оказывается заимствование из текста-донора, которое в текстах на языке-реципиенте является гапаксом, то есть когда мы достоверно не знаем, что некое заимствованное слово постоянно употреблялось в языке конечного перевода – как языковое заимствование, то есть что оно могло быть простым заимствованием из языка в язык, а не из текста в текст.

Итак, предложенная в этой статье иерархия лингвотекстологических маркеров, во-первых, вновь поднимает вопрос о правомочности существования такого метода, как лингвотекстологический, и такой дисциплины, как лингвистическая текстология (лингвотекстология), во-вторых, позволяет выявлять языки-посредники при трансляции текстов из одной неодноязычной традиции, коей являлась и до сих пор является иудейская, в иную – в нашем случае христианскую восточнославянскую. Насколько рабочей окажется предложенная система, покажет будущее, а именно удастся ли использовать её при анализе других аналогичных памятников, в частности упоминавшейся выше *Славянской Есфири*.

Литература

- Алексеев 1987: А.А. Алексеев, *Переводы с древнееврейских оригиналов в древней Руси*, “Russian Linguistics”, XI, 1987, pp. 1-20.
- Алексеев 1993: А.А. Алексеев, *Русско-еврейские литературные связи до 15 века*, в: W. Moskovich et al. (eds.), *Jews and Slavs*, I, Jerusalem-St. Petersburg 1993, с. 44-75.
- Алексеев 2001: А.А. Алексеев, *Текстология переводных произведений (Священное Писание)*, в: Д.С. Лихачев, *Текстология (на материале русской литературы X-XVII вв.)*. Санкт-Петербург 2001, с. 689-717.
- Алексеев 2002: А.А. Алексеев, *Песнь песней в древней славяно-русской письменности*, Санкт-Петербург 2002.
- Алексеев 2003: А.А. Алексеев, *Еще раз о книге Есфирь*, “Русский язык в научном освещении”, 2003, 1(5), с. 185-214.
- Алексеев 2005: А.А. Алексеев, *Масоретский текст в России*, в: W. Moskovich et al. (eds.), *Jews and Slavs*, XV, Jerusalem-Sofia 2005, с. 195-210.

- Алексеев 2014: А.А. Алексеев, *Русско-еврейские литературные связи Киевской эпохи. Результаты и перспективы исследования*, в: В. Москович, М. Членов, А. Торпусман (ред.), *Кенааниты: Евреи в средневековом славянском мире*, Москва-Иерусалим 2014 (= *Jews and Slavs*, XXIV), с. 166-182.
- Алексеев 2018: А.А. Алексеев, *Еврейские источники в литературной традиции древней Руси*, в: А.М. Молдован (ред.), *Письменность, литература, фольклор славянских народов. История славистики. XVI Междунар. съезд славистов. Доклады российской делегации*, Москва 2018, с. 5-17.
- Архипов 1995: А.А. Архипов, *По ту сторону Самбатриона: Этюды о русско-еврейских культурных, языковых и литературных контактах в X-XVI веках*, Oakland (CA) 1995 (= *Monuments of Early Russian Literature*, IX).
- Буланин 2014: Д.М. Буланин, *Текстология древнерусской литературы: ретроспективные заметки по методологии*, "Русская литература", 2014, 1, с. 18-51.
- Горский 1860: [прот. А.В. Горский], *О славянском переводе Пятикнижия Моисея, исправленном в XV в. по еврейскому тексту*, в: *Прибавления к Творениям св. Отцев*, XIX, 1860, 1, с. 134-168 (1-я паг.).
- Грищенко 2017: А.И. Грищенко, *Правленое славяно-русское Пятикнижие XV века и тюркский таргум: проблема взаимного влияния*, "Rossica Olo-mucensia", LVI, 2017, 2, с. 5-51.
- Грищенко 2018а: А.И. Грищенко, *Правленое славяно-русское Пятикнижие XV века: предварительные итоги лингвотекстологического изучения*. Москва 2018.
- Грищенко 2018б: А.И. Грищенко, *Языковые и литературные контакты восточных славян и евреев в средние века. Итоги и перспективы изучения*, "Studi Slavistici", XV, 2018, 1, с. 29-60, DOI: 10.13128/Studi_Slavis-20511.
- Грищенко 2019: А.И. Грищенко, *Ещё раз о происхождении кириллической буквы "Э": кириллица, глаголица или еврейское письмо?*, "Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu", 2019, 69, s. 35-69, DOI: 10.31745/s.69.2.
- Грищенко 2020: А.И. Грищенко, *Археография и текстология Правленого славяно-русского Пятикнижия XV века: новые данные*, "Славяноведение", 2020, 4, с. 68-87, DOI: 10.31857/So869544X0010421-6.
- Грищенко 2021: А.И. Грищенко, *Глоссарий к Песни песней в "Забелинской подборке": заимствованная лексика и её источники*, "Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия III: Филология", 2021, 67, с. 11-49, DOI: 10.15382/sturIII202167.11-49.

- Желязкова 2016: В. Желязкова, *Книга Исход в южнославянских списках XV-XVI вв.*, "Studi Slavistici", XIII, 2016, с. 243-256, DOI: 10.13128/Studi_Slavis-20432.
- Лурье 2017: В.М. Лурье, *Происхождение "русской" Есфири: еврейский → греческий эпохи эллинизма → сирийский → славянский*, в: А.Х. Элерт (ред.), *Проблемы сохранения отечественной духовной культуры в памятниках письменности XVI-XXI вв.*, Новосибирск 2017 (= *Археография и источниковедение Сибири*, XXXVI), с. 52-66.
- Люсен 2001: И. Люсен, *Книга Есфирь: К истории первого славянского перевода*, Uppsala 2001 (= *Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Slavica Upsaliensia*, XLI).
- Мещерский 1978: Н.А. Мещерский, *Издание текста древнерусского перевода Книги Есфирь*, "Acta Universitatis Szegedensis. Dissertationes slavicae", XIII, 1978, pp. 131-164.
- Пичхадзе 1996: А.А. Пичхадзе, *Из истории четвего текста славянского Восьмикнижия*, "Труды Отдела древнерусской литературы", XLIX, Санкт-Петербург 1996, с. 10-21.
- Топоров 1962: В.Н. Топоров, *Из области теоретической топонимстики*, "Вопросы языкознания", 1962, 6, с. 3-12.
- Успенский 2012: Б.А. Успенский, *Имя Бога в славянской Библии (К вопросу о славяно-еврейских контактах в Древней Руси)*, "Вопросы языкознания", 2012, 6, с. 93-122.
- Успенский 2013: Б.А. Успенский, *Буква Э в древнерусских певческих текстах и в списках библейской книги Исход*, "Вопросы языкознания", 2013, 6, с. 79-114.
- Успенский 2014: Б.А. Успенский, *Из истории славянской Библии: Славяно-еврейские языковые контакты в Древней Руси (на материале Nomina sacra)*, "Вопросы языкознания", 2014, 5, с. 24-55.
- Altbauer, Taube 1984: M. Altbauer, M. Taube, *The Slavonic Book of Esther: When, Where, and from What Language was it Translated?*, "Harvard Ukrainian Studies", VIII, 1984, 3-4, pp. 304-320.
- Grishchenko 2019: A.I. Grishchenko, *The Church Slavonic Song of Songs Translated from a Jewish Source in the Ruthenian Codex from the 1550s (RSL Mus. 8222): A New Revised Diplomatic Edition*, "Scriinium", XV, 2019, 1, pp. 111-131, DOI: 10.1163/18177565-00151P08.
- Lunt 1985: H.G. Lunt, *The OCS Song of Songs: One translation or Two?*, "Die Welt der Slaven", XXX, 1985, 2, pp. 279-317.
- Lunt, Taube 1988: H. Lunt, M. Taube, *Early East Slavic Translations from Hebrew?*, "Russian Linguistic", XII, 1988, pp. 147-187.

- Lunt, Taube 1998: H. Lunt, M. Taube, *The Slavonic Book of Esther. Text, Lexicon, Linguistic Analysis, Problem of Translation*. Cambridge (MA) 1998.
- Németh 2021: M. Németh, *The Western Karaim Torah. A Critical Edition of a Manuscript from 1720*, I-II, Leiden-Boston 2021 (= *The Languages of Asia Series*, XXIV), DOI: 10.1163/9789004447370.
- Shapira 2019: D. Shapira, *An Unknown Jewish Community of the Golden Horde*, “*Studia Uralo-altaica*”, LIII, 2019, с. 281-294, DOI: 10.14232/sua.2019.53.281-294.
- Shapira 2021: D. Shapira, *Judeo-Turkic languages and dialects: Judeo-Crimean-Turkic, Krymchak, Karaim, and others*, in: E. Lutz and O. Tirosh-Becker (eds.), *Jewish Languages: Text Specimens, Grammatical, Lexical and Cultural Sketches*, Wiesbaden 2021, pp. 711-762.
- Taube 1985: M. Taube, *On Two Related Slavic Translations of the Song of Songs*, “*Slavica Hierosolymitana*”, VII, 1985, pp. 203-209.

Abstract

Alexander Igorevich Grishchenko

The Linguistic-Textual Markers in the Late Medieval Slavonic Biblical Translations from Jewish Originals

The article raises the question of language items (words or phrases) which could be the markers of a textual relationship between Biblical translations and their originals, on the examples of two East Slavonic texts created presumably in the 15th century in the Ruthenian lands of the Grand Duchy of Lithuania. The article is based on the data of the edited Slavonic-Russian Pentateuch and two versions of the East Slavonic translation of the Song of Song, from the museum (Russian State Library, Moscow, mid-16th century) and Vilna copies (Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, Vilnius, first quarter of the 16th century), including the glossary for both versions from the so-called Zabelin Set, a cluster of Biblical texts translated from Jewish sources into Old Ruthenian from the 17th-century manuscript (State Historical Museum, Moscow). These examples demonstrate the importance of the search for possible intermediary languages for texts, which, by all formal indicators, are the fruit of direct language and literary contacts between Slavs and Jews. There are proposed methods of ascertaining an original language and the language of a possible intermediary through a system of linguistic-textual markers. The weakest linguistic-textual markers are Hebrew loanwords written with Cyrillic script, especially when these are proper names only. Such forms do not exclude the possibility that their source was not the Masoretic Text itself, but translations of the latter made within the framework of the same Jewish tradition, i.e., the *Targums* (cfr. in particular the 'Old Yiddish Targum' and the 'Judeo-Turkic Targum'). The most reliable linguistic-textual marker turns out to be the presence of words that are not just foreign-language borrowings and not from the Hebrew language, but that also qualify as *hapaxes* that were not adopted by the language of the book tradition into which the corresponding translation was made. Between these two extreme types of markers there are intermediate steps, which in different ways reveal the presence of an intermediary language and an intermediary text, but as a whole, all the markers speak in favor of the existence of these intermediaries.

Keywords

Slavonic Bible; Jewish-Christian Relations; Pentateuch; Song of Songs; Old Ruthenian; Church Slavonic; Judeo-Turkic; Old Yiddish; Language Contacts; Targumim; Linguistic-Textual Studies.

Лора Тасева
Мария Йовчева

Тексты для богослужебного употребления из Книги пророка Иезекииля в Острожской Библии. Между традицией и инновацией

В современной системе богослужебных чтений Православной церкви Книга пророка Иезекииля используется относительно редко. В основном употребляются тексты трех важнейших теофаний, наполненных яркими аллегориями и загадочной символикой, которые оказывают исключительно сильное влияние на христианскую литературу и искусство вообще. Поскольку данные чтения являются объектом настоящей статьи, коротко представим их.

В богослужении Страстной седмицы читаются четыре паримии: в Великий понедельник, Великий вторник, Великую среду и Великую субботу¹. Текст первых двух (Иез 1:1-20 и Иез 1:21-2:1) содержит описание славы Господней в виде небесной колесницы, состоящей из четырех херувимов, поднимающихся над четырьмя образами: человека, льва, тельца и орла, т. наз. тетраморф. Его смысл интерпретируется как подтверждение того, что Яхве не бросил изгнанников во время вавилонского плена (Лявданский, Барский 2009: 200-201). В некоторых средновековых паримейниках и минеях, связанных с локальными византийскими традициями, чтения Иез 1:1-20 и Иез 1:21-2:1 приурочены также тематически к двум праздникам бесплотных сил – 8-го ноября и 6-го сентября (Йовчева, Тасева 2001: 65-80). Третья паримия (Иез 2:3-3:3), предназначенная для Великой среды, передает в метафорической форме получение пророческого дара Иезекиилем как поглощение свитка с буквами. Четвертый текст (Иез 37:1-14) является частью предпасхального богослужения на утрени Великой субботы. Пророк рассказывает о видении поля, усталого сухими костями, которые после изреченного по Божию внушению пророчества оживают. В ветхозаветном контексте это видение воспринимается как пророчество о даре Божественного духа и о восстановлении Нового Израиля. Пророческое повествование переосмыслено как прообраз новозаветной Пасхи (Лявданский, Барский 2009: 207). Паримия име-

¹ Первые три паримии не касаются непосредственным образом литургических тем для соответствующих дней, но их употребление связано с константинопольской кафедральной практикой читать целиком во время Великого поста и Страстной седмицы семь наиболее важных ветхозаветных книг, среди которых и Книга Иезекииля (см. Алексеев 2008: 181-184; Лявданский, Барский 2009: 215, и цитированную в этих публикациях литературу).

ет активное богослужбное употребление в связи с тем, что входит в чины отпевания и поэтому распространяется также в евхологиях и требниках.

Пятая паримия (Иез 36:24-28) читается на вечерне Пятидесятницы. Ее содержание отражает восстановление Завета с Богом, который, собрав сынов Израилевых, очистит их водой, даст им новое сердце и вложит в них Свой дух, с тем чтобы они ходили в Его заповедях и соблюдали Его уставы. В экзегетической литературе данный текст воспринимается как прообраз Сошествия Св. Духа для нравственного и физического обновления естества (Скабалланович 1916: 68-69; Лявданский, Барский 2009: 207)².

В современном богослужении для неподвижных праздников используется лишь одно чтение из Книги Иезекииля – Иез 43:27-44:3, являющееся частью видения о восстановлении Иерусалимского храма и об опечатанной восточной двери. Экзегетическая традиция придает этому предсказанию и мариологический смысл и связывает его с тайной приснодевства Св. Богородицы (Скабалланович 1915: 43-45; Этингоф 2000: 24-25, 28-29, 31; Лявданский, Барский 2009: 208-209; Hannick 2016: 72-73).

В статье рассматриваются в сопоставительном плане основные славянские разновидности, возникшие с IX по XVI в., текстов из Книги пророка Иезекииля, читаемых на подвижные праздники. Это: а) паримейный перевод, связанный с деятельностью святых Кирилла и Мефодия (далее Р) (Тасева, Йовчева 2003: 37-39, 40-46); б) полный преславский перевод толковой версии Феодорита Кирского (далее Т) (Тасева, Йовчева 2003: 39-40, 53-60); в) афонская редактированная версия XIV в. в составе Триоди (далее А) (Тасева, Йовчева 2003: 46-49); г) текст в Геннадиевской Библии (далее G); д) текст в Острожской Библии (далее O). Паримия на Богородичные праздники не является предметом данного исследования, так как из-за сложной текстовой истории Минеи в отношении этой гимнографической книги (в отличие от Октоиха и Триоди) все еще не уточнены представители Афонской редакции.

Данное исследование сосредоточено на паримейных чтениях, поскольку они отличаются наиболее длинной и развернутой традицией, что обуславливает наибольшую сложность текстовых и внетекстовых влияний. Необходимо припомнить, что в Средние века широкие слои населения Византии (а также среди славян) воспринимали Священное писание (в особенности Ветхий Завет) не в его современном понимании как единый кодекс, а как корпус богослужбных текстов и связанных с ними проповедей, доступных преимущественно через устные каналы коммуникации (Miller 2014: 55-76; Гардзанити 2014: 19-23). Библейские тексты зависят от механизма функционирования церковной памяти, которая, со своей стороны, в основном представляет собой словесную память (память слова), сложившуюся именно в контексте богослужения (Гардзанити 2014: 25-30). Как раз методически значимый взгляд, что Библия присутствует в средневековой жизни, мысли и культуре прежде всего через

² В ранней иерусалимской практике стихи данной паримии относятся также к празднику Богоявления, поскольку им придается прообразовательное значение в связи с Крещением (Лявданский, Барский 2009: 215).

свое литургическое употребление и что языковая и литературная коммуникация в эту эпоху в большой степени зависимы от церковного ритуала (Наумов 2020: 56, 148-149, 216-217), требует самостоятельного исследования ветхозаветных чтений.

В нашей работе использованы следующие рукописи и издания первичных источников:

- *для греческих текстов*
 - S Септуагинта (изд.: Ziegler 1952)
 - Pt Профетологий (изд.: Нøeg, Zuntz 1939-1970)
- *для славянских текстов*
 - P Паримейный перевод (IX в.) – по Григоровичеву паримейнику, болг., XII-XIII вв., с разночтениями по Лобковскому (Хлудовскому) паримейнику, болг., XIV в., и по Захариинскому паримейнику, древнерусск., 1271 г. (изд.: Рибарова, Хауптова 1998)
 - T Четья-версия с толкованиями Феодорита Кирского (нач. X в.) – по рукописи РНБ, F.I.461 (болг., XIV в.) с разночтениями по рукописям ГИМ, Щукин 507, болг., 1475 г. (Изд.: Тасева, Йовчева 2003); РНБ, F.I.3, русск., XV в. (по фотокопиям); по спискам в Великих минеях четьих митрополита Макария в Успенском комплекте ГИМ, Син 996, 1552-1553 гг. – M1 (2510б-2810б) и M2 (282-3500б) (по фотокопиям)
 - A Афонская редакция паримий (XIV в.) – по Триоди Цветной, Sinait. Slav. 24, болг., XIV в.³ (по цифровым копиям на сайте Библиотеки Конгресса (Вашингтон): <<https://www.loc.gov/collections/manuscripts-in-st-catherines-monastery-mount-sinai>> (последнее обращение: 9.03.2021)
 - G Геннадиевская Библия, ГИМ, Син. 915, русск., 1499 г. (по фотокопиям)
 - O Острожская Библия, 1580/1581 г. (по изданию: <[https://txt.drevle.com/text/ob1581-33-iIezekiil/1](https://txt.drevle.com/text/ob1581-33-iIezekiil/1>)>) (последнее обращение: 18.02.2021).

Анализ сконцентрирован на вариативности на текстовом уровне, в основном на переводческом выборе при передаче определенных греческих лексем и конструкций, причем его целью является установление соотношения между унаследованным богатой предыдущей традицией и нововведением в тексте Острожской Библии. Систематизированы закономерности, касающиеся предпочтений вариантам определенных текстовых разновидностей, и поставлен вопрос о мотивации инновативных решений в первой печатной Библии славян. Проведенные нами наблюдения будут представлены в трех разделах, включающих полноту текста, синтаксические особенности и лексику.

³ О том, что оба кодекса Sinait. Slav. 23 и Sinait. Slav. 24 являются представителями афонской редакции Триоди, см. Тасева, Йовчева 2003: 47-49; Попов 2004; Ангушева-Тиханова и др. 2010: 315, 317, 330.

1. Полнота текста

На этом уровне будут прокомментированы пропуски и дополнения в отношении как греческого текста, так и славянских версий.

1.1. Пропуски

Было установлено, что пропуски целых выражений относительно греческих источников, являющиеся общими для полного преславского перевода в толковой версии и для Геннадиевской Библии, не переносятся в Острожскую. Они заполнены, причем ее текст всегда совпадает как с афонским, так однократно – и с двумя паримейными переводами. Помимо целого второго стиха, отсутствующего в Толковом и Геннадиевском тексте, в Острожской Библии установлены еще четыре лакуны в стихах 1:1, 1:3, 1:14 и 2:3. Приведем два из них:

Иез 1:1	ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Χοβάρ, καὶ ἠνοίχθησαν οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδον ὀράσεις θεοῦ.
P	на рѣцѣ ховаръцѣн · н ѡврѣзошѣ са небса · н вндѣхѣ вндѣнїе бжїе ·
T	на рѣцѣ ховарѣ:—
A	прн рѣцѣ, ховарь:— н ѡврѣзошѣ небса · н вндѣ вндѣнїе бжїе
G	на рѣцѣ хорнѣ ·
O	прн рѣцѣ ховѣ · ѡврѣзоша са небса, н вндѣ вндѣнїе бжїе,
Иез 1:14	[καὶ τὰ ζῶα (το φως про τα ζ. 46) εἰτρεχον (-χε(ν) L"-36-Z ^V ; ανετρεχον 147) καὶ ανεκαμπτον (-τε(ν) ταχει L-311-449-Z ^V ; ανεκαμπτεν 46 + εν ταχει V; + ταχει 62 538) ...
P	н жнвотна тѣчѣхѣ · н ѡбрацахѣ са скоро
T	н ѡбрацахѣ са
A	н жнвотнаѣ, тѣчѣхѣ н вѣзвращахѣ са
G	н ѡбрацахѣса
O	н жнвотнаѣ тѣчѣхѣ н ѡбрацахѣса

То же самое касается и отсутствия отдельных слов в некоторых разновидностях в Иез 1:19, 1:23 (x2), 2:3 (x2), 37:2, напр.:

Иез 1:19	καὶ ἐν τῷ πορεύεσθαι τὰ ζῶα
P	н вѣнегда нтн жнвотнѣмъ
T	н вѣнегда ндѣхѣ
A	н вѣнегда шествоватн жнвотнѣмъ
G	н вѣнегда ндѣхѣ
O	н внегда шествоватн жнвотнымъ

Иез 1:23	ἐκάστω δύο συνεζευγμένοι [om. S] ἐπικαλύπτουσαι τὰ σώματα αὐτῶν.
Р	коѣмѣждо двѣи мнѣсѣ! прикрывающе тѣлеса нхъ ·
Т	коѣмоуждо двѣ покрывающн тѣлеса
А	комоужо, ѡ двѣ съпращенѣ, покрывающе тѣлеса своа ·
Г	коѣмѣждо двѣ покрывающн телеса ·
О	коѣмѣждо двѣ съпращенѣ покрывающн телеса своа ·

Нами не были обнаружены специфические для Острожской Библии пропуски выражений относительно предыдущей традиции. Засвидетельствованы всего 19 пропусков единичных слов, которые, как правило, отсутствуют и в большинстве славянских версий, или реже – только в одной, напр.:

Иез 1:21	σὺν αὐτοῖς – Р с нїмї – TAGO om.
Иез 37:12	om. S Pr] λαός μου = L"Tht. – PTG люднє мої – AO om.

Единственным исключением пропуска только в печатной Библии, по всей видимости, является случайный недосмотр, поскольку нет параллели в двух использованных греческих критических изданиях:

Иез 1:18	κυκλόθεν S Pr – Р ѡкрѣтъ – Т ѡкрѣтъ – А ѡкрѣтъ – Г ѡкрѣтъ – О om.
----------	---

1.2. Дополнения

В Острожской Библии воспроизводятся единичные слова, присутствующие в преславской версии и в Геннадиевской Библии, для которых нет греческих соответствий, например:

Иез 1:1	πέμπτη τοῦ μηνός
Р	вѣ · ѣ · н мѣца ·
Т	патын днѣ мѣца ·
А	патын, мѣсаца ·
Г	патын днѣ мѣца ·
О	патын днѣ мѣца ·
Иез 1:23	καὶ ὑποκάτω τοῦ στερέωματος αἱ πτέρυγες αὐτῶν
Р	н подъ тѣрѣдна крнла нхъ
Т	н̣ подъ оутвержденнмъ, под̣ крнла н̣
А	н̣ подъ тврѣдна, крнла нхъ
Г	н̣ подъ оутверженїемъ подъ крнла нхъ
О	н̣ подъ оутверженїемъ под̣ крнла н̣

В О было замечено лишь одно дополнение без поддержки в предыдущей традиции, имеющее параллель в одном греческом источнике:

Иез 1:2	τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ βασιλέως Ἰωακὶμ [+ <i>ιουδα</i> 534]
Р	плѣвненію нѣкнмѣ црѣю ·
Т	om.
А	плѣвненіе црѣѣ нѣвѣкнма ·
Г	om.
О	плѣвненіа іодѣкіма црѣ <u>іуднна</u> ·

Хотя и единственный на данном этапе, этот случай является свидетельством того, что при создании печатного текста, по всей видимости, использованы и греческие источники.

Можно обобщить, что рассмотренные отрывки из Острожской Библии отличаются довольно большой тщательностью по отношению к их текстовой полноте. Пропусков целых выражений нет, а отсутствующие отдельные слова или дополнения относительно греческого текста почти без исключения находят поддержку в предыдущих версиях. Лишь в одном случае добавленное слово не засвидетельствовано во всей славянской и в преобладающей части византийской традиции, но все-таки оно имеет параллель в одном греческом источнике.

2. Синтаксис

Во вторую группу данных объединяются некоторые синтаксические особенности. В качестве одного из самых устойчивых уровней текста синтаксис всегда занимает важное место в исследовании текстовой традиции. Анализируемые паримии предлагают богатый материал для такой специфической греческой конструкции, как $\acute{\epsilon}\nu\ \tau\acute{\omega} + \text{infinitiv}$, где налицо вариативность переводных коррелятов. В греческом тексте имеются 13 подобных примеров, сосредоточенных в чтениях в Великие понедельник, вторник и субботу. Обобщенные данные об их передаче в рассматриваемых текстовых разновидностях следующие:

- дательный падеж + инфинитив засвидетельствован 16 раз в раннем паримейном тексте (на три больше, чем в греческом оригинале, поскольку стих 21 имеет место как в конце первой паримии, так и в начале второй), 11 раз в афонском и 5 раз в Острожской Библии;
- только инфинитив употребляется один раз в афонской версии;
- личная форма глагола зарегистрирована 13 раз в преславском толковом переводе и в Геннадиевской Библии и 8 раз в Острожской.

Данные представлены в ТАБЛИЦЕ 1.

ТАБЛИЦА I

ἐν τῷ + inf.	P	T	A	G	O
дат. + инф.	16 (13 + 3)	–	11	–	5
инф.	–	–	1	–	–
личная гл. ф.	–	13	–	13	8

По всей видимости, в традиции, предшествующей выпуску первой печатной Библии, тексты богослужебных книг четко разграничиваются от текстов в небогослужебных. Если проанализировать пять случаев, где Острожская Библия отличается от соответствующего выбора в толковом переводе, то можно заметить, что в этих местах она следует не только синтаксической, но и лексической модели афонской паримейной версии, часто совпадающей с Кирилло-Мефодиевским переводом, например:

Иез 1:9 ἐν τῷ βαδίσειν αὐτά

P ВЪНЕГДА ХОДІТН НМЪ ·

T ВЪНЕГДА НД'ВХЖ ·

A ВЪНЕГДА ХОДНТН НМЪ ·

G ВНЕГДА НДАХЖУ

O ВНЕГДА ХОДІТН Н,

Иез 1:19 ἐν τῷ πορεύεσθαι τὰ ζῶα [...] ἐν τῷ ἐξάγειν τὰ ζῶα

P ВЪНЕГДА НТН ЖНВОТНЗІМЪ [...] ВЪНЕГДА ВЪЗЪДВНЪЗТН СА НМЪ · ЖНВОТНЗІМЪ

T ВЪНЕГДА НД'ВХЖ · [...] ЕГДА ВЪЗДВНГН'БАХЖ СА ЖНВОТН

A ВЪНЕГДА ШЕСТВОВАТН ЖНВОТНЗІМЪ [...] ВЪНЕГДА ВЪЗДВНЪЗТН СА ЖНВОТНЗІМЪ

G ВЪНЕГДА НДАХЖ' [...] ЕГДА ВЪЗДВНГНАХЖСА ЖНВОТН

O ВНЕГДА ШЕСТВОВАТН ЖНВОТНЫМЪ [...] ВНЕГДА ВЪЗДВНГСАТНСА ЖНВОТНЫМЪ

Иез 37:13 ἐν τῷ ἀνοίξει με τοὺς τάφους ὑμῶν

P ВЪНЕГДА ѠВЕРЕСТН МН ГРОБЪИ ВАШЖ

T ЕГДА ѠВЕРЪЗЖ ГРОБЫ ВАШЖ

A ВЪНЕГДА ѠВЕРЕСТН МН ГРОБЪИ ВАШЖ

G ЕГДА ѠВЕРЪЗ' ГРОБЫ ВАША

O ВНЕГДА ѠВЕРЪСТН МН ГРОБЫ ВАША

В остальных восьми позициях печатный текст сохраняет синтаксическую модель толкового перевода, например:

Иез 1:21	ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτὰ [τα ζῶα P] [...] ἐν τῷ ἐστάναι αὐτὰ [...] ἐν τῷ ἐξαίρειν αὐτὰ
P	ВЪНЕГДА ХОДНТН ЇМЪ [...] ВНЕГДА СТОѢТН ЇМЪ [...] ВЪНЕГДА ВЪЗЪДВНЪЗАТН СА НМЪ // ВЪНЕГДА ШЕСТВОВАТН ЖНВОТНЪИМЪ [...] ЕГДА СТОИДТН [...] ВЪНЕГДА ВЪЗЪИМАТН СА НМЪ
T	ВЪНЕГДА НДЪАХЪ СНН, [...] ЕГДА СТОАХЪ СНН [...] ЕГДА ВЪЗДВНГНЪАХЪ СА
A	ВЪНЕГДА ХОДНТН ЖНВОТНЪИМЪ [...] ВЪНЕГДА СТОДТІ НМЪ [...] ВЪНЕГДА ВЪЗЪВНЪЗАТН СА НМЪ
G	ВЪНЕГДА НДАХЪ СНН [...] ЕГДА СТОАХЪ СНН [...] ЕГДА ВЪЗДВНГНАХЪСА
O	ВЪНЕГДА НДАХЪ СІН [...] ЕГДА СТОАХЪ СІН [...] ЕГДА ВЪЗДВНШАХЪСА
Иез 1:24	ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτὰ [εν τω πτερουσ(σ)εσθαι αυτα 88 (sub ÷) L-V-46-Z ^V C Thт.] [+ εν τω πορευεσθαι αυτα L ³⁶ -763-V-449-Z ^V Thт.] καὶ ἐν τῷ ἐστάναι αὐτὰ
P	ТРЕПЛАЦЕМЪ СА НМЪ · [...] ВЪНЕГДА ХОДНТН ЇМЪ [...] Н ВЪНЕГДА СТОѢТН ЇМЪ
T	ВЪНЕГДА ПАРЪАХЪ [...] ВЪНЕГДА НДЪАХЪ СНН [...] ВЪНЕГДА СТОАХЪ
A	от. εν τω πτερουσ(σ)εσθαι αυτα [...] ВЪНЕГДА ХОДНТН НМ [...] ВЪНЕГДА СТОДТІ НМЪ
G	ВНЕГДА ПАРАХЪ [...] Н ВЪНЕГДА НДАХЪ СЫ [...] ВЪНЕГДА СТОАХЪ
O	ВНЕГДА ПАРАХЪ [...] ВНЕГДА НДАХЪ СІН [...] ВНЕГДА СТОАХЪ

Заслуживает внимания тот факт, что один раз эта конструкция сочетается с лексикой афонского паримейного текста:

Иез 1:17	ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτὰ
P	ВЪНЕГДА НТН ЇМЪ ·
T	ВЪНЕГДА НДЪАХЪ ·
A	ВЪНЕГДА ШЕСТВОВАТІ НМЪ,
G	ВЪНЕГДА НДАХЪ ·
O	ВНЕГДА ШЕСТВОВАХЪ

Можно обобщить, что четкое разграничение между двумя функциональными разновидностями в исследованных текстах при передаче конструкции ἐν τῷ + inf., соблюдаемое в период до Геннадиевской Библии, включая и ее, нарушается в Острожской, где в двух пятых случаев предпочтен афонский текст, хорошо знакомый из списков триодей.

3. *Лексика*

Центральное место во всех текстологических наблюдениях занимает *лексическая вариативность*. Полная коалляция исследованных чтений в пяти версиях дала следующие количественные результаты. Зарегистрировано 362 позиции, где по крайней мере одна из разновидностей отличается от остальных. Было установлено 33 разные конstellации (комбинации совпадений и противопоставлений) в рамках пяти версий, причем 23 из них появляются в небольшом числе случаев (до пяти), и, соответственно, не имеют существенного значения для количественного анализа лексических отношений между данными разновидностями. Остальные 10 конstellаций охватывают 316 случаев позиционной вариативности, причем среди них преобладают определенные комбинации. Детальное распределение конstellаций согласно общей частоте с данными об их наличии по паримиям предлагается в ТАБЛИЦЕ 2.

Чаще всего имеют место противопоставления двух паримейных переводов трем источникам полного текста книги – 63 случая PA ↔ TGO, напр.:

Иез 1:4	ἤλεκτρον – Р електора, А ѓлектра – Т чнстадо прѣда, G чнстаго прѣда, О чнстаго прѣда
Иез 1:4	πνεῦμα – PA дхъ – TGO вѣтръ
Иез 1:23	πτερουσόμενοι – Р тлеплица са, А треплаце – Т съкрнлѣщн са – G скрнлающнса – О съкрылѣющнса
Иез 1:23	στερεώματος – PA тврѣдна – Т оутврѣжденымъ – G оутврѣженіемъ – О оутвер'женіемъ
Иез 1:28	φέγγους – Р зрада, А зра – TGO свѣта
Иез 37:10	ἐνετείλατο – PA заповѣда – TGO повелѣ
Иез 37:10	συναγωγή – Р сънъмъ, А сънемъ – ТО съборъ, G съвѣръ

На втором месте по частотности (52 примера) те случаи, когда Острожская Библия разделяет чтение паримейных версий, в то время как преславский толковый перевод и Геннадиевская Библия дают общий вариант, или когда ранний паримейный перевод противопоставляется всем остальным версиям, напр.:

PAO ↔ TG

Иез 1:10	ἐξ ἀριστερῶν – Р ѡ шуула, А ѡ шууѣ, О ѡшѣю – Т ѡ лѣво, G ѡлѣво
Иез 1:11	ἐκτεταμέναι – PA прострѣта, О простѣрта – TG протажена
Иез 1:13	ἀνθράκων – Р агн, А жглемъ, О оуглемъ – Т главень, G глѣвень
Иез 2:6	παροιστήσουσι – Р расверѣпѣатъ, А расверѣпѣжтъ, О рѣсверѣпѣютъ – Т пострѣчатъ, G пострѣчють
Иез 37:7	προφητεύσαι – Р пррѣѣствоватн, А пррѣѣговатн, О пророцествоватн – TG прорнца

ТАБЛИЦА 2

частота	конstellация	Иез 1-3	Иез 36	Иез 37
63	PA-TGO	36	6	21
52	PAO-TG	45	1	6
52	P-TAGO	28	3	21
46	A-PTGO	22	5	19
30	P-TGO-A	21	2	7
24	PTG-AO	21	0	3
20	P-TG-AO	20	0	0
13	T-PAGO	9	1	4
9	G-PTAO	9	0	0
7	P-T-AO-G	7	0	0
5	PGO-T-A	4	0	1
4	O-PTAG	3	0	1
4	PTA-GO	3	0	1
3	PA-TO-G	1	2	0
3	PT-AO-G	3	0	0
2	P-TG-A-O	1	1	0
2	PTG-A-O	0	0	2
2	PGO-TA	1	0	1
2	PG-T-AO	1	0	1
2	PO-TAG	1	0	1
2	PG-TAO	2	0	0
2	PO-TG-A	2	0	0
2	P-T-A-GO	0	0	2
2	PAO-T-G	2	0	0
1	PAG-TO	1	0	0
1	P-A-TGO	0	1	0
1	PO-T-A-G	1	0	0
1	PT-A-G-O	1	0	0
1	P-T-AGO	1	0	0
1	P-T-A-G-O	2	0	0
1	P-TO-AG	0	1	0
1	P-TO-AG	1	0	0
1	PT-AGO	1	0	0

P ↔ TAGO

Иез 1:7	σπινθήρες – P лъцищцинїа сд – T бланскащцш сд, A бланстаж сд, G бланскаюцсдса, O бланстаюцадса
Иез 37:1	ἔθηκεν – P положн – TAGO поставн
Иез 37:10	πολλή S P [μεγαλή A''-106'-403' Sinai. Gr. 13] – P велен – T мнóгъ, A мнoгъ, GO мнóгъ
Иез 37:6	ἀνάξω – P вьзъвращцш – TA вьзвездъ, GO вьзвездъ
Иез 37:9	εἶπὸν – P прѣрцн – T рьцн, A рекохъ, G рцн, O рцн

Близкие показатели (46 случаев) демонстрирует констелляция A ↔ PTGO, где лишь афонский перевод предлагает индивидуальное чтение, мотивированное иногда другим греческим источником, например:

Иез 1:1	τριακοστῶ [τριακοσιοστῶ S247] – P ·л·тное, T трдесатое, G трдесатное, O трдесаное – A трсътное
Иез 1:16	τροχός – PTGO коло – A колело
Иез 1:22	πτερύγων [κεφαλῆς] – P главоа, T главож, G главою, O главою – A крнлзї
Иез 3:3	πλησθήσεται – P насытнтъ сд, T насытнт сд, GO насытнса – A нпльнт сд
Иез 36:24	τὴν καρδίαν τὴν λιθίνην – P срце камъно, T срце камъное, G срце каманое, O срце каменое – A зьдъное срце ваше

Высокой частотностью отличаются также те случаи (30), когда оба паримейных перевода (ранний и Афонский) противопоставляются каждый в отдельности полным текстам (P ↔ TGO ↔ A), напр.:

Иез 2:5	παραπικραίνων – P прогнѣвалн – T разгнѣвалъ, G разгнѣвалн, O разгнѣвалї – A ѡгорѣвалн
Иез 2:8	παραπικραίνων ₁ – P прогнѣвалн [разгнѣвал Z] – T разгнѣвалн, G разгнѣвалн, O разгнѣвалн – A ѡгорѣвалъ
Иез 2:8	παραπικραίνων ₂ – P om. GrL [разгнѣвалн Z] – T разгнѣвалн, G разгнѣвалн, O разгнѣвал – A прогнѣвалн
Иез 37:5	φέρω S P [επαγω 967]; = Syhmg L'-46-449 Tht – P наношъ – T вьзвездъ, GO вьзвездъ – A прношъ
Иез 37:6	ἐκτενώ – P ѡпнъ – T прострѣ, GO прострѣ – A протлнъ
Иез 37:7	προσήγαγε – P сложн – T сьвзькоуплѣдъхъ сд, G сьвзькѣплѣдъса, O сьвокѣплѣдъса – A прнесе

Эти данные свидетельствуют о том, что в лексическом плане оба функционально связанных перевода (паримейный и полный) сохраняют относительную автономию в рамках традиции соответствующей книги.

Показательными являются, однако, относительно частые совпадения Острожской Библии лишь с афонской версией, тогда как остальные разновидности содержат либо общие варианты (24 случая РТG ↔ АО), либо общее соответствие в полных текстовых разновидностях и индивидуальное чтение в раннем Паримейнике (19 раз Р ↔ TG ↔ АО):

РТG ↔ АО

Иез 1:8	μέρη – Р ѳастн, Т ѳастн, Г ѳастн – А странѧ, О странѧхъ
Иез 1:17	μέρη – Р ѳастн, Т ѳастн, Г ѳастн – А странѧ, О странѧ
Иез 1:12	πορεύμενον – Р ндѧ, Т ѧды, Г ѧдын – А шествоуѧ, О шествѧ
Иез 1:17	τῷ πορεύεσθαι αὐτὰ – Р нтн ѧмъ, Т ѧдѧхѧ, Г ѧдахѧ – А шествоватѧ ѧмъ, О шествоваѧхѧ
Иез 1:19	τῷ πορεύεσθαι – Р нтн, Т ѧдѧхѧ, Г ѧдахѧ – А шествоватн, О шествоваѧтн
Иез 1:19, 20	ἐπορεύοντο – Р ндѧхѧ, Т ѧдѧхѧ, Г ѧдахѧ – А шествоваахѧ, О шествоваахѧ
Иез 1:7	σκέλη – Р голѧнн, TG голѧнн – АО стегнѧ
Иез 2:5	γνώσονται – Р разоумѧтъ, Т разѧмѧтъ, Г разѧмѧють – А познаѧтъ, О познаѧють

Р ↔ TG ↔ АО

Иез 1:18	νώτοι – Р заднѧ – Т хрѧвѧн, Г хрѧвѧн – АО плѧцн
Иез 2:4	om. [σκληροπροσωποι] – Р жестоцн – Т жестоцнн лнцы, Г жестоцн лнчесы – А жестоколнчнн, О жестоколнчнн
Иез 2:4	om. [στεреоκαρδιοι/θρασυκαρδιοι/στερειο καρδια] – Р ѡплазосѧднѧ – Т лютн ѣцн, Г лютн ѣцн – А тврѧдосрѧдѧчнн, О тврѧдосрѧдѧчнн

К ним примыкают и некоторые малочастотные оппозиции, как Р ↔ Т ↔ АО ↔ G (7 случаев), РТ ↔ АО ↔ G (3) и РG ↔ Т ↔ АО (2), напр.:

Иез 2:6	ἐπιστήσονται – Р възѧрамлатѧ – Т възѧжѧ – А ѡбѧдѧтѧ, О ѡбѧдѧтѧ – Г възѧнотѧ
Иез 1:10	ὁμοίωσις – Р пѡбѧствн – Т ѡблнчнн – А пѡбѧ, О пѡбѧ – Г ѡблнчѧ
Иез 1:16	ὁμοίωμα – Р пѡбѧствн – Т ѡблнчнн – А пѡбѧ, О пѡбѧ – Г ѡблнчѧ
Иез 1:26	ὁμοίωμα – Р пѡбѧствн – Т ѡблнчнн – А пѡбѧ, О пѡбѧ – Г ѡблнчѧ !
Иез 2:6	παραπικραίνων – Р прогнѧван, Т прогнѧвѧн – А ѡгорѧвѧн, О огорѧвѧн – Г разгнѧван
Иез 3:1	λάλησον – РG глн – Т сѧглн – А рѧцн, О рѧцн

Большая часть случаев обнаруживается в первых трех чтениях, тогда как в остальных двух подобные конstellации являются редкостью или отсутствуют.

ТАБЛИЦА 3

итого	О = Р	О = Т	О = А	О = G
741	131	209	180	221
%	18%	28%	24%	30%
Иез 1-3 (483)	96 = 20%	121 = 25%	140 = 29%	126 = 26%
Иез 36 (46)	3 = 6%	20 = 44%	5 = 11%	18 = 39%
Иез 37 (212)	32 = 15%	68 = 32%	35 = 17%	77 = 36%

Заслуживает внимания тот факт, что среди 49 констелляций с лексическим варьированием, где лишь О и А имеют общий вариант, 40 случаев находят поддержку в церковнославянской печатной Триоди⁴.

Если в рамках всех позиций с установленным лексическим варьированием отслеживается общее количество совпадений Острожской Библии с каждой из предыдущих разновидностей, в том числе общие чтения для более чем двух версий, то можно получить результаты, изложенные в ТАБЛИЦЕ 3.

Вышеприведенные данные говорят о значительной лексической близости Острожской Библии к Геннадиевской (30%) и к толковой версии (28%), о меньшей к афонской (24%) и о незначительной к раннему паримейному переводу (18%).

И в этом статистическом ракурсе отдельные паримии не являются идентичными в своих предпочтениях. Чтения первых трех дней Великой седмицы имеют наибольшее число совпадений с афонским текстом – 29%, против 11% совпадений в паримии на Пятидесятницу и 17% в паримии Великой субботы. Чтения преславского толкового перевода предпочитают в тексте на Пятидесятницу – 44% всех случаев против 25% в паримиях первых трех дней Великой седмицы и 32% в чтении Великой субботы. Печатный текст паримии Великой субботы показывает наибольшую близость с Геннадиевской Библией – 36% всех случаев, в чтении на Пятидесятницу совпадения, хотя и не наиболее частотные, также занимают значительную часть – 39%, а в паримиях из первых трех глав Иезекииля их меньше – 26%. Во всех анализируемых текстах Острожской Библии имеется наименьшее число вариантов древнеболгарского паримейного перевода, причем их распределение следующее: в чтениях первых трех дней Великой седмицы 20%, в чтении на Пятидесятницу – 6%, а в паримии Великой субботы – 15%. Неодинаковый объем рассматриваемых паримий делает статистическую объективность данных соотношений релятивной, но все же эти данные раскрывают лексическую неомогенность текстов первой печатной Библии славян.

⁴ Для сопоставления использованы современные церковнославянские издания (Триодъ Постная 1992; Триодъ Цветная 1992), опубликованные на сайте: *Online Orthodox Liturgical Texts in Slavonic* <<http://www.orthlib.info/>> (последнее обращение: 17.08.2021).

ТАБЛИЦА 4

итого	G = P	G = T	G = A
480	102	300	78
%	21%	63%	16%
Иез 1-3: 309	64 = 21%	200 = 64%	45 = 15%
Иез 36: 31	6 = 19%	19 = 61%	6 = 19%
Иез 37: 140	32 = 23%	81 = 58%	27 = 19%

Данные по пяти паримиям, обобщенные в ТАБЛИЦЕ 4, свидетельствуют о том, что по сравнению с Острожской Библией Геннадиевская демонстрирует гораздо более тесную связь с традицией полного преславского перевода. Таким образом подтверждаются наблюдения над пророческими книгами вообще в составе первого славянского полного свода библейских книг (Алексеев 1999: 198; Ромодановская 2005: 584-585).

В отличие от Острожской Библии, в Геннадиевской наблюдаются общие тенденции в отдельных паримиях: большинство совпадений G с T – 200 примеров (64%) регистрируется в Иез 1-3, 19 примеров (61%) в Иез 36 и 81 пример (58%) в Иез 37; значительно меньше совпадений G с P – 64 (21%) в Иез 1-3, 6 (19%) в Иез 36 и 32 (23%) в Иез 37; а самые редкие случаи, где G согласуется с A – 45 (15%) в Иез 1-3, 6 (19%) в Иез 36 и 27 (19%) в Иез 37. Логическим посредником между T и G является восточнославянская рукописная традиция. Об этом свидетельствуют типичные для этой ветви ошибки⁵, которые воспроизводятся и в G, например:

Иез 1:14 om.] του βεζεκ – P везеково – T везекъ – A везеково – G везель! (также в F.I.3, M1 и M2) – O везеково

Иез 1:28 τόξου – PTA дѣгы – G дѣшьнын (также M2 дѣжны F.I.3 и M1) – O дѣгы

Поскольку центром данного исследования является Острожская Библия, специального внимания заслуживают ее индивидуальные чтения. На фоне богатой вариативности, о которой до сих пор говорилось, их число в рассматриваемых фрагментах ограничено – всего десять:

1) Иез 1:1 ἐπι – PTAG на – O прн

2) Иез 1:2 om.] ιουδα 534 – PTAG om. – O ѱудна

⁵ Список некоторых ошибок в Толковом переводе, которые тиражированы в русских списках F.I.3, M1 и M2, можно посмотреть у: Тасева 2006.

- 3) Иез 1:18 κυκλόθεν – РТАГ окръстѣ – О ом.
4) Иез 1:27 ἐπάνω – Р до врѣха – ТГ даже н выше – А горѣ – О н выше
5) Иез 1:27 ὡς – РТ ѣко – А ом. – Г л – О акн
6) Иез 36:28 δικαιώμασιν – Р правдахъ – ТГ оправленнхъ – А оправданнхъ – О
зповѣдехъ
7) Иез 37:9 πνευμάτων] ανεμων збѣх-V – РТАГ доухъ – О вѣтръ
8-9) Иез 37:13 и 14 γνώσεσθε – РТГ разоумѣете – А познаете – О оувѣете
10) Иез 1:27 εσωθεν (ενδοθεν 62) αυτου (αυτου εσωθεν 147) rel. P] – Р взнатрѣадоу
его – Т вѣ немѣ – А взнатрѣ ёго – Г ѣ свѣтѣ – О в нем', ѣ свѣтѣ

Видно, что в четырех случаях другие разновидности показывают единство (№ 1-3 и 7), в пяти – в афонском переводе также имеется индивидуальный вариант (№ 4-6, 8 и 9), в двух случаях собственный вариант представлен и в Кирилло-Мефодиевском паримейном тексте (№ 4 и 6), а в одном он совпадает с толковым переводом (№ 5). Большинство случаев не имеет особой текстологической значимости, так как они могут быть результатом пропуска или контекстуальной замены. Оба примера, однако, касающиеся соответствий (№ 2 и 7), которые передают греческие разночтения, оставшиеся без отражения в предыдущей традиции (один из них был прокомментирован выше), следовало бы также истолковать как свидетельство привлечения дополнительных (неславянских) источников. Но то, что это не осуществлялось систематически, видно из тиражированных ошибок, которые не остались бы при последовательном обращении к греческому источнику. Так в примере № 10 видна контаминация ошибки в полном переводе с правильным соответствием в афонском паримейном тексте.

Приведенный анализ позволяет сделать вывод, что и в лексическом отношении оба типа функциональных разновидностей рассмотренных текстов сохраняют в большой степени свою автономность. Общая картина показывает наибольшую близость Острожской Библии к Геннадиевской и к преславской толковой версии, меньшую к афонскому переводу и наименьшую к паримейному. Одновременно с этим можно констатировать усилившееся влияние на Острожскую Библию со стороны афонского текста в трех паримиях в Великие понедельник, вторник и среду, но в остальных двух чтениях эта тенденция незначительна. Лексические данные Книги пророка Иезекииля об использовании греческих источников в работе книжников Острожской академии являются скудными и они противопоставляются тем случаям, где это не осуществлено.

В заключение можно обобщить, что проанализированные тексты из Книги пророка Иезекииля подкрепляют данные о некоторых тенденциях, отчетливо наметившихся в исследованиях других книг в составе Острожской Библии (Алексеев 1999: 204-216): во-первых, это серьезное воздействие полного преславского библейского перевода на текст первого печатного славянского издания; и, во-вторых, в своей работе Острожский академический круг обращался к греческим текстам редко и неси-

стематически. Одновременно с этим данный материал приводит также к некоторым не отмеченным до сих пор обобщениям, а именно, что на формирование печатного текста, вероятнее всего, оказали влияние и представители новоизводной афонской версии Триоди. Вопрос будущих исследований – уточнить, мотивированы ли данные совпадения прямым влиянием южнославянских оригиналов или они осуществлены при посредничестве восточнославянских рукописных триодей.

Литература

- Алексеев 1999: А.А. Алексеев, *Текстология славянской Библии*, Санкт-Петербург 1999.
- Алексеев 2008: А.А. Алексеев, *Библия в богослужении. Византийско-славянский лекционарий*, Санкт-Петербург 2008.
- Ангушева-Тиханова и др. 2010: А. Ангушева-Тиханова, М.-А. Джонсън, М. Димитрова, *Атонската редакция на библиейските перикопи и Словото на Кирил Александрийски за пророк Даниил в творбата на Цамблак за тримата отроци в пещта и Даниил*, в: М. Йовчева и др. (ред.). *Пъвние мало гешургию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д-рн Георги Попов*, София 2010, с. 307-335.
- Гардзанити 2014: М. Гардзанити, *Библиейские цитаты в церковнославянской книжности*, Москва 2014.
- Йовчева, Тасева 2001: М. Йовчева, Л. Тасева, *Текстовая традиция чтений из Книги Пророка Иезекииля на Богородичные праздники*, в: *Език и история на българските средновековни текстове. Сборник в чест на Екатерина Дограмаджиева*, София 2001 (= “Кирило-Методиевски студии”, 14), с. 65-80.
- Лявданский, Барский 2009: А.К. Лявданский, Е.В. Барский, *Иезекииля пророка книга*, в: *Православная энциклопедия*, XXI, Москва 2009, с. 196-216.
- Наумов 2020: А. Наумов, *Идея – образ – текст. Исследования по церковнославянской литературе*, Москва 2020.
- Попов 2004: Г. Попов, *Среднобългарският светогорски превод на Триода от първата половина на XIV век*, в: Л. Тасева и др. (ред.). *Преводите през XIV столетие на Балканите. Международна конференция София, 26-28 юни 2003*, София 2004, с. 173-184.
- Рибарова, Хауптова 1998: З. Рибарова, З. Хауптова, *Григоровичев паримејник*, Скопје 1998.
- Ромодановская 2005: В.А. Ромодановская, *Геннадиевская Библия*, в: *Православная энциклопедия*, X, Москва 2005, с. 584-588.
- Скабалланович 1915: М.Н. Скабалланович, *Рождество Пресвятой Богородицы*, Киев 1915 (= Христианские праздники, 1).

- Скабалланович 1916: М.Н. Скабалланович, *Пятидесятница*, Киев 1916 (= Христианские праздники, 5).
- Тасева 2006: Л. Тасева, *Книга пророка Иезекииля в составе Великих миней четьих митрополита Макария*, в: Е. Maier, E. Weiher (Hrsg.), *Abhandlungen zu den Großen Lesemenäen des Metropoliten Makarij*, II, Freiburg i. Br. 2006, с. 199-221.
- Тасева, Йовчева 2003: Л. Тасева, М. Йовчева, *Книга на пророк Иезекиил*, София 2003 (= Старобългарският превод на Стари завет, 2).
- Триодъ Постная 1992: *Триодъ Постная*, Издание Московской Патриархии, Москва 1992.
- Триодъ Цвѣтная 1992: *Триодъ Цвѣтная*, Издание Московской Патриархии, Москва 1992.
- Этингоф 2000: О.Е. Этингоф, *Образ Богоматери. Очерки византийской иконографии XI-XIII веков*, Москва 2000.
- Hannick 2016: Ch. Hannick, *The Theotokos in Byzantine Hymnography: Typology and Allegory*, в: M. Vassilaki (ed.) *Images of the Mother of God: Perceptions of the Theotokos in Byzantium*, London-New York 2016, с. 69-76.
- Нøег, Zuntz 1939-1970: С. Нøег, G. Zuntz, *Prophetologium. Pars prima*, Haunia 1939-1970.
- Miller 2014: J. Miller, *The Prophetologion: The Old Testament of Byzantine Christianity?*, in: P. Magdalino, R. Nelson (eds.), *The Old Testament in Byzantium*, Washington (DC) 2014, с. 55-76.
- Ziegler 1952: J. Ziegler, *Iezechiel*, Göttingen 1952.

Abstract

Lora Taseva, Maria Yovcheva

Liturgical Readings from the Book of the Prophet Ezekiel in the Ostrog Bible. Between Tradition and Innovation

The article concentrates on the *paroimias* from the Book of the Prophet Ezekiel, which are intended for liturgical service in the movable commemorations cycle: Ezekiel 1:1-21 for Holy Monday, Ezekiel 1:21-28 for Holy Tuesday, Ezekiel 2:3-3:3 for Holy Wednesday, Ezekiel 37:1-14 for Holy Saturday and Ezekiel 36:24-28 for Pentecost. These are compared based on five text versions occurring between the 9th and 16th centuries: the earliest Old Bulgarian translation in the *Parimejnik* (9th c.), the Preslav translation of the text with Theodoret of Cyrrihus's commentary (early 10th c.), the Athonite translation in the Triodion of new redaction (14th c.), the Gennadij Bible (1499) and the Ostrog Bible (1581). The analysis focuses on the variability in the translator's choice when delivering certain Greek lexemes and specific constructions. The objective is to determine the relation between the content, inherited from the rich previous tradition and the new components in the text of this prophetic book in the Ostrog Bible. Patterns in the preferences for certain variants in the different versions are systematized.

The analysis makes it possible to conclude that the Ostrog Bible may be considered most closely linked to the Gennadij Bible and the Preslav translation of the text with commentaries. The studied materials evidence an increased influence on the text of the first Slavonic printed Bible by the Athonite translation in the Triodion of new redaction in the three *paroimias* for the Holy Monday, Tuesday and Wednesday. In the other two readings, however, this trend is insignificant. The presence, on one hand, of isolated lexical occurrences of collation of the text with Greek sources, and on the other, of instances of uncritical carrying-over of inaccuracies from the older Slavonic versions, shows the unsystematic editorial approach of the scholars from the Ostrog academic circle.

Keywords

Ostrog Bible; Old Testament Readings; Book of the Prophet Ezekiel; Prophetologion; Parimejnik; Triodion.



RECENSIONI

Antonio Fares, *Liber Viridis. Repubblica di Ragusa*, Sigraf, Pescara 2021, pp. LXXVIII+546.

Il corpus delle leggi dell'antica Repubblica adriatica di Ragusa (odierna Dubrovnik), giunto fino a noi, consta di quattro raccolte: il *Liber statutorum civitatis Ragusii compositus anno 1272*, il *Liber omnium reformationum civitatis Ragusii*, il *Liber Viridis* e il *Liber Croceus*. Si tratta delle norme legislative e consuetudinarie che regolarono la vita della Repubblica lungo un ampio arco di tempo che va dalla fine del XIII secolo al 1803. Delle quattro raccolte, la prima è stata pubblicata a Zagabria nel 1904 nella collana "Monumenta historico-juridica Slavorum Meridionalium" dell'Accademia delle Scienze e Arti degli Slavi Meridionali a cura di Baltazar Bogišić e Konstantin Jireček; le altre a Belgrado dall'Accademia Serba delle Scienze rispettivamente nel 1936 da Aleksandar V. Solovjev e nel 1984 e nel 1997 da Branislav M. Nedeljković. Da notare che la loro pubblicazione seguiva a lunga distanza di tempo quella degli Statuti delle città della costa dalmata iniziata nel 1564 con lo Statuto di Zara e proseguita nell'arco di tre secoli fino a quelli di Budua, Scardona e dell'isola di Lesina apparsi nel 1882 a cura di Simeone Gliubich (Šime Ljubich). Ultimo lo Statuto di Arbe stampato a Trieste nel 1901. Le iniziative editoriali riguardanti le raccolte delle leggi della Repubblica adriatica trovarono la loro motivazione nell'interesse che Ragusa, esempio di plurisecolare realtà politica indipendente, rivestiva nella seconda metà dell'Ottocento nel contesto della monarchia austro-ungarica dove era presente e diffuso il processo di rinascita delle diverse componenti nazionali e tra queste dei popoli slavomeridionali.

Ragusa, bizantina prima, veneziana poi, quindi indipendente seppur vassalla dei sovrani ungheresi e in seguito del sultano, tramite naturale tra i Balcani ottomani e l'Occidente cristiano, aveva sviluppato nei secoli un attivo commercio non solo nel mare Adriatico ma in tutto il Mediterraneo, fino a solcare l'Atlantico. Fonte della sua ricchezza e della sua potenza erano gli scambi con le città della costa orientale adriatica e dell'interno e con i centri antistanti della penisola italiana, in particolare con Ancona, che rimase fino alla sua caduta un importante partner commerciale, favoriti dalla presenza delle numerose comunità ragusee stabilite nei Balcani e dall'esistenza di un'articolata rete consolare. L'essere stata per secoli sbocco naturale dei prodotti che provenivano dall'interno attraverso la via che da Sofia portava al pascialato di Belgrado per poi scendere verso il sangiacato di Bosnia l'aveva portata a stringere forti legami con le terre abitate dai serbi. Nel corso dell'Ottocento la fine dell'indipendenza con l'occupazione francese prima e l'inserimento nelle Province illiriche poi, confermata dall'assegnazione sancita dal congresso di Vienna all'Austria, ne determinarono la decadenza economica ed aprirono la strada a profondi cambiamenti sociali e culturali. I grandi

rivolgimenti politici che caratterizzarono il XIX secolo diedero vita in tutta l'Europa a importanti operazioni culturali e politiche che avrebbero coinvolto le diverse componenti etniche inserite nelle grandi compagini sovranazionali (austriaca, russa, ottomana) di cui momento fondante era l'affermazione della propria identità attraverso la salvaguardia dell'eredità del passato. La valorizzazione del ruolo avuto dalla Repubblica di Ragusa diveniva così funzionale ai progetti politici di quanti, dopo le riforme di Vienna del 1860-1861, chiedevano l'annessione del Regno di Dalmazia, di cui faceva parte l'antico territorio della Repubblica, alla Croazia ma anche di coloro che a Belgrado ricordavano gli stretti legami che in passato avevano unito le due realtà. Di qui il primo progetto editoriale che avrebbe visto la luce a Zagabria e che, dopo un'ulteriore lenta gestazione e la nascita del Regno di Jugoslavia in seguito alla prima guerra mondiale, sarebbe giunto a completa conclusione un secolo dopo per i tipi dell'Accademia Serba delle Scienze.

Era stato lo scrittore Niko Pučić (Nicola Pozza), esponente del Partito nazionale (Narodna Stranka) in Dalmazia, convinto sostenitore dell'unione della Dalmazia alla Croazia, a voler affidare al suo amico Baltazar Bogišić, politico e giurista di Ragusavecchia (Cavtat) appartenente alla piccola comunità serba cattolica di Ragusa, la pubblicazione delle leggi ragusee accompagnate da uno studio introduttivo dello stesso Bogišić. Questi trascrisse in breve tempo il *Liber statutorum civitatis Ragusii* e di lì a breve anche il *Liber omnium reformationum civitatis Ragusii*, ma il suo lavoro restò per un trentennio manoscritto. Alcuni anni dopo l'Accademia Jugoslava delle Scienze e delle Arti di Zagabria decise di affidare il compito di pubblicare il *Liber statutorum* allo storico ceco Josef Konstantin Jireček, noto medievista, che accettò a patto di avere al suo fianco Bogišić di cui gli era nota la trascrizione. Si giunse così alla pubblicazione nel 1904. La collaborazione tra i due studiosi non ebbe seguito e la morte di Bogišić avvenuta nel 1908 ebbe come conseguenza la scomparsa del manoscritto contenente la trascrizione del *Liber omnium reformationum*. La raccolta avrebbe visto la luce solo nel 1936 a cura di Aleksandar Solovjev, giurista e docente di storia del diritto prima a Belgrado poi a Sarajevo. Accanto ad essa furono pubblicati sempre a cura di Solovjev gli *Ordines Stagni editi annis 1333-1406* andando così a ricostruire le fondamenta della successiva legislazione ragusea relativa al territorio costiero e alla Valle di Canali / Konavle. Nello stesso volume apparivano anche gli *Statuta doane civitatis Ragusii* a cura di Mihajlo Peterković.

La terza raccolta, il *Liber Viridis*, comprende le deliberazioni emanate dal Maggior Consiglio del Comune raguseo dal 28 febbraio 1358, cioè dalla fine del predominio di Venezia, al 27 settembre 1460. Se fino a tale data la legislazione risentiva dell'influenza dei rettori veneti, a partire dal 1358 la Repubblica, che tale ormai si può chiamare, poté emanare liberamente le proprie leggi perché la sottomissione ai re d'Ungheria le lasciava ampia autonomia. Diretta continuazione del *Liber Viridis* fu il *Liber Croceus* che raccoglie la documentazione legislativa a partire dal dicembre 1460. Le leggi emanate a partire da tale data riflettono un periodo di grande fioritura economica e culturale della città e dei suoi abitanti e sono particolarmente attente ai diversi aspetti della vita economica cittadina e alle magistrature a esse preposte.

Il *Liber Viridis* è scritto regolarmente in un latino scolastico fino al 1400, ma in seguito si assiste all'introduzione del 'volgare' nella parte esegetica delle leggi. Si tratta di un italiano antico con apporti del vecchio dalmatico, del veneziano, forti influssi toscani (il toscano raguseo lingua degli uffici, dei commerci, della cultura) ma anche con prestiti di altre regioni italiane con cui Ragusa aveva stretti rapporti.

Del *Liber Viridis* sono conservate attualmente presso l'Archivio di Stato di Ragusa/Dubrovnik tre diverse copie risalenti rispettivamente al XV, XVI e XVIII secolo. Diversamente dalla

edizione serba del 1984, basata sulla versione quattrocentesca, il curatore di questa che è la prima edizione italiana, Antonio Fares, ha scelto di rifarsi all'esemplare settecentesco.

Più che a una semplice trascrizione ci si trova di fronte alla restituzione originaria, come scrive lo stesso curatore, di nomi e toponimi con etimologia latina e greca e dei loro successivi transiti, oggi poco o nulla conosciuti, sia nelle parlate neolatine che nelle lingue slavomeridionali, senza dimenticare la presenza nel codice di slavismi. Gli indici originali del codice costituiscono un importante ausilio. Il testo è accompagnato da un considerevole apparato critico composto da oltre 800 note in cui sono riportate le glosse originali inserite a margine di numerosi capitoli, le annotazioni circa l'approvazione dei singoli capitoli e i rimandi ad altri paragrafi attinenti alla stessa materia, ma anche le notizie relative ai personaggi illustri, alle famiglie nobili ragusee, al contesto politico, culturale, economico e perfino religioso – tutti strumenti preziosi per permettere allo studioso contemporaneo di entrare a pieno nell'articolato mondo della Repubblica di San Biagio. Al codice il curatore ha ritenuto opportuno allegare il capitolo finale sull'Arte della Lana, *Ordo Artis Lane* [sic] inserito nelle edizioni del XV e del XVI secolo ma non in quella del XVIII secolo, quando ormai l'attività non era più fiorente.

Il volume è arricchito poi da un ampio saggio su *Gli ordinamenti giuridici della Repubblica di Ragusa nell'Evo Medio*, dello studioso e uomo politico, zaratino di nascita, Lucio Toth, di recente scomparso. Si tratta di una preziosa premessa di carattere storico e giuridico sulla nascita e lo sviluppo della Repubblica di Ragusa nel contesto della regione dalmata e nei suoi rapporti con l'Impero bizantino, con i domini slavi sorti all'interno dei Balcani e con la sponda opposta dell'Adriatico. A partire dal Duecento, contemporaneamente alle città delle Fiandre, dell'Italia centro-settentrionale e a quelle dalmate, dove si ebbe la massima fioritura e sviluppo del comune, anche a Ragusa si andarono definendo gli ordinamenti giuridici espressione dell'autonomia legislativa, delle strutture di governo, delle norme costituzionali che definivano ruoli e rapporti tra le classi sociali e sulle quali si reggevano i rapporti dei cittadini ragusei, i *cives*, con i forestieri appartenenti ad altri sistemi giuridici. Come sottolinea Toth, a Ragusa “diffidenza e prudenza politiche si ritrovano in tutta la normativa che riguarda i rapporti con gli ‘stranieri’, che non sono *cives* del comune” e con i quali venivano mantenuti rapporti di cooperazione o, nel caso di Venezia, di ostile concorrenza. Da tale prudenza derivava la disposizione che in caso di vertenza fuori dei confini della repubblica (a eccezione delle Venezia, delle città dalmate e dei territori della penisola italiana in cui si riconosceva una comunanza del diritto) i ragusei erano obbligati a rivolgersi al proprio console per essere protetti e tutelati dinanzi alle autorità locali. Ugualmente dettata dalla prudenza era la prassi di nominare – e per breve durata – magistrati stranieri non legati alle fazioni cittadine così da salvaguardarsi da possibili tentativi eversivi da parte di elementi della nobiltà locale appoggiati da potenze straniere.

Scorrendo le pagine del *Liber Veridis* emerge, insomma, la storia di una città vitale, operosa, severa nelle proprie leggi per non lasciare in alcun caso spazio all'arbitrio o all'incertezza interpretativa, partecipe nel corso dei secoli attraverso i propri figli del patrimonio culturale adriatico ma soprattutto orgogliosa della propria libertà a cui per nulla avrebbe mai rinunciato, tanto da accettare, con il pragmatismo mercantile che la caratterizzava, di pagare ingenti somme all'Impero ottomano per difenderla. Non a caso il suo motto recitava *non bene pro toto libertas venditur auro*: non vi è oro che basti a pagare la libertà.

M. Živova, *Unikal'naja martovskaja Mineja pervoj poloviny XVI v. Rukopis' 541 sobranija Troice-Sergievoj lavry. Issledovanie i izdanie tekstov*, Indrik, Moskva 2021, pp. 489.

A differenza della produzione innografica slava del periodo più antico, quella russa non è quasi stata fatta oggetto di studio, se si escludono le composizioni d'autore (in particolare quelle di Kirill Turovskij) o i singoli uffici per i santi russi, limitatamente sempre ai secoli XI-XIII.

Il seguito della tradizione, ricca di manoscritti, è rimasto quasi inesplorato, ed anche la stessa consistenza del corpus innografico non è stata ancora del tutto messa a punto. Restano aperte molte questioni chiave, come l'influenza dell'innografia slava-meridionale e il ruolo delle traduzioni, l'attribuzione dei testi ad autori concreti, visto che nell'innografia russa mancano, almeno fino al XV secolo, quasi completamente gli acrostici, le 'firme' degli autori. E, detto per inciso, questo è uno dei motivi che hanno tenuto lontano dall'innografia gli storici della letteratura, oltre al fatto che la tradizione russa appare puramente compilativa, monotona, e in quanto tale, di scarso interesse.

A ben vedere, invece, si riconoscono in questa tradizione attraverso i secoli momenti di notevole creatività, specie nel periodo che vede l'introduzione dell'*Ustav* di Gerusalemme, tra XIV e XV secolo, che porta a nuove traduzioni dal greco e a cambiamenti cospicui nel corpus innografico: il materiale dei Minei studiati a poco a poco viene adeguato al calendario e alle particolarità liturgiche del nuovo *Tipikon*. Si assiste, inoltre, specie dal XV secolo, alla redazione di un'intera serie di servizi per i santi russi locali, molti dei quali solo al tempo dei Concili di Makarij (1547-49) riceveranno una completa canonizzazione. È soltanto con i primi Minei a stampa, all'inizio del XVII secolo, che si ha una sistematizzazione in piena regola del materiale innografico russo.

Va accolto quindi con particolare plauso l'eccellente monografia di Margarita Živova, che costituisce un tassello fondamentale nello studio del periodo più creativo dell'innografia russa. Essa è dedicata ad un'opera complessa e alquanto singolare: il Mineo liturgico per marzo della raccolta manoscritta della Troice-Sergieva Lavra (da ora in poi TSL) n. 541, ms che risale agli anni '30 del XVI secolo. Già definito nella descrizione di fine Ottocento come "speciale" (iermon. Arsenij i Ilarij, *Opisanie slavjanskich rukopisej Biblioteki Sv.Troickoj-Sergievoj lavry*, I, Moskva 1878) il Mineo presenta dei notevoli tratti di originalità nella successione del calendario per l'aggiunta di nuove memorie, nella composizione degli uffici ordinari così come nei testi degli uffici per i nuovi santi russi, e ciò rispetto alla maggioranza dei Minei (manoscritti) russi per marzo dei secoli XV e XVI che l'A. definisce come standard, che si consoliderà poi nella prima edizione a stampa (per il tomo di marzo: 1624).

Partendo dalle parziali osservazioni di Arsenij e Ilarij, che avevano confrontato TSL 541 con il solo Mineo a stampa, l'A. presenta un quadro estremamente più complesso della struttura compositiva del codice, proponendosi l'arduo compito di rispondere a questioni ancora aperte, quali: spiegare la provenienza delle memorie aggiunte e dei relativi uffici, nonché i meccanismi della loro composizione; stabilire la provenienza dei testi non standard per le memorie standard; determinare la provenienza degli inni e dei tropari aggiunti nei canoni; individuare tutte le possibili fonti utilizzate dal compilatore; indagare i rapporti tra i testi paralleli presenti nel manoscritto (un ulteriore aspetto curioso del TSL 541: alcuni uffici sono stati composti prendendo come fonte altri uffici di marzo, capita così di ritrovare gli stessi testi per memorie differenti, magari con alcune modifiche). La dettagliatissima analisi condotta dall'A. non solo fornisce risposte convincenti alle questioni sopra accennate, ma giunge a conclusioni di portata più generale, che travalicano il singolo codice studiato.

Il volume comprende sei capitoli e due appendici. Dopo aver fornito una accurata descrizione del codice (di cui precisa anche la datazione), degli aspetti paleografici e ortografici (cap. 1), l'A. passa a trattare le particolarità del calendario mettendo in luce per ogni giorno le memorie aggiunte rispetto al tipo standard e al Mineo a stampa del 1624 (estremamente utile la tabella sinottica, così come le altre che ricorrono a più riprese nel lavoro), quindi trattandole singolarmente (v. cap. 2, pp. 31-45). Già da questa prima parte si nota lo straordinario scavo compiuto dall'A. per ogni memoria aggiunta (sia essa di santi russi o non russi) resa possibile dalla sua non comune padronanza della materia. Un unico esempio: sotto l'8 marzo si trova la memoria di un san Evfrosin (Eufrosino), che non compare negli altri Minei. Essendoci nella tradizione due santi con questo nome (Evfrosin il cuoco, 11 settembre; Evfrosin di Pskov, 15 maggio), non è chiaro quale dei due avesse in mente il compilatore. L'A. scopre che il testo dell'ufficio è una compilazione tratta da testi di uffici per altri santi, ma che nel Gloria è inserito un accenno alle tre mele del Paradiso che fanno capire trattarsi di Evfrosin il cuoco. La memoria di quest'ultimo non la si trova nei Menologi, ma solo nei Prologi, ma non certo a marzo. Perché allora è stato inserito nel TSL 541? L'A. scandaglia la tradizione greca e trova una menzione di san Evfrosin il 6 marzo in un Mineo del XIV secolo (Vat. gr. 1508). Non resta che supporre che in mano al compilatore ci fosse una fonte, rara per il contenuto, che rifletteva la stessa tradizione del Vat.gr.1508.

Questo tipo di indagine, che approda sempre ad una spiegazione (o ad una supposizione motivata), è proprio del modo di procedere dell'A., che non crede affatto alla casualità delle aggiunte, o delle date in cui sono inserite, ma è convinta che tutto dipenda dalle fonti utilizzate, mai frutto di una scelta casuale; ciò porta anche a far luce via via sul materiale posseduto dal compilatore del TSL 541. Si dimostra, ad esempio, che i Menologi a disposizione sono almeno due: uno sicuramente più arcaico, precedente all'introduzione della regola di Gerusalemme, e quanto ai Minei liturgici di marzo, doveva essercene uno di tipo ibrido, simile a quello di Pereslav dell'inizio del XV sec. (che l'A. confronta in appendice con il TSL 451), oltre ai Minei festivi, forse il *Prolog stišnoj* o altro. Certamente una raccolta di tipo *Trefologion*, contenente gli uffici per i santi russi.

I capp. 3 e 4 costituiscono il nucleo della ricerca. Vi si analizza la struttura e la composizione dei singoli uffici in ordine di calendario, con attenzione al testo degli inni e alle loro possibili fonti, allo scopo di mostrare i meccanismi della composizione dei nuovi uffici o l'ampliamento di quelli ordinari. Nel cap. 4 sono trattati gli uffici per i nuovi santi russi (in tutto 5), considerati a parte perché essi presentano una serie di caratteristiche comuni e in questo caso i testi sono pubblicati dall'A. per intero, parallelamente alle rispettive fonti, che peraltro l'A. riesce a stabilire quasi al completo.

Non disponendo evidentemente di manoscritti che contenessero gli uffici già composti per quei santi, il compilatore si rifà al metodo abituale della composizione di nuovi uffici, ossia prendendo testi di uffici per altri santi (spesso di marzo) e riadattandoli. Nel caso dei santi russi, ancora più interessante è la tecnica utilizzata nell'adattamento, come l'A. ci svela compiutamente, ad esempio mostrando l'insistente inserimento di precisi particolari geografici (regione, città o monastero di provenienza), oppure precise titolature, cosa che il compilatore non fa se crea uffici per santi non russi. Spesso gli uffici per i santi russi presentano una serie di prestiti comuni, come il caso del canone per Teofilatto di Nicomedia, utilizzato in tre dei cinque uffici russi. Talvolta, nel riutilizzare i testi il compilatore effettua significativi cambiamenti a livello grammaticale, lessicale o di sintassi, talvolta correggendo testi corrotti o commettendo nuovi errori.

Si dimostra inoltre che il compilatore si rifaceva a modelli autorevoli a lui noti di uffici complessi per i santi russi contenuti nei *Trefologi*. La scelta delle singole fonti non è mai casuale ed è legata con la tipologia e lo status dei santi 'donatori'. Riutilizzando il materiale testuale, il compilatore cerca per quanto possibile di adattarlo alla biografia del nuovo santo da celebrare e nello stesso tempo si sforza di inserirvi tratti adeguati (e tipici) per i servizi russi del suo tempo.

Il capitolo successivo (cap. 5) è dedicato allo studio critico delle varianti lessicali nei testi paralleli di TSL 541, posti a confronto con il Mineo di Pereslav e con quello a stampa, confronto da cui l'A. trae ulteriori interessanti informazioni sul metodo di lavoro del compilatore.

L'ultimo capitolo funge da conclusione. Dopo un lungo percorso (il ms. è composto di 306 ff.) di serrata indagine filologica condotta con metodo encomiabile, l'A. tira le somme arrivando a ricostruire, come lei stessa lo definisce, il "laboratorio creativo" del compilatore-autore, ma anche si spinge ad alcune importanti considerazioni sull'idea di 'creatività' relativamente al genere innografico, riprendendo un dibattito già aperto da altri studiosi (tra cui Gadalo, Temčin, Stančev). Se è vero che per comporre un nuovo ufficio lo scriba doveva possedere non soltanto una certa maestria e conoscenza delle regole di composizione, unite ad una buona dose di erudizione, conoscenza dei testi e capacità di sceglierli e adattarli a un nuovo destinatario, egli aveva dei buoni margini di creatività. Non si limitava a utilizzare semplicemente le unità innografiche a sua disposizione, ma operava delle scelte coscienti, compilando e adattando testi esistenti per una nuova opera. I metodi e le tecniche non erano certo individuali, riprendevano una prassi ormai consolidata tra gli scribi professionisti dell'epoca, ma al contempo essi avevano notevoli margini di scelta nelle strategie da utilizzare. Il processo di compilazione non era dettato dall'impossibilità di creare *ex novo*, quanto dalla volontà di rifarsi ad un autorevole modello di riferimento: per questo, l'anonimo compilatore del TSL 541 può a buon diritto essere definito un 'autore'.

Silvia Toscano

A. Cont, *Le marquis de Cavalcabò. Un grande avventuriero nell'Europa del Settecento*, con testi di E. Smilianskaia e J. Boutier, Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni culturali. Ufficio beni archivistici, librari e Archivio provinciale, Trento 2021 (= Archivi del Trentino: fonti, strumenti di ricerca e studi, 26), pp. xx+268.

Giorgio Cavalcabò è noto agli storici del XVIII secolo per il ruolo svolto nel corso della guerra russo-turca del 1769-1774 come incaricato d'affari russo sull'isola di Malta: non a caso una delle prefazioni a questo libro (l'altra è di Jean Boutier) è firmata da E.B. Smiljanskaja, autrice, insieme a I.M. Smiljanskaja e M.B. Velizhev, di una monumentale e imprescindibile ricerca su quella guerra (*Rossija i Sredizemnomor'e*, Indrik, Moskva 2011). La missione a Malta, che segnò l'acme del successo e della notorietà nella vita del marchese Cavalcabò, è solo un capitolo nel ricchissimo libro di Alessandro Cont, che ripercorre l'intera parabola della vita avventurosa di questo personaggio, nato nel 1717 nel bordo trentino di Sacco, e morto a Parigi nel 1799 dopo aver cercato con alterne fortune una onorevole stabilità in diversi paesi europei.

Due caratteristiche convivono nello studio di Cont, come non sempre avviene in opere di questo genere: da un lato, la vasta e capillare ricerca di ogni possibile fonte, condotta in archivi e biblioteche non solo europei, sulle tracce delle peregrinazioni di Cavalcabò e dei suoi sodali e corrispondenti, dove ogni piega degli svariati contesti economici e socio-culturali in cui egli si trovò a operare viene di volta in volta illuminata attraverso riferimenti bibliografici ricchissimi e aggiornati (e qui, forse, data l'eterogeneità delle opere citate, sarebbe stata utile una bibliografia al termine del volume). D'altro canto, alla moltitudine dei materiali e dei problemi affrontati corrisponde una scrittura elegantemente letteraria, che accompagna e sottolinea i tratti avventurosi, quasi romanzeschi della biografia del marchese. Ogni capitolo del libro si conclude con una selezione di documenti, spesso reperiti dallo stesso Cont, che consente agli studiosi di conoscerli nella loro integrità, senza smarrirsi in troppo lunghe citazioni.

Ultimo nato di una nobile famiglia riconducibile al trecentesco Guglielmo Cavalcabò, marchese di Viadana e signore di Cremona, Giorgio ricevette una buona istruzione a Innsbruck e Lipsia, lavorando poi a vario titolo presso famiglie aristocratiche dell'impero asburgico, come Anna Vittoria di Soissons-Hildnurgausen, nipote ed erede del principe Eugenio di Savoia o i principi Dietrichstein, con i figli dei quali viaggiò a lungo in Europa e in Italia, approfondendo la propria cultura e stringendo rapporti con personaggi altolocati e futuri protettori. Il libro delinea assai bene la personalità di Giorgio, la sua capacità di accumulare esperienze e adattarsi a nuove situazioni, ma anche la sua inquietudine dovuta all'impossibilità di trovare stabile occupazione nei domini del suo

sovrano naturale, l'imperatore austriaco, mentre rimanevano costantemente frustrati i suoi tentativi di ottenere il riconoscimento del titolo di marchese (che si realizzò solo durante il suo soggiorno in Russia). Fu così che Cavalcabò, quasi *malgré soi*, si trovò a cercare fortuna fuori del proprio paese e presso altri sovrani, cominciando ad assumere i tratti dell'avventuriero, animato però, come sottolinea più volte Cont, da un "orgoglio dinastico" e da "un 'individualismo' di tipo settecentesco, che escludeva ogni rinuncia all'affermazione e autopromozione dei diritti e dei desideri personali e soggettivi" (p. 96).

Per alcuni anni le sue aspirazioni parvero realizzarsi nella Russia di Caterina II, dove, dopo nuove esperienze insoddisfacenti in Germania, si trasferì nel 1766, attirato dagli inviti della sovrana a coloni stranieri perché popolassero i territori lungo il Volga, e forse incoraggiato dall'incontro in Germania con Leonard Euler, sul punto di trasferirsi a Pietroburgo, e con il colto e cosmopolita A. P. Šuvalov (si noti che nel libro viene utilizzata la traslitterazione in uso nel mondo anglosassone). Il soggiorno e la carriera in Russia di Cavalcabò suscitano domande alle quali non è possibile rispondere senza specifiche e non semplici ulteriori ricerche: mentre è chiaro che il suo successo fu propiziato dalla protezione dei fratelli Orlov, in primo luogo di Grigorij, mancano notizie sugli ambienti in cui egli riuscì a inserirsi nella capitale, giungendo a conseguire la naturalizzazione e l'ammissione nei ranghi della nobiltà russa, oltre al sospirato riconoscimento del titolo di marchese. Cont ricorda la corrispondenza di Cavalcabò, durante gli anni maltesi, con M.M. Filosofov, ministro plenipotenziario di Russia in Danimarca, ma resta la curiosità di conoscere il percorso che lo portò vicino ai vertici del potere, fino all'imperatrice: certamente, oltre ad apprezzarne modi urbani, all'aria "di affidabilità, coscienziosità e probità" (p. 131), Caterina, abile nello scegliere i propri collaboratori, dovette intuire nel marchese qualità che la convinsero a designarlo per la missione a Malta, che fin dai tempi di Pietro il Grande era considerata un pilastro essenziale della politica russa nel Mediterraneo, nonostante la sua completa inesperienza diplomatica e la non appartenenza all'ordine gerosolimitano, come voleva la tradizione.

Nel 1769, dopo lo scoppio della guerra contro la Turchia, il marchese fu inviato a Malta col compito di assicurarvi il supporto alle navi russe nei porti maltesi e, fra mille intrighi e difficoltà, assolse il suo compito con successo, lasciando poi l'isola solo nel 1776; ma non fissò la sua dimora in Russia, dove gli equilibri di potere erano cambiati con l'ascesa di Potemkin, e, dopo aver ottenuto una pensione annua di mille rubli, nel 1778 partì per stabilirsi in Francia. Qui trascorse gli ultimi venti anni della sua vita cercando di far valere le sue doti di conoscitore d'arte e restando coinvolto in vicende finanziarie non limpide, riuscendo tuttavia, fra rovesci e delusioni, ad attraversare incolume i tragici anni della rivoluzione e del Terrore. Una pagina finale poco esaltante, che conferma però la tenacia e la duttilità di un personaggio che, grazie all'analoga tenacia di Alessandro Cont, abbiamo imparato a conoscere a fondo e possiamo inscrivere nella vasta trama dei rapporti russo-italiani nel Settecento.

Maria Di Salvo

M.G. Talalaj (red.), *Bargradskij sbornik*, II, Indrik, Moskva 2020.

Nelle giornate, lunghe e tragiche, seguite al 24 febbraio 2022, almeno un paio di episodi hanno visto il capoluogo pugliese e due statue di San Nicola al centro di questioni di contorno che hanno assunto, proprio per l'eccezionalità del primo periodo bellico, una risonanza ben più ampia di quanto sicuramente sarebbe avvenuto in tempi – che ora sembrano particolarmente lontani – di pace. Nella notte tra il 21 e 22 marzo è stato trafugato il cosiddetto 'tesoro di San Nicola' (successivamente ritrovato) dalla teca della statua del Santo patrono presente all'interno della Basilica a lui dedicata nel cuore di Bari Vecchia. L'altra statua del Vescovo di Myra, posta nel sagrato dell'edificio di culto cattolico, opera – come è stato precisato dall'ex sindaco di Bari Di Cagno Abbrescia nei giorni successivi alla polemica – dello scultore russo-georgiano Zurab Cereteli, donata nel 2003 dall'allora Patriarca di Mosca Aleksej II, è stata oggetto di una petizione firmata da quasi 20.000 baresi in cui si chiedeva la rimozione almeno della targa (del 2007) con la firma di Vladimir Putin in nome della fratellanza ed amicizia tra i due popoli. Se a queste note, strettamente locali e cronachistiche, si aggiunge che nel 2009 (durante la presidenza Medvedev) la Chiesa russa ortodossa di Bari, nel quartiere Carrassi, è stata definitivamente restituita a Mosca (in cambio il capoluogo pugliese ha ottenuto dallo Stato italiano la restituzione dell'ex Caserma Rossani), risulterà evidente l'importanza che riveste la pubblicazione del secondo *Bargradskij sbornik* (il primo, del 2019, era incentrato sulle "Filosofie del pellegrinaggio"), dedicato proprio alla venerazione di San Nicola, alla storia della basilica di Bari, custode delle sue reliquie, alle tradizioni del pellegrinaggio ortodosso, al destino della diocesi russa a Bari e, più in generale, ai legami fra la Puglia e la Russia.

La raccolta è il frutto, come ricorda nell'*Introduzione* Marco Caratozzolo, di un convegno internazionale (*Bargradskie čtenija*, 2. *Tradizioni cristiane di Russia e Italia: la filosofia della storia e della cultura*) tenutosi il 10-11 settembre del 2019 all'Università di Bari e promosso dall'allora "Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e culture comparate" (ora confluito in quello di "Ricerca e Innovazione Umanistica"), con il supporto dell'Associazione "Puglia dei Russi" e in collaborazione con tre istituzioni dell'Accademia Russa delle Scienze di Mosca: l'Istituto di Filosofia, l'Istituto di Storia mondiale, la Scuola Superiore di Economia (media partner dell'evento è stato il CESVIR, Centro Economia e Sviluppo Italo-Russo).

Il volume è suddiviso in cinque percorsi tematici con un supplemento di tre recensioni e delle informazioni sugli autori dei vari saggi.

La prima sezione (*Svjatitel' Nikolaj*) presenta quattro contributi incentrati sulla figura di San Nicola. Il primo, di Tat'jana Matasova e Arkadij Tarasov, rivisita indirettamente la leggenda (ascrivi-

bile a manoscritti non anteriori al XVIII secolo) della fondazione del monastero femminile di Ulejma negli anni Sessanta del XV secolo per iniziativa del pellegrino Varlaam che proprio da Bari vi avrebbe portato un'immagine sacra di San Nicola Taumaturgo, soffermandosi però sulla effettiva esistenza stessa del complesso grazie alle più antiche testimonianze scritte risalenti a inizio del XVI secolo. Anche Ol'ga Žukova si dedica a un monastero nicolaiano, quello maschile di Ugreškij a Dzeržinskij, ripercorrendone la funzione politico-culturale lungo tutta la storia russa a partire dal 1380, quando sarebbe stato fondato da Dmitrij Donskoj sul luogo dell'apparizione di un'icona di San Nicola Taumaturgo durante, narra ancora una volta la leggenda, una sosta prima della battaglia di Kulikovo. Gli altri due contributi della sezione analizzano la figura del Vescovo di Myra: Margarita Piljugina mette a confronto la *Legenda aurea* di Jacopo da Varazze (XIII secolo) con la *Kniga žitij svjatyč (Čer'i-Minei)* di Dimitri Rostovskij (a cavallo tra XVI e XVII secolo), mentre Michail Loktionov pone al centro del proprio scritto il complesso filosofico-letterario presente in *Tri serpa* (1929) di Aleksej Remizov, opera nella quale la figura terrena di San Nicola (già presente nei suoi *Nikoliny priči* del 1917, con una vena che mescolava i racconti popolari e le leggende) serve a mostrare "il cammino di un'anima inquieta per il destino dell'uomo, per la sua vulnerabilità e peccaminosità" (p. 79).

Nella seconda sezione del volume, dedicata alla Puglia bizantina, trovano spazio due interessanti saggi dedicati, rispettivamente, ai manufatti bizantini nel museo di San Nicola a Bari, grazie al padre domenicano Gerardo Cioffari, direttore del Centro Studi Nicolaiani e della rivista "Nicolaus", e ad alcuni aspetti della spiritualità bizantina in Puglia affrontati da don Stefano Caprio, sacerdote di rito bizantino slavo e docente di Teologia all'Istituto di Scienze religiose "Giovanni Paolo II" di Foggia.

Intitolata a San Nicola è anche la Chiesa russa ortodossa a Bari (*Cerkov' Nikolaja Čudotvorca*), il cui metochio, situato nel quartiere Carrassi, è stato realizzato sulla base di un progetto del 1911 dell'architetto russo Aleksej Ščusev. Proprio alla storia culturale di questo complesso ecclesiastico ortodosso è dedicata la parte centrale del volume collettaneo. Sulla base di materiali d'archivio (a partire da una lettera del principe Ževachov), Michail Talalaj, curatore dello *Sbornik*, ricostruisce le vicende biografiche di Christofor Flerov (1846-1927, sepolto nel cimitero acattolico di Roma), che può essere considerato il 'primitivo' rettore (*nastojatel'*) del complesso patriarcale di Bari. Segue un contributo, firmato dal diacono Pëtr Pachomov, sulla corrispondenza tra l'ambasciatore russo a Costantinopoli N.P. Ignat'ev (1832-1908) e gli *starcy* del Monastero di Panteleimon a proposito del progetto di restaurare la Chiesa di San Nicola, nell'attuale Demre, prima che la Società Imperiale Ortodossa di Palestina (IPPO), con Nicola II nel 1911, desse via al progetto sul suolo barese. Completano la sezione un'analisi condotta dall'arciprete Roman Curkan sul ruolo svolto da A.A. Dmitrievskij, bizantinista e segretario della IPPO, nel trasferimento del progetto russo da Myra a Bari e un saggio di Pëtr Fedotov (ricercatore del museo di Storia delle religioni di San Pietroburgo) che illustra le "*vizual'nye svidetel'stva*" che sarebbero dovute entrare a far parte del progetto della chiesa di Bari per i pellegrini ortodossi allo scopo di costituire un centro culturale con i migliori esempi di arte sacra russa e con oggetti caratteristici del *byt* russo per familiarizzare gli italiani con l'ortodossia e la cultura russa.

A esponenti della storia e della cultura russe di differente spessore, legati in vario modo al suolo pugliese e in generale al Meridione italiano, sono dedicati i testi della quarta sezione. Del *Viaggio in Puglia* di Pavel Muratov si occupa Donatella Di Leo (che nel 2021 ne ha curato la traduzione italiana), mentre Talalaj pubblica l'originale russo di una lettera scritta nel 1968 da Viktor Šklovskij, dopo il suo viaggio in Puglia nel 1967 (il nome della regione viene indicato curiosamente come *Apuleja*, invece del corretto *Apulija*, facendo sorgere la suggestione di una possibile e consapevole evocazione di Apuleio), a Ettore Lo Gatto, che l'avrebbe parzialmente pubblicata in traduzione nel suo *Russi in Italia* (1971). Tre sono invece le figure femminili protagoniste degli altri due contributi

della sezione: oltre al ricordo, affidato a Dar'ja Požarickaja, di Vera Bianki che, nata in Crimea nel 1920, è vissuta a lungo ed morta a Bari nel 2015, trova spazio, per mano di Carmen Palasciano, il ritratto biografico di Ol'ga Pavlovna Vavilova (che insieme al marito Ferdinando Palasciano, chirurgo e senatore del Regno, è una dei precursori della Croce rossa internazionale) e di sua nipote, Natal'ja Nikolaevna Rennenkampf (1870-1950), che durante la Prima guerra mondiale raggiunse a Napoli la zia, ormai rimasta vedova, per poi ereditarne il Palazzo torre dei Palasciano dove aveva conosciuto il futuro marito, lo scultore Tommaso Piscitelli, originario di Giovinazzo.

La quinta sezione, dedicata alla Seconda guerra mondiale, ospita un interessante contributo di Giorgio Cutino sul ruolo e l'importanza dell'URSS nella resistenza antifascista a Bari tra il 1941 e il 1943, una breve ricostruzione archivistica condotta da Talalaj riguardante i tre anni che il poeta russo Nikolaj Ocup (di origini ebraiche) trascorse da internato nel campo concentrazionario fascista della Casa rossa di Alberobello, nonché un articolo che Konstantin Simonov ebbe modo di pubblicare nel 1944 come corrispondente di "Krasnaja zvezda" e in cui così descriveva la differenza tra la parte nuova e vecchia della città: "Come la maggior parte delle città italiane che ho visto in seguito, a Bari la parte nuova della città, popolata dai ricchi, è in netto contrasto con quella vecchia, dove vivono i poveri. Le nuove strade sono asfaltate e lucenti, con edifici moderni e pratici. La città vecchia, attraverso la quale dobbiamo passare per arrivare al porto è completamente diversa. Le strade sono strette, pavimentate con pietre logore e vecchie: non c'è spazio per il passaggio di due auto".

A conclusione di questa breve panoramica, e riprendendone l'*incipit*, si deve ricordare che la centralità e attualità della figura di San Nicola è stata ribadita il 17 marzo 2022 a Bari con un'iniziativa di pace promossa proprio da Rocky Malatesta, presidente del CESVIR, che si è svolta all'interno della Basilica con il titolo (in russo e ucraino) *Il popolo di San Nicola per la pace*.

Simone Guagnelli

S.G. Dapía (ed.), *Gombrowicz in Transnational Context. Translation, Affect, and Politics*, Routledge, New York 2019, pp. XVI-282.

Gombrowicz in Transnational Context è il più recente apporto internazionale allo studio dell'opera di Witold Gombrowicz. Il volume raccoglie i contributi di diciassette studiosi riuniti sotto la supervisione di Silvia G. Dapía, già *guest editor* di un numero speciale della rivista "The Polish Review" (2015) dedicato allo scrittore polacco. La prospettiva transnazionale, come recita il titolo, è duplice: da una parte è raggiunta tramite ricerche condotte da un variegato gruppo di specialisti provenienti dall'Europa, dal Nord America e dall'America Latina; dall'altra, la lettura dell'opera di Gombrowicz è imperniata sull'intersezione delle culture, *in primis* polacca e argentina, ma anche francese e tedesca, che influenzarono la sua attività di scrittore e la sua recezione. Se il primo intento del volume è gettare luce sul Gombrowicz-scrittore transnazionale, il secondo consta nell'approfondire aspetti poco trattati della sua opera mediante nuove interpretazioni. Da qui le tre differenti prospettive che fanno da sottotitolo al libro (*Translation, Affect, Politics*), cui corrispondono le sezioni in cui è suddiviso.

Nella prima parte, *Lost in Translation*, trovano spazio sei contributi, in larga misura *case studies* aventi per argomento la complessità dei processi e degli esiti traduttivi di singole opere o di termini / concetti chiave nella poetica dell'autore, nonché i percorsi tortuosi che hanno portato, spesso con la partecipazione di Gombrowicz stesso, alla diffusione delle sue traduzioni all'estero. La sezione amplia così un campo di indagine già sondato, nell'ambito dei *Translation studies*, non solo tramite i numerosi contributi dedicati alla traduzione delle sue opere apparsi su riviste internazionali, ma anche da volumi ormai canonici come *Gombrowicz i tłumacze* (2003) curato da Elżbieta Skibińska o *Translating Gombrowicz's Liminal Aesthetics* di Paweł Wojtas (2014). In *The Rex Café, Buenos Aires, 1947: On the Spanish Translation of Gombrowicz's Ferdynand*, Daniel Balderston esamina alcune pagine del dattiloscritto dell'edizione argentina di *Ferdynand*, ripercorrendo le leggendarie circostanze che ne hanno accompagnato la traduzione, che Gombrowicz rielaborò personalmente insieme a un "Comité de traducción" guidato dallo scrittore cubano Virgilio Piñera. In *Witold Gombrowicz in Spain* di Zofia Stasiakiewicz vengono ricostruite le tappe del processo di traduzione di *Porno-grafia* in catalano e della sua fortuna nel mondo letterario della Spagna peninsulare, sulla base degli scambi epistolari tra Gombrowicz e Gabriel Ferrater, poeta e influente editore della Barcellona degli anni '60. La specificità del concetto di "puto" che incontriamo in *Trans-Atlantyck* viene illustrata da Carlos Gamarro in *The 'puto' in Argentine Literature*, in cui si approfondisce il contesto d'uso della parola, legata in maniera indissolubile a quello culturale e letterario dell'Argentina della metà del

xx sec. In *Are There as Many Weddings as Translations? On Gombrowicz's Spanish El casamiento (The Wedding)* Bożena Zaboklicka confronta il testo polacco della *pièce Ślub* con quello spagnolo, autorizzato dall'autore e contenente corpose aggiunte, mettendo in evidenza le differenze sostanziali tra il primo e il secondo. È di nuovo *Ferdydurke*, questa volta mediante l'analisi delle scelte messe in atto nella traduzione in inglese di Danuta Borhardt, il protagonista di *Intermolecular Mockery and Derision, an Inbred Superlaugh. On English Translations of Gombrowicz's Ferdydurke and Their Plural Original* di Magdalena Heydel. Chiude la prima sezione il saggio *Translating the Secret*, in cui le difficoltà insite nella resa dell'ontologia personale di Gombrowicz vengono discusse mediante svariati esempi da Olaf Kühn, traduttore, tra l'altro, del suo *Dziennik* in tedesco.

Nella seconda parte del volume, *Cartography of Affect in Gombrowicz's Works*, l'opera dello scrittore viene esaminata attraverso la lente di teorie connesse ai recenti *Affect studies*, sviluppatasi in ambito anglofono negli anni '90. Ad aprire questa serie di riletture è Michał Paweł Markowski che, in *"Indomitable Boredom Above the Entire World": Gombrowicz (and Other Polish Writers) on Existential Predicament* confronta con quella di Gombrowicz l'opera di Stanisław Ignacy Witkiewicz e Bruno Schulz per fornire un'analisi ontologica della noia a partire da *Zdarzenia na brygu Banbury*. Sempre su una riletture di quest'opera si basa il contributo di Błażej Warkocki, che in *What Really Happened Aboard the Banbury? Reading Gombrowicz with Eve Kosofsky Sedgwick* esamina il racconto facendo ricorso al concetto di "panico omosessuale" nell'accezione usata dalla studiosa statunitense. In *Becoming Gombrowicz: On the Way of Trans-Subjectivity and Trans-Modernity*, due racconti tratti dalla raccolta *Pamiętnik z okresu dojrzewania* fungono da materiale d'indagine per le speculazioni di Piotr Seweryn Rosół intorno al concetto di soggettività nella prosa di Gombrowicz. La teoria degli affetti deleziana viene invece utilizzata da Daniel Pratt per ragionare sul rapporto tra giovinezza e maturità in *Pornografia* in *Affect and Youth: Reading Gombrowicz with Deleuze*. Nel saggio *"The Quieter the Louder Indeed": Silence and the Space of Literature in Trans-Atlantyck*, un'analisi del ruolo del silenzio nel processo di scrittura viene fornita da Tuł'si (Tuesday) Bhambry, che rilegge *Trans-Atlantyck* insieme a Maurice Blanchot. Infine, con *The Anatomy of Feeling in Gombrowicz's A Premeditated Crime (Zbrodnia z premedytacją)*, Silvia G. Dapia studia l'interazione umana dei protagonisti del racconto facendo ricorso alle teorie di Susanne Langer relative agli *Affect studies*.

Nella terza sezione del volume viene percorso un sentiero poco battuto nelle ricerche su Gombrowicz: se gli studiosi lo hanno considerato all'unanimità estraneo a qualsiasi tipo di coinvolgimento politico, i cinque contributi di *The Political Gombrowicz* si propongono invece di ripercorrere le opere dell'autore senza escluderne una chiave di lettura politica, sondando le reazioni agli eventi storici cui egli fu spettatore nel continente europeo e nell'America Latina. Ad aprire quest'ultima parte del volume è Jerzy Jarzębski con *Gombrowicz's Wild Youth: The 'Ferdydurkean Individual' Fades Away*. L'eminente studioso di Gombrowicz indaga la fascinazione dell'autore per la gioventù militarizzata dell'Europa degli anni '30 e la consapevolezza della pericolosità dei suoi miti. Le posizioni dello scrittore nei confronti dei totalitarismi e del secondo conflitto mondiale vengono approfondite da Andrzej Stanisław Kowalczyk in *"Their Astounding Strength in Overcoming Their Past...": The Memory of Nazism in the Berlin Diary*, mentre quelle relative all'identità ebraica nel contesto polacco trovano spazio in *Gombrowicz-Schulz: From Duel to Double* di Jean-Pierre Salgas. In *The Politics of Performing Gombrowicz in Communist and Post-Communist Poland* Allen J. Kuharski traccia una sorprendente parabola del destino della produzione drammatica gombrowicziana sulle scene polacche ed estere negli anni della Repubblica popolare di Polonia e dopo la sua dissoluzione. La sezione si chiude con *The Editorial Adventures of a Writer without Readers* di Klementyna Suchanow, estratto della sua celebre monografia *Gombrowicz. Ja. Geniusz*. Qui l'autrice, attingendo dalla

corrispondenza dell'autore con i propri collaboratori ed editori, narra le intricate vicende che hanno accompagnato la diffusione della sua opera all'interno del circuito editoriale europeo, in particolare francese e inglese, ma anche d'oltreoceano.

Gombrowicz in Transnational Context ben si colloca all'interno della serie "Routledge Studies in Twentieth-Century Literature", orientata alla diffusione di studi scientifici dal carattere innovativo per le metodologie d'indagine adottate e la selezione dei temi trattati. Tra le qualità del libro vi è certamente quella di riunire saggi di studiosi affermati accanto a quelli di autori emergenti, senza che ciò comporti rilevanti ricadute sul valore scientifico del volume. Ancora, un ulteriore pregio consta nel proporre al lettore, accanto a saggi inediti, una selezione di contributi fino a poco tempo fa non accessibili in traduzione inglese, una parte dei quali viene inoltre riportata in una versione ampliata rispetto all'originale. Sia quando approfondisce argomenti già esplorati in passato, sia quando si apre a nuove prospettive, il volume curato da Dapía testimonia quanto ancora si possa dire su Gombrowicz e quanto Gombrowicz abbia ancora da dire.

Lidia Mafrica

О.В. Шуган (отв. ред.), *М. Горький в Италии. К 150-летию со дня рождения писателя*, Symposium, Санкт-Петербург 2021, с. 624+илл.

Празднование юбилея писателя-классика всегда сопровождается разнообразными памятыми мероприятиями (проведением научных конференций, семинаров, установлением мемориальных досок, монументов etc.), наконец, новыми изданиями его произведений и посвященных ему книг. В 2018 г. в традициях 'юбилейного канона' в России и ряде других стран отметили 150-летие со дня рождения Максима Горького. На разноликом фоне проходивших торжеств и сопровождавшего их 'шлейфа' изданий и публикаций, отдельного серьезного внимания заслуживает вышедший из печати в декабре 2021 г. под грифом Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН совместный труд итальянских и российских ученых – *М. Горький в Италии*.

Главное достоинство нового издания состоит в том, что, несмотря на свой подзаголовок, оно ни в коей мере не является юбилейной книгой-'однодневкой'. Это серьезный результат коллективных трудов ученых Италии и России.

Во вступлении (*От редакции*) кратко описана история научного изучения темы "М. Горький в Италии", обозначено место данного исследования в контексте празднования 150-летнего юбилея писателя, представлена структура книги. Она состоит из двух исследовательских разделов, каждый из которых посвящен одному из двух долголетних периодов пребывания Горького в Италии; а также из разделов *Публикации* и *Библиография*.

Открывает книгу обобщающая статья *Две встречи с Италией (от Капри до Сорренто)* Паолы Чони – одной из ведущих итальянских исследовательниц творчества М. Горького, безвременно скончавшейся в 2021 г. В этой работе она четко определила и глубоко охарактеризовала основные духовные, общественные и творческие векторы, маркирующие оба периода жизни писателя в Италии.

Первый раздел *М. Горький на Капри (1906-1913)* (с. 43-254) открывает статья ушедшей из жизни в январе 2022 г. старейшины российского горьковедения Л.А. Спиридоновой *Большой друг Италии*. По всестороннему охвату и трактовке темы эта работа логично продолжает и дополняет научное исследование Паолы Чони. Последующие статьи, входящие в первый раздел: О.В. Шуган *Итальянские сюжеты в "Сказках об Италии" М. Горького*; А.В. Голубцовой *Максим Горький и традиция итальянской драмы*; Е.В. Кудриной *М. Горький и итальянский футуризм*, – на основе новых источников и архивных материалов освещают эстетическое влияние на тематику и поэтику творчества писателя искусства Италии конца XIX-первой

четверти XX в., а также отражение реалий итальянской жизни того времени. Достоинство статьи Е.Н. Никитина *История Каприйской школы* заключается в обращении автора к неизвестным архивным источникам, хранящимся в Архиве А.М. Горького в ИМЛИ РАН, однако ее существенным недостатком является отсутствие аналитического осмысления привлекаемых материалов. В этом отношении работа Никитина проигрывает краткому, но концептуальному освещению данного вопроса в статье Паолы Чони (с. 26-29). Завершает раздел статья С.М. Демкиной *М. Горький и Капри (по материалам фондового хранения музея А.М. Горького ИМЛИ РАН)*, в которой новаторски и оригинально осмыслены разнородные экспонаты (живопись, графика, фотографии, музейные предметы), а также рассказано о выставках последних лет, познакомивших итальянского зрителя с собраниями Музея.

Второй раздел книги *М. Горький в Сорренто (1924-1933)* (с. 257-452) состоит из статей, касающихся разных аспектов второго периода жизни писателя в Италии. Его открывает существенная по своему научному значению статья Н.Н. Примочкиной *Горький и “русские итальянцы” в Сорренто: литературные диалоги и культурные инициативы*, в которой на обширном, в том числе архивном материале проанализированы истории встреч, эпистолярных и творческих диалогов писателя с В.Ф. Ходасевичем, Н.Н. Берберовой, П.П. Муратовым, Вяч. И. Ивановым, М.А. Осоргиным, Н.А. Оцупом и рядом других деятелей русской культуры и искусства. В статье тонко обозначены грани колебания ‘весов Иова’ между эстетическим спором, человеческими отношениями и политической конфронтацией. Работа О.В. Быстровой “*“О фашистах” писать не буду... Это тяжелая тема*” (*М. Горький в Италии в 1920–1930-е годы*)” на основе источников, в том числе из российского архива МИД, открывает новые стороны сложных обстоятельств существования писателя в условиях политической ситуации в Италии 20-х–30-х гг. Ряд документов, впервые вводимых в научный оборот в этой статье, дополняют капитальное исследование Паолы Чони *Горький-политик* (русский перевод: Алетейя, Санкт-Петербург 2018). Статьи Е.Р. Матевосян *Муратовские аллюзии в домашнем журнале Горького “Соррентинская правда”* и К.Н. Гаврилина *М. Горький и художники в Сорренто (по материалам рукописного журнала “Соррентинская правда”)* раскрывают личность писателя как натуры, тонко понимающей искусство и способной через творческую “игру” иронично преодолевать реальную действительность, до окончательного возвращения Горького в СССР еще не захватившую его целиком в свои жесткие лапы. Статьи М.А. Ариас-Вихиль *Горький в итальянской критике: pro et contra* и Лючии Тонини *Первые читатели М. Горького в Италии (по неопубликованным материалам флорентийских архивов)* представляют рецепцию творчества писателя со стороны профессиональных рецензентов, а также со стороны тех ‘реальных читателей’, к которым прежде всего и адресуется всякий литератор. Анализ реестра книг библиотеки Вьессё позволил Лючии Тонини сделать вывод о том, что в начале XX в. “по количеству читателей произведения Горького следуют сразу за Достоевским и Толстым” (с. 373). Закljučают этот раздел две крайне интересные работы: руководителя Культурной ассоциации “Максим Горький”, профессора Антонио Владимира Марино и координатора проектов по популяризации объектов культуры “Наследие без границ” В.П. Вольновой. Их заметки открывают разные аспекты процесса живого восприятия человека и писателя Максима Горького современной культурной аудиторией Италии и России.

Весомой составляющей труда является раздел *Публикации* (с. 455-550). Коллектив высокопрофессиональных текстологов и комментаторов архивных материалов (Эльда Гаретто, К.А. Кумпан, Е.Р. Матевосян и Г.Э. Прополянис) подготовили тексты из хранящегося в венецианском институте Fondazione Cini архива писательницы и переводчицы Ольги Ресневич-

Синьорелли, а также дополнили их материалами из московского Архива А.М. Горького. В разделе представлены комплексы писем самого Горького, его ближайшего семейного окружения (Е.П. Пешковой, Н.А. Пешковой, М.И. Закревской-Будберг), а также самой О. Ресневич-Синьорелли. Эпистолярные свидетельства раскрывают как взаимоотношения между адресатами, так и подробности творческой и бытовой жизни писателя. Тексты писем снабжены содержательными вступительными статьями и обширными историко-литературными комментариями. Дополняет переписки впервые публикуемая на русском языке, научно откомментированная статья О. Ресневич-Синьорелли 1937 г. *Максим Горький и Италия* (с. 548-550). Блестящий результат, достигнутый авторами этого раздела, является в первую очередь итогом их плодотворного научного сотрудничества, свободного обмена данными, что, в итоге, имело результатом объективное и всестороннее раскрытие объекта исследования.

Завершает труд раздел *Библиография* (с. 553-581), в котором представлен превосходящий собственно библиографические грани предмета изучения труд Михаэлы Бёмиг *Обзор переводов на итальянский язык сочинений Максима Горького (Введение к библиографии переводов художественных и публицистических произведений Максима Горького, вышедших отдельными изданиями в Италии)*. Это не только библиографический (регистрационный) перечень, но и сопровождающее его аналитическое исследование: характеристики переводов, динамики интенсивности издательской деятельности по десятилетиям, выявление книжных серий, информативные справки о переводчиках и издателях. Фактически эта работа Михаэлы Бёмиг является выверенным источником, на основе которого в дальнейшем могут быть подготовлены целый ряд последующих исследований, посвященных как собственно переводам произведений М. Горького, так и аспектам общетеоретической проблемы истории итальянского художественного перевода.

Книга *М. Горький в Италии* сопровождается значительным количеством иллюстраций: фотографий, репродукций произведений изобразительного искусства, факсимиле рукописей. Большинство материалов восходит к коллекциям Архива и Музея А.М. Горького в ИМЛИ РАН (Москва), а также к собранию, хранящемуся в Кабинете Дж.П. Вьессе (Флоренция). Целый ряд из них публикуется впервые. В связи с несомненным научным достоинством представленных редких иллюстративных материалов досадным диссонансом выглядит не проведенная унификация подписей к ним. Так, не указаны полные данные итальянцев, запечатанных вместе с писателем, хотя эти сведения имеются в распоряжении ученых (например, илл. X: *А.М. Горький с дочкой горничной Кармелы*, хотя известно имя девочки: Джузеппина; илл. XIV: *Повар Катальдо, горничная Кармела* [...], хотя известны фамилии этих лиц: Катальдо Апреа, Кармела Аквилея и т.д.). Кстати, полные данные об отмеченных лицах указаны прямо в этом же труде, в статье С.М. Демкиной. Отметим, что в процессе редактирования книги все же надо было обратить внимание на научную атрибуцию и унификацию подписей к иллюстрациям.

Высказанные замечания ни в коей мере не умаляют общей высокой оценки коллективной монографии *М. Горький в Италии*. Итальянские и русские исследователи сумели общими усилиями представить объективную картину духовных, творческих, человеческих, общественных контактов Максима Горького с Италией, раскрыть читателям новые грани этого трагически противоречивого, политизированного, но, в целом, бесконечно талантливого писателя XX века, который много лет прожил в приютившей его стране и от всего сердца говорил об итальянцах: «Я люблю этих людей – чудесный народ!»

E. Zamjatin, *Racconti*, a cura di A. Niero, Mondadori, Milano 2021, pp. xxx-285.

La prosa di Zamjatin affonda le sue radici nella tradizione letteraria russa, eppure si tratta di uno scrittore che, a buona ragione, può essere definito cosmopolita: è una delle tante dicotomie che contraddistinguono la sua arte, come ben sottolinea Alessandro Niero nel bel saggio introduttivo a questo volume, in cui passa in rassegna i racconti che ha scelto di selezionare. Inevitabilmente questa disamina offre anche lo spunto per una valutazione dei diversi registri narrativi e più in generale delle componenti essenziali della prosa di Zamjatin e si può senz'altro affermare che questa introduzione coroni il suo lavoro più che ventennale sullo scrittore. Nel 1999, infatti, assieme a Sergio Pescatori, Niero aveva pubblicato per Voland *Racconti inglesi*, che comprendeva anche il racconto *Provincia*, riproposto in apertura di questa silloge. Va anche ricordata, sempre per Voland nel 2013, la bella versione di *Noi*, ripubblicata da Mondadori nel 2018, altro importante precedente di questo lavoro antologico.

La lettura di questa scelta di racconti, alcuni già noti in Italia, altri presentati qui per la prima volta, confermano le qualità di uno scrittore che nello spazio siderale della prosa russa occupa un posto particolare. Ingegnere navale di professione, Zamjatin non si accosta certo alla scrittura per semplice diletto: si tratta di un teorico della prosa, di un attento cultore della lingua nei suoi diversi registri, di un abile costruttore del tessuto narrativo, che si cimentò anche con il teatro e il cinema e si presenta, malgrado la sua formazione squisitamente tecnica, come uno scrittore capace di innovare, che occupa un ruolo primario nella letteratura russa del Ventesimo secolo. Questa è un'altra prova delle dicotomie che lo caratterizzano e che confermano 'scientificamente' l'assunto che la *reductio ad unum* dell'opera di Zamjatin è impossibile. Questa ambivalenza ne fa un indagatore curioso del mondo visibile e di quello invisibile, – del corpo e dell'anima, si potrebbe dire volendo semplificare – mai disponibile, però, a una doppiezza etica. Alcuni dei suoi racconti, in cui d'improvviso si scatena un'insospettabile violenza, fanno pensare a quegli scarti improvvisi narrati da Simenon: in vite apparentemente regolari e ordinate da quello che pare un invincibile tran-tran si scatena un impulso irrefrenabile che porta a esiti inattesi, destinati a mutare radicalmente il corso di una vita. Ma pensare che la felicità consista nell'eliminare questi impulsi, nel creare una società quale quella descritta in *Noi*, vale a dire un mondo irreggimentato da precetti ferrei e inderogabili la cui perfezione sarebbe garantita dall'assenza di sentimenti e di pulsioni, è l'esatto contrario di ciò che per Zamjatin costituisce la vera essenza dell'uomo: un essere libero di praticare la propria fantasia senza alcuna restrizione. È questo, pure se condizionato da fattori economici e sociali, l'ineludibile presupposto del dubbio. E il dubbio è necessario per lo sviluppo e il progresso del genere umano.

Il volume presenta undici racconti preceduti da una breve autobiografia e si chiude con lo scritto teorico *Dietro le quinte*; è corredato da note e da un glossario molto utili per una migliore comprensione dei testi e da una bibliografia. La scelta del curatore vuole dar conto dei diversi 'periodi' dell'attività di Zamjatin: si tratta infatti di racconti composti sia prima della rivoluzione, sia in epoca sovietica e poi durante l'esilio parigino, seguito alla richiesta avanzata dallo scrittore a Stalin, nel giugno del 1931, di potersi recare all'estero.

A Zamjatin è toccato di essere restituito ufficialmente alla letteratura del suo paese in anni relativamente recenti. Si tratta di una sorte condivisa con molti altri letterati, caratteristica della storia della letteratura russa del Novecento e che di fatto ha condizionato la ricezione di questi autori presso il pubblico naturale dei loro lettori. Per certi versi il destino di Zamjatin pare simile a quello di Michail Bulgakov, uno scrittore che, pur nella diversità dello stile, gli si può accostare sia per la capacità di descrivere con crudo realismo, pervaso da una sagace vena umoristica, la vita quotidiana della Russia, sia per la propensione a immaginare un mondo parallelo in cui il fantastico è alimentato dalle ossessioni degli uomini. Per altro, come è noto, anche Bulgakov fu autore di una lettera a Stalin i cui accenti non sono molto diversi da quelli utilizzati da Zamjatin. "So di avere l'abitudine, alquanto scomoda, di dire non ciò che converrebbe in un dato frangente, bensì quella che mi sembra la verità" (traduzione di Valentina Parisi) scriveva Zamjatin chiedendo di poter espatriare, piuttosto che essere condannato in URSS al silenzio e al quotidiano ludibrio.

Caso vuole che i due scrittori siano accomunati anche da Lo Gatto nel suo volume di ricordi *I miei incontri con la Russia*, in cui, raccontando le conversazioni avute con Zamjatin a Mosca e a Parigi, lo slavista ci fornisce un vivido ritratto umano dello scrittore e ci testimonia della considerazione che ne avevano altri intellettuali russi quali Gor'kij o Osorgin. E non stupisce apprendere da Lo Gatto che Zamjatin molto apprezzava scrittori come Sterne e Swift. "Il mondo è vivo solo grazie agli eretici, solo grazie a chi nega l'oggi, come qualcosa di incrollabile e di infallibile. Solo gli eretici aprono nuovi orizzonti nella scienza, nell'arte, nella vita sociale; solo gli eretici che negano l'oggi in nome del domani, costituiscono l'eterno fermento della vita, garantiscono il suo costante progredire" aveva scritto Zamjatin nella biografia di Robert Mayer (*Il destino di un eretico*, trad. di G. Gallo, Sellerio, Palermo 1988, p. 22-23). E anche a lui ben si attaglia quanto aveva scritto a proposito di Mayer, sostenendo che "guardava il mondo con il microscopio e il telescopio contemporaneamente. Vedeva sia l'atomo che l'universo" (*ibid.*, p. 82).

Tragico destino degli eretici era quello di finire sul rogo; l'esilio risparmiò a Zamjatin questa sorte, ma lo condannò a una breve sopravvivenza all'estero lontano dalla linfa vitale della sua Russia. Ad Alessandro Niero va riconosciuto non solo il merito di una scelta oculata e di una traduzione attenta a rendere pienamente conto dell'arte narrativa di Zamjatin, ma anche di avere saputo offrire al lettore italiano un quadro composito, utile a meglio comprenderne sia il valore di scrittore, sia di uomo animato da un invincibile gusto per la libertà.

Gabriele Mazzitelli

N. Zabolockij, *Il trionfo dell'agricoltura*, trad. e cura di C. Scandura, Del Vecchio, Roma 2021, pp. 160.

La diffusione del nome di Nikolaj Zabolockij in Italia ha avuto un primo grande impulso tra la seconda metà degli anni Cinquanta, quando con una delegazione di poeti sovietici egli venne in visita in Italia (a Ravenna scrisse memorabili versi sulla tomba di Dante), e il decennio successivo, grazie all'uscita di due contributi particolarmente importanti: l'edizione italiana della sua prima raccolta poetica (corredata da altre poesie di periodi successivi), curata da Vittorio Strada per gli Editori Riuniti col titolo *Colonne di piombo* (1962); l'articolo di Ripellino (che era stato ospite a casa di Zabolockij a Mosca) dal titolo *Diario con Zabolotskij*, pubblicato inizialmente nel 1960 su "Europa letteraria" e otto anni dopo nella bella raccolta di saggi uscita per Einaudi, *Letteratura come itinerario del meraviglioso* (1968). Negli anni successivi sono apparsi sia preziosi contributi singoli (tra cui quelli di Vitale, Rizzi, Scandura, Ieraldi), sia rassegne più ampie come il numero speciale di "eSamizdat" (2007, 1-2) dedicato ai poeti Oberiuti, con un approfondimento anche su Zabolockij e molte nuove traduzioni di suoi componimenti. Nel fascicolo in uscita nel 2022 la medesima rivista ha programmato un ulteriore speciale sugli Oberiuti, in cui sarà possibile trovare anche aggiornamenti bibliografici relativi agli studi e alle traduzioni italiani più recenti delle opere di questo interessante sodalizio di poeti: nella cornice di tale aggiornamento un titolo di particolare rilevanza sarà certamente l'edizione italiana del poema di Zabolockij *Toržestvo zemledelija* (*Il trionfo dell'agricoltura*, composto tra il 1929 e il 1930, pubblicato nel 1933), curata da Claudia Scandura. Il volume, uscito presso l'editore Del Vecchio, è stato pubblicato con il sostegno dell'Institut perevoda e della Fondazione Prochorov, due istituzioni notoriamente molto interessate alla diffusione della letteratura russa all'estero.

Il *Trionfo dell'agricoltura* occupa un posto particolarmente importante nella vicenda artistica del suo autore, fungendo da spartiacque tra il periodo avanguardistico e 'urbano' di *Stolbcy* e le riflessioni successive, che ruotano attorno al tema della riconciliazione utopica tra l'uomo e la natura e trovano interessanti riflessi nell'opera poetica di Velimir Chlebnikov e nell'arte di Pavel Filonov. Nel poema vengono rappresentati una serie di "dialoghi fra uomini, animali e altri esseri viventi e defunti", ambientati nella gioiosa atmosfera di una cooperativa ideale, che in realtà si fa specchio di principi sociali universali, orientati in forme assai originali sulle riforme che il regime sovietico veniva promuovendo in campo agricolo. Come giustamente ricorda la curatrice nell'introduzione, "una delle idee principali [del poema] è quella dell'uguaglianza fra uomini e animali e la liberazione di questi ultimi dal giogo della schiavitù" (p. 15). Idea evoluta, ma certo non priva di pericoli: il poema è composto da un prologo e sette episodi o capitoli, il terzo dei quali ha una storia particolarmente im-

portante, perché fu quello che generò i dubbi più consistenti. I primi furono sollevati dalla censura, che bloccò la pubblicazione del poema sulla rivista “Zvezda” nel 1933 e impose delle modifiche che furono apportate in tutta fretta; i secondi appartengono alle autorità, che sulla base di questo capitolo, ma più in generale del senso complessivo dell’opera, evidentemente frainteso, formularono al poeta accuse che ebbero come conseguenza un lungo periodo di detenzione nel gulag (1938-1944). E pensare che proprio quel terzo capitolo doveva essere la parte più gradita al regime, visto che nel contesto della celebrazione della collettivizzazione delle campagne, vi veniva messa in ridicolo la figura del *kulak*: “La terra ha bisogno di sale forte, / grida: ‘Kulak, fino a quando?’ / Ma per quanto la terra lo minacci, / il kulak rovinerà il raccolto. / Gli fa piacere lo sterminio / di ciò che è segno del futuro. / Quindi, cedendo alla stanchezza, / a stento si reggono i cereali”. Nella sua traduzione, la curatrice si assume il difficile compito di “evitare il maggior numero di perdite”, badando altresì a rendere il ritmo del verso: utilizza quindi degli endecasillabi irregolari, rinunciando così all’uso rigido delle rime. Questo le permette certamente di emanciparsi dai vincoli che imporrebbe una traduzione più obbediente alla metrica originale, e trasferire con più fedeltà al lettore le complesse immagini di questo poema “insolito e di grande spessore”, in cui non si può non riconoscere anche echi dello stile di *Stolbcy*, come nella chiusa del capitolo III: “E la notte, costruttrice del giorno, / decisamente e audacemente, / come una strega, volò via dal tetto, / inclinando il carro verso l’abisso”.

Oltre alla versione del poema, con testo russo a fronte, il volume contiene la traduzione (sempre di Scandura) di un breve saggio di Zabolockij sulla poesia e la musica, scritto nel 1957 (pp. 9-10), una nota biografica (pp. 11-14), l’introduzione al testo (pp. 15-18) e una postfazione (pp. 125-146) in cui viene presentata in maniera più ampia l’opera del poeta, definito a ragione “un classico del futuro”.

Va dunque accolta positivamente questa iniziativa editoriale, che grazie al lavoro della curatrice rende fruibile al lettore italiano una testimonianza particolarmente rilevante dell’attività di un poeta da riscoprire e approfondire, e illustra idee utopiche che nella Russia sovietica degli anni Venti ebbero grande circolazione, ma che, come dimostra la complessa vicenda biografica di Nikolaj Zabolockij, non furono condivise dal potere.

Marco Caratozzolo

A. Ceccherelli, L. Marinelli, M. Woźniak (a cura di), *Quo vadis polonistica? Bilanci e prospettive degli studi polacchi in Italia (1929-2019)*, Dipartimento di Studi Umanistici-Università di Salerno, Salerno 2020 (= Collana di "Europa Orientalis", 36), pp. 261.

Il volume in oggetto raccoglie gli atti del convegno *Il sapere e l'amicizia: 90 anni di studi polacchi alla Sapienza* svoltosi il 12-14 dicembre 2019 presso l'Ateneo romano e l'Accademia Polacca delle Scienze – Biblioteca e Centro di Studi a Roma, e organizzato da Luigi Marinelli e Monika Woźniak.

Nel coinvolgere studiosi la cui formazione universitaria o post-universitaria è legata alla Sapienza (questo il criterio che ha guidato la scelta dei relatori), i curatori hanno cercato di coprire diversi ambiti di ricerca in cui si declinano gli studi polonistici. Ne è risultato un volume che non rappresenta solo una valida ricognizione sullo stato degli studi in Italia, ma può rivelarsi un utile strumento per operare eventuali confronti tra la polonistica nostrana e quanto sta accadendo nelle attigue aree disciplinari del mondo slavo. Un esempio in questo senso potrebbe essere l'attuale superamento della tradizionale dicotomia tra studi letterari e studi linguistici dove, come evidenzia la Presidente dell'Associazione Internazionale di Studi Polonistici (MSSP) Magdalena Popiel (ospite d'onore nel volume), prende sempre più spazio la contaminazione degli studi polonistici con altre discipline e metodologie (per quanto, come giustamente fa notare, "i cambiamenti strutturali nelle università siano dettati piuttosto da ragioni economiche e dalla progressiva infantilizzazione della cultura", pp. 26-27).

La lettura di questa miscellanea, davvero ricca, permette di individuare le principali linee di sviluppo degli studi polacchi in Italia, caratterizzati da un lato dalla portata innovativa rappresentata dalle nuove metodologie e dall'interdisciplinarietà, dall'altra da certe 'resistenze' per così dire 'ambientali' ad aprirsi al nuovo che possono essere considerate al contempo una forma di retaggio di scuole e tradizioni locali. Nonostante il carattere specifico e individualizzato dei singoli studi, il volume può venire recepito come una riflessione corale dove quasi tutti gli studiosi hanno cercato di mettere in relazione e operare dei precisi distinguo tra il contesto internazionale e quanto stanno facendo (o hanno fatto) i polonisti italiani; riflessione nella quale ritorna a più riprese il nome di Giovanni Maver, figura centrale e padre fondatore della slavistica italiana, nonché ispiratore di diverse linee e prospettive ermeneutiche coltivate con maggiore o minore intensità dalle generazioni a seguire.

Tra i fenomeni che rappresentano una costante della polonistica italiana, Monika Woźniak individua i contatti tra la lingua e la cultura italiana e quella polacca che si traducono, soprattutto dal secondo dopoguerra (e con tutte le difficoltà politiche e istituzionali dell'epoca), in una sempre più articolata rete di scambi tra i due mondi accademici. La studiosa presenta un'ampia panoramica della geopolonistica italiana a partire dai primi faticosi tentativi di attecchimento nella seconda metà

dell'Ottocento, mettendo in evidenza i momenti di scambi accademici più intensi in concomitanza con l'avvicinarsi delle fasi storiche e il raffreddarsi o il distendersi dei rapporti politici. Come faceva notare Marchesani nel 1991, "lo studio dei rapporti culturali e letterari italo-polacchi rappresenta più in generale una costante della polonistica italiana" (p. 251), e questo discorso non ha certo perso di attualità trent'anni più tardi. Rapporti la cui tracciatura è affidata ai repertori bibliografici che, come sottolinea Gabriele Mazzitelli, a partire dal pionieristico lavoro *La Polonia e l'Italia* di Maria e Marina Bersano Begey, hanno anche il grosso merito di favorire e incoraggiare la mutua conoscenza dei popoli e la condivisione di un patrimonio spirituale e culturale (p. 138). È chiaro che questo discorso è tanto più valido se si considera che la letteratura polacca è, per dirla con Enrico Damiani, "di gran lunga la più italiana e la più latina di tutte le letterature slave" (p. 39).

Un'ulteriore analisi che consente di seguire in prospettiva diacronica l'evoluzione della polonistica italiana effettuando al contempo interessanti raffronti con il mondo della slavistica nostrana è offerta dall'interessante panoramica di Marina Ciccarini sulle storie della letteratura polacca nel nostro paese. Una letteratura che, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento e fino ancora all'ultimo dopoguerra, veniva ospitata in contributi storico-letterari dedicati alle letterature slave o in volumi ispirati all'idea goethiana della *Weltliteratur*. Un momento di svolta è stato la pubblicazione nel 1953 della *Storia della letteratura polacca* di Marina Bersano Begey, per molti anni imprescindibile strumento per generazioni di polonisti italiani, almeno fino alla più recente *Storia della letteratura polacca* (Einaudi, Torino 2004) realizzata da dieci accademici italiani coordinati da Luigi Marinelli. In quello che è uno dei più importanti lavori collettivi del ristretto ma collaborativo ambiente polonistico italiano, accanto ai capitoli dedicati ai grandi periodi storico-letterari, va messo in evidenza quello sulla letteratura yiddish ed ebraico-polacca redatto da Laura Quercioli, autrice di una interessante panoramica degli studi ebraici in ambito internazionale e polacco nel volume oggetto di questa esposizione.

A fronte della comprensibile e naturale imprescindibilità dal contesto italiano, il volume testimonia in modo convincente dell'innovatività degli apporti di una polonistica, quella italiana, tutt'altro che periferica e passiva rispetto a quello che accade o accadeva sulla Vistola. Un esempio in questo senso potrebbe essere il lavoro di Marcello Piacentini, dove si evidenzia come – in una tradizione filologica polacca da sempre orientata preferibilmente all'analisi degli aspetti linguistici – la scuola italiana abbia saputo apportare un contributo importante allo studio critico e filologico dei testi antico-polacchi (si pensi, per limitarsi ad alcuni esempi, allo studio di Sante Graciotti sul *Lament świętokrzyski*, ai lavori di Angiolo Danti sulla *Kronika Turecka*, alle ricerche di Marina Ciccarini sulle *Facecje polskie* o ai più recenti contributi di Viviana Nosilia sulla *Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią*); e non soltanto dei testi antichi, se pensiamo all'importante pubblicazione di due volumi curati da Monika Woźniak e Luigi Marinelli sul *Quo vadis* usciti nel 2016 e nel 2017, in occasione del centenario della morte dello scrittore.

Come già accennato, altri polonisti della generazione più giovane non hanno mancato di sottolineare nei loro contributi al volume un minore dinamismo o certe resistenze in alcuni ambiti disciplinari. Se da una parte Emiliano Ranocchi evidenzia l'importanza dell'apporto della polonistica *tout court* alla storia delle idee a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso, si nota la presenza di pochi studi polonistici italiani nell'ambito di una particolare disciplina accademica che, a onor del vero, pur venendo praticata, stenta a trovare in Italia "una sua collocazione accademica stabile" (p. 139). Ciò detto, meritano senz'altro di essere ricordate le ricerche di Riccardo Picchio sul sarmatismo o di Sante Graciotti sull'evoluzione del mito nobiliare polacco tra Sette e Ottocento, fino agli studi più recenti di Marina Ciccarini sulla filosofia dell'azione e di Luigi Marinelli sui modelli antitetici delle due slavie (latina *vs.* ortodossa).

Queste resistenze, quando non riguardano la specificità o le tradizioni accademiche italiane, sono comunque riconducibili alla polonistica in generale. Riscontrando ad oggi una scarsa messe di studi postcoloniali in ambito polonistico internazionale, Luca Bernardini tenta di rispondere alla domanda su quali siano gli sviluppi possibili di queste ricerche in un paese paradossalmente scisso tra l'aspirazione al riconoscimento del proprio passato di colonia e i tentativi di definire il ruolo polacco nell'"episteme colonialista occidentale". Dopo la pionieristica analisi di Paolo Morawski del 2009, questo contributo si prefigura come un'ulteriore e articolata riflessione di un polonista italiano sullo stato degli studi postcoloniali polacchi ed ha il grosso merito di indicare due tendenze fondamentali: una legata alla tradizionale connotazione "martirologica" della storia nazionale, l'altra attenta alle vicende che attestano il ruolo della Polonia come un "egemone coloniale e culturale" negli antichi territori nella Slavia orientale (i *Kresy*).

Altre resistenze sono piuttosto riconducibili alla specifica formazione dei polonisti italiani. A fronte di un loro spiccato interessamento per il teatro polacco del Novecento, come evidenzia Giulia Olga Fasoli, gli aspetti drammaturgici più tecnici come regia e messinscena sono stati oggetto dell'interesse di studiosi di teatro o ricercatori esterni alla nostra disciplina. Un fatto comprensibile se si considera che i polonisti italiani sono quasi tutti letterati. Ciò nonostante, è grazie ai loro sforzi se gli amanti del teatro in Italia non sono completamente all'oscuro di autori come Witkacy, Sławomir Mrożek, Witold Gombrowicz, Tadeusz Kantor o Jerzy Grotowski (caso eccezionale, quest'ultimo, di drammaturgo che gode nel nostro Paese di una fortuna forse persino maggiore che in Polonia).

Un discorso analogo può essere fatto riguardo agli esigui rapporti tra polonistica italiana e cinema, visto e considerato che, pur non mancando i cinefili tra i polonisti italiani, nessuno può vantare studi specificamente cinematografici. Ma quello che potrebbe essere considerato un limite è stato invece occasione di nuove possibilità di ricerca; a detta di Lorenzo Costantino è nelle intersezioni tra letteratura, comparatistica e traduzione che possiamo riconoscere "l'incontro più fertile tra la polonistica e il cinema in Italia, espressosi nello studio da un lato delle trasposizioni cinematografiche di opere letterarie, dall'altro delle manipolazioni traduttive in ambito audiovisivo" (p. 182). In questo senso, evidenzia Costantino, è possibile assistere a una sorta di ripensamento della disciplina stessa, dove nei punti di contatto tra codici, testi e linguaggi assistiamo al rinnovarsi degli studi polacchi nella direzione delle prospettive culturali ed ermeneutiche apertesi negli ultimi decenni.

Uno degli esempi più interessanti in questo senso è quello dei *gender studies*; come sottolinea Alessandro Amenta, la polonistica internazionale è stata la prima a rivisitare la letteratura polacca in chiave di genere e in questa tendenza si è incanalata anche la polonistica italiana dove, come leggiamo nella ricognizione dello studioso romano, a partire dalla seconda metà degli anni Duemila polonisti come Laura Quercioli, Krystyna Jaworska, Andrea F. De Carlo (o lo stesso Luigi Marinelli) hanno iniziato a proporre i frutti di un crescente interesse verso metodologie e tematiche connesse all'identità di genere e all'orientamento sessuale (la prima monografia sul tema è dello stesso Amenta che nel 2008 ha dedicato uno studio sulle modalità di rappresentazione dell'omosessualità maschile nella prosa polacca dagli anni Trenta alle soglie del XXI secolo).

Gli studi sulla traduzione sono invece uno di quegli ambiti dove il tradizionale interesse dei polonisti italiani meglio si trasmette da una generazione all'altra raffinandosi grazie agli stimoli offerti dai moderni contributi della traduttologia. Un ambito dove la mescolanza di ermeneutica del testo, speculazione teorica e pratica traduttiva può assicurare risultati di notevole interesse; questo perché le traduzioni letterarie nel nostro ambito sono per lo più opera di accademici incardinati nelle varie polonistiche (mentre, a parte pochissime e note eccezioni, l'apporto dei traduttori letterari 'professionisti' – anche per i noti limiti del nostro sistema editoriale – è ancora piuttosto occasionale

e quando non lo è risulta spesso qualitativamente discutibile). Il testo di Ceccherelli mette in rilievo la grande importanza che i traduttori-accademici italiani hanno sempre dato alla traduzione come atto ermeneutico (approccio già postulato da Maver in un articolo del 1929), fatto dimostrato dalla significativa presenza di autocommenti che accompagnano i loro lavori. Il contributo dello studioso fiorentino permette di tracciare le linee di sviluppo della scuola (o delle scuole) di traduzione della polonistica italiana (i cui inizi sono riconducibili a Damiani) delineando con chiarezza l'affacciarsi di nuove tendenze come un maggiore apporto della polonistica universitaria alla divulgazione, l'apertura verso nuovi ambiti (come la traduzione audiovisiva o transmediale) nonché il superamento da parte delle generazioni più giovani delle resistenze nei confronti della teoria della traduzione che caratterizzava i 'maestri' della polonistica italiana. In questo senso gli studi sulla traduzione, come sostiene Monika Woźniak "possono diventare nel futuro forse il più fecondo punto d'incontro e di scambio scientifico tra la polonistica italiana e l'italianistica polacca, aprendo non solo nuove prospettive di ricerca e di collaborazione scientifica, ma anche nuovi orizzonti didattici".

In una prospettiva sempre più favorevole a ricerche che nascono sul crinale di diversi settori disciplinari, questo volume (anche grazie agli ampi ragguagli e rimandi bibliografici che accompagnano ogni contributo) rappresenta una lettura di grande interesse per gli studiosi di ogni ambito culturale slavo, proponendosi altresì come utile strumento per orientare i giovani studiosi polonisti attraverso le nuove tendenze e linee di sviluppo di una disciplina oggi più che mai vitale.

Dario Prola

E. Solonovič, *Coincidenze*, a cura di C. Scandura, Elliot, Roma 2021, pp. 129.

La poesia di Evgenij Solonovič ha la cadenza di un gesto quotidiano. Scaturisce da una frequentazione con i versi che dura da sempre e si alimenta della lettura di tanti poeti, russi e italiani *in primis*, ma anche di altre culture. È una poesia esperta che non teme di misurarsi con le rime e al tempo stesso non disdegna il parlato, a seconda dei diversi umori che al poeta detta la sua ispirazione. La fama di traduttore della nostra poesia è tale che Evgenij Solonovič non ha bisogno di particolari presentazioni. Le sue versioni di Belli, di cui si annuncia una nuova edizione, sono ormai una pietra miliare nella storia della diffusione della conoscenza della letteratura italiana in Russia. Ma forse non vi è poeta italiano con cui Solonovič non si sia misurato. Sebbene tanto si sia scritto sull'intraducibilità della poesia, sappiamo quanto si debba essere grati a coloro che riescono a costruire dei ponti di parole capaci di farci conoscere altri contesti culturali. Questo volume vede per altro misurarsi con un traduttore così esperto una studiosa che negli ultimi anni si è dedicata con pari dedizione a proporre al lettore italiano alcune delle voci più significative della poesia russa contemporanea e anche dal loro incontro è nato questo libro quale concreta testimonianza di una reciproca amicizia.

Nell'introduzione Claudia Scandura coglie alcuni dei temi portanti delle liriche di Solonovič, sottolineando come la sua poesia fluisca in maniera spontanea: così i tradizionali temi dell'amore, dell'amicizia, del trascorrere inesorabile del tempo, dei ricordi piacevoli o dolorosi sono rivissuti in maniera personale e filtrati con una semplicità di stile che è il frutto della lunga frequentazione dell'autore con la melodia della parola. Non manca neanche quel tono ironico, così tipicamente russo che è sempre anche autoironia, ma che qui è animato da una sostanziale fiducia nella natura umana. L'incontro di Solonovič con l'Italia è stato un incontro con la bellezza, quella bellezza che molto spesso chi si avvicina 'da lontano' al nostro Paese riesce a cogliere molto meglio e di più di chi vi trascorre una vita intera. Questa bellezza si è nutrita dell'amore per l'arte e per gli uomini, quali protagonisti e testimoni del loro tempo, che in certi momenti storici devono fare i conti con un clima culturale difficile, in cui la pratica della *dissimulazione onesta* di Torquato Accetto è l'unico modo per sopravvivere. È accaduto in Italia sotto il fascismo ed è accaduto anche nella Russia sovietica.

Pur nella evidente attualizzazione dei temi e dei motivi ispiratori la poesia di Solonovič ha, talora, un sapore stilnovistico, non tanto nell'idealizzazione di una donna 'angelicata', quanto nell'affermazione dell'idea che esista una nobiltà dell'animo capace di indirizzare le nostre azioni, di vincere i momenti di disperazione e di consentirci di frequentare la speranza nella vita di tutti

i giorni. Anche per esorcizzare la morte. Claudia Scandura scrive che nel laboratorio creativo di Solonovič “poesia e traduzione si trovano esattamente sullo stesso piano” (p. 9). Forse ci si può spingere anche oltre e esprimere questa interazione così totalizzante con i versi di Dante: “Già non attendere’ io tua dimanda, S’io m’intuassi, come tu t’inmii” (*Paradiso*, IX, 80-81). Perché le “coincidenze” richiamate nel titolo di questa raccolta sono certo i casi della vita, tutto ciò che a volte in maniera inattesa decide dei nostri destini, ma coincidere vuol dire anche riuscire a compenetrarsi nel diverso da sé, a far in modo che i diversi piani dell’umana convivenza si intersechino: che la poesia diventi tradotta e la traduzione agire poetico. O che la Russia e l’Italia trovino perfetta coincidenza grazie a coloro che hanno dedicato la loro vita, come Evgenij Solonovič, a far sì che potessero parlare una lingua comune.

Gabriele Mazzitelli

M. Cvetaeva, *Ultimi versi. 1938-1941*, trad. di P. Napolitano, Voland, Roma 2021, pp. 149.

Alla fortuna italiana di Marina Cvetaeva – testimoniata da un’interrotta serie di edizioni e riedizioni dagli anni Sessanta ai giorni nostri – ha senz’altro contribuito la sua figura di poetessa romantica e anticonformista, inscindibile da una scrittura spesso autobiografica (tanto in prosa quanto in versi) di grande valore etico ed estetico, una voce intensa e immediatamente riconoscibile. Proprio per la capacità di evidenziare questo legame tra vita e arte, tra le varie iniziative editoriali italiane del 2021 in concomitanza con gli ottant’anni dalla morte dell’autrice spicca il libretto di poesie pubblicato da Voland: l’idea è di considerare tutte le poesie note del periodo a ridosso dell’evento che viene commemorato e quindi di selezionare i testi – in gran parte inediti in italiano – secondo un criterio cronologico che permetta di apprezzare, quasi in un diario lirico, il riflesso di un’esperienza umana straordinaria nel suo angosciante spegnersi.

Pina Napolitano, che già nel 2014 per Voland aveva curato i taccuini della Cvetaeva del periodo 1919-1921, fornisce al lettore nel paratesto quelle informazioni sulla vita e sullo stato d’animo dell’autrice utili a comprendere le allusioni dei testi poetici, oltre che per avere un quadro più dettagliato degli eventi biografici non registrati nei versi. Il libro ripercorre dunque le vicende di una donna che affronta l’ultimo anno di emigrazione in Francia con il figlio tredicenne Mur (1938), il ritorno in URSS per raggiungere il marito Sergej Ėfron (divenuto spia sovietica e rientrato in patria nel 1937 con la figlia Alja), la vita in clandestinità nei dintorni di Mosca per circa un anno, l’arresto di Ėfron e Alja da parte dell’NKVD, fino al suicidio il 31 agosto 1941 a Elabuga, dove la Cvetaeva era evacuata con Mur all’inizio dell’Operazione Barbarossa. Nelle poche poesie di questa raccolta trovano spazio avvenimenti che avevano colpito profondamente l’autrice: l’invasione tedesca della Cecoslovacchia, dove la Cvetaeva aveva passato i primi tre anni di emigrazione dal 1922 al 1925 dopo una breve permanenza a Berlino (i cicli *Stichi k Ćechii e Mart*), l’amaro addio a Parigi (*Douce France*), le infatuazioni per il giovane studioso di letteratura Evgenij Tager (*Dvuch – žarče mecha! Ruk – žarče pucha!...; Ušël – ne em... et al.*) e per Arsenij Tarkovskij (*Vsë poutorjaju pervyj stich...*). Anche le poesie incompiute, oltre ad assumere oggi un fascino simile a quello dei frammenti di un autore del mondo classico, assomigliano a cellule non sviluppate ma in cui è facile riconoscere il DNA della poetessa, in particolare della sua produzione matura e tarda: è un dettato poetico che si dipana, quasi senza verbi principali, tramite l’uso di paronomasie a catena (o comunque di allitterazioni insistenti) con cui oggetti e concetti vengono accostati in modo talora sorprendente e rivelatore di uno sguardo sempre vergine sul mondo – si pensi a quel “Богова! Божемия!” (p. 52) con cui si sottolinea foneticamente la derivazione divina che l’autrice conferisce al paese da lei amato.

Il testo russo a fronte è ricavato dall'edizione Èllis Lak (vol. 2, 1994; a p. 28 leggiamo "1995", evidentemente un refuso). Si tratta della raccolta ad oggi più completa delle opere della Cvetaeva, sebbene non la più affidabile dal punto di vista ecdotico, a quanto riferitomi da Irina Shevelenko – una delle maggiori studiose della poetessa russa. Sarebbe ingiusto pretendere assoluto rigore filologico per un'edizione non accademica quale è questa di Volland, ma avrei considerato utile un controllo dei testi – ove possibile – con versioni più precise, come quelle di *Stichotvorenija i poëmy* della collana "Biblioteka poëta" (1990): a una collazione sommaria ho già rilevato numerose discrepanze nella punteggiatura, non sempre innocue. Quanto agli apparati paratestuali, essi comprendono un'ottima introduzione – che offre un resoconto degli ultimi anni di vita della Cvetaeva con citazioni di sue lettere e considerazioni di stile – un'essenziale nota biografica, una nota della curatrice e una ricca sezione di note ai testi, in cui spunti interpretativi si accompagnano a spiegazioni di alcune scelte traduttive.

A proposito della traduzione, Pina Napolitano ha optato per un approccio che tende a privilegiare la semantica delle poesie rispetto alla prosodia: pur riconoscendo il ruolo enorme che rivestono gli aspetti metrico-ritmici nella poetica della Cvetaeva, la curatrice evoca l'oggettiva difficoltà di trovare equivalenti accettabili in italiano senza stravolgere il senso dell'originale. Viene inoltre ricordata la diversa percezione di metro e rima nella cultura di partenza e in quella di arrivo, con la poesia moderna russa rimasta per varie ragioni più ancorata a forme classiche rispetto a quella italiana (cfr. p. 29). Ne deriva che il verso libero da noi sarebbe più normale e nelle traduzioni preserverebbe da quegli effetti anacronistici cui si potrebbe incappare con soluzioni isosillabiche e rimate per rendere il sillabotono russo. Tuttavia, se è vero che le traduzioni sono inevitabilmente figlie del proprio tempo, non sarà peregrino notare una ripresa di forme chiuse tradizionali nel panorama italiano degli ultimi decenni: ne parlano, tra gli altri, Enrico Testa nell'introduzione all'antologia di poeti 1960-2000 (Einaudi, Torino 2005) e Fabrizio Bondi con il saggio *Meditazioni neometriche* ("Sig.Ma", 1, 2017, pp. 269-303). Tentativi di tradurre poesia russa del Novecento con metri più o meno regolari e rime quantomeno imperfette si registrano già verso la fine del secolo scorso – con esiti talvolta convincenti – ad esempio con il Brodskij di Giovanni Buttafava, il Mandel'stam di Remo Faccani e in alcuni casi la Cvetaeva stessa nella resa di Serena Vitale; più di recente si possono segnalare le prove di Alessandro Niero, Massimo Maurizio e Daniela Liberti.

Detto questo, le traduzioni della Napolitano – pur concentrandosi sulla resa del significato – non trascurano la ricerca di un equilibrio ritmico, grazie a versi di lunghezza non troppo dissimile a quelli dell'originale e il saltuario ricorso ad allitterazioni. Particolarmente bella e pulita è la resa della quartina "Мне хлебом был, / И снегом был. / И снег не бел, / И хлеб не мил": "Era pane per me, / era neve. / Nera la neve, / invisibile il pane" (pp. 98-99); "...или гусиные/ Белые стада?" viene reso con l'esatto "...o bianchi / branchi di oche" (pp. 48-49). In quest'ultimo caso si ha una traduzione sostanzialmente parola per parola che permette di creare un effetto allitterativo assente nell'originale, ma che nell'insieme compensa l'inevitabile perdita delle paronomasie diffuse in altri punti. Tuttavia, le rese letterali possono talvolta apparire goffe in italiano: si consideri "Край мой, край мой, проданный / Весь живём, с зверьём" che diventa "Paese mio, paese mio, *venduto / vivo tutto*, con bestie" (pp. 50-51, corsivo mio, AF), e "Чешский лесок – / Самый лесной" tradotto come "Boemo boschetto – / il più boschivo" (pp. 56-57).

L'ultimo esempio mi stimola peraltro una riflessione sulla questione della lineetta. In italiano il suo utilizzo è limitato quasi esclusivamente all'indicazione dell'inciso in luogo delle parentesi tonde; in russo questo segno ha notoriamente una grande varietà di applicazioni, anzitutto come sostituto di parole omesse (ad esempio, della copula nel predicato nominale), e può essere anche un segno di interpunzione; il suo uso tanto ossessivo da eccedere talvolta le norme del russo letterario è cifra stilistica

della Cvetaeva: ne deriva una scrittura contraddistinta da stacchi bruschi sia a livello visivo che declamatorio (la lineetta produce infatti una pausa preceduta da un'intonazione ascendente del discorso). Occorre tuttavia sottolineare che la poetessa si basava sul valore che questo segno aveva nel russo, di cui pur estendeva e forzava l'uso; ne consegue che riprodurre quasi meccanicamente la lineetta in traduzione italiana conferisce al testo un effetto ben più strano e artificioso di quanto non avesse nell'originale, soprattutto dal momento che la scelta non è segnalata e giustificata nella nota della curatrice. Il sopraccitato "Boemo boschetto / – il più boschivo" risulta in pratica un calco sintattico del russo. Non è l'unico. Basti prendere qualche esempio dalle pp. 46-47: se in russo "Горы – турам поприще!" e "Доли – ланям пастбище" sono frasi grammaticalmente normali, lo stesso non può dirsi per "Monti – arena di uri" e "Valli – pascoli di daini"; in "Доли в воды смотрятся, / Горы – в небеса" la lineetta in russo sottintende la ripetizione del primo predicato verbale, ma non in italiano, dove tuttavia leggiamo "...le vallate / specchiate nelle acque, / le montagne – nei cieli". Quanto a un impiego più squisitamente cvetaeviano della lineetta (ad es. "Spiccati – i monti, / le acque – sviate..."; p. 45), la curatrice si è fatta a tal punto contagiare da adottarlo perfino nella propria introduzione: "Sono, già da tempo, due spinte contrastanti: scrivere – e vivere, non scrivere – e non essere" (p. 12). Noto *en passant* che pure nelle ormai classiche versioni di Pietro Zveteremich e della Vitale si trovava spesso la lineetta, ma il suo senso era comunque stato evidenziato da loro nell'introduzione; inoltre, i traduttori non la riproducevano passivamente a ogni sua occorrenza nel russo, ma anzi la inserivano in modo creativo, anche sfruttando quando possibile la sua funzione italiana di delimitazione dell'inciso.

Se si escludono delle piccole sviste, si tratta di un'edizione di pregio nell'ottica di una più piena conoscenza della Cvetaeva presso il pubblico italiano. Forse talvolta ci si sarebbe potuti aspettare un po' più di coraggio nelle scelte traduttive, ma mi pare che l'effetto di insieme sia buono: la preferenza per un italiano senza orpelli (al più impreziosito da qualche episodico termine aulico) rende bene la lingua secca e tagliente dell'autrice russa.

Alessandro Farsetti

A.M. Ripellino, *Iridescenze. Note e recensioni letterarie (1941-1976)*, I-II, a cura di U. Brunetti e A. Pane, Nino Aragno Editore, Torino 2020, pp. 395 + 399-864.

Strabiliante Ripellino. Credevamo di conoscerlo bene, che non potesse più sorprenderci. Sapevamo della straordinaria ricchezza della sua produzione saggistica e pubblicitaria dalle bibliografie dei suoi scritti – l'ultima, approntata da Antonio Pane ("Russica Romana", XXVII, 2020, pp. 87-133) –, conoscevamo l'ampiezza del diapason dei suoi interessi e curiosità e competenze in materia di letteratura, arte, teatro. Eppure, *Iridescenze* ha il potere di stupire. A più di quarant'anni dalla scomparsa dello slavista-poeta, il suo 'cilindro' sembra non aver fondo, e continua a effondere magiche soperse.

Al piccolo e attivissimo gruppo di filologi e letterati che da anni raccoglie e pubblica i testi dello slavista sparsi in riviste, quotidiani, archivi, si è aggiunto negli ultimi tempi anche Umberto Brunetti, che ha recentemente dato alle stampe l'introduzione e un ampio commento alla raccolta poetica *Lo splendido violino verde* (A.M. Ripellino, *Lo splendido violino verde*, Editoriale Artemide, Roma 2021). In collaborazione con lui, Antonio Pane, dedito da decenni con amorosa ostinazione a riportare alla luce scritti dimenticati del grande slavista (da ultimo, *Fantoci di legno e di suono. Due studi giovanili [1949]*, Nino Aragno Editore, Torino 2021) pubblica ora questi due corposi volumi che raccolgono 177 brevi testi critici di Ripellino usciti su riviste e quotidiani, per lo più recensioni, ma anche scritti per la RAI. Preceduti da una *Presentazione* di Pane (pp. XIII-XVII) e da un'ampia *Introduzione* di Brunetti (pp. XIX-XLIII), i testi coprono un arco di tempo che va dal 1941 al 1976. Si stenta a credere che i primi saggi della raccolta siano opera di un liceale: un Ripellino diciassettenne esordisce recensendo autori italiani (Lisi, Govoni), ma già nel 1942 il suo angolo di visuale critica si amplia fino a includere altre letterature: la spagnola (Béquer), l'ucraina (un'antologia di Salvini), la russa (Blok, Annenskij), l'argentina (Capdevila). Scrive con levità e sicurezza, disseminando i brevi testi di folgoranti analogie, reminiscenze, inattesi parallelismi che rivelano in lui un lettore non onnivoro, bensì selettivo, per il quale la selezione è però enciclopedica, tale, ad esempio, da portarlo a cogliere nella poesia di Bécquer il ricordo delle *Scrisori* e del *Luceafărul* di Eminescu (p. 45).

Il titolo del libro è tratto da una lettera scritta da Ripellino nel 1968, nel pieno della contestazione studentesca, indirizzata agli studenti 'anziani', che in una tempestosa lezione definì 'infusori impazziti': "Il fragoroso schianto della vecchia Università ha travolto per sempre anche il nostro lavoro di isolani, ha vanificato le nostre sollecitudini per la poesia, la nostra stessa concezione dell'arte e del mondo. I giuochi di rimandi, di analogie, di richiami alla pittura, alla musica, al folclore, al teatro, il nostro *apel'sinstvo* (per usare una parola di Blok!), le premurose analisi, le tele di malin-

conica *rêverie*, il febbrile scavo nelle immagini: tutto è diventato inutile – e del resto era troppo fragile, troppo privo di sostrati ideologici, troppo onirico per poter durare. E ora? Ora torneranno gli schemi, le secchezze dei dati, la Vecchia Scuola, il Manuale dalle gambe corte, il liceo. Bicchieri di piombo invece di vetri di Tiffany, lezioni protocollari, e non più iridescenze” (pp. xv-xvi).

Nel 1945 Ripellino si laurea sotto la guida di Ettore Lo Gatto; la vocazione slavistica ha prevalso su quella romanza, come confermano i suoi interventi sulla stampa, dedicati quasi esclusivamente alle letterature slave: la russa, in special modo contemporanea, e la cecoslovacca, ma anche la letteratura polacca, che pure in quegli anni egli stava traducendo. Il giovane critico è già compiutamente ‘Ripellino’: legge i testi attraverso il filtro della propria sensibilità e delle proprie inclinazioni – di qui il ricorrere di vocaboli come ‘malinconia’, ‘sogno’, ‘magia’ –, nella sua critica già coesistono analisi testuale e gusto dell’analogia, incursioni nel campo delle arti figurative e acribia, sollecitudine verso il lettore, a cui segnala la posizione dell’accento tonico nei nomi russi, e sicurezza di giudizio, attenzione alla resa italiana dei testi stranieri, alla precisione della traduzione, alla scelta del giusto registro stilistico, gusto per gli arcaismi e i preziosismi. Non esita a dispiacersi di alcune scelte lessicali di poeti italiani affermati, fa professione della propria poetica, trova la traduzione di Euripide fatta da Annenskij “accurata e ferma, sebbene non sempre dietro al testo, ché lievi tocchi cari alla sua poesia, si possono scorgere nella versione” (p. 71). Nel 1948, depreca l’ignoranza delle letterature slave ancora diffusa tra i critici italiani: “È cosa ormai nota che la letteratura sovietica e in genere quella contemporanea dei popoli slavi non godano molta simpatia presso i conservatori nostrani. So, per mia esperienza, che quando si vuol far conoscere una poesia o una novella russa, boema o polacca, si urta contro le mura cinesi d’una sprezzante diffidenza. Ci sono ancora dei critici, ruderi del malgusto ermetico, pieni di umori perniciosi, i quali, senza averne mai letta una riga, vi affermano, ad esempio, che la poesia boema è solo un mediocre documento, una sottoproduzione ‘slava’. Voglio anche dirvi che questi stessi critici, e con loro gran parte della borghesia, sono talmente ignoranti da sostenere con sussiego che in Ungheria e in Romania si parlano lingue slave” (p. 225). Si rincorrono, come Leitmotiv, temi e autori che ritroveremo nei suoi studi successivi: Majakovskij, Pasternak, Chlebnikov, la poesia ceca contemporanea, Hašek. Se il giovane critico ha già la personalità che abbiamo imparato a conoscere dai suoi scritti più tardi, l’ordine cronologico dei testi permette una visione dinamica dei suoi gusti e opinioni.

Col tempo, accanto alle recensioni compaiono brevi saggi su scrittori, pittori, critici letterari estranei al mondo slavo, ma a lui particolarmente cari, come Hoffmann, Magritte, Man Ray, Magris, Butor, e saggi sui suoi temi-feticci: il circo, il clown tragico, la regia russa, il poetismo praghese, il mondo incantato degli automi. Si fa più incisiva la stigmatizzazione dell’inadeguatezza delle traduzioni. Recensendo la versione “cauta, paziente, fedele” di una raccolta di poesie della Cvetaeva, curata da Pietro Zveteremich, si chiede: “Ma, scusatemi, dov’è la Cvetaeva? Un fragore di oceano in tempesta è divenuto sciacquo da trovarobe, l’urlato s’è fatto modulazione da camera. So bene quanto sia duro trasporre questo tessuto vocale [...]. Eppure qualcosa di più si poteva ottenere con aggiustamenti ed astuzie, tentando nella nostra lingua consimili rinterzi e viluppi acustici, evitando le vane inversioni, lavorando (accanitamente) di lessico” (p. 517). Depreca la genericità delle classificazioni letterarie, come la dilatazione semantica subita dal termine ‘avanguardia’ in un volume di Benjamin Goriély sulle avanguardie letterarie europee (“Il guaio è che l’autore intende per avanguardia quasi tutta la letteratura del secolo, anche la più attardata”, p. 555). E ripensa il proprio passato entusiasmo per le avanguardie russe: “Una volta leggevo i manifesti dei gruppi letterari russi del Novecento con lo stesso fervore con cui gli appassionati per le corride divorano le reboanti rubriche taurine. Oggi quegli urla da ballatoio, quelle beghe di famiglia, quelle girandole da truffaldino,

quegli imbonimenti da unguentari, quelle fanfaronate non riescono più a entusiasmarci” (p. 609). Costanti restano invece le parole di apprezzamento per gli studi di Lo Gatto, suo maestro, del quale, tra il 1946 e il 1963, tratteggia un affettuoso e limpido profilo scientifico e recensisce quattro tra lavori di alta divulgazione scientifica e traduzioni.

Il suo giudizio critico si è ormai definitivamente svincolato dai lacci delle bibliografie autorevoli: è il caso, ad esempio, di Blok, da lui letto negli anni Quaranta attraverso la lente critica di Ajchental'd e di Čukovskij (“Blok non è poeta festoso, ma è tranquillo (*spokojnyj*) e fluisce senza sbalzi”, p. 24). Negli anni Settanta il giudizio si ribalta: “La lirica inquieta di Aleksandr Blok, tutta echi e riflessi e rispecchiamenti impalpabili, lirica scritta con una tensione costante dell’‘udito interiore’, preannunzia con sussulti febbrili e torbide premonizioni l’‘approssimarsi di sismi, di immensi rivolgimenti” (p. 821).

La sua critica è sottesa da un pathos civile che si fa vibrante in occasione dell’invasione sovietica della Cecoslovacchia e trascolora in sofferenza per l’intimidita stagnazione culturale, sociale e politica conseguente alla repressione, lo stesso pathos che fa condannare allo slavista la soffocante politica di Gomulka in Polonia, la stagnazione dell’epoca brežneviana e il camaleontismo, l’acquiescenza al potere sovietico da parte di scrittori da lui un tempo ammirati, e di critici che falsificano la storia e la verità, come nel caso del Majakovskij “imbalsamato” *post mortem* dalla critica.

L’ultimo saggio della raccolta, *Un affiatato quartetto* (1976), potrebbe essere sia una dichiarazione d’intenti, sia l’abstract di un lavoro già avviato. Tra le carte di Ripellino rimasero infatti quattro saggi manoscritti, pubblicati postumi nel suo *L’arte della fuga* (1987) sui singoli componenti del “quartetto”: Blok, Esenin, Majakovskij, Pasternak. Curiosamente, un altro poeta-critico, Iosif Brodskij, in una delle sue ultime interviste (sarebbe morto di lì a poco, cinquantacinquenne come Ripellino) avrebbe individuato, nella poesia coeva, un “quartetto” diverso, tangente quello ripellino solo nel nome di Pasternak: Mandel’stam, Achmatova, Pasternak e Cvetaeva.

Parallelismi e immagini memorabili migrano da un testo ad un altro: penso a due brani (1971, 1972) su Majakovskij – oggetto di dieci saggi, numero record nella raccolta –, in cui l’autore sviluppa la similitudine tra la calca che alla mostra di Vermeer impedisce di vedere i quadri e i troppi studi critici che impediscono di ‘vedere’ Majakovskij, e il paragone tra la lotta di Harold Lloyd con l’orologio e la sua, personale, lotta con Majakovskij. Avrei ritrovato queste stesse immagini nel colorito patchwork del manoscritto del saggio *Majakovskij ride, Majakovskij piange*, pubblicato anch’esso ne *L’arte della fuga*.

Ripellino non barattò mai i vetri di Tiffany con bicchieri di piombo. Per questo *Iridescentze* potrebbe essere utilmente consigliato come *livre de chevet* agli slavisti, e non solo a loro, quale esempio sempre attuale di un modo di far critica che coniughi brillantezza dello stile, rigoglio lessicale, profondità della competenza, sicurezza e indipendenza di giudizio, capacità di discernere la vera arte da epifenomeni letterari che brillano lo spazio di un mattino.

Un altro pregio del libro è che tratteggia davanti ai nostri occhi una compiuta biografia intellettuale dell’autore, permettendo di seguirne l’evoluzione. L’esordio *‘flamboyant’* di Ripellino nella critica letteraria consente di parlare di ‘mozartismo’, intendendo col termine non solo la precocità del talento, ma anche la straordinaria limpidezza dello stile, la facilità e felicità della scrittura, la gioia stillante dalle sue trovate euristiche. Con una delle sue amate sinapsi culturali, ci sovviene alla mente il Mozart puškiniano.

Vorrei concludere con un piccolo ‘cammeo’: il testo più breve della raccolta, che ben riassume alcuni tratti del Ripellino-critico, quali la precisione da orologiaio, la curiosità, la vasta competenza. Nel 1951 il ventottenne Ripellino segnalò con garbo in una lettera alla Direzione del

Teatro dell'Opera di Roma che nei manifesti e nel programma dell'opera in cartellone, *Jenůfa* di Leoš Janáček, era sbagliato il nome del librettista: non un ignoto Gabriel Preiss, bensì Gabriela Preissová, nota scrittrice di cui lo slavista tratteggiava contestualmente un breve profilo (p. 253). Nel 2022, settant'anni dopo, nell'allestire la *Kát'a Kabanová* di Janáček al Teatro dell'Opera, a qualcuno sarà forse corso un brivido per la schiena al ricordo dell'antica gaffe, garbatamente ma impietosamente rimarcata da Ripellino?

Rita Giuliani

F. Berti, A. Dell'Asta, O. Strada (a cura di), *La Russia e l'Occidente. Visioni, riflessioni e codici ispirati a Vittorio Strada*, Marsilio, Venezia 2020, pp. 350.

Publicato nel secondo anniversario della scomparsa di Vittorio Strada, il volume raccoglie ventidue contributi suddivisi in tre ampie sezioni tematiche, precedute da una *Prefazione* di Olga Strada, una *Introduzione* di Francesco Berti e dal breve saggio *Educare alla libertà. Per un europocentrismo critico e dialogico* di Vittorio Strada.

La prima sezione è dedicata ai contributi di carattere biografico; la seconda agli studi di Slavistica incentrati, in particolare, su temi letterari e filosofici; la terza ad argomenti di natura storica, culturale e geopolitica volti a indagare la problematica relazione tra la Russia e l'Occidente. Una bibliografia – parziale, precisano i curatori – degli scritti dello studioso conclude il volume.

I saggi che compongono questa pregevole opera collettanea delineano, idealmente, una struttura centrifuga, il cui nucleo è costituito dai temi di interesse e dai relativi percorsi di ricerca compiuti, e non di rado inaugurati, dallo studioso. Tra gli interventi di carattere biografico è doveroso ricordare innanzi tutto il profilo tracciato da Clara Strada (*Percorsi di vita nella galassia URSS/Russia. Un ritratto familiare di Vittorio Strada*), la quale offre al lettore i propri commossi ricordi, rivelando che la lunga e feconda storia di studioso ebbe origine da un imperativo: "era necessario stabilire dalle fonti dirette come si era sviluppata la politica dei socialdemocratici". A Sergio Rapetti si deve un altro illuminante contributo biografico (*Libertà come liberazione: Vittorio Strada e il suo incontro con il "dissenso" in URSS*), che si sofferma sull'interesse dello studioso – il quale attribuiva a sé stesso la definizione di "revisionista nato" – per l'"altro pensiero", orientato a sottoporre "l'attraente costruzione teorico-ideologica del socialismo-comunismo [...] alla verifica della realtà fattuale della Russia-URSS".

Alcuni autori presentano approfondimenti di studi condotti da Vittorio Strada. Ne è un esempio il contributo di Michele Rosboch (*Vittorio Strada e Vasilij Grossman: un orizzonte europeo*) che si conclude con un auspicio quanto mai drammaticamente attuale: è "essenziale un cammino comune fra Russia ed Europa, conservando le proprie specificità, ma continuando a rinnovarsi e 'condizionarsi' vicendevolmente". A partire dal saggio *Un narratore filosofo. Vladimir Odoevskij*, nel quale si evidenzia l'acquisizione dello spirito europeo da parte di Odoevskij e dei romantici russi in generale, Adalgisa Mingati rileva nella produzione letteraria di questo autore la presenza di alcuni motivi tanatologici, il contrasto fra istinto e ragione, la commistione di fantastico e ironia. Richiamando le circostanze che determinarono la scoperta del pensiero di Michail Bachtin da parte di Strada, al quale si deve l'edizione italiana delle principali opere del filosofo russo, Anna Krasnikova (*Strada, Bachtin e i generi del discorso. Un'analisi di slogan carnevaleschi contemporanei*) si sofferma, in particolare, su un saggio poco noto, *I generi del discorso*, dal quale ella trae gli strumenti e i metodi analitici per prendere in esame gli slogan contro la mancanza di libertà ostentati dai dimostranti di *Monstracija*, manifestazione ufficialmente autorizzata fino al 2019, contemporanea, nonché unica

espressione dello spirito carnevalesco popolare e medievale descritto da Bachtin. Nel ricordare gli studi che Vittorio Strada dedicò all'esperienza caprese di Maksim Gor'kij, Marco Caratozzolo (*Osservazioni preliminari sulla diffusione del saggio biografico di Gor'kij su Lenin in Italia*) ricostruisce, invece, la vicenda editoriale italiana del profilo biografico di Lenin, originato dalla reazione emotiva alla notizia della morte del leader della rivoluzione, redatto dallo scrittore sovietico in meno di dieci giorni, e parzialmente censurato in Russia a causa di alcune, ampie, parti considerate pericolose.

Se Vittorio Strada ha posto in rilievo l'approfondita riflessione contenuta in *Vita e destino* di Vasilij Grossman, sulle "dinamiche sotterranee che hanno accompagnato la seconda guerra mondiale, avendo il merito di mettere il momento ebraico, pur nella sua centralità, all'interno di una complessa visione generale della guerra", Manuel Boschiero (*La shoah e l'opera di Vasilij Grossman: la lotta per la memoria nell'oblio sovietico*) mostra come il riferimento allo sterminio nazista, posto al centro della narrazione bellica, attribuisca alla *shoah* un valore essenziale nella memoria culturale e storica della Russia novecentesca.

Altri autori del volume volgono l'attenzione a peculiari aspetti o a temi specifici della produzione scientifica di Vittorio Strada. Ol'ga Sedakova (*Vittorio Strada: frontiera dell'Europa*) pone in rilievo l'apporto dello studioso non soltanto alle investigazioni nel campo della letteratura e della cultura russa, bensì anche, se non soprattutto, alla conoscenza della storia della cultura europea; mentre per Adriano Dell'Asta (*Esperienza del reale e astrazione ideologica. Il problema del totalitarismo di Vittorio Strada*) l'essenziale contributo dello studioso consiste nella ricostruzione critica della genealogia del terrore a partire dal *Catechismo del rivoluzionario* di Nečaev per evidenziare la fondamentale lezione delle due antologie *Vechi* e *Iz glubiny*, nelle quali Strada rileva il "carattere di negazione della realtà tipico del totalitarismo". Francesco Berti (*Una rivoluzione antioccidentale? Vittorio Strada studioso e interprete della Rivoluzione russa*) prende in esame "l'esito ultimo" della "complessa, profonda, illuminante riflessione" sulla rivoluzione russa, ponendo in rilievo sia le connessioni con i mutamenti storici e ideologici che hanno determinato il processo rivoluzionario sia i problematici processi di occidentalizzazione e modernizzazione che hanno "investito e scombiato la storia e la cultura russa, a partire dall'azione riformatrice di Pietro il Grande".

Alcuni saggi propongono, infine, percorsi paralleli a quelli compiuti da Strada, con essi stabilendo un'interessante e feconda interazione dialogica. È il caso del contributo di Daniela Rizzi (*Note a margine dell'Idiota dostoevskiano, l'"umile igumeno Pafnutij"*) che individua nel nome Pafnutij, più volte evocato nel romanzo, un falso riferimento, "un pretesto narrativo" e, nel contempo, il possibile rinvio a Pafnuzio, asceta del IV secolo, la cui leggendaria biografia costituisce una celata e indiretta allusione alla missione salvifica intrapresa dal principe Myškin. Mentre, a partire da un'attenta ricognizione di numerosi lavori editi fra il 1942 e il 2016, Stefano Garzonio (*Alcune riflessioni sulla periodizzazione della letteratura russa nel XX secolo*) offre una esaustiva panoramica della storiografia letteraria russa, ponendo in evidenza la portata di tale problematica periodizzazione.

L'insieme, composito e produttivamente eterogeneo, dei contributi raccolti in *La Russia e l'Occidente*, spiega Francesco Berti, "intende far proprio lo spirito e gli intenti di Strada". La loro copiosa varietà suggerisce anche una ulteriore riflessione. L'ampiezza e la multidisciplinarietà dei suoi interessi scientifici ne sono la più preziosa eredità: la formazione, nel tempo, non di una scuola improntata a uno stesso, circoscritto, approccio alla ricerca, generatore di una produzione omogenea e monotematica, bensì di una vasta e multanime comunità di studiosi, dagli orizzonti aperti, capace di rinnovarsi con il trascorrere delle generazioni, proprio come libero, profondo e coraggioso è lo sguardo che Vittorio Strada rivolge alla Russia, all'Europa, al mondo.

V. Bottone, G. Mazzitelli (a cura di, con la collaborazione di P. Avigliano), *Sono contento di averti continuato. Lettere a Ettore Lo Gatto conservate alla Biblioteca nazionale centrale di Roma*, BNCr, Roma 2020 (= "Quaderni della Biblioteca nazionale centrale di Roma", 24), pp. 222.

Il contributo di Gabriele Mazzitelli alla storia della slavistica italiana è ben noto. Non si contano più i saggi che, sin dalla fine degli anni Settanta, egli ha dedicato all'argomento. In questa fitta e sempre interessante produzione un posto particolare spetta al folto gruppo di scritti dedicati a Ettore Lo Gatto (1890-1983). Dai saggi su "Russia", la rivista che lo slavista napoletano aveva fondato nel 1920 e poi diretto fino al 1926, a quelli dedicati ad alcune vicende biografiche di Lo Gatto (che Gabriele Mazzitelli aveva del resto intervistato nel 1981), è una cospicua parte della traiettoria intellettuale logattiana quella che lo studioso ha messo in luce nell'arco di quattro decenni. Di quest'ampio lavoro il nuovo volume curato in collaborazione con Valeria Bottone, che ha conseguito il dottorato di ricerca all'Università di Tor Vergata, costituisce sicuramente uno dei tasselli più importanti.

Per tutta la sua lunga esistenza Lo Gatto tenne un'abbondante corrispondenza. Nel 1996 Anjuta Maver Lo Gatto aveva già pubblicato in "Europa Orientalis" le lettere indirizzate, dal 1920 al 1931, dal padre a Giovanni Maver (1891-1970), l'altro nume tutelare della slavistica universitaria italiana: missive piene di entusiasmo – sono gli anni fondanti di "Russia", della "Rivista di letterature slave", della creazione dell'Istituto per l'Europa orientale, ma anche dei primi incarichi universitari di Lo Gatto, della conoscenza diretta con il mondo slavo grazie ai viaggi compiuti in Russia, a Praga e a Varsavia – e ricche di informazioni capitali per chi voglia ricostruire la fase eroica della storia degli studi slavi in Italia. Più recentemente, nel 2019, sono apparse, a cura di Giulia Baselica, le settantacinque lettere che Lo Gatto scrisse, dal 1959 al 1979, al russista torinese Piero Cazzola (1921-2015): lettere della vecchiaia indirizzate ad un collega più giovane e spesso molto commoventi con le loro allusioni ai lutti familiari – nel 1963 perde la moglie, Zoe Voronkova, che gli aveva impartito lezioni private di russo all'indomani della prima guerra mondiale e con cui aveva realizzato le sue prime traduzioni dal russo – e alle infermità che colpiscono Lo Gatto in quegli anni.

Ad un periodo quasi identico – dalla fine degli anni Cinquanta al principio degli anni Ottanta – appartengono le lettere contenute nel volume qui recensito (la maggior parte del materiale risalente al primo dopoguerra è purtroppo andato disperso). Senonché, a differenza degli epistolari finora pubblicati, non si tratta di missive *di* Lo Gatto bensì *a* Lo Gatto. In totale centocinquantaquattro lettere, tutte conservate presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma nel

Fondo Lo Gatto. Come osserva Valeria Bottone nella breve introduzione premessa alla raccolta, “a scrivere a Lo Gatto sono colleghi, ex-allievi, conoscenti, amici, che gli si rivolgono per inviare un saluto, per informarlo di progetti, impegni, attività di studio, per definire questioni pratiche o per ringraziarlo dell’aiuto che hanno ricevuto – sia materiale sia spirituale – nel presente o nel passato” (p. 7). Il Lo Gatto a cui si rivolgono gli ottanta mittenti di quelle lettere non è più il giovane entusiasta degli anni Venti, che, con le sue innumerevoli traduzioni e articoli di divulgazione, contribuisce a far conoscere la letteratura russa – classica e contemporanea – all’Italia del primo dopoguerra; è ormai, come gli scrive Piero Cazzola, il “Nestore” degli slavisti italiani (p. 36), uno dei pilastri della disciplina, uno studioso internazionalmente riconosciuto. La fama di cui egli gode non soltanto nella Penisola spiega le diverse nazionalità dei suoi corrispondenti: lettere dall’Italia naturalmente, ma anche dalla Francia, la Gran Bretagna, l’Unione sovietica, la Polonia, la Cecoslovacchia ecc. Ogni mittente scriveva generalmente nella propria lingua, il che per il formidabile poliglotta che era Lo Gatto non era certamente un problema. E non è uno dei minori pregi di questo volume l’aver riprodotto – con una traduzione italiana per le lettere redatte in una lingua straniera – tutti i documenti nella loro versione originale (a onor del vero, segnaliamo tuttavia che le missive in francese non sono sempre prive di errori di trascrizione). Si passa così dall’italiano all’inglese, al russo, al francese, al polacco, al ceco e perfino all’ucraino. Manca, però, una lingua: il tedesco. Un’assenza tanto più sorprendente dal momento che, prima della guerra del ’15, Lo Gatto aveva studiato, all’Università di Napoli, lingua e letteratura tedesca e aveva esordito alla vigilia del primo conflitto mondiale con qualche traduzione di Nietzsche e di Hans Sachs. Perfino la sua iniziazione alla Russia si era svolta all’insegna della mediazione tedesca: durante la prigionia in Austria (1916-1918), non aveva studiato il russo su una grammatica tedesca e non aveva pubblicato, poco dopo il ritorno in Italia, una traduzione di *Russland und Europa* di Tomáš Garrigue Masaryk? Eppure il volume qui recensito non reca testimonianza di contatti con studiosi di lingua tedesca. Che la Seconda Guerra mondiale, le atrocità commesse dai nazisti nei territori slavi da loro occupati avessero distolto Lo Gatto da una cultura alla quale era stato molto sensibile nei suoi anni di formazione?

Ciononostante l’assenza del tedesco non toglie nulla al carattere decisamente poliglotta della corrispondenza di Lo Gatto. Ormai considerato uno dei maestri degli studi slavistici, questi era in contatto con alcuni fra i più grandi cultori stranieri della disciplina: Pierre Pascal e Michel Aucourturier, Waclaw Lednicki e Roman Pollak, Viktor Šklovskij e Viktor Žirmunskij, ecc. Non mancano neanche fra i suoi corrispondenti figure dell’emigrazione russa come Boris Zajcev o Tat’jana Osorgina. Tuttavia, a scrivergli sono soprattutto italiani. Fra questi molti ex allievi divenuti a loro volta ricercatori internazionalmente riconosciuti, come Riccardo Picchio (1923-2011) o Angelo Maria Ripellino (1923-1978). Oltre a preziose informazioni sulla storia della slavistica italiana (dalla non sempre facile preparazione di un numero di “Ricerche slavistiche” alle tormentate vicende dei concorsi universitari), le loro lettere offrono una commovente testimonianza dell’affetto e della gratitudine che i discepoli di Lo Gatto provavano per il loro maestro. Basti citare, a mo’ di esempio (uno fra tanti!), le parole che concludono questa missiva di Ripellino del 20 settembre 1976 in cui l’autore di *Praga magica* evoca i ricordi di “un tempo ahimè già lontano [...], di quando, ragazzo, venivo da te a consultare la tua miniera di re, di quando mi aiutavo coi tuoi consigli e mi raccontavi delle tue esperienze. Gli anni sono sfuggiti, la vita corre disperatamente. Ma tu hai saputo conservarti giovane in un mondo di sfaceli. Vorrei avere la tua saggezza, il tuo meraviglioso equilibrio, il tuo fermo sguardo. Grazie, Ettore. Sono contento di averti continuato” (p. 154).

Come si è detto, il volume curato da Gabriele Mazzitelli e Valeria Bottone non contiene lettere di Lo Gatto, ad eccezione di qualche minuta. Non significa però che lo slavista sia assente dal libro. Tutt'altro! Dalle missive pubblicate emerge il ritratto, necessariamente frammentario, di uno studioso rimasto fedele a quello che aveva caratterizzato buona parte della sua esistenza: la passione per il mondo slavo in genere, per la Russia in particolare. Una passione di cui recano testimonianza il *Profilo della letteratura russa dalle origini a Solženicyn* (1975) e *I miei incontri con la Russia* (1976). Due opere dettate dalla nostalgia – la prima raccoglie lezioni di letteratura russa impartite da un professore ormai in pensione a studenti immaginari, la seconda è una sorta di autobiografia intellettuale – e che suscitano nei mittenti di Lo Gatto reazioni spesso entusiaste.

Terminiamo questa recensione di un libro che interesserà tutti coloro che si occupano di storia della slavistica italiana (e non solo) aggiungendo che è corredato da un utile apparato critico e da vari indici e che contiene, inoltre, una decina di fotografie di Lo Gatto scattate in diverse epoche della sua vita.

Laurent Béghin

K. Jaworska (a cura di), *Herling – Etica e letteratura. Testimonianze, diario, racconti*, con contributi di W. Bolecki, G. Fofi e M. Herling, Mondadori, Milano 2019 (= I Meridiani), CLXVII-1670 pp.

In prossimità della ricorrenza del centesimo anniversario della sua nascita (1919), Gustaw Herling-Grudziński è stato finalmente omaggiato anche in Italia dell'attenzione editoriale che meritava: Mondadori ha ripubblicato *Un mondo a parte* nel 2017 e nel 2019 gli ha dedicato uno dei suoi prestigiosi *Meridiani*, dal titolo: *Herling – Etica e letteratura*, curato da Krystyna Jaworska.

Herling rappresenta uno di quei rarissimi casi in cui una pubblicazione come questa, nonché la pubblicazione dell'*opera omnia* appena conclusa in Polonia, indica più l'inizio di una scoperta letteraria che non la sua conclusione. I fattori che hanno determinato tale situazione sono di tipo storico-politico: in patria, l'autore è stato 'ammesso' solo dopo il 1989, dato che in *Un mondo a parte* raccontava la realtà concentrazionaria dei gulag; in Italia è capitato altrettanto, per via del boicottaggio esercitato nei suoi confronti dagli ambienti culturali egemonici della sinistra, che mal sopportavano la divulgazione di certe verità. Così, al momento della sua scomparsa, nel 2000, egli aveva potuto godere della meritata notorietà solo per un brevissimo periodo.

La freschezza dell'opera di Herling, tuttavia, poggia anzitutto sui contenuti – straordinariamente attuali – che tratta. La ricerca indefessa che egli porta avanti al confine tra l'essere e il non essere, così come tra bene e male, è un tema eterno, destinato a nuove suggestioni ogni volta che si riprendano in mano i suoi lavori. *Un mondo a parte*, che apre la raccolta dei testi dell'autore dopo i saggi di Włodzimierz Bolecki e Goffredo Fofi, rappresenta l'inizio di questo suo studio; l'intero *Meridiano*, però, è attraversato da tale tensione manichea: alla compresenza tra vita e morte, tra bene e male, sono rivolti molti pensieri del *Diario scritto di notte*, nonché molti dei racconti inseriti.

A questo proposito si pensi al racconto *La torre* (1958), ovvero a quello che Herling considera l'inizio di un nuovo percorso narrativo dopo *Un mondo a parte*, in cui le vicissitudini del lebbroso di Aosta sostengono e amplificano i termini dello studio intorno ai confini che l'autore predilige. La solitudine del protagonista, dovuta alla sua condizione, è restituita appositamente per studiare il caso di un soggetto che sia vivo per sé stesso ma già morto per il mondo; al contempo, tale esclusione non cancella la presenza del Male esercitata dai concittadini del lebbroso nei suoi confronti. "Mi piace immaginarlo mentre in ginocchio raggiunge finalmente la vetta del Monte santa Croce e con un grido di trionfo si accascia sulle nude rocce, stremato dalla fatica e segnato dal tempo. Il grido si perde subito nel tuono assordante della fine del mondo", leggiamo in conclusione (p. 1206).

Il percorso attraverso i racconti di Herling riportati nel volume si conclude con *Requiem per il campanaro* e *L'età biblica e la morte. In attesa della nuvola nera*, risalenti all'ultimo periodo dell'autore. Ebbene, in essi si riscontra la costanza tematica che contraddistingue i lavori di Herling: in particolare, secondo Bolecki, "*Requiem per il campanaro* è la *summa*, la sintesi delle precedenti opere dello scrittore. È come un metaracconto di Herling sulle problematiche fondamentali della sua opera" (p. 1639). Il protagonista di questo racconto è fra' Nafta, orfano della barbarie nazista cresciuto tra i francescani. Egli è privato dell'uso della parola per la maggior parte della sua vita, ma si esprime con gesti emblematici: suonare le campane dei monasteri in cui dimora, ad esempio. "Le campane devono suonare per metterci in guardia da un cristianesimo tiepido e indifferente e insegnarci ad accogliere il martirio sorridendo" (p. 1462), dice fra' Nafta. Attraverso la sua figura Herling unisce il motivo della morte e della resurrezione, rappresentata in questo caso dal recupero delle capacità vocali. Sullo sfondo, come nella conclusione della *Torre*, si approssima la fine del mondo legata al Giubileo dell'anno 2000 e alle superstizioni della città di Napoli.

L'attualità dell'opera di Herling, oltre che dai temi eterni che egli analizza, è assicurata dal confronto continuo con la storia e la politica che lo circondano. I pensieri raccolti nel *Diario scritto di notte*, di cui il *Meridiano* riporta un'antologia significativa, stimolano e danno origine ai racconti. Dall'inizio degli anni Ottanta, l'autore riversa tutto il suo lavoro all'interno del *Diario*, proprio per rimarcare questo legame e, in tal senso, l'edizione proposta da Mondadori ne conferma rispettosamente la disposizione. Attraverso di essa, si può osservare concretamente come certe idee di Herling si trasformino in narrazione. Dai racconti *Il miracolo* (1983) e *La peste a Napoli. Relazione su uno stato d'assedio* (1990), per esempio, emergono chiaramente quelli che sono i pensieri dello scrittore su Solidarność, sulla sua guida politica, sulle possibilità di vittoria e le trasformazioni della società polacca durante il periodo di Jaruzelski. Herling parte dalla cornice della peste a Napoli per introdurre il paragone con la Polonia dello stato militare: alle spalle del 'suo' Masaniello si intravede Lech Wałęsa, così come dietro le sembianze letterarie del viceré conte Castillo si nasconde proprio Jaruzelski. L'utilizzo della metafora gli serve per restituire artisticamente quelle che sono le sue riflessioni sul tema, alcune nate proprio in seno al *Diario*: "Solidarność andava sempre oltre, sempre 'troppo in là', poiché il potere faceva solo finta di andarle incontro, ma in realtà restava fermo, firmando degli accordi destinati 'al frigorifero', negoziando con l'idea di... Oggi lo sappiamo quale fosse quell'idea. Lo sappiamo, ma non abbiamo capito granché di questa nuova qualità del movimento d'agosto in Polonia se, in nome di un'esigenza di cautela, ci sbarazziamo del suo immanente dinamismo con *cliché* del tipo: 'tirare troppo la corda' e 'successo che dà alla testa'. Questa nuova qualità, sociale e nazionale, è un osso troppo duro per i denti militari dell'esercito d'occupazione indigeno", scrive il 17 gennaio 1982.

Alla luce degli appunti storico-politici raccolti nel *Diario*, Herling si rivela un analista perspicace, oltre che un prosatore straordinario. Il presente e il futuro della Polonia rappresentano certamente, da questo punto di vista, l'argomento che gli sta più cuore, intorno al quale si consuma la rottura con Giedroyc e la rivista "Kultura" che egli aveva contribuito a fondare nel lontano 1947: a partire dalla fine del 1995, il *Diario* inizierà ad uscire su "Plus Minus", supplemento del quotidiano "Rzeczpospolita", abbandonando le pagine di "Kultura". Nella *Cronologia* curata da Marta Herling, le ragioni della separazione emergono con nitidezza, e poggiano anzitutto sull'intransigenza morale dell'autore nei confronti del recente passato comunista: "Ero convinto che si era verificato il crollo di un regime e che doveva essere evidenziata, in modo chiaro e profondo, la cesura fra il comunismo come sistema della Repubblica popolare polacca e il nuovo assetto democratico della Terza Repubblica. Questa distinzione era importante, anche solo per ragioni educative, affinché le giovani

generazioni si rendessero conto che aveva inizio un nuovo sistema politico, e che non si trattava di un semplice cambiamento sul modello della *alternance démocratique*" (p. CLV).

Il tema della decomunizzazione in Polonia torna spesso sulle pagine del *Diario*, in maniera particolarmente interessante per il lettore italiano a causa del paragone che Herling porta avanti con il periodo successivo al fascismo nel nostro paese. All'argomento è già dedicato il primo racconto scritto dall'autore polacco, *Il principe costante* (1956), con l'intrecciarsi delle figure di Croce, Salvemini e Silone dietro quelle dei protagonisti; ma le sue riflessioni in proposito si spingono fino a tempi molto più recenti. Risale al 10 ottobre del 1992 un appunto del *Diario* in cui egli delinea le differenze tra Italia e Polonia all'indomani della fine dei rispettivi regimi: "Malgrado la tensione e benché la partecipazione degli italiani al fascismo fosse stata incomparabilmente più ampia di quella dei polacchi al comunismo, l'epurazione italiana si era attenuta alle due *indispensabili* condizioni del suo successo e profitto: primo, si era svolta senza clamore né squilli di tromba da parte dei vincitori, in appositi uffici di verifica; secondo, si era attenuta alla programmatica indipendenza dai partiti politici. Secondo me ebbe un notevole significato educativo anche se, in pratica, per una grande parte degli 'epurati' significò una sorta di più o meno lunga quarantena" (p. 847).

Nel confronto con l'attualità, quel che ci restituisce la grandezza di Herling sta nel suo rapporto con l'Unione Sovietica (prima) e con la Russia (poi), di cui, pur denunciando e analizzando le tragedie provocate, egli ama instancabilmente l'arte e la letteratura. Nei momenti in cui si mette in dubbio la liceità di continuare a occuparsi di cultura russa, Herling, cui il regime sovietico portò via tutto, rappresenta il modello di intellettuale che non si lascia trascinare nel baratro dell'odio più cieco. Grazie alla sua volontà di continuare a capire, studiare, frequentare le proprie passioni letterarie egli riesce ad addentrarsi nei meandri della Russia come pochi altri studiosi. Il 10 gennaio del 2000 si concentra su un tema quanto mai importante oggi, ovvero se la Russia possa considerarsi europea, e conclude: "Putin portavoce dell' 'europeicità' russa? Vogliamo scherzare. Il fatto che nella gerarchia del Cremlino, già un po' avanti negli anni, sia saltato fuori così rapidamente e con tanta facilità un posto al vertice per uno sbarbatello dei servizi di sicurezza vorrà pur dire qualcosa. E dà anche da pensare il fatto che la strada verso quel posto Putin se la sia spianata soprattutto sui cadaveri dei ceceni. Dopo il pubblico screditamento dell' 'ideologia', dopo l'orgia ladresca della nomenclatura, non rimane che l'asta nazionalista russa in seno ai fantasmi imperiali" (p. 1097). Sono passati più di vent'anni da quel giudizio così netto e, allo stesso tempo, così lungimirante; del resto, avvicinare il *Meridiano* che gli è stato dedicato significa scoprire di continuo la gravidanza storica e la meraviglia artistica di Gustaw Herling-Grudziński.

Alessandro Ajres

A. Pitassio, *La federazione perduta. Cronache e riflessioni sulla dissoluzione della Jugoslavia*, prefazione di M. Uvalić, Morlacchi editore, Perugia 2021, pp. 405.

Fa un certo effetto leggere i saggi contenuti nel volume di Armando Pitassio, scritti tra gli anni 1992 e 1998 (fuorché l'ultimo del 2007), per la loro sorprendente attualità. Ancora infatti rimane da capire, elaborare quel che è successo e ancora ci si interroga su questioni fondamentali, che il volume puntualmente solleva. Prima fra tutte se è vero che la Jugoslavia fosse un paese artificiale, destinato per la sua conformazione (sei stati, cinque nazioni, quattro lingue, tre religioni, due alfabeti, un solo Tito, secondo un popolare slogan di quegli anni) a non durare, come si è sostenuto e si continua a sostenere. O forse, come scrive Radina Vučetić, non si potrebbe sostenere che da un paese sensato è sorto un gran numero di paesi insensati? (R. Vučetić, *O čemu govorimo kad pričamo o Jugoslaviji?*, "Vreme", 28.12.2017). Davvero con la morte di Tito, nel maggio del 1980, l'unico possibile epilogo di questo stato era la sua disgregazione? Non sembra darlo per scontato Pitassio che definisce la Jugoslavia una 'Federazione perduta', cioè qualcosa che è esistito e che potenzialmente avrebbe potuto continuare ad esistere. Come scrive il drammaturgo Slobodan Šnajder "una certa base per la vita comune era stata creata, se solo ci avessero lasciati in pace, chissà...o no?" (S. Šnajder, *I maggiolini* in: N. Janigro [a cura di], *Dizionario di un paese che scompare*, Manifestolibri, Roma 1994, pp. 117-145). Forse la formazione di una comune coscienza nazionale jugoslava si è rivelato un processo incompiuto, ma i nuovi stati che si sono formati dalla sua disgregazione hanno davvero creato statualità solide? A trent'anni di distanza, molte situazioni rimangono incerte e ancora si parla, pericolosamente, di revisione dei confini. Invece, scrive Pitassio nell'ultimo capitolo del suo volume (*I Balcani nell'immaginario dell'europeo occidentale e italiano*), tra il 1948 e il 1990, ossia quando la Jugoslavia, alla guida del Movimento dei Non Allineati, aveva acquisito grande rispettabilità e visibilità internazionale, "la categoria di Balcani sembrava scomparsa dal dizionario politico e giornalistico occidentale" (p. 387). Quell'immagine dei Balcani, come "frammentazione e rivalità interstatuali, guerre cruente, stagnazione economica, vita stentata dei modelli di democrazia parlamentare" (p. 386), era scomparsa, dunque, o riferita al passato, ma pronta a ricomparire con le guerre degli anni '90, immediatamente classificate come 'guerre balcaniche', 'guerre etniche', se non addirittura tribali, in modo da chiarire subito la loro non appartenenza all'Europa civile. Alla spiegazione psicoantropologica di Maria Todorova dell'immaginario legato ai Balcani, nel suo ormai classico *Immaginando i Balcani*, in base alla quale (in analogia, ma anche in contrapposizione alla categoria di orientalismo) esso nasceva dal bisogno dell'occidente di definire se stesso, circoscrivendo il proprio male a un'area specifica, Pi-

tassio aggiunge alcune considerazioni storiche, fornendo un quadro ampio e documentato delle contraddizioni e incomprensioni dell'occidente nei confronti dei Balcani.

Il volume è diviso in due parti entrambe composte da sette saggi: la prima ripercorre da vari punti di vista la dissoluzione del paese, in atto nel momento in cui l'autore scrive; la seconda riflette sul concetto di identità nazionale come si manifesta (e si è manifestata) nei Balcani, facendo chiarezza sul complicato intreccio di nazionalità, lingua e religione, e sottolineando il peso che il plurisecolare dominio dell'Impero Ottomano ha avuto sui popoli soggetti, divisi in *millet* (comunità religiose).

Particolarmente significativo il saggio *Un solo popolo, una sola nazione e una sola cultura: la distruzione del patrimonio storico-artistico nei Balcani* (1993), in cui viene documentato l'accanimento verso i simboli che testimoniano la presenza dell'altro, a partire dalla distruzione dei monumenti del periodo ottomano dopo il 1878 in Bulgaria, nella prima Jugoslavia e durante i primi anni della Jugoslavia socialista, dalla creazione di un *Dipartimento per la distruzione delle chiese serbe* nella Croazia di Ante Pavelić, per arrivare alle distruzioni degli anni Novanta, tra le quali quella del ponte di Mostar diventa particolarmente rappresentativa della fine della convivenza, della 'fratellanza e unità' a cui tanto ci si era appellati durante gli anni di Tito.

Il merito principale di Pitassio, a mio avviso, è il suo sguardo ampio e acuto che osserva quel che accade nell'area balcanica (o, se si vuole, nel Sud-est europeo) come parte di una realtà più vasta che comprende l'intero continente – uno sguardo che confronta la situazione jugoslava con le altre realtà balcaniche ed europee, di volta in volta smontando quei pregiudizi e quelle spiegazioni semplicistiche che hanno portato a prendere decisioni dalle tragiche conseguenze e mettendo in guardia dal “perverso effetto domino” (p. 111) di cui la Comunità Europea, l'Onu e gli Stati Uniti, nel cercare di risolvere di volta in volta situazioni singole, non si sono resi conto. Come il prematuro riconoscimento della Slovenia e della Croazia nel 1992, chiara (agli storici, ma evidentemente non ai politici) premessa di quel che di lì a poco sarebbe avvenuto in Bosnia-Erzegovina; come il tardato riconoscimento della Macedonia, presupposto per una situazione di estrema instabilità (che portò poi nel 2001 a quella che è stata definita l'ultima delle guerre jugoslave, tra albanesi e macedoni); come il tentativo di trovare una soluzione per la Bosnia-Erzegovina, senza cercarne una globale per tutti gli stati successori della Jugoslavia.

Le argomentazioni di Pitassio evidenziano le contraddizioni di una guerra combattuta da tre parti in lotta tra loro, che utilizzano con disinvoltura il principio dell'autodeterminazione dei popoli e quello dell'intangibilità dei confini: Izetbegović chiede l'intangibilità della Bosnia, pur essendo lui stesso a capo di un partito etnico; la Croazia rivendica l'intangibilità dei confini in Krajina e in Slavonia, malgrado la presenza serba, ma contemporaneamente si impegna nella divisione della Bosnia su base etnica; la Serbia, che si è mossa in difesa della popolazione serba in Croazia e in Bosnia (secondo il principio che là dov'è un serbo è terra serba), toglie invece su base territoriale ogni autonomia al Kosovo, a maggioranza albanese. Fa male la lucidità di Pitassio quando afferma che la comunità internazionale, una volta persa l'occasione di sostenere il programma di riforme economiche e finanziarie dell'ultimo governo federale di Ante Marković (che forse, se realizzato, avrebbe potuto salvare la Jugoslavia) e affrettatasi a riconoscere Slovenia e Croazia, non può che accettare il principio degli stati etnicamente omogenei, “per quanto questo possa ripugnare alla coscienza liberale occidentale, per non parlare poi di quello che resta della tradizione internazionalista” (p. 113), e solo in seguito sperare in una svolta più liberale per questi paesi. Alla comunità internazionale, dunque, in quel momento (siamo nel 1993), secondo Pitassio, non rimaneva che accogliere il principio di ridefinizione dei confini e favorire la formazione di

stati quanto più possibile etnicamente omogenei, prima che a questo si arrivasse (come puntualmente è poi avvenuto) con operazioni di pulizia etnica, poiché era evidente che il nazionalismo, per i più svariati motivi, aveva coinvolto non solo i vertici, ma anche le masse che, manipolate o meno che fossero, avevano votato i partiti etnici.

Milica Uvalić nella sua prefazione individua quattro motivi per rallegrarsi del volume di Pittassio come di un vero e proprio regalo per chiunque si interessi della Jugoslavia e dei Balcani più in generale. Siccome li sottoscrivo tutti e quattro, li sintetizzerò qui: il libro è scritto da un serio e appassionato conoscitore dei Balcani che li frequenta da più di 40 anni; raccoglie pubblicazioni che, sparse in riviste e volumi collettanei, sono oggi difficilmente reperibili; rende conto della complessità della storia balcanica, troppo spesso semplificata nella letteratura storico-politica occidentale e, soprattutto, in quella dei paesi sorti dopo il 1991. Infine, il fatto che questi saggi siano stati per lo più scritti negli anni in cui avvenne la dissoluzione della Jugoslavia testimoniano una rara comprensione delle dinamiche in atto e offrono un'illuminante analisi su un periodo che ha dato adito a interpretazioni contrastanti.

Maria Rita Leto

Rivista dell'Associazione Italiana degli Slavisti

Г.А. МОЛЬКОВ <i>Орфография почерков Лазаревского паримейника XII века</i>	7-26
ΥΑ. KAKRIDIS, S. DEKKER <i>Der diatribische Stil bei Kosmas dem Presbyter und Grigorij Camblak</i>	27-48
П.Ф. УСПЕНСКИЙ, С.Я. СЕНДЕРОВИЧ <i>“С черной мыслью белый волос”. Этюд о стихотворении Баратынского Были бури, непогоды...</i>	49-61
Л.В. СПРОГЕ <i>“О Сомов-чародей”. Визуальные контуры портрета Вячеслава Иванова в латышском романе 1926 г.</i>	63-73
D. COLOMBO <i>I nomi dei militi ignoti. Letteratura di guerra sovietica e giornalismo, o verisimiglianza e verità: due casi</i>	75-99
М. ГИЛАРДУЧЧИ <i>“Прорубоно, вытягоно”. Философия голоса в Заседании завкома Владимира Сорокина</i>	101-118
V.S. TOMELLERI, M. BIASIO <i>Il convitato di pietra. La riscoperta sovietica della linguistica formale verso il primo Chomsky</i>	119-139
S. DEL GAUDIO <i>The Language Situation in the District of Loej (Belarus’)</i>	141-166

BLOCCO TEMATICO

Лексика славянской Библии и её значение для истории славянской рукописной традиции
Lexicon of the Slavic Bible and Its Meaning for the History of Slavic Manuscript Tradition
(a cura di M. Garzaniti, T.I. Afanasyeva e A. Alberti)

<i>Введение</i>	169-171
Р.Н. КРИВКО, К.П. КОСТОМАРОВА <i>Займствованная лексика древнейших редакций славянского Евангелия. Опыт количественного анализа</i>	173-202
A. ALBERTI <i>RNB.Pogodin.11 e la tradizione testuale dei vangeli slavi. Le varianti testuali e lessicali a confronto</i>	203-239
Е. ЦРВЕНКОВСКА <i>Лексиката на Дечанското евангелие (РНБ, Гильф.4)</i>	241-254
R. CLEMINSON <i>Silk in the Slavonic Scriptures</i>	255-267
В. ЖЕЛЯЗКОВА <i>Сложните думи в гръцкия текст на Книга Изход и техните старобългарски съответствия</i>	269-283
А.И. ГРИЩЕНКО <i>Лингвотекстологические маркеры в позднесредневековых славянских библейских переводах с еврейских оригиналов</i>	285-300
Л. ТАСЕВА, М. ЙОВЧЕВА <i>Тексты для богослужебного употребления из Книги пророка Иезекииля в Острожской Библии. Между традицией и инновацией</i>	301-318
Recensioni	321-365